Николай Васильевич

# ГОГОЛЬ



Н. Гоголь

Полное собрание сочинений и писем
в семнадцати томах



Н. Гоголь

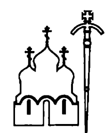
Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

# Н. В. Гоголь

# Полное собрание сочинений и писем

в семнадцати томах

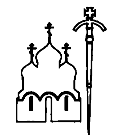


Издательство Московской Патриархии
Москва – Киев
2009

# Н. В. Гоголь

Том XIV

# Переписка
# 1847



Издательство Московской Патриархии
Москва – Киев
2009

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

По благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
ВЛАДИМИРА

Составление, подготовка текстов и комментарии:
И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН
В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета «История мировой культуры» РАН

Издание выпущено при содействии
Некоммерческого партнерства
«Полтавское землячество» (Москва)
и Благотворительного фонда «Богуслав» (Киев)

# Переписка

## 1847



## 1199. П. А. Плетневу

Неаполь. 1847 г., генв<аря> 5, нов. ст.

Письмо твое (от 21 ноя<бря> / 3 декаб<ря>) получил; вексель получен за четыре дни прежде. Долгое молчание твое я приписывал именно не чему другому, как затяжке дела и препятствиям по части пропуска статей. Нужно[1], чтобы попался слишком умный цензор, который бы слишком хорошо знал всё в России и всех в России, и, сверх того, чтобы он весь преисполнен был желанием добра и здраво увидел бы законный источник его, чтобы[2] отважиться всё пропустить до последнего слова в моих письмах. Ты свое дело сделал, хлопотал и старался изо всех сил, но я своего дела не сделал. Мое дело — настоять, чтобы всё было пропущено. Если я, благословясь и молясь Богу, составлял книгу[3], взвешивая потребности современные жаждущего общества и многого того, что покамест не видно поверхностным и ничего не хотящим знать людям, если я до сих пор нахожусь в твердом убеждении, что книга моя полезна, то будет малодушно с моей стороны остановиться при начале и не употребить всех сил для того[4], чтобы довести к концу дело. Если у нас не будет столько любви к доброму делу, чтобы уметь бороться из-за него с препятствиями, если мы не станем употреблять хотя столько постоянства и настойчивости в благих и добрых подвигах, сколько человек низкий употребляет в низких, в стремлении к своей своекорыстной и низкой цели, то где же тогда заслуга наша перед добром? И чем же мы доказали тогда нашу любовь к добру, когда из-за него не выдержали даже столько битв, сколько выдерживает гадкий человек из своей привязанности к гадкому? Итак, повторяю тебе, ты всё почти сделал, что тебе казалось очевидно-возможно, но я должен сделать также от себя[5], что мне кажется очевидно-возможным. Государь должен видеть все письма, не пропущенные цензурою. Кроме того, что так следует, чтобы он знал образ мыслей моих и помышлений, — это законный ход дела. Когда все затруднились высшие инстанции в разрешении и недоумевают, верховная власть решает все сомнения[6]. Если книга уже вышла в свет без этих писем, это ничего

[1] Нужно быть
[2] чтобы всё
[3] ее
[4] для истинно доброго дела
[5] сделать также свое
[6] решает дело

написано, несмотря на всё несовершенство написанного, можно, однако же, видеть, что автор знает, что такое люди, и умеет слышать, что такое душа человека, а потому не может так грубо ошибиться, как может ошибиться иной, а потому может даже лучше другого взвешивать и светские отношения людей к себе, и отношения людей вообще между собою[1]. Чтобы раз навсегда было тебе хотя отчасти понятно, какого рода у меня нынешние отношения к людям, скажу тебе, что не без воли промысла высшего[2] определено было мне в последнее время сталкиваться с человеком в его трудные минуты и в самые тяжелые состоянья душевные, в какие только и обнажается пред мною душа человека. Вот почему мне случилось узнать насквозь многих таких людей, которых никогда не узнать светскому человеку со всех сторон. Если бы случилось мне познакомиться с тобою теперь, именно в последнее время, а не прежде, между нами бы вдруг завязалась дружба навсегда, между нами никогда не произошло бы[3] никаких недоразумений. Но я не введен был никогда вполне в твою душу. Твоя душа не занемогла тогда никакою скорбью, а потому и не могла обнаружить себя передо мною, да и я не в силах был бы тогда ее услышать. Вот почему мы, умея ценить друг друга, однако же не знали друг друга, и не было между нами истинно родного голоса, по которому человек человеку в несколько раз ближе, чем брат брату. Еще тебе скажу: не думай, что я бы когда-либо обольщался словами человека, даже и тогда, когда меньше знал свет и был далеко невоспитаннее теперешнего. Драгоценный дар слышать душу человека мне уже был издавна дарован Богом, и в неразвитом своем состоянии он уже руководил меня в разговорах с людьми, и перед мной сами собой отделялись звуки истинные слов от звуков фальшивых в одном и том же человеке, поэтому я весьма рано стал примечать, что есть дурного в хорошем человеке и что есть хорошего в дурном человеке. Ко мне становился человек вовсе не тою стороною, какою он сам хотел стать перед мною; он становился противувольно той стороной своей, которую мне любопытно было узнать в нем, так что он иногда, сам не зная как, обнаруживал себя перед мною больше, чем он сам себя знал. Итак, слова твои и предостережения, изъявленные тобою в конце письма, которые ты даже советуешь мне записать себе в книжку,

[1] и отношения более внутренние и наконец собственное свое положение относительно других людей

[2] что каким-то высшим распоряженьем

[3] не было б

напрасны. Ты их сказал вследствие того[1], что поторопился вывести заключение из дел, по-видимому похожих на те, из которых выводятся подобные заключенья, но в самом деле не тех. Вместо того чтобы воспользоваться сделанным мне твоим замечанием, я сделаю[2] тебе[3] несколько своих замечаний и попрошу их записать себе раз навсегда в свою памятную книжку. 1-е. Что люди знатные и вообще находящиеся в высших кругах имеют горькие и скорбные душевные минуты и не находят даже и средств показать себя с настоящей и с лучшей стороны своей, и положенья их, если рассмотришь внимательно все обстанавливающие их обстоятельства, так бывают трудны, что не бывает решительно средств выйти из необходимости быть в черствых и в холодных сношеньях с людьми. 2-е. Что все живущие в Петербурге, хорошие и дурные без исключенья, более или менее покрываются, сами не слыша, наружною (очевидною для других и незаметною для себя) обмазкою эгоизма, и, поверь, она у всех нас. Рассмотри себя[4] построже: ты и в себе отыщешь признаки того. Вопроси построже свою душу, не ближе ли к ней свои собственные дела и страданья, чем дела и страдания других, не боишься ли во всяком, даже великодушном деле компрометировать прежде себя, и не отказался ли ты из-за этой причины уже от многих добрых дел, полезных другим. 3-е. Что если мы будем смотреть на холодный прием, нам оказанный, и остановимся какой-нибудь невнимательностью к нам, которая покажется нам или пренебреженьем к нашему званью, или неуваженьем к нашим достоинствам, то никогда не сойдемся мы с человеком и никогда не придем к душе его, и будем вечно играть в жмурки между собою. Но если, не смутясь никаким наружным холодом, сделаешь[5] прямо приступ к душе его и скажешь ему открыто: «Я, мимо всех приличий, пришел к вам в уверенности, что благородна душа ваша и свято вам чувство добра, и вследствие этого я твердо говорю вам: вы должны сделать такое-то дело!» Поверь, что тот же холодный человек окажется другим после таких слов. Я, по крайней мере, уже испытал это. Скажу тебе, что есть у меня знакомства, которые начались с первого раза даже упреками с моей стороны, и от меня приняты были благодарно такие замечания, которые от другого не были

[1] потому
[2] я попрошу
[3] даже тебе
[4] и себя
[5] мы сделаем

бы приняты и за которые бы даже на других рассердились. И эти люди сделались вдруг мне близкими людьми. Нет, напрасно ты думаешь, что ты знаешь людей, а я их не знаю. Ты знаешь их под светской их маской. Я очень понимаю, что на твоем месте и при твоих отношеньях с ними нельзя и узнать их иначе. Даже тот человек, который изворотливей тебя и более навыкся с людьми и более твоего одарен способностями слышать разнообразные силы и способности человека, как открытые, так и сокровенные[1], даже и тот по тех пор не узнает вполне человека, покуда не загорится весь любовью к человеку[2] и покуда человек не сделается его наукою и единственным занятием, а душа человеческая единственным его помышлением. Если хотя часть такой любви поселится в душе, тогда всё простишь человеку, не оскорбишься никаким его приемом, напротив, с любопытством ожидаешь от него всего, чтобы видеть, в каком состоянии душа его и как ему помочь потом освободиться от того, что мешает[3] оказаться его достоинствам в истинном их свете. Даже я, получивший теперь, может быть, одну только песчинку этой любви, уже не могу теперь поссориться ни с одним человеком, как бы он несправедливо ни поступил со мною. Несправедливый поступок мне только дает новую власть над ним: я терпелив, я дождусь своего времени и потом выставлю перед ним так несправедливость его поступка, что он увидит сам эту несправедливость (половина несправедливостей делается от неведения). Ему сделается совестно, и, желая загладить[4] вину свою передо мною, он уже сделает тогда всё, что ни прикажу ему, как послушный раб для господина. Друг мой, не пропусти этих слов. Прочитай письмо мое два или три раза, в разные расположенья духа[5] твоего. Почему знать? Может быть, в них заключена правда, именно в это время нужная душе твоей. Не мы управляем своими действиями; незримо правит ими Бог; мы только орудия Его воли, и нами же Он говорит нам, а потому не нужно пропускать ничьих слов без того, чтобы не рассмотреть, что из них нужно взять в применение к самому себе. Но я заговорился; обращаюсь к письму твоему. Ты говоришь, чтоб я издательские сношения ограничил тобой и Шевыревым и не вмешивал сюда никого, но я никого и не вмешивал: по поводу «Развязки

[1] потаенные
[2] к людям
[3] что помрачает
[4] вознаградить
[5] души

Ревизора» Шевырев написал без моего ведома письма к Вьельгорскому и Веневитинову: он позволил себе распорядиться так по случаю болезни Щепкина, которому поручено было *лично* хлопотать об этом. Слово[1] *лично* я особенно подтвердил Шевыреву потому, что я боюсь переписки и хлопот письменных, как огня: от них только бестолковщина и недоразумения. Анне Миха<й>лов<не> Вьельгорской назначена была часть вовсе не издательская; ей поручалась просто раздача сумм бедным в случае, если бы был издан «Ревизор» и выпродан[2]. Этого дела никто бы умнее ее не мог произвесть. Я тебе особенно советую с ней познакомиться. У ней есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а *разум;* но ее не скоро узнаешь; она вся *внутри.* Россети я тебе советовал иметь в виду только в таком случае, когда не позволят твои собственные дела заняться изданием «Ревизора», которых я предполагал у тебя довольно; теперь же, как вижу из письма твоего, их даже более, чем я предполагал. Россети я поручал еще заняться пересылкою и покупкою мне нововыходящих журналов и книг тоже в таком случае, если бы тебе невозможно и затруднительно было этим заняться. Я, признаюсь, думал, что ты не поверишь, чтобы мне так нужны были новые книги и особенно всякая журнальная дрянь, которая действительно для многих, и особенно для людей умных, есть дрянь, но которая для меня теперь слишком нужна, равно как и всякое вообще литературное движение и голос, в каком углу ни раздающийся, истинный или притворный. Я думал, что ты всё это примешь за один каприз и не уважишь такой моей просьбы, и вот почему я просил Россети, хорошенько узнавши от тебя, возможно ли или невозможно тебе затруднять<ся> самому такими мелочами, взять часть этого дела на себя. Много уже моих просьб, слишком для меня значительных, и вопросов, слишком для меня важных, оставлено без ответа и удовлетворения именно потому, что они показались маловажными в глазах тех людей, к которым были обращены. Итак, мне извинительно питать в этом отношении некоторое недоверие вообще ко всем; мне извинительно думать уже вперед, что всякое мое слово будет принято за каприз избалованного дитяти: так не похожи теперь надобности и потребности мои на потребности и надобности других людей! Я очень знаю, что если бы я изъяснил свою надобность не отрывистым требованием, но изложением подробным всех причин, было бы ясно, как день[3],

[1] и это слово
[2] хорошо выпродан
[3] ясно, как день, всем

почему я прошу чего-нибудь. Но для всего этого требуется исписывать кругом листы, а для этого у меня нет времени. А потому я прошу тебя относительно всякого рода просьб и требований моих поступать[1] таким образом: все те, которые покажутся в твоих глазах важными, исполнять самому, прочие же передавать другим, по усмотрению, кого найдешь из них старательней, добрей и готовей на услугу, сопровождая такими словами: «Не смотрите на то, что предмет просьбы[2] сам по себе маловажен; исполненьем такой просьбы вы сделаете большую услугу этому человеку, которой он не позабудет вовек, и, если только вы терпеливы и можете ожидать конца всякому делу, увидите, что я не лгу и что он сумеет потом отслужить вам». Насчет отправки мне литературных новостей,[3] поручи и другим узнавать обо всех едущих за границу, чтобы не пропускать никаких случаев переслать мне. Я бы советовал тебе особенно посоветоваться с кн<язем> Вяземским и Россети, каким бы образом устроить так, чтобы курьеры могли брать мне все новые журналы. Князь Вяземский очень хорош с графиней Нессельрод, а Россети может подвигнуть В. Перовского похлопотать, который, по своему доброму расположению ко мне и вообще по своей доброй душе, сделает от себя, что сможет. Князю Вяземскому ты можешь дать, если он того пожелает, просмотреть мои письма, не пропущенные цензурою. Он — человек умный, и его замечания мне будут особенно важны. Кроме того, что его ум способен соображать многое и видеть степень полезности у нас многих вещей, он, я думаю, еще более[4] пополнел и стал многосторонней и осмотрительней со времени разных внутренних событий и тяжелых душевных потрясений, проясняющих взгляд человека, которые случились[5] с кн<язем> Вяземским в последнее время. Вообще я бы советовал тебе сойтись с ним теперь поближе; мне кажется, вы теперь более друг друга оцените и поймете, а мое дело, или, лучше, дело моей книги, будет хорошим для того предлогом. Может быть, и он как-нибудь придумает с своей стороны способствовать к тому, чтобы были прочитаны и пропущены цензурой высшею остальные письма. Но да благословит тебя Бог как в сем деле, так <и> во всех других, и да вразумит, как разумней и лучше действовать во всем. На это письмо не позабудь отвечать и не позабудь также

[1] руководствовать<ся>
[2] что просьба эта
[3] новых книг
[4] значительно
[5] которые в нем совершились

выставлять всякий раз, на какое именно письмо отвечаешь, то есть от которого месяца и числа писанное. Затем обнимаю тебя. Прощай.

Твой Г<оголь>.

Поздравляю тебя с наступающим Новым годом и от всей души желаю, чтобы он весь исполнен был небесной благодати для твоей души.

*<На обороте:>*

St. Pétersbourg. Russie.

Г. ректору С. П. Бургского императорского университета Его Превосходительству Петру Александровичу Плетневу.

В С.-Петербурге, на Васильевск<ом> острове, в университете.

## 1200. А. А. Иванову

Неаполь. Канун Нового рус<ского> года
<31 декабря 1846 / 12 января 1847>

Поздравляю вас, Александр Андреевич, с Новым годом и желаю от всей души, чтобы он исполнен был для вас весь благодати небесной. За мои два письма, несколько жесткие, не сердитесь. Что ж делать, если я должен именно такие, а не другие письма писать к вам? Посылаю вам молитву, молитву, которою ныне молюсь я всякий день. Она придется и к вашему положению, и если вы с верою и от всех чувств будете произносить ее, она вам поможет. Читайте ее поутру всякий день. А если заметите за собой, что находитесь в тревожном и особенно неспокойном состоянии духа, тогда читайте ее всякий час и никак не позабывайте этого делать. Затем Бог да хранит вас! Прощайте.

Г<оголь>.

### Молитва

Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да, свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь перед мысленные очи мои. Сделай, да пребуду нем в мире, да обесчувствеет душа моя ко всему, кроме единого Тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущенье духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя единого, Владыко и Господин мой! Верю бо, яко Ты один в силах поднять

меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил ее, возрастивши и меня самого для нее; Ты же дал силы привести к концу Тобой внушенное дело; строя все во спасенье мое: насылая скорби на умягченье сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к Тебе и на полученье сильнейшей любви к Тебе, ею же да воспламенеет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

## 1201. Протоиерею Димитрию Вершинскому

Неаполь. Генв<аря> 15 <н. ст. 1847>.

От Тарасия Федоров<ича> Серединского я узнал, что вы также собираетесь в Иерусалим. Весьма буду рад, если придется нам вместе и[1] совершить это путешествие. Уведомляю вас, что я думаю отсюда подняться в средине февраля месяца. Если вам будет возможно тоже около этого времени прибыть в Неаполь, то напишите словечка два.

Весь ваш Н. Гоголь.[2]

## 1202. П. А. Плетневу

<15–16 января (н. ст.) 1847. Неаполь>

1847. Неаполь. 15 генв<аря> н. с.

Письмо это вручит тебе Апраксин (Викт<ор> Владим<ирович>), весьма дельный[3] молодой человек, вовсе не похожий на юношей-щелкоперов. Он глядит на вещи с дельной стороны и, будучи владелец огромного имения, намерен заняться благосостоянием его сурьезно. Его мать — прекраснейшая душой и добрейшая женщина, а брат ее, граф Ал<ександр> Петр<ович> Толстой, мой большой друг и человек очень нужный для России во многих самых *существенных* отношениях. Назад тому неделю я написал к тебе письмо в ответ на твое (от 21 ноя<бря> / 3 дек<абря>, содержащее извещение о проволочке печатанья), которое, вероятно, ты уже получил. С почтой было как-то неловко обо всем этом трактовать, и потому я написал не всё, о чем следовало[4]. Теперь,

[1] или

[2] *Далее начато:* Адресуйте

[3] весьма дельный и приятный

[4] написал тебе еще не всё, о чем бы следовало.

пользуясь счастливой оказией, я еще раз прочел твое письмо, еще раз взвесил всё, еще раз представил себе мысленно всё содержание книги и никак не вижу причины, почему *лучше* не печатать тех писем, которые, мне кажется, заставят оглянуться на себя построже некоторых должностных людей, особенно тех, которые имеют прекрасную душу и добрые намеренья и грешат по неведению. Если во всей России два-три только человека взглянут ясней на многие вещи после моей книги, то и это уже весьма хорошо. Еще я не вижу причины также, почему *нельзя и думать о представлении книги*[1] *на просмотрение Государя* (как ты выразился), присовокупляя, что я позабыл, сколько у него дел поважнее наших. Дела его всё же ни о чем другом, как о его подданных; я также его подданный; я также имею право подать просьбу ему самому, как и всякий другой, в тех случаях[2], где не берут на себя ответственности и полномочья постановленные над нами судьи. Ты позабыл также, что книгу эту я печатаю вовсе не для собственного удовольствия и также не для удовольствия других; печатаю я ее в уверенности, что этим исполняю свой долг и служу свою службу. Стало быть, какова бы книга[3] ни была, но она стоит внимания Государя, тем более что в ней есть вещи, прямо относящиеся к правительству и порядку дел. Всё это сообразивши, я решился написать письмо к Государю и отправил его к гр<афу> Вьельгорскому для вручения. А для тебя прилагаю при сем довольно чистую копию с тем, чтобы на случай, если бы одно бы затерялось, осталось другое. Обо всем этом переговори немедленно и хорошенько с гр<афом> Михаил<ом> Юрьевичем. Припоминая себе хорошен<ько> письма, я вижу, что отчасти виной робости цензуры[4] не смысл и дух писем, но некоторые жесткие, неприличные[5] и отчасти грубые неловкости в выражениях. Это нужно изгладить. Прочитайте вместе с кн<язем> Вяземским и вместе с ним смягчите, елико возможно, всё, что найдете неловким и неприличным услышать из моих уст. Вдвоем вы будете и отважней, и осмотрительней относительно поправок. Скажи ему, что он сделает мне этим большое благодеяние, которого я никогда не позабуду, и покажи ему в удостоверение эти самые мои строки. Два письма только я почитаю надобным выбросить: «Близорукому приятелю»

[1] стат<ей>
[2] в делах
[3] она
[4] виной запрещения был
[5] несколько неприличные

и «Страхи и ужасы России», именно потому, что они более других пусты по содержанию и вряд ли придутся кому-либо кстати. Прочее мне всё кажется нужным. Итак, да благословит тебя Бог и да вразумит, как умней и лучше извоpотиться.

Весь твой Г<оголь>.

### 1203. Графине А. М. Виельгорской

<16 января (н. ст.) 1847. Неаполь>

Спешу, пользуясь счастливой оказией и посредством моего доброго приятеля Викт<ора> Влад<имировича> Апраксина, которого вы уже, вероятно, знаете, написать также и вам несколько строчек, моя добрейшая Анна Михайловна. В письме к вашей маминьке изложено подробно дело, в котором нужно будет мне предстательство кого-нибудь из вашей семьи у Государя. Итак, вы видите, вместо раздачи тех благотворений, которыми я было хотел, в случае представления «Ревизора», обложить вас, вы должны теперь оказать благотворение мне самому. Я уверен, что всё будет благоразумно, счастливо и хорошо, если вы только перед тем, чтобы действовать, помолитесь усердно Богу об успехе. Не оставьте, еще прошу вас, Плетнева, познакомьтесь[1] с ним и поговорите хорошенько. Мне кажется, как будто он чем-то страждет и есть у него какое-нибудь душевное горе. В существе своем это добрейшая душа. Один порок за ним был только — тот, что он, не сделавши такого дела, которое бы упрекало в чем-либо, имел некоторую гордость чистотой своей. Он был передо мной невинно виноват, потому что судил о мне по давнему времени, в которое я был ему известен, и ничего не понимал во мне в моем нынешнем времени, которое было от него скрыто и неизвестно. Вы, вероятно, теперь с ним в сношении по поводу книги моей, которую он печатает. Кстати о книге. Если она выйдет и Софья Михайловна поднесет вам всем экземпляры[2], которыми я прежде хотел было вас попотчевать в виде сюрприза с моими собственными надписаньями, то вы в экземпляре, следуемом графине Луиз<е> Карл<овне>, на место прежней надписи, наклеите следующую с некоторыми изменень<ями>, особенно если сделается великодушное дело:

«Моей прекрасной и великодушной графине Луизе Карловне, хотя, увы! всё еще не совсем моей».

[1] *В подлиннике:* познакомитесь

[2] мои экземпляры

Попросите Плетнева, чтоб он познакомил вас с своей дочерью, и напишите мне, какова она. Я ее оставил ребенком и знаю, что он весь живет ею.

<*На обороте:*>

Графине Анне Михайловне Вьельгорской.

## 1204. Графине Л. К. Виельгорской

Неаполь. 1847. Генва<рь> 16 <н. ст.>.

Несмотря на то, что вы совсем позабыли меня[1] и оставляете без ответа мои письма, я пишу к вам. И не только пишу, но <и> обременяю вас довольно затруднительной просьбой. Вы должны ее исполнить, это будет ваш истинно-христианский подвиг относительно меня. Я сам не знаю, почему я обратился прямо к вам, графиня, наместо того, чтобы обратиться[2], как оно было бы приличней, по этому делу к Михаилу Юрьевичу. Просто сердце мое мне говорит, что Вы, несмотря на то что имеете преимущественно перед другими из вашей семьи некоторые несовершенства, как-то: уменье гневаться, огорчаться, унывать, не обдумывать и не воздерживаться, имеете, однако ж, несравненно более всех силы и энергии душевной, и если[3] предстанет такое дело, которое потребует великодушной отваги, то ни у кого, кроме вас, недостанет характера совершить его. Вот в чем дело. Вы уже, без сомнения, знаете, что я печатаю книгу. Печатаю ее я вовсе не для удовольствия публики и читателей, а также и не для полученья славы или денег. Печатаю я ее в твердом убеждении, что книга моя[4] нужна и полезна России именно в нынешнее время, в твердой уверенности, что если я не скажу этих слов, которые заключены в моей книге, то[5] никто их не скажет, потому что никому, как я вижу, не стало близким и кровным дело общего добра. Писались эти письма не без молитвы, писались они в духе любви к Государю и ко всему, что ни есть доброго в земле Русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые[6] я более других почитаю нужными. В этих письмах есть кое-что[7] такое, что должен

[1] *Далее было:* я пишу к
[2] *Далее было:* по этому
[3] *Далее было:* дело
[4] *Далее было:* в то время
[5] то *вписано.*
[6] *Было:* которых
[7] *Далее было:* то

прочесть и сам Государь и все в государстве. Дело мое[1] я представляю на суд самому Государю, и[2] я вам прилагаю здесь письмо к нему, которым умоляю его бросить взгляд на[3] письма, составляющие книгу[4], писанные в движеньи чистой и нелицемерной любви к нему, и решить самому, следует ли их печатать или нет. Сердце мое говорит мне, что он скорей меня одобрит, чем укорит. Да и не может быть иначе: высокой душе его знакомо все прекрасное[5], и я твердо уверен, что никто во всем государстве не знает его так, как следует. Письмо это подайте ему Вы[6], если другие не решатся[7]. Потолкуйте об этом втроем с Миха<и>л<ом> Юрьевичем и Анной Михайловной.[8] Кому бы ни было[9] присуждено[10] из вашей фамилии подать мое письмо Государю, он не должен смущаться неприличием такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: «Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда вашего и правосудия, нам близок: если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; Вам же дорог всяк подданный[11] ваш, а тем более любящий вас таким образом, как любит он». С Плетневым, который печатает мою книгу, вы переговорите предварительно, чтобы он мог[12] приготовить непропускаемые статьи таким образом, чтобы Государь мог их тот же час после[13] письма[14] прочесть, если бы того пожелал. К Миха<и>лу Юрьевичу я послал назад тому месяц мою просьбу Государю об отсрочке моего пребыванья за границей еще на год вследствие непременного докторского присуждения остаться еще зиму на самом теплейшем юге, что совершенно справед<ливо>, потому что я в силу начинаю согреваться в Неаполе и уже хотел было ехать в Палермо, не зная, куда деться от холода, тогда как всем другим было тепло. Если это письмо еще[15] не подано, то употребите все силы подать его также

[1] мое *вписано вместо:* это
[2] и *вписано.*
[3] *Далее было:* эти
[4] составляющие книгу *вписано.*
[5] *Было:* прекрасной
[6] *Было:* вы
[7] *Было:* не решается
[8] *Далее было:* Неприличность такого поступка
[9] ни было *вписано.*
[10] *Далее было:* будет в
[11] *В автографе ошибочно:* потданный
[12] мог *вписано.*
[13] час после *вписано вместо:* по прочтеньи
[14] *Далее было:* моего их
[15] еще *вписано.*

Государю. Мне нужна[1] необходимо выдача пачпорта такого, в котором бы сверх прочего находящегося в обыкновенных пачпортах, склонялись бы Именем[2] Государя власти Востока[3] оказывать мне особенное[4] покровительство во всех тех землях, где я буду. Мне нужно много видеть то, на что не обращают внимания другие путешественники. Путешествие это делается вовсе не ради простого любопытства и даже не для одной собственной потребности моей душевной. Путешествие это затем, дабы[5] быть в силах потом сослужить Государю истинно-честную службу, какую я должен сослужить ему вследствие данных мне от Бога способностей и сил. Прилагаю и это письмо, если на случай посланное или не дошло, или затерялось. Бог да благословит Вас во всем.

Весь ваш

Г<оголь>.

### 1205. Государю Императору Николаю Павловичу

<15–16 января (н. ст.) 1847. Неаполь>

Всемилостивейший Государь!

Только после долгого обдумывания и помолившись Богу, осмеливаюсь писать к вам. Вы милостивы: последний подданный вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от вас постановленные власти, имеет доступ и прибежище к вам. Я нахожусь в таком точно состоянии: я составил книгу в желании ею принести пользу моим соотечественникам и сим хотя сколько-нибудь изъявить признательность вам, Государь, за ваши благодеяния и милостивое внимание ко мне. Цензура не решается пропустить из моей книги статей, касающихся должностных лиц, тех самых статей, при составлении которых я имел неотлучно перед своими глазами высшие желания души Вашего Императорского Величества. Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей

[1] *Далее было:* выд<ача>
[2] *Было:* именем
[3] *В автографе:* востока
[4] особенное *вписано.*
[5] *Было:* ч<тобы>

и кто сверх того умеет больше и лучше любить Россию, чем как ее любят другие люди; стало быть, рассудить меня может один только Государь. Всякое решение, какое ни произнесут уста Вашего Императорского Величества, будет для меня свято и непреложно. Если, благоволивши бросить взгляд на статьи мои, вы найдете в них всё сообразным с желаньями вашими, я благословлю тогда Бога, давшего мне силы проразуметь не криво, а прямо высокий смысл ваших забот и помышлений. Если же признаете нужным исключить что-нибудь из них как неприличное, происшедшее скорей от моей незрелости и от моего неуменья выражаться, чем от какого-нибудь дурного умысла, я равномерно возблагодарю Бога, внушившего вам мысль вразумить меня, и облобызаю мысленно, как руку отца, вашу монаршую руку, отведшую[1] меня от неразумного дела. В том и другом случае с любовью к вам по гроб и за гробом остаюсь

Вашего Императорского Величества признательный верноподданный

Николай Гоголь.

### 1206. Князю П. А. Вяземскому

<16 января (н. ст.) 1847. Неаполь>

Может быть, вы уже прочли мою книгу (если она вышла в свет). Дайте мне о ней ваше чистосердечное мненье, не скройте от меня ничего. Во имя Христа прошу вас о том. Если ж не вышла моя книга в свет или же вышла, но с исключением многих писем (относящихся к должностным порядкам и не пропущенных цензурою), то я вас прошу пробежать и эти письма: ваши замечанья будут мне очень важны и дороги. Может быть, вы найдете, что можно смягчить некоторые фразы и выражения перед тем, как подать их Государю, потому что я, несмотря на неловкость и странность[2] многого,[3] хочу, чтоб письма эти были напечатаны. Может быть, они, несмотря на все недостатки, заставят хотя некоторых, лучших из нашего общества, оглянуться сурьёзней и строже на себя и вокруг себя — с меня будет этого довольно. Но вы, не останавливаясь этим, скажите мне все-таки ваше мненье даже и о том, хорошо ли я делаю, печатая их, или нет. Скажу вам, что мне так теперь нужен суд над собою, что я нарочно оставил многие места в неопрятном виде затем, чтобы дать случай

[1] *В подлиннике:* отвевшую
[2] странность в них
[3] *Далее начато:* как в выраженьях

прицепиться к этому и напасть на меня. Мне так мало делают замечаний доброжелатели мои, что я должен за ними обращаться к недоброжелателям[1] и отыскивать крупицы этих замечаний среди кучи всякого рода бранных слов. Говорю вам это для того, чтобы вы никак не боялись[2] огорчить меня каким-нибудь резким или даже оскорбительным словом: для меня их нет, а тем более из уст тех людей, которых я уважаю. От них я бы желал теперь особенно жестких слов. Мне кажется, что вы находитесь теперь в таком периоде вашего душевного состояния, что поймете это (для многих странное) мое желание. Я знаю, что душа ваша в это время выстрадалась и понимает уже язык, для других недоступный. Итак, не откажите мне в этой просьбе. Есть еще другая просьба, которую я в надежде на доброту вашу смело вам повергаю. Мне слишком будет нужно весь этот год моего пребывания за границей (после которого надеюсь наконец увидеть вас лично вместе со всеми близкими моему сердцу людьми в России) читать всё, что ни будет печататься и делаться в нашей литературе. Как ни скучны наши журналы, но я должен буду прочесть в них всё, что ни относится до нашего современно[3]-литературного движения, кем бы это ни произносилось, в каком бы духе и виде ни обнаружилось; мне это очень, очень нужно — вот всё, что я могу сказать. Я прошу о содействии вашем относительно присылки этого[4] ко мне. Мне кажется, что вам возможно[5] будет устроить посредством графини Нессельрод или Поленова, или кого другого, чтобы курьеры, едущие в Неаполь, могли захватывать с собой для меня посылки. А посылки с книгами вы получите или от Плетнева, или от Арк<адия> Россети. Как ни хлопотливо может быть исполненье такой просьбы,[6] но я вам ею надоедаю, потому что знаю вашу добрую душу и потому что мне всё кажется, что придет, наконец, такое время, когда и я, несмотря на всю малость мою, сумею быть вам полезным, чего бы мне очень хотелось. Еще раз прошу вас, не позабудьте сообщить ваше мнение о всей книге вообще. Сначала ваше первое впечатление, потом второе[7] и наконец третие.[8] Не поскучайте для этого прочесть не один раз

[1] недоброжелателям моим
[2] не останавливались
[3] современного
[4] всего этого
[5] это возможно
[6] докучно<й> просьбы
[7] ваше второе
[8] ваше третие

Это может безошибочно сделать один только тот, кто уже весь живет в Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе — во всяком слове Христа вы будете иметь свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность[1] во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.

Вас очень любящий Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Сергею Тимофеевичу Аксакову.

## 1208. С. П. Шевыреву

Неаполь. 1847. Генв<аря> 20 <н. ст.>.

От Плетнева я получил известие, что печатанье книги моей задержалось по причине многих возней с цензурами всякого рода и что многих писем к должностным лицам не решаются пропустить. Я послал ему кое-какие распоряжения по этому делу: письма и просьбы, кому следует, о их пропуске. Зная высокую душу Государя, я уверен, что дело будет сделано так, как следует. Если же книга, на случай, уже вышла с исключением тех писем, которые[2] я почитаю нужными, и разрешение им последовало уже по отпечатан<ии> самой книги, то я поручил Плетневу переслать немедленно все таковые письма к тебе для включения их во второе издание, которым должен позаняться ты, даже и в таком случае, если бы первое не разошлось: на это нечего глядеть; пока второе выйдет, первое разойдется. Если книга выйдет очень толста, можно поставить потонее бумагу или употребить шрифт[3] более вместительный, а строки почаще. Впрочем, ты будешь знать и сам, как распорядиться заблаговременно, чтобы форма книги была опрятна, прилична и даже щеголевата. Если ты поудержал выпуском в продажу вт<орое> изд<ание> «Мер<твых> душ», то сделал хорошо, потому что предисловие может быть понятно читателям только по прочтении моей «Переписки». А без этого всё это будет дико, и никто не увидит сильной нужды моей в исполнении моей просьбы. Прилагаю тебе оглавление или перечень статей книги, дабы ты видел порядок и место всякой и куды именно следует вставить те, которые не попали в перв<ое> издание.

[1] откровенность первое дело

[2] *В подлиннике:* которых

[3] *В подлиннике:* штрифт

Предисловие.
I. Завещание.
II. Женщина в свете.
III. Значение болезней.
IV. О том, что такое слово.
V. Чтение русских поэтов перед публикою.
VI. О помощи бедным.
VII. Об «Одиссее», переводимой Жуковским.
VIII. О нашей церкви и духовенстве.
IX. О том же.
X. О лиризме наших поэтов.
XI. Споры.
XII. Христианин идет вперед.
XIII. Карамзин.
XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.
XV. Предметы для лирического поэта (два письма).
XVI. Советы.
XVII. Просвещение.
XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «М<ертвых> д<уш>».
XIX. Нужно любить Россию.
XX. Нужно проездиться по России.
XXI. Что такое губернаторша.
XXII. Русский помещик.
XXIII. Исторический живописец Иванов.
XXIV. Чем может быть жена для мужа в прост<ом> домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России.
XXV. Сельский суд и расправа.[1]
XXVIII. Занимающему важное место.
XXIX. Чей удел лучше.
XXX. Напутствие.
XXXI. В чем же, наконец, существо нашей поэзии и в чем ее особенность.
XXXII. Светлое Воскресенье.

Два письма, 1-е «К близоруко<ому> приятелю» и 2-е «Страхи и ужасы России», я вычеркнул сам, потому что мне они показались лишними: их содержание незначительно и вряд ли они придут кому кстати. Если же они помещены уже в первом издании,

[1] *Далее вычеркнуто (без исправления последующей нумерации):* XXVI. Страхи и ужасы России. XXVII. Близорукому приятелю.

то пусть остаются и во втором.[1] В предисловии должны быть поименованы одни заглавия статей. В самом же тексте книги под заглавием другая строка: к кому какое письмо писано, удерживая одни только заглавные буквы имен и фамилий, не выключая и писанного к Языкову об «Одиссее». Еще раз прошу тебя крепко не позабыть мне передать твои собств<енные> впечатления по прочтении книги, никак не скрывая ничего. Я думаю, ты еще более почувствуешь по прочтении книги, что мне следует выставлять напоказ все заблужденья и грехи мои, никак не осматриваясь и не взвешивая слов своих и даже ни в каком случае не оговариваясь, как бы ни показались жесткими замечания.[2] Но прощай. Обнимаю тебя. Бог да хранит и напутствует тебя во всем! Твой весь.

Два письмеца при сем прилагаются, Языкову и Аксакову.

Пожалуста, не позабудь исправить всякие ошибки, как мои собствен<ные>[3], так и типографские. У Плетнева, вероятно, их набралось много. Он проглядывает это: я заметил на моей статье об «Одиссее» в «Соврем<еннике>».

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Профессору императорск<ого> Москов<ского> университета Степану Петровичу Шевыреву.

В Москве. В Дегтярном переулке, что возле Тверской, в собствен<ном> доме.

## 1209. Н. М. Языкову

Неаполь. Генваря 20 <н. ст. 1847>.

Я давно уже не имею от тебя писем. Ты меня совсем позабыл. Вновь приступаю к тебе с просьбою: всё сказать мне по прочтении книги моей, что ни будет у тебя на душе, не смягчая ничего и не услащивая ничего, а я тебе за это буду в большой потом пригоде. А если у тебя окажется побуждение к благотворению, которое ты, по доброте своей, оказывал мне доселе (я разумею здесь пересылку всякого рода книг), то вот тебе и другая просьба: пришли мне в Неаполь следующие книги: во-первых, летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею, которых я просил и прежде, но не получил, и, в pendant к ним, «Царские выходы»; во-вторых, «Народные праздники» Снегирева и, в pendant к ним, «Русские

[1] *Далее начато:* Прилагаемые при сем письма и

[2] замечания твои

[3] *Далее вписано:* как грамматические

в своих пословицах» его же. Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух. Но прощай; обнимаю тебя. Пожалуйста, не забывай меня письмами…

### 1210. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Москва. 1846. Дек<абря> 30 с<т>. с<т>.

По желанию твоем возвращаю тебе Развязку Ревизора. На днях ты получишь от меня большое письмо. Книги твоей из Петерб<урга> жду со дня на день. 1-го января будет здесь праздновано семисотлетие Москвы. Но как-то грустно оно начинается. Только и слышим о больных. У меня весь дом кашляет. Зима у нас пренездоровая. Счастлив, что ты в Неаполе; но, несмотря на то, пора бы и к нам. Обнимаю тебя. Дай Бог в наступающем годе нам непременно увидеться.

Твой С. Шевырев.

*<Адрес:>*

Его высокоблагородию Николаю Васильевичу Гоголю в Неаполе.
Monsieur Monsieur Nicolas de Gogol à Naples. Poste restante.

### 1211. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Дек<абря> 30 с<т>. с<т>. 1846. Москва.

Милый друг, я должен начать это письмо грустною для тебя вестью. Помолись и укрепись духом. Не стало нашего доброго, милого Языкова. Он скончался 26-го декабря, на другой день праздника Р<ождества> Х<ристова>, в 5 часов пополудни. Кончина его была самая тихая, без страданий. Он уснул, а не умер. Окружавшие его сначала того не заметили. Сам врач, за час до кончины у него бывший, не находил ничего отчаянного в его положении. Но Языков сам как слег, то уже знал наперед свою кончину. За три дня до нее он сам пожелал исповедоваться и причаститься Св<ятых> Тайн. Память его во все время, несмотря на бред горячки, была так свежа, что он сделал даже все распоряжения, в чем его похоронить, и заказал повару все кушанья того обеда, который должен быть у него на квартире после похорон его. За два дня до смерти он утром сзывал всех в доме и спрашивал: «Верите ли в воскресение мертвых?» Видно, мысли нашей веры его глубоко занимали. В бреду горячки он пел и как будто читал стихи. Ты уже знаешь, конечно, что летом он предпринял гидропатическое леченье. Лето у нас было жаркое. Леченье шло

тогда хорошо. Но в сентябре он простудился. Врачи настаивали продолжать. Он, по обыкновению, слушался. Нервы его напрягались, напрягались — и не вынесли. Последняя болезнь его была нервная горячка. В первый день как спокойно-величав лежал он на том столе, где любил угощать трапезой друзей своих. Болезненное отошло, и одно величие его физиогномии являлось взору. Какой чудный лоб! Болезнь его узила. Какие уста! Ими как будто объяснялся его чудный стих. Сегодня мы отслушали вечером последнюю панихиду на дому, а завтра его похороним на Даниловом кладбище, подле Валуева, его племянника, и Венелина. Сегодня же пришло и твое письмо к нему, которое показывал мне брат его, Петр Михайлович. В него вложено письмо к Щепкину. Завтра после погребения мы будем обедать в комнатах у покойного, по его желанию, и есть те блюда, которые он сам для нас заказал своему повару. Сообщаю тебе все эти подробности. Знаю, как тебе будет горька эта весть. Я боялся, что она к тебе дойдет через кого другого. Боялся также прямо написать тебе. Потому прошу Софью Петровну, чтобы она с свойственною ей мягкостью и любовью приготовила тебя к этой вести и утешила в горе. Подробности же эти в таком горе, я знаю, бывают усладительны. Береги себя, милый друг, для всех нас и для России, которая многого ждет от тебя. Что делать? Здоровье Языкова не обещало долгой жизни. По крайней мере он умер без страданий. Чистота души его есть прекрасный завет всем его близко знавшим. «Блаженни чистии сердцем: тии Бога узрят». Да, он, конечно, видит Бога. Все нас меньше да меньше остается. Все крепче и крепче должны бы мы связывать узел дружбы, помогать друг другу, любить друг друга, заботиться друг о друге, стараться жить вместе, ближе друг к другу, потому что издали трудно все это исполнять, особливо при занятиях разного рода, при заботах семейных.

И виноват опять перед тобою, что не вдруг отвечал тебе на письмо твое о новых твоих распоряжениях касательно распродажи «Ревизора» в пользу бедных и касательно надписей на книги, тобою мне присланных. Но в моих молчаниях есть, однако, и тайная причина, которой, может быть, я и сам не сознаю. Иногда после писем твоих я не мог к тебе писать, сам не знаю почему; после других же чувствовал влечение и писал скоро. Здесь, я думаю, остановила меня надпись Погодину. Я хотел тебе искренно сказать, что я ее не могу пропустить через мои руки, не хочу быть посредником в такой передаче. Не так, друг мой, говорят правду от любви, не тем языком, без того раздражения. Если ты любишь

его, скажешь и правду ему иначе. Ведь надобно не обжечь, а согреть. У тебя же тут всякое слово — огонь. Вспомни слова ап<осто>ла Иакова. Ведь до сих пор я и этого не решался тебе сказать. А смерть Языкова дала мне какую-то силу. Да будемте же все настоящим образом любить друг друга, и тогда сам Бог внушит слова наставительные, а не жгучие. Правда и то, что мы не заботимся друг о друге как должно, слишком кадим друг другу, не имеем силы говорить о недостатках, а зато уж как соберемся, делаем это в гневе, в раздражении. Тогда наставление становится похоже на брань и любовь — на гнев и злобу.

Ты уже знаешь, что цензура не пропустила твоей «Развязки» и что, след<овательно>, все твои предположения не могут сбыться. Отвечаю на последние твои два письма. Два завода «Мертвых душ» лежат у меня в доме, готовые к распродаже. Ты писал ко мне, чтобы выпустить их в свет после того, как выйдут «Выбранные места». Я ожидаю этого беспрерывно. Между тем книгопродавцы со всех сторон осаждают меня. Но твои приказания строги до малейших подробностей. Ты сетуешь на меня даже за то, что я послал в Петербург «Развязку Ревизора» не с Щепкиным лично, но ты не написал ко мне, чтобы без Щепкина ее не посылать. Когда явится твоя книга в Петербурге, тогда выпущу и «Мертвые души». О предисловии я попрошу издателя «Московских Ведомостей». Впрочем, «Отечественные Записки», незаконно пользуясь экземплярами, присланными в петербургскую цензуру, уже успели напечатать отрывки из этого предисловия. Цензура петербургская делает чудесные вещи. Никитенко твои рукописи оглашал всем своим друзьям, приятелям и знакомым. «Листок» и замечания на «Мертвые души» пересылать тебе буду по мере получения. Священника, духовника твоего, найду и вручу ему экземпляр. С нетерпением ожидаю твоей книги как потому, что мне хочется скорее прочесть ее, так и для того, что она развяжет мне руки во всех моих действиях.

Из письма твоего к Языкову я вижу, что ты еще хочешь отложить свое путешествие на Восток и возвращение в Россию на год. Это напрасно. Деньги будут. У меня есть же твоя лежащая сумма. Хотя есть ей другое назначение, но не вдруг же она употребится.

После можно будет выручить ее из распродажи «Мертвых душ» и употребить, как ты предписал. А между тем зачем же откладывать доброе дело? Возвратиться в Россию тебе пора. Даже отсюда ты мог бы предпринять это путешествие. Что ни говори, а жить в чужом народе и в чужой земле — вбираешь в себя чужую

жизнь, чужой дух, чужие мысли. Вот это заметили многие и в твоих религиозных убеждениях и действиях. Мне кажется тоже, что ты слишком вводишь личное начало в религию и в этом увлекаешься тем, что тебя окружает. Римское католичество ведет к тому, что человек не Бога начинает любить, а себя в Боге. Даже молитва в нем переходит в какое-то самоуслаждение. Я заметил в письме твоем, что ты в побочных обстоятельствах видишь себе указания (так, н<а>п<ример>, болезнь Щепкина). Это мне напомнило княгиню З<инаиду>, которая также во всяком обстоятельстве жизни видит Бога, ей указующего. Да ведь надобно заслужить это высокое состояние пророка. Есть, конечно, во всем воля Божия. И волос не падет с головы без нее. Но видеть во всяком постороннем обстоятельстве личное отношение Бога ко мне — значит как бы хотеть приобрести милость Божию в свою собственность и самозабвенно назваться избранником Божиим и любимцем. Это все продолжение motu proprio римского владыки. Берегись этой заразы. От нее хранит чистое и смиренное наше Православие. Вот и поэтому пора тебе на родину. Здесь погрузишься в жизнь своего народа и стряхнешь с себя лишнее чужое. Обнимаю тебя.

Твой С. Шевырев.

У меня все дети были больны. Грудной был в опасности. До сих пор коклюш кругом меня раздается. Много страданий душевных. До этого еще я начал курс. Трудно было. Прочел 4 лекции. Они возбудили участие. О, как жаль мне, что ты не с нами!

### 1212. А. О. Ишимова — Н. В. Гоголю

<4–31 декабря 1846. Санкт-Петербург>

С.-Петербург, 4-е декабря 1846 года.

На днях я прочитала у Петра Александровича первые, отпечатанные листы вашей новой книги, Николай Васильевич! Я прочитала предисловие к ней и ваше завещание, и мне так захотелось пролепетать вам хотя миллионную часть той глубокой благодарности, которую должны чувствовать к вам все соотечественники ваши за добро, проливаемое вами на них этою новою книгою вашею! Я думала, что душа ваша, так много превышающая наши души, поймет потребность моей и извинит ее невольное излияние.

Много, бесчисленно много таких мест в прекрасной книге вашей, которые поражают своею истиною сердце христианина-читателя, но более всего поразило меня то, где вы, говоря о Прощальной повести сказали: «Соотечественники! страшно!..

Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся»... Ах! как глубоко справедливы эти слова! Как страшно сделается на сердце в первые минуты после прочтения их и какую благодарность почувствует она потом за это благое предостережение! Бог да благословит вас за него, Николай Васильевич! О, если бы вы могли поучить нас и тому, как сделаться похожими на вас! Как постичь, подобно вам, все ничтожество земного счастья, как устремиться с такой непоколебимостью к одному небесному! Мы почувствовали теперь, что должно сделать так, и за это вам слава и благословение от Бога! Как же сделать это, — вам надобно поучить еще людей, прежде нежели они будут иметь горе учиться по вашей Прощальной повести! Как ни строго запрещаете вы оплакивать вас, но я сочла бы истинным несчастием для себя, если бы никогда более не увидела вас, никогда бы не поговорила с вами! Размышляя о всем том добре, которое сочинения ваши непременно сделают теперь для соотечественников ваших, и о том благотворном влиянии, какое могла бы сделать для них ваша жизнь посреди них, я надеюсь, что благость Божия сохранит вас для земли Русской еще на много лет, но, зная, как ничтожны все предусмотрения и надежды наши перед божественными определениями, я не могу удержаться от невольного страха при мысли о неизвестности будущего... И потому мне хочется сказать вам перед отъездом вашим в Святую Землю: «Помолитесь за меня, особенно от той молитвы, которою вы обещали молиться за всех соотечественников ваших, т. е. подарите мне одно мгновение из тех, которые вы проведете у Гроба Господня, и употребите его на произнесение имени моего перед Святынею, успокоивающею всякое земное страдание и беспокойство. Я уверена, что такая молитва, как ни будет она мгновенна, сделает много пользы для души моей, много лет напрасно молящейся о твердости для перенесения всего, что Господу угодно ниспослать ей на время земного странствия. Я уверена также, что вы не найдете просьбу мою к вам странною; вы поймете, что она излилась из всего того, что *ваша* — можно сказать *святая* — книгадолжна возбудить в сердце, уже чувствующем нужду в возрождении духовном, но еще не имеющем для него довольно сил. Вот о них-то я и желала

бы помолиться у Гроба Того, Кто Один может дать самому слабому творению — чудную силу, самому грешному — возвратить небесную чистоту! Никогда не удостоиться счастия самой принести эту молитву, и потому умоляю вас, брата моего во Христе, принести ее за меня там. Я не хотела сказать Петру Ал., от чего я вздумала писать к вам, и сказала только, что я посылаю вам небольшую брошюрку об человеке, достойном памяти, и хочу при этом случае поблагодарить вас за книгу вашу. Может быть, ему показалось бы письмо мое странным, и он отговорил бы меня отправить его к вам, а мне не хотелось бы этого. Душа моя чувствует какую-то невозможную потребность сказать вам о том впечатлении, которое произвела на меня ваша новая книга, и этою откровенностью как бы попросить у вас благословения на мои труды. Как ни ничтожны они в литературе, но, посвященные детям и юношеству, они заслуживают вашего внимания, избранный из народа нашего! Как бы я была счастлива, если бы вы хотя что-нибудь прочитали из них и сказали мне хоть два слова о том, что вы думаете о них. Надеюсь на это тогда, когда вы возвратитесь на родину. Прилагаемая брошюра (если только можно будет отправить ее с этим письмом) есть отрывок из книги, которую В. А. Жуковский назвал *брильянтом из книг.*

Александра Ишимова.

Декабря 31-е 1846 года.

Отправляю к вам, Николай Васильевич, письмо, написанное под первым влиянием первых листов вашей прекрасной книги. Теперь я прочитала ее всю и не могу выразить вам, как это благотворное влияние еще усилилось от всего того, что я еще узнала из нее! Каждое письмо в ней можно назвать уроком для жизни. *Светлое воскресенье* есть прекрасное заключение этой необыкновенной книги. Я читала несколько глав из нее Павскому, и он поражен был ее высокими истинами. — Мы с Петр<ом> Ал<ександровичем> ожидаем, что она сделает решительный переворот не в одной литературе нашей, но вообще в образе мыслей наших соотечественников, еще столь шатком и непостоянном. По крайней мере, это будет со всеми избранными из них. Как порадуется тогда сердце ваше, так искренно любящее их!

Брошюрку мою — «*Иоанн-Амвросий Розенштраух*» — я отдала Петру Ал<ександровичу> для отсылки к вам при случае. Я уверена, что вы обратите внимание на этого человека. Дивлюсь своей смелости, что я пишу к вам так много. Я спросила

однако ж у П<етра> Ал<ександровича>, можно ли обременить вас чтением какого-нибудь письма, и он сказал мне, что можно. Простите, пожалуйста, если я неумеренно воспользовалась этим дозволением и заставила вас потерять много драгоценных минут на это чтение... По крайней мере, не думайте отвечать мне до тех пор, пока не будет у вас совершенно лишнего времени и пока вы не почувствуете охоты сказать мне несколько слов на то многословное излияние, от которого я не могла удержать души моей.

Воспитанница моя Оленька, которую вы знали еще очень маленькою, просит меня поклониться вам и попросить вас привезти ей от Святого Гроба хотя несколько песчинок. Она с большим вниманием слушала, когда мы читали у П<етра> А<лександровича> книгу вашу, и говорит, что она не знает, как бы она стала теперь говорить с вами, что ей кажется трудно сыскать слова, достойные вас. Прощайте, помолитесь за нас!

### 1213. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Среда, 1/13 января 1847. СПб.

Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие — иди своею дорогой. Теперь только ты нажил себе настоящих противников и врагов. Но тем лучше. Без них дело все тянется и свертывается. Однако же помни: как Божие творение неисчислимо разнообразно, так и проповедь, начатая во славу Бога, должна быть отражением Его творения. Переменяй предметы воззрений, краски языка и формы статей; но от всего нисходи к одному — к очищению души от мирской скверны. В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний. Только, повторяю, не везде будет оказан этот прием твоей книге. Страшно подумать — а это выйдет, что у многих недостанет сил кончить ее. Но она должна возвестить истину о нас и за пределами России. Оттуда научать нас ценить собственное сокровище наше, как это совершается и над всем в мире искусств. Вот почему я не намерен тотчас же

приступить ко второму изданию. Нужно это сделать тогда, когда раскупят две тысячи экз<емпляров>. На первый раз все вместе петербургские книгопродавцы сложились и взяли у меня только 400 экз<емпляров>, потому что я объявил обыкновенную 20-процентную уступку не иначе, как при отпуске по крайней мере 200 экз<емпляров> вдруг. Со 100 же экз<емпляров> до 199 уступается только 15 проц<ентов>; с 50 до 99 уступка 10 пр<оцентов>; с 1 до 49 экз<емпляров> нисколько не уступается. Но кто возьмет вдруг 600 экз<емпляров>, тому я уступлю и 25 проц<ентов>. Более нет никаких сделок. Все идет на чистые деньги по 2 р<убля> с<еребром> за экземпляр, оттого что в книге вышло, по милости красных чернил Никитенка, только 287 страниц. Все твои поправки пришли вовремя, и — что дозволил цензор — внесено в текст. Не пропущенного им уже нельзя было отстоять никакою силою. Итак, чего не найдешь ты в книге, то, значит, не было позволено внести в нее. Я перед тобою совершенно чист и прав. Из типографии, равно как и из бумажной лавки, и от переплетчика, я не получил еще счетов. Все приобретенные продажею 400 экз<емпляров> деньги пойдут на уплату издания. Лишь только очищу долг, излишек немедленно пошлю к тебе. То же буду делать и при дальнейшем получении денег от продажи книги. У тебя, впрочем, хоть не много, но должно быть денег от посылки мною в прошедшем ноябре 21 числа с<тарого> с<тиля> 408 р. 30 к. серебром с 1-го мая по 1-е октября.

По новому твоему свидетельству из Неаполя я еще не брал твоей пенсии — да и не стоит брать за два месяца: окт<ябрь> и нояб<рь>. Лучше возьми тогда, когда уже недалек будет срок отъезда твоего. Я по новому свидетельству и получу тебе все, что придется на далекое твое путешествие. Даже ты можешь, показав это мое письмо Хвостову, устроить так, чтобы миссия, снабдив тебя необходимым количеством наличных денег, получала от меня уплату из твоих доходов по продаже книги и по пенсии. Все экземпляры, по твоему расписанию, уже розданы и разосланы. Только не доставлено Велик<ой> Кн<ягине> Елене Павловне и Вел<икой> Кн<ягине> Екатерине Михайловне, так как они в путешествии. Для тебя отдано 5 экз<емпляров>, для Толстого 2 и для Жуковского 1, все через Вяземского графине Нессельрод. Пожалуйста, не вини меня, если окажется какая неисправность. Уж я не мог найти вернее дороги: Вяземский приятель Нессельродов. О поднесении всем особам царск<ой> фамилии я писал прямо к Адлербергу, исправлявшему должность Волконского.

Но в этот самый день последний вступил в свое звание, и первый отказал мне, хотя очень вежливо. Тогда я для поднесения Имп<ерато>ру, Имп<ератри>це и В<еликому> Князю Михаилу Павловичу отослал экз<емпляр> к Уварову, а для семейства Наследника и В<еликой> К<нягини> Марии Николаевны послал прямо к ним сам при собственном к каждому письме. В<еликой> к<нягине> Ольге Николаевне отправил сам же в Стутгардт. Я не мог не пожертвовать несколькими экз<емплярами> твоей книги, несмотря на твое замечание, что прочие купят и сами. Наприм<ер>, к А. О. Смирновой отправил 2 экз<емпляра>, Уварову и Вяземскому по 1 экз<емпляру>, Балабиной и ее дочери 2 экз<емпляра>. Для фактора, все поверившего в долг, и для лиц, почти принадлежащих к моему семейству, для моей дочери и для меня пошло всего 7 экз<емпляров>. Остальное все будет продаваться. Передо мною теперь лежат все твои письма с той поры, как задумал ты об этом издании, т. е. с мая из Рима — и до 30 нояб<ря> / 12 дек<абря> из Неаполя. Этих писем всех 14. Из них ни одного не оставлено без ответа, говоря о первых одиннадцати. Что касается до последних трех, я не имел еще времени отвечать на них: зато теперь на все отвечу вдруг. Мне казалось, уже лучше сделать все дело, а потом толковать. Да у меня же в эти три последние месяца прошлого 1846 года вдруг столкнулось множество срочных и экстренных дел: 1. Я смотрел за печатанием полного собрания сочинений Крылова в 3 томах и написал к нему биографию автора на 6 печатных листах (издание на днях выйдет); 2. Я готовил Крылова же биографию совсем особую, для детей, в пользу которых особо изданы будут только его басни в одном томе; 3. Я оканчивал 10, 11 и 12 № «Современника» перед сдачею его Никитенко; 4. Я составлял годичный отчет об ученой и административной деятельности всех членов нашего университета; наконец, 5. Я составлял годичный же отчет о деятельности всех 20 академиков II Отделения Академии наук. Кроме того, я не переставал читать университетские лекции и ежедневно работать по канцелярии университета, где проходит через мои руки более 6 т<ысяч> бумаг в год. Вот посреди скольких и сколь разнокалиберных занятий я должен был печатать твою книгу и держать исправно с тобою корреспонденцию. Надеюсь, что ты отдашь справедливость моей деятельности. Итак, теперь ответы. Письмо от 22 нояб<ря> / 4 дек<абря> получено мною 17/29 дек<абря>. Оно шло очень долго. Другие из Неаполя приходят в двадцать дней, а это в двадцать пять. Любимов за книгами еще не был

у меня. Впрочем, пока уже послано тебе 5 экз<емпляров> через графиню Нессельрод. Писем касательно «Мертвых душ» пока еще нет. Да я и не полагаю, чтобы неподвижная публика наша расшевелилась от теплого твоего призыва. О «Современнике» ты рассуждаешь, как должно рассуждать человеку, на все смотрящему издали. Тебе представляется он и мелким, и бесплодным. А он между тем принес много добра. Это мне известно по письмам Шевырева и из провинций. Я бы не перестал его издавать, если бы в силах был жертвовать тем, чем до сих пор жертвовал для пользы общей, т. е. по 5 т<ысяч> р<ублей> ас<сигнациями> в год. Если бы у порядочных людей было столько же единодушия, сколько его оказывается в подобных предприятиях у бездельников, то на мне одном не лежало бы это бремя, которое собственно для меня не тяжело, но после окажется вредным для моей дочери. Только эта мысль и заставила меня сойти с поприща, на котором я стоял твердо и, могу сказать, честно. Из твоих же суждений о «Современ<нике>» я вижу, что ты о нем говоришь понаслышке, да и то из тех отзывов, которые, естественно, должны были враждовать со мною. Иначе как согласить высокое стремление твое к делу души с осуждением другого лица, которое 9 лет о том же только и говорило? Но теперь уже дело кончено. Я надеюсь и отдельными сочинениями продолжать начатое мною в «Современнике». Его утрата останется навеки пятном нашим гениальным эгоистам, которые, как все светские люди, не прощают добродетели, что она нищая, а втайне чтят порок за то, что он в золоте. Посмотрим, чем кончится это соединение негодяев группами и одиночное странствование честных людей. Подобным образом рассуждаешь ты и о всех писателях, поименованных тобою в письме. Издали они тебе кажутся интереснее, нежели они в действительности. Впрочем, у тебя многое угадано верно, так что когда ты будешь здесь, то из статьи твоей о «Современ<нике>» можно будет выбрать много хорошего; теперь же пусть она останется в моем архиве. В другом письме своем, от 26 нояб<ря> / 8 дек<абря>, полученном мною 18/30 дек<абря>, ты говоришь, что с 1847 года нужнее участие мое в литературе, нежели было прежде. Это тебе показалось оттого, что в 1846 году я уже выступил из безмолвной методы действия на публику, а начал носом тыкать негодяев в их пакости. Но это не мое естественное состояние. Это была вспышка долго удерживаемого гнева. Я хочу лучше презирать в молчании, нежели пачкаться для бесславной победы. Впрочем, с 1847 года литература и без меня повернется: твоя книга вызовет все новое

в круг умственной деятельности. Последнее твое письмо от 30 нояб<ря> / 12 дек<абря> получено 22 дек<абря> / 3 янв<аря>. В нем ты жалуешься на медленность мою в отсылке тебе денег. Теперь уже ты получил их. Мы с Аркадием Россети определили высылать тебе «Северную пчелу», «Современник» и «Отечественные записки». Я за них уплачу из твоих денег, кои получу за новую книгу твою. Распорядись, в случае отъезда твоего, кому получать в Неаполе эти журналы. Будь здоров. Твердо иди по избранному пути. Осматривай все со всех сторон и будь органом полной истины. Обнимаю тебя.

### 1214. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Рим, 15-го января <н. ст.> 1847.

Моллер и Иванов говорили мне, что вы приедете в Рим; сегодня они получили ваши письма и отвечают, что не знают. Желание, и очень сильное желание увидеть вас, — зачем? определительно сказать не умею, — заставляет меня спросить вас самих — не думаете ли вы побывать в Риме до апреля? Уделите несколько минут и ответьте на этот вопрос. Все московские и в Петербурге Плетнев думали, что я вас увижу в Риме, поэтому все поручили мне вам кланяться. Положительно нечего мне сказать вам нового. Слава Богу, все идет хорошо, так мне кажется, другим многим, — что все идет худо. То ли, другое ли верно, не знаю, но видно, что идет все вперед и, что еще важнее, что ведут не столько люди, сколько Бог. Если вы мне напишете, потрудитесь адресовать в Café greco (Via condotti).

Истинно вас уважающий Ф. Чижов.

### 1215. Ф. А. фон Моллер — Н. В. Гоголю

20 января <н. ст.> 1847. Рим.

Поздравляю вас также с Новым годом, почтеннейший Николай Васильевич, и желаю вам от души исполнения всего того, что вы сами себе пожелаете. Благодарю вас за милое ваше письмецо, которое принесло мне много удовольствия. Я совершенно согласен с вами в том, что Провидение все устраивает к лучшему и что самые препятствия и остановки часто бывают причиной успеха в наших предприятиях. Я слишком часто испытал это на себе самом, чтобы унывать теперь от того, что столь долгое время не могу приступить к исполнению моей давно затеянной картины.

Что за гадость вышла бы, если бы я начал ее в прошлую осень. Композиция ее с тех пор во сто крат выиграла, и даже в последнее время, после вашего отъезда в Неаполь, многое в ней устроилось и обработалось гораздо удачнее, и что страннее всего, что после стольких перемен я наконец возвратился опять к самой первоначальной идее, разумеется несколько развитой и положенной. Дела мои по мастерской также, слава Богу, устроились довольно хорошо. На будущей неделе, наконец, надеюсь перебраться в новую мастерскую и с Божией помощью принимаюсь за картон.

Иванова встречаю по вечерам у Фальконе; письмецо ваше вручил ему в тот же день. Письмо ваше, адресованное в Café greco, он также получил. На мой вопрос, будет ли он к вам писать, ответил мне, что он полагает, что было бы весьма неблагоразумно с его стороны отвечать на ваши последние три письма. Когда я ему сказал, что вы с участием меня спрашиваете, то он ответил, что его этот ваш вопрос очень удивляет, ибо он полагает, что вы сами бы должны были знать, до какой степени ваши письма могли огорчить; впрочем, он теперь гораздо спокойнее, и я его часто вижу даже в весьма веселом расположении духа.

Чернышевы-Кругликовы кланяются вам от души и поздравляют с Новым годом; также и Тепловы и Анна Гавриловна, которая желает вам всех благ земных и небесных. Граф было несколько времени стал чувствовать себя очень хорошо, как вдруг опять от неизвестных причин получил новую простуду с кашлем и проч., отчего теперь опять здоровье его несколько порасклеилось. Он, однако ж, не опасно болен, и одышка с ним бывает теперь весьма редко и не так сильна, как прежде. Здоровье графини, которое также довольно долгое время было в наилучшем состоянии, теперь опять несколько расстроилось вследствие простуды; теперь уж третий день лихорадка.

Нас всех очень обрадовало, что вы отложили до будущего года ваше путешествие на Восток; это подает нам надежду еще в нынешнем году увидеться с вами в Риме.

Насчет слухов о вас я теперь еще пока ничего узнать не мог, ибо кроме Чернышевых и Тепловых ни с кем из русских не видаюсь. Но будьте уверены, что, коль скоро мне удастся узнать что-нибудь на ваш счет, я не премину немедленно же вам сообщить.

Братья мои свидетельствуют вам почтение свое; они прибыли сюда накануне нашего нового года. Обнимает вас мысленно душевно преданный вам Федор Моллер.

## 1216. Графине Л. К. Виельгорской

1847. Неаполь. Генварь 25 <н. ст.>.

Из рук Вик<тора> Влад<имировича> Апраксина вы уже, вероятно, получили мое письмо со всякими порученьями, на вас возлагаемыми. Если всё это пришло к вам поздно, и дело по поводу печатанья книги устроилось само собою благополучно, и книга вышла в свет без всяких пропусков, и вы остались чрез то без великодушного подвига в мою пользу, то вот вам другое дело, тоже истинно доброе и тоже достойное вашей доброй души, графиня. Если Государь взглянул благосклонно на мою книгу и пришлась она ему по сердцу, то употребите все старания ваши чрез людей, к Государю приближенных, посоветовавшись с Миха<и>лом Юрьевичем[1], или чрез него самого, или чрез кого другого, — словом, как найдете возможнее и лучше, употребите все старания, чтобы цензор, пропустивший мою книгу, был награжден, чтобы досталась на его долю если не награда, то, по крайней мере, благоволение за доверие к благородству высокой души Государя, которое показал он пропуском моей книги. Что ни говорите, но победить все смущения, как собственные, так равно и от других людей, которые смущали со всех сторон бедного цензора, восторжествовать над всякого рода страхами и опасеньями и робостью собственного своего цензурного начальства — значит, иметь слишком высокое мнение о благородстве души Государя и о возвышенности помышлений его. Если будет так устроено, что цензор Никитенко будет отличен за благородный поступок свой, то этим будет сделано истинно доброе дело, а мне драгоценнейший подарок, какой бы я мог получить из рук ваших.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Pétersbourg. Russie.

Ее сиятельству графине Луизе Карловне Вьельгорской.

В С. П. Бурге. На Михайловской площади, у Мих<айловского> дворца, в доме гр<афа> Вьельгорского.

## 1217. М. И. Гоголь

1847 г., генваря 25 <н. ст.>. Неаполь.

Сейчас я получил ваше письмо и спешу на него отвечать несколько строк. Никак я не мог думать, чтобы вас могло так огорчить мое письмо и присланный вместе с ним отрывок из моего

[1] посоветовавшись с теми, которые

завещания, которое было сделано тогда, как я, точно, был недалеко от смерти, от которой Божия милость меня избавила. Вы, как видно, не хорошенько вчитавшись в письмо мое, *прошедшее* приняли за *настоящее*. Я послал вам отрывок из завещания, рассчитывая на то, что вы уже получили мою книгу, в которой завещание мое напечатано целиком, в объяснение причины, зачем напечатана самая книга и статьи, в ней находящиеся. Если бы я знал, что книга моя замедлит выходом в свет, я бы не послал вам этого отрывка или послал бы с надлежащим изъяснением и вразумленьем. Как мне это прискорбно, что вы все не в меру опечалились! Вот как дурно не думать о смерти и не помышлять о будущей жизни: и малейший намек о них уже может смутить таких людей, тогда как мы ежеминутно и ежечасно должны приготовляться к смерти и так распоряжать дела свои, как бы завтра нам приходилось расставаться с жизнью и отдавать отчет в делах своих Богу. Только одна моя сестра Ольга показала высокое спокойствие духа в строках письма своего и твердую веру в Бога. Она одна не смутилась и приняла дело в настоящем виде, а не в том, в каком представляет человеку напуганное воображение.

В следующем письме я буду писать к вам подробнее обо всем, а теперь спешу отправить эти строки, чтобы вас успокоить. С вами нужно быть слишком осторожну. Нужно смотреть и взвешивать всякое слово. Не понимаю, отчего вам представляется, что я намерен остаться навсегда в Иерусалиме, тогда как я именно затем еду в Иерусалим, чтобы иметь право возвратиться в Россию и начать наконец мою службу истинную отечеству, к которой так долго приготовляюсь, или, лучше, — к которой готовит меня Сам Бог. Я удивляюсь, как вы даже не прочитали в письме моем последнем, что путешествие это мною отложено до следующего года, по причине многих не совсем устроившихся дел моих, и говорите, как бы я уже теперь туда ехал. Ради Бога, смотрите за собой получше: у вас у всех расстроены нервы, и оттого всё на вас наводит беспокойство. Я бы очень хотел, чтобы вы меня хотя сколько-нибудь умели любить любовью во Христе. Доныне мне кажется, что одна только сестра Ольга начинает меня любить такою любовью. Зато и радость наша при встрече с нею будет велика взаимно...

## 1218. М. И. Гоголь

Неаполь. Января 25 <н. ст. 1847>.

Пишу к вам вновь по поводу ваших писем, перечитавши их снова. Сначала мне было очень неприятно, что письмо мое, пришедши не вместе с книгой, ввело вас в заблуждение и тревожное состояние духа. Теперь я вижу, что случилось это не без воли Божией. Письмо мое нечаянным образом послужило пробою вашего состояния душевного и обнаружило предо мною, на какой степени любви и веры и вообще на какой степени христианских познаний и добродетелей находитесь вы все, — тем более что по письмам, писанным по приезде из Киева, мне уже было показалось, что сестры мои поняли, что такое христианство и чем оно необходимо в делах жизни. Я обманулся. Духовное распоряжение, которое я сделал во время тяжкой болезни, от которой меня Бог Своею милостью избавил, распоряженье, которое делает в такие минуты всяк, распоряжение, которое, по-настоящему, всяк христианин должен сделать заблаговременно и без болезни, хотя бы надеялся на свои силы и совершенное здоровье, потому что не мы правим днями своими — человек сегодня жив, а завтра его нет, — это самое распоряжение сделало такое впечатление на вас всех, кроме одной Ольги, как бы я уже умер и меня нет на свете. Я изумился только тому, как могут упасть духом те, которые только молятся Богу, а не живут в Нем, как Бог наказывает их помраченьем рассудка, потому что так перетолковать строки письма моего может один тот, у которого в затмении рассудок. ...Завещание мое, сделанное во время болезни, мне нужно было напечатать по многим причинам в моей книге. Сверх того что это было необходимо в объясненье самого появленья такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, — о которой редко кто помышляет из живущих. Бог не даром дал мне почувствовать во время болезни моей, как страшно становится перед смертью, чтобы я мог передать это ощущение и другим. Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит. Кто помнит о смерти и представляет ее себе перед глазами живо, тот не пожелает смерти, потому что видит сам, как много нужно наделать добрых дел, чтоб заслужить добрую кончину и без страха предстать на суд пред Господа. По тех пор, покуда человек

не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и всё будет откладывать от дня до дня на будущее время. Постоянная мысль о смерти воспитывает удивительным образом душу, придает силу для жизни и подвигов среди жизни. Она нечувствительно крепит нашу твердость, бодрит дух и становит нас нечувствительными ко всему тому, что возмущает людей малодушных и слабых. Моим помышленьям о смерти я обязан тем, что живу еще на свете. Без этой мысли, при моем слабом состояньи здоровья, которое всегда было во мне болезненно, и при тех тяжелых огорченьях, которые на моем поприще предстоят человеку более, чем на всех других поприщах, я бы не перенес многого, и меня бы давно не было на свете. Но, содержа в мыслях перед собою смерть и видя перед собою неизмеримую вечность, нас ожидающую, глядишь на всё земное, как на мелочь и на малость, и не только не падаешь от всяких огорчений и бед, но еще вызываешь их на битву, зная, что только за мужественную битву с ними можно удостоиться полученья вечности и вечного блаженства. Без этой мысли о смерти и вечности я бы не перенес и нынешней моей печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к которому я питал истинно родственную любовь, потому что питать истинно родственную любовь я могу только к тем, которые понимают мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни своей. Еще за несколько лет перед сим эта смерть сокрушила бы меня, может быть, совершенно. Теперь я принял эту весть покойно и, зная, что этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства, стараюсь от всех сил, чтобы и меня удостоил Бог быть с ним вместе, а потому молю Его ежеминутно, чтобы продлил сколько возможно подолее жизнь мою, дабы я в силах был наделать много добрых дел и удостоиться, подобно ему, небесного блаженства; и чрез это у меня и бодрости больше в жизненном деле, и я гляжу светло вперед. Итак, вот что значит смерть и мысль о смерти…

Кстати о моем приезде в Россию. Чтобы вы не перетолковывали по-своему слов моих и не выводили из них своих заключений, я вам объявлю мое намерение. Если Бог мне поможет устроить мои дела, кончить мое сочинение, без которого мне нельзя ехать в Иерусалим, то я отправлюсь в начале будущего 1848 года в Святую Землю с тем, чтобы оттуда летом того же года возвратиться в Россию. Итак, помните, что это может случиться

только в таком случае, если Бог мне поможет всё устроить так, как я думаю, и не пошлет мне препятствий, какие остановили в нынешнем году поезд мой, что, впрочем, случилось к лучшему и в несколько раз умнее того, как мы предполагаем. Итак, если хотите видеть меня скорее, то молитесь Богу и просите у Него. У меня есть, точно, желание ехать в Россию, и желание сильное; это я вам объявляю, но это не *обещание*, — понимаете ли вы это? Обещания я и прежде никому не давал в этом деле и не даю, да и глупо мне было бы обещать и обманывать вас. Также я вас просил оставаться в Васильевке и не выезжать только в таком случае, если бы отправился действительно в этом году в Иерусалим, но я не просил вас вообще не выезжать в Полтаву или в другие места. Напротив, если бы вас стали упрашивать навестить, вы не можете совершенно отказать. В городе можно узнать больше людей, чем в деревне, и если бы взглянули только другими и высшими глазами на общество, то вы бы увидели, что предстоит множество на всяком шагу прекрасных подвигов и дел. Но для этого прежде нужно предварительно и долго узнавать людей, иначе всякая помощь, какую мы ни станем оказывать людям, обратится мне во вред, а не в пользу. Потому-то я и просил их, сестер моих, которые имеют более на то времени, нежели мать, занятая и без того добрым делом хозяйства и попеченья о семействе дома, и которые притом молоды и всему еще могут выучиться; потому-то я и просил их расспрашивать всех людей как о них самих, так и о всех других, их окружающих. Человек страждет на всяком шагу, и на всяком месте часто происходят безмолвные страдания там, где мы не подозреваем и не предполагаем... Если бы они дали себе труд расспросить только одних городских священников о том, каковы у них люди в их приходах, и чем они страждут и какие у них болезни душевные и нужды, то они узнали бы уже много того, чего не знают и не видят многие люди. Кроме того, всякий чиновник, если только его расспросишь, в чем состоит его должность, то увидишь, что он состоит в каком-нибудь соприкосновеньи с людьми и знает людей и вещи с такой стороны, с какой не знает другой. Словом, от всех можно учиться на всяком шагу. И если только один год так проведешь, терпеливо узнавая и выпытывая и не спеша сгоряча помогать на донкишотский образец, когда еще не умеешь помогать, тогда наконец дойдешь, точно, до того, что узнаешь душу человека и увидишь, что на всяком шагу предстоит дело и занятие высокое для души, — и вся жизнь обратится в наслажденье. Писал я также о гостеприимстве

и хлебосольстве, но о хлебосольстве всем тем, что Бог послал, что производит собственная земля и хозяйство, а не тем, что берется в городе из бакалейных лавок или что привозят разносчики. Этой дрянью никого не удивишь и не насытишь, — только что трата насчет неимущих, потому что, если рассмотришь к концу года расходы да подведешь итог и смету всему, так увидишь, что на это ушла одна и другая тысяча. Но если бы хозяйки распорядились, чтобы на столе у них не было ничего покупного, и говорили бы гостю своему: «Мы вас угощаем не тем, что вы едите всякий день: это, мы знаем, вам прискучило, да и вышло оно бы, во всяком случае, хуже того, что вы едите всякий день, потому что город от нас далек, вина к нам могут придти дурные, а не хорошие, но угощаем мы вас нашими национальными малороссийскими блюдами, которых вы, верно, в городах не найдете»; то, поверьте мне, гостю будут в несколько раз приятнее эти простые вкусные блюда, чем те, которые хотят быть на манер немецкий и выходят ни се, ни то. А домашние хорошо сделанные наливки ему понравятся гораздо больше французских порченных <вин>, и таким образом одна-другая тысяча осталась бы в кармане, и, может быть, от нее досталось бы на долю и тем, которые умирают от нужды. Истинное хлебосольство не в том, чтобы завести у себя стол ничем не хуже других людей, обезьянничая на манер других и боясь на всяком шагу того, чтобы гость не осудил чего и не посмеялся над чем. Истинное хлебосольство состоит в радушном внимании к гостю, в уменьи расспрашивать и интересоваться его положением и обстоятельствами, в умении показать ему сочувствие в его горе и в его веселии, в уменьи сказать ему утешительное слово, так чтобы ему, по уезде от вас, стало бы легко на душе и показалось бы ему, что он был у близких и родных себе людей. Но довольно; я устал, у меня и без того мало времени...

### 1219. О. В. Гоголь

<20–25 января (н. ст.) 1847. Неаполь>

Неаполь. Генваря 20 <н. ст. 1847>.

Как мне приятно писать к тебе, добрая сестра моя Ольга, приятно потому, что ты уже возлюбила Бога больше всего на свете, оттого и письмо твое, как оно ни просто само по себе, но оно было проникнуто тем спокойствием и той твердостию воли, которых я не нашел в других, оттого и не смутилась ты так малодушно

и неразумно, а увидела одна дело в настоящем виде. Оттого и любовь к тебе у меня поселилась теперь родственная, и мне кажется, как будто ты точно моя родная сестра. Прочитавши письмо мое, так смутившее прочих, ты только крепче и лучше помолилась обо мне Богу и возвеселилась духом в твердой надежде, что Бог спасет меня и проведет повсюду невредимо, и, верно, твоя молитва достигнула Бога, и всё будет по ней исполнено, потому что Бог исполняет молитвы тех, которые умеют любить Его лучше всего на свете и земные привязанности считают мечтой пред привязанностию небесною. Люби же так и впредь Его или, что справедливей, люби Его с каждым днем больше, и чтобы образ Его стоял в мыслях твоих неотлучно впереди всех, впереди матери, впереди брата, впереди сестер и впереди всего на свете. Христос сказал: «Оставь и отца, и мать, и всё на свете и следуй за Мною». Что же значит следовать за Христом? Следовать за Христом значит во всем подражать Ему, Его Самого взять в образец себе и поступать, как поступал Он, бывши на земле. Как же поступал Христос? Какой род жизни избрал Он во образец людям: оставил ли Он всех и удалился в пустыню? Нет. Он проходил города и села, всюду искал людей, везде приносил утешительное слово Свое, везде целил болящие души и помогал им спасаться, указывая всем путь и дорогу к спасению. Так и нам следует поступать, не сидеть в удалении от людей, <но> повсюду отыскивать страждущих и помогать им, полюбить всех людей так, как полюбил Он Сам, положивший за них жизнь Свою. И сим одним только мы можем угодить Ему и получить на небесах блаженство. Апостол Петр уверял Господа чаще всех других учеников, что он любит Его. Божественный Учитель на это молчал и потом, когда Петр уже совсем убедил себя, что он любит Господа, сделал, в свою очередь, такой запрос: «Симоне Ионин, любишь ли Мене?» — «Люблю, Господи», — отвечал на это Петр. «Паси овцы Моя!» — сказал Спаситель. Петр ничего не сказал на это, потому что не мог тогда еще даже изъяснить себе, что значит: «Паси овцы Моя». А Спаситель вновь тот же вопрос: «Симоне Ионин, любишь ли Мене?» И когда тот клятвенно сказал, что любит, вновь присовокупил: «Паси овцы Моя!» Петр опять замолчал, не зная, как понять эти слова. Спаситель тогда в третий раз повторил тот же вопрос и, когда Петр даже оскорбился, опять присовокупил те же слова: «Паси овцы Моя!» После уже, по смерти Господней и по воскресении Его, объяснилось всем ученикам полное значение слов Его; после уже почувствовали все ученики, что угодить Господу можно,

только заботясь об овцах Его и о спасении душ их. Все они разошлись тогда во все стороны, всюду разносили по примеру Самого Господа братски утешительное слово, везде отыскивали людей и везде помогали спасаться им. И по примеру их всех новообращенный христианин спешил поделиться всем, что ни получил от учителей, его просветивших, с бедными, в греховной тьме еще находившимися людями-братьями, и помогал им спасаться, и все учили друг друга, как идти по пути, оставленному Самим Христом, и путь этот был путь любви. Все люди стали одна семья, и загорелась небесная любовь на земле. Так должны и мы поступать, как поступали они: полюбя людей *любовью во Христе*, помогать им повсюду. Истинно христианская помощь не в одном денежном подаянии, — это еще небольшая помощь. Избавить от нужды, холода, болезни и смерти человека, конечно, есть доброе дело, но избавить от болезни и смерти его душу есть в несколько раз большее. Обратить преступного и грешника ко Господу — вот настоящая милостыня, за которую, несомненно, можно надеяться получения небесного блаженства. Ибо ты сама уже, вероятно, узнала из Евангелия, что на небесах больше радуются обратившемуся грешнику, чем самому праведнику. А для этого подвиги тебе предстоят на всяком шагу, обратись только вокруг себя. Много в вашем соседстве пребывает людей во пьянстве, буйстве, разврате всякого рода и пороках. Губят невозвратно свою душу — и нет человека, который подвигнулся бы жалостью к ним, и нет человека, который бы так пожалел о душах их, как бы о собственной душе своей, и возгорелся бы хотя частицею той любви, которою горит к нам Божественный Спаситель наш. Не думай, чтобы душа человека могла уже так грубо зачерстветь, что никакие слова не в силах поколебать его. Надобно сказать лучше, что нет прямой любви к человеку, оттого и слова бессильны: слово без любви только ожесточает, а не мирит или исцеляет. Узнай только душу человека, войди только хорошенько в его обстоятельства жизни, рассмотри только его не торопясь — и ты увидишь, что можно помочь душе его, и облобызает он потом руку, его спасшую. Ты уже начала делать некоторые приуготовления к тому, ты не пренебрегла моими словами и просьбами расспрашивать всякого человека и узнавать его. Ты будешь отныне еще больше это делать и через то еще больше познакомишься с душой человека вообще, стало быть, придешь в силы помогать самой душе его. Нет из нас никого такого, кто бы мог сказать: я не могу или я не в силах помочь. Сами по себе мы ничего не можем, но помогает Бог,

подающий силу бессильным. Нужно только не быть самонадеянным и, вооружась смирением, рассматривать пристально всякое дело, не доверяя себе даже и тогда, когда уже покажется, что знаешь. Нужно расспросить обо всех обстоятельствах того, кому хочешь помочь, даже из его прежней жизни, нужно расспросить о нем также всех других, его знающих, и потом, когда уже всё узнаешь, крепко помолиться Богу, чтобы вразумил, как поступить умно и разумно, и поступишь разумно, потому что Бог подаст разум просящему. Если будешь лечить кого-нибудь, лечи в то же время и душу его, и лечение твое будет сугубо целительно. Говори больному своему, что если он хочет, чтобы лекарство твое ему точно помогло, то прежде всего должен освободить свою душу от всего тяжкого, что на ней лежит, строго пересмотреть самого себя, не наделал ли он каких грехов, за которые послал ему Бог болезнь, и покаяться в них, и дать искреннее обещание не делать ничего впредь подобного. Сама также молись о нем, чтобы Бог помог ему исцелиться не только телесно, но и душевно. Читай всякий день Новый Завет, и пусть это будет единственное твое чтение. Там всё найдешь, как быть с людьми и как уметь помогать им. Особенно для этого хороши послания апостола Павла. Он всех наставляет и выводит на прямую дорогу, начиная от самых священников и пастырей Церкви до простых людей, всякого научает, как ему быть на своем месте и выполнить все свои обязанности в мире как в отношении к высшим, так и низшим. Читай не помногу: по одной главе в день весьма достаточно, если даже не меньше. Но, прочитавши, предайся размышлению и хорошенько обдумай прочитанное, чтобы не принять тебе в буквальном смысле то<го>, что должно быть принято в духовном смысле. Обдумай, как применить к делу прочитанное в теперешнее время при нынешних обстоятельствах, которые во многом изменились противу тогдашних, какие были во время апостола Павла, хотя сила дела осталась та же. Иначе и с добрым намерением можно наделать много неразумных дел. Всякое слово из Святого Писания требует здравого и долгого размышления и предварительной молитвы к Богу о том, чтобы вразумил вникнуть в истинный смысл его, и потом требует также молитвы к Богу о том, чтобы помог уже понятое разумно применить к делу и привести к исполнению. Кто же не поступает так, тот никакой пользы не извлечет из Святого Писания, только глотает одни слова. Даже и в простые слова простого человека следует хорошенько вслушиваться, а тем более в слова возвышенные и направленные ко спасению души нашей, какие находятся на всяком месте

Святого Писания. Ты уже видела на деле, как многие, прочитавши без всякого рассуждения слова письма моего, все их перетолковали по-своему и наделали тем вред самим себе, хотя мои слова совсем не были так мудрены, чтобы не понять их. Чтение Ефрема Сирянина будет для тебя полезно только во время поста и особенно во время говенья, когда ты будешь иметь дело с самой собой; во все же прочие дни, когда ты будешь иметь дело с людьми, держись Евангелия и Посланий Апостольских. Говеть я тебе советую четыре раза в год, в четыре главные поста, и в это время, оставивши всех, думать об одной себе, переселиться как бы в мысленный монастырь, перебирая всю себя во всех делах соделанных, начиная от последнего, пред тем бывшего своего говенья, спрашивая у себя отчет во всем, поверяя себя пристально, от каких недостатков своих успела уже освободиться и какие еще остаются, чтобы тебе ко всякой новой исповеди приходить сколько-нибудь не такой же, какой ты приступала в прошлом году, но хотя сколько-нибудь лучшей против прежней, чтобы таким образом вечно тебе возрастать и совершенствоваться. Когда же говенье твое кончилось, и монастырь твой должен кончиться. Ты вновь должна возвратиться в мир к людям, и на столе твоем на место Ефрема Сирянина пусть вновь лежит Евангелие. Молись не много в день и не стой долго на молитве. Лучше произноси от всей души: *Господи помилуй* или *Господи помоги* при всяком деле и начинании, какое ни случилось бы делать <в> продолжение дня, — и дела твои помолятся за тебя сами собою и на место всяких слов. Не поступай так, как те, которые заставляют себя насильно простоять по часу и более на молитве всякое утро и вечер, а остальное время дня обходятся вовсе без Бога, позабывая призывать Его во всяком поступке и житейском деле. Оттого и не получают они никакой пользы от своей набожности, шатаются, как слабый тростник от ветра, и всякое не только несчастие, но даже малейшая неприятность в силах смутить их и заставить потеряться, оттого не бывает и разума во всех делах их и во всех их начинаниях. Ты же, напротив того, не только при всяком деле трудном, но даже и маловажном, призывай Бога. Если бы даже и не случилось дела, представляй себя мысленно, как бы ты уже находилась в таких и таких обстоятельствах и было бы у тебя такое-то дело, и воображай самоё себя, как должна бы ты поступить сообразно с разумом начертаний Божиих. Словом, попробуй вперед себя и поставляй себя заблаговременно во все обстоятельства, какие могут представиться человеку, и проси у Бога вразумления, как поступать среди их разумно. Представляй себе также вперед всякие огорчения,

неприятности, несчастия, могущие случиться на всяком шагу нам в жизни, и попробуй себя, как бы ты их перенесла, чтобы видеть, в какой степени ты христианка и чего еще недостает тебе. И если почувствуешь, что душа твоя еще слаба и нет твердости в духе, тогда читай страдания Иова. И душа твоя окрепнет, ты воспитаешься понемногу так, что никакое несчастие не в силах будет сокрушить тебя. Впрочем, несчастие не посмеет даже и приступить к тебе, несчастие нападает только на того, кто боится его, а кто идет твердо навстречу его, от того оно бежит. Всё это письмо мое ты перечти внимательно, перечти его не один раз, но несколько, в различные часы и в различные состояния душевные. Можешь даже дать прочесть его и сестрам, если они захотят того, хотя я сомневаюсь, чтобы оно было ими как следует понято. Мудрость свою они покуда черпают из разного рода повестей, а не из Евангелия, а потому все вещи стоят пред ними не в настоящем свете. Но прощай. Письмо мое было длинно. Пиши откровенно всё, что ни есть, и помни, что ты пишешь брату во Христе.

Н<иколай>.

Скоро ты получишь из Москвы несколько денег для раздачи бедным, которые я просил переслать к тебе. Хоть их немного, но, если с разумом распределить их, они придутся в помощь. Ты это дело можешь сделать лучше другого, потому что умеешь уже расспрашивать и осведомляться о человеке. Стало быть, имеешь возможность лучше узнавать человека.

### 1220. В. А. Жуковскому

Неаполь. 25 генваря <н. ст. 1847>.

И Языкова уже нет! Небесная родина наша наполняется ежеминутно более и более близкими нашими сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней. Брат мой прекрасный, отныне мы должны быть еще ближе друг другу и, живя на земле, глядеть так друг на друга, как бы встретившиеся в дому небесного Родителя нашего братья. Посылаю выписку из письма Шевырева.

Твой Г<оголь>.

Мой адрес: Неаполь. Palazzo Ferandini.

*<На обороте:>*

Francfort sur Mein.

Son excellence monsieur Basile de Joukoffsky.

Francfort s/M. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

## 1221. А. О. Смирновой

Неаполь. Января 30 <н. ст. 1847>.

По делам моим произошла совершенная бестолковщина. Из книги моей напечатана только одна треть в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга. Плетнев объявляет весьма хладнокровно, что просто не пропущено цензурой. Самые важные письма, которые должны были составить существенную часть книги, не вошли в нее, — письма, которые направлены были именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу Государю и всем моим соотечественникам. Я писал на днях Вьельгорскому, прося и умоляя представить эти письма на суд Государю. Сердце говорит мне, что он почтит их вниманьем своим и повелит напечатать. Друг мой, прошу вас, молитесь обо всем этом и особенно молитесь о том, чтобы послал Бог необходимое спокойствие в мою душу, которое теперь слишком трудно будет сохранить[1] мне, потому что недуги приступили ко мне вновь. Бессонницы, продолжающиеся уже более месяца, известие о смерти Языкова, с которым мы жили душа в душу, наконец, известие о беде, постигшей мою книгу, и о нелепом ее появлении в свет, — всё это изнурило меня. Друг мой, молитесь обо мне, да Господь подаст мне силы и укрепит меня...

Весь ваш Гоголь.

## 1222. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

*<1. Фрагмент письма, опубликованный в 1858 г.>*

Рим, 22 генваря 1847.

Не отвечаю ни на одно из трех ваших писем, потому что боюсь ответ поверить бумаге, и только при личном свидании со мной вы разберете, кто из нас виноват.

Доброта Виктора Владимировича меня изумляет: он, между прочим, берется переслать это письмо к вам.

Положение мое, все еще тревожное, не может иначе устроиться, как вами, то есть когда вы ступите в службу к князю как секретарь русских художников. Вся ваша деятельность будет состоять в написании четырех-пяти отчетов об лучших из нас во все продолжение окончания моей картины, в которых вы гениальным пером вашим приготовите Государя на верную оценку

[1] *Было:* переносить

наших художнических произведений, кои в продолжение этого же времени будут иметь свое окончание. Отчеты ваши будут печататься по Высочайшему повелению, и, следовательно, ваш талант приготовит в то же время публику отечественную понимать величие и высоту художника.

Князь будет руководитель или наставник Киля, утвержденный Государем. Об этом будут стараться многие. Князь предложит Чижову звание агента. Должность его будет — заменять начитанность пенсионерскую, то есть он вместо их будет вычитывать книги, какие они ему укажут, на разных языках и выносить им оттуда результаты, приспособленные к художнической точке зрения, из чего после вы, пожалуй, составите книгу для образования молодых будущих в России <художников>. К этому он знает математику; следовательно, — клад для архитекторов. Ему будет вверена библиотека, приращение коей будет зависеть от вас и от совета пенсионеров, всегда под председательством князя. Он будет иметь казенные две комнаты на сей конец. Князь может тогда отставить доктора и эти деньги обратить на покупку книг. Киль останется попечителем художников третьего разряда, то есть не достигших пенсионерского звания и имеющих надобность в помощи. Он же будет передавать векселя пенсионерам. Все это требует непременно мудрых советов и действий Софьи Петровны.

О приезде Ее Превосх<одительства> прошу известить меня ранее, дабы я мог выехать навстречу в Альбано, — не лишите меня этого удовольствия. Аристократ, действующий согласно с высотой своего звания, невольно влечет к себе на поклонение людей с самыми высокими достоинствами! Кстати, мне очень нужно повидаться с дальним родственником Лапченки.

Недавно мне случилось испытать диавольское нашествие вот в каких словах: «Начальник над русскими художниками в Риме, заведывающий Высочайшими заказами Государя Императора в Италии, отъезжая во вторник вечером на некоторое время из Рима и желая видеть пред отъездом своим заказанную вам Его Императорским Величеством картину, а потому и предлагаю вам, милостивый государь, согласно желанию Его Превосходительства генерал-майора Киля, находиться в студии вашей во вторник 5-го генваря, с 10 часов утра до 12 пополудни, ибо около сего времени Его Превосходительство намерены посетить студию вашу.

Секретарь дирекции Константин Зубков».

И вот был мой ответ: «На присланную вами бумагу долгом почитаю ответствовать, что данная мною подписка при получении денег от Государя Императора заставляет меня употребить все мои часы на приведение к возможно скорейшему окончанию моей картины. Вследствие чего я работаю над нею безостановочно и потому никоим образом не могу уделять ни малейшего времени для приема посетителей в мастерской моей. При сем за нужное считаю известить вас, что, облагодетельствованный милостями Монарха и ободренный его благосклонным вниманием к труду моему, я теперь ни при каких неожиданно могущих встретиться обстоятельствах не дерзну беспокоить его о дальнейшем пособии. Письмо это может служить мне подпискою. Вследствие всего этого прошу покорно вас, милостивый государь, представить генерал-майору Килю, что я убедительнейше прошу оставить меня беспрепятственно заниматься моею работою, без чего я никак не в состоянии буду, не возмущая моих занятий, исполнить мое искреннее желание — окончить картину мою к возможно скорейшему времени. До сих пор я отказывал самым близким мне лицам и, кроме их, людям государственным, глубоко мною уважаемым, именно потому, что всякое посещение, и еще более показ работы на полном ее движении, возмущает мое внутреннее спокойствие и решительно останавливает ход ее».

Все, что я тут вам написал, все это тайна, которую прошу никому не доверять.

Вам совершенно преданный

Александр Иванов.

*<2. Продолжение письма по черновому автографу>*

Ставассера и Климченку довели до того, что они сожалеют, что еще в живых находятся их родители, а то бы решились на уголовное преступление. Прочие все в унынии.

*<3. Фрагмент черновой редакции, написанной от имени князя П. М. Волконского>*

По поручению Его Превосходительства, посланника Рус<с>кого в Риме, я должен был войти в положение между Директорством и художниками Рус<с>кими в Риме, вследствие разных происшедших тут неприятностей.

Разобрав дело, нахожу необходимым сменить Секретаря и Агента и предложить должность первого Вам, как известному глубокомыслием и одаренному чувством изящного, а следовательно, совершенно способного чувствовать дальнейшее развитие

отечественных художников, от совершенства коих непосредственно зависит эстетическая жизнь[1] человечества.

Не льстя Вам нисколько, я совершенно верю, что сам Государь в гениальных отчетах Ваших найдет отраду и услаждение среди тягостных забот своего высокого ремесла, а напечатанные, по прочтении Его Величеством, драгоценные листы Ваши доставят публике верной взгляд на изящное и воспитают ее к понятию о высоте и величии соотечественного художника.

### 1223. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Рим, 26-го января <н. ст.> 1847 г.

Письмо ваше я получил; оно заставляет меня распорядиться так, чтоб непременно улучить время быть в Неаполе. Настоящие занятия мои не позволяют этого делать ранее половины марта; потом я приеду. Сделайте одолжение, писавши сюда, напишите ваш адрес, чтоб скоро можно было найти вас. Очень и очень хотелось бы снискать ваше доброе мнение, чтоб, опираясь на это, на многое попросить ответов и советов, или, по крайней мере, мнений. Теперь мы на распутии, — большею частию идет так, как, кажется, должно по внутреннему голосу; но иногда этого недовольно, надобно было бы и поотчетливее ждать путь и ход. Думаешь иногда спросить совета, как-то принимают так не радушно, так не по-братски, что невольно закрываешься там, где нужно было бы открываться всему. Разумеется, большею частию виноват сам, — спрашиваешь не из искреннего желания узнать истину, а так чтобы «себя показать и людей посмотреть».

Душевно уважающий вас Ф. Чижов.

### 1224. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

<29–30 января (н. ст.) 1846. Рим>

29 декабря.

Грустным вестником надобно мне быть для вас, Николай Васильевич, очень грустным. Вот вам слова из письма Свербеевой, сегодня мною полученного. «Грустная весть, боюсь, как бы не достигла до вас прежде моих строк. Языков болен нервической горячкой и нет никакой надежды. Силы его так были истощены и прежде. Вам, конечно, очень грустно будет по нем. Кому из друзей его не грустно! В моем последнем письме, отправленном

[1] будущего

24 дек<абря>, я не хотела вас опечалить вестью о болезни Языкова. Иноземцев еще не терял надежды тогда. Я плохо надеялась, мне сердце говорило, что угрожает нам. Петр Михайлович при нем. Александр Михайлович прожил с ним три недели, уехал, когда уже он занемог. Хомяковых нет здесь; им писали о неминуемом горе».

Вы знали Языкова больше других, вам придется и грустить далеко больше других. Мне стыдно признаваться, как меня поразило это, может быть, и потому, что Языков был в глазах моих святым человеком.

Александр Андреевич грустит со мною; он вам кланяется. Он дает мне надежду здесь вас увидеть, но так не ясно. Чем больше думаю, тем более чувствую необходимость вас видеть. Дай вам Бог здоровья, оно нам нужно. Душевно вас уважающий

Ф. Чижов.

30 дек<абря>.

Простите, что докучаю вам свиданиями с вами; просто бы приехать к вам, но я не скрою, что и средства, и время у меня таковы, что во всякой поездке надобно дать строгий себе отчет. Если вы решительно не будете сюда, лучше было бы поехать во время карнавала. И без настоящей неприятности он мне не был бы весел, а теперь я не знаю, успею ли я до него одуматься. Вчера меня поразило известие, — сегодня входит глубже, и чем больше вижу, что мы потеряли, тем больше тоскуется. Тем или другим путем мы теряем все прекрасное. Напишите, Николай Васильевич, несколько строк; может быть, вы вашим уединением укрепили силы, веру в Провидение и покорность ему, — научите, как снискать их.

Укрепи Бог ваше здоровье; чем больше теряешь, тем сильнее чувствуешь, как дорого посланное нам Богом.

## 1225. А. А. Иванову

Неаполь. Февраля 4 <н. ст. 1847>.

Что с вами делается, Александр Андреич? Я с изумлением прочел ваше письмо, недоумевая, ко мне ли оно писано? Предложение ваше, сделанное в прошлом году Чижову, которого вы хотели сделать секретарем[1], положим, еще могло иметь[2] какой-нибудь

[1] из которого вы хотели сделать секретаря
[2] еще имело

смысл, потому что Чижов занимался этой частью и притом не избрал себе никакого отдельного поприща, но и ему не прилично было такое место: как бы то ни было, он профессор[1] и приготовил себя вовсе не для того, чтобы сыграть роль чиновника для письма. Но сделать мне такое предложение — уж этакого сюрприза я никак не мог ожидать. Я не могу только постигнуть, как могло вдруг выйти из головы вашей, что я, во-первых, занят делом, требующим, может, побольше вашего *полного* посвященья ему своего времени, что у меня и сверх моего главного дела, которое вовсе не безделица, наберется много других, более сообразных с моими способностями, чем то, которое вы предлагаете[2], что и самый образ мыслей моих, даже и насчет этого дела, вовсе не сообразен с образом мыслей тех людей, которых вы хотите постановить моими начальниками, и даже с вашими, что я, наконец, на дороге и остановился в Италии только на время, как в гостинице и трактире, что даже и прежде, не только теперь, я уже по причине моих недугов не мог связать себя никакою должностью, потому что я сегодня здесь, а завтра в другом месте. Но всё это вдруг вышло у вас из головы, как бывает со всеми теми людьми, которые не умеют ничего хорошенько сообразить и обо всем порядочно подумать. И какой странный, решительный тон письма: такой-то должен быть тем-то. Киль должен заняться таким-то делом, князь Волконский таким. Наконец, мне самому предписаны границы и пределы моих занятий, так что я невольно спросил: «Да чья же здесь воля изъявляется?» По слогу письма можно бы подумать, что это пишет полномочный человек: герцог Лейхтенбергский или князь Петр Михайлович Волконский по крайней мере. Всякому величаво и с генеральским спокойствием указывается его место и назначение. Словом, как бы распоряжался здесь какой-то крепыш, а вовсе не тот человек, которого в силах смутить и заставить потеряться на целый месяц первая бумага Зубкова. Мне определяется и постановляется в закон писать пять отчетов в год — даже и число выставлено! И какие странные выражения: писать я их должен *гениальным* пером. Стоят *отчеты о ничем* гениального пера! А хотел бы я посмотреть, что сказали бы вы, если бы вам кто-нибудь сверх занятия вашей картиной предложил рисовать в альбомы по пяти акварелей в год. Воображаю, если бы вы были начальник, хорошо бы разместили по местам людей! Конечно, и лакейское место ничем не дурно, если взглянуть на него

[1] но уже был профессор<ом>
[2] предполагаете

в христианском смысле, но всё же нужно знать, кому предлагать его. Нужно уважать путь и дорогу всякого человека, если только они уже избраны им, а не отвлекать его от избранного им уже поприща. Ведь вас же я не отрываю от вашей картины и не посылаю, куды мне вздумается, а вы — мало того, что в состоянии оторвать от дела человека, готовы еще толкать его в самое необдуманное дело, какое может только представить человеку разгоряченное воображение, не взвешивающее ни обстоятельств, ни людей. Какое странное ребячество в мыслях и какое неразумие даже в словах и в выраженьях? Ради Бога, оглянитесь пристально на самого себя! Разве вы не чувствуете, что нечистый дух хочет вас вновь втянуть в эти прожекты, которые наполнили беспокойством жизнь вашу и отняли у вас так много драгоценного времени. Сколько раз вы давали мне обещание не вмешиваться больше в эти официальные дела, сознаваясь сами, что не имеете для этого настоящего познания людей и света. Сколько раз сознавались сами, что все эти прожекты только запутывали еще более дела и на место помощи, которую вы хотели принести ими страждущим товарищам, только производили то, что положение их становилось еще тягостней и хуже. И не успел я выехать из Рима, как у вас в голове образовался уже новый проект, всех других сложнейший, всех других несообразнейший и более всех других невозможнейший относительно исполнения. Стыдно вам! Пора бы вам уже, наконец, перестать быть ребенком! Но вы всяким новым подвигом вашим, как бы нарочно, стараетесь подтвердить разнесшую<ся> нелепую мысль о вашем помешательстве, И зачем вы меня обманываете: зачем пишете, будто бы работаете над картиной и даже будто бы молитесь? Кто работает, точно, над делом, тому некогда сочинять такие проекты. Кто молится, у того виден разум во всех словах и поступках, и Бог не допускает его к таким ветреным и необдуманным сочинениям. Я вам писал уже раз,[1] если даже не два, чтобы хотя в продолжение двух-трех месяцев[2] потерпели бы, не мешались бы ни во что. Дело ваше устроится лучше, чем вы думаете.[3] Скажите, зачем вы не верите моим словам, а верите чорт знает кому? Мне просто не следовало бы вам отныне ни говорить, ни писать ни о чем, а прекратить всякие сношения: от слов моих я не вижу никакой пользы. Они точно вода, которую льют в решето. Сегодня вы со мною согласитесь

[1] *Далее начато:* сидите смирно и не мешайте

[2] в продолжение не более месяцев

[3] *Далее начато:* я написал даже ясно, что из

во всем, а завтра же приметесь вновь за свое. Вас опыт не учит. Ради Христа, гоните этого духа искушения, рисующего[1] вам всякие возможности там, где их нет, обольщающего вас, разгорячающего воображение ваше, поселяющего в вас дымное надмение самим собой и уверенность в уме своем, заставляющего вас влюбляться в собственные мысли, из которых иные, если и не глупы в основании своем, то выразятся у вас в таком виде, что скорей походят на бред человека в горячке. Запритесь в свою студию и предоставьте всякие ходатайства по делам художества Чижову: он, и не вступая в официальные сношенья с вашим начальством, сумеет как человек, более вас покойный и хладнокровный, уладить многое миролюбно, без бумаг и канцелярий. Вот всё, что я вам скажу. Больше мне нечего прибавить. Относительно вас совесть моя покойна: я сделал для вас то, что повелел мне собственный мой рассудок, а не ваш. Если <бы> вы потерпели хотя немного времени, то увидите этого плоды. Вам остается только молиться.[2]

<*На обороте:*>
Александру Андреевичу Иванову.

### 1226. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

1847. Москва. Января 8.

Посылаю тебе, любезный друг, первые вырученные деньги за 2-е издание М<ертвых> Душ. Типография подождет и, конечно, не долго. За бумагу также отдать успеем. Издание, судя по началу, не залежится. Плетнев писал ко мне, что ты нуждаешься. Потому и тороплюсь отправить. Я выпустил М<ертвые> Души, лишь только получил известие, что вышла твоя Переписка. Но последней всё еще не получал. А у меня один книгопродавец уже закупил вперед 1 200 экз<емпляров> твоей Переписки на наличные деньги, с уступкою 25 проц<ентов>. Деньги получу, как вышлются экземпляры, и немедленно перешлю к тебе. Плетнев в восторге от твоей книги. Мне до смерти досадно, что ее еще у нас нет. Прилагаемая трета прима от Ценкера и Колли на Турнгейнсов в Париже в 2 415 фр<анков> (соответств<уют> 2 100 р<ублям> ас<сигнациями>) от 11 января 1847 за № 11944. 2-я осталась у меня. Обнимаю тебя.

Твой С. Шевырев.

[1] пред<ставляющего>
[2] *Далее начато:* и быть

Присылать тебе весь Городской Листок? Ведь это ужасно дорого станет. Я тебе пришлю свою лекцию и еще статью, которая тебе сладка будет в нашем общем горе.

<*Адрес:*>
Его высокоблагородию Николаю Васильевичу Гоголю в Неаполе. Monsieur Monsieur Nicolas de Gogol à Naples. Poste restante.

### 1227. Начальник Его Императорского Величества Военно-Походной Канцелярии граф В. Ф. Адлерберг — Н. В. Гоголю

<9 января 1847. Санкт-Петербург>

Милостивый Государь
Николай Иванович.[1]

*Государь Император* изволил прочитать с особенным благоволением всеподданнейшее письмо ваше о выдаче вам паспорта для путешествия к Святым местам. *Его Величество Высочайше* повелеть мне соизволил: уведомить Вас, Милостивый Государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого Вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось, но что, искренно желая содействовать вам в благом вашем намерении, *Государь Император* приказал Министру Иностранных Дел снабдить вас беспошлинным паспортом, на полтора года, для свободного путешествия к Святым местам, и вместе с тем сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в Турецких владениях, Египте, Сириии Малой Азии, что *Государю Императору* угодно, дабы вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение, и независимо от сих сообщений означенным лицам доставить вам рекомендательные к ним же письма от него, Графа Нессельроде.

О таковой *Высочайшей* воле уведомляя Вас, Милостивый Государь, считаю долгом присовокупить, что вместе с сим об оной мною сообщено Министру Иностранных Дел, для надлежащего с его стороны исполнения.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

В. Адлерберг.

Его Высокоб<лагоро>дию.
Н. И. Гоголю.[2]
№ 12.
9 Генваря 1847 г.

[1] *Так в источнике.*
[2] *Так в источнике.*

## 1228. П. А. Плетневу

Неаполь. Февра<ля> 6 <н. ст. 1847>.

Я получил твое письмо с известием о выходе моей[1] книги. Зачем ты называешь великим делом появление моей книги? Это и неумеренно, и несправедливо. Появление моей книги было бы делом не *великим*, но точно полезным, если бы все уладилось и устроилось как следует. Теперь же, сколько могу судить по числу страниц, тобою объявленных в письме, не пропущено больше половины и притом той существенной[2] половины, для которой была предпринята вся книга, да к тому (как ты замечаешь глухо) вымарано даже и в пропущенных множество мест. В таком случае уж лучше было бы придержать книгу. На книгу мою ты глядишь как литератор, с литературной стороны; тебе важно дело собственно литературное. Мне важно то дело, которое больше всего щемит и болит в эту минуту. Ты не знаешь, что делается на Руси, внутри, какой болезнью там изнывает человек, где и какие вопли раздаются и в каких местах. Тепло, живя в Петербурге, наслаждаться с друзьями разговорами об искусстве и о всяких высших наслаждениях. Но когда узнаешь, что есть такие страданья человека, от которых и бесчувственная душа разорвется, когда узнаешь, что одна капля, одна росинка помощи в силах пролить освежение[3] и воздвигнуть дух падшего, тогда попробуй перенести равнодушно это уничтоженье писем. Ты не знаешь того, какой именно стороной были полезны мои письма тем, к которым они писались; ты души человека не исследовал, не разоблачал как следует ни других, ни себя самого пред самим собою, а потому тебе и невозможно всего того почувствовать, что чувствую я[4]. Странны тебе покажутся и самые слова эти. С меня сдирают не только рубашку, но самую кожу, но это покуда слышу[5] только один я, а тебе кажется, что с меня просто снимают одну шинель, без которой, конечно, холодно, но всё же не так, чтобы нельзя было без нее обойтись. В бестолковщине этого дела по части цензуры, конечно, я виноват, а не кто другой. Мне бы следовало ввести с самого начала в подробное сведение всего этого графа Миха<и>ла Юрьевича Вьельгорск<ого>. Он бы давно довел до сведенья

[1] твоей

[2] самой существенной

[3] чудное освежение

[4] а потому я извиняю тебе твое равнодушие к [этому делу] этой стороне моих

[5] но это — увы! — слышу

Государя о непропущенных статьях. Это добрая и великодушная душа, не говоря уже о том, что он мне родственно-близок по душевным отношеньям ко мне всего семейства своего. Он, назад тому еще месяц, изъяснил Государю такую мою просьбу, которой, верно, никто бы другой не отважился представить.[1] Просьба эта была гораздо самонадеяннее нынешней, и ее бы вправе был сделать уже один слишком заслуженный государственный человек, а не я. И добрый Государь принял ее милостиво, расспрашивал с трогательным участием обо мне и дал повеленье канцлеру написать во все места, начальства и посольства за границей, чтобы оказывали мне чрезвычайное и особенное покровительство повсюду, где буду ездить или проходить в моем путешествии. И чтобы этот самый Государь отказался бросить милостиво-благосклонный взгляд на статьи мои, не хочу я и верить этому. Перепиши всё набело, что не пропущено цензурою, вставь все те места, которые замарал красными чернилами Никитенк<о>, и подай всё, не пропуская ничего, Михаилу Юрьевичу. Я не успокоюсь по тех пор, пока это дело не будет сделано так, как следует. Иначе оно у меня не сделано. Какие вдруг два сильные испытания! С одной стороны, нынешнее письмо от тебя; с другой стороны, письмо от Шевырева с известием о смерти Языкова. И всё это случилось именно в то время, когда и без того изнурились мои силы вновь приступившими недугами и бессонницами в продолжение двух месяцев, которых причины не могу постигнуть. Но велика милость Божия, поддерживающая меня[2] даже и в эти горькие минуты несомненной надеждой в том, что всё устроится, как ему следует быть. Как только статьи будут пропущены, тотчас же отправь их к Шевыреву для напечатанья во втором издании в Москве, которое, мне кажется, удобнее произвести там как по причине дешевизны бумаги и типографии, так равно и потому, что он менее твоего загроможден всякого рода делами и изданьями. На это письмо дай немедленный ответ. Обнимаю тебя от всей души.

Твой Г<оголь>.

Если же ты не будешь занят никаким другим делом, и время у тебя будет совершенно свободное, и будет предстоять возможность отпечатать весьма скоро книгу хорошо и без больших издержек, тогда приступи сам. Пожалуста, ничего не пропусти и статьи, пострадавшие много от цензора, вели лучше переписать

[1] *Далее начато:* тем более
[2] послaвшая мне

все целиком, а не вставками. Они у меня писаны последовательно и в связи, и я помню место почти всякой мысли и фразе. Особенно, чтобы статья «О лиризме наших поэтов» не была перепутана; разумею, чтобы большая вставка, присланная мною при пятой тетради, вставлена была как следует, на место страниц уничтожен<ных>. Порядок статей нужно, чтобы был именно такой, как у меня. Я послал Мих<аилу> Юрьев<ичу> оглавление по порядку всех статей. Если потребуется для проформы какой-нибудь цензор, то не лучше ли выбрать кого-нибудь другого, а не Никитенка?

### 1229. Графине А. М. Виельгорской

Февраль 6 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Пишу к вам, моя добрейшая Анна Михайловна. Вы уже, без сомнения, получили мое письмецо чрез В<иктора> В<ладимировича> Апраксина вместе с большими письмами, порученными вашей маминьке. Письма эти следует пустить как следует в ход. Плетнев, как я узнал, сделал неосмотрительную вещь, выпустив в свет один кусок моей книги.[1] Статьи, которые составляли одну только треть книги, которые могли быть вполне ясны только в соединении с другими статьями.[2] В этой книге всё было мною рассчитано и письма размещены в строгой последовательности, чтобы дать возможность читателю быть постепенно введену в то, что теперь для него дико и непонятно. Связь разорвана. Книга вышла какой-то оглодыш. Все должностные и чиновные лица, для которых были писаны лучшие статьи, исчезнули вместе с статьями из вида читателей; остался один я, точно как будто бы я издал мою книгу именно затем, чтоб выставить самого себя на всеобщее позорище. А между тем все непропущенные статьи именно нужны в нынешний миг обстоятельств в русском быту нашем, особенно внутри России. Об этом всем приложите и вы старание. Нужно, чтобы Плетнев представил Миха<и>л<у> Юрьевичу все сполна непропущенные статьи и все те места, которые вычеркнуты цензором в статьях уже пропущенных, потому что вычеркнуты они совершенно несправедливо и неосновательно. Во всем этом деле был какой-то необъяснимый ков. Цензор был в руках каких-то дурных людей, употреблявших всё, чтобы произвести бессмыслицу в книге вымаркою многих мест, связывающих

[1] *Далее начато:* В этом
[2] *Далее начато:* Все статьи, самые

и объясняющих обстоятельства предшествующие и последующие, и чрез <то> иметь право при ее появлении в свет напасть, как на бессмыслицу и бред расстроенного воображения, на· то, что автор[1] выдает за истину. Сам цензор сыграл необыкновенно странну<ю роль>. От него требовалась тайна, потому что я хотел отпечатать книгу в тишине и сделать ее неожиданным сюрпризом как для всей публики, так даже и для вас самих (это ребячество у меня до сих <пор> осталось, но Бог с ним! отныне лучше буду обходиться без сюрпризов). А между тем сам цензор был разглашатаем всего, так что даже в Москве знали обо всем и повторяли изуродованные с умыслом мысли и фразы. А я еще не так давно писал к графине, вашей маминьке, чтобы не позабыть цензора печатавшего, и хотел за него хлопотать изо всех сил, чтобы досталась и ему какая-нибудь честь за пропуск моей книги. Итак, вы сами теперь видите, каково мое дело. Нужно, чтобы книга моя явилась немедлен<но> вторым изданием в полном виде своем, большой и толстой книгой со всеми статьями. Я бы не хлопотал об этом так, если бы это было мое дело. Но прочитайте сами вместе с папинькой вашим (которому поцелуйте ручки за доброту его) эти непропущенные статьи и скажите сами, мое ли[2] в них заключено дело или то, о котором хлопочет сам Государь и все возвышенные души. Но вам понятно чувство любви высшей к[3] родине, а потому об этом нечего говорить. Я прилагаю здесь письмецо к *Миха<и>лу Юрьевичу* и оглавление статей в том виде и порядке, в каком они должны следовать одна за другою. Бог да хранит вас и во всем сопутствует. Извините, что пишу неразборчиво и дурно. Я сижу больной, руками едва движу и от бессонниц, продолжающихся уже более месяца (не знаю отчего), очень ослабел.

Весь ваш Г<оголь>.

Не позабудьте собирать замечания и свои, и чужие о моей книге.

*<На обороте:>*

S. Pétersbourg. Russie.

Ее сиятельству графине Анне Михайловне Вьельгорской.

В Петербурге, на Михайлов<ской> площади, у Мих<айловского> дворца. В доме графа Вьельгорского.

[1] сочи<нитель>

[2] мое ли это д<ело>

[3] *В подлиннике:* ко

## 1230. Графу А. П. Толстому

1847. Неаполь. Февраль 6 <н. ст.>.

Давно уже я не писал к вам, добрейший мой Александр Петрович. Случилось это, во-первых, оттого, что было много всяких забот, а во-вторых, оттого, что просто не писалось и не находилось о чем писать. По делам моим относительно книги произошла в Петербурге страшная бестолковщина. Образовалось что<-то> вроде демонского восстания к тому, чтобы воспрепятствовать ее выходу[1]. Какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе совокупились, чтобы смутить и сбить с толку цензуру. Вместо толстой книги вышла небольшая брошюра, которую, вероятно, уже вы получили, потому что я писал послать к вам два экземпляра. Все статьи и письма к разным чиновникам и должностным лицам, по мнению моему нужнейшие, не пропущены. Всё это, однако ж, меня не смутило, несмотря на хворость мою (ибо я опять начал болеть и расклеился). Все непропущенные статьи идут на рассмотренье Государя и чрез месяц или два на место вами полученного куска книги, объеденного и обгрызенного цензурой, получите второе издание уже в виде полной и порядочной книги. Сердце мое говорит мне, что всё обделается хорошо. Государь был так милостив ко мне, и еще месяц тому назад, узнавши о моем путешествии, мной предпринимаемом, расспрашивал с участием обо мне у Мих<аила> Юрьев<ича> Вьельг<орского> и дал приказание канцлеру написать во все посольства, миссии и начальства тех земель на Востоке, где ни буду проходить, оказывать мне особенное покровительство. А вы, какова ни есть моя книга в нынешнем виде ее,[2] все-таки дайте мне чистосердечное и откровенное ваше мнение и скажите ощущение ваше. Хотя сюда и не попали статьи, направленные собственно к вам, но вы все-таки прочитайте ее несколько раз, и, что вам ни придет новое по поводу ее на мысли, мне передайте. Путешествие мое, как вы видите, во всяком случае должно быть отложено к будущему году. Теперь же лето мне нужно будет полечиться, потому что источник всех недугов, кажется, те же нервы. Может быть, опять поеду в Остенде. Без сомнения, мы с вами встретимся, если не там, то во Франкфурте, куды я в конце весны или в начале лета, а потому напишите ваш маршрут. Недуг мой состоит в бессонницах, которые продолжаются уже скоро два месяца, в расслаблении тела,

[1] чтобы не допустить к выходу мою книгу

[2] А вы, несмотря на то, что книга моя в нынешнем виде ее есть ничто

в сыпях на ногах, но, несмотря на всё это, даже на волненья нервные, душа по милости Божией пребывает в спокойном равновесии. Самая смерть Язы<кова> не произвела во мне тревожных чувств печали, но что-то неопределенное и как бы светлое. Как будто бы он для меня не умер. Прощайте! На это письмо дайте мне немедленный ответ, адресуя в Palazzo Ferandini, обиталище доброй вашей сестрицы. Графине мой душевный поклон!

<*На обороте:*>

Paris.
Son excellence monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, № 9. (Hôtel Wagrame).

### 1231. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Суббота, 11 (23) января 1847 г. С.-Пб.

Сегодня отдал я 750 р<ублей> с<еребром> банкиру барону Штиглицу для доставления тебе в Неаполь. Это часть денег от продажи «Выбранных мест» из переписки твоей с друзьями. Представляю тебе подробный отчет всего делопроизводства.

Напечатано 2 400 экз<емпляров>, но за исключением 75, отданных безденежно в цензуру и разным лицам по твоему назначению, пошло в продажу только 2 325 экз<емпляров>. Публикованная цена 2 р<убля> с<еребром>.

Сперва здешние книгопродавцы взяли у меня на чистые деньги вдруг 400 экз<емпляров>. Я должен был уступить им по 20 проц<ентов> и таким образом получил 640 р<ублей> с<еребром>.

После они же взяли у меня разом 725 экз<емпляров> с тем однако же, чтобы я им уступил 25 проц<ентов>.

Не желая тянуть продажу, я согласился и получил от них 1 087 р<ублей> 50 к<опеек> с<еребром> (из этой суммы еще не в руках <у> меня 337 р<ублей> 50 к<опеек>: их мне доставят через неделю).

Шевырев прислал ко мне требование, чтобы я немедленно препроводил ему 1 200 экз<емпляров>, которые он продал вдруг с уступкою 25 проц<ентов>, следовательно, за 1 800 р<ублей> с<еребром>. Таким образом, все издание сошло с рук почти в одну неделю. Но книгопродавцы, купившие его, взяли с меня честное слово, что я не приступлю к 2-му изданию, пока не распродадут они, по крайней мере, ¾ всего первого издания. Надобно это обещание сдержать, чтобы не уронить кредиту и не подорвать горячности благородно действовавших.

Итог этого издания, как ты видишь, равняется 3 527 р<ублям> 50 к<опейкам> с<еребром>. Сумма денег распределена мною следующим образом: все издержки по изданию уплачены и равняются только 556 р<ублям> с<еребром>. Тебе сегодня послано 750 р<ублей> с<еребром>. Оставил я при себе на издержки при отправлении 1 200 экз<емпляров> с транспортом в Москву 36 р<ублей> с<еребром>. Выдел за «Сев<ерную> Пч<елу>», «От<ечественные> Зап<иски>» и «Соврем<енник>» для тебя выписываемые на 1847 год и отсылаемые А. Россети — 48 р<ублей> с<еребром>. Остающиеся на книгопродавцах в долгу до следующей субботы 337 р<ублей> 50 к<опеек> будут немедленно к тебе отправлены по получении, если только не понадобится из них взять что-нибудь для уплаты за транспорт. Что касается до 1 800 р<ублей> с<еребром>, находящихся у Шевырева, ты от него получишь их немедленно, лишь дойдет до Москвы транспорт с книгами, имеющий отсюда отправиться 13 (25) января.

О книге твоей не успели еще ни слова сказать ни в журналах, ни в газетах — а ее уже нет. Это прекрасно. Я знаю, что левая сторона литераторов будет жестоко нападать на тебя за перемену характера сочинений. Но ты плюнь на эту сторону. Она охотно и хвалить бы взялась тебя, если ты ей подарил хоть одно письмецо для журнальца. Мне известно, что из читавших трое не могли оторваться от книги, пока ее не кончили, отчего ночь проведена ими без сна. Это барон Ф. Ф. Корф, Н. И. Надеждин и один молодой еще только начинающий писатель Николаевский (с будущей осени он поступит к нам в студенты, кончив курс в москов<ском> инст<итуте> восточ<ных> яз<ыков> Лазаревых). В шведской литературе была подобная книга: один автор во всю жизнь не издал ни одного сочинения. Он только вел серьезную и очень тщательную переписку с друзьями. По смерти его друзья собрали его письма и напечатали — это вышло одно из лучших явлений в шведской литературе. Жаль, что ты не попробуешь написать о чем-либо к моему лучшему другу Якову Карловичу Гроту, профес<сору> в Гельсингфорском унив<ерситете>. Сколько интереснейших вещей мог бы он сообщить тебе. Прощай. Обнимаю тебя. Пиши ко мне тотчас же по получении каждого письма моего. Получил ли ты мое письмо от 13 января? И дошли ли до тебя книги?

П. П<летнев>.

## 1232. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Калуга, 11 генваря 1847.

Книга ваша вышла под Новый год, любезный друг Николай Васильевич. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши «Мертвые Души» даже, — все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас; хотя одни Аркадий и Плетнев не сомневались в милости Божией к вам, меня смущали толки и московское *ополчение* (друзья!), которое долетало ко мне через Ивана Аксакова. Если же я устояла, то, вероятно, оттого, что живу далеко, и более оттого, что тяжкий недуг, страшная болезнь ума научали не сомневаться в милости Божией. Я вполне уверена, вопреки многим, что не оставит на дороге заблуждений, односторонности и мелкого формализма[1] Господь того, кто умеет просить Его благодатного света. Я это говорила Аксакову, говорила, разумеется, с свойственною мне неприличною прыткостию и совершенно с ним рассталась. Теперь вы оправданы; бедный Плетнев, о котором сказано было, что он старый колпак, и все готов печатать, даже и то, что на вас налагает печать стыда, т. е. сумасшествия (и как будто бы сумасшествие стыд, а не такой же недуг нашей страждущей за грехи природы и не есть наказание Божие или испытание Его, как будто всякая болезнь не есть стыд... Но это другая статья). Оправдана и я в глазах москвичей, которые принимали за ужасную холодность к вам и к делу общему мои слова следующие: «если Гоголь не будет писать, видно, Богу так угодно, а за его душу я не боюсь, она будет спасена». Других слов я не говорила, да и сказать не могла, потому что верно, что силы и даются, и отнимаются по особенному предусмотрению Божию. Я по себе знаю в своем маленьком кругу действий, что у меня не даром отнялась на время сила ума и даже воли; страдания мои были почти сверх сил, а теперь уже чувствую, как это было нужно. Ваша книга меня примирила с Аксаковым; мы читали вместе, брат, Лев Арнольди, очень умный и благородный малый, Ив<ан> Серг<еевич> и я; случился тут еще мещовский судья Клементьев, о котором, кажется, я писала к вам, и умолял меня достать ему эту книжечку. Аксаков и Лева еще в восторге, просидели за ней целую ночь. Перескажу вам их первые, вторые и последние впечатления.

[1] Вас упрекали в католицизме и мелком формализме, потому что в предисловии назначены часы для дела и образ, как делать добро. — *Примеч. А. О. Смирновой.*

Ну, душа моя, крепко обнимаю вас и поздравляю с милостию Божиею. От Надежды Николаевны Шереметевой получила письмо; она просила передать, что узнаю о вас, и говорит, что бегала к Иверской не раз, когда узнала, какие толки носились по Москве, велеречивой и опрометчивой. Теперь вот что я сделаю в своей Калуге. Купцу Антипину велела привезти 20 экз<емпляров> сюда. 10 беру в дом, а 10 останутся в лавке у него. Еленев (студент московск<ого> универс<итета>), советник губ<ернского> правления, взял *один*; *другой* — лихвенский предв<одитель> Яковлев; *третий* — чиновник особ<ых> пор<учений> Экарев, мой сотрудник по делу благотворительности; *четвертый* — Нелединский, сын Юрия Алекс<андровича>, бывший развратнейшим человеком в жизни и искренне обратившийся в прошлом году через Самарина старика, который дал ему толкование Иннокентия на молитву Ефрема Сирина; *пятый* — генерал Темерязев, отставленный от должности ген<ерал>-губ<ернатора> астраханского; *шестой* — помещик Чириков, хороший человек, но, по несчастию, пьет. Четыре постараюсь пустить в купечество и духовенство. Одну непременно пошлю Брилиянтову, старшему члену духовному. Он умный, но черствый человек; на днях в один день он схоронил жену и взрослую замужнюю дочь, от которой двое детей осталось с нетрезвым отцом, священником же. А с десятью экземплярами вот что намерена сделать. По поводу базара и других оборотов в пользу бедных, даже и *маскарада*, у меня были переписки с уездными предводителями, которые единодушно показали много услужливости. Теперь приходится их благодарить письменно, при каждом письме приложу книгу с надписью: «*в знак благодарности;* подарок *вам и семье вашей*», и присовокуплю просьбу написать мне впечатления их при прочтении, равно и тех, которым дадут ее честь. Всё вам перешлю в оригинале, равно как и передам, что услышу. Писать вам можно отсюда много, только записывать ежедневно, но при болезни и бездне занятий, в особенности при непорядочной жизни, это не всегда возможно. А непорядок не от меня зависит, а множества побочных обстоятельств, выше которых я не могу стать.

### 1233. В. А. Жуковскому

Неаполь. Февр<аля> 10 <н. ст. 1847>.

По делам моим относительно печатанья книги произошла совершенная бестолковщина. Больше половины писем остановлены цензурой, именно тех самых, которые относятся

к должностным лицам и всяким чиновным дельцам, стало быть самых *существенных* и, по-моему, нужных писем. Плетнев имел неосмотрительность выпустить[1] оставшийся клочок. Вышла не то книга, не то брошюра. Лица и предметы, на которые я обращал внимание читателя, исчезнули, и выступил один я, своей собственной личной фигурой, точно как бы издавал книгу затем, чтобы показать себя. Бестолковщина эта меня прежде бы очень рассердила, но теперь,[2] слава Богу, спокойствие мое не возмутилось. Я обратился с письмом к Государю, прося его разрешить это дело и бросить взгляд на статьи, которые были писаны в сердечном желаньи сослужить ему сим службу. Сердце мое говорит мне, что он не отвергнет. Тем более что два месяца тому назад он приказал выдать мне не только новый пашпорт на пребыванье мое за границей, но приказал канцлеру написать во все наши миссии и начальства на Востоке, чтобы мне повсюду было оказываемо *особенное* покровительство, где ни буду проходить я, и потом, спустя несколько времени, расспрашивал обо мне с трогательным участием у Михал Юрьев<ича> Вьельгорского. Всё это показывает мне, что рука Божья чьими-то чистейшими молитвами хранит меня! Здоровье мое несколько вновь расстроилось. Ночи я не сплю и сам не могу понять отчего, потому что волненья нервического нет, ниже волненья в крови. Слабость усилилась, и некоторые прежние недуги стали возвращат<ься>. Но Божьей милостью дух унынья далеко от меня. И самая неожиданная смерть Языкова не повергнула меня в печаль, но в какое-то тихое унованье. Всею душою обнимаю всех вас, от мала до велика, составляющих прекрасную и близкую душе моей семью.

Весь т<вой> Г<оголь>.

Мой адрес по-прежнему: Неаполь, palazzo Ferandini. Ради Бога, словечко о самом себе и о распоряжениях по поводу отъезда в Россию!

<*На обороте:*>

Son excellence monsieur
monsieur Basile de Joukoffsky.
Francfort sur Mein. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

[1] не дождавшись, выпустить

[2] когда

## 1234. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

4 февраля н. с<т>. 1847. <Франкфурт>

Я еще не отвечал на последнее письмо ваше, любезнейший Гоголек, а оно стоило ответа, и благодарного ответа, ибо оно описало нам восстановление вашего здоровья. Выздоровление само по себе есть уже одно из величайших наслаждений жизни; но выздоровление посреди прелестей неаполитанской природы и при таких чувствах, какие теперь с двойною живостию наполняют вашу душу, такое выздоровление есть взгляд с земли в лучшую жизнь; дай Бог, чтобы оно для вас принесло полное, постоянное здоровье надолго. А я вас сменил на череде испытания, и оно совершается надо мною самым тяжким образом, совершается в моей бедной жене. Вы оставили ее уже больною. Болезнь скоро миновалась, и она могла покинуть постель; говорю: та болезнь, которую вы видели; место ее заступила другая, мучительная, неотступная, та, которую вы слишком знаете, но которую знаете в другом и, я думаю, менее суровом виде, — нервы ее сильно расстроены; беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная, выражающаяся в совершенной безнадежности. Никакая сила не может отторгнуть от нее этих черных мыслей, которые, как чудовища, налетают на ее душу. Она почти ничем не может заниматься, и никто никакого развлечения ей дать не может. Чтение действует на ее нервы; разговор только о своей болезни, и, как нарочно, наш семейный круг часто бывает разрознен болезнями, так что мы бываем совершенно одни; но с этой стороны, однако, главная нам помощь. До сих пор она могла ходить и укреплять себя воздухом; с некоторого времени и это миновалось: простуда заперла ее дома, а другое расстройство положило на две недели в постель. Теперь опять начинает она двигаться; но слаба и похудела, как скелет. Такова наша жизнь с самого Швальбаха. При всем этом «Одиссея» молчит — и вот уже два года ровно, как она молчит. О том, что внутри меня происходит, я не говорю; я мало им доволен, и это удваивает бедствие. Помоги Бог быть достойным посылаемого Им испытания и переносить его так, как Он того требует.

Я виноват перед вами не только молчанием, но и тем, что замедлил переслать к вам письмо, на имя ваше полученное, мною распечатанное, но не читанное. Посылаю его. Других новостей вам сообщить не могу. Ко мне заезжал Michel Вьельгорский, ездивший из Берлина в Швейцарию курьером. Также был здесь и Барятинский, который совсем здоровый, полный, цветущий,

возвращается в Петербург. О книге вашей пишет ко мне Ишимова, что она вышла и производит великое действие. Это радует меня несказанно. Прощайте, мой милый, напишите ко мне, когда соберетесь в путь. Не могу надеяться, чтобы вы писали ко мне с дороги. Но это было бы хорошо. Эта необходимость выражать непосредственно свои впечатления на том самом месте, где они получаются, дает слогу совсем иной, полный жизни и индивидуальности характер, на что имеет влияние и лицо того, с кем делишь свои мысли и чувства. А со мною вы ведь уж привыкли многим делиться. Теперь я имел от вас только задатки, но со временем, если только не уйду с сего света, получу и весь капитал. Простите. Моя больная душевно вам кланяется.

Ваш Жуковский.

Отвечайте немедленно.

### 1235. А. О. Россету

Неаполь. Февраль 11 <н. ст. 1847>.

Я получил ваше письмо от 29 декабря русского штиля и вслед за ним письмо Плетнева с извещением о выпуске книги. Плетнев сделал большую неосмотрительность этим выпуском одного клочка наместо всей книги. Нужно было ждать терпеливо разрешенья высшего на пропуск всех тех писем, которые должны были служить подкреплением мыслей, сказанных в этом клочке. Не пропущено почти всё то, где объясняется, как сказанное приложить к делу: все письма к должностным лицам и чиновникам внутри России, в которых объясняется возможность делать и подвиги истинно христианские на всяком месте светских должностей наших. Безделица! Я книгу составлял вовсе не затем, чтобы сердить Белинских, Краевских и Сенковских, я глядел во внутрь России, а не на литературное общество. Книга теперь состоит из общих мест, и наместо тех лиц[1] и предметов, которые должны были выступить на вид читателей, выступил на сцену один я, точно как бы я затем издавал свою книгу, чтобы себя показать. Вы уже, без сомнения, знаете, что я писал всем, кому следует, чтобы представить это дело на рассмотренье того,[2] кому следует. А потому, как только это[3] будет разрешено, книга должна явиться вторым изданием в полном виде с размещением

[1] люд<ей>

[2] тому

[3] это дело

всех мест в таком точно порядке, как было у меня до времени беспорядков,[1] произведенных взбалмошно-неразумной цензурой. У меня не без причины была наблюдена связь и некоторая последовательность в письмах. Они[2] затем, чтобы читателя вести постепенно к уразумленью дела, а не озадачивать его отрывками. Плетнев глядит на это дело с своей точки, ему любо моей книгой дразнить[3] своих литературных недоброжелателей. Второе издание я предполагал печатать в Москве, поручив его Шевыреву, по причине, что, во-первых, там бумага и печатанье стоят дешевле, а во-вторых, и потому, чтобы не сказал Плетнев, что я уже вовсе без совести и навьючиваю его, как лошадь, моими делами. Но теперь вижу, что в Москве может случиться легко проволочка и какая-нибудь путаница, а книге следует непременно выйти к Светлому Воскресению. Ибо не мешает вам узнать (если вы этого еще не знаете), что после Светлого Воскресения сбыт и расход книжный прекращается, и вся Россия погружается в непробудный сон во всех отношениях. Итак, печатанье вновь должно обрушиться на плечи Плетнева, но вы ему помогите, стряхните лень и постарайтесь изворотиться молодцом и гоголем в типографском деле. Эта работа не так скучна, как вы думаете, вы почувствуете потом даже маленькие наслаждения в преследовании всяких промахов со стороны наборщиков, а иногда в поправке и самого автора, который доселе знает очень плохо грамматику и русское словосочинение. Не мешает вам также принять к сведению,[4] что всякую скоро отпечатанную книгу можно отпечатать еще вдвое скорее: вся тайна заключается в прибавке лишнего числа наборщиков, зависящей от приказанья фактора. Теперь поговорю с вами о самом Плетневе. Я бы очень хотел знать его собственное состояние душевное. Это чистейшая душа в полном смысле слова, исполненная чистейших желаний. Но он, как мне кажется, попал в фальшивые отношения и в фальшивые столкновения с людьми, через это он приобрел сухость и черствость, которых у него прежде не было, и некоторое озлобление противу некоторых (кто бы они ни были),[5] совершенно несвойственное его душе. Мне кажется, если бы я узнал хорошенько его внутреннее состояние, я бы ему, может быть, помог.[6] В письме его я приметил какие-то

[1] тех беспорядков, которые
[2] они были
[3] посер<дить>
[4] за<метить>
[5] *Далее начато:* кото<рые>
[6] помогать выпутаться <...>

неясные жалобы на многих людей нынешнего петербургского света. Он говорит о добродетели, находящейся в угнетении и презираемой за бедность ее даже от наших благороднейших людей, из чего я думаю, что он получил некоторый щелчок по части каких-нибудь аристократических покушений. Сколько возможно, рассмотрите его вновь, как бы сызнова, и напишите мне о нем. Вы хоть человек себе и молчаливый, но, мне кажется, взгляд у вас верен, и вы редко даете промаха. Благодарю вас за готовность вашу споспешествовать снабжению[1] меня книгами. Вяземского поблагодарите также много, много. Спросите его, получил ли он письмо мое, посланное с Апраксиным, которым я просил его войти в мое скорбное положение по части всего не пропущенного цензурой и выправить в совокупности с Плетн<евым> и графом Мих<аилом> Юрьев<ичем> Вьельгорским всё, что окажется[2] у меня неловко и неприлично, перед подачей статей на высшее рассмотрение. В прибавку к журналам[3], мне посылаемым, я попрошу[4] «Иллюстрацию» Кукольника за прошлый год, переплетенную в одну книгу. На нынешний я не прошу. В книге этой есть повести *Даля*, которые мне очень нужны. Этого писателя я уважаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь сведения положительные о разных проделках в России[5]. Там же есть и другие повести из русского быта. Пожалуста, не забывайте того, что мне следует присылать только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь, хотя бы даже[6] в зловонном виде. Я очень[7] боюсь, чтобы Плетнев не стал меня потчевать Финляндией и книгами, издаваемыми Ишимовой, которую я весьма уважаю за полезные труды, и уверен, что книги ее истинно нужны, но только не мне. Мне нужны не те книги, которые пишутся для добрых людей, но производимые нынешнею школою литераторов, стремящеюся[8] живописать и цивилизировать Россию. Всякие петербургские и провинциальные картины, мистерии и прочие. В прошлом году вышла книжка «Петербургские вершины», ее мне пришлите обе части. Но довольно. Я устал.[9] Я устаю теперь весьма скоро, потому

[1] снаб<жать>

[2] может быть, окажется

[3] книгам

[4] попрошу у вас

[5] о том, что делается в России

[6] полож<им>, даже

[7] Я бы очень

[8] но скорей те, которые производит нынешняя школа литераторов, стремящаяся

[9] *Далее начато:* Извините

что здоровье мое вновь несколько расклеилось. Вот уж скоро два месяца, как одержим я бессонницами (которым не могу постигнуть причины). Не позабудьте же, мой добрый и мною любимый Аркадий Осипович, передавать мне все впечатления, какие где ни будет производить моя книга во всех кругах, даже в самых низших слоях, не выключая и дворовых людей. А потому вы просите всех сколько-нибудь благотворительных людей покупать мою книгу не для одних себя, но затем, чтобы раздавать их умеющим читать и[1] не имеющим на что купить. Но будьте здоровы. Бог с вами, не ленитесь и пишите. При сем письмецо к Плетневу[2].

<*На обороте:*>
St. Pétersbourg. Russie.
Его высокоблагородию Аркадию Осиповичу Россети.
В С.-Петербурге. Против Пантелеймона, в доме Быкова.

## 1236. П. А. Плетневу

Неаполь. Февраль 11 <н. ст. 1847>.

Я пишу к тебе эту маленькую записочку только затем, чтобы уведомить тебя, что письмо твое со вложеньем векселя мною получено. Книга до меня не дошла, чему я отчасти даже рад, потому что, признаюсь, мне бы тяжело было на нее глядеть в ее обезображенном виде. Ты, вероятно, теперь уже получил три пись<ма> мои, с распоряженьями по части второго издания ее, в полном виде, со включеньем всех мест и приведеньем всего в полный порядок. Первое письмо, весьма длинное, писанное тотчас по извещении твоем о происшедшей бестолковщине со стороны цензуры, второе, досланное с Апраксиным, с приложением копии с письма к Государю, третье, отправленное назад тому несколько дней в ответ на уведомленье выпуска в свет обгрызенного Никитенкой оглодка. Я предполагал прежде второе издание печатать в Москве, рассчитывая на меньшие издержки и на доставление отдыха тебе. Но вижу, что весьма легко может случиться от этого какая-нибудь новая бестолковщина и, во всяком случае, замедленье. А книге следует быть выпущенной к Светлому Воскресенью, ибо после этого времени, как сам знаешь, всё книжное останавливается. Возьми в помощь Россети[3]. Он человек весьма аккуратный, и, если его немножко введешь в это дело,

[1] но
[2] Шевыреву
[3] *В подлиннике:* Розетти

он сумеет хорошо держать корректуру. Впрочем, сам смекнешь, как уладить[1]. Если же, прежде пропуска статей, окажется сильная потребность второго издания книги даже и в нынешнем ее виде, то отпечатай наскоро, елико возможно, еще завод, если не два, и печатай полное издание третие, не заботясь о том, что не разошлось[2] второе. Не позабудь того, что я прошу читателей покупать не только для себя, но и для тех, которые не в силах сами купить. А для раздачи людям простым, я думаю, даже лучше[3] придется книга в ее нынешнем виде. Цену можешь положить меньшую[4]; впрочем, это зависит от твоего соображения. Что касается до книги в ее полном виде, то ей цена три рубли серебром, не меньше. Как бы то ни было, но в ней должно быть около 600 страниц. Денег мне больше не присылай, потому что поездка моя вследствие этих смут и хлопот, равно как и самого моего здоровья, ныне вновь ослабевшего, равно как и неполучения тоже до сих пор пашпорта, отодвинута далее. А отправь покуда две тысячи моей матери, если удосужишься и если деньги накопились. Не благодарю тебя покаместь еще ни за что, — ни за дружбу, ни за аккуратность, ни за хлопоты по делам моим. Что ж делать! Есть дела, которые должны быть впереди наших личных дел, а таким я почитаю пропуск именно тех самых статей, которые не показались тебе важными и насчет которых ты согласился, что их *лучше* не печатать. Но обнимаю тебя! Прощай. Бог тебе в помощь!

<*На обороте:*>

Петру Александровичу Плетневу.

### 1237. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Пятн<ица> 17/29 янв<аря> 1847. СПб.

Нынешним письмом мы кончим с тобою общее дело наше по изданию твоих писем. Еще раз, для облегчения взгляда, представлю все в одном общем отчете. Напечатано 2 400 экз<емпляров>. Из них 1 200 экз<емпляров> вытребовал Шевырев, у которого купец все взял разом с уступкою 25 проц<ентов>. Тебе за эти экз<емпляры> отчислиться должно 1 800 р<ублей> с<еребром>, что и получишь ты прямо от Шевырева. Из оставшихся у меня 1 200 экз<емпляров> только 1 125 экз<емпляров> пошло

[1] сам узнаешь, как сде<лать>
[2] не будет
[3] даже и лучше
[4] и меньшую

в продажу, а остальные 75 в подарки и в ценз<урный> ком<итет>. Сначала из числа 1 125 экз<емпляров> продал я только 400 экз<емпляров> вдруг, и уступка была 20 проц<ентов>, а после взяты все остальные экз<емпляры> 725 вдруг с уступкою 25 проц<ентов>. Таким образом, я за первые получил 640 р<ублей> с<еребром>, а за вторые 1 087 р<ублей> 50 к<опеек> с<еребром> — всего же 1 727 р<ублей> 50 к<опеек> с<еребром>. Из этой суммы 10 января послано тебе 750 р<ублей> с<еребром> да здесь посылается сегодня 205 р<ублей> с<еребром>, итого 955 р<ублей> с<еребром>. Прочие же 772 р<убля> 50 к<опеек> с<еребром> пошли на следующие расходы: в типографию за издержки по изданию 556 р<ублей> с<еребром>, за высылаемые тебе через Арк<адия> Рос<с>ети журналы 48 р<ублей> с<еребром>, за отправление в Москву с транспортом книги в числе 1 200 экз<емпляров> 28 р<ублей> 50 к<опеек> да за двукратную прописку векселей у Штиглица 1 р<убль> 40 к<опеек> с<еребром>. Оканчивая этот счет, сообщу тебе подробности о векселе Прокоповича, о котором ты узнал от Анненкова и писал ко мне.

Прокопович в начале 1845 г. действительно послал во Франкфурт вексель на имя Жуковского, для передачи тебе, оставив у себя второй его экземпляр (secunda). Он воображал, что ты давно деньги получил. Надобно полагать, что тут вышла какая-нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экз<емпляр> векселя. Я велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по первому действительно выдано не было, то еще можно получить по второму. Вот я и решился сегодня же этот второй экземпляр послать при объяснительном письме к Жуковскому. Я прошу его получить деньги и переслать тебе или объяснить тебе все дело. Ты должен, для успокоения Прокоповича и меня, непременно написать мне как ответ на это письмо поскорее, так и о том, что получишь в уведомление от Жуковского.

С курьером я отправляю к тебе в одном пакете две брошюры: перевод Берга (недавно кончившего в Москве университетский курс) «Краледворской рукописи» и мою биографию Крылова, написанную к полному собранию сочинений его, изданному в 3-х томах и сегодня только вышедшему. Ты мне должен сказать свое мнение об этом моем труде. Если он удался, то я примусь за Карамзина, а наконец и за Жуковского. Без «Современника» мне раздолье. А прежде я похож был на собаку на привязи.

Как должна поразить тебя кончина Языкова! Ты с ним столько времени жил вместе. И я даже, который давно разлучился с ним, не могу опомниться от такого удара. Теперь-то *нас* уж немного.

О представлении Государю переписанной вполне новой книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе какими глазами я встречу Наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я как будто в насмешку ему полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого Государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя то сказать, что я от него слышал. Лучше вот что сделай. Ведь нельзя же ограничиться тебе одною книгою этих предметов, столь важных, столь необходимых всем, особенно в России. Итак, составив новую в этом роде книгу, ты внеси в нее все запрещенное, как будто писанное после, и эту рукопись пошли прямо на имя В. Перовского, прося его употребить содействие, чтобы Государь удостоил на нее взглянуть или поручил кому пробежать прежде цензора. Тогда, во-1-х, ничто твое не пропадет, во-2-х, все новое будет непременно пропущено.

Прошу прощения у тебя в том, что так поспешно вывел несправедливое заключение о *всех* аристократах наших, судя по *некоторым*. Но ты напрасно воображаешь, будто в сердце моем нет полной веры к личным твоим убеждениям. Если бы похожее что на это происходило в душе моей, я не принялся бы с таким жаром за все дела твои. Нет, уж и потому я верую в святость дел и помыслов твоих, что сам давно стремлюсь подняться сердцем и помыслами и жизнию на эту высоту, единственную цель теперешней моей жизни.

Пожалуйста, на время отбытия своего на Восток устрой в Неаполе или где удобнее так, чтобы все письма, пакеты и другие посылки, на твое имя адресуемые, или доставлялись тебе, или, по крайней мере, сохранялись до твоего возвращения. А то одна мысль, что я столько теряю времени на письма, которые пропадут на почте, отнимает всю охоту писать. Если бы ты мог упросить кого, чтобы он уведомлял меня о том, откуда ты пишешь с Востока, здоров ли, что делаешь, как надеешься и куда возвратишься, — это я почел бы лучшим доказательством твоей ко мне дружбы.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

## 1238. С. П. Шевыреву

Неаполь. Февраль 11 <н. ст. 1847>.

Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех *некоторых особенностей*, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однако ж, ни в сочинениях своих, ни даже в беседах[1] с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! да удостоит нас Бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства и ликованья вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с ангелом на небесах. Благодарю тебя за то, что ты, наконец, заговорил со мной откровенно и отважился сделать мне упреки. Их я жду[2] отовсюду, ищу ото всех, хотя еще никто не верит словам моим и думает, что я морочу людей. В упреках твоих есть и справедливая и несправедливая сторона, но то и другое для меня драгоценно, потому что показывает мне, во-первых, в каком виде я стою в глазах твоих, во-вторых, заставляет меня все-таки лишний раз оглянуться и построже рассмотреть себя. Вот что я нахожу теперь нужным сказать тебе в ответ на них, — сказать[3] не с тем, чтобы оправдываться, но чтобы изгнать из мыслей твоих беспокойство обо мне, которое, как я замечаю, поселили в тебе мои неловко и неразумно выраженные слова. Начну с того, что твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, самоуслаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными[4]. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине Один Бог; что же касается до *католичества*, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее *протестантским*, чем *католическим* путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в Нем прежде мудрости

[1] ни в обществе
[2] ищу
[3] гов<орить>
[4] несправедливыми

человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству Его. Экзальтации у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы. На теориях у меня также ничего не основывается, потому что я ничего не читаю, кроме статистических всякого роду документов[1] о России да собственной внутренней книги. Относительно надписи Погодину ты также попал в заблуждение. Я давно уже, слава Богу, ни на кого не сержусь. Но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся[2] ему небольшими и неважными, и несколько даже уязвить душу. Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать, как следует, язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы[3], чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь.[4] Он *великодушен*, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому. Наконец, в заключение и в благодарность за упреки я присовокупляю здесь упрек тебе, — упрек в *пристрастии*, которое заметили в тебе[5] не только я, но все те, которые тебя знают или же прочли твои сочине<ния>. *Дух пристрастия* у тебя слышался всегда во всем[6]. *Пристрастие* к земле, к людям[7], даже к собственной своей одной какой-нибудь мысли, которую ты будешь долго прилаживать и пригонять ко всему. Давно ли говорили почти все, что Шевырев никак не может обойтись без Италии и где бы то ни было, кстати или некстати, приклеит ее. Этот дух пристрастия стал исчезать в тебе в последних твоих сочинениях, по мере того как стал ты приближаться к разумной средине всего. Его нет почти вовсе в твоем курсе. Я думал, что оно уже[8] в тебе исчезло. Но теперь вижу, что оно

[1] кроме того, что относится к
[2] не кажутся
[3] очень желал бы
[4] в ныне<шнее время>
[5] заметили в тебе все
[6] слышится во всем
[7] к людям, к мы<сли>
[8] вовсе

сохранилось еще во всей силе к тем людям, которых ты любишь. Ты в них не видишь недостатков; если ж и видишь, не высказываешь; высказываешь недостатки ты одним врагам своим или же тем, которые огорчили. И к чему между нами эта осторожность, чтобы как-нибудь не обжечь словом? Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежн<их> перепалках с Белинским и другими литератор<ами>; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья, а мы, слава Богу, не дети. Да и пора уж быть нам наконец мужами. Зачем же мы себя называем избранными и лучшими других, когда мы не умеем переносить того, что не только переносит легко христианин, но даже приемлет благодарно, как лучшее даяние? Ну[1], на что, например, похож твой нынешний поступок со мною? В продолжение долгого времени ты молчал, таил перед мною все чувства и помышленья обо мне и только на могиле Языкова осмелился заговорить[2], выражаясь, что одна могила Языкова внушила тебе смелость. Да что же я? Лютый зверь какой, к которому даже и подступить страшно? Съел бы я тебя, что ли? Стыдно тебе! Такой друг никогда не может быть *вполне* полезен. По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною и таких своих помышлений обо мне, которые тебе самому показались бы неосновательными, не смущаясь даже боязнью сказать глупость или ошибиться. Мы все люди и потому на каждом шагу говорим глупости и ошибаемся. Что я скрытен — это совсем другое дело. Скрытен я из боязни напустить[3] целые облака недоразумений моими словами, каких случилось мне немало наплодить[4] доселе; скрытен я оттого, что еще не созрел и чувствую, что еще не могу так выразиться доступно и понятно, чтобы меня как следует поняли. Но тебе даже грех быть со мной скрытну; я бы тебя понял. Сейчас принесли мне твое письмо со вложеньем векселя. Ты напрасно мне его прислал; в деньгах я покаместь не нуждаюсь. Бестолковщина по части книги моей в Петербурге и другие непредвиденные препятствия отодвинули отъезд мой на Восток, а потому деньги храни у себя до моего востребования. Я получил уже деньги[5] от Плетнева вместе с известием о выходе моей книги в обезображенном цензурою виде. Плетнев

[1] Ну, не стыдно ли тебе
[2] заговорить со мною
[3] произвест<и>
[4] произвести
[5] деньги мои

сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь — всё пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу Государя и не сомневаюсь в пропуске, но всё несколько неприятно. В прежнем моем письме я поручал второе издание книги в ее полном виде тебе. Но теперь вижу, что это замедлит ее появление; пересылка, медленность москов<ских> типографий, наконец, недоумения, которые могут произойти по поводу вставок всех выпущенных мест и надлежащего их размещения, — всё это заставляет меня вновь возложить это дело на Плетнева. Не позабудь, однако ж, передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других; поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим. Еще попрошу тебя об одном одолжении. Доброго моего Языкова уже нет на земле, а потому и некому баловать меня присылкою книг, что с такой охотой и радушьем исполнял он, а потому не позабудь, хотя изредка, если узнаешь, что кто-нибудь отправляется за границу, присылать мне. Я бы теперь хотел иметь русские летописи, изданные Археограф<ическою> комиссией, — их, кажется, уже три, если не четыре тома, — и Снегирева «Описанье русских праздников и увеселений», присовокупив к нему его книгу: «Русские в своих пословицах». Тот, кто возьмет их, если не довезет до Неаполя, то может оставить во Франкфурте у Жуковского. Об этих книгах я просил еще неда<вно> Языкова в маленьком письмеце, вложенном в твое письмо, не зная, что он уже покойник в ту минуту, как я писал к нему.

## 1239. М. П. Погодину

<11 февраля (н. ст.) 1847. Неаполь>

...Если ты подумаешь, что я имею какое-нибудь неудовольствие на тебя, то будешь не прав. Ничего не питаю к тебе другого, кроме расположения самого дружеского. Но не скрою, что я желал бы любить тебя более, чем люблю теперь. А потому предуведомляю тебя вперед, что отныне я буду тебе говорить много самых жестких и оскорбительных слов и стану просить

тебя, соединясь вместе со мною, вооружиться противу всего того, что мрачит твою душу и мешает ей выказаться во всем ее благородстве, чего ты сам собою не можешь даже и увидать. По всему вижу, что, кажется, дело хочет устроиться так, дабы мы встретились в Иерусалиме у Гроба Господня. И тебе случилось помешательство отправиться туда в нынешнем году, которое ты принял за указание Божие, и я также, с своей стороны, принужден теперь отложить эту поездку до следующего года. Будем же помышлять взаимно, каждый с своей стороны, о том, как бы нам встретиться между собою таким образом, как на небесах в дому Самого Бога встречаются между собой братья...

### 1240. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

7-го февраля <н. ст.>, Рим (1847 г.).

Поручения вашего я не мог исполнить так, как вы желали, и очень жаль мне, что не удалось исполнить. Ваше письмо Моллер отдал мне в трактире у Фальконе, подле меня сидел Иванов; едва я распечатал, тотчас же прочел надпись на его письме, не читая еще своего, и отдал ему. Но сколько ни случается от мала до велика, всегда само собою дела устраиваются лучше, нежели как мы предполагаем их устроить. Письмо ваше сильно его расстроило; больше всего мучит его то, что он вас заставил беспокоиться сильно о его положении. Он говорит: «нам гораздо лучше все оставить до личного свидания». Не знаю, что вы писали к нему, а знаю только то, что в его деле две стороны, одна нравственная, заключенная в нем самом; другая внешняя, зависящая от начальства и их гадостей. Начальство скверно не от желания вредить, а просто потому, что скверно; столкновения его с Ивановым еще хуже, чем с другими, потому что неопытность его в общественной жизни вызывает много такого, что бы само никогда не вышло. Он тоже не виноват. Гораздо важнее это внутреннее состояние души его, на которую, как мне кажется, надобно действовать успокоивающими средствами. Вам более, я думаю, чем кому-либо знакомо то, как тяжело и как дорого нам достается уединение. Искренно признаваясь и по собственному опыту, и по наблюдениям над многими, я подсмотрел одно, — что, оставаясь в уединении все с самим собой, невольно влюбляешься в самого себя. Кто вынесет себя братом ближнего в уединении, тот истинно высок в глазах моих. Христос в пустыне не остался без искусителя; где же нам уйти от него? В два года, что я не видал Иванова,

я нашел перемену: душа его осталась так же чиста, если не чище, но менее спокойствия, то есть еще менее, потому что немного было и прежде. По мне тут человеческого врачевания мало; молитва и дело, — покорность и овладение собою, — так мне кажется. Во внешней его жизни есть одна ужасная гадость, только она и может заботить его. Говорил ли он вам, что он дал подписку в год непременно кончить картину, — я очень и очень боюсь, чтоб по истечении года его не потревожили. Как вы думаете, не поговорить ли с Волконским? С Устиновым и другими властьми я не знаком. Вот вам дело Иванова. Положение других недавно было плоше, потому что от одной минуты зависела у некоторых вся будущность. Киль обходится с ними, как с солдатами, разумеется, этим выводит из терпения, а дальше все зависит от случая. Теперь Киля нет здесь и они пока покойны.

Вы мне пишете о Моллере, — сколько я слегка ни сталкивался с ним, везде ждал очень хорошего человека, по крайней мере в такой степени, чтоб любить его без деятельных сношений. Но если я с ним не близок, это зависит от того, что при настоящем моем положении, и внутреннем, и внешнем, я весь отдан какой-нибудь работе. Вне ее я или с старыми искренними друзьями, или с людьми, которых столкновение облегчает мой путь к цели. Не вините меня, Николай Васильевич, — и без того обстоятельства много стоили и сил, и времени; пора смотреть на себя просто как на рабочего и сближаться только с теми, кто ощутительно или не ощутительно может подвигнуть работу. Я вас не могу не уважать, а потому не хочу быть не искренен; наши склады совершенно различны. Я русак, люблю Россию, потому что она — я, а я — она; — не сойтись мне с людьми, которые ее любят за то или за другое и считают себя ее частию. Но не в суд и не в осуждение я говорю это, а рассказываю, как это делается внутри нас. Мы с Моллером встречаемся хорошо, — я имею все данные, чтоб чтить его как художника, как доброго человека и, еще очень важное, прошедшего по пути призвания; он не имеет причины презирать меня. Любить он меня не может: он читал мою статью. Поверьте, что я никак в душе не имею против полу-русских, Бог с ними! — но та же душа тянет к русским. Половина не по нутру русской природе. Я рад, что письмо ваше вызвало меня сказать, что как есть. Вы можете бранить меня, порицать, но похвалите за то, что говорю искренно. Душевно вас уважающий Ф. Чижов.

Отчество мое Васильевич.

Счастливы вы, что помирились с разлукою; знаю я, что тот, в грусти, чисто эгоистическое чувство, но когда подумаю, их нет, делается грустно до того, что владеть собой не умею.

### 1241. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

10 февраля <н. ст.> 1847. <Франкфурт>

Мой милый, это письмо найдет вас печальным; вы уже теперь, вероятно, получили то известие, которое уже дошло до меня стороною, но которому я еще тогда не верил, когда послал к вам последнее письмо мое. Вот почему я и не упомянул о нем ни слова; не хотел тревожить вашего сердца; думал, был уверен, что слухи пустые дошли до меня, — к несчастию, вышло напротив. Третьего дня я получил письмо от Плетнева, и он в нем подтвердил мне, что правда, правда, что Языкова нет на свете. Кто бы это мог подумать! Обстоятельств кончины его я не знаю; Плетнев полагает, что мне все в подробности известно; а я ни от кого не имел известий. Напротив, то, что заставило меня убедиться в ложности слуха, было письмо Булгакова, писанное от 6 генваря, в котором не было ни слова об этом бедственном происшествии. Он умер 7 генваря. Как, от чего — не знаю. Если вам дано известие, если имеете подробности, то сообщите их мне. Мертвых самих жалеть нельзя, то есть таких мертвых, которых душа приготовлена была к принятию смерти, — но жаль для себя своих земных товарищей, которыми так утешается жизнь. Свет здешний для нас час от часу более беднеет. За шесть лет перед этим я бы это гораздо сильнее почувствовал при теперешнем печальном случае: но воля Божия новыми, свежими узами привязала мою душу к здешнему свету; они навсегда уничтожили для меня возможность *одиночества*, и горькое ощущение этого одиночества мне теперь недоступно; но зато я знаю, что заключается в чаше земного испытательного страдания. Теперь эта поэтическая душа, в последнее время столь очищенная верою, живет новою жизнию, которую более других здесь могла предчувствовать, — жалеть ли о том, что эта новая жизнь для нее началась? Нет. Но жаль, жаль ее быстрого удаления из нашего света, из нашего соседства, жаль, что этот гармонический голос для нас замолчал, что это знакомое нам существо, живое, доброе, милое, теперь заперто в тесной могиле и навсегда пропало из глаз наших. Напишите же, прошу вас, то, что знаете о последних минутах нашего милого, доброго, до конца дней вдохновенного Языкова.

При своем письме Плетнев посылает мне вексель (secunda) для доставления вам и говорит, что этот самый вексель (prima) был уже в генваре 1845 мне послан для вас же и что до сих пор нет слуху, получили ли вы его когда-нибудь. Право, ничего не помню. Если был мне прислан для вас такой вексель, то, конечно, был он вам и доставлен. Я справлялся с своею книгою, в которую я записываю отправленные письма, — там стоит 1845 генваря 23 к Гоголю с письмом Смирновой и Шереметевой; генваря 13 к Гоголю просто; 1846 генваря 21 к Гоголю со вложением векселя. Вот и все. Не знаю ничего о векселе, который должен бы идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы чего сами об этом? Впрочем, если этот вексель prima пропал, то по сему, здесь посылаемому, secunda, деньги вы получите. Только прошу меня уведомить о его получении. Во всех сих делах вы, любезнейший, не наблюдаете надлежащей точности. Мне почти ни разу вы не отвечали в таких случаях, когда я вам посылал деньги; и если бы я сам не вел у себя записки, то никаких бы концов собрать было невозможно. Этого же векселя я, конечно, не получал; эта посылка была бы, верно, у меня записана в книге. Прощайте.

Ваш Жуковский.

P. S. 29 генв<аря> / 10 февр<аля>.

Я хотел вчера послать это письмо и вексель; но Убриль советовал мне, чтобы избавить вас от хлопот, через Ротштильда снестись с гамбургским банкиром, на которого вексель адресован, и взять от него для вас свидетельство, что по векселю (prima) не уплачено. Без этого свидетельства неаполитанский банкир не выдаст вам денег; он от себя пошлет справку в Неаполь, и это протянется долее. Убриль сам взялся хлопотать об этом деле; когда ему вексель будет возвращен, то он перешлет его к нашему министру в Неаполе Потоцкому для доставления вам, а вы на этот счет его предуведомите. А меня все-таки известите о получении сего письма, дабы я знал, что вы о прибытии векселя предуведомлены. И от меня пошлется к вам в нынешнем месяце *третья* тысяча; о получении двух первых вы никакого не дали мне письменного документа; а для порядка это было бы не лишнее, понеже эти деньги даны Великим Князем, а я обязан дать отчет в уплате их если не ему самому, то его конторе. Прощайте.

## 1242. М. И. Гоголь

Неаполь. Февраль 16 <н. ст.> 1847.

Назад тому недели две я писал вам довольно длинное письмо со вложеньем другого, еще более длинного, к сестре Ольге.[1] Вы его, вероятно, уже получили. Вероятно, вы уже получили и самую книгу мою, в которой находится[2] выбор из моих писем к тем близким моему сердцу людям, которые меня понимали и любили, просьбы и желанья мои исполняли и стали душой и жизнью своей мне родными людьми. Вы, может быть, получили и деньги, две тысячи рублей, которые я поручил переслать к вам из Петербурга, как только будет выпродана моя книга. Тысячу из этих денег употребите в уплату процентов в ломбард, 500 — в уплату за ученье племянника моего, остальные 500 разделите между собой, для собственных нужд своих. То есть по сту рублей всякой сестре и двести рублей для маминьки. Повторяю вам всем вновь, что относительно денежных расходов нужно более, чем когда-либо, наблюдать бережливость и благоразумие, чтобы уметь не только содержать самих себя, но еще прийти в возможность помогать другим, потому что теперь более, чем когда-либо прежде, нуждающихся[3]. Если вам вообразилось, что вы уже распоряжаетесь очень умно и хозяйничаете совершенно так, как следует истинно хорошим хозяйкам, и достигнули уже такой мудрости, что умеете чувствовать границу между излишним и необходимым, и не издерживаете ни на что, как только на самое нужное, то знайте, что дух гордости овладел вами, и сам сатана подсказывает вам такие речи, потому что и наиопытнейший хозяин и наиумнейший человек делает ошибки. Счастлив тот, кто видит свои ошибки и перебирает в мыслях все сделанные дела свои именно затем, чтобы отыскать в них ошибки: он достигнет совершенства и во всем успеет. Горе тому, кто самоуверен и не рассматривает прежних поступков в убеждении, что они все умны: ему никогда не добыть разума, и Бог его оставит. Из отчетов о приходах и расходах ваших, доставляемых мне Лизою, несмотря на то что они ведены довольно беспорядочно, с пропусками и без обстоятельных значений, куды и зачем что пошло, я, однако ж, вижу (сделавши приблизительную смету и подведя итог всему году), что было в приходе в продолжение всего года денег свыше 16 000, а включая сюда один пропущенный месяц,

[1] *Далее начато:* кото<рое>

[2] закл<юч>ен

[3] находится терпящих и нуждающихся

можно предполагать, что доход по именью вашему может в иной год простираться до двадцати тысяч. Положим, около[1] шести тысяч должно выходить на уплаты процентов, — всё остается на всё прочее с лишком 10 тысяч. С этими средствами, живя в собственной деревне, на всем готовом, грех гневить Бога, жаловаться на обстоятельства и наполнять жалобами письма[2], как это делали некоторые из сестер, и особенно Лиза, в продолжение пяти лет сряду. Я и в чужой земле, будучи некоторое время[3] совершенно без всяких средств, вовсе не живя на всем готовом, добывая слишком трудно копейку для самого скудного содержания, протянулся, однако же, с помощью Божией до сих дней и увидел, что причина скудости человека заключается почти всегда в нем самом. Именно от уверенности, что он уже совершенно ограничил себя во всем и не издерживает ни на что лишнее. Храни вас Бог всех от этой смешной уверенности. Перечтите хорошенько все ваши расходы и приходы с тех пор, как их стала делать Лиза, и взвесьте всякую вещь по степени ее надобности и необходимости, одну перед другою, — вы увидите сами, что многие издержки были такие, о которых вы и не думали в начале года, которые — сюрприз для вас самих, именно потому, что вы о них не думали в начале года. Вы увидите, что многие издержки сделаны собственно затем, чтобы не отстать от других, чтобы избегнуть нареканья, что у вас что-нибудь не так хорошо или не так, как у других людей, из боязни выставить недостаток и бедность на многих вещах, начиная от мебелей, экипажей, стола, кушаньев, прислуги, дворовых людей и всего, что ни есть в доме. Не говорю я это затем, чтобы вас попрекнуть в чем-либо по этой части, но говорю это затем, чтобы сказать, что для тех людей, которые смущают себя мыслию в продолженье года, что именье их опишут в казну за невнесенье процентов и что им нечем уплачивать казенных податей, следовало бы подумать прежде, в начале года, о том, чтобы первые деньги отложить для этого дела, а на всё прочее только в таком случае позволять себе расходы, когда уже совершенно обеспечено главное. Иначе никогда не будет толку, и сколько ни будет увеличивать<ся> доход, он будет весь разлетаться невидимо, так что и сам не будешь знать, куды ушли деньги, и всё по-прежнему будешь всегда в безденежьи и в несостоянии ни помочь бедному[4],

[1] около даже

[2] и жаловаться на обстоятельства, каковыми жалобами наполнялись письма сестер моих, особенно

[3] од<но> время

[4] другому

ни самому за себя внести при каком-нибудь внезапном требовании. Прежде я помню, что по именью доходу было только шесть тысяч, теперь увеличилось целым десятком тысяч более, а хозяева всё так же находятся в вечном безденежьи, как было и прежде. Нет, да отгонит от вас Бог дух самоуверенности в себе и внушит вам лучше дух недоверия к себе. Пусть лучше каждая из вас говорит себе: «А рассмотрю-ка я получше, точно ли всё это так[1], как мне кажется, точно ли я поступаю так безошибочно умно, как мне думается?» Я писал, чтобы все сестры сурьезно в конце каждого месяца сверяли счеты и поверяли[2] степень необходимости всякой издержки и в конце года вновь рассмотрели бы все расходы до мельчайших подробностей, подведя верный итог всему затем, чтобы извлечь оттуда себе инструкцию в надоумленье, как быть в следующем году. Повторяю и теперь всё это. Прибавляю в придачу: представлять[3] себе в начале года все издержки, могущие быть во всё продолжение года, чтобы не иметь потом всякого рода сюрпризов, которые всегда случаются с теми, которые не любят соображать[4] вперед и ленятся обнимать умом вещи во всех подробностях. Повторяю Лизе еще раз: постараться о том, чтобы приходы и расходы велись исправней, обстоятельней и точней, чем как они ведутся ныне, и было бы ясно сказано, кому что продано, на какое употребление и куды, в какой город или деревню. Равно как и в расходах тоже не нужно пропускать ничего. Я бы желал даже, чтобы тем людям, которым поручена продажа, поручено было вместе с тем разговаривать со всяким продавцом и разведывать <у> всякого продавца (разумеется, как будто бы от собственного любопытства своего, а не потому, что это ему наказано делать), на что и зачем он покупает, куды и в какие руки потом перепродает, не пропуская при этом случая расспросить, откуда и сам он, и как у них живут, в чем достаток и недостаток, на чем добывают копейку и выигрывают, в чем терпят. Так, чтобы, расспросивши хорошенько продавца, мог бы он потом рассказать Лизе и о быте, и образе жизни тех людей, которые живут не в вашей деревне. Все эти подробности мне очень нужны, и вы потом только узнаете, какая потом будет польза от этого для вас. Прежде я бы и не просил вас о том, зная, что мои просьбы не имеют никакого действия[5] и слова мои пропадают даром, как вода, которую

[1] точно ли я так
[2] све<ряли>
[3] чтобы представлять
[4] соображать всё, что
[5] на вас действия

льют в решето. Но теперь я излагаю мою просьбу потому, что в душе моей живет уверенность, что если и не выполнят другие, то есть у меня одна такая сестра, которая одна всё выполнит[1] и для которой, я вижу[2], дорого всякое желание мое. При этом прилагаю письмо племяннику, которого заставляйте писать ко мне почаще, но писем его сами не читайте: это его свяжет, он будет стыдиться, а ему следует быть со мной откровенным во всем. Пишу к вам так часто теперь потому, что мне[3] улучилось иметь свободное время и потому что вижу надобность хоть сколько-нибудь вас укрепить в *деле жизни*. Я никогда не думал до сих пор, чтобы вы были так мало христианки. Я думал, что вы все-таки хоть сколько-нибудь понимаете существо христианства. А вы, как видно, мастерицы только исполнять наружные обряды, не пропускать вечерни, поставить свечку да ударить лишний поклон в землю. А на практике и в деле, где нужно именно показать человеку, что он живет, точно, во Христе, вы, как говорится, на *попятный двор*. Вот почему я написал к вам сряду два длинных письма, нынешнее и предыдущее, еще не получивши ответа на прежние,[4] чтобы мне не быть за вас в ответе перед Богом. Но теперь в продолжение целого года вы не будете от меня получать писем, кроме разве изредка самых маленьких с извещеньем, что, слава Богу, жив. Потому что у меня есть дело, которым следует позаняться и которое важней нашей переписки. А потому советую вам почаще перечитывать мои прежние письма во всё продолжение года так, как бы новые.

## 1243. Е. А. Свербеева — Н. В. Гоголю

<20 января 1847. Москва>

С грустным впечатлением оставила меня ваша книга, Николай Васильевич! Все кричат о ней, все удивляются этому учению христианскому, вашему призыву всем обратиться к Богу, и все это учение облекается самою страшною гордынею. Вы призываете на молитву за вас святителей и всю Россию: не есть ли это уверенность в заслуге всемирной? Многие радуются, что вы разбиваете вашу славу писателя, а мне грустно не за талант, мне грустно состояние души вашей: в нем видно увлечение, добросовестное увлечение, но нет смирения, а дышит дух превозносящийся. Молю

[1] выполнит за всех
[2] как я вижу
[3] у меня
[4] *Далее начато:* но те

Господа, да придет на помощь к вам и утвердит вашу душу на должной степени того христианского смирения, которого вы имеете только обманчивый отблеск. Вы как будто впали в прелесть, — таково впечатление, которое производит на меня ваша книга. Я не могу не выразить вам моего чувства, не высказать моей мысли о ней, и не перестану молиться о вас.

Смерть нашего доброго Языкова, верно, поразила вас. Я часто думаю о вас; знаю, что вы любите его и что эта утрата вам падет тяжело на сердце. Его чистая, прекрасная душа непременно своей гармонией приносила и в вашу ту святую тишину, которой обладала она вполне. Не отражалась ли она на всех, кто был близок к нему? Мы тоскуем теперь; мы лишились лучшей нашей драгоценности. Теперь осталась одна память о нем и она даже приводит все существо в гармонию. Языков последнее время жизни много думал о вас и сердечная тревога о вашем душевном состоянии не оставляла его. Не дожил он до вашей книги, но преждевременно заботился о ней и боялся ее появления.

Прочтите эти строчки и признайте в них глубокое чувство сердечного почтения к вам как к человеку, которого люблю я истинно.

Да будет над вами благодать.

Екатерина Свербеева.

Москва, 20 янв<аря> 1847 г.

### 1244. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

27 янв<аря> 1847. <Москва>

Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, — оскорбляете и Бога и человека.

Если б эту книгу написал обыкновенный писатель — Бог бы с ним; но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и поэтому книга ваша вредна: она

распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство — измена ему.

Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря; но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам. Прощайте. Обнимаю вас и молю Бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.

Друг ваш С. Аксаков.

P. S. Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги; но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, — позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но *по-своему.* Погодин сначала был глубоко оскорблен; мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.

Мой адрес: в Мокриевском переулке, в доме Рюмина.

## *<Письмо Д. П. Свербеева к С. Т. Аксакову, отправленное С. Т. Аксаковым Н. В. Гоголю 27 января 1847 г.>*

<16 января 1847. Москва>

Нет, не решаюсь я, Сергей Тимофеевич, по вызову вашему, писать прямо Гоголю замечания мои на его новую книгу. Меня удерживает чувство приличия, всегда мною уважаемое, всегда мною хранимое. В приличиях вижу я не пустую форму, а принятые обществом условия, в силу которых оно существует и в которых всегда скрывается верная, часто глубокая мысль или полезная в общественной жизни истина. Не довольно дружен, не довольно даже знаком я с Гоголем, чтобы писать ему откровенно, а одно уважение мое к его гениальному таланту, как бы велико оно ни было, не дает еще мне никакого права на такую откровенность. Я боюсь оскорбить его; признаюсь вам, боюсь еще более увидеть в печати ответ *его ко мне*, а этот ответ невольно пристегнет и меня к его знаменитости, тогда как я решительно не хочу быть прихвостником ни у какой знаменитости. Письменные же сношения с Гоголем — вы сами это видите — опаснее, нежели с кем бы то ни было. Он как-то и почему-то поставил себя вне всех приличий, и доказательством этому самая та книга, на которую требуете вы моих замечаний. Ну, как ему вздумается и меня, пребывающего вне службы семьянина, отсылать по утрам в детскую или на гумно, как он велит посылать в департамент одного служащего своего приятеля; ну, как заставит и меня делить на семь кучек мои скромные доходы, да еще запретит, не взирая ни на какую крайнюю нужду, занимать из одной кучи для другой; ну, как он все эти строгие указы, данные на мое имя, еще обнародует для примера другим. Виноват, я тоже человек; может быть, и рассержусь на такие печатные предписания. Следовательно, лучше на них и не напрашиваться.

Вы возразите мне: «все это внушает вам ваше самолюбие, а на вас лежит нравственная обязанность исполнить волю великого писателя». Но что же делать, если в наше время для каждого, положим, обыкновенного человека «charite bien ordonee commense par soi», и то еще слава Богу, когда совесть не подсказывает «qu'elle commense *et finit* par soi».

Иное дело, если вы возьмете на свою ответственность передать ему на бумаге все, что я говорил вам прежде о его книге, если вы сверх того оградите меня вашим словом от всякого печатного и даже письменного поучения. На этих условиях вот вам мои замечания: располагайте ими как вам угодно, но не иначе, как под вышесказанной с вашей стороны ответственностью.

Сперва повторю я чужие мнения о книге, которые удалось мне выслушать справа и слева от прочитавших *Избранные письма Гоголя*, а может быть, и от тех, которым совестно было бы признаться, что они их еще не читали.

Были такие читатели, — их не много, — которые обливали слезами умиления и предисловие и завещание Гоголя, и особливо два письма его о нашей Церкви. В простоте сердца они *сознали* своим плачем не только его великий гений, но и его великое смирение. Другие, напротив, робко выражали свои сомнения насчет этого смирения. Третьи, посмелее, называли уже книгу первым неудачным опытом автора в этом великом подвиге христианина. Но поразил меня отчаянный смельчак, который — видно, сердит он был на Гоголя за Ноздрева — во всеуслышание объявил, что автор писем отныне должен называться не Николаем, а Тартюфом Васильевичем.

Еще страннее, что у некоторых читателей было заготовлено по нескольку мнений на эту книгу: в своем кабинете и в короткой беседе они говорили одно, в гостиных — другое. Потом нашелся даже один такой читатель, который восхищался многим, всего более восхищался в Гоголе его резким, выходящим из пределов приличия тоном, с которым он говорит всему русскому обществу, и его дерзкой откровенностью с друзьями, на которых он прямо указывает всем своим грозным, карающим перстом, и его требованием выменять дурной портрет его на изящный образ Преображения, и его проповедью всем и каждому обратиться к добру, а не ставить ему памятника, и его волею обнародовать свое завещание во всех журналах и ведомостях Российской империи и пр. и пр. Выражая этими именно выражениями свое удивление, свое сочувствие к Гоголю, этот читатель сказал мне: «русская публика, русское общество — нуль. Ему все сказать возможно, и чем смелее, чем дерзновеннее писатель, чем выше ставит он себя перед русским обществом, чем откровеннее выражает свое гордое к нему презрение, тем более и более благоговеет перед ним это общество, тем ниже преклоняет оно свою голову». Такой грозной выходки не мог уже оставить я без возражения непрошенному защитнику великого писателя, от которого, я уверен, сам Гоголь отскочил бы с ужасом. «Нет! — отвечал я ему, — русское общество не так пошло, как вы осмеливаетесь о нем думать, не так ничтожно, как вы дерзаете о нем произносить. Оно умеет замечать странности своих знаменитостей, скорбит о толпе, когда эти странности нисходят до мании, но хранит еще к ним свое

уважение, терпеливо ожидая благодетельного для них кризиса, и в этом своем ожидании все странности замечательного писателя, всякую манию достойного по высокому характеру человека, долго, может быть слишком долго, прикрывает своим благодушным снисхождением».

После всех этих разнообразных мнений можно, кажется, сказать, что книга наделала много шуму и, как некогда «*Мертвые Души*», стала камнем преткновения, о который спотыкаются многие, получая порядочные синяки от этого падения. А каких бы еще диковинных мнений наслушались мы, если бы наши московские торгаши книгами не отсылали от себя покупателей за неимением книги. После будет поздно; первая вспышка пройдет. Привилегированные умники, уже давно прочитавшие книгу, наложат на общество свое собственное мнение, ему обрадуется большинство и примет с голоса. Есть люди осторожные, слишком к себе недоверчивые, которые этого именно и ждут.

Еще одно мнение слышал я от умного, скромного и религиозного читателя, который был удивлен непонятным применением стихов Пушкина к идеалу царя, изображенному Гоголем. Самый идеал казался ему не совсем верным выводом из христианского учения. Я начал было защищать мысль Гоголя; он со мною спорил и вдруг от меня вышел, сказав: «не приходится».

Мое собственное мнение о книге могу выразить тремя на ней подписями: 1) уничижение паче гордости, 2) гордость смирения, 3) надувательство. По мере чтения приходили мне в голову две первых подписи. Не знаю, ясным ли покажется вам ясное для меня их различие. По прочтении всей книги — «просто надувательство!» сказал я громко, один в своей комнате, и тут же с грустью закрыл и положил ее на стол. Потом я как будто испугался: такое слово показалось мне диким, страшным, и вот я начал доискиваться в себе, откуда оно у меня вылетело. Случалось ли вам запутываться даже тогда, когда вы даете самому себе отчет в какой-нибудь резко представившейся вам мысли. Со мной это случалось не раз, и я часто не доверяю себе в своих объяснениях, особливо когда выражаю их письменно. С одной стороны, усиливается во мне какое-то упорство защитить самому себе мою первую мысль, мое решительное определение; с другой, в то же время проявляются сомнения: добросовестны ли мои объяснения, мои доказательства; полно, не насилую ли я моего мышления; оправдываю перед собою мою главную мысль и развиваю ее в систему.

У древних риторов была, помнится, поговорка: *«docendo docetus»*. У нас можно переменить ее на другую; для одних: *надувая надуваемся*, для других, более добросовестных: *надуваясь надуваем*. «Видно, уж у нас такая надувательная сторона», — сказал Гоголь. И это слово со всеми его грамматическими видоизменениями глубоко в меня запало. Им только могу я объяснить для себя и те многие различные системы для разных наших партий, которые до того насилуют свое мышление, что сами наконец получают веру в свою систему. *Почему же не могло случиться этого и с Гоголем в отношении к его главной системе, которую, кажется, он составил о себе самом?* Только одного не берусь я решить ни вам, ни для себя: надувает ли он (от чего Боже сохрани), прежде чем сам надувается, или же надувается прежде сам, а потом уже надувает своих читателей.

Еще два слова. После такого тяжелого, такого горького урока, который дал нам великий поэт своим падением, мы еще в нем не отчаиваемся, мы ожидаем от него вещего, утешительного голоса о его бодром, победном над собою восстании.

Весь ваш Свербеев.

16 января 1847 года. Москва.

### 1245. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Янв<аря> 30 с<т>. с<т>. 1847. Москва.

Спешу к тебе отправить деньги, полученные вчера за 1 201 экземпляр твоей книги, с уступкою 25-ти процентов, всего 1 802 р<убля> серебром (1 экз<емпляр> продан мною за 2 р<убля> серебром): вот вексель в 7 253 фр<анка> 5 сант<имов> за № 12017. Вторая *трета* остается у меня.

Об книге твоей много толков. Она составляет теперь главный предмет светских разговоров. Говорят и за нее, и против нее. Прежде чем говорить о книге, я скажу о твоем поступке с Погодиным. Мне кажется он нехорошим. Ты говоришь, что полезно бывает человеку получить публичную оплеуху: полезно тому, кто ее с смирением примет (так и принял Погодин), но каково тому, кто дает? Кто же из нас вправе дать ее, когда Сам Иисус Христос не бросил камня в грешницу? Мы, говорящие о Церкви и Православии, должны вести себя во всем святее и чище для того, чтобы вместе с собою не подвергнуть оговору Церковь и Православие.

Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина, которого «Записка о древней Руси» до сих пор не напечатана,

и когда я вздумал из нее немногое (не самое важное) привести на лекции, то получил за это выговор от попечителя. Мы еще не доросли до высокой правды; никого в том обвинять не надобно. Видно, все еще мы ее недостойны; да и где же она есть? Нет ее и в западных государствах, имеющих право гордиться перед нами своею искренностью; не будем же обвинять и себя в том, что ее нет у нас, но и не будем льстить своему времени. Правда, что чистый душою имеет на правду большее право, но говорит-то ее только людям безобидным, которых нечего бояться.

Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»?

Судя по книге твоей, ты находишься в состоянии переходном, разум твой убежден в истине нашей Церкви и Православия, но воля твоя заражена современною болезнию — болезнию личности, и ты действуешь скорее как римский католик, а не как православный. Так могу я объяснить в твоем завещании первую мысль о своем теле, а последнюю о портрете. В тебе есть самообожание: им ты и нравишься тем нашим дамам, которые хотя и православные, но заражены тою же болезнию, как и ты. Так объясняю я твое поклонение одной из них, которой ты позволяешь говорить все, уверяя ее, что все будет прекрасно, если бы даже случилось ей сказать вздор, что может случиться со всяким. Советы твои помещику, хозяйке и проч. проистекают из той же личности твоей, страдающей недугом. Прекрасны письма о Русской Церкви и духовенстве, о Светлом Празднике Воскресения, многое о наших поэтах (ты умеешь даже и известное облечь в новую форму, говоришь как творец, как художник). Замечу только, что ты слишком льстишь Жуковскому.

Второе издание твоей книги я приму на себя на том только условии, чтобы уничтожено было то, что ты сказал о Погодине. В противном случае отказываюсь. Я не хочу, чтобы через мои руки проходила оплеуха человеку, которого я люблю и уважаю, несмотря на его недостатки, которых в каждом из нас много. Ты же говоришь в одном из писем: исправляй их прежде в самом себе. Неряшество в слоге и в изданиях простительнее, чем неряшество душевное, проистекающее в нас от неограниченного самолюбия. За первое отвечаем мы только публике и вредим им только самим себе; за второе отвечаем Богу. Прощай. Твой

С. Шевырев.

### 1246. Д. К. Малиновский — Н. В. Гоголю

<19 декабря 1845 — 13 декабря 1846. Москва>
19-е декабря, без четверти 10 часов вечера. Середа.
1845-й год.

Милостивый Государь
[Николай Васильевич]

Прежде всего не поскучайте прочесть это письмо. Во-вторых: извините, что, не имея счастья и чести знать вас лично, а равно и вам быть известным (вы меня не знаете, да и не можете знать, я также не знаком с вами), я осмеливаюсь беспокоить вас письмом. В самом деле ведь, как подумаю сам хорошенько, довольно даже *очень* странна моя штука! Вообразите себе: вы меня не знаете да и не захотите, может быть, знать, я... я вас также не знаю, но очень желал бы знать; и вот, ни с того, ни с сего, ни к селу, ни к городу, из желания только с вами познакомится, я буду к вам писать и куда же? в Италию! и откуда же? с Пречистенки, из грязного, немощеного переулка, в котором, если вы и бывали, так разве затем только, чтоб, с позволения сказать... В нем затем только и бывают. И самому странно, а между тем — пишу. Надобно вам сказать, что дураком меня, кажется, никто не считает, но все говорят даже, что я довольно умен, а между тем я по-видимому делаю теперь преогромную глупость и — вообразите себе, в том и штука, — хоть бы на минуту призадумался, хоть бы только подумал удержаться от нее, а то нет, воображаю себе, что письмо мое даже не изумит вас, что оно весьма в порядке вещей. Ну, конечно, странным несколько оно мне кажется. Но и странным оно мне кажется не столько потому, что я вздумал, вовсе не зная вас, писать к вам из Москвы в Италию, а более по своему содержанию. Что я вам пишу и что могу написать? Ничего. Другое б дело, если б, напр<имер>, вдруг... ну, важное какое-нибудь дело случилось, ну, тогда еще можно, и не зная вас, я могу к вам адресоваться — по нужде; а теперь? Нужды никакой нет, что ж мне, об чем же писать к вам? Об том, что мне нравятся ваши сочинения, что вы хорошо пишете? Да мало ли кому они нравятся, и об том, что вы хорошо пишете, — вы сами лучше меня знаете. Что ж мне писать к вам?.. Э, буду писать что попало! (Извините, извините, сто раз извините, что я по-видимому так небрегу, я хочу писать что ни попало потому, что — дельного ничего и никогда не могу писать, об этом и учитель гимназии, у которого я учился, знает; а писать к вам — смерть хочется; извините.) Во-первых, да будет вам известно, что я студент Математического факультета. Так как

студент у нас... отличительных черт никаких почти не имеет, то из того, что я студент, вы еще мало обо мне знаете; но это совершенно все равно, знать вам обо мне не нужно, да и нечего больше. — Случалось ли вам, если не испытывать, слышать, по крайней мере, что на человека иногда престранные минуты находят. Иногда он Бог знает что делает, и делает это все так, кое-как, как бы сквозь сон. Это, может быть, потому, что он в такие минуты бывает занят чем-нибудь посторонним. Подобные минуты нашли, кажется, теперь и на меня: предпринял я вещь довольно серьезную — писать к известному писателю, а у меня что-то ничего не клеится. Это, кажется, оттого, что я теперь многими, различными (кажется) мелочами занят; мне теперь уже чуть ли не грустно. Впрочем, все-таки вы этому всему, и нескладице моей, и всему прочему, мало подивитесь, если только я не ошибся в вас. Это я пишу вам в скобках. Как вы полагаете, что я об вас думаю? Ну, вы человек добрый, т. е. с мягким, добрым сердцем, — про это и говорить нечего. Во-вторых, вы человек умный. За что же вам на меня сердиться? Еще вы, пожалуй, поблагодарите меня за это письмо. Разве у вас не бывает таких минут, когда вам просто нечего делать? Ну вот и читайте тогда мое письмо; пожалуй, подумайте над ним, это может разогнать скуку. Не знаю, как вы, а я бы просто благодарил, если б мне присылали такие письма. Это должно льстить вам. Как вы думаете, в выражении, в слоге, в постановке слов, выражаются ли настроения, мимолетные мысли, чувства того, кто что-нибудь пишет? Я думаю: да. Ну вот вам и тут есть работа в праздные минуты. Подумайте-ка, какие посторонние мысли пролетали в голове моей, когда я писал здесь каждую строчку. Впрочем, извините, вы, может быть, обидитесь моим предложением, будто вам уж до такой степени нечего делать! Но я бы и тут не обиделся. Да, впрочем, этому и был пример. Однажды я иду с одним знакомым по улице. Разговорились об том, что иногда скучно бывает, и тем более одному, и он что же мне предлагает от такой скуки, как вы думаете? Перебирать пальцами. «А вы, говорит, вот что делайте, вы возьмите... — я всегда это делаю, когда один иду, — возьмите, да вот так, пальцами...» Тут он мне показал следующий фокус: (*делать обеими руками*) сложить большой палец сперва с средним, потом с мизинцем, потом с указательным и, наконец, с безымянным; делать это как можно быстрее. Если ж и к этому привыкнешь, и это не подействует, он мне предложил на этот случай другой опыт, который описывать здесь я почитаю лишним. Я нисколько не обиделся, а, напротив,

непременно обещал воспользоваться его рецептом при первой необходимости. — Из того, что я вам написал, можете вы видеть, что и я человек добрый? Ну, умен ли я, этого решительно не знаю; впрочем, маменька мне говорит, что я очень умен; папенька с этим не соглашается и говорит, что я *мог бы* быть умен, *если б*... если б, напр<имер>, прилежно занимался французским языком и т. д. Сам об себе думаю, что я не глуп; немного *спятил*, может быть, за это не ручаюсь. — Но послушайте, мысли, чувства и ощущения мои перемешались, на меня что-то радость какая-то нашла. Впрочем... Эх, как непостоянно ничто в человеке, опять ощущение погасло, опять я погрузился в какой-то кисельный бред. Замечаете ли, что я с вами *как дома*? Это показывает мой радушный характер. Несмотря на то что я *разочарован* — во мне еще осталось радушие. Послушайте, мне славная[1] мысль пришла! Буду я к вам еще, а потом еще и еще писать?! Как вам это кажется?.. Увы, вы уже пожили на свете, вам надоели *странные* штуки, а я еще так не начал жить, и потому извините мою нерассудительность: думаю, что и вас может занять то, что меня интересует!.. Но, впрочем... знаете, я вас пожилым как-то не могу представить, мне все кажется, что вы молоды... Впрочем, у вас душа юна, от того мне это и кажется. Вы скажете: нет, вы уж много видели, много горько улыбались? Э, это вздор, уверяю вас (довольно наивно...), я сам... да, поверьте, я сам уж... да что тут за обм<ол>вки: я сам уж *разочарован*, вот вам наотрез, коротко и ясно. А все у вас душа юна, как и у меня. Знаете ли... — я вам расскажу некоторые свои мысли. Я-таки читал довольно и *знаю* (это слово поставлено, потому что другого не нашел) некоторых писателей. Иных я видел даже портреты, и многие (писатели) мне приятны. Напр<имер>, в сто русских литераторах не правда ли очень хорош Кукольник? Читать его — я не много читал, однако верю, что он поэт, и этого достаточно. Я его люблю. Слышал я стороною, что он, знаете, этак... выпить любит (не кстати, право, не кстати это сказуемое, мне даже смешно стало), и это еще более обрисовало[2] мне его характер. Я слышал, что он был влюблен, и это еще более дало мне об нем понятие... впрочем, извините, <*1 нрзб.*>, это только представило мне идеал его в другом виде, также интересный; короче, он мне очень нравится. (Не подумайте, чтобы я боготворил <*1 нрзб.*>.) Читал я Марлинского (я выписываю не все, что читал), и Марлинский мне нравится, но теперь не время об нем

[1] *Было:* странная
[2] *Далее в автографе:* бы

говорить. Вы... вашего я и портрета не видал, раз только мельком на Смоленском рынке взглянул на него и то не верю, чтобы это был ваш. Вы, во-первых, не должны быть толсты, красные толстые щеки, не думаю, чтобы у вас были, глаза, мне кажется, у вас едва ли голубые, впрочем последнего не утверждаю. Итак, дело зашло об вас. Вас я почитаю умнее и Кукольника и Марлинского[1] (лишним считаю говорить вам, что <*1 нрзб.*> здесь не употребляю) и потому... нет, это, кажется, вздор! Я хотел сказать, что вас я меньше люблю, нежели Кукольника. Кажется, это неправда, впрочем уважаю я вас гораздо больше. Что теперь писать? Извините, я расста<*нрзб.*>. В антракте прочту, что написал. — Прочел. Не сердитесь на меня; если человек даже и не глуп, да молод — от него не всегда можно ждать умного. Впрочем, как часто мысли, будучи выражены, <*1 нрзб.*>. Мне кажется теперь, я вовсе не то хотел написать вам, что написал. Прощайте пока. (Мне даже смешно становится: с какой стати, зачем и отчего напала на меня такая <*1 нрзб.*> простота; говорю вам *прощайте*, как будто мы с вами детей крестили. А что ж будет, если выбросим эту простоту? — <*1 нрзб.*>. <*2 нрзб.*> во век откровенность условливается простотою, и потому не сердитесь на мою простоту, если не сердитесь на откровенность.)

22-е число декабря, суббота.

Извините, Милостивый Государь, что намереваюсь продолжать свою <*1 нрзб.*>. Извините, что от этой <*1 нрзб.*> избавить ни вас, ни себя почти не могу. Связи же не трудитесь искать. — У меня есть брат, осьмнадцати лет, ростом и душею сущее еще почти дитя. Сегодня в разговоре с ним зашла речь как-то об ваших сочинениях, и он объявил мне, что, несмотря на повсеместное и безусловное поклонение им, многие из них ему неприятны; «напр<имер>, *Игроки,* — говорит он, — это мне кажется такая скучная вещь... не знаю, что в них есть хорошего». Я не отвечал ему ничего, потому что не знал, что отвечать. В самом деле, я не понимаю этой пьесы. Какая цель ее? Осмеять карточную игру? Бог знает, эта ли ее цель; а, если эта, Бог знает, достигнута ли она. Впрочем... не всякий знает <*1 нрзб.*> в <*1 нрзб.*>. Однако я не <*1 нрзб.*>, что вы будете <*1 нрзб.*> и хоть <*1 нрзб.*> словам, поведете меня на путь истинный. — Так как я немного <*1 нрзб.*>, приходит и в <*3 нрзб.*>...

[1] Кто из них *умнее?* Кажется, Марлинский; жаль только... — *Примеч. Д. К. Малиновского. Не дописано.*

Милостивый Государь! Знаете ли, об чем хочу просить я вас?.. Напишите мне ответ!.. Чего вам это станет? Бумаги вы, верно, не пожалеете, времени… много ли его тут надобно? пять минут; об деньгах и говорить нечего: я, уж что запас? что у меня за деньги? — и то решаюсь прожертвовать[1]. Для меня это жертва умилостивительная, а для вас будет *литературная.* А знаете ли, как вы этим меня одолжите! Получивши от вас письмо, я много извлеку пользы. Вы, может быть, этого не поймете, да нельзя тут и понять ничего, вы не знаете ни меня, ни моих обстоятельств. Но Боже избави, если вы подумаете, что письмо ваше нужно мне для какого-нибудь шарлатанства, для каких-нибудь житейских сделок!.. Боже избави, мне и упоминать об этом даже больно; обстоятельства, об которых я говорю, не житейские, а душевные, во мне одном включающиеся[2]. Сделайте же милость, не откажите. Больше упрашивать вас не стану, вы не взыщете мне, если вы <*1 нрзб.*>. Да, вчера или третьего дня я видел в Москвитянине ваш портрет и, вообразите, — случайно! О, случай иногда большие вещи строит! Ну-с… право, не знаю, что вам сказать об том впечатлении, которое он произвел на меня. Я во многом обманывался. Во-первых, я почитал вас моложе. Это много значит: продолжение моего письма уж вовсе не таково, как начало; по крайней мере я так думаю. Я так же откровенен к вам, но… откровенно вам скажу, выходок теперь вы меньше встретите, какая-то, какая-то… право, не знаю, как и сказать, какая-то *наглость* (за неимением точных выражений) мне противна. Вы одним молчанием можете *осадить* мою настоящую, юношескую самоуверенность. Пишу это почти без надежды, чтобы вы меня совершенно поняли: трудно выразить, что я хочу вам сказать. Во-первых, я довольно *горд,* и, если признаю чей талант, нисколько не думаю, однако же, быть их рабом… но оставлю эту статью, дело касается, кажется, какой-то метафизики, а она только рассеять меня может. Я начал, кажется, о портрете. Предупреждаю вас и здесь, выражения мои будут слишком не точны. — Я предполагал в вас гораздо более *легкого, афинского, поэтического* ума (не в одних сочинениях), а теперь думаю, что, если он у вас был, жизнь его охладила, если он вовсе не замерз, то… далеко зарылся. Стало быть, мой умишко вам еще не товарищ. (Я очень скромен и вежлив, и потому сильно боюсь, чтобы вы на меня не рассердились; впрочем, мысли не говорят мне этого.) Лучший мой приятель, человек

[1] *Так в автографе.*
[2] *Так в автографе.*

очень умный, рассматривая вместе со мною ваш портрет, сказал мне, что на правой стороне вашего лица (т. е. у правого глаза, т. е. на портрете) начертана грусть, а на левой (около левого глаза) насмешка. Может быть, только на портрет я много не полагаюсь и потому не доискивался ни того, ни другого, хоть то и другое было, кажется, нарисовано и не у одних глаз. Одним словом, на портрет я не полагаюсь и потому частных выражений лица не искал. (Впрочем, грусть и насмешка, может быть, уж не сходят с вашего?) В сочинениях ваших грусть очень ясна, насчет насмешки я вам скажу, что она кажется снисходительна. Но, кажется, я уж слишком увлекся критицизмом и, пожалуй, добрым шутом могу сделаться. Говорю все об вас да об вас, словно подрядился, — поговорю о себе. Впрочем, я, кажется, о себе поговорил, когда выражал свои мысли. Да: все сочинения ваши, которые я прочел в разные времена, были для меня безукоризненны, натянутости ни в одной строчке я не заметил. Только в драматических статьях: об *Игроках* не умею ничего сказать; *Лакейская*... ну, это... лакей богатая пища; еще в *Театральном разъезде* один очень умно рассуждающий чиновник показался мне слишком сладким и бескорыстным: если он идеал или гений (у меня странная философия: идеал мужчины у меня попадает[1], кажется, с гением, впрочем, это еще не так для меня ясно), то едва ли пошел бы *в штатскую службу*; впрочем, еще я большой профан. Об *Ревизоре*: не смею судить: я его два раза видел и ни разу не читал; об *Женитьбе* могу сказать вам только то, что у меня есть один знакомый, который роль Подколесина сыграл бы едва ли не лучше Садовского. — Не знаю, почему, *пишучи* к вам, я ни над чем не задумываюсь и ничего не перемарываю, раз вы и *известный критик*, тогда как к одному знакомому исправнику я десять раз начинал одно письмо и даже одиннадцатым был недоволен. А может быть, почему знать, уж какая западня готовится моему добродушию, вы его так и пришлепнете! Впрочем, пусть его, нечего жалеть. Молодежь так и надобно учить. — Вы, однако же, где-то сказали, что, если в каком-нибудь сочинении есть новая или удачно выраженная, хоть даже одна или две, мысли, автор не должен скрывать его от света. Ах, как это соблазнительно! Каждая строка так и кажется новою мыслию! Каждое слово так и лезет в печать!.. Увы! увы! блаженны зрящие!.. Сказать ли вам, что и я в гимназии был автором, что и теперь еще один мой бывший товарищ (теперь студент Словесного факультета, известный стихотворец, впрочем,

[1] *В автографе:* повпадает

малый не глупый) и теперь еще говорит мне: «Отчего ты, Малиновский, ничего не печатаешь?»!!.. Да-с; нынче, напр<имер>, мне попалась какая-то семиклас<с>ная моя сатира (не подумайте, в стихах) — фу ты, что за претензии!.. Впрочем, привилегированных[1] пошлостей в моих сочинениях не заметно. Но этого слишком мало... Надобно вам еще заметить, что из тысячи моих сочинений одно, кажется, только кончено. Разумеется, я говорю здесь не о клас<с>ных сочинениях. Те у меня все с концом. Расскажу вам с горя хоть про клас<с>ные сочинения, об моем литературном поприще на гимназических *<1 нрзб.>*. Я там был несколько известен. О, блаженная известность, как многие за тобой гонялись, и сколь многих щелкала ты по носу!.. Но, потрудитесь слушать. Сначала (в 5-м классе) учитель (жаль, что *вы* его не *знаете* {здесь надобно было подчеркнуть не столько *вы*, сколько *знаете*}) мне говорил: «да, не дурно», и ставил *4*; в 6-м классе я начал философствовать, излагать свои новые мысли, учителю это не нравилось, я продолжал, он мне ставил *3*; впрочем, в 6-м классе я почти не занимался, был *в душе поэтом* и писал за неимением времени в классе; в седьмом я остепенился, принялся за сочинения как надо, не щадил ни пота, ни крови, и — заблистала звезда моя, учитель от первого сочинения пришел в восторг, разбранился с инспектором (сей меня не любил) и публично поставил мне *пять с крестом*. Но... тяжело мне с собой ладить, ни в чем не могу я успеть — вместо того чтобы поддержать о себе хорошее мнение, я пренебрег похвалами учителя и начал писать ему такие сочинения, такие сочинения, что у него волос дыбом на голове становился: вообразите себе, не было ни *начала*, ни *средины*, ни *окончания*! Чему же я учился!.. Учитель в досаде назвал меня казаком — луганским: видно, не любил он этого казака! Вот вам мои клас<с>ные сочинения. Но в гимназии же начал я и не клас<с>ными заниматься. В 6 классе, напр<имер>, у нас издавался журнал. Редактором его был упомянутый мною поэт; участвовали в нем все наши знаменитости (я не был знаменит еще, потому что был откровенен только с одним (который заметил у вас под левым глазом остроту), ему одному только были известны мои литературные труды; прочие знали меня как *гуляку* и как *шута*; учитель — как *лентяя*); участвовал в нем и другой поэт (Г<-н> Берг, помещающий теперь в Москвитянине, тогда бывший в 7-м классе), еще один известный юморист (с огромными способностями, уверяю вас; жаль только[2],

[1] *В автографе:* привелигированых

[2] уверяю вас; жаль только *вписано вместо:* откровенно вам говорю

что как-то груб и дик; он теперь вместе со мною; *избалован славою* и потому иногда нескромен; откровенно признается вашим подражателем и потому приторно иногда читать его статьи. Удивляюсь, как ему прежде меня не пришла фантазия писать к вам; он любит странности). Еще другие многие участвовали; я был зрителем; впрочем, и зрителем не был. У директора были литературные вечера, на квартире бывали многие профессора. Я с своим другом, человеком очень энергическим, который, как и я, стремился — тщетно стремился, пробиться туда! поневоле должны были философствовать дома. Но я слишком распространился, для вас тут ничего нет занимательного. Скажу же в двух словах: в седьмом классе (<*1 нрзб.*> еще под конец жизни) уж <*1 нрзб.*> наконец наши литераторы и поэты, что около них тоже поэт сидит!.. И вот редактор попросил меня участвовать. После долгих <*1 нрзб.*> я согласился и получил на свои руки *литературную летопись* и *смесь*. Но где мне что-нибудь сделать!.. В литературной летописи вместо трех строк я писал три страницы, в *смеси* писал огромные статьи, *главы из неоконченных романов*, редактор заметил, что со мной каши не сваришь, журнал не выходил, публика ждала, вдруг... одно мое сочинение попалось инспектору! Я едва не получил отставку, а журнал был прекращен. Но извините, я и вам надоел. Все так подробно я описываю вам оттого, чтобы вы немного узнали меня; а чтоб вы узнали меня, это мне нужно для того, вообразите мою наглость, — что я хочу с вами некоторым образом посоветоваться. Чем чорт не шутит, говорит пословица, почем знать, чего не знает[1], может быть, и я могу сделаться порядочным писателем, а это для России не худо, а я большой патриот. Может быть, во мне и в самом деле есть талант, как говорят иные. Да еще в четвертом классе я затевал писать философию. Я, устав писать, извините, прочту, что написал. Теперь половина первого ночи. — Прочел. Замечу, что очень часто попадаются у меня слова: *впрочем* и *кажется*. — В сочинениях своих я не таков, как здесь, там я все равно что солдат *на поле брани*, а здесь — *в лагерях*, на *распашку*. Это, может быть, оттого, что я видел ваш портрет, или потому, что мне спать хочется, последнее кажется вероятней, и потому прощайте, извините мою докучливость. На сон грядущий попрошу еще вас: сделайте милость, напишите мне ответ! Вот мой и адрес: Его Благородию (как бы то ни было, я студент) Дмитрию Константиновичу Малиновскому. В Москву, на Пречистенку, в приход Афанасия и Кирилла, в Нащекинский

[1] *Так в автографе. Вероятно, следует читать:* чего не бывает

переулок, в собственный дом; а если потеряете адрес, пишите прямо в университет, студенту Математического факультета, первого курса, да не забывайте малину. Что это, как я добродушен! Еще не успел и попросить хорошенько, а уж и адрес со всеми подробностями готов! Не заставьте же мое добродушие раскаиваться, хоть обругайте, да напишите. Ведь вы к целому миру пишете же (в печати), стало быть, вас читают и такие, кто вовсе ничего не понимают (с одной стороны, печатать свои сочинения, право, даже жалко); почему ж вам не написать к тому, кто желает вас понять и кому это может принести пользу. Может быть, амбиция... ну, в таком случае я ретируюсь. Впрочем, лучше загадаю, получу от вас письмо или нет, авось что-нибудь во сне увижу.

Декабрь, 24-е число, Понедельник, 10 часов вечера.

Завтра Рождество Христово. Блажен, у кого сердце чисто. Знаете ли, как прежде сердце у меня было чисто?.. Горько вспомнить. Бывало... да мало ли что бывало! А теперь... завтра, может быть, я и к заутрене пойду, но только для того, чтоб там на соседок швей поглядеть. Не знаю, что писать вам, а спать пока не хочется. Читали вы Кота Мур<р>а, мое любимое сочинение? Я очень похож, с одной стороны, на Крейслера. Во многом я и непохож на него. Похож я на него в разладе с самим собою. Горька жизнь человека! Может быть, от этой, мне только известной горечи я и пишу к вам. Знаете ли, на мое письмо нужны комментарии. Понимаю, как трудно выразить свои мысли. Вы не знаете, я много пережил. Понимаете ли, как горько мыслить, чувствовать и — вместо отголоска участия встречать претензии, глупые — да нет, и кончить не могу. Никому не желаю из своих родных смерти, желаю только, чтобы забыли они меня, бросили и — оставили одного! — Нет, я и в Италии тогда бы не жил, из края в край бы ходил и в Америке бы и в Камчатке... и чтобы никто меня не знал! — Одиночество так одиночество. «И жизнь как пасмурное»... и т. д. Одни эти две строчки ручаются за гений Лермонтова. А в самом деле, смешная штука жизнь человеческая. Чего, чего в ней нету! И молодые люди с претензиею и без претензий, и даже с некоторою приятностию и... и Сидор даже действует в ней. Жаль, что вы его не знаете. Это наших жильцов человек. Я хоть, <*1 нрзб.*>, имею описательный талант и описываю кой-кого иногда, а этого... нет, еще рука не подымается. Если развернется мой талант, я вам опишу его. Вот и опять чело мое прояснилось, вот

и опять на душе гладко — что прикажете делать! Да, и я презанимательная штука. Если вы захотите писать драму в несмешном вкусе — опишите меня. Как жаль, что бумага к концу приближается; хоть и нечего писать, а жаль. Послушайте, откровенно вам скажу, во мне есть частичка гения. Это не несправедливо. Душа говорит, я не хвастаюсь. Из меня ничего не будет — это другое дело, может быть. Я писать не могу, но понимать и наслаждаться могу. Если завтра *утром* прочту эти строки — увы, как побраню себя; но теперь... и вы читайте это вечером, когда... кровь разыграется. Поверьте, я почти теперь не воображаю, что пошлю это к вам, думаю, что дневник пишу. Стыдно же вам будет после этого <*1 нрзб.*> употребить эти мои минуты. Конец, бумаги нет, буду писать начерно. Или спать лечь? Посижу, подумаю. Отвечу здесь, буду ли писать.

Декабрь, 25-е число, вторник. Вечер.

После того, что вы писали о святочных вечерах, о посиделках и т. п., после того, что вы об них знаете, как их понимаете и себе представляете — я боюсь, а желал бы об них говорить. Первый вечер, из тех вечеров, в которые я к вам писал, сегодня желал бы я с вами побеседовать не на бумаге. Мне грустно. Не знаю, почему люблю я деревенские вечера, люблю их спокойные, веселые лица (не вечеров), но потому-то и смерть тошно мне не только видеть их, но даже думать об них. Смерть тошно, т. е. смерть... тоска ужасная! — Не знаю, каково ваше положение, а мое... без шуток, и слов не подберу. Есть у меня отец, мать, тетка, два брата — все преотличные, предобрые люди, но... я зачем попал в это семейство, зачем и я член семейства? Поверите ли, и без того мочи нет от самого себя, а тут еще обязанности. Я должен хорошо теперь заниматься, приготавливаться к экзаменам, а потом на службу и др., по праздникам начальников поздравлять, по будням бумаги писать. Без всяких изображений скажу вам, что мне бывает несносно от других и тошно от самого себя. Напр<имер>, мне двадцать лет, я студент, наступают святки — что надобно бы вывести отсюда? А у меня ничего не выводится. Мне двадцать лет... я променял бы их на два года или на сто двадцать; студент... отсюда и вывести ничего не умею, мне, кажется, все равно, чем ни быть; святки нынче?.. всякий подобный праздник он мне — чуть ли не пытка. И я молод, и мне хочется веселья, радости, погляжу на людей — <*1 нрзб.*>, погляжу от чего — ...жаль, что я не парубок какой-нибудь или просто не мужик сиволапый, тогда хоть сивуха

разогревала бы сердце мое и водила ногами. Говорят, для молодых людей есть всегда готовое удовольствие — женщины; это правда, но не для всех. Для меня, напр<имер>... конечно, и мне бы иной вечерок хотелось провести с дамами; пойду, бывало, и... попаду в б... — Не потому, чтоб мне некуда было ходить, чтобы у меня не было барышень и дам знакомых. Ни одной барышне я интересен быть не могу. Нынче дамы перестали, кажется, уж любить разочарованных, с черным кольцом на руке, со вздо<ха>ми в груди, с... а если б и любили — мне надежды мало, я не разочарован, колец надевать не стану, вздохов испускать также. Но и не <*1 нрзб.*> я <*2 нрзб.*> нужно. Из пустого в порожнее я пересыпать не буду, хоть и вру обыкновенно с ними, не пустяки, а <*1 нрзб.*>. Не стану я расспрашивать, была ли она в собрании, тесно ли, жарко ли было там, а сам рассказываю, как я был при китайском дворе, как Император приревновал меня к своей супруге и т. д. И они считают меня веселым и... *пустым* малым. А их... Нет, я не могу теперь рассказать вам своего горя. Бывало, я хоть в пьянстве находил удовольствие. Что я поэт — об этом ученые уже не спорят, что я люблю музыку — про это и кухарка наша знает. Конечно, она ни разу не видела, чтобы я плакал при звуках наших фортепьяно, но... извините меня. Знаете ли, и в непристойном доме, среди погибших можно находить удовольствие. Бывало... право, и про такие минуты приятно вспомнить. Сижу, бывало, с прекрасным лицем с взъерошенными волосами за длинным (?)[1] столом, а вокруг-то меня?.. Ух, славно по черте поминку творят. И глядишь, и думаешь...[2] Я вам надоел? Простите, перестану писать. Заметили ли вы, что и в гареме-то я рассеян? Да, вот то-то и беда, что я исключительно пред прочими людьми самый ненастоящий человек. Впрочем, я соврал, что мне беспрестанно грустно, это вздор, иногда и смешно даже бывает. Ну про праздники я правду, кажется, сказал: где люди веселятся, там всегда почти мне бывает скучно. Что, хорошо жить в Италии? Впрочем, и Рим, нельзя сказать, чтобы уж очень скверен был. За мной, мне кажется, я ни за что не стал бы жить в другом месте; особливо на <*1 нрзб.*>. Тут и скука родная. Призвание мое на поприще писания (если я буду писать) — конечно, философии, это дело решенное, но, кажется, я и водевили могу писать. Я начал было один под заглавием *Именины*, написал листа четыре, прочел одному человеку, да вы его знаете, т. е. я вам говорил

[1] *Знак вопроса в скобках вписан Малиновским.*

[2] *Далее вписано:* тут на гитаре

об нем, этот ваш подражатель. Так как он хоть и с отличными способностями, но со вкусом еще не совсем эстетическим, и ума[1] столь тонкого, как я, не имеет, то и... ему что-то не понравилось, а я и рад тому случаю, и брат... Впрочем, брат мой хвалил начало. Я хотел представить двух *несчастных* супругов, между которыми кошка дорогу перешла. Вашему подражателю, не знаю, почему, не понравилось одно место, как жена вскинулась на мужа за то, что он вместо трех пряников ошибкой съел шесть; а это было[2] хоть и не очень забавно на бумаге, зато очень естественно на деле. Кроме водевилей я еще могу много, много писать! Напр<имер>, недавно я начал писать роман и воспользовался тем, что предлагаю вам, — начал описывать себя. План был не дурен, места могли быть порядочные, деньги нужны — как не писать? Право, если б написал, непременно пустил бы в печать хоть за 25 рублей. Что за дело, что дурно, у Александровского сада еще не перевелись покупатели. Критику[3] журналов я, к счастию, не уважаю, об публике мало думаю, сам я... от дурного творения не переменюсь, публике дрянь, а себе хорошее, это китайская политика, а китайцы — мой конек. Но увы, я начал, листов десять написал, два переписал начисто — тем и кончилось. Мне довольно мысль порядочная в голову пришла, не знаю, одобрите ли вы ее. Я человек странный, потому и поступать со мной надобно странно. Вот что мне в голову пришло. Если б вы были так добры, что позволили бы мне писать к вам еще и еще и т. д. Поверьте, всегда бы вы получали от меня не менее листов 6-ти. В этих шести листах — что жизнь? Я писал бы вам местами мой роман, или мою повесть, или... и т. д. Это бы для меня преотлично было. Во-первых, я знал бы, что не втуне работаю, знал бы, что есть оценка, а тут совсем бы было иное дело. А то для чего я пишу? Чтобы напечатать? Эта-то мысль, что я пишу для печати, и не дает мне, кажется, ничего кончить, потому что охлаждает мои вдохновения пуще мороженого. А так писать, без цели... Я так и пишу, но и тут конца ждать трудно, я скорей стану в душе наслаждаться, чем пальцы чернилами марать. Не подумайте, чтоб эта просьба гнездилась в голове моей, когда еще я задумал писать к вам. Я об ней не думал и в начале этого листа. А теперь мне кажется, право, славная мысль мне пришла. Если б вы согласились на мое предложение, я непременно бы в следующий уж раз прислал вам первые

[1] *Далее вписано:* не

[2] *Далее было:* оче<нь>

[3] *В автографе:* Критикой

строки моего романа. Впрочем, как надобно я его еще не обдумал. Уж допишу сегодня этот листик. Вообразите еще, я не знаю вашего адреса. Если б я всегда был в таком расположении, как сегодня, — для меня бы было все равно, что вы ни подумаете обо мне по моему письму. Говорю вам без шуток: в голове моей гнездится такая философия, об которой[1] и Канту во сне не снилось. Если я еще напишу — я достигну своего назначения.[2] Не кончить ли этим мои письма? Пожалуй. Прощайте, прощайте! Жаль мне бросать мою работу. Впрочем, у меня еще есть два частных места. Нет, прощайте, больше не буду писать. Завтра узнаю ваш адрес и — пошлю. Прощайте, не поминайте меня лихом, я добрый человек. Д. Малиновский. Забыли вы Русь нашу.

Часа через три.

Даже боюсь продолжать: уж я вам, я думаю, как собака надоел? Впрочем, пусть моя рукопись послужит мне свидетельством, что есть странности на свете. С моей стороны — уж надоедать, так надоедать. — Знаете ли, что произошло со мною в эти три часа? Великие вещи. Рассказывать я вам их не буду, а только замечу, что настоящие мои мысли — должны быть следствием оных. Минут пять сидел я после этой точки и думал, какие же мои настоящие мысли? Увы, они улетучились. А право, много, очень много было в голове и чуть ли не выдержки из моей будущей философии. Предметом этих мыслей была статья: о том, как должно обходиться с людьми в прямом и переносном смысле, т. е. вообще с людьми и с *людьми*, т. е. с лакеями, кучерами, девками и т. д. Эта статья заслужила бы особое внимание потому, что основывалась не на одних моих теориях, а родил ее опыт, теория же только обработала. Хотя я одной ногой стою уже на постели, но спать мне еще не хочется, и потому попробую поговорить минут пять своей философии, так как уж я делал кой-какие намеки. Во-первых, что такое философия? Философия, кажется, говорят иные, есть наука всех наук, есть солнце, озаряющее тьму, и т. д. Я этих представлений не слишком понимаю. По-моему, философия... Я слышал, будто отдельной науки — философии — нет, она разлита во всех науках, она есть разум тех всех наук. Предупреждаю вас, насчет философии я профан; знаю только, что Кант писал

[1] *Далее было:* я

[2] *Далее вымарано:* Может быть эта философия и есть *русская наука*, об которой каждую минуту <?> состоит Главная Идея <*1 нрзб.*> существованья <?>.

философию, что надобно иметь бычачью голову, чтоб не сойти от нее с ума, что логика есть часть философии; больше ничего не знаю, по крайней мере не помню. Я, кажется, сказал вам то об философии, что от других слышал. Что же я думаю об этом? Я думаю, что, если философия разлита во всех других науках, если она есть результат их, то... что же ей, однако, мешает отделиться от прочих наук, что мешает разум<у> затем составить новое целое и даже <*1 нрзб.*> разум <*1 нрзб.*>? (Опять бы не мешало заметить здесь о неточности моих выражений.) По-моему, ничего. Стало быть, по-моему, философия в отдельности, как наука, существует. Что ж такое это за наука? Очень просто, по-моему. Наука эта — *наука жизни.* Последняя заслуживает таких метафор. Да может ли и быть иначе? По правде вам сказать, не знаю, к какому веку относятся мои поверья, только я думаю, что напрасно учить наукам, если они ничему не научают; мне не нужно знать в жизни, существуют ли мнимые количества, чему равняется сторона десятиугольника и т. п., но я вижу иную пользу математики и занимаюсь ею. География... у нас, слава Богу, извощики есть и т. д. Таким образом, все науки без приложения (к жизни) что такое? Грех, время грех даром тратить. Но... как бы вам сказать это?.. в каждой из <и>звестных наук еще можно ее собственную пользу видеть: арифметика учит считать, геометрия — мерить, физика — погоду узнавать, география — без извощиков обходиться и т. д. Что же за польза от философии (без приложения)? Она ум развивает? Так ведь этак, пожалуй, и преферанс и <*1 нрзб.*> его развивают. Если же она не более преферанса это делает, что же такое ее ученики? *Метафизики*, право *метафизики.* <*1 нрзб.*>, даже хоть и <*1 нрзб.*> одних теорий ни к чему не ведет, разве только в желтый дом или в Хемницерову яму. Об этом, мне кажется, и толковать нечего. Итог философии должна быть *наука жизни.* — Всякий живет <*1 нрзб.*> имеет какую-нибудь философию (и у *бесхарактерных* даже есть своя философия). Более или менее, след<овательно>, философия должна быть проще всех наук. Напрасно иные думают (если только кто-нибудь это думает), что в философии должно быть все уму понятно, философия должна быть основана на религии и, след<овательно>, тут уж — не философствуй!.. все прочее, конечно, должно быть собрано. В нашем русском (нищем) народе понятия о религии нечисты и недостаточны, он еще необразован, след<овательно>, для него еще не может быть правильной (это слово надо бы заменить) философии; для среднего класса моя философия пошла бы как по маслу; у высшего (я разделяю

по степени образованности), у ученых... не знаю, ученые хотят иногда видеть вдали и не видят под носом. Для[1] автора (и для ученых, пожалуй)[2] философия должна быть наукой, а для учеников (у меня бы учились не для науки, но для жизни; наука не остановится от этого; на это есть доказательства), для учеников... они бы и не воображали (конечно, для иных надобно хорошего учителя кроме книги), что это наука, а... так себе, легкие и благоразумные правила с картинками и презанимательными историями. О, если б вы знали, какой план в моей голове! В мою философию пошли бы все лица из ваших мертвых душ, из Священной истории, из... Если б жизнь моя пошла так, как я думаю, я бы лет через 20-ть непременно принялся за эту философию. Впрочем, открыть вам все мои мысли — вы почтете меня сумасшедшим. Недаром я хотел писать арифметику с картинками. Итак, вот вам кое-что о моей философии; но идеи мои еще смутны и не так, как надобно, ясны. Пока они как надо не уяснятся в моей голове, свет будет ходит во тьме — я не стану писать; сам себе их изъяснять не стану, чтобы не наврать, пусть сами, если хотят, придут в надлежащую ясность. О юность, юность! Какая ты мечтательница! Впрочем, мечтай себе, пока можешь, мечты тебе не помешают. Особенно мне <*1 нрзб.*> мечтать: у меня, кажется, и че<р>т всего-навсего одна мечта, что из меня что-нибудь будет. Но и эта мечта *она мне* не опасна (не <*1 нрзб.*> собираюсь писать не общее, а частное)[3], *моя* любезная философия истинно стоическая, я от всего без сожаления могу отказаться. Но что ж останется мне, если и эту мечту убью? Один вицмундир студенческий. А кстати, не в похвальбу, вам замечу о себе: я воспитываю себя в школе лишений. Разумеется, не всегда.

Однако пора мне и стыд знать. Пишу, пишу, — кажется, и конца этому не будет. Да прочтете ли вы все?.. Вообразите, задумал, не знаю, что и ответить себе на это. Ну, вот увидим. Ну, если прочтете, что вы обо мне подумаете? Да что хотите, то и думайте. А я думаю, что шесть листов прилежного письма *моего* стоят хоть полстранички *вашего* — <*1 нрзб.*>. Да, напишите ко мне хоть *неглиже.* Я прошу вас об этом. Конечно потому, что ответ ваш будет для меня интересен; но больше и потому, что, знаете, ведь оно и обидно, с одной стороны: писал, писал, воображал, воображал, а тут тебе шиш под нос; я человек с амбицией.

[1] *Далее начато и зачеркнуто:* обр<азованного>
[2] (и для ученых, пожалуй) *вписано.*
[3] (не <*1 нрзб.*> собираюсь писать не общее, а частное) *вписано.*

Нет, пожалуйста, напишите хоть что-нибудь, хоть в таком роде: «Милостивый Государь, мне очень странно, что вы нарушили всякие приличия. Неужели моя известность дает право *всякому*... Не извольте больше беспокоить меня». Я и этим буду доволен, только позвольте уж на такое письмо еще ответ вам написать; этим ответом я покончу все дело. Но очень для меня будет гадко, если вы ничего мне не напишете[1]. Ну, а теперь больше писать, увы, совестно. Итак, прощайте, Милостивый Государь! Видите, как юношески радушно я вам писал, понравится вам это или нет — этого не знаю, знаю только, что, может быть, мы с вами никогда не увидимся. Это очень жаль: писать не то, что говорить, особенно для меня, я хочу <*1 нрзб.*> за <*1 нрзб.*> мыслью, оттого у меня и нескладица в письмах. Прощайте, извините меня. С почтением моим пребыть честь имею к вам, Милостивый Государь, ваш покорнейший слуга: Д. К. Малиновский.

Если мне захочется дальше писать, буду вместо этого здесь по слову приписывать.[2]

1846 г. 18-е Апреля, Четверг.

Помню, что я начал писать к вам, что чем-то уж исписал несколько листочков, что эти листочки хранятся у меня где-то в сундуке, помню, что я с вами об чем-то беседовал, — побеседую еще — может быть, от лени, а может быть, и с горя. — Завтра у нас экзамен, я нынче хотел к нему готовиться и вот... уж час пополудни, а я пишу к вам письмо. С негодованием смотрите на это письмо — оно цена... не знаю, чего, может быть, оно источник моего будущего *несчастия*. Мне еще осталось несколько часов занятий, я мог бы из них кое-что сделать, а я не хочу ничего делать, хоть знаю, что после, может быть, буду раскаиваться в этом. Но что делать, не могу. Вчера я решился нынешний день посвятить занятиям[3], нынче встав в XI часов, однако развернул книгу. Предо мною было дневное светило со всеми его движениями и пятнами, предо мною плыла солидная ижица (V), предо мною колебалась ось земная, а я... ничем не мог увлечься, ижица была для меня ижицею, козерог казался страшным, дева представлялась раком... Я все перепутал, ни в чем не находил толку; однако

[1] *Далее начато и зачеркнуто:* говорите

[2] *Фраза обведена квадратной рамкой. Далее четверть страницы осталась незаполненной. Продолжение письма (относящееся к 1846 г.) обозначено отдельной единицей хранения* (*РГБ*. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 36. Л. 1–6).

[3] *Было:* на занятия

занимался. Ровно в полдень дверь отворилась, и вошел ко мне[1] сосед мой, студент, не такой жалкий, как я. Он весь год гулял больше моего, ходил на лекции не чаще меня, в трактиры не реже, у него всякий день сидели мамзели, и из магазина, и из полпивной, короче, нельзя было подумать, чтоб он был способен заниматься. Я удивлялся, каким образом он мог отлично успевать[2] (т. е. иметь отличные бал<л>ы). Приблизились экзамены, и он, не умывавшись, не перекрестясь, хватался за книгу, зубрил аки… и в день только часа два отдыхал. В эти отдыхи он брал гитару, играл и пел (очень хорошо). Дверь отворилась, и он вошел ко мне с гитарой. Я покосился, взглянул на со<л>нце — на нем пятна, на ижицу — она глядит сурово, я встал и молча подошел к окну, где пел мой скальд. Он пел, я слушал, он ушел — я не могу заниматься. Вот краткая история этого письма. Сердиться же на него хоть за меня, оно отнимает у меня последнюю надежду приготовиться.

Объяснюсь с вами как можно более канонически.

В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

— Вот что говорит Лермонтов в стихотворении[3] «Не верь себе». Боюсь и теперь еще верить себе, но, кажется, начинаю. Чем поверить самого себя? Временем, анализом вдохновения, делом? Время за меня. Давно мне показалось, что *божественный глагол коснулся до моего слуха*, давно встрепенулась душа моя, давно начал я тосковать в забавах мира, даже прежде жизни я малодушно погрузился в заботы суетного света. Когда я был еще *мал*, я думал, что не думает иной *большой*; прекрасно было у меня сердце и не по летам ум. Но знаете, этот-то *ум* и пугает меня.

Помню я, однажды[4] я был один во всех комнатах и сидел на стуле не с думою, но и не без думы. Чуть ли не тогда начала просыпаться моя душа, она глядела через мои глаза и — я желал бы теперь посмотреть в тогдашние мои глаза. Душа моя, кажется, начинала[5] тогда кой-что замечать, удивляться тому, что видят глаза, и замечать себя. Не могу теперь говорить складно. Не помню,

[1] *Далее было:* один
[2] *Было:* заниматься
[3] *Было:* в правиле
[4] *Было:* сперва
[5] кой

что делал ум. Не зная, что делать, я взял бумагу, перо и начал сочинять стихи; я, кажется, их помню: За морями, за реками, Глубоким рвом вокруг обрыт, Между дикими скалами Вертеп разбойников стоит. Дальше не помню, да я, кажется, только и написал. Вот мой первый шаг к чернильнице. Что заставило меня писать? Шалость? Не одна шалость: я давно собирался писать стихи, и даже, кажется, это была уж не первая попытка. Об вдохновении и думать нечего, я даже плохо представляю себе картину, которую описывал, иначе не поместил бы замок под гору. Это было предчувствие призвания? Да, может быть, к чернильнице... Потом мне началось думаться, что я в самом деле[1] могу писать стихи, и я их писал, и ни в одних стихах моих нет ничего вдохновенного, иногда разве покажется мысль, но и та слишком <*1 нрзб.*>. Вот дела моего отрочества. Я начал подрастать, росли и мысли, являлись минуты не вдохновения, а волнения в крови. Я брал бумагу и писал: и к N., и к М., и к жизни и везде желал не восхвалить N., не воспеть М., а выставить себя, блеснуть *бурными порывами фантазии, разочарованием*[2] и т. д. К жизни, напр<имер>, после сетования на ее пустоту и ложный блеск, после грустной элегии я увлекался неким исступленьем и писал: «Но что нужды и т. д. Давайте мне друга — вот деньги за дружбу, давай мне подругу — вот плата за сердце, давай мне веселья — вот <*1 нрзб.*> и <*1 нрзб.*> — Я твой и душею и телом»... и тому подобное.

1846-й год. 13-е декабря.

С полчаса назад я узнал о втором издании *Мертвых душ*[3], я справился, у кого из моих знакомых оно есть, нанял извощика, прочел предисловие и вот, обрадованный, достаю со дна своего заветного ларчика эту тетрадку и пишу к вам. Но теперь время перед обедом, я только что прибыл из похода, после обеда должен идти на урок — одним словом, время вовсе неудобное для того, чтоб писать к вам. Прочту лучше забытые мною листки, взгляну, припомню, чем хотел[4] докучать вам. Но вы сами просите писать, вы хотите найти в них пользу — мои хоть и не будут вам полезны, но я пошлю их, зачем же вам не читать их, когда я к вам писал. Но теперь я ничего не могу говорить. Я очень рассеян, напишу к вам последнее послание сегодня вечером и отправлю его завтра с Богом к Степану Петровичу Шевыреву.

[1] начал
[2] *Было:* разочарования
[3] *Было:* вашей книги
[4] *Было:* хочу

Милостивый Государь.

Прошу вас, простите юношеской выходке! По слабым поводам я вообразил себя поэтом, вообразил себя Бог знает чем и, не мало не запинаясь, не задумываясь, написал к вам семь листов вздору, чистого вздору, и этот вздор, признанный самим мною почти сполна за чистый вздор, я, однако, посылаю и чего-то жду, чего-то от него надеюсь. Постараюсь объяснить вам и отчасти себе побуждение, заставившее меня написать его. Есть на свете жалкий разряд пустых людей, которые, не спросясь броду, суются в воду, которые, не доспросясь[1] хорошенько своих способностей, лезут с ними в знать, хотят быть гениями, и... жалкий результат их ожидает! Вы поэт, вы призваны созерцать тайны природы, духа человеческого, но бесконечное непостижимо, недостижимо, и дух ваш, возмущенный своею немощию, безграничностию стремления, мучается, рассерженная его пытливостью природа бросает в него тысячами вопросы[2], и он останавливается, смотрит, тело закрывает ему глаза, он борется, изнемогает и... тут начинается разлад поэта с жизнию, с самим собою, с определением, для него пуст до бесконечности полный мир Божий, он один в этом мире, пожелал бы убежать и от себя и — куда же ему бежать от самого себя? он к своей пытке прикован. Мучительна такая пытка, для облегчения ее ничтожны земные лекарства, прогулки и путешествия, вера только может облегчить ее, в Евангелии только уляжется дух наш, оно только есть избыточное и покойное вместилище для его бесконечности. Вы поэт, дух ваш не мертв, он живет и — много других состояний готовит он вам. Он иногда как бы наслаждается своим неведением, перед ним море, он не видит берега, но это-то его и тешит, он купается, плавает, ищет глазами берега, не видит и радуется, улыбается, смотрит на бесчисленные окружающие его[3] сокровища, они ему подвластны, он может взять любое из них, тешится, каким хочет... чудно! Хочет — и музыка, никому не ведомая, им только внимаемая, льется, переливается тонкой, золотой струйкой, чудной, благовонной мелодией, летит, улетает, он за ней... его схватывает[4] другая музыка: вдали звуки растут, растут, близятся, не успел и опомниться, как перед ним разлился яростный поток, мечется, рвется, стенает, он узнает в нем самого себя, свои

[1] *Было:* не спросясь

[2] *Было:* вопросов

[3] *Было:* подвластные ему

[4] *Вместо:* он за ней... его схватывает — *было: <нрзб.>*яет *<5 нрзб.>*

неукротимые порывы, предается ему, звуки его охватывают[1], он больше себя не помнит, сливается с ними, терзается ими, терзается вместе с ними, crescendo все растет и, истешившись страдальцем, улетает адским хохотом, адской насмешкой, а он... безумный, простирает за ним руки, хочет унестись за ним... Небесная гармония, хор Ангелов, поющих Бога, слетает к нему, мирит[2] Небо с землею, ничто не противится ее звукам, проклятия забыты, грешник пал,[3] плачет, молится и... пожалуй, засыпает или забывается. Вы поэт, и для вас не заперты ни сады, ни замки фантазии, вы гуляете по ним, и — фантазия только что не кормит вас сладостями и сдобностями. Вы поэт, и для вашей потехи собраны все Чичиковы, Маниловы, Собакевичи, фантазия, или что другое, не щадит для вас даже добрых людей, заставляет их говорить, действовать, думать перед вами, не щадит их скромности, вы видите, как они бреются, подпрыгивают на одной ножке, принимают сурьезные мины, вы смеетесь и — все-таки вы недовольны!!.. Не завидуйте, люди, поэту, не ищите его участи, его участь высока, но и горька, он страдает и за себя и за вас! Да, вы не поймете, не поверите, что часто он за вас горит от стыда, лишается спокойствия, счастия, мрачен, как ночь, безутешен, как приговоренный к казни, ропщет на Бога и — много он терпит за вас, а вы[4] — строите себе в зеркало умильные гримасы, подчуете друг друга табаками, и — что вам до чего за дело: как, дескать, сотоварищи и мы... право не хуже других!! И потом вы со смехом и некоторым сожалением спрашиваете: да какой же это дурак об нас плачет?!.. Ха, ха, ха! Вот, Иван Иванович, до чего нашлись люди — и об нас забота припала! Ха, ха, ха! а я думал: умру, и поплакать некому будет и т. д. В самом <деле>, странно сотворен человек! Посмотришь, те же руки, те же ноги, нос, уши, а — Боже мой! — какая глубокая пропасть, какая длинная цепь отделяет их друг от друга! Как называется это животное, эта машина с языком, с аппетитом и таким удивительным пищеварением? Человек. А этот, что думает спорить с Богом, повелевает громами и гадает судьбу первого? Человек. Да что же такое человек?.. А вот сядьте на этот столбик да и смотрите, мимо вас все будут проходить на двух ногах... вот видите, солдат идет, вот, пьяный... ах, батюшки, упал... ну вот, видите две ноги — вот и человек, вон еще баба загоняет курицу,

[1] *В автографе:* охватывает
[2] *В автографе, вероятно, ошибочно:* мерит
[3] *Далее было:* молит
[4] *Было:* а вы?

и это человек, вон, видите, вон еще идет человек, вон, поп-то, полами мотает... Все люди, все человеки, и всякий себе маракует свое дело, поп читает молитву и глазами поглядывает дьячку на кадилу, а сам думает: с крестом надо идти, извощики, ух, как дороги! чай, Петр Иванович опять обедать оставит. Дьячок подает ему кадилу, допевает наскоро стихиру и думает про себя: нет, брат Мироныч, с нами не стать тягаться, нам недосуг, так и кабаки заперты! Теперь, чай, стоит да покряхтывает, скоро ли обедня отойдет! А вам, поэтам, что делать, чего дожидаться? Какие жизненные интересы завлекают вас? Семейства-то у вас нет, жена не дожидается, когда вас нет дома, дети не приласкаются, когда придете, да и ходить-то вам некуда, все гулять надоест; за деньгами, за нуждой?.. ан вам же выходит стыдно, смеетесь над человечком, а в нужде к нему же идете да еще и покланяетесь!.. Домой приходите, садитесь, сложа руки, на диван — ишь, все не по вас, все вам скучно, заниматься тем, чем другие занимаются, писателю неинтересно, скучно, бесполезно, вас даже и вопросы и занятия ученых не занимают, вы порешили, <*1 нрзб.*>, все ихние вопросы, оставили всех позади, опередили всех, хотите всех куда-то вести!!.. эх, взять бы!.. куда вы приведете? туда же, куда сами пришли? ничего не делать, даром хлеб есть, да только[1] сидеть, повеся нос?.. Уж и так нынче, почитает молодежь ваших книг да ничего не видя со ста<*нрзб.*>ести, одуреет, как белены объевшись: и то не хорошо, и то не сообразно с человеческим назначением (а знаете ли вы это назначение?), и то скучно, и это скучно! Сведете вы скоро мир весь на каторгу! Смотрите, басурманы, что вам придется на том свете!.. И от других достается поэтам, и от себя достается, и от бездушной природы часто достается, и друга нет, и человека не найдешь, с кем бы поговорить было можно, и... хоть в омут беги: просто неизвестно, зачем поэты родятся? Поглядите, как юный канцелярист занят контрадансом, как голый прапорщик любуется на свои усы, — где ж поэтам занятие? Не стану определять здесь их занятий, их назначение, их надлежащего образа жизни, отношений к миру, людям, ближним, к самим себе, к своей совести и т. д. Я хотел только сказать, что поэту иногда солоно приходится, и фантазия не мила.

Но все-таки поэт великое звено в цепи создания, велико его назначение, высока участь! А вот люди... *пустые* есть люди, известного рода... ну, этим бедняжкам жутко иногда приходится! И тем больше им тяжелее, чем больше имеют возможностей

[1] *Было:* повеся

сознавать свою пустоту, т. е. чем менее они пусты. Буду говорить прямо об себе. (Бумаги мне остается немного, и поэтому не могу распространяться.)

Я человек со способностями, одарен умом, чувствами, не лишен воли. Вещь небольшая, а много наделала. Не будь я писателем, заглуши стремление к творчеству, разлей отравленный напиток, все-таки ум остался бы при мне, у меня его достало бы на то, чтоб помириться с своею участью, избрать дорогу, и на этой дороге каждый шаг запечатлевать своею талантливостию, добротою, добродетелью, счастливить по возможности себя и других, разговаривать с совестию и благополучно, может быть, и с земною славою добрести до конца. Но... я ни к чему не гожусь, я не имею воли. Трудно себе представить такого, можно сказать, беспутного, бесталантливого человека, при всех моих добрых намерениях, при всей моей часто <*1 нрзб.*> талантливости. Какие у меня таланты? Я наделен воображением, у меня есть маленькая фантазия, у меня вкус довольно эстетичен, чувства нежны, сердце доброе. Но за это я только поплачиваюсь и дорого поплачиваюсь! Воображение, фантазии и все прочие признаки поэта мучат[1] часто, или мучили[2] меня[3], хоть и восторгают, нечего сказать. Сердце доброе, мягкое, чувства нежные... тяжело им иногда принимать то, что передает ум и вкус и прочие наблюдательные и разбирательные способности. Не говорю, чтобы все это было источником только зла, оно доставляет мне и пропасть добра: фантазия уносит с земли и лелеет в бесконечности, доброе сердце, нежные чувства, хороший вкус доставляют много, много истинных наслаждений, ум в случае нужды и прислужиться умеет, огорчивши, пожалуй, и утешит, своего братца рассудок приставит в <*1 нрзб.*>, планов прекрасных начертит и т. п. Но где же воля? Как без ней обойтись? Ее очень у меня мало, а без ней плохо. Скажу вам коротко, какую бы я себе ни задал задачу, какой бы план не начертил для своей деятельности, ничего не[4] выходит, ничего не делаю. Но извините, мне сильно спать хочется, а сегодня надо кончить, завтра я твердо решил двинуть эту тетрадь в путь. Чем же дело объясняется? Об чем я пишу? В последнем письме я хотел оправдать первые, объяснить вам, что я писал к вам, во-первых, по первому побуждению, а во-вторых, под влиянием моей странности, моего

[1] *Было:* горчат
[2] *Было:* горчили
[3] *Было:* мои минуты
[4] *Было:* все

направления всем увлекаться, ничем не заниматься. Я просто увлекся мыслию писать к вам, не подумав прежде, что мне нечего писать, между тем как и теперь еще думаю, что сделал хорошее дело. Мне кажется, я просто тосковал, горевал, любил ваши сочинения, уважал вас, признавал ваши необыкновенные дарования, сам чувствовал призвание к высокому и пожелал снискать ваше участие — счастлив буду, если найду его. Я желал[1] вам выразить себя и, кажется, успел в этом: я не лгал, по крайней мере. Судите обо мне, как Бог вас вразумит и как сами умудритесь, если я не мог вам дать понятие о себе. Впрочем, предоставляю вам думать что угодно, мои мысли мешают. Прошу вас только, так же, как вы просите читателя, от души, написать мне ваше мнение, если я и не то, чем воображаю себя, все я стою участия. Я вам буду очень благодарен. Чтобы дале<е> быть *<2 нрзб.>*, я, с своей стороны, напишу вам свои замечания на *Мертвые души*, если только они вам будут к чему-нибудь годны.

Позвольте же с вами проститься и без церемоний. Если это вам не понравится, обругайте меня, а я не люблю чиниться.

Прощайте, автор *Мертвых* (живых) *душ*, *Тараса Бульбы*, *Переписки* и т. д. Будьте уверены, что творения ваши не умрут, что вы оставите потомству славу о себе, не один человек поблагодарит вас от души, так, как я вас благодарю, не один человек позавидует моей участи обращаться к вам лично. И меня при случае не забудьте, если станете в иную минуту перебирать знакомые лица, припомните, что есть в Москве человек, который читает ва́ши сочинения с отрадою и благодарит вас за них, они его утешают, веселят и заставляют забывать много зла, хоть и не добродетель описывают[2]. Я… что-нибудь со мной да будет. Может, с ума сойду, может, с кругу сопьюсь, может, сделаюсь порядочным писателем, а может, где-нибудь и повытчиком буду, почему знать, все в руках у Бога. Если вы нуждаетесь в советах, то помните главный: Какая бы черная минута не приключилась человеку, минута безвинного, безгрешного, бесконечно доброго нашего Спасителя на кресте была горьче, она зато спасла весь род наш, дала нашему горю несомненное утешение. Плакали ли вы когда, наконец, пред Богом[3]? Если *да*, то знаете, что сладость таких слез заглушит всякую горесть. Ваш покорный слуга

Д. Малиновский.

[1] *Было:* пожелал

[2] *Было:* выражают

[3] *В автографе:* богом

Пожалуйста, не побрезгайте моею просьбою. Напишите мне строчку. Ведь сами вы желали исполнения вашей просьбы.

### 1247. А. О. Смирновой

Февраля 22 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Как мне приятно было получить ваши строчки, моя добрая Александра Осиповна! Ко мне мало теперь пишут. С появленья моей книги еще никто не писал ко мне. Кроме коротких уведомлений, что книга вышла и производит разнообразные толки, я ничего еще не знаю. Какие именно толки — не знаю[1], не могу даже и определить их вперед, потому что не знаю, какие именно из моих статей пропущены, а какие не пропущены. От Плетнева я получил только[2] вместе с уведомлень<ем> о выходе книги и об отправленьи ее ко мне уведомленье, что больше половины не пропущено, статьи же пропущенные обрезаны немилосердно цензурою. Вся цензурная проделка для меня покаместь темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги. Я до сих пор не получал ее[3] и даже боюсь получить[4]. Как ни креплюсь, но, признаюсь вам, мне будет тяжело на нее взглянуть. Всё в ней было в связи и в последовательности и вводило постепенно читателя в дело — и вся связь теперь разрушена! Будьте свидетелем моей слабости душевной и моего неуменья переносить: всё, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с Божьею помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные[5] от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами матери зарезали ее любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который до того благоволил к моим произведениям[6], боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости. Но я этому не совсем верю: человек этот не глуп. Тут есть что-то, покуда для

[1] я еще не знаю
[2] получил только уведомленье
[3] книги
[4] боюсь ее получить
[5] излившиеся
[6] благоволил ко мне

меня непонятное. Я просил Вьельгорского и Вязем<ского> пересмотреть внимательно все непропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприличным и неловким, представить их на суд дальше. Если и Государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей Божьей, чтобы не выходили в публику эти письма; по крайней мере, мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя, может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца[1]. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам[2] о том, что можно[3] делать губернаторше, попало также туда, а потому вы не удивляйтесь, что оно пришлось вам не совсем кстати: я, писавши его к вам, имел уже в виду многих других и желал посредством его добиться верных и настоящих сведений о внутреннем[4] состояньи душевном люда, живущего у нас повсюду. Мне это нужно; вы не знаете, как это вразумляет меня. Я бы давно был гораздо умнее нынешнего, если бы мне доставлялась верная статистика[5]. Если бы вы доставляли мне в продолжение года хотя такие известия, какие содержатся в нынешнем вашем милом письме, на которое я вам отвечаю (хотя в нем говорится только о невозможности делать добро), то я чрез это самое к концу года пришел бы в возможность сказать вам вещи, гораздо более удобные к приведению к исполнению. У меня голова находчива, и затруднительность[6] обстоятельств усиливает умственную изобретательность[7]; душа же человека с каждым днем становится ясней. Но когда я не введен в те подробности, которые другой считает незначительными, душа моя тоскует, и мне, точно, как будто бы душно, и не развязаны мои руки. Вся книга моя долженствовала быть пробою: мне хотелось ею попробовать, в каком состоянии находятся головы и души. Мне хотелось только поселить[8] посредством ее в голове идеал возможности делать добро, потому что есть много истинно доброжелательных людей, которые устали от борьбы и омрачились

[1] в сердца их
[2] ваше письмо
[3] долж<но>
[4] *В подлиннике:* внутренном
[5] статистика всего
[6] и чем труднее
[7] изобретательность ума
[8] поселить его

мыслью, что ничего нельзя сделать. Идею возможности, хотя и отдаленную[1], нужно носить в голове, — потому что с ней, как с светильником, все-таки отыщешь что-нибудь делать, а без нее вовсе останешься впотьмах. Письма эти вызвали бы ответы. Ответы эти дали бы мне сведения. Мне нужно много набрать знаний; мне нужно хорошо знать Россию. Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые «Мертвые души», которых начало явилось в таком неприглядном виде. Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которых напичкали головы французские романы, могут быть выгнаны[2] другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека в такой степени, что львицы[3] возжелают попасть в другие львицы. Способность созданья есть способность великая, если только она оживотворена[4] благословеньем высшим Бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее как следует, в дело. А употребить ее как следует, в дело я в силах только тогда, когда разум мой озаряется полным знанием дела. Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Не будут живы мои образы, если я не состроою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь[5] литературного труда моего. Ее объявляю вам[6], потому что вас удостоил Бог понимать многое (благословите же всякие недуги и сокрушения, возведшие до этой степени вашу душу).[7] С московскими моими приятелями об этом не рассуждайте. Они люди умные, но многословы и от нечего делать толкут воду в ступе.[8] Оттого их может смутить всякая бабья сплетня и сделаться для них предметом неистощимых споров. Пусть их путаются обо мне; я их вразумлять не буду. А между тем их мненья обо мне имеют ту выгодную сторону, что всё-таки заставят меня лишний раз оглянуться на себя. А это очень не мешает, и потому я любопытен

[1] идеал возможности, хотя и отдаленный

[2] выгнаны вдруг

[3] все львицы

[4] возжена

[5] моя исповедь. Не гневайтесь, что я вас иногда тормошу расспросами

[6] вам первым

[7] *Далее начато:* Держит<е>

[8] *Далее начато:* [С ними я никогда] а потому не мудрено, что

знать всё, что говорят обо мне. Не скрывайте же и вы от меня ничего, откуда ни услышите. Не ленитесь и не забывайте меня вашими письмами. Ваши письма всегда мне приносили радость душевную, а теперь более, чем когда-либо прежде. Ваши мысли о трудности[1] иметь какое-нибудь доброе влияние на жителей города Калуги очень основательны и разумны. Но не смущайтесь этим и вообще тем[2], что душа ваша остается без больших подвигов. Уже и это подвиг, если добрый человек, подобный вам, захотел жить в городе Калуге. А подвиги придут. Не позабывайте, что разум[3] наш в распоряженьи у Бога: сегодня он видит невозможности, завтра Богу угодно раздвинуть пред ним горизонт шире, и он уже видит там возможность, где встречал прежде невозможности. Пишите ко мне чаще, и говорю вам нелицемерно, что это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг, и, если хотите доброе даянье ваше сделать еще существеннее, присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею[4] о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например, выставьте сегодня заглавие: *Городская львица.* И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками — и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом — личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: *Непонятая женщина* и опишите мне таким же образом непонятую женщину. Потом: *Городская добродетельная женщина.* Потом: *Честный взяточник;* потом: *Губер<н>ский лев.* Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит. Вспомните прежнюю вашу веселость и уменье замечать смешные стороны человека, и, вооружась ими, вы сделаете для меня живой портрет, а мысль, что это вы делаете не для праздного пересмеханья, а для добра, одушевит вас охотою рисовать с такими подробностями портреты, с какими бы вы пренебрегли прежде. После вы увидете, если только милость Божия будет сопровождать меня в труде моем, какое христиански

[1] о нево<зможности>
[2] или же тем
[3] ум
[4] полную идею

доброе дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей этого будете вы. Я не думаю, чтобы эта работа была для вас трудна и утомительна. Тут нет ни системы, ни плана и ничего казенного или должностного. Я думаю даже, что это будет приятно вам, потому что, составляя портреты, вы будете представлять перед собою меня и будете чувствовать, что вы для меня это делаете. Для того всё приятно делать, кого любишь, а вы меня любите, за что да наградит вас Бог много, много! Много есть людей, которые говорят мне тоже, что они меня любят, но любви их я не доверяю: она шатка и подвержена всяким измененьям и влияньям. Вы же любите меня *во Христе*, а потому и любовь ваша вечна, как самая[1] жизнь во Христе. Но прощайте, моя добрая, до следующего письма! Мне чувствуется[2], что мы теперь чаще, нежели прежде, будем писать друг к другу. Целую ручки ваши, и Бог да хранит вас!

*<На обороте:>*

Kalouga. Russie.
Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.
В Калуге.

## 1248. Графиня С. М. Соллогуб — Н. В. Гоголю

С<анкт->Петербург. 3-го февраля <1847>.

Спасибо, любезный Николай Васильевич, спасибо вам тысячу раз! Ваше сердечное воспоминание меня очень тронуло. Примите от нас всех искреннее благодарение за ваш чудесный подарок. Книга ваша произвела здесь много шума и различные толки. Новость и неожиданность содержания поразили многих. Я узнала во всех ваших письмах знакомого мне милого друга, несколько дикого в Бадене, веселого и любезнейшего в Ницце, доброго, необходимого, но немного грустного посетителя в Остенде. Вы высказали вашу думу, и мы вас поняли, и ваш голос раздался по всему любимому вами краю и нашел сочувствие во многих сердцах. Но, к несчастию, многие вас совершенно не поняли, и ваш труд останется для них бесполезным.

Я бы охотно прислала вам выписки из многочисленных критик, которые появились в разных наших журналах, но не смею решиться на такое дело. Критики столь язвительны, разбор ваших писем так немилосердно строг и насмешлив, и выведенные

[1] наша
[2] Мне ка<жется>

заключения из собственных ваших слов и суждений так странны и преувеличенны, что я считаю лишним упоминать о них здесь, руководствуясь этим правилом: «плетью обуха не перешибешь».

Спорить со всеми теми, которые говорят, что эта книжка недостойна вашего огромного таланта, что вы потеряны для литературы, для искусства и проч., я не могу, так как и вам нельзя преобразовать нынешнее общество, дух и направление которого весьма нехристианское и невозвышенное.

Петр Александрович сказывал мне, что цензура не пропустила некоторых из замечательнейших ваших писем. Сестра и я мы очень любопытны знать, кому вы пишете первое ваше письмо, которое нам так понравилось («Женщина в свете»).

Александра Осиповна писала мне недавно про вас. Я вижу с радостью, что она из числа тех друзей, которые умеют вас ценить и, кроме автора, видеть в вас *христианина.* Маменька получила ваше письмо и намерена скоро писать вам. Настал пост и вместе с ним тишина, чему я очень рада.

Дети мои здоровы. Соня порядочно читает по-русски и чрезвычайно резва, но мила и ласкова. Саша только что начинает говорить. Мы живем по-прежнему: тихо, мирно, вполне наслаждаясь семейною жизнью. Когда вы преклоните колени перед Гробом Спасителя, то не забудьте нас. Я не забываю вашей просьбы и часто молюсь за вас. Простите, любезный Николай Васильевич, да сохранит вас Господь! Обнимаю вас от всей души. Повторяю вам ваши собственные слова: «не унывайте», сказанные мне вами столь часто. Прощайте.

Софья С.

## 1249. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

6/18 февраля 1847. <Франкфурт>

Мой милый Гоголек, коротенькое письмецо твое, со вложением выписки из письма Шевырева, я получил — благодарю. Жаль для нас, что тот Языков, который теперь разовьется из души, освобожденной от земного, не перед нами совершит свое развитие и что это явление отнято у земли. Ему, во всяком случае, лучше, легче и радостнее, нежели нам. Но я не намерен теперь писать много. Хочу только сказать, что твоя книга теперь в моих руках, что я уже ее всю прочитал или почти всю, то есть кроме двух последних статей, уже мне известных, что я в ней нашел два письма ко мне, которые сделали большой крюк в Петербург, дабы

из типографии департамента внешней торговли дойти до меня в печатном образе; что я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием, часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде, что, наконец, эта книга должна произвести и произведет всеобщее сильное и благотворное действие, что я намерен ее перечитать медленно в другой раз и что по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей, что эта переписка может также составить книгу, которая, если подлинно будет в ней что-нибудь достойное общего внимания, может выйти вслед за первою и вместе с нею пробудить в головах русских также несколько добрых мыслей. Итак, Гоголек, жди от меня длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана — план был бы неуместен и мне бы даже повредил. Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей; мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра, — это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки (то есть нападки любви к тебе и к добру, которое мы оба любим); но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил. И на что была нужна эта поспешность, понять не могу. Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали, и книга бы была избавлена от многих пятен литературных и типографических, которых теперь с нее не снимешь. И мне бы ты был полезен, ибо все это время было бы для меня время испытания; оно еще и теперь почти так же круто, как было, в некотором отношении еще круче: у Рейтерна большая часть дома больна; он сам до сих пор все страдал разным образом; теперь больны нервическою горячкою Миа, Жатто и девка в доме, а женина болезнь усиливается беспокойством о сестре и брате; болезнь же ее ты знаешь на себе — но довольно. Прости.

Твой Жуковский.

Прошу написать мне, долго ли пробудешь ты в Неаполе; куда и когда отправишься.

## 1250. Князю П. А. Вяземскому

Февраля 28 <н. ст. 1847. Неаполь>.

Вы уже, вероятно, получили, мой добрый князь, моё письмо и в нем просьбу мою, усердную и убедительную просьбу о восстановлении моей книги в ее настоящем виде. По клочку[1], обгрызенному цензурой, о ней нельзя судить. Во глубине ее лежит правда, и правда ее может обнаружиться только тогда, когда вся книга будет прочитана, вся сплошь, в той именно связи и в том размещеньи статей, какое составлено у меня. А потому я просил Плетнева включить сызнова всё, выброшенное цензурой, и приказать переписать все статьи непропущенные; еще лучше, если всю книгу переписать сплошь. Нет нужды, если дело от этого затянется. О представлении поспешном моей книги Государю я вовсе не думаю. У меня одно желание,[2] чтобы она была прочитана прежде вами, взвешена, разобрана строго и выправлена. Мне бы желалось, чтобы ее прочел также[3] внимательно гр<аф> М. Ю. Вьельг<орский>, потом В. А. Перовский, и сказали бы оба свои замечания, а потом чтобы она поступила вновь к вам, и вы бы, вновь ее прочитавши, выправили ее совершенно (если она окажется для этого годною). Князь! Не позабуду по гроб этой услуги вашей! Появленье книги моей уже может быть важно потому, если заставит хотя задуматься общество[4] о предметах более существенных. Это правда, что на ней лежит какой-то фальшивый тон и неуместная восторженность, что произошло[5] от<того>, что книга эта действительно долженствовала явиться по смерти. Здесь действовал также страх за жизнь свою и за возможность[6] окончить начатый труд («М<ертвые> д<уши>»), страх извинительный в моих болезненных недугах, которые были слишком тяжелы. Этот страх заставил заговорить вперед о многих таких вещах, которые следовало развить во всем сочинении так, чтобы не походили они на проповедь. Вот отчего в некоторых письмах есть некоторые неуместные вставки, выходящие из обыкновенного тона писем. Вот отчего в некоторых местах есть напыщенности и выраженья, показывающие самонадеянного или высоко задумавшего о себе человека. Я их не могу хорошо всех видеть, но вы

[1] По этому клочку
[2] я хочу
[3] прежде
[4] многих
[5] произошло дей<ствительно>
[6] и мысль за невоз<можностью>

их заметите, потому что в чужом глазу бревно виднее и потому что ваш ум способен обнимать многие стороны дела. Я уверен, что если только выбросить все неприличные и заносчивые выражения, книга моя примет вид[1], в котором может предстать на цензуру и в публику. Нет вещи, которой бы нельзя было сказать, если только сумеешь сказать поосмотрительней[2] и полегче. Пословица недаром говорит: «Тех же щей, да пожиже влей». Итак, окажите мне дружбу, которой я, разумеется, теперь еще не заслужил, но которую заслужу, потому что от всего сердца люблю вас, а кого любишь, тому хочется и служить. Вооружитесь, после внимательного прочтенья моей рукописи, пером и сначала изгладьте *я* во всех местах, где оно неприлично высунулось. Во всех же мнениях и мыслях вообще о предметах повыше представьте себе мысленно мою личность и везде, где только приметите, что чиновник 8 класса слишком зарапортовался, сделайте так, чтобы он не позабыл, что он чиновник 8 класса. Иногда помещение подле[3] одной фразы другой, несколько смягчающей ее или более объясняющей, уже делает то, что та же мысль принимается, которая за минуту пред тем была отвергнута. Не поскупитесь также и вашей собственной мыслью, если бы она была следствием моей мысли. Мне чувствуется, что вам теперь должно быть многое знакомо, что не знакомо[4] неиспытанным и неискушенным страданьями людям. Душа ваша, я знаю, много страдала втайне и приобрела чрез то высшее познание вещей. Не будем считаться мыслями: они не наши и не принадлежат нам; они посылаются Богом и могут всех равно посетить. Взгляните на мою рукопись как на вашу собственную и родную. Не выдал бы я ее, если бы не почел дела, в ней содержимого, общим делом. Скажу вам также, что в ней сверх всего есть также и мое собственное душевное дело, что вы, я думаю, уже и приметили, а потому для меня слишком важны все мненья, ею возбужденные в публике. Мне нужны все эти нападенья, которых так боится человек, потому что, опровергая меня, всяк мне что-нибудь да выскажет, чего бы никак не высказал (иные[5] даже и не заговорят по тех пор, покуда не рассердятся).[6] Это и меня покажет ясней

[1] другой вид
[2] прилично
[3] около
[4] не знакомо еще
[5] иные, сами знаете
[6] *Далее начато:* От этого и я

самому себе и то общество, с которым[1] мне нужно иметь дело. Мне нужно много поумнеть для того, чтобы «Мертвые души» вышли тем, чем следует быть им. И вот почему я вдвое более хлопочу о моей книге. Итак, не оставьте меня, добрый князь, и Бог вас да наградит за то, потому что подвиг ваш будет истинно христианский и высокий. Не оставьте меня также хотя несколькими строчками вашего ответа на это письмо мое, адресуя в Неаполь. Palazzo Ferandino.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому.

## 1251. А. О. Россету

Февраля 28 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Что ж вы, мой добрый Аркадий Осипович, обещали сообщить мне мнения и свои, и чужие о книге и вдруг замолкнули. А я на вас положился и думал, что вы не измените мне! Вы уже, верно, получили мое письмо со включеньем письма к Плетневу и с убедительной просьбой к вам самим заняться моей книгой, если бы Плетневу невозможно было управиться одному. Дело издания моей книги в ее настоящем виде должно быть обделано умно, а потому с ним торопиться не следует. Нужно только, чтобы вся сплошь была переписана моя рукопись, в том именно порядке, в каком она была у меня, с исключеньем только двух статей, которые нужно выбросить: «Близорукому приятелю» и «Страхи и ужасы Р<оссии>». Нужно, чтобы необходимо моя рукопись была прочитана вся сплошь и в связи внимательно граф<ом> М<ихаилом> Ю<рьевичем> В<иельгорским> и кн<язем> Вяземск<им>. Мне бы хотелось также, чтобы и Васил<ий> Алекс<еевич> Перовский на нее обратил вниманье и прочел бы всю с начала до конца. Князя Вяземского я прошу потом выправить в ней всё вследствие как их, так и своих замечаний и привести ее в такой вид, чтобы она могла поступить на рассмотрение. А до того времени, как я писал вам в прежнем письме, следует книгу тиснуть в другой раз в прежнем виде. Она разойдется. А если бы и не успела разойтись вся до настоящего и третьего издания, пустить ее можно будет подешевле[2], и ее раскупят на подарки тем, у которых нет денег на книгу. Прощайте, мой добрый Аркадий Осипович. Ради Бога,

[1] которое

[2] *В подлиннике:* подешевлее

не оставляйте меня вашими письмами; передайте при сем прилагаемое письмецо князю Вяземскому и напишите мне точный адрес его. Выписываю вам здесь порядок писем, какой должен быть в издании *настоящем* моей книги:

Предисловие.
I. Завещание.
II. Женщина в свете.
III. Значение болезней.
IV. О том, что такое слово.
V. Чтение русских поэтов перед публикою.
VI. О помощи бедным.
VII. Об «Одиссее», переводимой Жуковским.
VIII. О нашей Церкви и духовенстве.
IX. О том же.
X. О лиризме наших поэтов.
XI. Споры.
XII. Христианин идет вперед.
XIII. Карамзин.
XIV. О театре, об одностор<оннем> взгляде на театр и вообще об односторонности.
XV. Советы.
XVI. Предметы для лирических поэтов.
XVII. Просвещение.
XVIII. Письма к разн<ым> лицам по поводу «М<ертвых> д<уш>».
XIX. Нужно любить Россию.
XX. Нужно проездиться по России.
XXI. Что такое губернаторша.
XXII. Русский помещик.
XXIII. Историческ<ий> живописец Иванов.
XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту.
XXV. Сельский суд и расправа.[1]
XXVIII. Занимающему важное место.
XXIX. Чей удел на земле выше.
XXX. Напутствие.
XXXI. В чем же существо русской поэзии и в чем ее особенность.
XXXII. Светлое Воскресенье.

[1] *Далее вычеркнуто (без изменения последующей нумерации глав):* XXVI. Страхи и ужасы России. XXVII. Близорукому приятелю.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.
Его высокоблагородию Аркадию Осиповичу Россети.
В С. Петербурге. У Пантелеймона. В доме Быкова.

### 1252. Протоиерею Матфею Константиновскому

<Январь–февраль (н. ст.) 1847. Неаполь>

Я прошу вас убедительно прочитать мою книгу и сказать мне хотя два словечка о ней, первые, какие придутся вам, какие скажет вам душа ваша. Не скройте от меня ничего и не думайте, чтобы ваше замечание или упрек был для меня огорчителен. Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще. Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете; говорите мне так, как бы меня век знали. Напишите мне письмецо в Неаполь, адресуя так: «Monsieur Nicolas Gogol à Naples en Italie, poste restante». Приложите в моем письме маленькое письмецо, хотя также из двух строчек, к гр<афу> Александру Петровичу Толстому, который также к этому времени приедет в Неаполь, с тем, чтобы выпроводить меня к Святым Местам, а может быть, даже и самому туда пуститься, если Богу будет угодно поселить ему такую мысль. Вашими двумя строками вы его много, много обрадуете.

В заключение прошу вас молиться обо мне крепко, крепко во всё время путешествия, которое, видит Бог, хотелось бы совершить в потребу истинную души моей, дабы быть в силах потом совершить дело во славу святого имени Его. Помолитесь же обо мне, и Бог вам воздаст за это десятерицею.

Посылается вам книга в двух экземплярах: один для вас, а другой для того, кому вы захотите дать.

### 1253. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

Петербург. 7/19 февр<аля> 1847.

Прежде всего, любезный Николай Васильевич, должна я вас благодарить за экземпляры ваших писем, которые вы назначили каждому из нас и которые мы получили с искренней благодарностью. Мне не нужно прибавить, что мы прочли их с необыкновенным интересом, но с различными впечатлениями. Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня все в них просто, понятно; мне кажется, читая их, что я вас слышу, как вы часто с нами говорили, и я вхожу в ваши чувства, вижу вашими глазами и мыслю вашими мыслями. Иначе и не может быть. Вы судите

теперь обо всем, как каждый истинный христианин должен судить, то есть посредством религии. Она одна назначает всем предметам сей земли их настоящую цену, и эти предметы суть только действительно то, что они перед ее глазами, а не перед нашими. Читая ваши письма, душа слышит, что вы правы. Но я не должна медлить исполнить ваше желание узнать, что другие говорят о новой книге вашей. Много говорят о ней, любезный Николай Васильевич, и я иногда спрашиваю себя, какое впечатление она б сделала на меня, знала бы я вас только по вашим сочинениям. Вы можете вообразить себе, как люди, знавши вас только по сих пор как комического или по крайней мере как светского автора, как они должны, читая вашу книгу, удивляться, теряться и, может быть, смущаться вашей для них внезапной и непонятной перемене. У Софии Михайловны собираются по середам знакомые ее мужа, почти все русские, люди умные, некоторые из них литераторы. Так я слышала, что иные полагают вас потерянным для литературы; вообще все хвалят ваши письма, но не одобряют «Предисловия» и особенно духовного завещания, видя в них, как они говорят, «уничижение паче гордости». Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может понравиться публике и что она не может понять его. Я понимаю, что многие места из ваших писем привели ее в недоумение. Вы говорите иногда о себе с таким удивительным смирением (как, например, в третьем письме по поводу «Мертвых душ»), что большее число ваших читателей должны думать, что вы или играете комедию, или слишком самолюбивы, не зная сами, что такое смирение, и думавши, может быть, что оно только находится в святых. Говорили предо мной, что вы всегда были самолюбивы и что теперь ваше самолюбие приняло только другой вид. Извините, любезный Николай Васильевич, что я вам так откровенно пишу; впрочем, я знаю, что даже самые несправедливые, злые критики ваших литературных недоброжелателей не могли б теперь оскорбить вас. Вы вознеслись выше всех низких, мелочных страстей и слабостей сей жизни и, верно, единственно заняты вашим пред<по>лагаемым путешествием к Святым Местам. Еще одно слово о ваших письмах. Мне особенно понравились: «Женщина в свете», «О нашей Церкви и духовенстве», «О театре...», «Предметы для лир<ического> поэта...», «Советы», «Просвещение» (все, что вы говорите про наши церкви, мне пришлось удивительно по сердцу), «Русский помещик», «Чем может

быть жена... и пр.», «Чей удел на земле выше». Я останавливаюсь, чтобы не всех назвать. Владимир говорит, что многие из ваших писем sont des chefs-d'oeuvres; я только сужу сердцем и впечатлениями. В эту минуту я получила ваше письмо через Апраксина. Вы желаете, чтобы я короче познакомилась с Плетневым. Я готова все сделать, что может вам доставить удовольствие, но не думайте, чтоб я могла быть теперь кому-нибудь душевно полезна. Мне самой нужна помощь, и я так занята душевным моим состоянием, что мне ужасно трудно выходить из себя и заниматься другими. Не ожидайте теперь от меня ни силы, ни воли, ни даже почти надежды: все изнемогло во мне, и я могу сказать с Давидом: «Нет здравого места в теле моем». Но Бог милостив, и «претерпевый до конца спасен будет». Сам Иисус сказал: «Прискорбна есть душа Моя до смерти», как же нам тогда не знать внутренние тяжелые скорби?

Прощайте, любезный Николай Васильевич, вспомните обо мне при Гробе Господнем и покрепче помолитесь за меня, и чтобы Бог мне послал твердость: я чувствую себя в совершенном бессилии. Христос с вами.

А. В<иельгорская>.

У маменьки глаза болели, но ей теперь лучше, и она вам будет отвечать. Насчет вашего пашпорта папенька вам уже давно написал, что Государь приказал всем нашим министрам и консулам взять вас под их покровительство и по возможности облегчить вам трудности вашего путешествия.

### 1254. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

<20 февраля (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Странные дела происходят на земле, любезный Гоголек. В генваре 1845 года послан ко мне вексель на ваше имя — я его не получал; а только с генваря 1847 спрашивают у меня: получил ли я этот вексель? Следовательно, в течение ровно двух лет никто не позаботился узнать, что сделалось с этим векселем. Хорош ты, Гоголек. А даешь прекрасные советы экономии дамам и эти советы еще печатаешь для пользы всей России. Хорошо, что Плетневу вздумалось сделать проруху и послать вексель secunda ко мне во Франкфурт, а не прямо к тебе в Неаполь. Там бы тебе по этому векселю не дали денег, ибо нужно бы было при нем представить свидетельство, что по векселю prima не было уплаты. Теперь это дело решено; из Гамбурга пришло уведомление, что prima

не уплачен (куда он девался, Бог ведает). Франкфуртский Ротшильд напишет завтра к неаполитанскому Ротшильду, чтобы по векселю сделать уплату, как скоро ты с ним явишься. Ему же дано поручение выдать тебе и от меня 1 000 рублей ассигнациями, в принятии которых ты должен дать ему расписку, дабы, по предъявлении сей расписки мне, я мог заплатить здешнему Ротшильду деньги. Вексель же твой secunda для большей верности послан Убрилем к нашему посланнику Потоцкому, к которому прошу немедля явиться и взять вексель, а меня уведомить об его получении. Из великокняжеских же денег теперь выдано мною тебе 3 000 рублей, остается еще на мне *одна* тысяча, которая в будущем году в феврале месяце к тебе пошлется... но куда? Итак:

1) по получении сего письма ты явишься к *Потоцкому*, он выдаст тебе вексель secunda, отправленный к нему Убрилем.

2) С этим векселем secunda явишься в *контору Ротшильда* и получишь там по нему уплату.

3) У того же Ротшильда потребуешь 1 000 рублей ассигнациями, которые здешним Ротшильдом поручено ему выдать тебе моим именем.

4) Обо всем этом меня уведомишь.

Еще переписки с тобою я не начинал; но скоро начну ее.

Прощай. Обнимаю сердечно.

Жуковский.

8/20 февраля 1847.

## 1255. В. А. Жуковскому

<4 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Оба письма (одно от 4-го февраля и другое от 10-го) мною получены одно за другим, хотя они шли довольно долго. Еще не получая их, я отправил также два письма, одно за другим. В одном была вложена выписка из письма Шевырева о кончине Языкова; в другом извещение о выпуске в свет моей книги (в изуродованном виде). То и другое было равно скорбно в двух различных отношениях. Но велик Бог, приуготовляющий заблаговременно нашу душу к перенесению утрат. О! да будет Он с нами, да совершается всё по Его святой воле, но да не оставляет Он нас и да пребудет с нами в часы утрат наших! Мне было также скорбно слышать о недугах и страданьях нервических Елизаветы Алексеевны. Но я верю милосердию Божиему, верю, что это совершается для чего-то во благо души. И душа ее после этих недугов, которые пройдут, воссияет, убранная новыми драгоценными убранствами.

Я получил на днях письмо от Смирновой. Она теперь оправилась от своих нервических страданий, которые были ужасны и, как сама она говорит, отняли у ней все силы и самый ум. Теперь она не знает, как благодарить Бога за это время и за сокровища, которые оно принесло к ней в душу. Она говорит правду: в словах самого письма ее отражается какая-то *полнота* разума и твердое, несокрушимое упование. Скажу и о себе: мое здоровье также в это время расстроилось (ночи мои еще до сих пор без сна). Сверх всего этого, сверх самого удаленья от нас в лучшую страну Языкова, который так любил меня (два раза всякий месяц писал он ко мне и, несмотря на все свои недуги, был исправней всех моих корреспондентов), сверх всего этого мне случилося получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей от людей, разумеется, не знающих души моей. Но как всё это было нужно! Как всё это было нужно! Я и подумать не мог[1], как много во мне еще осталось гордости, самонадеянности, самолюбия, самонадменности и высокомерия. Да будет благословен Бог, раскрывающий перед нами нашу душу. Мне кажется, как будто после всего этого я стал теперь *проще* и как будто ровнее: сужу по тому, что мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней всё так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что от стыда закрываю вперед обеими руками лицо. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве! Именье дано в управленье большое, а управитель[2] еще слишком плох и слишком не научен, как привести именье в стройность. Как мне трудно достигнуть той простоты, которая уже при самом рожденьи влагается другому в душу, и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!

От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне, точно, вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма. Надобно знать, что вексель этот был послан ко мне против желанья моего, тогда как я уже сделал совсем другое распоряжение из моих денег. Но хозяина, которому принадлежали деньги, не послушали, оттого, может быть, и постигнула такая участь этот вексель. Во всяком случае, преследование по этому делу и особенно всякого рода *взыскания* следует оставить:

[1] еще не мог
[2] сам управитель

тот, кто отважился взять эти деньги, был человек, вероятно, беспорядочный и неимущий, а потому и до сих пор остался таким же, то есть беспорядочным и неимущим, а потом придется, может быть, содрать последнюю рубашку (если не самую кожу) или с его жены, или детей, или родственников, от чего Боже сохрани, а потому дело это[1] оставить. Разузнать можно, но, Христа ради, никаких взысканий ни в каком случае! Что же касается до меня самого, то мне теперь деньги[2] не нужны. Деньги теперь ползут ко мне со всех сторон, именно потому, что я перестал о них заботиться. Безденежье приходит только тогда, когда человек хлопочет о деньгах. Но обнимаю всех вас, мою до<рог>ую прекрасную семью, [становящуюся] с каждым днем ближайшею моему сердцу. Бог да хранит вас всех. Всего...

Гоголь.

Теперь я должен буду для укрепления нерв моих проездиться в Швальбах и потом на морское купанье, а после этого в Неаполь и оттуда на Восток. Стало быть, в июне, если будет Бог так милостив, мы встретимся во Франкфурте. Видно, недаром было написано в записной книжке, данной мне во Франкфурте на дорогу: «до свиданья» и вслед за этим прибавлено: «Франкфурт».

*<На обороте:>*

Francfort sur Mein.

Son excellence monsieur Basile de Joukoffsky.

Francfort s/M. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

*<Штемпель:>*

16 Marz 1847

### 1256. М. П. Погодину

Марта 4 <н. ст. 1847>. Неаполь.

От Сергея Тим<офеевича> Аксакова я получил письмо и в нем извещение, что ты был глубоко оскорблен моими словами о тебе, напечатанными в моей книге (явившейся в обезображенном и неполном виде). Он сказал, что ты даже плакал и потом, успокоившись, хотел писать мне следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив <в> ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Друг мой, зачем же ты остановился и не написал мне этого сам? Или почувствовал, что укорить за это есть уже неуменье подставить другую ланиту?

[1] мое дело

[2] деньги, даже и следуемые мне

Между нами всеми есть недоразумение. И С. Т. Аксаков, и Шевырев, и ты сам уверены, что я на тебя сержусь, и под этим углом смотрят на все слова мои, привыкши по чувству нежного участья щадить человека в миролюбное время и высказывать ему правду только в гневе. Вы и в моих словах увидели гнев и, что еще хуже, долговременную мстительность. Но ни гнева, ни мстительности у меня тут не было. Первый давно прошел, второй же никогда не питал ни <к> кому, даже как бы он ни оскорбил меня. Напротив, меня всегда веселила впереди мысль примиренья[1] и с самым непримиримым[2] и наиболее противу меня ожесточенным неприятелем. Минута прощенья и примиренья мне всегда казалась праздником и лучшею минутою в жизни. Вот тебе истинная правда моего сердца. Но меня всегда изумляло твое беспамятство. Я долго думал и придумывал, как бы дать тебе почувствовать, что ты оскорбляешь человека, никак не думая оскорбить его. Не думал бы я об этом так постоянно и долго, если бы не случилось такое дело, где ты чуть-чуть не был причиной страшного события, которое отравило бы на всё время твою жизнь и сделало бы твою совесть мучительницей твоей. Итак, я долго думал о том, как бы дать тебе это почувствовать, и постоянная мысль об этом, может быть, была причиною[3], что я, говоря о тебе, выразился более резко, чем следовало, желая не скрыть твоих недостатков. Какие бы ни были причины слов моих о тебе в книге моей, но слова мои — правда, ты рассмотри их сам, в них нет лжи. Неужели правда стала так уже неуважительна в глазах наших, что ею мы должны потчевать только врагов своих, а не друзей? Правда о тебе выразилась словами неприличными, неосмотрительными, потому что говорю[4] тебе честное слово: я не имел в виду[5] так оскорбить тебя, но смотри, как странно случилось: ты, который не наблюдал доселе так часто приличий в словах и выражениях твоих, являвшихся в печати, и тем невольно оскорблял других, получил именно толчок сам в этом же самом, потому что, вновь тебе повторяю, здесь больше всего прочего была виной просто неосмотрительность. Но для меня произошло от этого радостное[6] явление, которого я, признаюсь, совсем не ожидал. Ты огорчился

[1] мысль, что я, наконец, примирюсь
[2] *В подлиннике:* с самим непримеревшим <*описка?*>
[3] заставила, может быть
[4] даю
[5] не имел в виду произвести
[6] то радостное

и, может быть, доселе огорчен (но нет, этого не может быть: ты великодушен и умеешь прощать), а я обрадовался и доселе рад, обрадовался тому, что с этой минуты поселилась у меня к тебе такая любовь, какой никогда доселе не было. Увидеть тебя, говорить с тобой, глядеть на тебя мне стало так теперь желательно, как никогда доселе. И мне кажется, что дружба наша с этих только пор начнется, а доселе был один ее обманчивый призрак, условленный шаткими светскими понятьями о дружбе; я чувствую, что отныне только между нами установятся те любовные родные речи, которые должны быть по-настоящему между всеми людьми, те речи, на языке которых и самый упрек кажется приятным. Мне теперь так хочется знать всё о тебе: и что ты делаешь у себя в доме, и где сидишь, и что читаешь, и в каком расположеньи духа, и с кем говоришь, и что говоришь. И я бы много дал теперь за то, чтобы прочитать хотя короткий журнал дня твоего. Друг мой или, лучше, брат (в названии брата есть что-то лучшее, нежели в названии друга, да и Христос велит нам быть братьями), пиши ко мне просто, всё, что ни есть на душе твоей, всё оно будет мне равно приятно, как бы ты ни выразился. Письма твои будут теперь услада мне, я так думаю, потому что мысль о тебе стала теперь мне усладой. Признаюсь тебе, что я было уже несколько изнемог и от недугов, и от многих тяжелых испытаний (и у меня есть,[1] как у тебя, тяжелые испытания, и я не знаю, что тяжелее — получить ли неприличное нападенье от близкого человека в печатной книге или получать письменные упреки от самых близких друзей в лицемерии, ханжестве, надувании других и скорбные упреки в играньи комедии там и в том, что было священнейшею мыслью[2] и любовью души). Много нужно сил, чтоб это вытерпеть, но я теперь вытерпливаю с большим мужеством. Любовь к тебе стала сладким чувством, утешающим и освежающим силы мои, и мне чувствуется, что и в твоей душе что-нибудь да произошло в это время, и строки мои найдут в ней отклик. Напиши же мне и не медли.

Весь твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Его высокородию Михаилу Петровичу Погодину.

В Москве. Близ Девичьего монастыря, на Девичьем поле, в собствен<ном> доме.

[1] они есть

[2] *В подлиннике:* мыслей

## 1257. С. П. Шевыреву

Марта 4 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Долго я не постигал причины твоего молчанья в такое время, когда мне больше всего были нужны твои письма. Наконец, из письма[1] Серг<ея> Тим<офеевича> Аксакова (исполненного упреков самых жестких и даже не совершенно справедливых, но притом нужных душе моей) я догадался, что ты должен быть сердит на меня за Погодина. Я и позабыл было, что в книге моей есть слова о Погодине, которые и он и вы приняли в другом смысле. Вы твердо убедили себя, что я питаю гнев и неудовольствие против Погодина, под углом этого убежденья смотрите на все мои слова о Погодине, а потому и увидали дело в большем виде, чем оно есть. Вот вся правда дела: когда я, точно, сердился на Погодина, от меня никто не слышал тогда дурного слова о Погодине; я представлю вам свидетелей, которые, слава Богу, еще живы. Когда прошел гнев, явилось в душе моей[2] сильное желание оправдаться перед Погодиным, показать ему, как он невинно стал виноват и как заблудился обо мне. Желаньем этим я страдал и томился и в то же время видел, что для этого нужно обнаружить донага всю свою душу и принести непритворную исповедь во всем том, что творилось в душе моей незримо от всех; без этого было бы объясненье мое непонятно. А принести своей исповеди *полной* я был тогда не в силах, да и теперь вряд ли в силах. Гнев на бессилие свое объясниться отозвался болезненным стоном в тех моих письмах, в которых я вам упоминал о Погодине. Этот болезненный стон вы приняли за гнев мой против Погодина. Я не хотел вас разуверять, зная, что вы не поверите словам моим. Потом и самое это желание объясниться и оправдаться во мне угаснуло. Я стал думать только о том, каким бы образом дать ощутительнее[3] почувствовать Погодину его вину вообще,[4] а не против меня, и показать, как можно без желанья нанести пораженье человеку, поразить его, потому что едва было не случилось такое дело, за которое замучила бы его совесть. Содержа беспрестанно в голове мысль о том, как указать Погодину недостатки его, поставляющие его в неприятные отношения с людьми, я, может быть, выражался о нем сильней, чем выражается обыкновенно приятель о приятеле. И это вас поразило в статье, напечатанной

[1] Из письма от

[2] у меня произошло сильное желание

[3] сильнее

[4] вообще против многих

в моей книге, которую я, может быть, исправил бы и облегчил, если бы рассмотрел ее перед печатаньем, но, занятый другими, более меня тогда занимавшими, я о ней просто позабыл. Во всяком случае, в статье о Погодине нет лжи, я говорил то, в чем был убежден, и как бы ни были слова и выраженья неприличны, но в основании их лежит правда, — этого и ты не можешь отвергнуть. Что же касается до слов Сергея Тимофеевича, что будто я обесчестил Погодина публично, то это совершенно несправедливо.[1] Моей ненависти против Погодина никто не отыскал в этих словах[2] о Погодине из людей, которым незнакомы наши отношения. Их увидели вы потому, что взглянули уже глазами предубежденными и потому, что вам известны многие такие обстоятельства, которые не могут быть известны читателю. Если ж кто и отыщет в них следы ненависти и озлобленья моего противу Погодина, тогда бесчестье мне, а не Погодину. Кто ж тут выиграл, я или Погодин? Кому слава, мне или ему? Разве и теперь не называют меня даже близкие мне люди лицемером, Тартюфом, двуличным человеком, играющим комедию даже в том, что есть святейшего человеку. Или, ты думаешь, легко это вынести? Это еще Бог весть, какая из оплеух посильнее для того, чтобы вынести, эта ли или та, которую я дал, по вашему мненью, Погодину. Оплеуха Погодину случилась как-то сама собою, так что, уверяю честным моим словом, я даже сам не знаю, в какой степени я в ней виноват, и ожидаю еще формального обвиненья;[3] целой половины наших грехов мы не видим, а потому и нужно, чтобы другие нам помогали, указывая их *вполне*. Знаю я только то, что я обрадовался тому, что эта оплеуха случилась, хотя вначале было испугался. С этих пор любовь к Погодину, которую, говорю тебе нелицемерно, я хотел насильно приобресть, вошла вдруг сама собою в мою душу, — любовь, которой я никогда прежде к нему не имел в такой степени. Прежде я только уважал его, любил его великодушные мысли и благородство его высших стремлений, но не его самого. Я не подавал ему руки на тесную дружбу. Он первый начал меня называть ты. У нас не было никаких сходств в наших характерах и тех симпатических маленьких наклонностей, которые делают то, что люди вдруг делаются друзьями и никогда не могут между собой поссориться. Но теперь чувствую, что между нами завяжется дружба, которой никто уже на земле

[1] *Далее начато было:* Статьи

[2] статьях

[3] *Далее начато:* потому что

не разорвет, потому что Христос станет между нами и поможет нам объясниться. В одно время[1] с этим письмом моим к тебе я написал и к нему письмо. А потому ты спроси его, получил ли он. Что же касается до тебя, то тебе, во всяком случае, <грех>; если сердит, выскажи, но не молчи. Если ж хочешь наказать меня молчанием, то тебе вдвойне грех, потому что я просил в предисловии к моей книге простить меня и за то, что отыщется в моей книге. Если я поступил не как христианин, то разве это дает право поступить и тебе не по-христиански? Уведоми меня обо всем о моей книге, ничего не скрывая, иначе дашь отчет за это Богу, потому что ради Господа Христа я прошу об этом. При сем письмо к сестре моей Ольге, которое я прошу тебя отправить в Полтаву, в д<еревню> Василевку, вместе с проповедями Иннокентия, которые потрудись купить на мои деньги. И если деньги накопились, то отправь немедленно две тысячи сто рубл<ей> ассигнациями, 2 100 р<ублей>, к моей матери, адресуя так: «Марье Ивановне Гоголь в Полтаву, а оттуда в д<еревню> Василевку. Ее высокобл<агородию>». Обнимаю тебя.

Твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Профессору импер<аторского> Московского университета Степану Петровичу Шевыреву.

В Москве. В Дегтярном переулке близ Тверской. В собствен<ном> доме.

## 1258. О. В. Гоголь

<4 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Любезная сестра моя Ольга, из посылаемых при сем денег (двух тысяч ассигнац<иями>) сто рублей принадлежат тебе, прочие же, как я писал в письме к маминьке назад тому неделю, должны быть распределены таким образом: 100 р<ублей> Анне, 100 Елисавете, 200 маминьке, 500 в пансион за вашего племянника, а 1000 в уплату процентов, которых ни на что другое не трогать, даже и в таком случае, когда бы хотелось оттуда занять на время. Сверх того, я посылаю тебе 50 р<ублей> моих на раздачу бедным тем, которых ты найдешь в наибольшей нужде и которые возымеют намерение истинное вести порядочную жизнь.[2] От времени до времени будут тебе присылаться из Москвы

[1] Вместе

[2] *Далее начато:* сверх того, посылаю тебе

деньги на бедных. Посылаются тебе также проповеди Иннокентия, которые ты прочти и скажи мне, как они тебе показались и чем именно для тебя полезны. На остальные пятьдесят рублей нужно будет сделать от меня какой-нибудь подарок племяннику. Или купить хорошее ружье, если он охотник, или что-нибудь такое, что он наибольше любит. В прежнем моем письме я сделал ошибку, которую хотел тотчас исправить, но не успел. А именно: поверяя счеты, веденные Лизой, я счел не так[1]. Вместил в один год ту сумму, которая приходится за два года. А потому и выставил 20 000 доходу, тогда как следовало выставить 10 000. Но и это я не знал тогда, в какой степени верно, потому что отчетов за два месяца тогда не получал. Письмо, в котором были заключены эти счеты, где-то долго странствовало[2] и пришло ко мне гораздо позже. А потому, пожалуста, поверь вместе с сестрами хорошенько приход и расход за весь год и напиши мне итог за весь год, чтобы я знал наверно, сколько получено всего. Еще прошу вас поверять всякий месяц счеты именно таким образом, как я просил, взвешивая всякую вещь и сравнивая, во сколько мер одна другой нужнее. Затем будьте здоровы. Напишите каждая о том, что ни услышите о моей книге, и свои собственные впечатления, толки[3] других, и добрые и дурные, и что говорят в Полтаве. Никакими толками и замечаньями не следует пренебрегать, особенно дурными: они заставляют нас все-таки лишний раз на себя оглянуться. Сначала кажется неправда, а как всмотришься получше, увидишь, что дыма без огня не бывает, на дне лежит и правда. Но прощайте! Бог да хранит вас всех.

*<На обороте:>*

Ольге Васильевне Гоголь в д<еревне> Васильевке.

[1] я счел за два года, вместо того

[2] было на время запропастилось

[3] и толки

## 1259. Государственный канцлер, министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде — управляющему Императорской миссией в Неаполе графу Л. С. Потоцкому. Сопроводительное письмо к пакету бумаг для Гоголя, данное графом Л. С. Потоцким для прочтения Гоголю 5 марта (н. ст.) 1847 г.

<20 января 1847. Санкт-Петербург>

По № 155.
Посланнику
Графу Потоцкому
(в Неаполе).

От Г. Канцлера

*На нотной.*[1]

№ 232.
20 Генв<аря> 1847.

М<илостивый> Г<осударь>
Граф Лев Северинович!

Г. Генерал-Адъют<ан>т Адлерберг уведомил меня, что известный литератор Николай Гоголь, уволенный от службы с чином 8-го класса, прислал к Государю Императору из Неаполя всеподданнейшее письмо, в коем просит о выдаче ему паспорта для путешествия ко Святым Местам, и что Его Величество по сему письму Высочайше повелеть соизволил: объявить мне, чтобы я распорядился о снабжении Г. Гоголя беспошлинным заграничным паспортом на полтора года к Святым Местам, и чтобы я сообщил Миссии нашей в Конст<антинопо>ле, а также Консулам в Египте, Сирии и Малой Азии, что Государю Импер<ато>ру благоугодно, дабы Г-ну Гоголю было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение. Сверх того, Его Вел<ичест>во соизволил повелеть, чтобы независимо от предписаний Миссии

[1] *Помета карандашом.*

и Консулам в Турции я снабдил Г. Гогдя рекомендательными к ним же письмами.

Во исполнение вышеизображенных Выс<очай>ших повелений имею честь препроводить к Вашему С<иятельст>ву заграничный паспорт для Г. Гоголя от 15-го Генваря под № 14 и три рекомендательных об нем письма: к Гг. Д<ействительному> Ст<атскому> С<оветни>ку Устинову, Кол<лежскому> Сов<етни>ку Фоку и Над<ворному> Сов<етни>ку Базили, покорнейше прося приказать вручить сии письма и паспорт Г-ну Гоголю и вместе с тем объявить ему, что об оказывании ему покровительства и попечения поручено Управ<ляющему> Миссиею в Константиноп<о>ле послать надлежащие предписания Ген<ральны>м Консулам в Египте, Бейруте и Смирне, Консулу в Салонике, Вице-Консулам в Яффе и Дарданеллах.[1]

О последующем по сему отношению, равно как и об отъезде Г. Гоголя в Левант, не угодно ли будет Вам, М<илостивый> Г<осударь>, меня уведомить.

Прим<ите> увер<ение>…[2]

## 1260. Пакет с заграничным паспортом и рекомендательными письмами для проезда к Святым Местам, полученный Гоголем от управляющего Императорской миссией в Неаполе графа Л. С. Потоцкого 5 марта (н. ст.) 1847 г.

### *I. Заграничный паспорт для проезда к Святым Местам*

Января 15. 1847.[3] Находящийся в Неаполе чиновник 8 класса Николай Гоголь отправляется для путешествия по Святым Местам сроком на полтора года.

[1] *Далее было:* Прим<ите> увер<ение>

[2] *Не дописано.*

[3] *Далее в копии С. П. Шевырева было:* для

### *II. Государственный канцлер, министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к управляющему Императорской миссией в Константинополе М. М. Устинову*

№ 229.

С.-Петербург. 20 января 1847.

Милостивый Государь
Михаил Михайлович!

В отношении от сего числа № 228 (посылаемом к Вам прямо в Константинополь) я сообщаю Вам *Высочайшее* повеление о том, чтобы со стороны Миссии и Консульств наших в Турции оказываемо было всевозможное покровительство и попечение известному литератору Гоголю, предпринимающему путешествие ко Святым Местам.

Независимо от означенного отношения и во исполнение *Высочайшей* же воли, я считаю долгом снабдить Г<-на> Гоголя настоящим рекомендательным письмом к Вашему Превосходительству и просить Вас оказать благосклонный прием и особенное Ваше покровительство сему литератору, на коего *Государю Императору* благоугодно было обратить *Всемилостивейшее* внимание.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Nesselrode.

Его Пре<восходительст>ву М. М. Устинову.

### *III. Товарищ министра иностранных дел Л. Г. Сенявин — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к русскому генеральному консулу в Бейруте К. М. Базили*

№ 230.

<С.->Петербург. 20 января 1847.

Его Высокобл<агоро>дию К. М. Базили.
Милостивый Государь,
Константин Михайлович.

Г. Генерал-Адъютант Адлерберг уведомил Господина Государственного Канцлера, что известный литератор Николай Гоголь, уволенный от службы с чином 8 класса, прислал к Государю Императору из Неаполя всеподданнейшее письмо, в коем просит о выдаче ему паспорта для путешествия к Святым Местам, и что Его Величество Высочайше повелеть соизволил: снабдить Г. Гоголя беспошлинным заграничным паспортом на полтора

года и сообщить Миссии и Консульствам нашим в Турции, что Его Величеству благоугодно, чтобы со стороны их было оказываемо Г. Гоголю всевозможное покровительство и попечение.

Во исполнение такового Высочайшего повеления Господин Канцлер поручил Г. Действительному Статскому Советнику Устинову дать надлежащие предписания Консульствам нашим в Турции.

Независимо от сего и вследствие Высочайшей же воли, я покорнейше прошу Вас, во время пребывания в Сирии Г. Гоголя (который лично вручит Вам сие письмо) оказать ему благосклонный прием и всякое с Вашей стороны содействие; при отправлении же его в Иерусалим снабдить его надлежащими рекомендательными письмами.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Лев Сенявин.

### *IV. Товарищ министра иностранных дел Л. Г. Сенявин — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к русскому генеральному консулу в Александрии А. М. Фоку*

№ 231.

С.-Петербург. 20 января 1847.

Милостивый Государь
Александр Максимович!

Г<-н> Генерал-Адъютант Адлерберг уведомил Господина Государственного Канцлера, что известный Литератор Николай Гоголь, уволенный от службы с чином 8 класса, прислал к *Государю Императору* из Неаполя всеподданнейшее письмо, в коем просит о выдаче ему паспорта для путешествия к Святым Местам, и что *Его Величество Высочайше* повелеть соизволил: снабдить Г<-на> Гоголя беспошлинным заграничным паспортом на полтора года и сообщить Миссии и Консульствам нашим в Турции, что *Его Величеству* благоугодно, чтобы со стороны их было оказываемо Г<-ну> Гоголю всевозможное покровительство и попечение.

Во исполнение такового *Высочайшего* повеления Господин Канцлер поручил Г<-ну> Действительному Статскому Советнику Устинову дать надлежащие предписания Консульствам нашим в Турции.

Независимо от сего и вследствие *Высочайшей* же воли, я покорнейше прошу Вас, во время пребывания в Египте Г<-на> Гоголя

(который лично вручит Вам сие письмо) оказать ему благосклонный прием и всякое с Вашей стороны содействие.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Лев Сенявин.

Его Высокобл<агоро>дию А. М. Фоку.

## 1261. С. Т. Аксакову

6 марта <н. ст. 1847>. Неаполь.

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаньями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне. В письме его есть, точно, некоторая жесткость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом *к вам* он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому всё то, <что> высказал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято[1] ими в соображение, которое, может быть, иное[2] показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать всё о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в *полном и совершенном* самоослеплении. А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь: уговор был принимать, не сердясь, взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать *замечания* — это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже, просто, всякий человек. Но выводить из своих замечаний заключение обо всем человеке — это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой

[1] выш<ло>
[2] многое

он может обозревать *со всех сторон* предмет. Ну, что если я вам расскажу следующую повесть? Повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он[1] сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен, и потому потребуется больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключенье об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова.[2] Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды? Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня всеми замечаниями, всё доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать, но сам в то же время не смущается обо мне, а, вместо того, тихо молится[3] в душе своей, да спасет меня Бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека. Это лучше всего, что он может для меня сделать, и, верно, Бог за такие чистые и жаркие молитвы, которые суть лучшие благодеяния, какие может сделать на земле брат брату, спасет мою душу даже и тогда, если бы, по-видимому невозвратно, одолели ее всякие обольщения. Но покуда прощайте. Передавайте мне все толки и сужденья, какие откуда ни услышите, и свои, и чужие, — первые, вторые, третьи и четвертые впечатления. Душевный поклон доброй Ольге Семеновне и всем вашим.

Весь ваш Г<оголь>.

Насчет Погодина есть также недоразумения, но, вероятно, он уже с вами об этом объяснился, потому что я ему писал

[1] он сам

[2] *Далее начато было:* Подумывали ранее <?>, что это значит, повар [их <?>] нас морочит или иное что

[3] молится обо мне

подробно третьего дня, т. е. 4 марта. К Шевыреву было также послано письмо от 4 марта. При сем письмецо Надежде Николаев<не> Шереметьевой.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.
Его высокоблагородию Сергею Тимофеевичу Аксакову.
В Москве. В Мокриевском переулке.
В доме Рюмина.

## 1262. Н. Н. Шереметевой

<6 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Друг мой Надежда Николаевна, вы ко мне ничего не пишете. Но я понимаю ваше молчанье. Вы, верно, молитесь обо мне. О! да благословит вас Бог за это! Чего не может сделать у Бога молитва, возносимая от чистого сердца за ближнего нашего и брата? Верю, что ради молитв тех праведников, которые обо мне молятся, Бог спасет меня, — даже и тогда, когда бы душа моя была опутана со всех сторон теми обольщениями лукавыми, которые подозревают во мне ныне. Пишите ко мне. Со смерти прекрасного Языкова нашего, которого душа теперь ликует в селениях небесных, вы не прислали ко мне ни одной строчки. Но прощайте. Бог да воздаст вам сторицею за ваши молитвы обо мне.

Ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Надежде Николаевне Шереметьевой.

## 1263. В. А. Жуковскому

Неаполь. 6 марта <н. ст. 1847>.

Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дни, то есть четвертого марта. Появленье книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение.[1] Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое

[1] *Далее начато:* [и] Я чувствую только то, что

мне следует глядеться для того, чтобы видеть всё свое неряшество и меньше грешить вперед. При всем том книга моя полезна.[1] В одну неделю исчезнули все экземпляры ее (хотя печатано было два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими, и все предметы разговоров умных людей наших обществ заменились другими предметами. Я ожидаю, что после моей книги явится несколько умных и дельных сочинений, потому что в моей книге есть именно что-то, зарывающее на умственную деятельность человека. Несмотря на то что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения. Но, признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и *нужным* у нас явлением, потому что после моей книги всё как-то напряжено, все более или менее, как противники, так и защитники, находятся в положении неспокойном, а многие недоумевают просто, куды пристать, не умея согласить многих, по-видимому, противоположных вещей, от той резкости, с какою они выражены. Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что воз<о>мнил о себе, будто[2] мое школьное воспитанье уже кончилось и могу я стать наравне с тобою. Право[3], есть во мне что-то хлестаковское. А ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою, которой посылаю заочный поцелуй. Прощайте, мои добрые!

Бог да хранит вас всех целых и невредимых!

Твой Г<оголь>.

Назад тому дня два, я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут. Ночи мои всё по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава Богу, довольно свеж.

<*На обороте:*>

Francfort sur Mein.

Son excellence monsieur Basile de Joukoffsky.

Francfort s/M. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

[1] *Далее начато:* Теперь даже этой самой заносчивости

[2] что

[3] Истинно

## 1264. П. А. Плетневу

<6 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Прости меня, добрый друг, за те большие неприятности, которые я, может быть, нанес тебе моими неугомонными просьбами о восстановлении моей книги в ее прежнем виде. Прости меня, если у меня вырвалось какое-нибудь слово, тебя оскорбившее, в том письме моем, в котором вложено было письмо к доброй А. О. Ишимовой. Думаю так потому, что писал его в тревожном состоянии, среди одолевших меня недугов и печальных известий. Одолевал меня также и страх за мою книгу, которая могла быть не понята[1] от выпуска многих статей, потому что в ней было всё в связи и последовательности, в которой, только опираясь на предыдущее, <я> позволял себе сказать последующее, и в которой, при выпуске одних статей, следовало непременно выбросить и многие другие или же, по крайней <мере>, переделать вовсе. Ты, разумеется, этого не мог приметить[2], потому что в голове содержал эту связь и потому что истины, заключенные в книге, были тебе уже знакомы и без книги моей, но каково же вообще читателю, которому всякую истину нужно подносить уже в доказанном и хорошо объясненном виде? А у меня в других статьях заключились практические объяснения, более доступные[3], того же, что впереди сказано вообще. Вот почему сверх пользы, которую я думал принести этими непропущенными статьями, я так хлопотал о них. Не ради достоинства самих статей, но ради важности самого предмета[4], мне хотелось, чтобы по поводу их было сказано другими умней и лучше моего, и от этого распространилось бы у нас большее знание земли своей и народа своего.[5] Я был уверен, и теперь в этом уверен, что статьи мои не могли напечататься от неприличия тона речи, что, облегчивши и уничтоживши многое, они придут в такой вид, в каком могут быть пропущены. Я писал к князю Вяземскому[6] и графу М. Ю. Вьельгор<скому> рассмотреть строго мою книгу. К князю Вяземскому писал потом еще письмо[7], умоляя уничтожить сначала заносчивые выходки, неприличные выраженья, все места, показывающие

[1] понята только в таком случае

[2] понять

[3] и более доступные

[4] предмета, о к<отором>

[5] *Далее начато:* но теперь вижу сам, что нужно отложить, не торопиться с этим делом

[6] *Далее начато:* умоляя его р<ассмотреть>

[7] письмо о том

самонадеянность, самоуверенность и гордость того, кто писал их, и попробовать прочитать всю книгу сплошь в исправленном виде, чтобы увидеть еще раз, можно ли ее представить. Я не упрям. Я верю[1], что они лучше знают меня многие вещи и приличия, и если скажут, что и тогда нельзя, то ни слова не скажу я и покорюсь. Но, друг мой, мне бы хотелось, чтоб хоть два-три человека прочли мою книгу в связи, всю сплошь. Это мне очень нужно потому, что этими статьями я хотел не столько учить других, но самому многому научиться, потому что — говорю тебе не ложь — мне нужно слишком многого набраться[2] от умных людей, чтобы написать как следует мои «Мертвые души», которые, право,[3] могут быть очень нужная у нас вещь и притом дельная вещь. Мне нужно много[4] практических и положительных сведений, которые я думал вызвать этими статьями, — именно затем, чтобы быть так же ясну и просту в «М<ертвых> д<ушах>», как неясен и загадочен в этой книге моей. Нужно взять из нашей же земли людей, из нашего же собственного тела[5] так, чтобы читатель почувствовал, что это именно взято из того самого материала, из которого и он сам составлен.[6] Иначе не будут живы образы и не произведут благотворного действия. А потому, Бог весть, может, по прочтении моей книги всплошь, придет князю Вяземскому благая мысль[7] подарить и русскую литературу, и меня такими письмами, которые, разумеется, в несколько раз будут лучше моих, прямей и ближе к делу, и могут быть[8] напечатаны отдельной книгой. Может быть, и добрейший[9] граф М. Ю. Вьельгорский снабдит меня такими замечаньями, за которые всю жизнь свою буду ему благодарен. Я не знаю, как перед ним извиняться, не смею даже и писать к нему. Я думаю, что я его слишком огорчил моими всеми докуками. Покажи им лучше это письмо мое, то есть и ему, и князю Вяземскому. Может быть, они, прочитавши его, сколько-нибудь извинят меня и простят меня. Мне кажется, что всё семейство его, мною нежно любимое, мною недовольно, потому что с появленья моей книги никто из них не писал ко мне.

[1] я им верю
[2] многому научиться
[3] право, говорю тебе
[4] нужно было много
[5] материала
[6] *Далее начато:* Вот почему мне
[7] на <ум> благая мысль
[8] могут даже быть
[9] добрый мой

Скажи им, что все мои проступки, в которых видят и самонадеянность, и самолюбие, и самоослепление, происходят просто от глупости, от нетерпенья переждать немного, пока придешь в такое состояние, что сможешь заговорить[1] просто и без напыщенности о том, что теперь выражается грубо, неотесанно и напыщенно. Так бывает со всяким юношей, который не созрел: он всегда хватит нотой ниже или выше того, чем нужно. Итак, желанье мое, чтобы граф М. Ю. Вьель<горский>, князь Вяземск<ий> и да<же> В. А. Перовский, если захотят,[2] были моими судьями, и для этого мне бы хотелось, чтобы вся книга была переписана сплошь, с включением[3] всего (кроме двух статей — «К близоРУК<ому> приятелю» и «Страхи и ужасы», которые совсем не для печати и на место которых у меня готовились другие, под тем же заглавием). Скажи, что никакое решенье их не огорчит меня, что увидать свет эти статьи должны были только затем, чтобы доставить мне замечанья (хотя я вместе с тем и питал[4] сокровенное желание доставить ими пользу), что, если мне сделают они замечанья и наградят меня, я тогда помирюсь совершенно с судьбой моих писем. Друг мой, не сердись на меня и ты ни за что и употреби с своей стороны всё, чтобы подвигнуть их к сему последнему делу. Дело это будет истинно христианское, потому что обратится в добро[5]. Уведомляю тебя, что отъезд мой на Восток, по случаю расклеившегося моего здоровья, позднего полученья пашпорта (его получил только вчера, стало, я бы не поспел в Иерусалим к Светлому празднику, если бы и мог ехать) и, наконец, по случаю всякого рода препятствий, случившихся с теми моими приятелями, которые должны были также ехать в Иерусалим (я же один, по немощи и душевной и телесной, не мог пуститься в такую дорогу), — итак, по случаю всего этого и вместе с тем по случаю надобности ехать на железные воды и на морское купанье, отъезд мой отодвинут. А потому мне всякие письма следует до мая первых чисел отправлять еще в Неаполь, а от мая до сентября во Франкфурт, на имя Жуковского, а с сентября вновь в Неаполь, откуда, если Бог благословит, на Восток, а с Востока — на нашу русскую сторону. Уведомляю также тебя, что книг до сих пор не получил ни одной. Я полагаю, это оттого, что, вероятно, они были адресованы на мое

[1] заговорить обо всем
[2] если захотят они
[3] с выключеньем
[4] питал по самолюбию моему
[5] обратится мне в добро и уму и душе моей

имя, а так как сам по себе я человечек не велик, несмотря на великую возню, которая идет обо мне теперь в литературе, то курьер их и оставил в какой-нибудь канцеля<рии> по дороге. Всего бы лучше адресовать или на имя посланника, или, по крайней мере, секретаря посольства. Что касается до векселя Прокоповича, то он, вероятно, получен кем-нибудь другим. Надобно тебе знать, что во Франкфурте, во время нашего пребывания вместе с Жуковским, завелся другой Жуковский и другой Гоголь. Эти господа весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Гоголь или не-Гоголь, воспользовавшийся деньгами, но он, без сомненья, был человек беспутный и безденежный, стало быть, и теперь остался беспутным и безденежным, а потому взыскивать пришлось бы или с несчастной семьи, или <с> родственников, чего Боже сохрани. Жуковского я просил разузнать, если можно, но не взыскивать. Ты видишь сам: деньги эти были посланы против моего желанья, когда уже было сделано им другое распоряжение, а потому и не судьба была прийти <им> в мои руки. Прокоповичу скажи, чтобы он об этом не сокрушался: что случилось, то случилось. Скажи ему также, что у меня на душе не только нет против него какого-нибудь неудовольствия, но, напротив того, самое дружески-товарищественное расположенье[1], а потому грех будет ему, если он[2] питает против меня какое-нибудь неудовольствие. Прошу тебя также сделать мне истинно дружескую услугу: посылать прямо по почте в письме, вырвавши из журналов, листки, где[3] говорится о моей книге, в каком бы ни было смысле и кем бы ни были они сказаны. Я хочу лучше заплатить подороже за пересылку, чем совсем не получить их или получить тогда, когда они не будут мне нужны. Деньги, я полагаю, у тебя для этого будут от второго издания, которое я просил (в письме, вероятно, доставленном уже тебе от Ар<кадия> Россети) напечатать сходно с первым, как можно поскорее, если настоят требования от книгопродавцев. Жуковский, который получил мою книгу, пишет, что в ней множество опечаток. Пожалуста, похлопочи об исправлении.

Весь твой.

От Жуковского я получил письмо с известием, что prima[4] вексель, как оказалось по банкирским справкам, не уплачена,

[1] расположенье к нему
[2] *В подлиннике:* и он
[3] все листки, где будет
[4] что первая

а потому, как только получу эти деньги, то немедленно препровожу их Прокоповичу для известн<ого> дела.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.

Его Превосходительству ректору импер<аторского> С. П. Бургского университета Петру Александровичу Плетневу.

В С.-Петербурге, на Васильев<ском> остров<е>, в университете.

## 1265. Князь В. В. Львов — Н. В. Гоголю

Москва. 13/25 февраля 1847 г.

Милостивый Государь, Николай Васильевич! Зачем напечатали вы «Выбранные места из Переписки» вашей с друзьями? — Я прочел их со вниманием, с душевным наслаждением и с прискорбием! Вы, конечно, имеете полное право сделать вопрос: «а кто дает вам право писать ко мне, спрашивать меня так нагло о том, в чем я никому не обязан отчетом?» — Извините! теперь обязаны вы сказать все, отдать отчет во всем: вы, в деле обращения вашего, поставили судьею всю читающую публику. Не хочу ни спорить, ни браниться с вами, а спрашиваю так просто: «зачем напечатали вы переписку вашу?» «Уча других, также учимся» (стр. 120, «Советы»), отвечаете вы мне. — Это так, но разве кафедра дается так легко? а мне кажется, что вот эти слова ваши дельны и прикладны: «Нет, храни Бог, в эти минуты переходного состояния душевного пробовать объяснить себя какому-нибудь человеку: нужно (надобно) бежать к одному Богу и ни к кому более» (стр. 157, «Исторический живописец Иванов»). Судя по словам вашим, вы, кажется, готовы отвечать: «и я *испробовал* почти то же состояние», т. е. что время это уже миновало для вас. Но кто же сказал вам, что вы можете уже положить оружие и, научившись победе в битвах, способны быть не только полководцем, но еще возвышать голос и учить стратегии? — Ах, как хорош конец в введении вашем: «прошу всех в России помолиться обо мне!» (стр. 6, предисловие).

Вот мысль моя, о которой хочу я поговорить с вами и на которую можете вы отвечать и не отвечать мне, — это зависит от вас: «издание писем ваших есть ошибка, есть шаг назад на пути, избранном вами, есть дань духу гордости; оно показывает, что ежели вы победили многое, то не видите еще самого сильного врага, *духа прелести*, который стоит всегда на страже у последних врат, ведущих от тьмы к свету». — Узнайте врага этого и вооружитесь

против него вовремя. Вас ожидают бесконечные соблазны, которые возбудили вы сами, напечатав письма. Толки уж начались: «что сделалось с Гоголем?» пр. и пр. Не хочу стать в ряду тех, которым поручено окружать вас соблазнами. Что теряет публика в старом Гоголе? — любимого автора. Что приобретает она в обращенном? — ничего! Вы взялись за ум не для себя и не для публики. Не льстите ей обещанием дать взамен литератора — проповедника. Дар проповеди обещать нельзя; он дается *лицу* без обещания, и всем обещан как награда. — Вы будете ожидать критики на последнее произведение ваше? — не дождетесь! Состояние души вашей, высказанное в письмах, не делает из этих писем достояния критики литературной, а те, которые поймут дело, исполнят желание ваше и будут «молиться о вас», и только! Вместо критики прочтете вы и услышите отовсюду панегирики прежней деятельности вашей, сожаления о погибели *еще одной знаменитости* нашей! Сильное испытание для вас! Смотрите, не накликали ли вы на себя врагов более, нежели в состоянии вы принять на щит? по силе ли они вам?

Не знаю, много ли получите вы писем таких, как это, да мне до этого и дела нет, а пишу я потому, что если человек идет по доске и не видит, что она легко может подвернуться, а я вижу, то не сказать: «берегись, подвернется!» — нельзя. «Отчего же, — спросите вы, — я вижу, а вы нет?» — Не знаю, и думаю — оттого, что по русской пословице: «чужую беду на бобах разведу, а к своей — ума не приложу». Да! к своей ума не приложу! я хуже вас, гораздо и гораздо хуже! Вам предстоит борьба, вы облекаетесь в оружие, а я так слаб, что лежу от немощи и не думаю еще подняться на ноги; но надеюсь на милосердие Божие!

Хотите отвечать мне — отвечайте! — адресуя в Москву, на Новую Басманную, в дом ген<ерала> Л. Перовского; но не думаю, чтобы продолжение переписки было полезно вам, а мне и подавно: боюсь, чтобы не вкралось самолюбие, а это страшно. А хорошо бы выбрать вам советчика. Дай Бог вам силу и крепость! Князь Владимир Владимирович Львов.

## 1266. П. Я. Убри

<8 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Милостивый Государь Петр Яковлевич!

Не знаю, как благодарить вас за вашу доброту и те хлопоты, которыми вы обременили себя по поводу моего векселя. Все

получено мною в исправности. Отъезд мой в Палестину (по случаю расклеившегося вновь моего здоровья и надобности ехать на железные воды и морское купанье) несколько отодвинут. А потому очень может быть, что я буду иметь удовольствие проездом через Франкфурт принести вам лично мою признательность. Прошу вас также при этом случае передать мой искреннейший поклон всему вашему милому и мной весьма уважаемому семейству.

С совершенным почтеньем и такою же преданностью остаюсь вашим покорнейшим слугою

Николай Гоголь.

Марта 8. Неаполь.

<*На обороте:*>

Francfort sur Mein.
Son excellence monsieur
monsieur d'Oubril, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Russie.
Francfort s/M.

## 1267. С. П. Шевыреву

Март<а> 10 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Письмо твое от 30 января со вложением векселя (ценою 182 р<убля> серебр<ом>) получил. Деньги, выручаемые за «М<ертвые> д<уши>», держи у себя и не посылай до моего извещения. В прежнем письме моем (от 4 марта) я просил тебя выслать матери моей две тысячи сто рублей ассигнациями и проповеди Иннокентия сестре Ольге. Будь по-прежнему добр ко мне и не замедли этой отсылкой, если деньги есть налицо. Насчет поступка моего с Погодиным ты уже, вероятно, получил объяснение, если получил мое письмо от 4 марта; Погодин также введен в загадку этого дела, поэтому что и к нему было отправлено письмо того же числа. В письме твоем мало слов о моей книге, но благодарю и за немного. Ты прав, отыскавши в моей книге следы состоянья переходного. Скажу тебе в утешенье только то, что состоянье, во время которого писалась она, миновалось[1]. Мне было страшно самому за многое в моей книге, когда она печаталась, и поверь мне, что книгой моей я дал себе самому гораздо сильнейшую оплеуху, нежели друзьям моим. Но много было причин к ее изданию, а между прочим[2] и та, чтобы увидали

[1] это миновалось
[2] между тем

наконец читатели и почитатели мои (увы! и самые друзья), что не следует торопить меня к печатанью, когда я сам чувствую, что не пришел еще в силы выражаться ясно и просто (до простоты надобно вырасти). По моим прежним письмам, которые я писал к вам, по тому болезненному стону, который был в них слышен всякий раз, когда приходилось мне отвечать на понуканья выступить на поприще литературное, можно бы, казалось, смекнуть, что незачем торопить меня. О, если бы Погодин с самого начала поверил мне на честное слово, не произошло бы между нами этих загадочных явлений. Но что сделано, то сделано. Всё делается не без воли Божией. Не явись моя книга,[1] не сделаны были бы мне упреки, заставившие меня гораздо строже оглянуться на самого себя. Ускользнуло бы от меня *ведение* моего собственного состояния душевного; я бы остался в предположеньи, даже, может быть, в уверенности, что я совершеннее, чем я есмь, и что я почти готов на умное дело. В других твоих замечаниях о моей книге есть сторона и справедливая и несправедливая. Последнее произошло не от ошибочного твоего взгляда, но оттого, что книга моя ужасно обезображена цензурой, так, что во многих местах осталась одна половина мысли. Частица *если*, хоть и небольшая частица, но, если всё выбросишь, если вымараешь фразу, условливающую сказанную мысль, дело может предстать совсем в другом. Скажу тебе, что мне слишком[2] было тяжело слышать об этих помарках, что я[3] очень сердился на бедного Плетнева за то, что он, не дождавшись, что я скажу в ответ на непропущение целой половины книги, поторопился выпустить[4] остаток ее. Но теперь я помирился и с этим. Слышу *ощутительней*, что свыше всё распоряжается лучше, чем мы думаем. На меня бы, может быть, не напали так много, если бы многие вещи сказаны были умней и осторожней, а через это и толков было бы меньше. Но эта резкость, дикость и заносчивость многого в моей книге расшевелит[5] и заденет за живое многих умных людей. Что ж делать, если такова натура русского человека, что его не заставишь до тех пор говорить, покуда не выведешь его из терпения, зацепя за самую живую струну[6]. Поверь, что без этой книги мне бы не узнать всего того, что мне необходимо знать для того, чтобы мои «Мертвые души»

[1] *Далее начато было:* не была мне дана публичная оплеуха и
[2] так
[3] и я
[4] ее выпустить
[5] расшевелит многих
[6] и не зацепишь его за самую живую струну

вышли *то*, чем им следует быть. По поводу моего *неведения* многих вещей,[1] которые у меня выдаются с такою дерзостью за *знание*, многие невольно будут заставлены выказать свое *ведение*, которого я добиваюсь. Друг мой, не сердись на меня за темноту слов и выражений моих, если и теперь покажется тебе что неясным или неискренним.[2] Вспомни только, что я слишком долго страдал от неуменья высказать[3] себя. Прими просто, на веру эти слова мои: «Покуда не заговорит[4] общество о тех предметах, о которых говорится в моей книге, мне физически невозможно двинуть свою работу». Прости меня, добрая душа моя, за все[5] неудовольствия, которые я нанес тебе, за тяжесть тех хлопот, которыми я обременил тебя по поводу дел моих, за мое грубое подчас обращение с тобою, за оскорбленье[6] того, что близко твоему нежному сердцу, словом — за всё прости меня и, в заключенье благодеяний твоих, сделай еще одно благодеянье, которое будет теперь значительней для меня всех прежних. Собирай все толки, все замечанья, всё, что ни будет сказано обо мне и о книге моей и преимущественно о предметах, заключенных в моей книге, даже хотя бы, по-видимому, иные из них были и незначительны. Это уж мое дело будет разобрать и взвесить. Передавай самые жесткие, самые язвительные слова. Говорю тебе истинно, что от всего этого такая польза уму, сердцу и душе моей, как ты и представить себе не сумеешь. Что ж делать, если мне таким, а не другим образом определено добраться до зрелости и разума! Проси и других записывать в простоте и бесхитростно все слова, какие ни услышат, именно, как их услышат. Мне кажется, что даже некоторые из студентов, которые поумнее и побойчее и к тому же имеют случаи побольше обращаться с людьми, могли бы записать многие слова и мненья, слышанные от людей всякого сословия, к которым принадлежат и сами, — хоть, положим, в виде тебе подаваемых упражнений в словесности по части приобретения простого слога и искусства передавать природу просто, как она есть. Право, труд мой больше *полезный* и *существенный*, чем думают многие, и он сто́ит того, чтобы друзья мои, всё мне простивши, все мои несправедливости, поработали бы грудью за меня. Ты, Погодин и Аксаков как люди, более других долженствующие быть близкими мне

[1] *Далее начато:* [многие] выданных
[2] *Далее начато:* Мое желание
[3] *В подлиннике:* росказать
[4] не заговорит вообще
[5] за все мои
[6] за то оскорбленье

и отныне соединенные со мною неразрывней[1], чем когда-либо прежде (потому что именно с этих пор только должно начаться прямое познание друг друга), можете много для меня сделать. Говорю для меня, тогда как по-настоящему следовало бы сказать для добра, потому что, видит Бог, работаю для добра и себя хочу сделать лучшим затем, чтобы быть в силах сделать добро. Погодин, мне кажется, бы многое мог записать, что услышит от простых людей и купцов, с которыми ему весьма часто случается говорить. Прочти им эти строки. Почему знать? Может быть, Бог вразумит их сделать что-нибудь такое для меня, что будет мне[2] наиболее полезно. Им подскажет это любящее[3] и всепрощающее сердце, которое находчиво. Мне бы очень нужно было иметь всегда у себя в ящике один-другой портрет, набросанный ловкою рукою, хоть и бегло, с человека, которого бы можно было назвать *типом* и представителем своего сословия[4] в его современном, нынешнем виде. Прощай, моя добрая душа! Обнимаю тебя крепко...

Твой Г<оголь>.

Ради Бога, пиши почаще.

<*На обороте:*>

В Москве. Moscou. Russie.

Г. профессору импер<аторского> Московского университета Степану Петровичу Шевыреву.

В Москве. В Дегтярном переулке, близ Тверской, в собствен<ном> доме.

## 1268. Д. К. Малиновскому

<10 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Я читал листки вашей исповеди со вниманьем и любопытством. Многое[5] в них разбросано и не пришло в тот порядок, в каком должно быть, но добрые начала бродят и в самом хаосе. И если только Тот, Кто устрояет всё, поможет и вам устроиться сообразно силам вашим — из вас выйдет человек полезный и *нужный* земле своей. Мысль ваша описывать современный окружающий вас люд, по поводу моих «Мертвых Душ», очень умна, и я уверен, что это принесет пользу обоюдную как мне, так

[1] более
[2] им
[3] их любящее
[4] *Далее начато:* котор<ое>
[5] Многое *вписано вместо:* Всё еще

и вам, а может быть, даже и самой публике, если окажется в ваших записках кое-что приличное знать и другим и по этому случаю стоющее быть публикованным. Посещайте сколько возможно меньше те публичные места, о которых вы упоминаете в листках наших, как-то Б.[1] и трактиры (разве в смысле наблюдателя, тогда ступайте хоть в тюрьмы и воровские шайки). Берегите здоровье ваше, его же так немного дано людям позднейшего поколения; поэтому я бы вам не советовал также много[2] заниматься по ночам и вообще делать что-нибудь привалом и запоем, хотя бы самое найполезнейшее дело. Наблюдайте разумную ровность во всем и блюдите за чистотой сердца своего, потому что без нее невозможно полное и совершенное развитие сил наших.

Искренно желающий вам успехов во всяком добре.

Н. Гоголь.

## 1269. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

<Середина февраля (н. ст.) 1847. Рим>

*<Черновые наброски письма>*

<1>

Я был очень встревожен вашим письмом из Неаполя, и, под влиянием сих беспокойств, послал вам мое последнее. Вы подробности не знаете моего положения; следовательно, строго говоря, нельзя мне вас винить, и потому пока, как есть дело, я прошу у вас извинения за то, что-таки письма мои последние были известной страсти, из чего вышла новая беда. Чтобы не задеть никого, я молчу, даже писав к вам: молчание точно есть единственное средство в настоящую минуту. Скажу одно, что тогда только чувствую себя вполне сильным, спокойным, и даже способным служить другим, когда нет покушения на мою независимость.

В беседах с вами, и только с одними вами, дух мой не утомляется. Вы знаете, что мне сказать и что не говорить. Вы меня любите глубоко мудрым образом, но вас нет налицо, а я поставлен все в какое-то столкновение с людьми и, никогда не имея случая изучать их, мучаюсь в этой каторжной работе.

<2>

Я был встревожен до болезненного состояния вашими письмами из Неаполя и под сим-то влиянием написал вам последнее, в тоне которого не была истина, — и, как на беду, у меня

[1] *Так в автографе.*

[2] много *вписано.*

тогда очень мало времени было подумать. Вследствие чего прошу у вас теперь прощения. Вы многого и очень многого не знаете, чтобы вполне войти в мое положение. Когда свидимся, обо всем расскажу.

Из вашего последнего письма, кажется, хочет быть новая беда, которая не будет ли больше, чем все прошедшие. Во спасение и себя и других я все употребил, чтобы онеметь. Не зная совсем людей и не имея ни времени, ни надобности в этом, я теперь гляжу на жизнь, как на каторжную работу. В беседах с вами, и именно с одними вами, дух мой не только не утомляется, но еще и возвышается. Вы знаете, что мне сказать и чего не говорить; вы меня любите мудро.

У меня к переменам погоды побаливает сердце и грудь; чтобы воспрепятствовать повториться постоянной болезни, я просил бы вас покорнейше спросить у Циммермана средств к отвращению недуга. Хотел было я и сам пуститься к вам с этим. Но все как-то льщусь надеждой, что, может быть, избавлюсь от бедствия и примусь как следует за дело. Очень не хочется терять ни времени, ни деньги.

*<Фрагмент окончательной редакции>*

Моллер, подавая мне письмо ваше, утвердительно сказал, что вы в Иерусалим не едете, — значит, что и мое положение разрешено. Карнавал приближается, а следовательно, и личное свидание с вами. Конечно, тут многое будет зависеть от здоровья членов дома Апраксиных. Но если вы пуститесь к нам, в столицу искусств, то дайте мне знать о дне вашего прибытия: мне бы очень хотелось встретить вас в Альбано, тем более что я опять имею большую надобность побывать у <родственника> художника Лапченки.

Да устранит Бог всякое диавольское нашествие от вас, и да пребудете целы и мирны, как то́ явил Он нам в образе Иисуса Христа.

## 1270. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Калуга, 18 февраля 1847 г.

Давненько нет от вас писем, любезный друг Николай Васильевич. Стороною я узнала, что вы в любезном нашем Риме и, вероятно, говели на первой неделе? На днях узнала от Аксакова, что вы писали к Сергею Тимофеевичу и просили его написать, какое впечатление производят ваши письма, и сами опасаетесь,

что публика еще не созрела для такого рода книг. Нашли же вы, к кому адресоваться. Все его общество сами из числа тех людей, которые не созрели для вашей книги и едва ли когда созреют, потому что считают себя выше всех истин Хр<истианских>, которые в их глазах des lieux communs.

Вы спрашиваете, созрело ли общество, т. е. чувствует ли оно потребность в утешении духовном, и, мне кажется, ваш вопрос ошибочный. Где и когда общества были готовы и принять, и оценить всякое произведение истинно высокое и выходящее из колеи посредственности? Где и когда не оспаривали, не осмеивали и не унижали то, чего цель было одно добро, без желания нравиться, прельстить или забавить общество! Всегда и везде мы видели, что общество стояло ниже тех людей, которые посылались как передовые, а не менее того этим людям следовало действовать словом и делом по убеждению. Да и теперь у нас мы слушаем и читаем Иннокентия и Филарета, хотя, конечно, не созрели ни до высокого богословия последнего, ни до духовного развития Иннокентия. Читают их немногие и, конечно, не Аксаков и не пишущая и не критикующая братия, но читают их те, над которыми они смеются, и читают с благодарностью и думают во столько, во сколько им дано думать.

Скажу вам, что здесь в духовенстве разошлась ваша книга; наш приятель Петр Степанович Аложинский очень ею доволен и сказал мне: «он пророчески говорит». А Петр Степанович очень умный и дельный поп, лет 55-ти. Он говорит: «да зачем Гоголю смущаться тем, что многие его будут бранить или вовсе не поймут его; он должен быть убежден, что стоит на пути истины, если руководствуется Богом и любовию к ближнему, и потому не должен смущаться всем криком друзей».

Критика Белинского самая пустая, и легко понятно — почему. Ему хотелось вас бранить за направление, а направление он не осмелился обругать, да и цензура не пропустила бы тогда его статьи. Все другие статьи просто глупы. Отзывы же письменные ваших друзей — просто не христианские, недоброжелательные, и в их глазах вы просто сумасшедший. Я с Аксаковыми поссорилась по этому поводу, исключая старушки Ольги Семеновны. Они вечно порицали Петербург, балы и всю пустоту светскую, потому что по обстоятельствам были вне этой пустоты, а сами из литературы, социализма и всех современных вопросов сделали пустоцвет и пустозвоние. Жуковского осмеивали; кивали уже головой, говоря о Пушкине, одним словом, ставили себя выше

всего, не сделавши ровно ничего. Кроме того, что вас стараются уличить в расстройстве ума, говорят еще, что вы католик, формалист, как будто может обойтись что-либо без законной формы, и как будто в нашей Церкви не было своего формальщика; говорят, что вашею книгою могут только прельщаться плачливые ханжи, какова Новосильцева в Москве, и скотный двор Ф. Н. Глинки. Я себя считаю теперь на скотном дворе и в числе ханжей и, признаюсь, очень рада, что не обретаюсь в числе Аксаковых, живущих по неведомому мне *закону любви*, как и весь славянский мир. Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к высокому рождению и богатству — таковая-то отвлечѐнная страсть к идеальному русскому, таящемуся в бороде, — вот начало этих господ. Не коммунизм же это со всеми своими гадостями, т. е. коммунизм Жорж Занда.

Умоляю вас, любезный друг, не смущаться их словами, не верить им и предать себя совершенно Богу, и идти послушно за Ним вперед, хотя многим покажется, что вы идете назад.

Смерть Языкова вас, вероятно, огорчила; странно, что он хотел, чтобы ему сделали цыганские поминки: после духовного обряда сам назначил повару, какой изготовить обед и какие вина подавать. Эта поэтическая шалость мне показалась глупою и неуместною для человека, который умер, не исполнивши долг христианский; в Москве всех это тешило, а друзья его пили всю ночь, читая его стихи. Но мне это просто гадко; человеку слабому и больному много вздора приходит на ум, но здоровые друзья не всегда должны исполнять его волю. Признаюсь вам, мне очень надоедают люди эксцентрические, которые никак не могут увериться, что все в жизни просто для человека верующего и повинующегося безусловно воле Божией.

Беспрестанный запрос о том, примиряется ли художество, вообще искусство и общественный порядок с Евангелием, наводят на меня нестерпимое нетерпение. Этими вопросами промышляет здесь Аксаков, которому Бог уделил место товарища председателя уголовной палаты. Шутка ли всякий день решать судьбу или жизнь человека в 25 л<ет>; а он один решает, потому что председатель и все прочие, по торжественной своей глупости, ничего не знают. Впрочем, кроме его никто у нас в Калуге не помышляет об этих вопросах.

Все заняты минутным интересом, неслужащие и дворяне-помещики жалуются, разоряются, а служащие, если не наживаются, то живут хорошо и плотно местечками. Вообще все говорят,

что теперь места не то, что в старину, вероятно оттого, что более служащих, — другому приписать нельзя скудость доходов неправильных. Вот вам разговор довольно любопытный. Я и брат Лев Арнольди, старший секретарь губернского правления:

— Лёва, ты берешь взятки?

— Не умею.

— А разве надобно уметь это дело?

— А как же — это талант. Во-1-х, уже как бы по духу смекнули, что я не беру, и никто мне не предлагал.

— А сколько ты мог бы брать?

— Тысяч 7.000 асс<игнациями> в нашей губернии, а есть хорошие, где берут до 15.000 старшие секретари.

— Да ты что ж не берешь, я бы брала и давала бедным или бы составила сумму и предъявила бы ее Государю.

— Не умею; возьму так, что меня тотчас сгубят они же, и за этот же факт меня сам Государь накажет.

Разговор любопытный, фамильный и, вероятно, ежедневный в России. Вообще человек, который не берет, если в высоком месте, не поддержан лично милостями Государя; если в маленьком чине, не имеет состояния, — считается дураком, и его никто в грош не ставит в чиновном люде. Он им всегда чужд, и даже они его не терпят, очень недоверчивы к нему. Тому живой пример мещовский судья, который должен будет оставить даже место. Впрочем, служащие по выборам менее подвергаются ненависти за бескорыстие, потому что дворяне все-таки его поддерживают. Несмотря на весь этот страшный порядок дел, на параллельную организацию взяточного дела с ходом дела, я убеждена, что надобно служить всякому честному человеку, бороться со злом, пока сил станет, — и никого не сгонят с места. Это один способ принести свою лепту в России.

Надобно стать уже на слишком высокой степени духовного развития мужчине, чтобы заняться единственно управлением имения, не помышляя о своих выгодах. Тут каждый мужчина способен увлечься и более запутать дела свои и начинает спекуляции, строит фабрики, заводы, входит в винокурение и проч.; а известно, что все это вздор и пагуба для имений. Я убеждена, что, кроме хлебопашества, еще нельзя, до поры до времени, ничего заводить в России, а на такую скуку и однообразность способны еще одни женщины. И точно, женщины весьма редко расстраивают свое имение, если остаются хозяйками. Вследствие чего хозяйничаю я, пока мой губернатор губернаторствует, т. е. воюет

против взяточников. Обыкновенно вот его наказ при определении чиновника: «Вот вам место, м<илостивый> г<осударь>, вы отсюда можете дойти до стряпчего или советника. О вас хорошо пока относятся; знайте, что при первой взятке вы пойдете под суд, потому на месте всякий способен уклоняться». Он так занят, что решительно не может заняться имением, и потому мало-помалу все перешло в мое ведомство, и я по утрам сижу с надворною описью или отчетами. К собственному удивлению моему, не только не скучаю этим делом, но даже скучаю, когда его нет.

Теперь пришло приказание от Государя подать ведомость о всех пустопорожних землях во всей Империи, приказание самое неопределительное, так что наверное не знают, какие это пустопорожние земли — болота ли, кустарники ли, или просто необработанные поля. Сносились с министерством, откуда написали: извольте справиться с такою-то статьею Св<ода> зак<онов>. А там сказано так глухо, что теперь всяк себе и делает по своему соображению. Это повеление породило пропасть толков и опасений между помещиками. В одном уезде Харьковской губ<ернии> решили так перепуганные помещики: «это вот что, дескать: всех владельцев, у которых менее 20 душ, будут переселять в Сибирь». Это напоминает разговор двух дам: «это вот что: Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку»...

Прощайте, любезный друг, обнимаю вас крепко, молюсь за вас всякий день и прошу писать хоть несколько строк.

### 1271. В. А. Жуковскому

12 марта <н. ст. 1847>. Неаполь.

Едва только успел я отправить ответ на добрейшее письмо твое (от 6/18 февраля), как принесли мне вновь твои строчки с извещеньем о высылке мне денег и векселя. Вслед за тем я получил письмо от Убриля (которого не знаю, как благодарить за его доброту и хлопоты обо мне) со вложением *секунды* векселя. Я известил его тот же час о получении моем как письма, так и векселя, назад тому два дни (письмом от 10-го марта). В бестолковщине по части этого векселя и его чудных странствий я совершенно не виноват, потому что не получал из Петербурга никакого предварительного предуведомленья о том, что мне будет выслан вексель, ниже извещения последующего о том, что мне послан вексель. Узнал я об этом случаем, весьма недавно: встретившись с одним знакомым Прокоповича и разговорившись

с ним о самом Прокоповиче, я узнал неожиданно и нечаянно, что им были посланы ко мне деньги, и в ту же минуту дал об этом знать Плетневу, и Плетнев, уже вследствие моего отзыва; сделал разыскание.[1] Надобно знать, что этот вексель был послан ко мне уже тогда, когда я не просил денег и назначил совершенно другое употребление тем деньгам, из которых он мне был послан. Оттого-то и не судьба ему была прийти в мои руки. И как странно! И теперь, в ту самую минуту[2], когда здешний неаполитанский Ротшильд уже дал было повеление своей кассе выдать мне по нем деньги, им овладело вдруг сомнение. Ни удостоверение гамбургского Гейне, ни ручательство франкфуртского кровного брата не могло его успокоить. Еврейская душа почувствовала в эту минуту только то, что дело идет о деньгах, стало быть, о предмете, священнейшем всего на свете, а потому просила меня дать ему время сделать еще от себя разыскания и снестись с Гамбургом. А потому я распорядился[3] так, чтобы он всё взял на свои руки, как разъясненье по делу векселя, так и доставку его обратно к барону Штиглицу для выдачи[4] денег Плетневу на употребление, уже назначенное, что всё взялся он исполнить в непродолжительное время. Денег мне теперь не нужно. Я богат. Но в сторону об этом и поговорим о том, что поближе. Меня очень занимает теперь здоровье Елисаветы Алексеевны. Мне кажется, ей лучше бы всего помогли морские купанья. Из всех женщин, страдающих нервами, я не знаю ни одной, которой бы не помогли удивительно морские купания. Это леченье так безвредно, так просто и вместе с тем так приятно! Мы бы тогда все вместе отправились в Остенде, потому что мне море необходимо. Это я вижу сам: из всех других оно более всего прочего[5] помогало, и я сделал только в том оплошность, что не два или три года сряду купался, как мне советовали непременно, а понадеялся на достаточность одного раза. В июне месяце, если даст Бог, я буду во Франкфурте, и мы потолкуем о многом, о чем бы следовало мне давно потолковать, но Бог отнимал у меня язык, и я не мог самого простого дела рассказать просто. Как я рад, что отъезд мой на Восток немного отодвинулся: для этого путешествия нужно хоть сколько-нибудь лучше приготовиться, не говоря уже о том, чтобы и самому несколько поопрятней

[1] *Далее начато:* Вексель этот
[2] даже тогда
[3] про<сил>
[4] переда<чи>
[5] более других

принарядиться. А покуда обнимаю тебя заочно, добрая душа моя, и да хранит вас Бог всех здравых и невредимых!

Весь ваш Г<оголь>.

При сем следует расписочка в получении денег.

<*На обороте:*>
Francfort sur Mein.
Son excellence monsieur Basile de Joukoffsky.
Francfort s/M. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

## 1272. Графине А. М. Виельгорской

16 март<а н. ст. 1847>. Неаполь.

Я получил приятное[1] письмецо ваше, моя добрейшая Анна Миха<й>ловна, письмецо от 7/19 февр<аля> с изъявленьем[2] вашего мненья о моей книге. Строчки ваши были мне нужны. Я уже начинал было думать, что весь дом ваш сердит на меня за что-нибудь и наказывает меня молчаньем, наказанием тягостнейшим для меня всех других наказаний. Но, слава Богу, этого нет. Вы сказали мне очень вообще и очень в *обширном* смысле о мнениях, раздающихся в обществе о моей книге, но я бы желал слышать это с бóльшими подробностями, характеризующими личность[3] тех, которые произносят мнения[4]. Я знаю, что раздаются в обществе мнения, невыгодные насчет меня самого, которые оскорбительно слышать людям, меня любящим и меня более других знающим, как-то: о двусмысленности моего характера, о поддельности моих правил, о моем действовании из каких-то личных выгод и угождений некоторым лицам. Всё это мне нужно знать, нужно знать даже и то, кто именно как обо мне выразился. Не бойтесь, я не вынесу из избы сору. Всё это послужит к добру и мне, и тем, которые обо мне каким бы то образом ни выразились. Книга моих писем выпущена в свет затем, чтобы пощупать ею и других и себя самого, чтобы узнать, на какой именно степени душевного состояния стоит теперь каждый из нашего нынешнего современного общества и на какой степени душевного состояния стою теперь я сам, потому что себя трудно видеть, а когда нападут со всех сторон и станут на тебя указывать пальцем,

[1] приятное душе моей
[2] приложень<ем>
[3] и самые лица
[4] эти мнения

## 1273. Князю В. Ф. Одоевскому

16 март<а (н. ст.) 1847>. Неаполь.

Прежде я бы на тебя рассердился, несмотря на то что любил всегда добрую твою душу и знал, что никому в жизнь свою ты не нанес еще никакой неприятности. Но я бы на тебя рассердился за твое молчание в такую минуту, когда тягостней всего было получить мне от друзей моих *молчание*. Я думал, что по поводу выхода книги моей друзья мои поставят себе в непременную обязанность передать мне свои ощущения, указать мне мои заблуждения, ошибки или промахи, довести до моего сведенья замечанья умных людей, — словом, дать мне случай оглянуться на самого себя и построже рассмотреть себя. И хоть бы какое-нибудь слово от кого-нибудь из Петербурга[1]! Я могу только догадываться, что есть обо мне слишком много невыгодных толков, к которым подал я сам повод темнотой, неясностью слов и выражений (которыми страдал долго и следы которых остались слишком ощутительны в моей книге), неполным[2] развитием тех истин[3], которые следовало подать в виде, доступном для читателя; но какие именно эти толки — я не знаю. Тогда как мне следует знать, потому что, может бы<ть>, я впал в такие ошибки, в каких и не думаю подозревать себя. Ради Самого Христа, передай мне хотя важнейшие из них. Ты видишь много умных людей. У тебя ж они притом и собираются всякую неделю. Что тебе стоит передать мне мнения их всех и прибавить в заключенье свое? Не бойся, я не вынесу из избы сору[4] и ни на кого не рассержусь, хотя бы он выразился обо мне как об наипрезреннейшем человеке. Грех будет тебе, если ты не исполнишь этого, потому что это дело души моей, и душа моя требует во спасенье свое осуждений. Передай мой душевный поклон княгине. Скажи ей, что мне слишком совестно, что я дерзнул было наложить на нее одно хлопотливое дело. Я после увидел сам, что это было неумно, а она, добрая душа, несмотря на всё, изъявила готовность великодушную исполнить мою просьбу. Бог ее да наградит за то, и тебя, если ты также великодушно исполнишь мою нынешнюю просьбу.

Весь твой Г<оголь>.

[1] И хоть бы какое-нибудь слово из всего Петербурга!
[2] и неполным
[3] мыслей
[4] *В подлиннике:* ссору

Спроси у Вяземского, получил ли он письмо через Россети Арк<адия> О<сиповича>. Я до сих пор еще не получил никакой книги из Петербурга, ни моей, ни чужих.

<*На обороте:*>
Князю Владимиру Федоровичу Одоевскому.

### 1274. Графине С. М. Соллогуб

16 марта <н. ст. 1847. Неаполь>.

Наконец от вас письмо. Как я ему обрадовался! Давно вы меня не дарили вашими строчками. В строчках ваших светится по-прежнему жемчужина — душа ваша, то же самое младенческое[1] радушие и та же братская любовь ко мне. Бог да наградит вас за всё это. Скажу вам, что мне скучно было без писем от людей, любящих меня, особенно теперь, когда мне так дорого всякое слово из России[2] и когда мне желалось бы все знать, что ни говорят обо мне. Душе моей было тоже нужно несколько освежительное слово, потому что я было изнемог.[3] Передайте при сем следуемое письмецо Владимиру Александровичу[4] и попросите его также и от себя исполнить мою просьбу. Обнимите[5] всех ваших и перецелуйте их, а у графини, вашей маминьки, и у г<рафа> Михайла Юрьевича попросите мне прощенья за все мои докуки, которыми я наскучал им, за мою неотесанность и всякие грубые поступки, которых за мною водится в достаточном количестве, хотя по доброте своей вы смотрите на многое сквозь пальцы. И не забывайте пуще всего вашими добрыми и подчас мне очень нужными письмами.

Весь ваш Г<оголь>.

В одно время с письмом к вам я отправляю также письмо к Анне Михайловне. Скажите Плетневу или лучше Ар<кадию> О<сиповичу> Россети, что я до сих пор не получил из Петербурга никаких книг и не знаю, отправлены ли они и куда.

<*На обороте:*>
*St. Pétersbourg Russie.*
Ее Сиятельству

[1] младенческое *вписано.*
[2] *Было:* из россии
[3] Душе моей <...> изнемог. *вписано вместо:* Я зная, что вы не смутитесь обо мне, когда многие смутятся
[4] *Ошибочно было:* Александрову
[5] *Было:* Обнимайте

Графине Софье[1] Михайловне Соллогуб
(урожденной Гр<афине> Вьельгорской).
В *Петербург.* У Михаил<овского> Дворца на Михайловск<ой> площади в Доме Графа Вьельгорского.

## 1275. Графу В. А. Соллогубу

<16 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Хотя вы человек (как все мы, грешные русские люди мужеска пола) несколько ленивый на подъем, но, авось, доброе расположение ваше ко мне пересилит лень и заставит вас не только отвечать на письмо мое, но даже выполнить мою просьбу. Просьба эта очень убедительна. Вы живете в свете, видаете людей[2] всех кругов и сортов, какие ни водятся в Петербурге, будьте так милостивы и аккуратны, передайте мне их толки о моей книге. Выберите из каждого круга такого человека, который побойчее и может назваться его представителем, расспросите его и передайте мне его суд и определение. Теперь таких представителей и кругов много, потому что мнения, как я слышал, страшно разделились, и пребывает *разноголосица,* какой доселе не бывало. Особенно не скрывайте от меня мнений неблагоприятных, как бы они жестки ни были. Они мне теперь так же нужны, как носу табак, после которого хоть и чихнется, но во здравие и голове свежей. Итак, жду от вас доказательств вашего доброго расположения ко мне, за которое останусь вам вечно благодарен.

Ваш Г<оголь>.

*<На обороте:>*
Графу Владимиру Александровичу Соллогубу.

## 1276. А. С. и У. Г. Данилевским

Неаполь. Марта 18 <н. ст.>, 1847.

Я получил ваши строчки, милые друзья мои. Пишу к вам обоим, потому что вы составляете *одно.* Хотя письма ваши коротеньки, но я глотал с жадностью подробности *житья* вашего и перечитал их не один раз. Хотел бы вам заплатить тем же, то есть повестью о себе, но повесть эта так чудна, так необыкновенна, что нужно слишком собраться с духом и привести себя в очень покойное расположение, в то расположение, в каком находится старый

[1] *В автографе:* Софьи
[2] светс<ких> людей

инвалид, уже поместившийся дома, на родине, среди детей и внучат, когда ему легко рассказывать о прошедших битвах. После, когда приведет меня Бог побывать в Киеве (который еще заманчивей от вашего в нем пребывания), я, может быть, сумею вам рассказать просто и ясно многое, но теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах даже и с наиближайшим другом. Покуда скажу тебе вот что, мой добрый Александр. Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности, хотя не говорил о том, чувствуя бессилие свое выражаться ясно и понятно (всегдашняя причина моей скрытности). Нынешняя книга моя есть только свидетельство того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы «Мертвые души» мои вышли тем, чем им следует быть. Трудное было время, испытанья были такие страшные и тяжелые, битвы такие сокрушительные, что чуть не изнемогла до конца душа моя. Но, слава Богу, всё пронеслось, всё обратилось в добро. Душа человека стала понятней, люди доступней, жизнь определительней, и чувствую, что это отразится в моих сочинениях. В них отразится та верность и простота, которой у меня не было, несмотря на живость характеров и лиц. Нынешняя моя книга выдана в свет затем, чтобы пощупать ею, во-первых, самого себя, а во-вторых, других, — узнать посредством ее, на какой степени душевного состоянья своего стоит теперь каждый из нашего современного общества. Вот почему я с такою жадностью собираю все толки о ней. Мне важно, кто и что именно сказал, важна и самая *личность* того человека, который сказал, его черты характера. Итак, знай, что всякий раз, когда ты передашь мне мысли какого-нибудь человека о моей книге, прибавя к тому и портрет самого человека, то этим ты сделаешь мне большой подарок, мой добрый Александр. А вас прошу, моя добрая Юлия, или по-русски *Улинька*, что звучит еще приятней (вашего отечества вы не захотели мне объявить, желая остаться и в моих мыслях под тем же именем, каким называет вас супруг ваш), вас прошу, если у вас будет свободное время в вашем доме, набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь, хотя в самых легких и беглых чертах. Не думайте, чтоб это было трудно. Для этого нужно только помнить человека и уметь его себе представить мысленно. Не рассердитесь на меня за то, что я, еще не успевши ничем

заслужить вашего расположения, докучаю вам такою просьбою. Но мне теперь очень нужен русский человек, везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он, хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в свою картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от природы. Если же вас Бог наградил замечательностью особенною и вы, бывая в обществе, умеете подмечать его смешные и скучные стороны, то вы можете составить для меня *типы*, то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которого он представитель, — хоть, например, под такими заглавиями: *Киевский лев; Губернская femme incomprise; Чиновник-европеец; Чиновник-старовер*, и тому подобное. А если душа у вас сердобольная и сострасждет к положенью других, опишите мне раны и болезни вашего общества. Вы сделаете этим подвиг христианский, потому что из всего этого, если Бог поможет, надеюсь сделать доброе дело. Моя поэма, может быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповедь не в силах так подействовать, как ряд *живых примеров*, взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы. Вот вам, мои добрые, моя собственная повесть и подробности того, что составляет нынешнюю жизнь мою, в отплату вам за ваши тоже весьма коротенькие известия о себе. Но вы, однако же, не забывайте себя показывать мне почаще и не пренебрегайте этими, по-видимому незначительными, подробностями, но которые, однако ж, для меня драгоценны. Сами посудите: если мне теперь дорог и близок всякий человек на Руси, то во сколько крат должен быть мне дороже и ближе человек, связанный узами дружбы со мной? Ведь я вас не вижу, а эти маленькие, по-видимому пустые, подробности делают то, что вы рисуетесь перед моими глазами, и я как бы ощущаю в малом виде радость свиданья.

Вот вам мой маршрут: до мая я в Неаполе, а там отправляюсь на воды и морское купанье, по случаю вновь пришедших недугов и расстроившихся нерв моих. Укрепивши мои нервы, проберусь разными дорогами по Европе вновь в Неаполь к осени, с тем чтобы оттуда двинуться на Восток. Всю зиму и начало весны проведу на Востоке, а оттуда, если Бог благословит, пущусь в Русь, на Константинополь, Одессу и, стало быть, на Киев, а в Киеве, около июня месяца, обниму вас, что имеет быть, по моему расположению, в будущем году.

## 1277. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

<8–26 февраля 1847. Москва>

Москва. Февраля 8.

Давно от вас, мой друг, не имею <известия>. К вам отвечала на письмо ваше 25 ноября, после еще писала через Александру Осиповну 28 декабря. Сегодня по милосердию Божию сподобилась приобщиться Святых Таин. О Вас вспоминала с любовию пред Тем, Которой Один видит наши сердца, Он видит, с какою любовию о вас пред Ним я вспоминаю. И часто, часто, мой друг, Его Отцовскому Покрову я вас вручаю, молю Его от чистого сердца, да Он вас не покинет, и наставит, и поможет творить Его святую волю. И Им вас умоляю: ради Христа, ничего не предпринимайте, не помолясь. Если мы о чем молим Милосердого Господа, отброся себя, и всех и все, а просим только, как поступить по Его святой воле, тогда, что бы ни последовало, удача или неудача, во всяком случае, можно хранить спокойствие, потому что собственной воли не примешено. Милосерд Господь, да Он Сам по благости Своей поможет вполне это чувствовать и благодарить за беспрерывное Его о нас Отцовское попечение[1].

Все ожидаю, не получит ли от вас кто известия, как вы приняли кончину доброго Николая Михайловича[2]. Дай Бог ему Царствие Небесное, а нам память смертную, чтобы остатки дней провести так, чтобы сподобиться блаженной вечности. Живя для сего, еще бы здесь познали сладость блаженства, ожидающего христианина по ту сторону гроба. Боже, милостив нам буди! Да, мой милый друг, дай Бог нам жить, как должно христианину. Знаю иных, которые по благости Божией достигли до сего блаженного состояния, им легко жить, все близко, ничто не чуждо для человека, возлюбившего всем сердцем Господа; он спокойствием ближнего дорожит если не свыше, то, наверное, не менее, как собственным. Кто постиг необходимость самоотвержения, тот не станет заботиться, кто к нам каков; лишь бы мы были ко всем хороши и хранили ко всем любовь, которая при помощи Божией всегда научит нас, как поступать относительно ближнего.

Благодарю вас за книгу, которую вы мне прислали и о которой вы ко мне в ноябре писали, как прочту, чтобы не скрыла от вас своих мыслей. Мой друг, можете быть уверены, что с людьми, близкими мне по душе, не могу ничего затаить, что относится

[1] *Было:* милосердие

[2] Думаю, кто из друзей ваших давно о сем писали; он 26 декабря скончался. — *Примеч. Н. Н. Шереметевой.*

до них, и внутренно глубоко убеждена, что не в том важность, довольны ли будут или нет, похвалят ли люди или побранят, а самое главное, что свыше все видят, а там надобно, чтобы все было чисто. А если где нельзя говорить просто и прямо, лучше молчать, нежели, храни Господи, произнести то, чего в душе не ощущаешь. Это ужасное состояние подвергнуть душу столь тяжкому испытанию. Боже Милостивый, Ты нас не оставь! Спаси и помилуй! Я, мой друг, столько вас понимаю, что с вами говорить можно свободно, и вы за откровенность не способны досадовать. И столько каждому из нас есть дела настоящего, важного: думать о спасении, готовиться к вечности, что время не достанет досадовать за слова или поступки относительно нас. Да и что могут люди, крепко я в том, мой друг, уверена, что никто, никто, никто на свете мне столько вреда не причинит, как я сама себе. Живя так давно, опытом знаю: при многих встречах, если случится что неприятного, ту минуту стараешься сбросить с сердца. Если мы не умеем сего сделать из любви к Богу и ближнему, то собственно для себя необходимо очищать сердце, чтобы свободно можно вздохнуть к Тому, где только и найдет душа скорбная истинное отдохновение. Милосерд Отец Небесный, и кто прошел сквозь многое множество скорбей, тот и видит и глубоко чувствует Его Отцовское к нам милосердие, ни в какое время нас не оставляющее. Его Покрову часто, мой друг, я вас вручаю. О Всемилосердный, Ты его не оставь, спаси! Прощайте, мой друг, довольно для нынешнего дня, и Христос с вами!

Февраля 20.

Здравствуйте, мой милый друг! Все поджидала, не получит ли кто от вас, как вы приняли о кончине доброго Николая Михайловича, но доселе не слыхала. Решилась докончить свое письмо. Нынче год, как я лишилась дочери. Господи, упокой душу ея, и не остави ея семейство, и наставь нас, и помоги поступать по воле Твоей святой. Помолясь, мой милой и возлюбленной друг, начинаю беседовать с вами со всею простотою сердца, которое Бог видит, как оно дорожит вами и вашим спокойствием и какое искренное и сильное участие принимаю во всем, до вас относящим<ся>, и с какою любовию пред Ним о вас, мой друг, я вспоминаю, и часто от всего сердца Ему я вас вручаю, молю благость Его, да не оставит Он вас повсюду Своим Отеческим Покровом, и с Его помощию возможете более и более подвизаться в религии и к достижению простоты, которая для всего необходима,

а главное, для собственного спасения. Господи, помоги нам вполне сему предаться, и думать и жить для вечности. Боже, милостив нам буди! В душе моей знаю вас, мой друг, и уверена, что вашей душе все придется; что просто от любви сказано, вы с любовию примете. В книге вашей мне много и очень много пришлось по сердцу. Из глубины оного молю Господа, да Он по благости Своей все более и более освещал вас светом истины. Христос с вами, молитесь и молитесь. Начну с сознания вашего: прося у всех прощения, говорите, что иногда и умышленно поступали. Сознание для меня есть дело высокое, оставить свою худобу, которую кроме Бога никто не знал. Таковой поступок достоин истинного Христианина, постигавшего вполне, что не в том важность, скрыть от людей, но что сим прогневляем Милосердного Господа, а пред Ним и для Него надобно, чтобы поступали чисто и прямо. Итак, мой милой друг, за вас и за ваше сознание радуюсь душею и благодарю Бога. И от души прошу вас и умоляю именем Иисуса Христа впредь, мой друг, ради Христа, не подвергайтесь умышленности. Мне кажется, если кого и нечаянно оскорбишь, то от сего сам жестоко потерпишь, быв виною горя ближнего. Еще тяжелее, буде умышленно — то грех перед Богом, и самому должно быть очень больно — что поступил против обязанности христианина, которой должен охранять, беречь ближнего, а нарушая его спокойствие, приносим вред душе своей, а на сем свете наше главное дело — спасать душу. О, если бы мы постоянно о сем заботились, предавши себя и всех и все в волю Божию, легко бы было жить — думав о своем Спасении, никогда бы не забывали о ближнем и дорожили бы его спокойствием как собственным. О Всемилосердный, не остави нас! Радуюсь, что вы чувствуете, что пред вами никто не виноват. Помоги вам Господи и вперед пребывать в сем тихом и спокойном для души состоянии, не находя вины в других, а наблюдать за собой.

Теперь, мой друг, хочу сказать от чистого сердца, которое Бог видит, как оно вами дорожит и как желает, чтобы с Его Отцовскою помощию вы относительно каждого поступали, как Ему, Отцу Небесному, угодно. В душе моей вас зная, уверена, что все сказанное с любовию в простоте сердца вашему сердцу внятно, все, что от любви и в Боге скажется. Вы в Завещании говорите о портрете, что без воли вашей и позволения опубликован ваш портрет и так далее и далее, не повторяю, вы сами знаете. И хочу сказать свое мнение для вас, мой милой друг, — а других не знаю, кого это касается; все относится к тому, кто

поступил самопроизвольно и нанес, может, сим вам оскорбление. То мне кажется, мой друг, как я в душе моей ощущаю, что самую эту несправедливость, с какою в сем случае относительно вас поступлено, изложить прямо к тому лицу, чтобы он да вы знали. Я сама чувствую и понимаю, что поступлено в сем случае относительно вас нехорошо. И дивлюсь, как уметь себе позволить без ведома располагать чужим портретом. Но уже оно сделано, остается пожалеть и помолиться о человеке, которой позволяет себе подобные вещи, а самому принять это происшествие с смирением. Так я думаю, и в душе моей то ощущаю, а если вам покажется, что я не так говорю, простите Христа ради и знайте, мой друг, что сему виною любовь, и по любви моей к вам мне бы желалось, чтобы все ваши действия освящены были христианской любовию. Тогда всякое ваше излияние души тронет другого и отзовется на сердце, от какого источника все происходит.

Завещание, что значит предсмертная воля и желание, писав, должны чувствовать, что[1] сие на земле будет в действие производиться в то время, когда мы будем пред Судом Божиим, — то писав, перейдя, в эту минуту уже ничего другого не увидим, как собственную пред кем вину, если кого когда чем оскорбили, а уже никак не вспомнится, если относительно нас были и есть какие неприятности, — что нам до этого. Как вы теперь по благодати Божией чувствуете, уверена, что вы со мной согласны, но полагаю, что сие или подобное этому, когда вам покажется по внутреннему убеждению, что вам должно сказать, что досады тут нет. Но, мой друг, надобно знать, пришли ли другие в ту меру, чтобы и понять, и принять с тем же чувством, с каким вы говорите. А потому мне кажется, есть случай в жизни, что лучше промолчать, нежели, сказав преждевременно, нанесешь оскорбление без малейшей пользы. Заключу сей разговор, мой друг, что глубоко в душе моей запечатлелось, и скажу, как перед Богом, что на сем свете ничего не существует, за что можно бы долго досадовать. А если в минуту оскорбления по слабости нашей что-то почувствуешь, и вслед за этим спешишь скорее сбросить, чтобы на сердце ничего, кроме приятного, не оставалось. Если мы не сумеем сего[2] сделать из любви к Богу и ближнему, то для себя необходимо очищать сердце от всего, что может препятствовать вздохнуть свободно ко Господу, где всегда найдем отдохновение, а паче в минуты скорби. Нет иного утешения, нет иного прибежища, как

[1] *Далее было:* что
[2] *Далее было:* сего

всей душею обратиться туда, где во веки не отвергнут вздох сердца, нуждающего<ся> в успокоении. Милосерд Отец Небесный, да Сам Он нам поможет вполне чувствовать беспрерывное Его о нас Отцовское попечение, ни в какое время нас не оставляющее, ох, как милосерд! Дай Бог это чувствовать и за все благодарить. Тогда водворится в душе спокойствие, а в сем состоянии повсюду и со всеми хорошо. Так длинно мое письмо, что на сей раз далее продолжать нечего, а одним словом скажу, что ваша книга меня много по вас порадовала. Я уверена в том, что вы ничего не можете сказать без убеждения, а что говорите, вы в том внутренно убеждены, и слава Богу, подвизайтесь, мой друг. Как и кто принял вашу книгу, передавать чужих слов не хочу, сами, может, пишут, а здесь скажу только то, что очень хвалит вашу книгу тот, которого я чту высоко, которой отлично хороший человек и высокой духовности. Он был тронут вашей книгой и уверен, что вы ничего не в состоянии сказать, как по внутреннему убеждению, и что есть такие истины, что бы он желал, чтобы другие поняли, с какою любовию и чистотою желаете передать свои ощущения. Вот я ни с кем не говорила и не говорю, что писала к вам, а только этому человеку прочла, которой все видит в Боге; я с тем и прочла ему, как он скажет, потому что я высоко чту его прямоту и беспристрастие. Он мне сказал: хорошо, пошлите. Вот я и посылаю. Он вас отроду не видывал[1], но по этой книге познал и полюбил. Я с вами раз о нем говорила до отъезду вашего. Какой он высокой христианской жизни, с какою любовию, покорностию и благодарностию он перенес смерть единственного сына. Вы тогда же записали его имя. Дай, Боже, всем спастись и о сем заботиться, живя для вечности. Как бы здесь было хорошо и легко жить. Боже, милостив нам буди, и наставь, и помоги остатки дней так дожить, чтобы сподобиться блаженной вечности. Сколько ни говорить, пора, мой друг, проститься. Прощаюсь здесь и никогда в Боге с вами не разлучаюсь. Соединяюсь с вами молитвою, прошу и молю Премилосердного, да Он по благости Своей поможет вам свершить давно вами данной обет. Много и душевно порадуюсь, узнав, что вы отправились, и больше того еще порадуюсь, узнав, что вы там и сподобились поклониться Гробу Господню. Сие большое доставит утешение душе, постоянно вам с любовию и дружеством преданной до смерти. Прощайте, мой друг, обнимаю, благословляю вас с любовию, с нею и вручаю вас Богу. Он видит душу, вам преданную, и сколь сильно и глубоко желание вам всего, что

[1] *В автографе:* не видовал

может соделать Спасение ваше. Прощайте, мой возлюбленный друг, еще вас благословляю, вручаю Господу, Он видит, как помнится о вас и все, чего вам желаю и что за вас чувствуется. Господи, Ты его не покинь. Спаси и помилуй! Пишите, пожалу<й>ста, и верьте, что по привязанности моей к вам для меня необходимо знать о вас, а потому хоть несколько слов пишите, и сим много порадуете человека, всегда о вас с любовию вспоминающего пред Богом, Его молю о вас и часто, очень часто Ему я вас вручаю, прощайте.

Христос с вами!

Адрес мой: *в Москве*, на В<о>здвиженке, в доме Графа Шереметева.

О Николае Михайловиче никаких подробностей вам не сообщаю, думаю, все знаете от друзей своих. А скажу вам только, что меня очень порадовало, что он сам пожелал приобщиться. Его, говорят, уверяли, что он не так опасен, но он сказал: я сам чувствую. И, слава Богу, исповедовался и приобщился. Велика милость Божия. И сим оканчиваю, вас это истинно порадует. Прощайте.

26 февраля.

Вот, мой друг, все письмо не отправляла, все поджидала, не будет ли о вас какого известия, и дождалась. Вчера мне сказали, что Шевырев от вас получил, и я отроду в первый раз к Степану Петровичу сегодня писала, и он, так добр, тотчас отвечает, что вы здоровы и адрес тот же. Сию минуту посылаю на почту, благодарю Бога, что о вас узнала. Меня это на ваш счет успокоило. Прощайте, мой друг возлюбленный, обнимаю, благословляю вас, вручаю Богу и пред Ним говорю, что всегда о вас помню и молюсь, и до смерти пребуду с любовию и дружеством вам постоянно душею предана. Прощайте, мой друг и сын, Богом данной. Христос с вами!

Ради Христа, о себе извещайте; мне по привязанности моей к вам необходимо знать.

<*На обороте:*>

В Италию, *в Неаполь.*
Его высокоблагородию
Николаю Васильевичу Гоголь.
En *Italie, à Naples,*
à Monsieur Gogol,
*poste restante.*

## 1278. Князю В. В. Львову

Неаполь 1847. Марта 20 <н. ст.>.

Благодарю вас за письмо ваше, исполненное такого искреннего участия. Я рассматривал долго вашу подпись. Одного князя Львова я знал, но тот, кажется, в Петербурге. Вы спрашиваете, зачем вышла книга моих писем. На это никак не в силах отвечать: было столько причин разного рода, что описать их понадобились бы бесконечные листы и страницы, которые произвели бы, может, новые недоразумения. Что сделано, то сделано. Ничего не происходит в мире без воли Божией. Есть святая сила в мире, которая всё обращает в добро, даже и то, что от дурного умысла сделал человек. Но книга моя была не от дурного умысла, на ней только лежит печать неразумия человеческого или, лучше, — моего, а потому я верю в Божью милость, что не допустит Он, дабы из книги моей почерпнули вред. Покуда я могу сказать только, что появленье этой книги полезно мне самому больше, чем кому-либо другому. Одно помышленье о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда. (Я не видал моей книги в печати; знаю только, что она выпущена в обезображенном виде, с пропуском и выключением больше половины статей и мест. В статьях и в размещении их была некоторая связь, а в связи все-таки некоторое объяснение дела.) Стыд этот мне нужен. Не появись моя книга, мне бы не было и вполовину известно мое состояние душевное. Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы передо мною в такой наготе;[1] мне бы никто их не указал. Люди, с которыми я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве. Где же мне было добыть голос осужденья? Без появленья этой книги моей я бы, точно, остался в самоослеплении насчет многого в себе. Без появленья этой книги не устремилось бы за мою душу столько чистых молитв, с такою святою мыслью — молить Бога о спасеньи моем. Молитвы эти мне нужны; я верю в их силу. Нет, не допустит Бог впасть меня в ту *прелесть*, в которую подозревают меня впадшим; ради молитв тех праведников, которые о мне молятся, Он спасет меня. Сколько могу судить о толках, до меня дошедших, читатели мои находятся еще под влияньем первых впечатлений. Я бы очень желал услышать мнения тех, которые прочли мою книгу не один раз, но несколько, в различные часы и в различные расположения душевные: там есть некоторые душевные тайны, которые

[1] *Далее начато:* потому что

не вдруг постигаются и которые покуда приняты (может быть, от неуменья моего просто и ясно выражаться) совсем в другом смысле. Так как вы питаете такое искренно-доброе участие ко мне и к сочиненьям моим, то считаю долгом известить вас, что я отнюдь не переменял направленья моего. Труд у меня всё один и тот же, всё те же «Мертвые души». И одна из причин появленья нынешней моей книги была возбудить ею те разговоры и толки в обществе, вследствие которых непременно должны были выказаться многие мне незнакомые стороны современного русского человека, которые мне очень нужно взять к соображенью, чтобы не попасть в разные промахи при сочинении той книги, которая должна быть вся природа и правда. Если Бог даст сил, то «Мертвые души» выйдут так же просты, понятны и всем доступны, как нынешняя моя книга загадочна и непонятна. Что ж делать, если мне суждено сделать большой крюк для того, чтобы достигнуть той простоты, которою Бог наделяет иных людей уже при самом рожденьи их. Итак, вот вам покуда посильное изъясненье того, зачем вышла моя книга. Не знаю, будете ли вы довольны им, но, во всяком случае, приношу вам еще раз душевную благодарность за доброе письмо ваше, за которое да наградит вас Бог всем тем, что есть наижелательнейшего и наинужнейшего вашей душе.

Истинно признательный вам Н. Гоголь.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Его сиятельству князю Владимиру Владимировичу Львову.

В Москве. В Новой Басманной, в дом ген<ерал>-ад<ъютанта> Перовского.

### 1279. А. А. Иванову

<25 марта (н. ст.) 1847. Неаполь>

Пишу к вам несколько строчек с граф<ом> Иван<ом> Петр<овичем> Толстым, который есть родной брат моего закадычного приятеля, Ал<ександра> Петр<овича>, стало быть, с тем вместе родной брат и Софье Петровне, вам довольно знакомой, а потому вы, если вам не будет это в тягость, позвольте взглянуть им на вашу картину. Граф и графиня (урожд. графиня Строганова) очень добрые люди, а потому вы можете им даже объяснить ваше положение. Они же едут, не останавливаясь, в Россию, стало быть, будут иметь случай заговорить и с другими о вашем положении. Мне кажется, что непременно нужно, дабы всем сделалось известно и очевидно ваше положение. Теперь же, я думаю,

<вы> больше спокойны, чем прежде, а потому можете рассказать всё, что претерпели, покойно, не жалуясь ни на кого, не обвиняя никого, изобразя только верную картину испытаний, через которые провел вас Бог. Не нужно скрывать ничего в своей истории, ни даже черных несправедливостей, вам оказанных (в словах должно быть всегда справедливу), но нужно рассказать так, чтобы слушающий вас оставил в сторону суд над врагами вашими (подобно вам самим) и проникнулся бы в такой степени участием к тому положению[1], в каком может очутиться всякий истинный художник,[2] взглянувший на труд как на святое дело,[3] что стал бы горой за вас и употреблял бы с тех пор всё, чтобы образумить тех, кому следует взглянуть разумно на все эти вещи. От Чижова я получил письмо с известием о том, что он оставляет внезапно Рим. Это мне прискорбно: я бы желал очень о многом переговорить с ним лично. Передайте ему при сем следуемое письмо. Затем будьте здоровы, и Бог да помогает вам работать вашу картину! Нечто, как о вашей картине, так и о положении вашем как художника, сказано мною в одном из моих писем, напечатанных отдельною книгою. Книги этой я не получил. Знаю только, что она обезображена и обрезана жестоко цензурой, а потому и не могу знать, что из этого письма оставлено, а что выброшено. А было бы хорошо, если бы это письмо было доведено[4] целиком до сведения всей публики. Советую вам также не гневаться на те мои жесткие письма, которые я писал к вам из Неаполя. Поверьте, что их полезно перечитывать, несмотря даже и на то, если бы они были совершенно несправедливы. Говорю вам это по опыту. Если имеете что сказать мне, обратитесь[5] к графу или, лучше, графине Соф<ье> Сергеевне, и она мне это передаст.

Желающий успехов вам Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Александру Андреевичу Иванову.

### 1280. Ф. В. Чижову

Неаполь. 25 марта <н. ст. 1847>.

Мне было очень прискорбно узнать из письма вашего (от 20 марта) о вашем решении так рано оставить Италию. А я думал

[1] участием к художни<ку>
[2] художник, исполненный
[3] *Далее начато:* что уж ничем бы не мог заняться по тех пор
[4] было напеч<атано>
[5] скажите

было с вами увидаться в Риме, в первых числах мая. Мне хотелось о многом с вами переговорить лично, и это была единственная причина тому, что я не отвечал на ваше прежнее, очень доброе и милое письмецо. Объясненья письменные вообще меня сильно затрудняют: я просто боюсь теперь выражать мысли свои на бумаге, хотя вообще люблю читать всё выраженное другими. Столько недоразумений случалось мне производить!.. но оставим об этом речь. Повторяю вам вновь, что мне очень жаль, и я бы возрадовался не шутя внезапному повороту ваших обстоятельств, который заставил бы вас остаться май месяц в Риме. Во всяком случае, вы не позабудьте меня, по крайней мере вашими письмами, и если вы хотите получать и от меня также письма, и притом толковые, а может быть даже и нужные, то не поскучайте прежде познакомить меня обстоятельно и подробно с вашими мыслями, намерениями и даже движеньями доброй души вашей. Тогда мне будет легко говорить с вами и на письме. Никак не смущайтесь тем, если не получите сначала ответа (кроме разве самого короткого). Это будет значить только то, что я еще не умею вам отвечать, что я еще недостаточно введен во всё то, что касается до ваших намерений, занятий и помышлений, и желал бы писем, еще обстоятельнейших и чистосердечнейших относительно такого предмета. Но как только разоблачится передо мною человек со всеми изгибами его особенностей и наклоненьями его взгляда на вещи, мне тогда так же с ним свободно, как с товарищем, с которым росли и воспитывались вместе. Но прощайте. Бог в помощь вам!

Искренно вас любящий Н. Г<оголь>.

## 1281. Графу Мих. Ю. Виельгорскому

Марта 27 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Я страдаю душой при одном помышлении о том, сколько нанес вам хлопот и тревог, мой наидобрейший граф Михаил Юрьевич; но, вероятно, вы уже знаете из[1] письма моего к Плетневу, о котором он, вероятно, уже вам сообщил, что мои искания гораздо умереннее. Желанье мое, чтоб и вы и князь Вяземский прочли раза два непропущенные статьи и выбросили бы из них все жесткие, дикие и оскорбляющие выражения. Я полагал и даже полагаю доныне, что почти[2] все главные мысли могут удержаться

[1] *Далее было:* прежнего

[2] Я полагал и даже полагаю доныне, что почти *вписано вместо:* Почти

и могут быть представлены[1] на рассмотрение высшее, если смягчить некоторые резкости выражений[2] кое-какими умягчающими и приличными оговорками. Я думал и думаю доныне, что нужно[3], во-первых, выбросить заносчивое *я*, которое[4] выглянуло во многих местах почти против моей воли и подало случай многим[5] приписать многое во мне[6] самолюбию моему, тогда как это просто моя юношеская незрелость, которая во мне пребывает рядом с моей зрелостью и с моими уже немолодыми летами. Чтобы лучше заметить во мне все то, что следует умягчить и оговорить, я просил князя Вяземского не позабывать при чтеньи писем[7] моих, что их пишет чиновник маленького чина. Тогда само собой[8] будет очевидно, как сказать ту же мысль незаносчиво.[9] От этого книга моя значительно выиграет и в публике. Не поскучайте, мой добрый и великодушный Михаил Юрьевич, этим чтением. У вас есть много того прекрасного и тонкого чутья, которое может приметить всякую малейшую неприличность. Не поскучайте[10] выправить, я верю вперед в разумность[11] и необходимость всего того, что вы придумаете выправить вместе с князем Вяземским. И если после этого дела (за которое не придумаю, как возблагодарить вас) вы найдете, что лучше обождать или даже отменить представление этих[12] статей, тогда это решение будет для меня[13] совершенно удовлетворительно. Еще раз[14] считаю долгом повторить вам всё это и еще раз прошу вас простить меня[15]. А добрую графиню прошу не беспокоиться[16] и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не исполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала[17] некоторая боязнь за неразумие

[1] *В автографе:* представленны
[2] *Далее было:* ум<ягчающими>
[3] Я думал и думаю доныне, что нужно *вписано вместо:* Нужно
[4] *Далее было:* места<ми>
[5] многим *вписано.*
[6] *Далее было:* к
[7] писем *вписано вместо:* статей
[8] собой *вписано.*
[9] *Далее было:* Пот<ому>
[10] и
[11] в разумность *вписано вместо:* во все то, что вы
[12] этих *вписано.*
[13] для меня *вписано.*
[14] *Далее было:* пов<торяю>
[15] меня *вписано.*
[16] *Далее было:* обо мне
[17] *Далее было:* долго

моего поступка, но в то же время какая-то[1] как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню[2] смутившим ее письмом. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать. Затем, целуя вас и целуя ее добрые ручки и ручки бесценных дочерей ваших, остаюсь весь ваш

Г<оголь>.

*<На обороте:>*
Его Сиятельству
Графу Михаилу Юрьевичу
Вьельгорскому.

### 1282. П. А. Плетневу

Марта 27 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Давно не имею от тебя известий, добрый друг мой. (Я писал к тебе еще не так давно, именно 6 марта.) Если тебя затруднили дела по моей книге, то, повторяю тебе вновь, торопиться с представленьем рукописных статей не нужно, — тем более что, во всяком случае, полное издание книги не поспело бы[3] прежде лета. Лучше получше[4] выправить эти статьи, выбросить из них всё резкое и оскорбляющее. Я просил князя Вяземского в письме к нему,[5] которое, вероятно, вручил ему Росетти (оно было от 28 февр<аля>), чтобы он, читая эти статьи, имел неотлучно в своих мыслях то, что писавший их[6] есть не более, как чиновник 8 класса, чтобы чрез то видеть лучше, где нужно облегчить жесткое выражение помещением необходимой оговорки, а где уничтожить вовсе иное заносчивое, ни в каком случае не приличное. Всё можно сказать, что есть правда, и тем более та правда, которую я хочу сказать, но нужно созреть для того, чтобы уметь ее сказать. И настоящей виной того, что вооружает против меня людей, есть не другое что, как незрелость моя. Я получил от Жуковского секунду векселя и в то же время от нашего посланника из Франкфурта, Убриля, известие, что мне будут выданы по нем от здешнего банкира Ротшильда все деньги, вследствие его переговоров

[1] *Далее было:* неест<ественная>
[2] графиню *вписано вместо:* таким может быть совершенно
[3] не поспело бы к
[4] слишком
[5] в письме к нему через Ро<ссета>
[6] эти статьи

с его братом, франкфуртским Ротшильдом. Но как странно и как видно, что мне не судьба получить эти деньги! Ротшильдом здешним овладело вдруг сомнение (хотя он уже приказал было мне выдать деньги). Все справки, сделанные во Франкфурте и в Гамбурге относительно незаплаты по первому векселю, показались ему недостаточны, и он попросил у меня времени вновь списаться с Гамбургом, вследствие чего я и просил его распорядиться так, чтобы этот вексель был из Гамбурга препровожден обратно к Штиглицу, а Штиглиц выдал бы деньги эти тебе. Ты их держи у себя. У Прокоповича денег моих достаточно. Но об этом деле мы поговорим с тобой потом: дело, которое должно остаться между нами, совсем не так глупо, как кажется с виду, но я не надлежащим образом объяснил свою мысль. Не могу постигнуть, почему я до сих пор не получил ни одной книги, ни моей, ни чужих, тогда как в прошлом году мне случилось получить несколько книг весьма скоро. Я помню, что получил через Любимова, на имя Апраксиной, несколько книжек в полтора месяца изворота. Теперь пишет Любимов Апраксиной, что он был у тебя именно с тем, чтобы взять книги для меня, но не получил их[1]. Видно, не судьба мне видеть мою книгу и вообще читать вышедшие теперь у нас книги. Пожалуста, посылай хотя в письмах листки тех мест[2], где говорится о чем-нибудь по поводу моей книги. Не жалей на это денег: они скоро должны у тебя вновь накопиться от второго издания книги, которое я просил тебя произвести в скорости по первому изданию, если проволочка по поводу включенья невключенных статей окажется долгой, и которое просил тебя возложить на Россети, если тебе окажется невозможность заняться им самому. Но удивляет меня то, что ни от Россети, ни от всех тех людей и друзей, которые обещали мне сообщать всё, что ни услышат из толков о моей книге, не получил почти ни строки. Маршрут мой тебе уже известен из письма моего от 6 марта. Всё, что ни будет высылаться ко мне с первых чисел маия, следует адресовать во Франкфурт, на имя посольства[3] или Жуковского. Кстати: советуй тем, которые страдают нервами, ехать на морское купанье в Остенде, которое решительно лучшее из всех прочих и помогает чудесно, а самая поездка туда необыкновенно легка: из Петербурга можно прямо морем, не бравши с собою экипажа, в одну неделю достигнуть

[1] не получил от тебя
[2] листки из тех мест
[3] посольства нашего

Остенде или вплоть морем, или с пересестом на железную дорогу, что не требует тоже экипажа и хлопот. Из Остенде день езды в Париж, по железной дороге, и день езды в Лондон, с пароходом. А мне бы хотелось очень переговорить, будучи в Остенде, со многими из русских, и особенно с теми, которые поумней и могли бы мне сообщить многое интересное. Прежняя моя дикость исчезла, и мне теперь не трудно разговориться. Обнимаю тебя, добрая душа моя.

Твой весь Г<оголь>.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.

Его Превосходительству г. ректору С.-Петербургск<ого> Императ<ского> университета Петру Александровичу Плетневу.

В С. П. Бурге. На Васильев<ском> о<строве>, в университет.

### 1283. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

<4–24 марта (н. ст.) 1847 г. Франкфурт>

20 февр<аля> / 4 марта 1847.

В последнем моем письме к тебе, мой милый Гоголек, я обещался снова начать чтение твоей книги с карандашом в руках, дабы, делая на нее замечания всякого рода, сообщать тебе через письма все то, что будет приходить мне в голову. Эта работа по моему вкусу; не надобно делать никакого плана; не надобно ни брать мерки, ни делать выкройки, а просто нашивать свои заплатки на чужое платье. Хотя платье не изношенное, не в дырах и не требует заплаток, но тот, кому оно достанется, может носить платье, споров заплатки, которые также могут ему на что-нибудь пригодиться, потому что все из одинаковой свежей материи. Но до сих пор я не мог приняться за перечитывание книги; причину этого скажет тебе прилагаемый здесь печатный листок. Бог посетил наше семейство тяжким испытанием. Вот уже десять дней, как наша милая сестра Мия кончила жизнь свою; ее болезнь (typhus cerebralis) продолжалась не более одиннадцати дней; она не много страдала; последние дни были спокойным, постепенным умиранием, в котором она почти до конца сохранила память; с самого начала болезни было в ней жадное желание причаститься С<вятых> Тайн, и, когда это желание исполнилось, совершенный, светлый покой поселился в ее душе — этот покой выражался и на ее лице всякий раз, когда душа брала верх над слабеющим телом. Утром 22 февр<аля> отец и сестра стояли перед нею; глаза ее были закрыты, она, казалось, спала; вдруг тихо вздохнула;

отец ищет ее пульс, он остановился; кладет руку на сердце, оно не бьется; смотрит ей в лицо, его покрывает тусклая бледность, и только на лбу остается какой-то живой свет. «Что это?» — спрашивает он у женщины, ходившей за больною. Та отвечает: «Это смерть». Но эта первая минута смерти принадлежала еще душе. Покинув тело, она оставила на лице, побледневшем, как мрамор, выражение того, что *она была* в минуту своего расставания с телом: выражение покоя, смирения и как будто радости, потому что был приметен след улыбки, трогательно приятной. Таков был прекрасный конец нашей Мии, которая провела двадцать шесть лет под кровлей семейной, не испытав никакой тревоги житейской; все было чисто, прекрасно, девственно в этой безвременной (говоря человечески) смерти. Она оставила пережившим одно умилительное о себе воспоминание. *Смерть только для живых есть зло,* — сказал Карамзин; с одной стороны, это правда, с другой — заблуждение. Не мертвые нас теряют; мы, живые, теряем мертвых; и чем более к ним было любви, тем горестнее их утрата; чем теснее были с ними узы, тем болезненнее разрыв их. И в этом действительное *зло* смерти. Оно исключительно для одних живых; можно даже сказать, что отнятое у оставшихся *все* отдается тем, которые их оставили. Для первых видение земное исчезло, место, так мило занятое, опустело, глаза не видят, ухо не слышит, самое (для них ощутительное) сообщение душ прекратилось. Для последних все это сделалось непосредственнее, свободнее, *теснее*; душа с своими духовными сокровищами, с воспоминанием о лучшем земном, ей одной принадлежащем, ей, так сказать, укрепленном смертью и слившемся с ее бытием духовным, с своею любовию, с своею верою переходит в мир без времени и без пространства; она слышит без слуха, видит без очей, она соприсутственна всегда и везде душе, ею любимой, не отлученная от нее никакою далью, тогда как нам, живущим, язык ее недоступен, и то, что стало более нашим, кажется нам утраченным навеки. Но в то же время смерть есть великое благо и для живущих, и тем большее благо, чем милее нам был наш умерший. Это глубоко понимает разум, освещенный лучом христианства. Но какую великую силу приобретает убеждение разума, когда оно становится *опытом сердца.* Пока мы сами не испытали еще никакой болезненной утраты, мы веруем, слушая голос Спасителя, исходящий к нам из Евангелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая в своем истинном великом значении. Но когда над нами самими совершается удар свыше, как *иначе* делается тогда

внятен сердцу этот евангельский голос; уже не в листах книги мы ищем тогда Спасителя нашего. Он Сам нас находит, Он Сам становится к нам лицом к лицу; ценою бедствия покупаем мы лицезрение Бога. Велика ли эта цена? И что она перед тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все, что я здесь тебе пишу, я прежде *думал*; теперь я это *видел*, и опыт близкого мне сердца сделался моим собственным опытом. Я видел отца, отдавшего в руки Бога любимую дочь свою, я слышал отца, прославляющего не словами, а радостию сердца волю Всевышнего, взявшую дитя его, только что расцветшее для жизни. Здесь всего простее повторить слова, сказанные им своей семье, в первую минуту утраты: «Великое дело Божие над нами совершилось; мы видели своими глазами, как наша милая дочь перешла к Небесному Отцу своему; она принесла Ему чистую, ничем житейским не потревоженную и с Ним примиренную душу. И теперь мы знаем, без всякого земного сомнения знаем, что ей дано все то, чего бы мы никакою силою нашей любви не могли ни дать, ни сохранить ей в жизни. Мы можем только благодарить и славить. После такого ясного узнания милости неизреченной не позволим себе никогда ни пожалеть, что она от нас взята, ни пожелать, чтобы она была с нами. Будем смирны; и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости! За себя будем только покорны; за нее благодарность и радость». Таким языком говорит христианство о величайшем земном несчастии, которое без него раздавило бы душу и которое с ним становится для нас преображением человеческого мрака в утешительный свет Божий.

12 (24) марта.

Выставленное здесь число скажет тебе, что это письмо, начатое 4 марта, целые двадцать дней пролежало на письменном столе моем; мне некогда было приняться за его окончание; не хотелось послать его неоконченным. Наконец я должен был решиться на последнее, прибавив: продолжение впредь. Этим отрывком, который в следующем письме составит целое, начинается моя с тобой переписка по поводу избранных мест из твоих писем. Что буду тебе писать, еще теперь не знаю, да и знать этого мне не нужно; буду писать, что напишется, смотря по тому, что, и как, и когда взойдет на мысль при чтении книги. Я между тем получил твое письмо, в котором ты меня уведомляешь о намерении посетить Швальбах и Остенде прежде Иерусалима. Это благоразумно.

А было неблагоразумно оставаться в Неаполе в такое время, когда пребывание в нем всегда вредно для нерв. Теперь надобно его оставить и перебраться скорее к нам на север. И всего бы лучше прямо в мое соседство. Случившееся насчастие в нашем семействе, вероятно, произведет изменения и в моих планах: жду на это разрешения из Петербурга; что велит Государь, то и будет. Но из этого следует, что мы могли бы еще пожить если не в одном доме, то в одном месте, и мои критико-философические письма шли бы не через почту, а передавались бы из рук в руки. Я еще не мог приняться за свою главную работу, за «Одиссею»; надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не Древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока. Теперь переписываю и в то же время поправляю поэму. Мне весело будет слушать, как ты опять будешь читать ее вслух предо мною для новых поправок. Прости. Убриль уведомил меня, что ты получил вексель; смешно, право, что мне ты ничего об этом не пишешь, тогда как знаешь, что вексель был доставлен мне и что я обязан об нем дать отчет тем, кто его мне доставил. Что за расстегайство именно в таких делах, в которых необходима точность математическая. Жена и все мои родные тебе дружески кланяются.

Ж<уковский>.

### 1284. С. Н. Молчановой

<Февраль–март (н. ст.) 1847 г. Неаполь>

Вы просите молиться о Прасковье Ивановне, но она так жила на земле, что мы должны теперь просить ее о нас молиться. Во всяком случае, я упомяну ее имя при Святом Гробе. А вас прошу помолиться о том, чтобы Бог не возгнушался принять от грешных уст моих мои молитвы. Если встретите кого-нибудь из тех, чья жизнь и молитва угодны Богу, попросите их также помолиться обо мне. Я очень помню доброе выражение лица вашего и ласки ваши сестре моей.

Рад буду, если приведет Бог нам встретиться в Москве.

Весьма признательный вам

Николай Гоголь.

## 1285. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

<19 марта — первая половина апреля 1847. Москва>

<...>[1] Хочу печатать. Еще вас, мой милый друг, мой возлюбленный незабвенный Николай Васильевич благословляю, вручаю Богу и Им вас умоляю: ни к чему не приступайте, не помолясь и не испрося на то Его Отцовского благословения. Но сколько ни говорить, пора проститься. Прощаюсь здесь, а в Боге не разлучаюсь с вами, мой друг, и молитвою соединяюсь, и прошу вас, ради Христа, берегите себя, с терпением и смирением все переносите, легче самому потерпеть, нежели, храни Господи, кого оскорбить. И конец. Еще вас благословляю. Христос с вами!

## 1286. Н. Н. Шереметевой

<1 апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

Я получил доброе письмо ваше, бесценный друг мой Надежда Николаевна, сегодня, в страстн<ой> четверг, и сегодня же вам отвечаю. Я было уже начинал думать, скучая долгим молчанием вашим, что и вы негодуете[2] на меня за мою книгу, как вдруг получаю два листа вашего письма, и какого письма! Бог да наградит вас за него! Оно мне было — как благодатная роса. Я было уже утомился от упреков слишком тяжких и жестких отовсюду и уже почти со страхом распечатывал письмо ваше. Но в письме вашем та же любовь, те же молитвы обо мне и о бедной душе моей! Весьма мало вы себе позволили замечаний на мою книгу и даже и за них просите у меня извинения. Друг мой, если б вы даже сделали и самые тягостные, самые суровые, самые жесткие мне упреки и сопроводили бы их не голосом ангела, сострадающего о человеке, но голосом строгого судьи, да прибавили бы только, в заключение письма вашего, что вы с той же любовью обо мне молитесь и помните, как о своем возлюбленном сыне, данном вам Богом, — облобызал бы я тогда ваши[3] строки, в которых начертались эти упреки. Упреки мне нужны, упреками воспитывается моя душа, и упреки составляют теперь мою пищу, которой питаюсь. Как ни несправедливы многие из них, но в основании их лежит всегда какая-нибудь правда, и это меня заставляет[4] всякий раз построже оглянуться на себя, и внутренний глаз мой становится после того

[1] *Начало письма до нас не дошло.*
[2] *Было:* сердитесь
[3] *Было:* и самые
[4] *Было:* заставляет меня

светлее, точно как будто бы слетает с него какая-нибудь шелуха. Главной виной того множества упреков, которым подвергнулась моя книга, есть *незрелость* моя. Те же самые вещи можно было сказать гораздо обдуманнее, точнее, определительней, проще, скромнее и смиреннее — и книга моя имела бы больше защитников. Но зато я бы не достал бы себе этого множества упреков, которые мне нужны, и мне бы не было средств поумнеть как следует, для того, чтобы уметь заговорить как следует. Бóльшая часть упреков родилась от всяких недоразумений, к которым я подал сам повод неясностью слов моих, в том числе и самое дело о портрете. Поступки Погодина относительно меня были совершенно неумышленны. Он действовал, вовсе не думая оскорбить меня. Надобно вам знать получше Погодина. Это добрейшая душа и добрейшее сердце. Великодушие составляет главную черту его характера. Но с тем вместе некоторая грубость, незнание приличий, беспамятство и рассеянность (по причине множества[1] разных дел, которыми он всегда был опутан) поставляли его беспрестанно в неприятные отношения с людьми, в возможность огорчать их, без желания огорчить. Я долго думал о том, как объяснить ему всё это и заставить его оглянуться на себя, как вдруг моя книга без моего ведома нанесла ему поражение (я совершенно позабыл слова и фразы статей[2], и если бы сам печатал, то, вероятно бы, ослабил их, имея намерение более объяснить неприкосновенность прав собственности писателя). Скажу вам, что я этому даже обрадовался, имея случай чрез это с ним прямо объясниться. Я писал к нему письмо (от 4 марта), которым, вероятно, он удовлетворен. Скажу вам еще, для полного успокоения вашего, что я никогда еще не любил так Погодина, как люблю его теперь. Человек этот, кроме того, что всегда был достоин всякого уважения, в последнее время значитель<но> изменился. Несчастия и разные душевные потрясен<ия> умягчили его душу до того, что она теперь способна понимать[3] многое из того, к чему прежде была менее чувствительна. И я чувствую, что отныне у нас с ним будет[4] дружба бóльшая и здесь, и там. Вот вам, мой друг, непритворный отчет по этому делу!

Поездка моя в Иерусалим несколько отодвинулась, по причине[5] всяких хлопот, переписок по поводу печатания книги, по

[1] *Было:* от множества
[2] *Было:* слова свои и фразы книг
[3] *Было:* принимать
[4] *Было:* установится
[5] *Было:* как по причине

причине[1] несколько вновь порасстроившегося моего здоровья, а наконец[2] и по той причине, что я не отважился отправиться один. Почти со всеми, имевшими то же[3] намерени<е> отправиться в этом году в Иерусалим, случились непредвиденные препятствия. А мне — надобно вам знать — необходимо для этой дороги товарищество близких сердцу душ. Я не так крепок и душой и телом, я не так живу в Боге, чтобы обойтись без помощи людей, и мне братская помощь человека еще более нужна в этом путешествии, которое для меня есть важнейшее из событий моей жизни. Кроме того, мне необходимо также получше приготовиться, побольше утвердиться в здоровьи, и душевном и телесном. Летом, по причине расстроившихся нерв моих, я должен буду ехать на воды в Германию и на морское купанье, а потому ответ на это письмо вы адресуйте уже во Франкфурт — или попрежнему на имя Жуковского, или же на имя нашего посольства. Не позабывайте писать ко мне. Письма друзей моих теперь мне очень нужны. Со времени смерти незабвенного моего Языкова никто ко мне теперь не пишет часто. Он да вы только умели меня так любить, что, не смущаясь ничем — ни долгим молчанием моим, ни неуменьем моим быть признательну за такую нежную дружбу, — писали ко мне всегда и не забывали меня никогда в мыслях и молитвах ваших.

Итак, прощайте до следующего письма вашего. Поздравляю вас с преддверием Светлого Воскресения Христова.

Весь ваш Гоголь.

### 1287. А. О. Россет — Н. В. Гоголю

С.-Петербург. 12 марта 1847 г.

Благодарю вас, любезнейший Николай Васильевич, за книгу, присланную мне Плетневым. Я прочел ее, как вы желали, два раза, останавливаясь на многих местах с восхищенным вниманием. Вы просите сообщить вам откровенно мое мнение; не думаю, чтобы мое мнение вам было нужно. Я червь; принадлежу к очень маленькому числу ваших личных знакомых и к малому числу людей более или менее одинаковых с вами мнений о делах мира сего. Вы могли писать к друзьям, но книгу издавали не для знакомых и не для единомышленников, а для всех и, по-видимому,

[1] *Было:* как по причине также
[2] *Было:* так равно
[3] *Было:* это

более для тех, кои любят помудрствовать лукаво. Поэтому скажу вам откровенно, какое впечатление произвела книга на публику, и постараюсь объяснить, почему она произвела впечатление такое, а не этакое.

Прекрасна страница в вашем завещании, где вы так трогательно, с такой любовью обращаетесь к вашим соотечественникам; прекрасно письмо о лиризме наших поэтов; прекрасны два письма к покойному Языкову; прекрасно «Просвещение», Живописец Иванов, Светлое Воскресение; прекрасны, наконец, несколько страниц и много строк других писем. Жаль мне, невыразимо жаль, что все это прекрасное, если не пропало, то много утратило силы. Да, Николай Васильевич, вы угадали — на сцену выступила не книга, а вы, едва ли не одни вы; лучшим сему доказательством служат толки: все рассуждают о вас, и никто или мало говорят о том, о чем вы говорите. Вы приписываете сие цензуре, вас обкорнавшей, — я не согласен; но об этом после. Дело покуда в том, что личность ваша задавила книгу; впечатление собственно книги было ничтожно, тогда как в настоящее время у нас оно действительно могло быть важно.

На днях вышлю вам журналы с бранными отзывами; вы назвали журналистов козлами; они невежи, — говоря не по-французски, просто скоты. Публика вообще добрее и снисходительнее: она бы посовестилась на голос любви, присланный ей издалека соотечественником, отвечать[1] ему сумасшедшим, иезуитом, гордецом или лжецом; но, читая отзывы журналов с очень уменьшительным стеклом, вы узнаете и отзыв публики, для которой предназначена книга. Знаю, что вы ее предназначали всем, ожидали, что ее прочтут и лакеи и дворники, но эти ожидания — мечтательные ожидания и принадлежат к числу тех странностей, которые выставили так ярко вас, ужасно повредили книге и о которых скажу после.

Говоря о публике, должен по примеру известного московского полицеймейстера определить, кого называю публикой. Высшее наше общество не читает, а разве прочтет только ту русскую книгу, которая, по какому-нибудь случаю, обратит всеобщее внимание; оно живет, хотя менее чем прежде, чужими интересами, питает свою любознательность (или убивает время) иностранными книгами; влиянию русской книги не поддается и суждения о ней никогда не произносит. Его надо оставить в покое и не беспокоиться о том, что оно делает и говорит. Интересы

[1] *Было:* обзывать

этого общества слишком связаны с интересами России, чтоб рано или поздно, указами или силою обстоятельств, оно не вернулось из-чужа восвояси. За сим идут помещики. Живя уединенно, вдали от шумов, внутри земли и своего народа, все, что говорится о русских коренных началах, о русском быте, о нуждах и потребностях России, ее страданиях и радостях, находит более сильный отголосок, и ваша книга, которой главная тема *душа и прочное дело жизни*, христианство, царь и Россия, — помещиками, как я надеюсь, будет оценена. По их прямому действию на народ обстоятельство это весьма утешительно. О нашем брате военном нечего хлопотать: у военного на уме, ей-Богу, служба: он действительно живет по команде и, не мудрствуя лукаво, исполняет свое дело прочно, т. е. усердно служит и усердно будет служить царю и России. Потом выступает публика — это среднее с.-петербургское и московское выслужившееся дворянство, огромный класс чиновников (53 000), мелких писак (их у нас уже много), артистов всякого рода и иных и прочих, всякого сброда, которые выслушали университетский или гимназический курсы; они[1] читают жадно, читают русские книги и пребывают, бедные, под сильным гнетом русской литературы. По мере увеличения университетов и гимназий и облегчения правительством способов к образованию класс этот, или сословие, пожалуй хоть tiers état, увеличивается непомерно и начинает выступать с теми же атрибутами, с какими везде существует. Повсюду он служил и служит камнем преткновения, не принадлежа ни к какому самостоятельному сословию, он сидит entre deux chaises, le cul par terre; имея полуобразованную голову и тощий желудок, его наитруднее убедить думать о душе и прочном деле жизни; он заносчив, раздражителен, требует исполненного христианской любви обращения с ним, потому что истинно несчастный склонен к ненависти ко всем и ко всему, и если он собьется с пути, занесется бреднями протестантскими, гегелевскими, не знаю уж какими, его не поставишь скоро на прямую дорогу. Это-то именно публика, для которой существуют серьезные русские книги; она же и ваша публика; она вас читала, теперь прочла; она вас любила и превозносила; теперь же не знаю, любит ли, но ни в каком случае не превозносит, а или бранит, или сожалеет, или подшучивает, смотря по характеру и темпераменту каждого. Многие думают, что ныне литературой немного возьмешь, и журналы, особенно у нас, цензурованные — вздор. Оно, быть может, и правда, но не у нас. В Европе выдгалась литература,

[1] *В публикации В. И. Шенрока, по-видимому, ошибочно:* одни

и ей уж не верят: теперь лгут проповедники и авторы, скоро и им перестанут верить, если еще верят, исключая старых баб из Faubourg 51, Germain; кому там будут верить, один Бог знает. У нас не то; у нас литература только начала чепуху молоть и лгать; ей еще верят, и она еще действует; иначе не объяснить себе, почему, при совершенном отсутствии талантов, публика так добродушно приняла на себя роль дойной коровы — кормить своих козлов тысячами и тысячами подписчиков. Прочтите одну страничку главного представителя «Отеч<ественных> Записок» — и вы вмиг смекнете о духе господствующей нашей литературы. Вонь эта — разумеется, в пределах и очень в пределах, ибо боится, — вселила, однако, уже порядочную долю той гордости ума, о которой вы говорите в одном письме. Вот первая причина, почему самое ваше направление, ваши начала не одобрены были вашею же публикою. Она прочла вашу книгу, вспомнила прочитанную ею накануне трескотню и сказала: «нет, Гоголь не наш брат, он отсталый и запоздалый, не следует ни идеям века, ни успехам просвещения, ни современному состоянию науки и прочим пустым и пошлым фразам, которые применяются ко всему, не объясняют ровно ничего, но в головах публики молодой и школьной оставляют гордый сумбур ума». Впрочем, это относится собственно к направлению; всякое, тем более ваше, должно было встретить противников. Дело в том, почему впечатление настоящей книги было *ничтожно* (на публику, а не на лица), тогда как прежних сочинений было значительно и так значительно, что, если поразобрать хорошенько, не в вас ли (хотя невольно и Бог знает как случилось) надо искать и начальную разгадку современного духа нашей литературы. Вы первый пустили в литературу сатиру над всем, что Русью пахнет, — и увлекли. Случилось событие беспримерное в литературе, и у нас ни к селу, ни к городу: сатира стала господствовать; все бросилось смеяться над всем, а осмеяние — прямой проводник к неуважению, к утрате святого чувства — признавать святое смешным — и к пренебрежению всего. Никто из наших писателей не высказывался вполне; духовная его сторона, религиозные убеждения оставались тайной, исключая разве Карамзина, который не проповедывал прямо христианство, не говорил о церквах, о нашей Церкви, но выразился православным, т. е. просто христианином без примеси, хоть бы даже и очень умной, и без фанатизма. Вы первый светский писатель выступили с решительным религиозным направлением и должны были тем сильнее поразить всех, что ваше прошлое не позволяло

предполагать такого направления. Что ни говори, а перейти прямо с Хлестакова и Чичикова на Христа и душу — озадачит хоть кого. Вы пренебрегли и прошлым наших писателей и вашим прошлым, и тем, что у нас привыкли видеть человека, говорящего о Христе, в рясе, а не во фраке, и выступили прямо учителем, да каким учителем! прямым проповедником с самым доктринерным тоном, почти без апелляций, которого советов все спрашивают и, получив, только слушают и благодарят. Тон этот иных удивил, других оскорбил, третьи над ним посмеялись и причислили к числу тех странностей и причуд, о которых скажу после. Вот вторая причина, почему влияние книги было ничтожно. Вяземский, которому вообще ваша книга понравилась, первое что сказал мне: «о Гоголе надо сказать то, что сказал Суворов о Екатерине: “Суворов может всегда говорить о Екатерине, Репнин — иногда, Курис — никогда”». Говоря о Христе, светскому писателю — место Репнина.

В книге вашей вы выступаете прежде всего христианином. Каким путем пришли вы к Христу? — путем болезни. Путь очень действительный для нас с вами, слабый для других. Убеждать человеку больному человека, который, слава Богу, здоров, — самое ненадежное средство. Каждый знает, что болезнь и старость прибегают часто к Христу и Им утешаются; каждый говорит, что они хорошо делают, и каждый остается в ожидании, когда его постигнет то или другое. Чем увлекали вы публику в прошлых сочинениях? Обилием жизни и внутренней силы; до мелочи касались, а читатель был весь ваш. — Какой господствующий тон настоящей книги? Тон болезненной слабости телесной, расстройства нервического, напуганного воображения, душевной скорби, какого-то уныния, тяжелого для читателя, когда оно длится почти без отдыха от первой страницы до последней. Мне кажется, что, представляя христианство в настоящем его духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратишь человека ко Христу. Когда выступит наша Церковь, просветлит или высветлит всего насквозь нам человека (эта страница ваша просто прелесть), человек этот выразится нам в противоположной вам форме. Он покажет нам примером, что человек может жить в мире <со> Христом и для Христа, и потому именно, что сумеет жить для одного Христа, будет жить с всегда свежими, добрыми силами, без уныния и без страха, ибо любовь, по словам Павла, «изгоняет страх». Никто из св. отцов так много и так прекрасно не говорил о покаянии, как Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник. Прочтите у Иоанна самый плач, начинающийся словами: «плач есть златое

жало вашей души»; он умилит вас, но подымет, даст вам силы не пугаться страшным расстоянием от земли до неба, покажет, что сладко быть христианином, и тем действительнее возбудит желание приблизиться к Христу. Избави нас, Боже, от проповеди духовной и светской, если она сама только стонет, а других только пугает; такая проповедь действует только на воображение и производит лишь религиозных католических дам, которым если бы сказал кто-нибудь наверное: «все будущее вздор — нет Бога!» — они едва ли не сказали бы: «и слава Богу!» Места, которые наиболее в вашей книге нравились, суть места, где вы выказывали силу и вызывали других бодро действовать на поприще каждого; напротив того говорите о себе, о страданиях, скорбите, жалуетесь, — там внимание читателя обращалось на вас и возбуждало бесплодное чувство соболезнования к вам, вовсе для вас не нужного. К сожалению, первых мест менее; общий тон — слабость, уныние — и вот третья причина, почему впечатление от книги было ничтожно. Наконец, причуды и странности. Они уж слишком ярко вас выставили и убили книгу. Вы могли пренебречь приличиями, литературными обычаями, презреть общим мнением, но не должны были, ради пользы самой книги, пренебречь слабостью человека. — Как быть, а человек уж так создан, что, посмотрев на солнце, заговорит об этих пятнах. Что делают с солнцем, то делают и с вашей книгой. На вопрос: «читал ли Гоголя?» — каждый помимо всего заговорит о завещании, публичной исповеди, портрете, посмертных памятниках, просьбе раскупать книгу, раздавать ее всем и проч. и проч. Каждый или жалеет, если добр, что в книгу прекрасную попали странности, или подшучивает, если веселого нрава, или задает себе вопрос: «неужели светский писатель, если заговорит о Христе, не делается весь христианином, не может быть просто христианином, а вместе чудаком и оригиналом?» Не знаю никого даже из ваших почитателей самых снисходительных, которые бы не желали, чтобы этих странностей не было в книге. Мало, очень мало людей, которые бы не только на книгу, даже на картину, смотрели с чувством предубеждения к хорошему, умели бы пользоваться ее красотами, забывая о ее недостатках, которые бы применили с пользою при чтении совет Жуковского при воспоминании об утраченных людях: «не говори с тоской: их нет, а с благодарностию — были». По-моему, писатель должен знать эту слабость и не пренебрегать ею.

Вот вам, любезнейший Николай Васильевич, описание речей, мною слышанных, или, лучше, вывод из слышанного. Прошу

вас думать, что мне это стоило: мне было бы гораздо приятнее написать то, что вам приятно бы было читать. Я мог бы написать, назвать поименно, как некоторые были в истинном восторге, не зная вас вовсе, полюбили и не променяли бы настоящую вашу книгу на все ваше прежнее. Но это лица, отдельные лица; впечатление, на них произведенное, можно было предугадать, зная их образ мыслей, их любящую душу и сердце, откликающееся на все, что выражено искренно, прямо от сердца. Кстати об искренности; но тут уж я не отвечаю, а, в свою очередь, задаю вам вопрос. Скажите, отчего многие и очень многие в вас сомневаются, не верят, упрекают в самолюбии, и в смирении видят не смирение, а развивающуюся гордость, и едва ли не самую ужасную гордость — гордость монаха-отшельника. Людей легко обмануть молча или не тратя слов, а не странно ли, что, читая книгу в триста страниц, они составляют понятие об авторе совсем другое, чем есть автор. Внутреннее ли их чувство всех обмануло, или виноват автор, дурно выразившись в книге? Этого я уж не понимаю и объяснить не могу.

Теперь буду отвечать на письмо ваше от 11 февраля. На другой же день его получения я с Плетневым был у Вяземского, нашел у него Тютчева; мы прочли непозволенные письма и положили ожидать ответа вашего на предложение Плетнева поместить письма в другом томе, представив весь том Г<осударю>. Он вас знает и вам дозволит то, чего бы не дозволил другому. Два письма к графу Толстому: «нужно любить Россию» и «проездиться по России», не понимаю, почему не пропущены; что же касается до остальных трех, это можно было предвидеть. В письме к графине В<иельгорской> «Страхи и ужасы России» самое заглавие странно. Нет сомнения, что на Руси много злоупотреблений сильно вопиющих, все мы это знаем, и более всех нас едва ли не само Правительство, но опять видеть страхи и ужасы — это преувеличено. Правительству же дозволять распространяться слухам об ужасах и страхах едва ли, смотря на вещи с практической стороны, было бы благоразумно. В письмах: «Что такое губернаторша» и важным лицам содержатся советы. По принятому у нас порядку каждое служебное лицо получает наставление от лица, выше его стоящего в служебной иерархии. Позволять частному лицу публично говорить, что генерал-губернатор должен то делать, а министр то и то, у нас не принято, едва ли может быть допущено и даже одобрено общим мнением. Но повторяю, что если вы непременно желаете их печатания, отвечайте Плетневу: вы

лучшего и деятельнейшего помощника не найдете; все, что можно сделать, он сделает, во-первых, потому, что из кожи лезет, чтоб быть вам приятным (я это сам вижу), а во-вторых, имеет доступ к лицам, власть имеющим. Я очень люблю и уважаю Виельгорских, но надо знать тоже, во сколько и на что их хватит. Вы обращайтесь к Плетневу.

Обращаюсь к содержанию этих писем. Вы полагаете, что оттого выступили в книге вы, что их не напечатали, что книга вышла оглодок из общих мест, и, главное, применения общих мест к делу не видно и цель книги не достигнута. Скажу вам откровенно мое уже о них мнение, так как публика их еще не знает. Тут же, кстати, скажу и о впечатлении вашей книги собственно на меня. Нет, не могу, никак не могу, тысячу раз не могу с вами согласиться. В этих письмах вы, собственно лицо ваше, выступаете еще ярче; по новости и оригинальности, с какими вы выступаете, и по новости самых предметов, публика еще более будет рассуждать о вас, а не говорить о том, о чем вы говорите. Вы претендуете в них на звание практиканта, являясь учителем-знатоком жизни во всех ее подробностях и мелочах, который каждого на его поприще научит жить, что называется, благоразумно, т. е. применять общие места к делу с пользой для себя и для других. Наука применения не дана поэтам; едва ли какая истина была доказана так дружно, как доказали эту истину поэты всех веков и народов. Вы, любезный Николай Васильевич, поэт, поэт прекрасный, за которого благодарю Бога, что он явился в России и говорит родным, мне любезным языком; поэт, единственный друг мой, который никогда в жизни со мной не разлучается; он преобразился в книгу и сидит всегда при мне, у меня на полке, разделенный только Пушкиным от той великой книги, которая всех нас учит, всех попрекает, всем грозит, всех умиляет, всех утешает, но все это делает общими местами, предоставляя воле и уму-разуму каждого применять общие места к делу. Будьте и вы верны вашему призванию, оставайтесь на вышине, вам подобающей, выставляйте нам наши мелочи и пошлости, осмеивайте их, упрекайте нас ими, но сами будьте в стороне, не показывайте в учении вашем, как бы вы с ними справились. Читатель может найти, что и вы бы запутались и не вышли бы сухи из воды, и тогда он потеряет доверие к общим местам; словом, питайте, как следует поэту, в душе моей добрые чувства; вы сами окажете или оказали уже самую большую услугу, какую может оказать человек человеку. Засим будьте спокойны; применить их к делу,

сладить с мелочами сумею лучше вас потому, что, возившись с ними всю жизнь, лучше их знаю. Положим, что доныне действовал я дурно; это потому, что в душе не было доброго чувства; теперь умудренный и улучшенный вами буду действовать лучше, останусь ли в звании артиллерии полковника или перейду на место председателя, губернатора и проч. Нет сомнения, что многие от души поблагодарят вас за книгу; впрочем, сами получите письма хвалебные и благодарственные.

Прилагаю отрывок из письма сына Вяземского из Константинополя к отцу. Он просил вам переслать его и сказать, что отзыв сына о вашей книге ему очень приятен. Вяземский в день чтения у него заболел, очень и очень заболел и только что стал оправляться. Он извиняется перед вами, непременно вам напишет и напишет печатно. Слово о Плетневе. Его я знаю за честнейшую душу в полном смысле слова, и чем более вижу (благодаря вам вижу его чаще), тем более его люблю и уважаю. Жалобы объясняю одиночеством: он имел друзей — их не стало; искал других — они его не отталкивали, но сблизиться с ними — не мог, потому что, не зная французского языка, — нем. Жизнь многих людей в России объясним себе только тем, что они не воспитаны на русско-французский манер. Странно это, жалко, — но справедливо. Повторяю, что Плетнев, особенно для вас, — золото: много он выстрадал, слушая толки о вас последнее время; оскорбить вам его будет грех.

В заключение прошу вас именем искреннейшей любви моей к вам и преданности простить меня, если за наслаждение, вами мне доставленное, отплачиваю вам письмом черствым и вздором. Вполне допускаю, что, быть может, я ошибся. Божусь вам, я бы этого желал, а торжество вашего направления в России, ваших начал, вашего взгляда для меня столь же дорого, сколько и вам, ибо люблю Россию не менее вас, а в них счастье России.

Сверх сего Плетнев продал журнал Никитенке; Пушкина затеяла с ним род процесса за право продажи. Случилась неприятная история; его это оскорбило и было причиной жалоб и намеков на людей, на коих он вам намекал. Обнимаю вас.

Ар. Россет.

## 1288. М. И. Гоголь

<6 апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

Христос Воскрес!

Поздравляю вас всех от всей души с радостным для всего мира праздником. Благодарю вас за письма ваши от 18 февр<аля> и преимущественно вас, маминька, за ваше довольно обстоятельное письмо. Не оставляйте меня и впредь подобными известиями как о книге, так и о прочем. Не думайте только, что после этой книги моей будут все примирены со мной. Напротив, может быть, никогда еще не раздавались[1] в таком большом количестве против меня крики и осуждения, как будут раздавать<ся> отныне. Но вы этим не смущайтесь: всё делается не без воли Божией. Мне нужны несравненно строжайшие упреки, чем какие когда-либо доселе мне были деланы. Они будут казаться с виду вовсе несправедливы, но в основании их будет по зернышку правды. Эти зернышки мне нужно все собрать, чтобы поумнеть так, как следует, затем, чтобы уметь сказать точно умное. Мне нужно строже, чем когда-либо, теперь оглянуться на себя, а потому мне нужно всё выслушать. Итак, не смущайтесь никакими неприятными заключениями обо мне, но передавайте их мне просто так, как их услышите. А между тем помолитесь обо мне и просите всех молиться. Молитесь о том, чтобы прогнал милосердный Бог далеко от меня духа[2] самоуверенности, гордости, самоослепления, который ежеминутно может овладеть нами, так что мы и сами не можем того заметить. Молитесь, чтобы осенил меня Бог светом разума Своего и действовал бы я по святой Его воле, чтобы здраво и ясно глядел я и на себя, и на других и мог бы видеть даже издали приближение нечистого духа искушений, от которого одна только небесная милость Божия может избавить нас да чистые, усердные молитвы, призывающие эту милость на нас. Передайте мой искренний душевный поклон доброй Софье Васил<ьевне> Скалон и вообще поклонитесь от меня всем, которые помнят меня. А сами пишите обо всем и обо всех, потому что мне всё интересно, и я бы хотел знать обо всех. На это письмо ответ адресуйте уже во Франкфурт, по прежнему адресу. Обнимаю вас всех.

Г<оголь>.

Лизе при сем следует письмецо.
Апреля 6.

[1] не будут раздаваться
[2] всяко<го> духа

*<На обороте:>*
Poltava. Russie.
Ее высокоблагородию Марии Ивановне Гоголь.
В Полтаве. Оттуда в д<еревню> Василевку.

### 1289. Е. В. Гоголь

<6 апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

Христос Воскресе, добрая моя Лиза! Отвечаю тебе на твои два письма. Ими я гораздо больше доволен, чем всеми твоими прежними письмами, хотя в них заключается грустное известие о смерти Прасковьи Ивановны Раевской, которой безмятежная и чистая душа уже ликует теперь на небесах. Не грусти о ней, но молись, чтобы и она помолилась о тебе потом на небесах. Известие твое о бедственной судьбе твоей крестницы также трогательно. Но зачем же ты не возьмешь ее к себе? Или места нет в доме, что ли? И зачем тебе уступать свою комнату? Можно особенно определить для этого комнату и назвать ее просто детскою, потому что, Бог весть, может быть, опять отыщется какая-нибудь сиротка, которой негде приютиться на свете. Прежде я тебе отсоветовал это единственно потому, что ты была немножко ветрена и глядела на это занятие как на игрушку. Теперь, когда ты глядишь на это как на христианскую обязанность, — другое[1] дело. А о невозможности содержать не стоит говорить, эти слова — пустяки: девочка немного съест и немного сносит платья. Одевать ее можно очень просто; чем проще, тем лучше. Воспитывать тоже можно очень просто. Нужно только, чтобы она была добра душой и сердцем, хозяйка, услужлива, приветлива, ласкова, как ласточка, и готова на всякую работу и труд как для себя, так и для других. По-моему, я бы не отдавал и в институт, потому что дома можно лучше выучиться всему тому, что нужно для девушки для того, чтобы сделаться хорошей хозяйкой, хорошей женой и хорошей матерью. Девушке бедной вовсе не нужны те таланты, которые приобретаются для того, чтобы блистать в обществе. Иначе она себе не сыщет и мужа, потому что мужчины теперь сделались сметливей и начинают выбирать себе просто добрых хозяек. А потому больше всего старайся возлагать маленькие порученности по домоводству. Они найдутся и для ребенка. В домашнем быту есть каждому кое-что по силам. (Лучше такие избирать занятья по этой части, которые бы заставляли девочку

[1] совсем другое

поболее двигаться на воздухе. Это будет полезнее для здоровья да и для ней самой приятнее.) Что же касается до ученья, то не делай из этого ничего педантского и не заставляй долго сидеть за книгой: напротив, реже сколько можно. Старайся лучше всё полезное внушать посредством рассказов; это будет гораздо действительнее. Прочитай прежде сама, что найдешь нужным для ребенка, и потом подумай о том, как бы рассказать ему таким образом, как самую занимательную сказку, так, чтобы твой урок был ему как бы в награду. Поверь, что это будет так нравиться детям, что они будут приступать к тебе ежеминутно с просьбой рассказать что-нибудь, и[1] посредством этого ты можешь[2] внушить в немного времени много того, чего в целые годы не внушат учителя. Ум[3] твоей воспитанницы будет чрез это гораздо больше развит, чем у той, которая выходит из института. Поэтому я тебе советую читать самой особенно такие книги, из которых можно извлечь что-нибудь хорошее для детей по части истории, путешествий по разным землям, по части естественной истории и вообще всего того, что знакомит с мудростью творений Божьих. Из повестей избирай[4] в свои рассказы такие, где изображено, как сделалась какая-нибудь девочка отличною хозяйкой и заслужила от всех похвалу, как привела себя в возможность делать всем добро и всюду благотворить. Всё это будет и для тебя гораздо приятнее, и для твоих воспитанниц, которых ты сможешь без труда учить разом всех, потому что, как только они почувствуют приятность твоих рассказов, то обсядут тебя кучкой и не сведут с тебя глаз. Не говори им только, что это урок, но что это рассказ и повесть им в награду за исправность, услужливость, прилежанье и внимательность. Воспитанье производится очень легко, если только хоть сколько-нибудь прежде воспитает себя тот[5], который воспитывает других. Уже достаточно присутствовать[6] только в обществе воспитанных и добросердечных людей, чтобы от них нечувствительно набраться и себе самому того же. Я[7] поместил тебя к Прасковье Ивановне совсем не затем, чтобы чему-нибудь выучиться, но чтобы нечувствительно сделаться и самой доброю, находясь[8] ежеминутно

[1] так что
[2] можешь им
[3] И ум
[4] вы<бирай>
[5] тот самый
[6] быть
[7] Когда я
[8] бу<дучи>

окруженной кроткими[1] и незлобивыми людьми, тогда как если бы ты осталась тогда в доме, ты бы еще более раздражилась в характере от беспрестанных ссор и споров с сестрой. Но,[2] живя там и видя пред собой беспрестанно светлое, исполненное доброты лицо Прасковьи Ивановны, ты и сама стала нечувствительно выражать на лице своем больше светлости и спокойствия. Так[3] достаточно даже и немного времени пробыть в той комнате, где приуготовляются ароматы, чтобы пахнуть потом и самой. Итак, будь светла и добра, как Прасковья Ивановна; умей только привязать к себе воспитанниц своих так, чтобы они любили тебя без памяти, и они воспитаются сами собою. Тебя же Бог не обидел умом, а потому ты еще более можешь сделать, если только наполнишь свой ум таким запасом, который будет пригоден в рассказы детям. Чего нельзя передать тому, кто нас любит? Чего не примет от нас тот,[4] кто нас любит? Путем любви можно всё передать человеку. Но довольно об этом предмете. Обратимся к другому. Я тебя пожурил за неумение вести аккуратно счет и в то же время[5] дал промах сам, счевши за два года наместо одного, так что, наместо десяти, у меня вышло почти двадцать тысяч. Пожалуста, сверь хорошенько за весь год, то есть подведи точный итог всему расходу и всему приходу в продолжение года. У меня двух месяцев недостает. Насчет ведения приходов и расходов прочитай еще раз всё, что ни было мною писано в письмах. Статья эта вовсе не маловажная, и от нее зависит много всяких улучшений и возможностей умней[6] распоряжаться во всем. От упреков моих не приходи в сокрушение: ты видишь — я сегодня попрекну, завтра похвалю. Таков уж человек; в нем пребывает рядом одно с другим: и то, что достойно похвалы, и то, что достойно порицанья. Хотя я тебе кажусь гораздо совершеннее тебя, но во мне также пребывают они рядом, а потому я не смущаюсь ни от какого упрека, но благодарю за него, потому что он заставляет меня построже взглянуть на себя. Но покаместь довольно. Обними за меня обеих сестер. Христос с тобой! Пиши чаще и больше.

Тв<ой> б<рат>.

<*На обороте:*>

Доброй сестре моей Елисавете.

[1] такими кроткими
[2] А между тем
[3] Всё равно
[4] он
[5] в то же самое время
[6] ра<зумней>

## 1290. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

<22–23 марта 1847. Москва>
1847. Марта 22 дня. Москва.

Пишу к тебе за 2 часа до нашей Воскресной полночи. Надеюсь, что ты уже получил те мои письма, в которых я говорил тебе о твоей книге, и деньги, в одном из них посланные за книгу. Весьма благодарен тебе за то письмо, в котором ты высказал мысли свои о моем пристрастии. Ты укоряешь меня в прежней моей неискренности насчет тебя, а сам относительно ко мне сделался искренним только в отплату за мою искренность. Но и за то я тебе очень, очень благодарен. Твое замечание весьма справедливо. Пристрастие мое проистекает во мне от избытка чувства над разумом. Надеюсь, что сила высшая, всеобнимающая, мне поможет победить слепоту чувства, — и ни о чем я теперь относительно себя не молю так Бога, чтоб Он успокоил чувство мое и прояснил мысль мою. Действие этой молитвы я уже в себе заметил и питаю надежду на исправление. Особенно в течение публичных лекций моих я испытал на себе это; но тут другие препятствия — самолюбие, питаемое во мне всеми моими слушателями. Вот гидра, с которою надобно бороться беспрерывно. Сломишь одну голову, вырастают сотни. Ух как трудно! Просто отчаяние берет. Тут уж решительно сам ничего не можешь сделать: вот здесь-то сам пропал совершенно. Да и нельзя: не в природе человека против себя действовать, не в природе нашей налагать на себя руку. Самоубийство — сумасшествие. Вот тут-то без высшей силы ни шагу не ступишь вперед. Коль она не поможет, никто не поможет. Последнее замечание и тебе необходимо. Ты менее грешен в этом, чем я, потому что ты имел более славы, чем я. Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. Потому в тебе и должно быть его больше, чем во мне. Но на всякого своя доля. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда так не бывает чудовищно, как в соединении с верою. В искусстве, в науке, во всяком деле человеческом оно может значить и принести плод даже, а в вере оно уродство. Но несмотря на то, тут выйдет прок. Тебе надобно было высказаться. Книга твоя проистекла все-таки из доброго и чистого источника, а что из доброго источника проистекает, то непременно к добру и приведет. Последнее письмо твое еще более убедило меня в этом. Ты обидел Погодина. Обидевший обыкновенно не любит обиженного, но ты теперь-то и начинаешь любить его. В добрый час! Теперь, конечно, ты можешь быть ему

полезен. Но, мне кажется, ты должен публично сознаться в том, что его обидел. Ты говоришь, что и забыл о словах оскорбительных, какие были в письмах твоих о Погодине, потому что был занят чем-то важнейшим. Да разве о таких вещах забывают, и что же может быть этого важнее?! Тут же ты читаешь урок: слово гнило да не исходит из уст ваших! — а сам, говоря о человеке близком, сказал такое слово, которое забыл. Сказать человеку, что он 30 лет работал, как муравей, по пустякам и что ни один человек не сказал ему за то спасибо, сказать такую неправду и забыть еще, что сказал, — все это у тебя нипочем. Ты не встретил ни одного признательного юноши: ну да что же делать, если ты не встретил? Еще Погодин виноват, что печатал многие материалы литературные, что радовался всяким строкам великого человека. Как решить о великом человеке: какая строка дорога? какая нет? Если бы иная и сбавила величия, не мешает. Все в человеке великом поучительно, и потому не беда, если Погодин печатал и то, что тебе кажется пустяком, а что другому не покажется. Но довольно о том. Ты написал Погодину нежное, дружелюбное письмо. Теперь, когда ты полюбил его, говори ему о его недостатках, и теплое слово твое, конечно, подействует лучше, нежели черствые выходки в твоих письмах и надписях.

Много явилось статей о твоей книге. Петербургских я почти не читал, за исключением статьи Белинского в «Современнике». Он на тебя злится за книгу — и только. Бедный Белинский в злой чахотке. В Петербурге все тебя ругали, за исключ<ением> Булгарина, который обрадовался случаю оправдаться и сказал: «Вот видите! ведь я правду говорил, что сочинения Гоголя никуда не годятся. Вот он и сам то же говорит». Здесь вышло две статьи. Одна в «Листке», Григорьева, с сочувствием к тебе. Другая, самая сильная статья против тебя из всего, до сих пор напечатанного, статья Павлова. Она возбудила во многих сочувствие, и много об ней говорят. Все статьи московские к тебе посылаю по почте. Может быть, они вызовут тебя к ответу. Павлов печатает ряд писем и разбирает всю книгу твою по косточкам. Может быть, и я скажу свое слово, когда переслушаю всех.

Главное справедливое обвинение против тебя следующее: зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? зачем ты пренебрег даром Божиим? В самом деле, ведь талант дан тебе был от Бога. Ты развил его, ты не скрыл его в землю. За что же пренебрегать тем? Ты таким пренебрежением оскорбляешь и Бога, оскорбляешь и людей, которые в тебе любовались этим талантом и его ценили. Как хочешь, это внушение гордости личной,

гордости духовной, против которой ты сам же говоришь на последних страницах твоей книги. Возвратись-ка опять к твоей художественной деятельности. Принеси ей опять твои обновленные силы. Твой комический талант еще так нужен в нашей России, и нужен именно против того врага, с которым ты борешься. Конечно, прежде ты иногда шалил им. Но эти шалости понятны в поэте нашей эпохи. У Гомера в «Илиаде» боги ведут себя всегда чрезвычайно дурно, бранятся и дерутся, когда люди предаются злобе, гневу и терзают друг друга. Боги греческие — поэты или поэзия. Так и поэзия ведет себя дурно, дерется и бранится, когда у людей скверно идет дело. Таков Аристофан. Таков был и ты. Твоя поэзия также дралась, ругалась, шалила, как боги греческие, как Юнона, Марс, Венера. Но ты мог бы теперь высокую комедию, всю силу смеха, которым ты одарен, обратить на самого дьявола. Раз случилось мне говорить с одним русским, богомольным странником, который собирался в Иерусалим и был у меня. Звали его Симеон Петрович. Рыженький старичок. У меня записана в книге вся его беседа, но есть в ней особенно одни слова, которые тебе принадлежат как комику. Выписываю из моей книги: «Весьма иронически и всегда с насмешкой говорил он о дьяволе, называя его дураком: "В яме сидит, дурак, сам и хочет, чтобы и другие туда же засели. Прямой дурак!"» Вот мысль русского и христианского комика: дьявол первый дурак в свете, и над ним надобно смеяться. Смейся, смейся над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен. Ведь в самом деле, все глупости людей от него. Показывай же людям, как он их путает, как они от него глупеют, мелеют, как и великое он у них отнимает! Ведь это запас неистощимый для комика русского! Ведь даже не одна Россия, но весь мир может войти в твою комедию. Ты пишешь ко мне, что ты путем разума, путем скорее протестантским, дошел до Христа: итак, если разум для тебя во Христе, то неразумие и вся глупость должны быть в человекоубийце, во враге Его. Итак, преследуй врага твоим неистощимым, чудным хохотом, и ты совершишь доброе дело людям в пользу вечного разума, который во Христе. Христос растворит твое сердце любовию, которая внушит тебе и высокие создания. Перед тем, как писать к тебе, я прочел опять твое «Светлое Воскресенье». Во имя Его, — и вот уже гремит оно по Москве, — прошу тебя: возвратись к искусству. Не заставь людей в России говорить, что Церковь и вера отнимают у нее художников и поэтов. Спешу к заутрене. Обнимаю тебя. Христос Воскресе!

Твой С. Шевырев.

<23 марта>

К матери твоей отослал 2 100 р<ублей> асс<игнациями> из денег, выручен<ных> за сочинения; а после вложу из «Мертвых душ», когда накопятся. К сестре твоей письмо отослал. Иннокентия проповедей нет: все издание истощилось.

В день праздника получил письмо твое, которое было для меня истинным подарком. Тут вложено и письмо к Малиновскому. Исполню, исполню твое желание. Буду писать к тебе чаще и пришлю тебе подробный отчет о всех толках, касающихся до твоей книги. Я чувствую теперь большую потребность писать к тебе. Каждое письмо твое еще более ее умножает во мне.

### 1291. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

<17–24 марта 1847. Москва>

Марта 17. 1847. Москва.

Сейчас получил письмо твое, любезный Николай Васильевич, и отвечаю тебе, утешенный, умиленный. У меня отлегло сердце, развязались руки. До сих пор никак не мог я собраться с духом, чтоб писать к тебе о твоей книге; боялся больше всего, чтоб ты не приписал моего мнения растревоженной личности. С чего же начну теперь — все, оседавшее долго на дно сердца, просится наружу. Не ищи порядка, не ищи обдуманности; только чтоб не пропустить ничего нужного.

В исполнение твоего желания скажу тебе прежде всего, как я получил твое письмо. Ныне страстной понедельник. Я только что возвратился от обедни и стал пить чай. Передо мной сидел босняк, ездивший к царю просить о покровительстве Православной Церкви, угнетенной турками. Я говорил с ним, а между тем был в раздумье, говеть или отложить до лета, потому что теперь неспокоен духом и слишком стеснен обстоятельствами. Ты не можешь себе представить, сколько удовольствия доставило мне письмо твое. Я проводил скорее гостя и начал его перечитывать. Решение говеть — вот первые его плоды.

Книгу твою я увидел в первый раз 10 января. Мне указали прежде всего места, которые касаются до меня. Огорчен был я до глубины сердца: как — *30 лет я трудился, и ни один юноша не говорит мне будто спасибо, и ни одного юношу не подвигнул я будто ни к какому добру?* Я готов был плакать. Мы ехали тогда с Шевыревым на бал к Чертковым. В этом духе, под шумок музыки, между тем как сердце обливалось кровью, говорил я о книге с Лизаветой Григорьевной. Лишь только воротился домой, во втором

часу ночи, принялся читать книгу. Прочел «Завещание» — испугался, продолжал чтение — задумывался, смеялся, соглашался и нет. На другой день поутру прочел все разом, и впечатление осталось совершенно мирное и гармоническое, так что я был сам поражен такою внезапною переменой. Ни малейшего неприятного чувства, огорчения не нашлось. Тотчас написал об этом Лизавете Григорьевне и Шевыреву, которые были одни свидетелями моего волнения. Первые эти минуты почитаю я удивительными, священными, и воспоминание об них теперь еще доставляет мне удовольствие. Ну как ужасное волнение (причины его особенные, см. ниже) могло улечься вдруг, так что и следа не видать! Такое действие послужило для меня доказательством, что книга, несмотря на свои недостатки и странности, написана искренно, от души, с добрым намерением.

В разговорах с приятелями, при случаях, после, я передавал это, но вообще был холоден, разбирал с ними сочинение по частям, большею частию был недоволен, сетовал за себя, но не сердцем, а умом, и отстаивал только искренность, приписывая все нехорошее и странное болезненному душевному расстройству[1].

[1] *Далее в черновой редакции:* а расстройства первоначального, далекого, от тебя самого потаенного, причиною — полагал и теперь полагаю — гордость. На эту уду поймал тебя злой дух, принявший вид ангела светла. Твое уединение (вспомни, что и Спасителя искушал он в пустыни) помогло ему много, и ум у тебя начал заходить за разум. К тому же и характер скрытный. Бревна в своем глазу мы не видим, но видим ясно сучек у ближнего. Это есть великая истина, в которой я убежен глубоко, и вот почему письмо твое после кончины Лизы с обнаружением некоторых моих пороков я счел благодеянием, облил его несколько раз слезами и нарочно, стараясь преодолеть свое самолюбие, читал его некоторым из моих, считающих меня совершенным человеком, читал при случае врагу Строганову и проч. Так и писал к тебе, и просил убедительно говорить мне, что есть именно дурного. Свидетель Бог, что говорил истину, и желаю исправиться. Так писал тебе и в прошлом году, кажется — из Теплица. Для чего же тебе поносить и ругать меня публично, с какою целию? Если б я не слушал тебя, то ты мог бы рассудить (справедливо или нет): надо ж де его наказать и вразумить перед всеми... не лучше ли он так послушает. Но оставим это. Я заклинаю тебя всем для тебя священным, расскажи мне, объясни, что ты именно во всех моих поступках, словах, сочинениях находишь порочного, предосудительного. Давно, давно считаю я такую откровенность первым признаком дружбы истинной и высокой; недавно убедился, что ценить такую дружбу могут немногие, и положил хранение устом, — но за себя в этом отношении более, чем в ином, ручаюсь. Всякий совет приму к сердцу.

О каком беспамятстве ты еще пишешь — ей-Богу, не понимаю. Где я *чуть-чуть не был причиной страшного события, которое отравило бы на все время мою жизнь?* Умоляю тебя — объясни. Я трепещу всем сердцем.

24-е марта

Продолжаю, окончив говение.

Самое ясное и осязательное доказательство этого расстройства и вместе искренности книги есть «Завещание». Разберем его, сколько удержала память (книги нет дома).

1. «Не хоронить до...» Но ты мог и можешь умереть на море, в чужих краях, в Азии. Для чего же нам здесь сказывать это желание? Это раз, а потом: как требовать или даже предполагать, чтоб вся Россия прочла твое завещание, чтоб не могла отказываться незнанием (пред кем, для чего?). Не лучше ли просто носить, хоть на кресте, записку: «Прошу не хоронить меня до...»

2. «Не ставить памятника...» Захотят поставить — поставят, и для себя, а не для тебя. Разве памятники ставят для усопших? На что им они? «А сделаться лучше». Кто делается лучше, тот делается для себя, для Христа, а для другого никто не делывался лучше, особенно для незнакомого автора. И друзьям мудрено тут рассчитывать. Может быть, даже есть нечто и грешное в том, чтобы делаться лучше по завещанию, вместо памятника!

3. «Не плакать». У кого есть слезы, тот их выльет, а у кого нет, тому и говорить нечего. Слезы полезны плачущему. «Не плакать даже и об лучшем муже». Что за сличения, сравнения? Ты умрешь ныне, другой завтра, как тут соединить рассуждения!

4. О портрете. Начать писать и вспомнить... Это фигура, оборот автора, а не умирающего человека. Дурная литография не помешает знаменитой гравюре, как Иорданову «Преображению» тысяча прежних. Перепечатывать никто не думал и никто не имеет права. В одно время с Москвою вышел в Харькове при «Молодике» совершенно другой портрет. Мне недавно сказали, что ты был взбешен помещением портрета в «Москвитянине». Я не мог никак этого предполагать. Я думал даже сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое. Никакой другой мысли не было и не могло быть. Спрашиваться в России никогда не было в обычае. Зачем я как близкий человек не спросился? — не подумал, а может быть, вместе и не хотел поставить тебя в щекотливое положение дозволять свой портрет. Вреда твоей собственности не произошло, в этом я уверяю.

Перечел еще раз письмо твое. Вижу, что ты теперь гораздо спокойнее и способнее рассуждать. Слава Богу, слава Богу! Но ты был очень расстроен, сам не примечая того. Такое расстройство случается с нами, людьми, работающими головою, от разных причин, более или менее важных, даже физических, от напряжения, от занятий и т. п.

Впрочем, если ты сердился и сердишься, то извини меня. Пошлю пока написанное. Остальное с следующей почтой. Обнимаю тебя крепко. Целую горячо.

Твой М. Погодин.

## 1292. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

*Отрывок*

<Март 1847>

Да кто же вас заставлял водить читателя в кухню?

## 1293. А. О. Россету

Неаполь. Апреля 15 <н. ст. 1847>.

Не знаю, как благодарить вас, добрейший мой Аркадий Осипович, за ваше письмо и сообщенье разных мнений. Если бы мне почаще случалось получать такие письма, даже без сопровожденья этого доброго вашего участия и любви ко мне, я бы давно уже поумнел гораздо больше, чем я есмь теперь. Но что делать, если ничем и никак не могу я до сих пор никого уверить[1], что мне слишком нужны всякие толки обо мне, что эта единственная школа моя, что[2] есть, наконец, один такой человек, которому следует говорить правду, как бы она жестка ни была, и которому нужны даже те грубые, жесткие слова, которые умеют произносить только ненависть и нелюбовь. Одна из причин печатания моих писем была и та[3], чтобы поучиться, а не поучить. А так как русского человека по тех пор не заставишь говорить, покуда не рассердишь его и не выведешь совершенно из терпения, то я оставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое. Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все[4] сведения, которые я приобрел доселе с неимоверным трудом[5], мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть. Вот почему я с такою жадностью хочу знать

[1] если ничем и никак нельзя мне уверить
[2] и что
[3] также и та
[4] Все эти
[5] хотя я изо всех сил старался приобретать

толки всех людей о моей нынешней книге, не выключая и лакеев. Собственно не ради книги моей, но ради того, что в суждении о ней высказывается сам человек, произносящий суждение. Мне вдруг видится в этих суждениях, что такое он сам, на какой степени своего душевного образованья или состоянья стоит, как проста, добра или как невежественна или как развращена его природа. Книга моя в некотором отношении пробный оселок[1], и поверьте, что ни на какой другой книге вы не пощупали бы в нынешнее время так удовлетворительно, что такое нынешний русский человек, как на этой. Не скрою, что я хотел произвести ею вдруг и скоро благодетельное действие на некоторых недугующих, что я ожидал даже большего количества толков в мою пользу[2], чем как они теперь, что мне тяжело даже было услышать многое, и даже очень тяжело. Но как я благодарю теперь Бога, что случилось так, а не иначе! Я заставлен почти невольно взглянуть гораздо строже на самого на себя, я имею теперь средство[3] взглянуть гораздо верней и ближе на людей, и я, наконец, приведен в возможность уметь взглянуть на них лучше. Что же касается до того, что при этом деле пострадала моя личность (я должен вам признаться, что доныне горю от стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во многих местах, почти à la Хлестаков), то нужно чем-нибудь пожертвовать. Мне также нужна публичная оплеуха и даже, может быть, более, чем кому-либо другому. Но дело в том, что обстоятельствами нужно пользоваться: Бог высыпал вдруг целую груду сокровищ, их нужно подбирать обеими руками. Если вы хотите сделать мне истинно<е> добро, какое способен делать христианин, подбирайте для меня эти сокровища, где найдете. Что вам стоит понемногу, в виде журнала, записывать всякий день хотя, положим, в таких словах: «Сегодня я услышал вот какое мнение; говорил его вот какой человек; жизни он следующей; характера следующего (словом, в беглых чертах портрет его); если ж он незнакомец, то: жизни его я не знаю, но думаю, что он вот что, с вида же он казист и приличен (или неприличен); держит руку вот как; сморкается вот как; нюхает табак вот как». Словом, не пропуская ничего того, что видит глаз, от вещей крупных до мелочей. Поверьте, что это будет совсем не скучно. Тут не нужно ни плана, ни порядка, просто две-три строчки перед тем, как идти умываться. Я даже уверен, что это будет вам приятно, потому что вас будет

[1] камень
[2] я ожидал даже толков более в мою пользу
[3] возможность

услаждать постоянно мысль, что вы это делаете для человека, вас очень любящего, которому это будет так радостно[1], как радостно[2] ребенку получать перед праздником наилюбимейшую игрушку. Что ж делать, если эта, по-видимому, игрушка в глазах других для меня совсем не игрушка; это в такой степени не игрушка, что если я не наберусь в достаточном количестве этих игрушек, у меня в «Мертвых душах» может высунуться на место людей мой собствен<ный> нос, и покажется именно всё то, что вам неприятно было встретить в моей книге. Поверьте, что без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной[3] простоты, которая должна необходимо присутствовать[4] в других частях «М<ертвых> д<уш>», дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой. Вы не знаете того, какой большой крюк нужно[5] сделать для того, чтобы достигнуть этой простоты. Вы не знаете того, как высоко стоит простота. Об этом предмете лучше и не рассуждать, а просто помогите.

Что касается до печатания писем, то мое решенье[6] вот какое. Издавать ради непропущенных писем новый том, как советует Плетнев, мне невозможно; у меня есть занятия, о которых не нужно позабывать, а время у меня всё рассчитано; к тому ж появление вторично сочиненья в том же роде не произведет даже и шума. Мне нужно только, чтобы Вяземский снабдил своими замечаниями и поправками. Я потом пересмотрю и выправлю их так, чтобы и без высших рассмотрений простой цензор их пропустил. Поверьте, что всё можно сказать, если только сумеешь умно сказать. Неуспех самых великодушных и благодетельных действий происходит собственно от неразумия нашего. Именно оттого, что беспрестанно позабываем умную пословицу: «Тех же щей, да пожиже влей». Если на место самоуверенного и гордого совета, произносимого с тоном человека, не думающего, что он может ошибиться, явится просто скромное мнение[7], — та же мысль пойдет в ход и даже будет принята многими из читающих. Итак, что просто не у места, то выбросится; что умно, то скажется в другом виде; где высунулась собственная моя личность, там

[1] приятно
[2] приятно
[3] высокой
[4] быть
[5] мне нужно
[6] намерение
[7] мнение человека, чувствующего, что ему самому нужно многому учиться, изъявленного с чувством собственной неважности чина

не только ей щелчка, но даже вставится такое место, которое и прежнему, уже напечатанному, сообщит некоторый тон умеренности. Но, во всяком случае, эти письма нужно включить в книгу, а не издавать отдельно. Они все-таки возвысят ее[1] значение, напомнив русскому о России, а не о мне. Не нужно, чтобы эта книга была заброшена. Как она ни исполнена недостатков, но она печаталась[2] не для впечатлений минутных. Ее нужно перечитать несколько раз не только тем, которые ее совсем не поняли, но даже и тем, которые поняли ее лучше других. Там есть несколько[3] душевных тайн, которые не вдруг постигаются. Много принимается совсем не в том смысле, в каком хотел я сказать, даже и людьми весьма умными.[4] Хорошо, если бы издание в полном виде могло быть отпечатано к сентябрю.[5] Книга разойдется, потому что можно кое<-что> выпустить, споспешествующее к обращению надлежащему (сколько-нибудь) на нее взгляда. Письмо это дайте прочесть Плетневу. Вы меня благодарите за то, что я вам доставил случай (хлопотами о моей книге) узнать получше прекрасную душу Плетнева. А я вас благодарю также за сообщение некоторых известий о нем, которые заставили меня полюбить его еще более, чем когда-либо прежде, и заставили меня дорожить еще более его дружбой, которую мне послал Бог в виде какого-то прекрасного, тихого утешения, очень нужного в эту эпоху. Я не знаю, с какой бы радостью я теперь обнял его и чего бы не дал за то, чтобы увидать его, поговорить с ним и обнять его лично. Затем, обнимая и его и вас, бесценный мой Ар<кадий> Осипович, и несколько раз благодаря вас за ваши милые строки, остаюсь ваш

Г<оголь>.

Не могу постигнуть, отчего не пришла ко мне до сих пор ни одна из книг, которые, вы говорите, мне посланы. Всем прочим привозят курьеры всё, даже крупу гречневую, вязигу и икру на кулебяки, а мне ни газетного листочка.

Не позабудьте уведомить <о> получении этого письма. Адресуйте отныне всё во Франкфурт, на имя Жуковского. А ему на имя посольства нашего.

[1] книги
[2] [соста<влялась>] издавалась
[3] много
[4] *Далее начато:* [Итак, вот] Итак, второе
[5] в сентябре

<*На обороте:*>

S. Pétersbourg. Russie.
Его высокоблагородию Аркадию Осиповичу Россети.
В С. Петербург. У Пантелеймона. В доме Быкова.

### 1294. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

<22–25 марта 1847. Калуга>

Калуга, 22-го марта 1847 года.

Христос Воскресе! любезный Николай Васильевич. Сегодня утром получила ваше письмо, от 28-го февраля, из Неаполя; вы не даете мне адреса, и я все пишу в Рим, в посольство. Там уже два моих письма вас ждут, после появления вашей переписки, кроме того, которое вы получили. Здоровье мое плохо... В конце мая ожидаю родов своих, и тут решится, чего мне ждать от будущности. Я уже раз было совсем отправилась на тот свет и была в совершенном беспамятстве. Не знаю, что теперь Бог даст.

25-го марта.

День от дня не легче, любезный Николай Васильевич, — писать, читать решительно не могу; временами слабость мыслей невыразима. Хотелось бы вам услужить, но не могу. Вчера мы говорили с братом, что вам бы непременно нужно приехать хотя на шесть месяцев — пожить в губернском городе, что именно ничего нет лучше, как быть в коротких сношениях с губернаторшей. Живя в доме, вы увидели бы весь ход машины, и весь бы мир этот открылся вам во всей широте и наготе... Даже три месяца достаточны. Теперь мне уже самой многое не является в тех разительных чертах, как вначале, когда весь этот быт был нов. Странно довольно, что лет 50 тому назад общий ход дел был хуже, т. е. резче были беспорядки, но были люди строгой, высокой нравственности или люди очень умные и вообще более русские; а теперь как-то все обмельчало и оскудело. Меня уверяют, что это оскудение, нравственное особенно, сделалось заметно после войны 1812 года, — говорил мне это один очень умный священник, здесь в Калуге, — то, что прежде многие говорили.

Описать вам отдельные лица я теперь не могу, потому что при болезненном состоянии тела исчезла веселость ума, которая водилась; притом смешная и резкая сторона лиц изглаживается, когда их видишь часто, остается только нечто противное на душе от прикосновения с ними. Есть странные нравственные явления, но в подробности я не буду их описывать.

Алексей Алексеевич Т***, главный врач Хлюстинской больницы, женился недавно в Петербурге на воспитаннице воспитательного дома, хорошей, доброй, бедной и молоденькой девушке. Все его хвалят, любят и в больнице им очень довольны все. Человек он очень искательный, всякий праздник явится непременно ко мне в белом галстухе, с огромным бантом, в шведских перчатках, руку прижимает к сердцу и говорит, низко кланяясь: «Ваше Превосходительство, не смел, ей-Богу, не смел вас беспокоить, приехал узнать о здоровьи, но люди доложили». От меня едет ко всем властям и говорит о нравственности много и хорошо, жену обожает, о семейном счастьи говорит самым трогательным образом и в самом деле хороший муж, отец и хозяин; добр очень до людей. Показалось мне странно, что у него Гамбсова мебель вся вразброс по тесным комнатам его казенной квартиры и карета на плоских рессорах, низенькая. Я спросила инспектора врачебной управы, откуда такие богатства? Он мне отвечал с удивлением: «Да разве вы не знаете, что он был 20 лет на содержании у старухи С — виной, когда был врачом в Боровске; за свою верную службу получил капитал; она умерла, он и зажил». Я сказала: «Да ведь это все-таки подлость». «Конечно, сказал Быховский (хохол, очень умный и прекрасный человек), — но Т—кий прекрасный человек, несмотря на 20-тилетнюю подлость». Как это вместе все соединяется?!

Вот еще факт любопытный. Хфилипп Иванович Х***, но, впрочем, он теперь обер-прокурор в 7-м департаменте в Москве, и Калуга в 7-м департаменте. Сидит он там с сенатором Бегичевым, а Бегичев ревизовал нашу губернию, когда Хфилипп Иванович был председателем гражданской палаты, и представил его в весьма черных красках, а с тех пор время ушло, и Х*** сидит у него на спине, и будет ему делать неприятности, на что он мастер, и нашему губернатору будет *наклеивать носы*, как говорят в провинциях. Стоило после того посылать сенатора ревизовать палату, и какого мнения Панин о честности. Результат такого назначения пагубен для губернии, потому что это укрепляет людей в той мысли, что надобно быть пройдохой, и что в самом деле честные и прямые люди умирают с голоду в мелких чинах или, если имеют состояние, как, например, Николай Михайлович, то оставляют службу, вследствие неприятностей от министра, которому представят вас мошенники начальники департаментов как беспокойного человека, неуживчивого и гонящего самых дельных чиновников. А делец всегда вор и бестия в губернии…

Женщины молодого поколения, т. е. те, которые говорят по-французски, вообще дрянь. Читают романы Сю, Дюма в переводах и набирают самых глупых мыслей. Целый день рыскают одна к другой, играют в преферанс с утра. Есть очень бедные, которые на счету львиц, потому что не дурны собой; эти дуры не занимаются хозяйством, ни детьми, ни работой, а туда же читают над окошечком низенького деревянного домика и выжидают какого-нибудь льва. Упрямство у них удивительное; они убеждены, что вся премудрость черпается в фельетонах, и многие мне отвечали: «неужели мы вам поверим, что лучше читать проповеди, нежели романы французские, а куда в свет уйдешь с проповедями! Для разговора нужно знать „Mystères de Paris" и „Вечного жида"». Вообще утрачивается от этого искусство наливок, солений и варений, и все занятия прошлого женского поколения. Посты многие из этих дам еще соблюдают, но не знаю, по какой связи в мыслях; ни от одной толку не добьешься на этот счет. А знаете ли, что было в Москве Великим постом? В пользу бедных выдумали катанье по городу и глисады с гор с факелами. Народ толпится по улицам и вокруг гор, и говорит: «хорошо придумали господа: барин сядет, да к себе барыню посадит на колени, а там ужинают, — вот их и пост». Князь Голицын, Сергей Михайлович, писал об этом генерал-губернатору; но так как его супруга, председательница общества благотворительности, то письмо князя Сергея Михайловича осталось без внимания. Говорят, что преосв<ященный> Филарет тоже просил кн<язя> Щербатова отменить эти катанья, которые Константин Сергеевич называет «богоугодным коверканьем». Вспомните, что Тихон Задонский тому 70 лет, в Воронеже, на масляница, остановил бесчинствующий народ одним словом. А преосв<ященого> Филарета не послушался высший круг, бесчинствующий из ложных понятий о благотворительности и просвещении! На что-де нам, людям просвещенным, пост и соблюдение церковных постановлений! И все искупается словами: «в пользу бедных». Вот пагубный пример для губерний!

Пост дело весьма важное не для отдельных лиц, но как гражданское обуздание для низшего народа; известно, что откупщики пируют все по постам.

Письмо это я пишу неделю, потому что в промежутке нашла на меня такая слабость, что не было возможности продолжать, и теперь кое-как дописываю. Не взыщите, что все сбито, без связи и порядка. Связь есть в сущности, потому что все это примыкает к тому, что вижу и слышу ежедневно.

Отчего вся гадость и безнравственность меня более здесь поражает, нежели в Петербурге? Ведь люди не лучше же там? впрочем, мне кажется, что лучше; может быть, я и ошибаюсь.

А. О. Смирнова.

### 1295. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

<4 марта (н. ст.) 1847. Рим — 12 апреля (н. ст.) 1847. Флоренция>

Марта 4, Рим.

Николай Васильевич, обстоятельства, именно отправка книг, плохое здоровье, неимение нисколько денег более, чем сколько мне нужно на поездку и приближение к России, а главное, какая-то апатия, в которой не умею дать отчету самому себе, лишают меня возможности быть в Неаполе. Так, видно, следует. Вместе с этим все заставляет меня писать к вам далеко больше, чем я писал. Прошедшее письмо, может быть, вам не понравилось; если так, вы сделали недоброе дело, что не написали: «не требуют здоровые врача, но болящие». Писавши об Иванове и вообще о художниках, вы предполагали меня выше и сильнее, чем каков я в самом деле; в настоящую минуту не только действовать на других, а дай Бог, чтоб и самому сколько-нибудь с собою управиться. Но творчество нам не дано; сам спокойствия не сотворишь, дано одно — просить Бога, чтоб Он устроил спокойствие души. Дай Бог только, чтоб достало веры и чистоты для искренней просьбы, а там все придет, что следует. Иванову или я что-нибудь сделал, или его душа в минуту сильного борения. Он со мной совершенно посторонний, и я уверен, что если он недоволен мной, то, верно, я виноват. Вы сделали бы истинно христианское дело, написав ему что-нибудь утешительное; мне кажется, что душа его нуждается в подпоре. Сегодня я получил очерки лица покойного Языкова и мне хочется их гравировать, — только слабые очерки: не похожи. При письме, в котором они присланы мне, Галаган пишет следующее, — что я считаю недурным передать вам: «Гоголь произвел здесь необыкновенное движение. Везде говорят о нем. Вся читающая публика за него; все же литераторы против него до ожесточения и говорят, что он доказал этими сочинениями необузданное самолюбие и гордость, и в этом они видят влияние католицизма». Самарин писал только одно, что получил вашу книгу, что благодарит вас, хоть говорит: «сильно хотелось бы поспорить». Не знаю, читали ли вы «Сев<ерную> Пчелу»; если не читали и если вам занимательно знать ее суждение (очень

пошлое, это я говорю без духа партии), напишите, я, выпишу. Вот вам все, что говорят; теперь позвольте же и мне как члену общества говорить вам просто и все, что есть внутри, без оглядки. Не знаю, почему мысль о вашей гордости внутренней запала в меня очень сильно, когда я был в Москве и читал предисловие ко второму изданию «Мертвых Душ». Оттого же, что им сами вы вводите себя в исключение, я никак вам определить не умею. Теперь эта мысль прошла, может быть, оттого, что в уединении душе доступнее стало состояние вашего уединения. Отрывки, помещенные в «Сев<ерной> Пчеле», произвели на меня чувство грустное, именно от обращения к самому себе, но их там очень не много. Они же дали мне как будто бы какое-то право передать вам и то, как подействовало на меня ваше сочинение — «Мертвые Души». Вы этого хотите от всех, потому не отвергнете и меня. В первый раз я прочел его в Дюссельдорфе, и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадностию выставленных характеров не могло, — я восхищался талантом, но как русский был оскорблен до глубины сердца. Дошло дело до Ноздрева; отлегло от сердца. Выставляйте вы мне печальную сторону, разумеется, но самолюбию будет больно читать, да есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй страницы, где вы бросили камень в того, кого ленивый не бьет, — в мужика русского. Прав ли я, не прав ли, вам судить, но у меня так почувствовалось. С душой вашей роднится душа беспрестанно; много ли, всего два-три слова, как девчонка слезла с козел, а душе понятно это. Русский же, то есть русак, невольно восстает против вас, и, когда я прочел, чувство русского, простого русского до того было оскорблено, что я не мог свободно и спокойно сам для себя обсуживать художественность всего сочинения. Один приятель мой, петербургский чиновник, первый своим неподдельным восторгом сблизил меня с красотами «Мертвых Душ», — я прочел еще раз, после читал еще, отчетливее понял, что восхищало меня, но болезненное чувство не истреблялось. Чиновник этот не из средины России, — он родился и взрос в Петербурге, ему не понятны те глупости, какие у нас взрощены с детства. Не браните меня, Николай Васильевич, или, пожалуй, браните, но не сердитесь за то, что я высказываю, как и что во мне было, вам понятно, что я вас не могу не уважать. Оставя уже то, что я много читал, следовательно, не мог не оценить блеска таланта, но я был в последнее время очень близок с Языковым, и прежде с ним сошелся; давно

дружен с Ивановым, поэтому уважение к вам взрощено у меня и другими побочными путями. Со всеми вместе прежде я нападал (все внутри меня и в разговоре о вас) на ошибки против языка; время научило понимать, что, судя о вас, эти нападки мелочь; в книге — дело другое, ну да за то ведь никто, как вы, и указы принимаете. Вот вам, Николай Васильевич, столько искренности, сколько есть на эту минуту, было бы и больше, если бы вся голова не была занята другим делом, которое теперь тоже побуждало меня видеться с вами, чтоб услышать ваше искреннее мнение. Не знаю, не писали ли вам из Москвы, что мы с покойным Языковым хотели издавать журнал, то есть я хотел, а Языков давал мне свое имя и часть денег, весьма значительную. Теперь я один буду, не буду столько непременно, сколько есть этой неопределенности в моем распоряжении. Читая это, никак, пожалуйста, <не принимайте к себе,> смотрите посторонним взглядом, — то есть не думайте, что это предисловие к просьбе о вашем участии. Языков поверял мне ваши понятия об участии в журнале, говорил, как вы упорно не хотели участвовать у Киреевского; после этого, разумеется, я никогда бы не стал и пытаться, потому что не имею ни малейшего права. Несмотря на то, мнение ваше для меня важно и очень важно. Мне хочется составить журнал из чисто оригинальных статей, если только можно, и этим больше, нежели чем-нибудь, высказать его русское направление. В самом направлении очень бы хотелось, и больше бы, чем хотелось, чистоты и безвраждебности, не одной внешней, чтоб только не браниться с лицами, — это нечего и говорить, — но внутренней, какая невольно сказывается, как только начнешь писать. В душе моей я понимаю вполне, что любовь к России не требует и не вызывает вражды с Западом и вообще любовь не влечет за собою ненависти к чему бы то ни было, но что же хотите, когда она вкрадывается? Разумеется, чем больше входишь в себя, уверен я, что чем больше обратишься к Церкви, тем менее будет вражды и тем сильнее укрепится любовь в сердце, на это только и надежда. Вот вам данные для суждения, — прошу вас, не пренебрегите моею просьбою и отвечайте мне, что вы думаете о моем начинании. Если же не хотите передать ваших понятий, тогда напишите, какую-нибудь напишите незначительную строку, хоть только, что вы получили письмо мое, потому что ожидание вашего ответа удержит меня в Риме и будет потом томить. Вы, как сами нездоровый человек, поймете, как это отзывается на нервах, которые в настоящую минуту у меня сильно

не в порядке. Поверьте еще, что, писавши вам о Моллере, я не мог писать иначе; знаю я, что, написавши иначе, я лучше бы представил себя в ваших глазах, но это было бы очень неблагородно и нечестно с моей стороны.

Душевно вас уважающий Ф. Чижов.

12 апр<еля>. Флоренция.

Письмо это, как вы увидите, было совершенно приготовлено к отсылке, неслось на почту; но мне пришло на мысль, — какое право имею я на такую искренность? одним словом — я не знаю вас. Письмо ваше, сегодня мною полученное, развязало мне руки. Не требуйте от меня насильной искренности, но знайте то, что такое требование, какое я прочел в сегодняшнем письме, очень и очень благодетельно. Часто душе надобно бывает излиться. Теперь трудно было бы мне писать к вам, потому что я очень неспокоен. Из Москвы пишут беспрестанно, требуют моего приезда наискорейшего, я частию с ними соглашаюсь. Дело теперь идет о нашем будущем журнале. Каким я его себе представляю, — он был бы очень и очень полезен. Говорить о прекрасном русском не словом, а делом, показать его во всех путях!.. Для этого у меня отысканы кое-кто, кроме всех вам известных; но все страшно, не в отношении ко мне самому, потому что я, другой, третий, мы нужны как орудие. Мне страшно то, что если дело не удастся, тогда оно сильно потеряет в глазах общества. Может быть, и это ничего не значит, и точно ничего не значит в непреложном порядке вещей, но на своем веку все кажется, что следует сделать что-нибудь осязательное для самого себя. Наша молодежь еще сильно незрела; наши зрелые не исключительно писатели; есть уважаемые мною писатели, для которых внешняя оболочка мысли важнее души и самой мысли. Вы знаете всех наших пишущих; я говорю о тех, которых могу считать участниками благородного, по крайней мере теперь, в предначертании, и очень благородного дела. Пугает больше всего то, что говоришь о чистоте, ищешь ее и думаешь быть ее проповедником, — а как заглянешь в себя в глубине уединения и в встречах с светом, — ужасно много червяков, и самых страшных, самых скверных. Одна надежда на Бога; делать надобно, на то Он сотворил; внутреннее побуждение указывает путь. Дай Бог, чтоб он не был ложен.

### 1296. В. А. Жуковскому

Неаполь. 17 апреля <н. ст. 1847>.

Приятное и грустное письмо твое, бесценный друг мой, я получил. Но прежде всего поговорим о моей неаккуратности. Право, я не так неаккуратен сам, сколько неаккуратны обстоятельства и вокруг меня ворочающиеся происшествия. Я, не медля ни мало, вслед за письмом к Убрилю написал другое к тебе, с обстоятельным уведомлением о векселе и с приложением расписки в получении третьей тысячи[1]. Прилагаю, на всякий случай, еще раз расписку, если[2] письмо мое как-нибудь пропало. Но обратимся к сладостно-грустной стороне письма. Разумею высокохристианский подвиг семейства Рейтернов. О, дай Бог многим тем (если не всем), которые тщеславятся православием своим, и истиною Церкви своей, и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель! Я другого ничего не мог придумать в изъявленье моего участия Рейтерну, как послать ему отрывок из Златоуста, который потрудись им изъяснить как-нибудь по-немецки. Выписываю еще, на всякий случай, из Тертуллиана о *воскресении тел*. Мне кажется, истина воскресения тел недостаточно объяснена и признана у лютеран. Статья эта покажется Рейтерну очень усладительной, особенно после прочтения Златоуста. Вот она.

Обнимаю вас всех, милые сердцу моему, и через месяц питаю удовольствие обнять вас лично[3].

<*На обороте:*>

Francfort sur Mein.
Son excellence monsieur Basile de Joukoffsky.
Francfort. Saxenhausen. Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

### 1297. Г. Рейтерну

<17 апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

От Василья Андреевича Жуковского я узнал только недавно[4], что одна из милых дочерей ваших уже не присутствует более с вами в смысле вещественном. Я взял в руки перо с тем, чтобы писать к вам и показать мое участие. Но меня вдруг остановил вопрос: что могу я сказать вам? и чем могу показать свое участие?

[1] части
[2] если что
[3] обниму вас, может быть, лично
[4] теперь

Кто принял с такою высокою радостию[1] созревшего христианина Божье посещение, какие речи можно сказать такому человеку? Ничего не придумал я сделать лучше, как послать вам отрывок из Златоуста. Я уверен, что он придется вам более по сердцу, чем все те слова, какие мог бы я сказать вам. Прощайте. Обнимаю вас от всей души и, если даст Бог, через месяц обниму вас лично.

Передайте душевный поклон мой всему вашему милому семейству.

Весь ваш Гоголь.

<*На обороте:*>
À monsieur
monsieur Reitern.

## 1298. П. А. Плетневу

Апреля 17 <н. ст. 1847. Неаполь>.

От Арк<адия> Осип<овича> Россети я узнал кое-что из тех неприятностей, которые случилось тебе потерпеть от некоторых людей, тебя не знающих и не умеющих ценить. Друг мой, прости им всё. От него же[2] я узнал о том, что ты много натерпелся из-за меня, слушая всякие толки обо мне. Не знаю, как благодарить за доброту твою. Поверь, что умею ценить бесценную дружбу твою теперь более, нежели когда-либо прежде. А толками не смущайся. Говорю тебе откровенно, что я теперь ежеминутно благодарю Бога за то, что книга моя произвела именно эти толки, а не такие, которые были бы в мою пользу. От этих толков я значительно поумнею, как даже и не думают те, которые обо мне толкуют; уже и теперь я заставлен ими гораздо строже взглянуть на самого себя. Без этих толков передо мною не раскрылось бы так общество[3] и люди, которых мне нужно непременно знать;[4] у меня долго еще будет всё невпопад, и язык мой не будет доступен для всех, покуда не узнаю так людей, как мне хочется узнать. Поверь, что без этой книги не было бы на чем испробовать нынешне<го> человека. А проба эта нужна, и в этом отношении книга моя, несмотря на все ее недостатки, сокровище. Ты сам это испытаешь, если будешь на ней пробовать человека. Он от тебя не скроется в своих сокровенных[5] и главнейших помышлениях, и состояние души его

[1] с таким великодушием
[2] От Арк<адия>
[3] и общество
[4] *Далее начато:* иначе
[5] даже в своих сокровенных

выступит перед тобой как раз. А через это самое ты будешь иметь возможность оказать благодеяние мне, тебя любящему, сообщая наблюдения свои, которые многому меня научат. О делах по книге[1] я уже писал от 15 апреля Арк<адию> Ос<иповичу>. Письмо это, вероятно, он уже тебе сообщил. Мне кажется, что ты теперь несколько устал, изнурился от хлопот и дел; тебе нужно освежиться[2]. Удаление летом на дачу или даже в Финляндию не удалит тебя совершенно от того, от чего на время следует удалиться. Мне кажется, ты бы лучше сделал, если бы взял на месяц или на два отпуск за границу и прилетел бы ко мне морем, в семь дней в Остенде. Переезд морем действует удивительно на силы и на дух. Ты бы тогда привез сам статьи, просмотренные[3] князем Вяземским, с его замечаньями, и захватил бы с собою журналы и книги, потому что я до сих пор не получил ни печатного листка. Мы бы о многом переговорили с тобою и перетолковали, съездили бы вместе даже в Лондон. Из Остенде день езды в Лондон и день езды в Париж. Ни экипажей, ни дорожных запасов[4] не нужно; везде пароходы и железные дороги, даже к Жуковскому можно съездить по железной дороге. Мне кажется, что ласки дружбы и родные речи о том, что есть родное душам нашим, много бы тебя освежили, и ты с новой бодростью начал бы полезную свою деятельность по возвращении[5] в Петербург. Но соображайся во всем с твоими собственными обстоятельствами и возможностя<ми>. Как мне ни радостно было бы с тобой свидание, но я бы не хотел его купить гиеною пожертвова<ний>. Будь здоров! Христос с тобой! Напиши на это письмо ответ не медля и адресуя[6] на имя Жуковского. Я подоспею к его получен<ию> во Франкфурт. В Остенде я полагаю пробыть июль и август. Во всяком случае, отныне всё следует присылать на имя Жуковского.

Весь твой Г<оголь>.

*<На обороте:>*

S. Pétersbourg. Russie.

Его Превосходительству ректору С.-Петербур<гского> императорск<ого> университе<та> Петру Александровичу Плетневу.

С. П. Бург. На В<асильевском> о<строве>, в университет.

1 по печ<атанию>
2 освежиться и на время отправиться
3 просмотренные и выправленные
4 ни дорожной возн<и>
5 по приезде
6 адресуя в

## 1299. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

14-го апреля <н. ст.>, Флоренция, 1847 года.

Третьего дня я получил письмо ваше, и тотчас же мне пришло на мысль послать то, что я писал к вам прежде; оно писалось искренно. Желая от меня искренности и вообще писавши ко мне, я как-то ощущаю, вы считаете меня чем-то сильнее и больше, нежели как я есмь. Это я говорю вам не из скромности, а из опасения, что, может быть, передавая себя в минуты не дурные, в самом деле являюсь тогда лучше. В настоящее время и душа и тело у меня в странном состоянии: кажется, здоров и очень здоров, а между тем такая лень, что не хочется ни читать, ни писать, ни даже думать. По внутреннему чувству я уверен, что Церковь могла бы иметь на меня благодатное влияние, хотя и знаю, что я не сформировал себя так, чтоб она делалась для меня необходима просто без суждений о ее необходимости, чтоб я шел в нее, как идут наши простые русские, потому что нельзя же не пойти. Скверное состояние, говоришь одно, то же и думаешь, то же и чувствуешь, на деле является другое, между тем как, положа руку на совесть, сознаешься, что не хочешь обманывать ни говоря, ни думая.

Знаю я, что по различию наших природ мне легче высказывать о себе все, а потому легче писать; у меня все довольно не глубоко; поэтому я не буду сетовать на вас, если и не получу ваших писем. Но знаете ли, что, может быть, без них иногда мне трудно быть совершенно искренним, не оттого, чтоб что-нибудь желало скрыться, а просто не высказывается. Например, мне хотелось бы очень передать вам все подробности о журнале, о его составе, о моих надеждах, о моих желаниях, я думаю, и мог бы принудить себя, но для этого надобно довольно большое усилие, на которое теперь, при постоянных нападках, то из Москвы, то из других мест, — теперь я не способен. Постараюсь улучить время в Венеции, а вы хорошо бы сделали, написавши туда: вы понимаете, что ваши письма сначала просто нужны как свидания людей незнакомых, когда сойдешься, там уже все само выскажется. Я в Венеции остаюсь до 1-го мая, если получу из Москвы непременное требование туда приехать; если же нет, тогда до 15-го, никак не дальше. Назад я не могу воротиться. Какое-то, может быть, и педантское понятие о том, что я, не оправдавши себя необходимостию, не могу тратить ни времени, ни денег, беспрестанно меня мучит, — а на деле ни одна трата не оправдывается ничем. Что хотите? Положительные науки сильно испортили

целость русской природы, — все одно скажу вам — вполне русская жизнь, может быть, и поправит ее.

Если можете подействовать сколько-нибудь на спокойствие души Иванова, сделайте истинно доброе дело. Мне очень грустно вспоминать о том, что я его оставил очень грустным. Только, ради Бога, не говорите ему о нервном расстройстве, потому что и без того сильно мнителен. Каким путем поедете вы во Франкфурт, — нельзя ли тут съехаться? Душевно вас уважающий

Ф. Чижов.

### 1300. А. О. Смирновой

Апреля 20 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Я получил ваши бесценные строчки, моя добрейшая Александра Осиповна. Не бойтесь, я не смущаюсь. Всё, что ни творится относительно меня, творится мне в науку, а потому не смущайтесь и вы и, пожалуста, не верьте никаким рассказам обо мне, кроме разве тех, которые услышите от меня самого. В письме к Аксакову вовсе не было изложено мысли или опасений моих, что общество, дескать, не созрело для моих писем: ее вывели умники сами собою. Вы видите, что они из книги[1] моей выводят тоже не то, что в ней есть, а то, что им хочется вывесть. Всякому хочется основать свою точку взгляда затем, чтобы красно поговорить и самому порисоваться; отсюда католицизмы, формализмы и всякие *измы*. Таким образом, вам тоже кто-то наврал, что я в Риме, тогда как до сих пор из Неаполя я никуда[2] ноги не заносил. Держитесь тех адресов, которые я вам даю, и, если не получите нового, продолжайте по старому. Мне жалко, что ваше милое письмецо скиталось почти два месяца.[3] Еще одна к вам просьба:[4] не спорьте обо мне никогда ни с кем из людей умных (разумею особенно тех, которые живут в уме своем, а не преимущественно в душе и сердце) и никогда не сердитесь ни на кого из-за меня, и Боже вас сохрани с кем-нибудь поссориться из-за меня! Лучше собирайте всё, что ни говорится обо мне, и всё мне передавайте. Меня ничто не смутит, если Бог меня не оставит, а Бог милостив, — Ему ли оставить меня, если я искренно молюсь Ему, молясь о том, чтобы уметь Ему вечно молиться, и если много людей Ему угодных и лучших возносят за меня грешного жаркие молитвы? Но мне нужно непременно

[1] даже из книги
[2] до сих пор никуда
[3] *Далее начато:* Что каса<ется>
[4] усердная просьба

всех выслушать, чтобы поступить умно. Путь мой тверд, и я до сих пор один и тот же, с некоторыми улучшениями (по милости Божией). Но я так уже устроен, что мне нужны нападения, брани и даже самые противуположные толки обо мне, чтобы взгляд мой на самого себя был ясен и чтобы дорога моя была передо мною ясна и не только ничем не потемнилась, но даже прояснялась бы, чем дальше, больше. Все эти брани, толки, противуречия обо мне еще также нужны[1] затем, чтобы показать мне гораздо[2] ближе общество, как никому другому оно не может показаться. Заметили ли вы одно необыкновенное свойство моей книги, какое вряд ли имела доселе какая-нибудь книга? Именно то,[3] что она, несмотря на все бесчисленные свои недостатки, может служить пробным камнем для узнания нынешнего человека? В сужденьях своих о ней обнаружится перед вами весь человек, даже позабывши свою осторожность.[4] Это весьма не безделица для писателя, а особливо такого, для которого предметом стал не шутя человек и душа человека. Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведенья[5] искусства, чтобы[6] я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлек<ался> бы[7] в идеальность, а держался бы самой существенной правды. И правда Руси передо мной теперь выступила,[8] как никогда прежде. Не нужно только зевать, а подбирать всё, потому что другой такой благоприятной минуты, заставившей даже многих, скрытных людей расстегнуться нараспашку, не скоро дождешься. Вот почему мне так дороги все толки, даже и людей, по-видимому, самых простых и глупых: они мне открывают[9] их душевное состояние. Ответ на это письмо вы адресуйте во Франкфурт, на имя Жуковского. Мая первых чисел я отсюда выезжаю. Лето провожу на водах, июль и август в Остенде на морском купаньи,[10] а оттуда на осень в Италию, дабы оттуда в Иерусалим. А у Гроба Господня укреплюсь и духом, и телом, да и может ли быть иначе? Бог милостив. Не Он ли Сам внушил стремленье поработать и послужить Ему? Кто же другой может внушить нам это стремленье, кроме Его Самого?

[1] мне также нужны
[2] так
[3] Именно то свойство
[4] осторожность насчет многого
[5] прек<расные> произведенья
[6] затем, чтобы
[7] не отвлек<ался> никак
[8] выступила так
[9] они мне все-таки хоть сколько-нибудь открывают
[10] *Далее начато:* кото<рое>

Или я не должен ничего делать на прославленье имени Его, когда всякая тварь Его прославляет, когда и бессловесные слышат силу Его? Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что я не имею права на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге? Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право, все мы должны учить друг друга и наставлять друг <друга>, как велит и Христос и апостолы. А что не умеем выражаться мы хорошо и прилично, что иногда выскочат слова самонадеянности и уверенности в себе, за то Бог и смиряет нас, и нам же благодетельствует, посылая нам смирение. Если бы книга моя сделала успех и много бы людей было на моей стороне, тогда бы, точно, могла бы овладеть мною гордость и все те пороки, которые мне приписывают. Теперь, вследствие всех этих толков осмотревшись со всех сторон на себя, я могу[1] заговорить таким взвешенным и умеренным голосом, что трудно будет им придраться ко мне. Но я заговорился с вами, друг мой. Прощайте, не позабывайте меня. Пишите почаще. Будем молиться — и всё будет хорошо. Просите обо мне молиться по-прежнему всех умеющих молиться людей. Просите молиться именно о том, чтобы отогнал от меня Бог духа обольщения, гордости и всех тех пороков, которыми попрекают меня, и чтобы не отходил от меня мой ангел-хранитель. Да содержит[2] <его>[3] Бог и при вас неотлучно.

Весь ваш Г<оголь>.

*<На обороте:>*

Kalouga. Russie.
Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.
В Калуге.

### 1301. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

<Первая половина апреля (н. ст.) 1847. Рим>

Получил я письмо ваше от графини Толстой, но так как письма ваши из Неаполя превышали все неприятности, какие мне случалось претерпеть эту зиму, то я решился оставить это ваше письмо нераспечатанным, дабы не пострадать сызнова.

[1] могу теперь
[2] постановит
[3] *Это слово в подлиннике вырвано.*

Виктор Владимирович ознаменовал приезд сюда водворением мира — между правительственными людьми и художниками. Что с тех пор все идет еще успешнее вперед — это более всего чувствительно и важно для меня как более всех пострадавшего.

Если уже вам уж очень нужно что-нибудь от меня, то гораздо мне легче к вам приехать в Неаполь, чем прочесть ваше письмо. Скажите через кого-нибудь, и я сейчас приеду. Чижов уехал. Трудно, чтобы состоялся его журнал. Он очень, очень не готов ни к принятию должности, ни к журналу. Только святостию своей собственной жизни можно возвысить и возвеличить глубокие сведения.

### 1302. А. А. Иванову

Неаполь. Апреля 22 <н. ст. 1847>.

Благодарю вас, мой добрый Александр Андреевич, за ваше скорое доставленье моего письма Чижову. Если будете писать к нему, то уведомите, что я послал ему ответ в Венецию сегодня. На адресе выставил по-итальянски Cigioff, не зная, так ли или нет пишется, а потому пусть он попросит почтового чиновника пошарить в букве С. А вы будьте покойны и не страшитесь больше никаких от меня писем. Упреков от меня больше не будет. Будьте беззаботны[1] насчет будущего: оно в руках Того, Кто всех нас умнее. Мы с вами переговорим и перетолкуем на словах обо всем тихо, рассудительно и так, что останемся оба довольны друг другом. Затем обнимаю вас и вместе с вами и доброго вашего братца. Если будет время, напишите что-нибудь о Риме: кто теперь там сидит и кто остается до 10 мая из приезжих? Я полагаю около этого времени — и даже скоро после 5-го мая — быть в Риме. Федору Ивановичу передайте также поклон, если он не позабыл меня посреди упоений от лицезрения того предмета[2], ради которого был надолго позабыт гравчик и который, как я слышал, находится теперь в Риме.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Roma. Al signore Alessandro Iwanoff (Russo).

Roma. Antico Caffe Greco nella via Condotti, vicina alla piazza di Spagna.

[1] будьте покойны

[2] от лицезрения наконец того предмета, к которому

## 1303. А. А. Иванову

22 апреля <н. ст. 1847. Неаполь>.

Едва только я написал[1] к вам письмо, как получил от вашего братца извещение о том, что вы сделались больны. В тот же час я отправился к Циммерману и передаю вам всё, что он объявил. Он полагает, что это явленье чисто геморроидальное. Пластыря к груди не нужно, но к заднему проходу необходимо нужно приставить побольше пьявок, принять несколько слабительных и несколько ванн с отрубями. Призвать можете Аллерса и ему всё это сообщить. Ехать теперь он вам полагает ненужным. Если ж и ехать, то не прежде, как поправитесь; дорога вас теперь взволнует. Ради Бога, успокойтесь и не смущайте себя ничем. Мне очень прискорбно, если и я участвовал также неуместными моими письмами к вашему огорчению. Но возложите несокрушимое упование на Бога. Он вас вынесет повсюду. Обо всем прочем переговорим лично.

Прощайте.

Весь ваш.

На это письмо дайте ответ хотя через вашего доброго братца, которого благодарю много за то, что он мне сообщил немедля о вас.

*<На обороте:>*

Roma.
Al Signore
signore Alessandro Iwanoff (Russo).
Roma. Caffe Greco nella via Condotti, vicina alla piazza di Spagna.

## 1304. А. О. Россету

Апреля 24 <н. ст. 1847. Неаполь>.

Уведомляю вас, бесценный Аркадий Осипович, что, наконец, книги[2] получены сего апреля 23 числа. Именно следующие: 2 номера «Соврем<енника>» и два номера «Отечественных Записок», два охапка «Северной Пчелы» и биография Крылова. Зачем не пришли мои «Выбранные места» и в каких местах они теперь пребывают, этого никак не могу понять. Скажите Плетневу, что я читаю биограф<ию> Крылова с таким удовольствием, с каким давно не читал никакой русской книги. Она имеет интерес

[1] полу<чил>
[2] книги мои

даже для ребенка и, вероятно, сделается у нас книгой народной. Теперь, как вижу я, он остался в большом выигрыше, сдавши с рук «Современник». Он теперь гораздо больше усредоточится в своих собственных силах. Кто созрел для книги, тому нечего издавать журнал. Это дело молодости. Я писал к нему от 17 апреля вслед за благодарственным письмом вам от 15 апреля. Уведомьте меня о полученьи как вашего, так и его письма. Теперь, я полагаю, много отправляется за границу, а потому вы можете упросить свезти для меня несколько книг или в Остенде, или во Франкфурт. Я бы желал получить ныне вышедшие повести Даля и две части «Петербургских вершин» Буткова. Вообще всё, что только зацепило хоть сколько русского человека и его жизни, мне теперь очень нужно. Обнимаю вас от души и жду вновь приятных ваших строчек.

Весь ваш Г<оголь>.

Адресуйте к Жуковскому.

<*На обороте:*>
Pétersbourg. Russie.
Его высокоблагородию Аркадию Осиповичу Россети.
Петербург. Против Пантелеймона, в доме Быкова.

### 1305. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

4/16 апр<еля> 1847 г. СПб.

Не рассердись, мой друг, что давно не писал я к тебе. Ты и сам отчасти причиною тому. Если уцелело у тебя мое последнее к тебе письмо (от 17/29 января 1847 г.), то перечти его снова — и убедишься, не должен ли я был беспрестанно ждать решительного слова твоего на тот вопрос, который относился ко второму изданию книги твоей и к помещению непропущенных в ней писем во второй том подобной книги. Но ты ни в одном из писем своих ко мне не упомянул о том ни слова. Время шло да шло — и вот теперь прошел и праздник Пасхи, после которого, как ты сам справедливо сказал, незачем и приступать к печатанию книги. Отложим это все дело до сентября. Но устроим покамест что-нибудь решительное и удобоисполнимое. В ожидании от тебя ответа на вопрос, как поступить лучше, хлопотать ли для этой самой книжки о непропущенных письмах, или действительно удобнее внести их как новые в рукопись второго тома, мы (т. е. князь Вяземский, граф М. Ю. Вьельегорский и я) займемся строгим обсуживанием, какие места в непропущенных

письмах не следует даже и представлять Государю. Таким образом, к ответу твоему мне на это письмо у нас будет уже определено, чем пополнить переписку твою, в первый ли том или во второй назначишь ты внести эти дополнения. Теперь постараюсь дать тебе удовлетворительные ответы на то, что содержится в последних твоих ко мне письмах: 3/15 января, 25 янв<аря> / 6 февр<аля>, 30 янв<аря> / 11 февр<аля>, 23 февр<аля> / 6 мар<та>, на которые до сих пор не отвечал я. В. В. Апраксина не удалось мне видеть. От него без меня принесли твое письмо, и я остался в неведении, проездом ли он был здесь или на житье тут поселился. Ни разу не прислал он за мною, не только что сам не побывал у меня. Ты говоришь: «Есть люди, которые имеют прекрасную душу и добрые намерения и грешат по неведению». Это больше мечта, нежели истина. Вот отчего Павлов во втором к тебе письме («Московские Ведомости») так сардонически и осмеивает подобное в тебе убеждение. Ты выговариваешь мне, зачем я на твою книгу смотрю с литературной стороны. У меня идея о литературе всегда сливается с жизнию. Итак, твоя книга важна, по моему мнению, в литературе оттого, что она подействует на жизнь. Упрекая меня, что, тепло живя в Петербурге, я не сочувствую тем, кому холодно подалее от столицы, ты очень ошибаешься. Но я знаю, что вдруг ничто не приходит к совершенству. Ежели каждый своею порядочною жизнию будет давать пример другим, то он со временем принесет пользу, равную с тем, кто это выразил в книге. Аркадий Росетти сам писал к тебе. Он не отказывается для тебя работать, но не согласен, чтобы письма к его сестре были напечатаны так, как они в рукописи. Теперь никто из книгопродавцев не являлся ко мне с уведомлением, что настоит сильная потребность во втором издании писем. Твоя мысль, что так как ты советовал богачам покупать книгу твою для бедных, а потому и разойдется ее несметное число, более филантропическая, нежели философическая: богачи и для себя не покупают русских книг; твою разобрали люди среднего сословия, которые тем и удовольствовались. Вот пройдет лето — опять явится в книге потребность, а мы тут и со вторым изданием либо со вторым томом. Ты не велишь присылать тебе больше денег. Да у меня и не осталось ни копейки. Просмотри хорошенько общий отчет по изданию. Таким образом, отсылка денег в Малороссию теперь не может иметь места. Шевырев мне писал, что и он все твои деньги тебе же отослал. У тебя их должно скопиться вдруг очень много, особенно с теми, которые ты получил по secunda (векселю

от Прокоповича, тебе мною пересланному через Жуковского). Пожалуйста, и об этом не забудь уведомить меня. Хорошо отвечать на деловое письмо нельзя иначе, как держа его перед глазами и внося ответы из строки в строку. Ты хвалишься аккуратностью, а на деле не умеешь показать ее. Я советую тебе распорядиться этою огромною суммою денег так, чтобы их стало тебе года на два или и более. Тогда избытки от будущих изданий в это время могут быть обращены на вспомоществование твоим родным. Слышал ли ты, что зимою в Москве скончалась П. И. Раевская, у которой некогда жила сестра твоя? Напрасно тревожишься ты, будто я могу сколько-нибудь огорчиться твоими выговорами за неудачу в издании твоей книги. Пока ты не открывал мне сердца своего, я мог считать подобные от тебя требования неуместными; но с тех пор, как ты душою слился со мной, я тебя не отделяю от себя. Больше об этом ни слова. Моя Ольга была у Вьельгорских по твоему желанию. Они очень обласкали ее. Ты хочешь переслать к Прокоповичу обратно деньги, как только получишь по его векселю. Этого не делай. Он уже знает, что деньги нашлись (по письму Жуковского ко мне), — и очень тем доволен. Напрасно Жуковский напугал тебя, что в книге твоей много опечаток. Я прочитывал ее раз двадцать — и не встретил ни одной опечатки. Может быть, по неразборчивости руки иначе понял корректор самый смысл. Но для меня все очень хорошо. Недоставление паспорта задержало тебя на нынешний год. Я верую, что Провидение лучше нас знает, что устрояет. Все, что о книге твоей пишут, пересылается тебе Аркадием Осиповичем Росетти через Прянишникова. Но ты увидишь, какой вздор несут наши журналисты. Оно так и должно быть. Может ли что наставительного автору, думавшему о предмете годы, сказать критик, бросающийся за перо в минуту чтения? Твоя жажда читать эти глупости — единственное пятно для меня на чистой душе твоей. Ни Карамзин, ни Крылов, ни Жуковский, ни Пушкин не учились от наших критиков: они только сами погружались в свои думы. И ты, когда разберешь дело, должен будешь сознаться, что никто тебя так верно не поправит в ошибках, как сам ты. Сказал же Пушкин:

Ты — царь: живи один!

Прилагаю к тебе письма: 1) от Брянчанинова (архимандрита Сергиевского монастыря, подле Стрельны, который его отдал Marie Balabina) и 2) от Вигеля из Москвы.

П. П<летнев>.

### 1306. Ф. Ф. Вигель — Н. В. Гоголю

<18 февраля 1847. Москва>

Сочинитель этих писем также высоко стоит над автором «Ревизора» и «Мертвых душ», как сей последний далеко отстоит от Шаликова. Не могу описать восторгов, с которыми смотрел я на *Преображение* Гоголя. Я смеялся над теми, которые сравнивали его с Гомером. Теперь я каюсь в том, признавая в них великий дар предчувствия, предвидения, хотя сравнение их в глазах моих несколько сохраняет еще[1] свою преувеличенность. Гоголь был доселе верный наблюдатель нравов, искусный их живописец, остроумный и оригинальный автор; но как все это далеко от необыкновенного мужа, умевшего соединить в себе глубокую мудрость с пламенной поэзией души. Святость и геройство христианина и патриота, которыми он, кажется, весь проникнут, превыше таланта, превыше даже гения, которого, впрочем, в сей книжке дает он несомненные доказательства. Меня уверяли, что тут гордость более видна, чем смирение. Это не совсем справедливо: правда, и она местами выказывается; но в этом-то несовершенстве вся и прелесть сочинения! Я смотрел на него, как на изнеможение, как на остаток слабости после сильной борьбы и победы над собою. И что за мысли! и какая их выразительность! с фейерверком сравнить их мало! в них нечто, молнии подобное. Читая, право, как будто идешь ослепленный светом и оглушенный громами; глазам и слуху надобно привыкнуть к его слогу. Меня также уверяли (ибо я почти никого не вижу), что это действие произвело появление книги на всех глупцов, которые с бешеным ревом в бессилии своем пали ниц. Позвольте с их внезапною ненавистью поздравить Вас, Господин Гоголь! Честь и хвала — их досада и осуждения[2]! Вместе с тем, позвольте мне изъявить сожаление о том, что в Вашем прекрасном творении есть места, на которые с большою основательностию имеют они право нападать. Например, как можно в глаза или в письме, что[3] все равно, грозить почтенного старца, высоко мнением и званием поставленного, вами уважаемого, вами же везде достойно прославляемого[4], названием *гадкого старичишки*, если он не воздержится от негодования. Нехорошо, какою бы короткостию ни почтил он вас, сей незлобивый,

[1] *В списке, хранящемся в РГАЛИ:* сохраняет еще несколько

[2] *В списке, хранящемся в РГАЛИ:* и осуждения их

[3] что *нет в списке, хранящемся в РГАЛИ.*

[4] *В копии, хранящейся в РГБ:* почтенному старцу, вами уважаемому, вами же везде достойно прославляемому. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

безобидный, великий поэт. Не будемте слишком пренебрегать приличиями света. Источник учтивости между новейшими народами находится в христианском законе, который поучает нас не оскорблять самолюбия брата, с осторожностию говорить ему полезные истины, не раздражать[1], а скорее смягчать его гнев ласковым словом. Древние народы до Христа знали только лесть, подлость и[2] грубость. Вот почему, кажется, надлежало бы вам говорить с большею умеренностию о мнимом неряшестве и растрепанности слога почтенного Погодина. Как вы на то решились? особливо когда среди бесчисленных красот, вами созданных, нередко встречаются или лайковые штаны или что-нибудь тому подобное. Позвольте мне из вас же взять тому сравнение: это напоминает те засаленные бумажки, которые валяются в гостиной, где все блестит позолотой, зеркалами и лаком паркетов, и о которых вы говорите. Простите мне: никакого орудия, вами поданного, не хотелось бы мне видеть в руках новых врагов ваших. Воротимтесь к ним; имен их я не знаю или в уединении моем давно их позабыл. Люди, которые достойны теперь понимать вас, которые сочувствуют вам, которые разделяют со мною восхищенное удивление к произведению вашему, сказывали мне, что все эти враги были недавно великими почитателями, даже обожателями вашими. Когда, в первой молодости, создали вы себе идеал совершенства и начали искать его между вашими сородичами, когда вместо того встречали вы часто множество гнусных пороков и, вооружив руку вашу огромным хлыстом, перевитым колючим терном, с ожесточением, без милосердия, стали стегать в них: тогда эти люди с остервенением вам рукоплескали. Что побуждало их к тому? любовь ли к родине, коей сынам чаяли они <быть> от того исправления? ненависть ли к ней за неудачи свои, в коих, право, не она и не Правительство, а природа их была виновата? Невольно надобно придержаться последнего мнения; ибо сколь тщательно убегали они от всяких сношений, даже от простых встреч с писателями добрыми, умными, восторженными, которых вся жизнь была любовь и гимн Отечеству, столь усердно искали они сближения со всеми отъявленными Руссофобами, в числе коих и вы были ими помещены. Блеск необыкновенного ума вашего их восхитил; они в состоянии были понять, даже оценить его, особенно же всю едкость вашей, тогда неумолимой, чудесной, как бы ни сказать изящной злости.

[1] *В списке, хранящемся в РГАЛИ, далее:* его
[2] *В списке, хранящемся в РГАЛИ:* или

Долго, долго близорукие их очи любовались доступными их зрению, всеми признанными великими литературными вашими достоинствами. Они гордились вами, они уже почитали вас *своим*; как вдруг вам вздумалось швырнуть в них небольшим, но для них не менее тяжелым томом, на котором как будто написано: *Ненашим*. И в то же время, с быстротою фузеи, отделившись от их взоров, вознеслись вы в нечто для них заоблачное, на вершину недосягаемого для них Фавора. Что может сравниться с их изумлением!

Раскрыв уста,
Без слез рыдая,

как влюблен<н>ая[1] Черкешенка Пушкина, стояли они и не вдруг могли опомниться. Наконец опомнились и, никак не умея объяснить себе причину столь страшной перемены, заскрежетав зубами, пустились обвинять вас, кто в лицемерии, кто в повреждении ума. Все это предание, или просто современный рассказ, до меня нечаянно дошедший, коему, хотя и передаю его вам, я не совсем верю, тем более что упоминаемые здесь[2] лица мне вовсе не знакомы. До некоторой степени они в глазах моих извинительны: как верить тому, чего не понимаешь? Вот почему и я плохо верю озлоблению людей за великий, умилительный подвиг сердечного раскаяния, за красноречивое, увлекательное изображение истин, поучаемых нашею матерью Православной Церквой, за выражение нежнейшей сыновней любви к нашему великому Отечеству. Но если правда все, сказанное мне[3], если действительно сии несчастные, изменившие чести своей родины, вас дерзают называть отступником, тогда… о, Русский Бог! прости им прегрешение их: не ведают, что врут.

Мне кажется, вы где-то говорите о двух станах, о Славянистах и Европистах, о Восточниках и Западниках, о староверах и нововерах; я тоже что-то такое слышал, только не совсем так. Утверждают, что есть две какие-то партии, но ничего не упоминается ни о станах, ни о вражде, ни о ратоборстве. Сравнивают это со спортом (оттого-то так много в журналах о спорте и порют вздору!); у этих скакунов, говорят, одна цель, но только две разные дороги, по которым каждый надеется удобнее и скорее доскакать.

[1] *В копии, хранящейся в РГБ:* возлюбленная. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

[2] здесь *нет в списке, хранящемся в РГАЛИ.*

[3] мне *нет в списке, хранящемся в РГАЛИ.*

Убеждений во мнениях, ими излагаемых и проповедуемых, уже не ищите; они только средства, а цель — знаменитость, которая, по достижении, сама тотчас обращается в средство... к получению приза, то есть успехов, каких бы то ни было и где бы то ни было, в гостиных ли, в Университете, или в Канцеляриях Министерств; иной ограничивается губернскими дворянскими выборами. Эти две параллельные линии так близко одна от другой и так дружно бегут, что без напряженного внимания трудно одну от другой отличить. К наукам, к словесности ни у кого нет жару, страсти; и потому встречаются по навыку[1] изрядные ремесленники; артиста ни одного. Говорите же им потом языком гомеровского[2] или библейского вдохновения, толкуйте им об Одиссее или о Моисее. Давно, давно, лет семь тому назад, случалось мне быть в одном из многочисленных их сонмищ; оглушенный исходил[3] я из него, и ничего в памяти моей не осталось, кроме каких-то невнятных звуков, неясных ликов, полузабытых имен. Кто несет католицизм, кто гегелизм, кто коммунизм, кто во что горазд. Все хладнокровно горячится, все бредит Европой, все прославляет ее, смешивает Россию с грязью, и в то же время своими непристойными криками, движениями служит верным изображением наших громогласных деревенских мирских сходок. Не знаю; так было прежде; теперь, может быть, многое уже изменилось. О, если б сердца этих людей получили способность к восприятию двойного небесного огня, коим вы объяты, если б хотя одна искра его туда к ним заронилась! Совершенное перерождение их было бы того последствием: все мелочи пустого, жалкого их самолюбия отстали бы от них, как шелуха засохших струпьев отпадает от исцеленной кожи. Не улыбки *львиц*, здесь так расплодившихся, не ничтожная честь оказываться в их *салонах*, а любовь и уважение в толпе скрывающихся достойных сограждан были бы их наградою. Почтенные имена, приобретаемые одними истинными заслугами и полезными трудами, сделали бы их любезными и[4] известными современникам

[1] *В копии, хранящейся в РГБ:* по навыку, встречаются. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

[2] *В копии, хранящейся в РГБ:* Гомервым. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

[3] *В копии, хранящейся в РГБ:* выходил. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

[4] *В копии, хранящейся в РГБ, вместо:* их любезными и — их более. *Текст печатается по списку, хранящемуся в РГАЛИ.*

и, может быть, потомству. По ходу дел можно предсказать, что оно будет судить иначе; невозможно, чтобы все оставалось, как ныне; нельзя, чтобы за бестолковым брожением умов не последовал благоразумный устой: тогда удел сих людей будет забвение, презрение и, может быть, и проклятия сего, более нас рассудительного потомства. Вас ожидает совсем иная участь: напечатанные письма ваши писали вы не для эффекта и не для похвал, а для блага, и уже действие вашего примера и поучений становится ощутительно. Вы весьма справедливо заметили, что Пушкин красотою своего стихотворного слога увлек и обратил в подражателей других отличных поэтов, гораздо прежде его на поприще вступивших. Так точно и вы красотою ваших мыслей и чувств сильно подействовали на человека, далеко вас в жизни опередившего: вы не могли указать ему на недостатки его; но заставили его самого с сокрушением к ним обратиться в великие дни, в которые Церковь наша призывает нас к покаянию, посту и молитве. Ненависти он никогда не знал, хотя сим именем и пятнали здесь сильное негодование его не на личных своих[1] врагов, а на внутренних врагов порядка, веры и Отечества его. Конечно, в чувстве глубокого презрения, которое к тому примешивалось, таится несогласная с христианским смирением гордыня. Отныне потщится он и сие чувство заменить состраданием к заблуждениям их. Вы сами заставляете кого-то молить Господа, чтоб Он дал ему гнев и любовь: сии дары почти всегда бывают неразлучны; я получил их, но, вероятно, не умел сделать из них благого употребления для человечества. Теперь же мне, дряхлому, забытому и забывшему, остается только молить Его о терпении и о сохранении душевного спокойствия.

В избытке чувств я по заочности заговорился с вами; вероятно, вы меня никогда не услышите и не прочтете; но мне приятно мечтать, что я беседую с вами. Было время, что я вас долго и близко знал (о, горе мне) и не узнал! с обеих сторон излишнее самолюбие не дозволяло нам сблизиться. И как за суровостию ваших взглядов мог бы я угадать сокровища ваших чувств? До сокровищ ума не трудно было у вас добраться; несмотря на всю скупость речей ваших, он сам собою[2] выказывался. Если нам когда-либо[3] случится еще встретиться в жизни, то никакая холодность с вашей стороны не остановит излияний сердечной благодарности моей

[1] своих *нет в списке, хранящемся в РГАЛИ.*

[2] собою *нет в списке, хранящемся в РГАЛИ.*

[3] *В списке, хранящемся в РГАЛИ:* когда-нибудь

за восхитительные наслаждения, доставленные мне чтением последнеизданной вами книги.
Москва
18 февраля
1847.[1]

### 1307. С. П. Шевыреву

Апреля 27 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Благодарю очень за милое письмецо твое от 22 марта. Мне было так приятно читать его! Прежде всего поговорим о Погодине, то есть о моем печатном отзыве о Погодине. Позабыл я <о> моих словах[2] потому, что, право,[3] не думал писать их в том смысле, в каком они кажутся тебе (хотя я сам изумился резкости слов моих, когда прочел в печати). Причиной неверности твоего вывода моя же статья. Таково действие всякого сочинения, в котором рассматривается половина дела, а не всё дело. Умолчавши о достоинствах, вывести недостатки — всегда будет казаться отверженьем и непризнаньем достоинств. Я вовсе не хотел попрекнуть[4] Погодина за то, что он работал тридцать лет, как муравей, но за то, что он не умел поступить так, чтобы увидали все, что он тридцать лет, как муравей, работал для добра. Статьи этой не нужно уничтожать, но вслед за ней я помещу письмо к тебе, под заглавием: «О достоинстве сочинений <и> литературных трудов Погодина» — и мы увидим, в состоянии ли эти[5] недостатки затмить те его достоинства, которые принадлежат ему одному и которых никто другой не имеет. Мы рассмотрим также и то, умеет ли теперь кто-нибудь из нас так любить Россию, как любит он. Поверь, что статья эта теперь будет гораздо полезней для сочинений Погодина. Тем более что после моих жестких слов о Погодине меня никто не станет упрекать в лицеприятии. Я не отрекусь от моих нападений, но рядом с ними выставлю только, что следует взять на вески, когда произносишь полный суд над человеком. Скажу тебе также несколько слов о замечании[6] твоем в прежнем письме на статью мою «О лиризме русск<их> поэтов» и о всем, что ни

[1] Москва 18 февраля 1847 *нет в копии, хранящейся в РГБ. Текст печатается по списку, хранящемся в РГАЛИ.*

[2] словах о Погодине

[3] совсем

[4] не хотел сказать

[5] все эти

[6] о прежнем замечании

сказано о монар<хической> власти по поводу стихотвор<ения> Пушкина. Я не отвечал на это потому, что, не имея моей книги, не знал, в каком виде напечатана эта статья. Теперь, скрепясь духом, пробежал[1]. Это просто бессмыслица. Статья эта[2] и у меня в рукописи выходила довольно темна, а с этими, непонятными даже для меня, обрезываньями цензуры даже таких мест, которых непропуск можно только приписать к какому-нибудь особенному умыслу самой цензуры, — просто путаница. Не говоря о разных вещах[3] поважнее, прилагаю тебе здесь непропущенный листок, служащий ответом на твой запрос о стихотворении Пушкина[4]. Несмотря на всю неприятность, которую с первого раза нанес мне жалкий вид статьи моей и толки, разнесшиеся в публике, о моем низкопоклонстве, я потом не только успокоился, но даже обрадовался и жду только того, чтобы на меня побольше напали со всех сторон за эту статью и, если можно, даже в Европе. Тогда только я получу голос и, в виде оправданья, могу заговорить, наконец, о том, каким образом богатством милости и всепрощающей любви может уподобиться монарх Богу. Много есть вещей, которых по тех пор не найдешься, как сказать, покуда не нападут на тебя. Мысль статьи этой была добрая. Поверь, что нам всем следует уметь прощать и помнить ежеминутно о том, что уменьем прощать мы более всего можем уподобиться Богу.

Слово о моем отречении от искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть было, хотя некоторые, какие страдания я должен был выносить из любви к искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не в силах был, когда из самого предисловия моего к второму изданию «Мертв<ых> душ» видно, как я занят одною и тою же мыслью и как алчу

[1] пробежал духом

[2] Она

[3] Не говоря уже о том

[4] *К письму приложен отрывок из статьи «О лиризме наших поэтов» «Выбранных мест из переписки с друзьями» о происхождении стихотворения А. С. Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...». «Листок этот было бы лишним печатать здесь, так как почти все, в нем заключающееся, уже напечатано в последнем издании "Сочинений Гоголя"... Не достает только следующей приписки под стихами Пушкина:* "Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это "Отеч<ественные> Зап<иски>"». *(Дело идет о стихотворении "С Гомером долго ты беседовал один".) — О. М<иллер>» (Примеч. О. Ф. Миллера в статье: Миллер О. Ф. Неизданные письма Гоголя // Русская Старина. 1875. № 12. С. 661).*

забрать тех сведений, которые мне нужны для моего труда. Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства, виноват ли я в этом? Что ж делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? Виноват Тот, без воли Которого не совершается ни одно событие.

Появление моей книги, несмотря на всю ее чудовищность, есть для меня слишком важный шаг.[1] Книга моя имеет свойство пробного камня: поверь, что на ней испробуешь как раз нынешнего человека. В сужденьях о ней непременно выскажется человек со всеми своими помышлениями,[2] даже теми, которые он осторожно таит от всех, и вдруг станет видно, на какой степени своего душевного состояния он стоит. Вот почему мне так хочется собрать все толки всех о моей книге.[3] Хорошо бы прилагать при всяком мнении портрет того лица, которому мнение[4] принадлежит, если лицо мне незнакомо. Поверь, что мне нужно основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во время бала или гулянья. Иначе у меня долго еще будет всё невпопад, хотя бы и возросла[5] способность творить. Я очень жалею, что не попали в мою книгу письма к разным должностным и государственным людям. Меня бы, конечно, тогда разбранили бы еще больше. Сказали бы еще более: не в свое дело залез и впутался, но тем не менее по поводу этих статей обнаружилось бы передо мною многое внутри России. И многие, в желании доказать мне мои ошибки, стали бы рассказывать те вещи, которые именно мне нужны. А этих вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека, покуда не рассердишь, не заставишь заговорить. Он всё будет лежать на боку и требовать,[6] чтобы автор попотчевал его чем-нибудь *примиряющим с жизнью* (как говорится). Безделица! как будто можно *выдумать* это примиряющее с жизнью. Поверь, что какое ни выпусти[7] художест<венное> произведение, оно не возымеет теперь влиянья, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество,

[1] *Далее начато:* может быть

[2] со всеми своими сокровенными помышлениями

[3] *Далее начато:* эти толки где нужней

[4] оно

[5] возвратилась

[6] ожидать

[7] ни выпусти я теперь

и если в нем не выставлены те люди, которые нам нужны теперь в[1] нынешнее время. Не будет сделано этого — его убьет первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма. Слова твои о том, как чорта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом. Я бы очень желал знать, откуда происхожденьем тот старик, с которым ты говорил. Судя по его отзыве о чорте, он должен быть малороссиянин. Жду с нетерпением всех печатных критик.[2] Отныне адресуй всё к Жуковскому. Из Неаполя отправляюсь на днях. Июнь буду близ Франкфурта на водах. Конец июля, весь август и начало сентября буду на морском купаньи в Остенде, которое одно доселе мне помогало. Осенью вновь в Неаполь, затем чтобы оттуда на Восток. Не позабудь прислать с какой-нибудь оказией те книги, о которых я просил, то есть русские летописи и «Русские праздники» Снегирева. А если[3] накопятся деньги, то памятники раскрашен<ные> Москвы Снегирева. При сем отдай письмо Щепкину и напиши мне, что он скажет на него в ответ. Обнимаю тебя от всей души. Ради Бога, не забывай меня и пиши ко мне. Письма ко мне любящих меня — сущие для меня благодеяния, почти то же, что милостыня нищему.

Не сердись на мой дурной почерк, изломанный слог, недописки и поправки. Не позабывай, что это неотлучные приметы человека, который еще строится и хлопочет около своей постройки.

### 1308. Н. Я. Прокоповичу

Неаполь. Апрел<я> 28 <н. ст. 1847>.

Давно уже я не писал к тебе. Ты также давно не писал ко мне. Если ты думаешь (особенно после прочтения моей книги), что я переменился или стал не тот, что был прежде, то скажу тебе, что я всё тот же и почти то же самое люблю, что любил в юности моей, хотя и не открывал никому многих сокровенных чувств; разница вся в том,[4] что теперь многое во мне стало проще (по книге не суди) и что я больше, чем когда-либо, люблю старинные мои связи и прежних друзей моих, особенно тех, с которыми от

[1] и в
[2] *Далее было:* чтобы увидать, в чем именно меня обвиняют
[3] если бы
[4] разница только в том

незабвенного Нежина началась моя дружба. А потому, напиши мне хоть несколько словечек о себе: что ты теперь делаешь? что приходит тебе на мысли? как тебе живется и как всё, что составляет домашний круг твой, и всё, что вокруг тебя? Этим ты меня очень порадуешь, если тебе приятно меня порадовать. Письма адресуй на имя Жуковского, в Франкфурт. От Данилевского я получил письмо, который также о тебе спрашивает. Он также о тебе не знает ничего.[1] Уведоми меня также о всех изустных толках, какие тебе случается слышать о моей книге. Я бы очень желал знать, что говорят о ней разные чиновники средней руки, всех сортов учителя, равно как и люди нам обоим с тобой знакомые. Прощай! Более не распространяюсь, потому что пишу наугад, не зная, по-прежнему ли ты живешь в 9 линии и придет ли к тебе в руки письмо мое. Не поскупись и пиши побольше.

Обнимаю тебя.

Твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Pétersbourg. Russie.

Его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу.

В С. Петербурге, на Васильевском острове, в 9 линии, между Большим и Средним проспект<ами>, в собствен<ном> доме.

## 1309. Ф. А. фон Моллеру <?>

29 апреля <н. ст. 1847. Неаполь>.

Я получил от брата Александра Андреевича Иванова известие, что сам Ал<ександр> Андр<еевич> болен стесненьем в груди, с просьбой, чтобы я посоветовался по этому поводу с Циммерманом. Я отправился тот же час к Циммерману и всё, что получил от него в ответ, написал в письме, пущенном отсюда третьего дня. А потому прошу вас убедительно — немедленно наведаться к Иванову и узнать, получил ли он это письмо вместе с другим, предыдущим, отправленным того же дни. Оба были адресованы в кафе Greco. Если ж, на случай, он их не получил, то вот вам вновь предписанье Циммермана. Стесненье и боль в груди и сердце есть явленье геморроидальное, а потому следует не к груди прикладывать какие-либо средства, но оттянуть кровь к противуположным частям, именно, приставивши изрядное количество пьявок к заднему проходу, принять в то же время несколько слабительных и несколько успокоительных ванн с отрубями,

[1] *Далее начато:* А если ты распишешься

умеренной температуры, то есть от 26 до 27 градусов и никак не свыше, потолковавши обо всём этом с доктором Аллерсом.[1] Так я написал и в письме. Теперь же подвертывается под руку обстоятельство еще лучшее. Сам Циммерман едет завтра вместе с кн<язем> Волконским и, вероятно, в понедельник ввечеру они будут оба в Риме. А потому объявите об этом Иванову. Скажите также, что и о нем, то есть относительно его дела, кое-что переговорено. Но самое лучшее с его стороны даже и не помышлять и не расспрашивать никого об участи его дела. Я хотя человек сам по себе и не очень важный, но устроил так, что в Петербур<ге> всем обнаружилось производительное дело — картина Иванова — и теперь смекнули даже и недальные умом, что Иванова торопить никак не следует. Я это ему давал знать и в письмах, которые так огорчили его (что для меня до сих пор загадка), прося его положиться хоть сколько-нибудь на меня и не беспокоиться. Но я не знаю, почему он не поверил моим словам, тогда, когда после меня Апраксин, молодой человек, почти ему незнакомый, сказал ему те же слова, не объясня даже причин,[2] на которых он их основал, и он ему поверил и успокоился. Правда, в письмах моих были жесткие слова, но я их нарочно поставил с тем, чтобы дать ему случай этими же самыми словами попрекнуть себя самого за свое малодушие. Слова эти были те же самые, которые я употреблял весьма часто в разговоре и за которые он никогда не сердился. Но теперь только вижу, какая разница сказать то же самое в письме и на словах. Скажите ему, что я прошу у него прощенья. Я не только не думал оскорбить его, но даже хотел излечить от беспокойства и, как плохой доктор, не попал как следует в болезнь. Но до свидания.

Весь ваш Г<оголь>.

Около 10 мая, а может и прежде, надеюсь, увидимся. На письмо это ответ, однако ж, напишите немедленно, чтобы я знал, что оно вами получено.

### 1310. М. П. Погодину

Апреля 30 <н. ст. 1847>. Неап<оль>.

Благодарю тебя за твои усладительные строки, хотя их было очень много. Пожалуста, пиши ко мне. Не избирай для этого времени. Но пиши на небольших лоскутках, какие тебе попадутся

[1] *Далее начато:* Теперь

[2] не объясня ему и причин

под руку, — всё, что ни просится в тебе излиться. Поверь, что ты найдешь сердце, способное разделить всякое сердечное движение твое. Чувствую, что только теперь начинаю быть достойным дружбы и могу быть полезным другу. Вот тебе покуда известие о моих местопребываниях: отсюду я отправляюсь первых чисел мая. Весь июнь и начало июля — во Франкфурте (то есть на водах близ Франкфурта). Август и начало сентября — в Остенде на морском купаньи, которое доселе было единственным средством, мне помогавшим. На осень — в Италию, чтобы оттуда отправиться к Святым Местам. Если ты еще не переменил своего намерения, как бы нам хорошо было теперь отправиться вместе. Мы[1] были бы очень теперь нужны друг другу. Помощь брата, необходимая на всяком пути в нашей жизни, становится еще необходимей, когда путь этот — богомолье. Передай при сем приложенные два письмеца твоим матушкам. Затем от всей души тебя обнимаю и целую твоих деток.

Твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Его высокородию Миха<и>лу Петровичу Погодину.

В Москве. Близ Девичьего монастыря, в собствен<ном> доме.

## 1311. А. М. Погодиной

<30 апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

Здравствуйте, моя добрая Аграфена Михайловна! Хотя очень много времени прошло с тех пор, как мы с вами расстались, но я не позабыл ни доброты вашей, ни вашего радушного гостеприимства и помышляю с удовольствием о том, когда приведет нас Бог опять увидеться. Уведомляю вас, что если любезный сын ваш Михаил Петрович отправится к Святым Местам, то он найдет во мне верного попутчика. Я в дороге человек очень расторопный, умею запастись и съестными припасами, и всем, что нужно для пути, а потому вы на этот счет будьте совершенно покойны. Мы за вас помолимся у Гроба Господня, а вы за нас помолитесь в Москве. Во всяком случае, желая вам полученья всего того, о чем вы молитесь, остаюсь всегда признательный вам

Н. Гоголь.

[1] Мы бы

## 1312. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Апреля 8. 1847. Москва.

Вслед за первым вот к тебе и второе письмо, любезнейший Николай Васильевич! Как ты теперь поживаешь? Что твое здоровье? Успокаивается ли дух? Недели две я не был в городе, никого не видал и не знаю, получил ли кто от тебя письмо в это время.

Продолжаю о книге — я остановился, кажется, на предисловии. Состоя из желаний и требований, физически и нравственно невозможных, оно казалось мне (и теперь, через три месяца, кажется) плодом расстроенного воображения, состояния ненормального. Такие явления случаются с нами от разных причин: долговременного уединения, одинокого напряженного размышления, усиленной деятельности и даже многих причин физических. Недавно малый пример видел я на Шевыреве. Приезжает он ко мне в воскресенье и остается полчаса, говорит дело, но в его глазах, голосе, движениях, оборотах речи я заметил что-то необыкновенное. Проводив, еду тотчас к знакомым, расспрашиваю стороною о последних его лекциях — и слышу многие вещи, кои удостоверяют меня, что он встревожен. Слышу, что он в газетах тогда же спорит с Мельгуновым о благотворительности, в «Листке» — с одним молодым человеком о воспитании. Плохо дело, думаю я, еду чрез два дня к нему на публичную лекцию. Речь шла об «Одиссее», но что же — весь спор и вся твоя книга просвечивала мне насквозь в его словах, хотя они, казалось, были обращены совсем в другую сторону, и он был весь не свой. Я испугался, написал к нему на другой день письмо, прося оставить лишние споры, отказаться на время от общества и его толков, запереть двери от посетителей (чтоб река вступила в берега). Слава Богу, волнение прошло скоро, и он успокоился мало-помалу. В таком положении мы принимаем все слишком к сердцу, и предметы представляются совершенно под другим углом. Может быть, и ты после болезни был так настроен и написал свое завещание, разве не имел какой особой мысли или какого особого намерения, что за тобой водилось, — придумывать, катая шарики, разные мудреные вещи, положим, для благих, по-твоему, целей. О, друг мой, в простом сердце Бог почивает, говорит русская пословица. Простоты, простоты, и берегись, да не заходит ум за разум. Где тонко, тут и рвется!

Возвратимся к книге (которой все-таки у меня нет дома). Вот что представлялось мне, когда я думал об ней. Ты посеребрился христианством, но не просеребрился. Не казалось оно мне проникнувшим твою душу, а только покрывшим.

Христос говорит беспрестанно: «Не учите, не становитесь учителями», а ты берешься учить и учишь всех от первой строки до последней.

«Не осуждайте», — говорит Христос, а ты все точно осуждаешь.

«Принимайте пощечины», — а тебе кажется, что надо давать пощечины, да еще и покрепче, и даешь. «Исправляйтесь молча», — а ты напоказ.

Ты говоришь: я отдал свои пороки героям «Мертвых душ» и стал лучше. Не ясно ли, что ты слишком неопытен в истинной христианской жизни? Христианин никогда не скажет — не может сказать, — чтоб он от какого порока избавился. Если он сказал так, уж и согрешил, уж и упал, приобрел больший порок. По этой же причине мне очень странно было слышать от кого-то, что ты не поехал в нынешнем году в Иерусалим, потому что ты не готов. Но если ты скажешь когда, что ты готов, то в ту самую минуту ты будешь так далеко от Иерусалима, как никогда. Усовершенствования делаются в нас неприметно, и горе, если мы любуемся ими. Рост духовный, как рост физический, таинствен, и от греха никогда мы не далеки. Эти наблюдения служили мне всегда доказательством первородного греха, человеческого падения и давали понимать мудрость апостольского выражения, что всякий человек есть ложь.

Далее — ты говоришь часто: я грешен, я никуда не гожусь и тому под<обное>. — Эти гуртовые покаяния решительно ничего не значат, и делать их очень легко! Иван Васильевич твердил у нас беспрестанно, что он самый окаянный грешник, и все-таки это не мешало ему проливать кровь ежеминутно. Нам трудно признаваться по частям и сказать: вчера обидел я Ивана по такому-то случаю; ныне осудил Федора; третьего дня мстил тому-то, сказал вот что с намерением. Во всей своей книге унизительного о себе ты не сказал ни слова — и все увидели в ней гордость, а не смирение, как это и есть: потаенная, сокрытая от тебя гордость под мнимой тобою одеждой смирения. Тебе кажется, что ты смирен, а ты горд. Любви сердечной в книге мне не слышалось, так точно и в первом письме твоем к Аксакову, от которого так и несло холодом, которое проникнуто было мыслию об усовершенствовании только себя, о пользе для себя и в других видело только орудия. Это письмо было для меня противно, так что я, получа последнее твое письмо, дышащее любовью, не хотел было показывать его им, чтоб не огорчить противоположностью,

но услышал от них, что они получили в одно время со мною также письмо в этом роде; тогда прочел уже я им и свое. Но поздно. Да и места нет. Прощай. Обнимаю тебя. До следующей недели.

Твой М. Погодин.

### 1313. А. А. Иванову

<Конец апреля (н. ст.) 1847. Неаполь>

Александр Андреевич! Циммерман не будет в Риме, а потому исполните все его предписания, посоветовавшись с Аллерсом.

Весь ваш Г<оголь>.

До свиданья!

### 1314. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Апреля 10. 1847. Москва.

Тяжело мне, грустно — неприятности, оскорбления, огорчения, и к каждому из них находится подтвердительный эпиграф из искренних мнений самого близкого человека. Меня колют, режут, пилят и говорят, что это справедливо: сами друзья то же свидетельствуют! Если бы ты знал, сколько ты сделал мне вреда, зла, существенного, положительного, своими выходками, которые поминутно звенят в ушах моих... Но оставим еще это. Может быть, так мне кажется, предполагается. Довольно — я страдаю и подчас лишаюсь терпения: скорблю, грущу. В таком-то расположении принялся теперь за перо, хоть третьего дня только послал к тебе второе письмо.

Не помню уже, на чем остановился. Все равно. Буду говорить тебе об общих твоих советах. Они все показывают совершенное незнание обстоятельств, о коих ты берешься учить. Например, о западном направлении — ты не имеешь вовсе никакого понятия, куда оно начало было хватать и хватает. Какой яд разливается у нас! Надо наблюдать, следить постоянно, внимательно, чтоб оценить или взвесить, какую пользу или вред, а ты прочтешь едва страничку, чрез два месяца в третий, да и пустишь шутку. Побывай-ка ты в губернии, поговори с капитан-исправником или заседателевой дочерью, которая начиталась мадам Занд (раздаваемой даром при наших журналах), почитай новые русские повести да потом и суди! В пять лет ныне происходит в обществе то, на что требовалось прежде пятьдесят. Посмотри на молодых людей нового поколения, в Петербурге, Москве, да и посмейся с ними,

если найдешь духу. А ты поехал с давно прошедшими типами и потом подаешь свои советы!

Во всякой статье твоей есть прекрасные вещи и вместе такие, кои явно для специальных знатоков обнаруживают твое неведение. Одни вопиют против смешения духа с душою, которых при рассуждениях этого рода смешивать то же, что тело с душою. Другие указывают на несообразность понятий о Русской Церкви и в чем состоит православие. Об «Одиссее» все сначала еще пожали плечами. Пятое евангелие не сделает того, что приписываешь ты переводу Жуковского. Для всех ясно, что это сочиненное письмо на заданную себе тему — похвалить приятеля. Говорят: Гомер написал «Одиссею», Жуковский перевел «Одиссею», Гоголь рецензировал «Одиссею», Языков напечатал рецензию об «Одиссее», а по справке оказалось, что по-гречески из всех четырех знал только один — Гомер. Такое увлечение воображения в строгом христианине невозможно. Да, верно, ты и не читывал «Одиссеи», кроме двух-трех отрывков, выслушанных у Жуковского. Мужик будет читать «Одиссею» и сравнивать свое положение с языческим и сделается лучше — это такой вздор, какой может натянуть студент или семинарист, получивший заказ панегирика.

Всех смущает больше всего это беспрерывное желание быть апостолом, учительствовать, когда христианин начинает обыкновенно с себя. Сказать помещику в наше время: делай так — и ты будешь богат, как Крез, — непозволительно. Крезы — черт с ними. Дай Бог, чтобы Крезов не было.

Что ты пишешь о Красавице — письмо годится в альманах, в арабески, и только, приятный комплимент, а Сама Божия Матерь не могла произвесть таких чудес, каких ты ожидаешь, я не знаю, от какой дамы. Точно так же или гораздо более соблазняют всех ожидания от твоей любви, когда Сам Иисус Христос отведен был людьми на распятие. Прекрасная поэзия, которая отстает от действительности на неизмеримое расстояние и дает повод ко множеству недоразумений. Противно всем твое стремление (давнее) тереться около знатных, к которым ты очень пристрастен, видишь достоинства в посредственностях и вообще не находишь сказать им ничего, кроме лести, когда все зло там. Но довольно.

Есть, однако ж, люди, которым книга нравится, не только частями, как мне, но и вся сполна. Это большей частию люди средние, которые не замечают и не разбирают всех нитей основы и утка, а любят послушать нравоучения и посмотреть хороших видов. Досадно мне, что некоторым лицемерам еще она нравится.

О получении этого письма меня уведомьте. Отсюда я выезжаю на днях.

<*На обороте:*>
Poltava. Russia.
Ее высокоблагородию Марии Ивановне Гоголь.
В Полтаве. Оттуда в д<еревню> Василевку.
Russia.

### 1316. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Венеция, 1-го мая <н. ст.> 1847 г.

Надобно писать к вам, Николай Васильевич, хоть даже для того, чтоб больше знакомить с собою. Теперь в Москве все кричат, чтоб я скорее ехал, что дескать надобно лично переговорить о журнале, — я не еду, по разным важным для меня причинам. Между прочим, и для того не еду, чтоб выгадать как можно более уединения. Задача журнала в настоящую минуту такова, что когда представишь себе полное... куда полное! хоть даже приблизительное, решение — и тогда голова кружится. Не знаю я, как для кого, но для меня так ясно, что мы назначены занять собою следующий период истории, как нельзя более. Это не только ясно в общем выводе, но отчетливо представляется душе во всех частностях. Беда та, что между представлением души и изложением целая бездна, — первое условие ясности понимания этого — любовь такая, которая, сосредоточиваясь около своего, не допускала бы ненависти ни к кому чужому. В понятии все это так, — шаг на дело — и пошло все вверх дном. Изучение истории дало мне еще вывод: кроме того, что мы должны быть представителями человечества в грядущем периоде, именно, что мы вступим на человеческое господство без битвы, без уничтожения до нас бывшего, а только приведем все в общее согласие, водворим стойкий мир и спокойствие незыблемое. Мне весьма важно передать вам эти убеждения, потому что они должны отразиться во всех подробностях будущего журнала, — а журнал, со времени начала предприятия нашего, может совершенно захватить в себя всю мою умственную деятельность. Итак, в нем мне хотелось видеть русскую народность не на словах, а в сущности. Проповедуя всем: и взглядом на вещи, понятиями, чувствами, самым выбором предметов, одно именно все русское (хоть множество будет статей о Западной Европе), он не должен быть врагом Западу, потому что Запад есть точно так же, как Россия, орудие Промысла, для исполнения Его

предвечных законов. Тут я наперед предвижу ужасную трудность. Сказать: это не хорошо нам, не осуждая того, о чем говоришь, — ужасно трудно. Одним словом, судить, не приговаривая, очень и очень трудно. Трудно это нам особенно потому, что, браня Запад, мы не браним отступления от Божеских предначертаний и высказываем собственное негодование за то, что мы ему подчинились; не подчиниться же не могли, виновато наше воспитание. Лично я вины этой не вижу; Богу больше, чем нам, известно, какими путями вести человека и человечество; нельзя резко разделить на два соприкасающиеся периода жизни, — тут в этой невозможности я вижу историческую необходимость временного слияния нашего с Европою. Самостоятельность будущего периода осталась в самостоятельности нашей природы, которая в самые минуты необходимого слияния восстает против него, потому что чувствует себя неспособною носить чуждое иго. Все это в общих выводах легко понять, и все ясно представляется уму, но в журнале нет общих выводов, там надобно говорить статьями, следовательно отдельными мнениями и фактами.

Мне нечего вам говорить более; вы поймете, как этот труд сильно лежит на моем сердце. Поняв, я считаю безнравственным не высказывать, а начинаешь высказывать, язык не находит слов, ум останавливается на ходу мышления. Разумеется, при этом чувствуешь главную причину всего; нет чистоты и искренности. Если бы Бог дал столько чистоты, чтоб личности все уничтожались в деле, тогда защита истины никогда не вызвала бы вражды, именно потому, что нет развращенного сердца, в глубине которого ясно или темно, не было бы чувства истины. Прошу вас, Николай Васильевич, пишите ко мне, что и о чем я не знаю, но прошу потому, что в минуту внутреннего колебания чрезвычайно как нужна опора. Она была у меня в чистой и праведной душе Языкова, но Богу угодно было взять его; теперь в Москве моя душа не находит опоры. Я глубоко уважаю многих, но одного уважения мало. Для ума, — да, пожалуй; а душа его не принимает и им не удовлетворяется. Не стану обманывать вас, может быть, и ваше слово не даст мне никакой опоры, — я вас почти не знаю в отношении к себе, но это не мешает искать. Не знаю, куда адресовать к вам, и потому пишу чрез Иванова... Как-то вы найдете его, а я оставил очень грустным! Прощайте, дай Бог вам здоровья и душевного спокойствия: когда вы его приобретете — и с нами поделитесь. Душевно уважающий вас Ф. Чижов.

Иордан даст вам портрет Языкова, возьмите один экземпляр и для Жуковского. Мой адрес: à Prilouki gouv. de Poltava, par Brody. Ф. В. Чижову. В Прилуки Полтавской губ<ернии>; а оттуда в село Секиренцы.

### 1317. А. А. Иванову

<6 мая (н. ст.) 1847. Неаполь>

Уведомляю вас, Александр Андреевич, что я выезжаю из Неаполя во вторник 11 мая, стало быть скоро, пополудни на другой день, как уверяют управляющие конторою дилижансов, буду у вас в Риме. А потому, если пожелаете встретить меня, то приходите между двенадцатью и часом в догану[1] (в середу, 12-го). Но помните, что случается дилижансу иногда и опоздать, а потому не смущайтесь замедленьем.

До свиданья!

Ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Roma.
Al signore Alessandro Iwanoff (Russo).
Roma. Caffe Greco. Via Condotti. Vicina alla piazza di Spagna.

### 1318. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

<16 апреля 1847. Москва>

Вот тебе и второе письмо Павлова, любезный друг. Извини, что не пишу к тебе, как бы хотел. Дай срок, окончу скоро свой публичный курс. Тогда буду свободнее. Покамест посылаю тебе все, здесь о тебе напечатанное. Обнимаю тебя.

Твой С. Шевырев.

Апр<еля> 16. 1847. Москва.

У Великого Князя Наследника родился сын Владимир, и вчера Москва праздновала новорожденного.

Книга твоя, там что ни пиши, говорят, вся разошлась. Выхлопотал ли ты новое издание в том виде, как хотел?

Второе письмо Павлова произвело менее действия. Говорят, что он тебя разбирает юридически, как стряпчий. Нравится это так называемой ультразападной партии, которая на тебя сильнее всех рассердилась за книгу.

[1] контору

## 1319. Протоиерею Матфею Константиновскому

*Черновая редакция*

<9 мая (н. ст.) 1847. Неаполь>

Что могу сказать вам в ответ на чистосердечное письмо ваше? Благодарность! вот первое слово, которое я должен сказать вам, хотя очень хотелось бы мне иметь от вас не такое письмо. Все слова ваши, как о евангельском значении милостыни, так и о прочем — святая истина. В них я убежден, против них не спорю, а между тем в моей книге[1] как бы я против этого говорил. Как изъяснить это явление? Скажу более: статью мою о театре я писал[2] не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц и множества самых странных пиес[3], которые в последнее время стали кучами переводить с французского. Я хотел отвадить от этого указаньем на лучшие пиесы и напомнить в то же время авторам сочинять более нравственные и возвышающие пиесы и выразил всё это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли! Никогда я ее не имел, даже и тогда, когда гораздо меньше чувствовал святыню великих истин. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось в груди само собой желание после увеселенья идти к Богу — поблагодарить его, а не идти к чорту — послужить ему. Вот была основная мысль моей статьи, которую я не сумел хорошо выразить. Скажу вам нелицемерно и откровенно, что виной множества[4] недостатков моей книги не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя и неуменье выражаться. Я начал поздно свое воспитание; в такие годы, когда другой человек уже думает, что он воспитан. Обрадовавшись тому, что удалось победить в себе многое, я вообразил себе, что уже могу поучить и других[5]. Издал книгу и на ней увидел ясно, что я еще ученик. Желанье и жажда добра, а не гордость толкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя книга, я увидел на ней же, что есть во мне и гордость, и самоослепленье, и много того, чего бы я и не увидал в себе, если бы не была издана моя книга. Эта

[1] в моей книге показалось вам

[2] писал им

[3] странных французских пиес

[4] этого множества

[5] поучить тому и других, чему

строптивость, дерзкая замашка[1], которые так оскорбили вас в моей книге, произошли тоже от другого источника[2]. Воспитывая себя самого суровою школой упреков и поражений и находя от них пользу существенную душе, я был не шутя одно время уверен в том, что и другим это полезно, и выразился грубо и жестко. Я позабыл, что голосом любви следует говорить, когда хочешь чему поучить других, и чем святее истина, тем смиреннее нужно быть тому, который хочет возвещать о ней. Я попался[3] сам в тех же самых недостатках, в которых попрекнул других. Словом, всё в этой книге обличает[4] невоспитанье мое. Бог дал большое именье мне со всеми угодьями и удобствами, а сам управитель далеко еще не умен так, чтобы уметь управлять им. Вот вам мой портрет! Сил много, но уменья править ими еще мало.[5] Может быть, от того самого, что слишком много дано сил. Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состояньи упасть духом. Но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала. Нет, есть хранящая святая сила, которая не дремлет в мире, которая направляет к хорошему даже и то, что от дурного умысла произвел человек. А книга моя не от дурного умысла. Виной было неразумие мое и самонадеянность[6], меня уверившая, что я готов уже заговорить о том, о чем еще не умел умно заговорить. Зато Бог и наказал меня тем, что все до единого вопиют теперь против моей книги. Но как милостиво самое Его наказанье! В наказанье Он мне дал почувствовать смирение: лучшее, что только можно было мне дать. Каким бы другим образом я мог бы взглянуть на самого себя, если бы не посыпались на меня градом со всех сторон упреки и обвинения? (Если бы кто увидал те жесткие письма, исполненные упреков, которые я получаю во множестве отовсюду, и если бы прочитал те статьи, которые печатаются против меня, у него, может быть, закружилась бы на время голова.) Вы сами, может быть, знаете, что от людей близких и всегда с нами живущих не услышишь осуждения: за наши небольшие им услуги, иногда даже просто за одну ровность нашего характера, они уже готовы почитать нас за совершеннейшего

[1] дерзкая замашка и повелительный тон

[2] *Далее начато:* Имея много людей, не любивших меня

[3] Словом, я попался

[4] обличает только

[5] *Далее начато:* Оттого многое неуме<ренное>

[6] самоослепление

человека. Но когда раздадутся со всех сторон крики по поводу какого-нибудь нашего публичного действия и разберут по нитке всякую речь нашу и всякое слово и когда, руководимые и личными нерасположеньями, и недоразумениями, станут открывать в нас даже и то, чего нет, тогда и сам станешь в себе искать того, чего прежде и не думал бы искать. Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Книга моя есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную. Я краснел от стыда и закрывал себе лицо руками при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился о многом. Отсутствие мест, выпущенных[1] цензурою и не замененных ничем другим, разрушивши связь и сделавши темным и почти бессмысленным многое, еще более увеличило ее недостатки в глазах моих. Итак, книга моя покуда полезна для меня, и это я уже считаю знаком милости Божией. Что же до других, то мне всё как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных и грешных молитв, то ради молитв тех, ему угождающих, которые молятся обо мне, ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву. Я собираю весьма тщательно толки о моей книге со всех сторон и отчеты о впечатлениях, ею производимых. Сколько могу судить по тем, которые доселе имею, книга моя не произвела почти никакого впечатления на тех людей, которые находятся уже *в недре Церкви*, что весьма естественно:[2] кто имеет у себя дома лучший обед, тот не станет по чужим домам искать дурного. Кто добрался до родника вод, тому незачем бегать за всякими полугрязными ручьями, хотя бы и бежали они к той же реке. Из тех, которые находятся в недре Церкви и точно веруют, многие даже вооружились против моей книги и стали еще бдитель<нее> на страже собственной души своей. Книга моя, напротив, несколько подействовала на тех, которые никогда не ходили *и не ходят в церковь*, которые даже не захотели бы и выслушать слов, если бы увидели, что вышел[3] поп сказать их. Если это правда и если, точно, некоторые, прочитавши мою книгу, пошли в церковь, то это уже одно может успокоить меня. Там, то есть в Церкви, они найдут

[1] выброшенных
[2] *Далее начато:* тому, кто сидит уже у самого источника
[3] вышел к ним

лучших учителей. Довольно, что занесли уже ногу на праг ее двери. О книге моей они позабудут, как позабывает о складах ученик, выучившийся читать по верхам. Причина этого явления есть та, что в книге моей есть действительно одна та правда, которую покуда заметили очень немногие. В ней есть душевное дело, исповедь непритворная такого человека, который почувствовал, что воспитанье его только что начинается[1] и что следует именно воспитываться тогда, когда, вышедши из школы, думаешь, что стал готовым человеком. Там есть и самый процесс такого дела, доступный даже и не христианину, несмотря на всю неточность моих слов и выражений.[2] Кто уже только помыслит подобно мне о том, чтобы быть лучше, тот рано или поздно встретится со Христом, увидя ясно, как день, что без Него нельзя сделаться лучшим. Мне кажется, что напрасно все те люди, которые имеют дело с душой человека, не обратили внимания на эту сторону моей книги. Мне кажется, что следовало бы даже, отбросивши в сторону все оскорбляющие слова, резкие выражения и даже целиком те статьи, на которых отразились мое несовершенство, недостатки[3] мои, прочитать внимательно и даже несколько раз некоторые статьи, особенно те, где ум не может быть вдруг судьей и которые проверить можно только *собственной душой* своей. Как бы то ни было, но, если вы заметите, что книга моя произвела на кого-нибудь вредное влияние и соблазнила его, уведомьте меня, ради Самого Христа, о том обстоятельно и отчетливо, не скрывая ничего. Мне нужно это знать. Бог милостив. Если Он попустил меня сделать злое дело, то Он же поможет и исправить его. Я положил себе долгом не писать ничего важного по тех пор, пока не поучусь лучше делу и не приобрету языка более кроткого и никого не оскорбляющего. Но некоторые необходимые объяснения на мою книгу, равно как и сознанье о том, в чем я ошибся, я должен буду сделать непременно, чтобы не соблазнились юноши и люди неопытные. Мне пришло на мысль, что, может быть, вы опасаетесь какого-нибудь влияния с моей стороны на Александра Петровича (опасенье очень естественное для вас, так его любящего!), а потому считаю долгом известить вас, что он не со мной. Я давно уже не видал его. Во время же нашего пребывания вместе разговоры у нас были совсем не о тех предметах, о которых помещены во плоти письма. Видя его тоскующую душу и безотрадные

[1] начинается тогда
[2] моих слов и выражений и гордость в самом смирении. Мне кажется, что
[3] несовершенство и недостатки

жалобы на жизнь, потерявшую для него цену, которой конца <он> ожидал с нетерпеньем, я старался склонить его взять какую-нибудь должность внутри России и взглянуть на это как на дело христианское для спасения души своей, уверяя его, что, только делая добро другим и позабывши себя для других, можно спастись самому. К этому меня побуждала и всем свойственная любовь к земле своей. Я услышал о множестве всякого рода несправедливостей и беспорядков, происходящих ныне от начальников, не умеющих как следует взяться за это дело. Александр Петрович как человек, искушенный опытом и всякими испытаньями, мне казался теперь особенно нужным в России. Об этом я писал к нему действительно письма, которые, я не знаю почему, не попали в мою книгу и не пропущены, тогда как, по моему убеждению, они гораздо полезнее и нужнее всех помещенных. О театре и подобных тому вещах мы с ним, кроме каких-нибудь двух-трех слов, не имели разговоров. Этот предмет ни его, ни меня не мог занимать. Письмо о театре я писал, имея в виду публику, пристрастившуюся к балетам и операм, на которые тратят теперь страшные суммы, и в то же самое время имел в виду издателя журнала «Маяк», С. О. Бурачка, который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный человек и нелицемерно верующий, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что они не брали в предметы христианских сюжетов. Я хотел не оскорбить издателя «Маяка», но только напомнить ему самому как христианину о смиреньи, вследствие которого не должен человек торопиться осуждать, и выразился так, что моими словами действительно он мог остаться обижен. Мне показалось из одного места вашего письма, как будто вы его знаете. Испросите же у него прощенья мне;[1] я бы и сам испросил, если бы знал, куды писать к нему. Скажите ему, что душа моя, несмотря на все недостатки мои, никогда, однако же, даже и тогда, когда я был гораздо хуже, неспособна была питать озлобление к людям, тем более к людям, которых я уважаю. А Бурачка я уважаю истинно и нелицемерно. Простите и вы меня, добрая, молящаяся душа! Вам я нанес, может быть, больше всех оскорблений выпуском моей книги. Очень понимаю, что, заботясь и молясь о спасении всех, вы больше всех должны были оскорбиться появлением книги, вводящей в соблазн. Итак, видите сами, что обо мне нужно больше молиться, чем о всяком

[1] *Далее начато:* которое

другом. Положение мое опасно[1]. Молитесь же, да Бог не оставит меня, не предаст меня в добычу лживого мудрствования собственного, но вразумит святым разумом. Всё остальное, чего не вместит письмо, расскажет вам Александр Петрович, который стремится к вам, как птица из клетки на волю, и, верно, недаром стремится.

Много вам благодарный за искренность вашу и умоляющий вас о прощении

Н. Гоголь.

*Окончательная редакция*

Неаполь. 9 мая <н. ст. 1847>.

Что могу сказать вам в ответ на чистосердечное письмо ваше? Благодарность! Вот первое слово, которое я должен сказать вам, хотя очень хотелось бы мне иметь от вас не такое письмо. Все слова ваши, как о евангельском значении милостыни, так и о прочем — святая истина. В них я убежден, против них не спорю, а между тем в книге моей изложено так, как бы я был против этого. Как изъяснить это явление? Скажу более: статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц и множества самых странных пиес, которые в последнее время стали кучами переводить с французского. Я хотел отвадить от этого указанием на лучшие пиесы и выразил всё это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли! Никогда я не имел ее, даже и тогда, когда гораздо меньше чувствовал святыню святых истин. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения идти к Богу — поблагодарить его, а не идти к черту — послужить ему. Вот была основная мысль той статьи, которую я не сумел хорошо написать. Скажу вам нелицемерно и откровенно, что виной множества недостатков моей книги не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя. Я начал поздно свое воспитание, в такие годы, когда другой человек уже думает, что он воспитан. Обрадовавшись тому, что удалось в себе победить многое, я вообразил, что могу учить и других, издал книгу и на ней увидел ясно, что я — ученик. Желание и жажда добра, а не гордость, подтолкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя книга, я увидел на

[1] точно, опасно

ней же, что есть во мне и гордость, и самоослепление, и много того, чего бы я не увидал, если бы не была издана моя книга. Эта строптивость, дерзкая замашка, которая так оскорбила вас в моей книге, произошла тоже от другого источника. Воспитывая себя самого суровою школою упреков и поражений и находя от них пользу существенную душе, я был не шутя одно время уверен в том, что и другим это полезно, и выразился грубо и жестко. Я позабыл, что голосом любви следует говорить, когда хочешь чему поучить других, и чем святее истина, тем смиреннее нужно быть тому, который хочет возвещать о ней. Я попался сам в тех самых недостатках, в которых попрекнул других. Словом, всё в этой книге обличает невоспитанье мое. Бог дал большое именье, множество в нем всяких угодий и удобств, земли не окинешь глазом, а сам управитель, которому поручено это имение, еще не умеет управлять им. Вот вам портрет мой! Сил много, но уменья править этими силами мало, — может быть, от того самого, что слишком много дано сил. Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом, но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала. Нет, есть хранящая святая сила, которая не дремлет в мире, которая направляет к хорошему даже и то, что от дурного умысла произвел человек. А книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною. Зато Бог и наказал меня, наказал меня тем, что все до единого вопиют против моей книги, хотя и разнообразны до бесконечности причины этих криков. Но как милостиво и самое наказание Его! В наказание Он дает мне почувствовать смирение — лучшее, что только можно дать мне. Каким бы другим образом я мог взглянуть <на> себя, если бы не посыпались на меня градом со всех сторон упреки и обвинения? (Если бы кто увидал те жесткие письма, исполненные упреков, которые я получаю во множестве отовсюду, и прочитал бы те статьи, которые теперь печатаются во множестве против меня, у него б закружилась на время голова.) Вы сами, верно, знаете, что от людей близких и всегда с нами живущих не услышишь осуждения: за наши небольшие им услуги, иногда даже просто за одну ровность нашего характера, они уже готовы почитать нас за совершеннейшего человека. Но когда раздадутся со всех сторон крики по поводу какого-нибудь публичного нашего действия, и разберут по нитке всякую речь нашу и всякое слово, и когда, руководимые и личными нерасположеньями,

и недоразумениями, станут открывать в нас даже и то, чего нет, тогда и сам станешь искать в себе того, чего прежде и не думал бы искать. Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился о многом; отсутствие мест, выпущенных цензурою и не замененных ничем другим, разрушивши связь и сделавши темным, почти бессмысленным многое, еще более увеличило недостатки ее в глазах моих. Итак, книга моя, прежде чем быть полезной для других, полезна и для меня, и это считаю знаком ко мне милости Божией. Мне нужно зеркало, в которое я должен глядеться всякий день, чтобы видеть мое неряшество. Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, Он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему молятся обо мне и умеют угождать Ему, ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву. Теперь я собираю весьма тщательно толки о моей книге со всех сторон, равно как и отчет о всех впечатлениях, ею производимых. Сколько могу судить по тем, которые доселе имею, книга моя не произвела почти никакого впечатления на тех людей, которые находятся уже *в недре Церкви*, что весьма естественно: кто имеет у себя дома лучший обед, тот не станет по чужим домам искать худшего; кто добрался до самого родника вод, тому незачем бегать за полугрязными ручьями, хотя бы и они стремились в ту же реку. Напротив, из тех, которые находятся в недре Церкви и действительно веруют, многие даже вооружились против моей книги! и стали еще бдительнее на страже собственной своей души. Книга моя подействовала только на тех, которые *не ходят в церковь* и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе. Если это правда и если, точно, некоторые пошатнулись в неверии своем и пошли хотя из любопытства в церковь, то это одно уже может меня успокоить. Там, то есть в Церкви, они найдут лучших учителей. Достаточно, что занесли уже ногу на порог дверей ее. О книге моей они позабудут, как позабывает о складах ученик, выучившийся читать по верхам. Причину этого для вас, может быть, странного явления я могу объяснить тем, что в книге моей,

несмотря на все великие недостатки ее, есть, однако же, одна только та правда, которую покуда заметили немногие. В ней есть душевное дело, исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитанье наше начинается с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось. Там изложен отчасти и процесс такого дела, понятный даже и не для христианина, несмотря на неточность моих слов и выражений, непонятных для не страдавшего теми недугами, какими страждут неверующие люди нынешнего времени. Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие. И потому-то, я думаю, напрасно не обратили внимания на эту сторону моей книги все те, которые имеют дело с душою человека. Мне кажется, что следовало бы даже, отбросивши на время в сторону все оскорбляющие слова, резкие выражения и даже целиком те статьи, на которых отразились мое несовершенство, недостатки и невежество, прочитать внимательно и даже несколько раз некоторые статьи, особенно те, где ум не может быть вдруг судьей и которые проверить можно только *собственной душой* своей. Как бы то ни было, но если вы заметите, что книга моя произвела на кого-нибудь вредное влияние и соблазнила его, уведомьте меня, ради Самого Христа, обстоятельно и отчетливо, не скрывая ничего. Мне нужно знать это. Бог милостив: если Он попустил меня сделать злое дело, то Он же поможет мне и исправить его. Хотя я положил себе долгом не писать по тех пор, пока не поучусь лучше делу и не приобрету языка более кроткого и никого не оскорбляющего, но некоторые необходимые объясненья на мою книгу, равно как и сознанье в том, в чем я ошибся, я должен буду сделать непременно, чтобы не соблазнялись юноши и люди неопытные. Мне пришло при этом случае на мысль, что, может быть, вы опасаетесь какого-нибудь влияния с моей стороны на Александра Петровича (опасенье очень естественное для вас, так его любящего!), а потому долгом считаю известить вас, что он теперь не со мной. Я давно уже не видал его. Во время же нашего пребывания вместе разговоры у нас были совсем не о тех предметах, о которых помещены письма. Видя его тоскующую душу и безотрадные жалобы на жизнь, потерявшую для него цену, которой конца он ожидал с каким-то нетерпением, я старался подвигнуть его на деятельность и на взятие должности внутри России, мысля, что должность, взятая в смысле поприща

для подвигов христианских, может дать пищу душе его. К этому побуждала меня и любовь к родине, которая страждет много оттого, что слишком мало в ней таких должностных людей, которые заключали бы <в себе> все качества и способности Александра Петровича. Об этом я писал к нему действительно письма, которые, я не знаю почему, не попали в мою книгу и не пропущены, тогда как, по моему убеждению, они гораздо полезнее и нужнее всех помещенных. О театре и о тому подобных вещах мы с ним, кроме каких-нибудь двух-трех слов, не имели разговоров. Этот предмет ни его, ни меня не мог занимать. Письмо о театре я писал, имея в виду публику, пристрастившуюся к балетам и операм, пожирающим ныне страшные суммы денег, и в то же самое время имел в виду издателя журнала «Маяк», С. А. Бурачка, который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный и верующий человек, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что те не брали в предмет христианских сюжетов. Я вовсе не хотел оскорбить издателя «Маяка». Я хотел только напомнить ему самому как христианину о смирении, но выразился так, что словами моими действительно он мог быть обижен. Из некоторых слов вашего письма мне показалось, что вы его знаете. Скажите ему, что я умоляю его простить меня. Попросите за меня и вы также. Наконец, простите меня и вы сами, добрая и молящаяся о всех нас душа! Очень понимаю, что для вас оскорбительнее, чем для многих, появленье такой книги, от которой соблазняются те, за спасение которых вы молитесь. Еще раз повторяю вам, что цель моей книги была добрая, но вы видите сами, что обо мне нужно молиться более, чем о всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит Своим разумом, что я буду тогда? Участь моя будет страшнее участи всех прочих людей. Молитесь же обо мне, ради Самого Христа. Всё прочее, чего не вместит письмо, передаст вам лично Александр Петрович, с которым, если даст Бог, надеюсь увидеться в Париже и который стремится к вам, как птица из клетки на волю (и, верно, не даром стремится). Еще раз прося молитв ваших, прошу вас уведомить меня, хотя двумя строчками, что письмо это вами получено, без чего я не буду спокоен. Адресуйте во Франкфурт-на-Майне — или на имя нашего посольства, или просто надписавши: «poste restante».

Признательный вам много за вашу откровенность

Н. Гоголь.

## 1320. П. А. Плетневу

Неаполь. Мая 9 <н. ст. 1847>.

Я получил милое письмо твое (от 4/16 апреля) перед[1] самым моим отъездом из Неаполя; спешу, однако ж, написать несколько строчек. Ответ на твои запросы ты, вероятно, уже имеешь отчасти из письма моего к Россети (от 15 апреля), отчасти из письма к тебе (от 17 апреля). Благодарю тебя также за приложение[2] двух писем, для меня очень значительных. Вигелю я написал маленький ответ, при сем прилагаемый, который, пожалуста, передай ему немедленно. Что касается до письма Брянчанинова, то надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это познание[3] слышно во всякой строке его письма[4]. Всё сказано справедливо и всё верно. Но, чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома; но об этом предмете нечего нам распространяться. Всё это ты чувствуешь и понимаешь, может быть, лучше моего. Во всяком случае, письмо это подало мне доброе мнение о Брянчанинове. Я считал его, основываясь на слухах, просто дамским угодником и пустым попом.

Несколько слов насчет изумленья твоего моему любопытству знать все толки, даже пустые, обо мне и о моей книге. Друг мой, как ты до сих пор не можешь почувствовать, что это мне необходимо! В толках этих я ищу не столько поученья себе, сколько короткого знания тех людей, которых мне нужно знать. В сужденьях о моих сочинениях обнаруживается сам человек. Говорит журналист, но ведь за журналистом стоит две тысячи людей, его читателей, которые слушают его ушами и смотрят на вещи его глазами. Это не безделица! Мне очень нужно знать, на что нужно напирать[5]. Не позабудь, что я, хоть и подвизаюсь на[6] поприще искусства, хотя и художник в душе, но предметом моего

[1] за
[2] за два приложения
[3] Оно
[4] этого письма
[5] напирать особенно
[6] и на

художества современный человек, и мне нужно его знать не по одной его внешней наружности. Мне нужно знать душу его, *ее нынешнее состояние.* Ни Карамзин, ни Жуковский, ни Пушкин не избрали этого в предмет своего искусства, потому и не имели надобности в этих толках. Будь покоен на мой счет: меня не смутят критики и ни в чем не заставят меня пошатнуться, что здраво и крепко во мне. Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встретил ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком Божьей милости к себе. Без него как бы мне сохранить ее, сообразя то, что редкому довелось выдержать такие битвы со всякими отвлекающими от избранного пути обстоятельствами! После всех этих толков у меня только лучше прочищаются глаза на то же самое, на что я гляжу, и больше рвенья к делу. Повторяю тебе, что я слишком тверд в главных моих убеждени<ях>. Но у меня правило: всех выслушай, а сделай по-своему. И что я сделаю по-своему, всех выслушавши, то уже трудно поднять будет на публичное посмешище, даже и *временное.*

Россети прав насчет письма к его сестре. Совершенно в таком виде, как оно есть, ему неприлично быть в печати. Попроси его, чтобы он назначил карандашом все места, по его мнению, неловкие. Их очень легко умягчить, тем более, что я чувствую уже и сам, как следует чему быть. Вексель секунду я послал обратно к тебе через Штиглица, потому что здесь не взялся по нем выдать деньги банкир. Стало быть, тут[1] уж не мое распоряжение. Такова судьба его. Деньги эти береги у себя. Прокоповичу не следует ничего говорить. Письма адресуй все во Франкфурт, как я уже и писал в прежнем письме с изложением всего моего маршрута. Обнимаю тебя крепко. Бог да хранит тебя! Ради Бога, хоть несколько слов о самом себе! Я *собственно* о тебе почти ничего не знаю: все письма твои наполнены мной. Книга твоя о Крылове прекрасна *во всех отношениях.* Это первая биография, в которой передан так верно писатель. Журнал я наконец получил за генварь и за февраль, но моя книга не дошла[2].

Весь твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

S. Pétersbourg. Russie.

Его Превосходительству г. ректору С.-Петербургск<ого> Императорск<ого> университета Петру Александровичу Плетневу.

В С.-Петербурге, на Васильев<ском> о<строве>, в университете.

[1] здесь

[2] пропала

## 1321. Ф. Ф. Вигелю

<9 мая (н. ст.) 1847. Неаполь>

Мне было очень чувствительно ваше доброе участие ко мне. Благодарю вас много за ваше письмо! Вы, не оскорбившись ни дерзким тоном моей книги, ни неизвинимой самонадеянностью ее автора, обратили вниманье на *существенную* ее сторону. За *алканье добра*, которое прозрели вы в страницах ее, вы умели простить мне все ее недостатки. Нет, я не ослеплен собой в такой мере, как думают. Даже и ваша оценка моей книги (слишком высокая) меня не наполнила той гордостью, которую мне приписывают теперь вообще, хотя, признаюсь вам чистосердечно, я всегда вас почитал за очень умного человека и, стало быть, имел бы право от вашего мнения возгордиться. Книга моя есть отчет в моей внутренней возне. В ней видно, что строился человек, точно, для чего-то доброго, хотя <еще> и не состроился; оттого и все эти заносчивые замашки, неряшество, неосмотрительность, темнота и проч. и проч. Зрелость и юность вместе! То состояние, которого представитель моя книга, уже во мне миновалось. Доказательством этого служит мне то, что я краснею от стыда за многое, в ней выраженное. Но без этой книги, может быть, мне трудно было бы достигнуть той простоты, которая мне необходима. Она, точно, есть для меня какое-то очищение. После нее я стал проще и яснее духом, и мне кажется, что я теперь могу заговорить таким образом, что меня выслушают без гнева. Не могу вам изъяснить, как мне было приятно прочесть те строки вашего письма, где мельком показали вы мне вашу душу и дали мне случай познакомиться с вами ближе. Не питать негодования против личных врагов — это уже очень много! Это начало любви. Любить же *добро земли своей*, как любили его всегда вы, есть еще более *необщее* всем качество и стоит многих громких заслуг и выслуг. Я уверен, что в ваших записках есть много того, что способно сообщить это качество и другим. Ваше имя не будет позабыто в России, хотя, может быть, теперь на время и позабыли о вас. Это одно уже должно утешить вас в минуты грустные, но кажется, что Бог пошлет вам минуты сладкие, описанием которых вы увенчаете искреннюю исповедь вашу, которая, как я слышал, находится в ваших записках.

Но прощайте. Бог да хранит вас. Еще раз благодарю вас.

Весь ваш Н. Гоголь.

## 1322. А. О. Смирновой

Май 10 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Сейчас, накануне моего выезда из Неаполя, получил бесценное письмо ваше, добрейший друг мой Александра Осиповна. Очень благодарю вас за него. (Оно от 22 марта.) Вы и среди болезни вашей, среди тоски, среди немощи не позабываете меня. Как возблагодарить вас! Не могу объяснить себе причин вашей болезни, не могу понять, зачем вы так долго болеете. Не затем ли, чтобы оставить вновь на время Россию? Не нужны ли вам морские купанья[1] — единственное средство в нервических недугах, которые всем равно помогают? Не проездиться ли вам в Остенде? Как бы мы вновь провели прекрасно время вместе! и как бы поблагодарили Бога за самые недуги наши, заставившие нас вновь увидеться! Прекрасна встреча с родными и с старыми товарищами нашего детства, но встреча с теми, с которыми породнились душами во имя Христа, еще прекрасней. А там — почему знать? — если самая дорога вам станет помогать и езда, почему вам не съездить в одно время со мною в Иерусалим? Может быть, после этого путешествия всё бы отлегло тоскливое от души вашей. По крайней мере, в Остенде всегда можно проездиться. Езда морем; экипажа брать с собой не нужно; из Петербурга прямо на корабль — и в неделю с небольшим вы в Остенде. Если ж из Остенде захотите отправиться подальше[2], то теперь везде железные дороги, и все-таки не нужно экипажа. Если только отложить в сторону все русские барские замашки, то можно так дешево съездить, как не съездите по России. Письма покуда адресуйте ко мне на имя Жуковского во Франкфурт. Не могу понять, почему вы так сильно беспокоились насчет моего местопребыванья и адреса, тогда как я вам не писал ни слова о том, что оставляю Неаполь. От октября прошлого года до 10 мая нынешнего сижу в Неаполе и никуды ноги не заносил отсюда. Уже в двух письмах подтвердил я вам, что я в Неаполе. Но не знаю, или не доходят мои письма? Поверьте, что я ни в каком случае не замедлил бы вас уведомить, если бы только переменял местопребыванье мое. Неужели вы думаете, что мне легко обходиться без ваших писем? Итак, вот вам мои нынешние маршруты: май в дороге; июнь во Франкфурте или в окружности его, на водах, словом — где будет Жуковский; конец июля, август и сентябрь (половина, если не весь) в Остенде. А потом опять в Неаполь, дабы отсюда уже

[1] морские ванны и купанья
[2] куда-нибудь подальше

в Иерусалим. Но прощайте... как бы хотелось сказать: «до скорого свидания!» Тороплюсь укладываться. Бог да пошлет вам облегченье и благополучные роды! Молитесь Ему: Он милостив, Он всё совершит по вашей молитве. Отвечайте хоть двумя строчками на это[1] письмо.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Kalouga. Russie.

Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.

В Калуге.

## 1323. Графу А. П. Толстому

<Около 8 мая (н. ст.) 1847. Неаполь>

Что с вами происходит, мой добрейший Александр Петрович? Почему от вас до сих пор ни строчки, ни словечка? Я всё ожидал, что вы по обещанию вашему напишете мне, как сказали вы сами в письме вашем, не далее, как через неделю, обо всем, и вот уже прошло с тех пор два месяца — и от вас ни строчки! Так что я намереваюсь (скучая неизвестностью) заглянуть к вам в Париж, и Софья Петровна о вас также беспокоится, тем более что Наталья Владимировна писала весьма длинное письмо к графине Анне Егоровне, ожидала с нетерпеньем на него ответа и не дождалась. Бог да хранит вас от всего огорчающего! Прощайте, обнимаю вас. На днях выезжаю из Неаполя и, если даст Бог, обниму вас лично в Париже.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Paris. Son excellence m-r le c-te Alexandre Tolstoy.

Paris. Rue de la Paix, № 9 (Hôtel Westminster).

<*Штемпель:*>

1847... Mag.

## 1324. С. А. Соболевскому

<Май, до 11-го числа (н. ст.) 1847. Неаполь>

Очень сожалею, что не застал дома. Зайду ввечеру.

Н. Гоголь.

[1] на ваше <*описка?*>

## 1325. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

<24–25 апреля 1847. Москва>

Москва. Апреля 24.

Письмо ваше, мой милый друг, много меня за вас порадовало, и благодарю Бога за спокойствие, в коем по Его же благости находитесь. В сем состоянии удобно обращаться туда, где всегда найдем отдохновение даже и среди печали тяжкой. Пишу на имя Василья Андреевича, говорят, еще он там пробудет. А вы, получа сие, пожалуста, не поленитесь известить *и скажите свой адрес.* Знать о вас, в каком положении находитесь, по привязанности моей мне необходимо. Говорите, не позабывать к вам писать. Беседа с вами, мой друг, доставляет удовольствие душе, постоянно вам с любовию и дружеством преданной. Наверное, относительно вас все и всегда со всею откровенностию скажу, что на сердце, в глубине коего, дай Бог нам вполне познать и почувствовать, что на сем свете нет свыше блаженства, как обращаться чаще ко Господу. Там, без слов вздохнув, все выскажешь, что радует, что печалит душу, долженствующую принадлежать[1] Единому Всемилосердному Отцу нашему, тогда в нем все, относящее<ся> до других, нам было бы близко. О Всемилосердный, наставь и помоги во всех случаях жизни идти просто и прямо. Вот, мой друг, 23 маия будет пять лет, как мы с вами расстались. С тех пор и по сию минуту не разлучаюсь с мыслию и желанием знать вас на пути к Святым Местам, молю Бога, да Он вас наставит и поможет свершить обет, давно вами данной. И крепко от всей души порадуюсь и возблагодарю Господа, сподобившего вас поклониться Гробу Его. Дай Бог вам пребывать повсюду в умилении и благодарности к беспрерывному Его о нас Отцовскому Попечению, ни в какое время нас не оставляющему[2]. Иногда в самое то время, когда в тяжкую скорбь погружена душа наша, ниспосылаются свыше невыразимо отрадные минуты; объяснить их сил не достанет, удобнее другому, с кем душа наша сроднилась, без слов понять сие блаженство. Милосерд Господь, Ему помолимся, да Он нас не оставит и поможет творить Его святую волю.

Говорите, я мало позволила себе замечаний на вашу книгу. Зато другие, мой друг, не поскупились, так щедро отправляли многое множество разных замечаний. Слыша о сем, всегда единого желала, чтобы эти замечания и упреки сопровождались любовию, а где любовь, там все скажется просто, следовательно, и внятно,

[1] *Далее было:* Ему

[2] *В автографе:* не оставляющее

и может принести желаемую пользу. Говорите, упреками воспитывается душа ваша, и упреки составляют вашу пищу. Сей год недостатку в них не было, вы столько и со всех сторон их получали, можно ими удовлетвориться и оградить себя вперед от этих утомительных, а иногда, может, болезненных и трогательных для души происшествий. Вы познали, мой друг, все это на самом опыте. Смею посоветовать, не подвергайтесь вперед подобным испытаниям, не для вас я это говорю, потому что по благости Божией вы довольно смиренно переносите, но чтобы других не вводить в грех. Если бы вам или кому бы то ни было делали замечание, упреки, имея в виду только пользу того, до кого это относится. Но по слабости людской всякой или почти всякой наперед видит себя в подобном разговоре, другому добра не сделаем, а себе вредим. Конечно, есть иные, которые в Боге и для Бога все скажут чисто и которые умеют спокойствием другого если не свыше, то, наверное, не менее дорожить, как собственным. Тем удобно замечать, они это сделают с самоотвержением и любовию, которая всегда доберется до сердца, коему[1] всегда внятно все, что от сердца скажется. Милосерд Господь. Нам все дано, чтобы пользоваться истинным спокойствием, но, к сожалению, не всякий постигает, сколь сладостно это внутреннее тихое безмятежное души состояние, приспособляющее нам видеть, даже ощущать, и дорожить спокойствием ближнего. Не заботились бы о себе тогда, когда дело идет облегчить терпящего тяготу — и возблагодарили бы Бога, избравшего нас орудием другому в чем-либо пособить. И сим никого столько не одолжаем, как себя, исполняя долг христианина. Упреки, руководствующие<ся> любовию, принесут не только пользу, но даже иногда и отраду утомленному и натерпевшему<ся> от горя сердцу. И если в сем смысле кто сумеет или хочет говорить для Бога, того беседа и ему, и другому будет отдохновением. Заключаю сие молитвою к Богу и Отцу, да Он расположит душу вашу во всех случаях, елико возможно, поступать по Его святой воле. Сего вам, мой друг, желаю от чистого сердца, из глубины коего часто и сию минуту вас, мой возлюбленный и Богом мне данной сын, вручаю, отдаю Тому, Которой все видит и все может, да Он вас не покинет и поможет пребывать в чувствах, Ему угодных. Тогда повсюду не без отрады бы существо<ва>ли. О Всемилосердный, не остави его! Спаси и помилуй! Христос с вами!

Говорите, что путешествие к Святым Местам есть важнейшее из событий вашей жизни. Это я понимаю, что вы так чувствуете,

[1] *Было:* которому

и, призвав на помощь Бога, старайтесь сближаться с исполнением этого благого, Самим Господом внушенного намерения. Говорите, вам необходимо получше приготовиться. Мой милой друг, наше дело пожелать только от чистого сердца, а Сердцевидец по благости Своей свершит благое намерение, а сами что мы можем; одно — молиться и молиться. Вы не можете представить, как мне о сем думается, как желаю и как молю Бога, чтобы Он вам помог свершить сие путешествие. Если доживу до сего, как глубоко порадуюсь вашему блаженству. Более сказать нечего. После того письма, на которое вы отвечаете, я еще к вам писала и отправила на Святой неделе, а начато было 19 марта — день вашего рождения. Будьте уверены, лишь бы только знать ваш адрес настоящий, часто вас на чужбине буду достигать письмами. Очень понимаю, что вам часто помнится о добром Языкове. Дай Бог ему Царствие Небесное, а нам память смертную и остатки дней провести так, чтобы сподобиться блаженной вечности. Посылаю вам молитву, она вам по душе придется. С любовию, мой друг, желаю, чтобы вы докончили свой труд на пользу ближнего, следовательно, и вам на утешение, и чтобы вы имели довольно сил исполнить ваше обещание. Господи, помоги ему! Прощайте, мой друг, обнимаю вас с любовию, с нею благословляю и с нею вспоминаю о вас пред Богом, да благословение Его сопутствует с вами повсюду и предохранит от всего, могущего вредить вашему Спасению. Прощайте, мой друг, еще вас благословляю, с любовию и дружеством принадлежу до гроба. Христос с вами!

25 апреля.

Хочу печатать; еще вас, мой друг возлюбленной, обнимаю, благословляю, вручаю Богу, молю Его от всего сердца, да сохранит Он вас и наставит и поможет творить Его святую волю, и, пожалуста, не предпринимайте ничего, не помолясь прежде и не испрося на то Его Отцовского благословения. Хоть не хочется, а пора расстаться. Прощайте, мой друг, еще вас благословляю, вручаю Богу, и Ему, мой друг, поверьте, что когда скажу вам, все происходит от сердца, вас любящего, и с сим чувством еще вас благословляю со всею нежностию матери. Христос с вами! Ни в каком случае не предавайтесь унынию, а молитесь. Уныние вредит, а молитва спасает.

Еще прощайте, еще благословляю и сим оканчиваю. Христос с вами!

*<На обороте:>*

Николаю Васильевичу Гоголю.

**Молитва**

*<приложенная Н. Н. Шереметевой к письму Н. В. Гоголю от 24–25 апреля 1847 г.>*

В руце Твоего превеликого Милосердия, о Боже мой! вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего. Ты же, о Премилосерде Боже! всего мира грехами непреодолеваемая благосте, и незлобиве Господи, мене паче всех человеков грешнейшаго приими в руце защищения Твоего, и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию; и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя: да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков; врагом видимым и невидимым запрети; руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему, и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну; от воздушных духов злобы соблюди; на страшном Твоем суде милостив рабу Твоему буди, и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки, аминь.

**1326. А. С. и У. Г. Данилевским**

Флоренция. Маия 18 <н. ст. 1847>.

Хотя следовало бы мне, по примеру благоразумных людей, прежде дождаться от вас ответа, добрые друзья мои (на мое письмо от 18 марта), а потом уже писать к вам, но так как желание знать о вас велико, так как в то же время страх за исправное полученье вышеозначенного письма прокрадывается тоже в мои помышления, то решаюсь лучше бросить лишний раз с дороги записочку вам с повторением в другой раз моего адреса. До июля последних чисел я во Франкфурте (то есть в окружностях его), а потом весь август нов<ого> стиля и большую половину сентября в Остенде, а оттуда — в Италию. А потому адресуйте в Франкфурт-на-Майне, на имя посольства. С октября же месяца попрежнему в Неаполь. А как будет дальше, уведомлю вас потом. Не забывайте же меня, милые и добрые друзья мои. Уведомляйте о себе как можно почаще и побольше. Всякая строчка о вас будет мне драгоценна. Обнимаю вас.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Kiew. Russie. Russia.

Его высокоблагородию инспектору 2 Благород<ного> пансиона при Киевской I гимназии Александру Семеновичу Данилевскому.

В Киеве.

**1327. А. О. Смирновой**

Генуя. 20 мая <н. ст. 1847>.

Хотя не более десяти дней тому назад, как я писал к вам последнее мое письмо из Неаполя (от 10 маия) в ответ на ваше милое письмо из Калуги от 22 марта, в день Светлого Воскресен<ия>, но так как мои письма, может быть, вас хоть на две минуты развлекут в часы болезненных томлений ваших, напомнив вам о том признательном человеке и друге[1], который благодарит Бога ежеминутно за нежную дружбу вашу и молит о вашем выздоровлении так, как только в силах он молиться, то я пишу к вам еще раз с дороги. Да не смущается сердце ваше: молитесь покойно и тихо и веруйте в беспредельную Божью любовь к нам. Недуги ваши пройдут, и самое страданье обратится во благо. Если же вам после родов окажется необходимым укрепиться и восстановить расстройство нервов ваших, то повторяю вам вновь то же предложение, которое вы уже прочли в моем прежнем письме, то есть, посоветовавшись с умным доктором, пуститься морем в Остенде. Для нерв морское купанье действительнее всего, как я увидал это и на себе, и на других. Поездка самая покойная. В Петербург в 7 дней, с помощью пароходов или железных дорог, как хотите на выбор, <и> вы в Остенде. Мне всё кажется, как будто для вас дорога, воздух, другие небеса и вообще временная перемена места могут послужить необходимым освежением. Не смею вас уговаривать, чувствуя, что, может быть, сюда примешивается сильное желание вас видеть, и оно-то заставляет меня убеждаться[2] в необходимости для вас такой поездки, но, во всяком случае, прошу вас иметь это в виду, сообразить и потолковать с умным доктором в Москве или в Петербурге. Бог весть, может быть, и телесно, и душевно это вам будет полезно. Может быть, опять придется нам оказать друг другу ту кроткую помощь, освежающую силы душевные, которую способны оказать возлюбившие друг друга во имя Христа. Будьте покойны насчет меня относительно моей

[1] друге вашем
[2] видеть

книги. Я совершенно тверд и больше ничего, как только благодарю Бога именно за те толки, которые она производит, хотя, конечно, сначала многие из них мне были очень неприятны. Чем далее, тем более вижу, что без этих толков мне бы не узнать как следует людей и нашего общества, и в то же самое время без них мне бы никак не поумнеть в такой мере, в какой нужно мне поумнеть для моего дела. Что касается до слов ваших, чтобы я не смущался изменою друзей моих, то на это замечу вам, что измены с их стороны нет никакой. У некоторых из них нехватило разумения, они спутались — вот и всё. Впрочем, я на многих из них вовсе не надеялся и не называл их никогда своими друзьями: они себя[1] считали моими друзьями, но не я их. Вы знаете, что я несколько недоверчив и, зная слабость человеческую, вообще не охотник понадеяться чересчур на какого-нибудь человека. Об Аксаковых, как вы можете себе припомнить, я даже и не говорил вам никогда. Хотя я очень уважал старика и добрую жену его за их доброту, любил их сына Константина за его юношеское увлечение, рожденное от чистого источника, несмотря на неумеренное, излишнее выражение его, но я всегда, однако ж, держал себя вдали от них. Бывая у них, я почти никогда не говорил[2] ничего о себе; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и выказывать в себе такие качества, которыми бы мог привязать их к себе. Я видел с самого начала, что они способны залюбить не на живот, а на смерть. Это не та разумная, неизменно-твердая любовь во Христе, возвышающая человека, но, скорее, чувственная, родственная любовь, делающая малодушным человека, дрожащим, как робкий лист, за предмет любви своей, так что сама старушка, жена Аксакова, которая в душе своей гораздо больше христианка, чем все они вместе, два года не могла утешиться о смерти одного из одиннадцати детей своих, так что два года никто в целой семье не смел упомянуть при ней имени умершего сына. Словом, я бежал от их любви, ощущая в ней что-то приторное; я видел, что они способны смотреть распаленными глазами на предмет любви своей. Эту распаленную любовь к моим сочинениям восчувствовал их сын, потому что в душе его заключено действительно чувство высокой поэтической красоты. Эту распаленную любовь сообщил он и отцу своему, который без того, может быть, был бы умереннее и не пришел бы в такое отчаянье от мысли, что я погиб для искусства. Почувствовать,

[1] они меня

[2] *Далее начато:* Из них мне

что всё, совершающееся в нас, совершается не без воли Божией и что событие, во мне случившееся, случилось не во вред искусству, но к возвышению искусства, почувствовать этого из них никто не в силах, ни отец, ни сын, а потому вы не смущайтесь также их речами против меня. Речи эти пройдут. Но довольно. Не оставляйте меня покуда известиями об вашем здоровьи[1]. Это для меня теперь нужнее всего. Прощайте, мой бесценный и неизменный друг! Адресуйте во Франкфурт, на имя Жуковского.

Июнь и почти весь июль пробуду в окружностях Франкфурта. В конце июля переезжаю в Остенде, где пробуду август и большую половину сентября.

<*На обороте:*>

Kalouga. Russie.
Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.
В Калуге.

### 1328. С. П. Шевыреву

Марсель. 25 мая <н. ст. 1847>.

Перед самым выездом из Неаполя получил твои два пакета, со вложением двух критик из газет и маленькой твоей записочки. Благодарю тебя за всё это много, бесценный друг мой. Переписывать статьи прежние не трудись. Некоторые я получил, то есть те, которые напечатаны в первых двух номерах «Современника» и «Отечественных Записок». Я бы очень желал, однако ж, знать, что сказано обо мне в «Библиотеке для Чтения» и во второстепенных журналах, как-то: «Иллюстрации», «Литературных Прибавлениях», и не было ли чего в «Инвалиде». Всё это мне важно не ради толков о мне самом, но ради желанья знать, на какой высоте собственного мышления своего стоит ныне действительно всяк из пишущих, а за ним, разумеется, часто и публика, его читающая. Книга моя, несмотря на все ее грехи, есть удивительный оселок для испробования нынешнего человека. Повторяю это тебе вновь и советую проверить истину слов моих на всех тех людях, с которыми тебе ни случится столкнуться. И потому, как ни пусты означенные критики, ты все-таки постарайся переслать мне их. Теперь же это можно с оказией: с весной подымается, вероятно, много людей из Москвы. Передать они могут во Франкфурте или Жуковскому, или мне самому, а я до июля последних чисел в Остенде.

[1] только об одном вашем здоровьи

Заплачено за оба твои письма, если не ошибаюсь, два пиастра с чем-то. Вышло несколько дороже оттого, что письма ко мне пришли посредством банкира. Впрочем, если бы стоило впятеро больше, я заплатил бы охотно. Деньги эти для меня совсем не потеряны. Напротив, я остаюсь только в больших барышах. Статья Григорьева, довольно молодая, говорит больше в пользу критика, чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений. Временный гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому источнику, откуда черплется истина. Статья Павлова говорит тоже в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги. Я бы очень желал видеть продолжение этих писем: любопытствую чрезмерно знать, к какому результату приведут Павлова его последние письма. Покуда для меня в этой статье замечательно то, что сам же критик говорит, что он пишет письма свои затем, чтобы привести себя в то самое чувство, в каком он был пред чтением моей книги, и сознается сам невинно, что эта книга (в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) сбила, однако же, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) *нормального*. Хорошо же было это нормальное положение! Он, разумеется, еще не видит теперь, что этот возврат уже для него невозможен и что даже в этом первом своем письме сам он стал уже лучше того Павлова, каким является в своих *трех последних повестях*. Пожалуйста, этого явления не пропусти из виду, когда восчувствуешь желанье сказать также несколько слов по поводу моей книги. Когда же будешь писать критику, то обрати внимание на *главные предметы* книги, о которых рассужденья только и могут доставить пользу обществу, а не какие-нибудь пункты завещания, относящиеся к моей личной оригинальности, бесполезной для публичных трактатов. Имей в виду не защиту меня, но защиту добра, и тогда статья твоя сделает гораздо более добра мне самому. Ты можешь уже и сам, я думаю, почувствовать, что, каков я ни есть, но любовь к добру все-таки у меня сильнее, чем любовь к собственной личности моей, несмотря на то что последняя выразилась у меня, по мнению многих, весьма ярко в моей книге. Относительно последнего обстоятельства скажу тебе всю правду. (Правды этой, однако ж, не надобно пускать в ход; она пусть будет между нами.) Я разъял себя анатомически, рассмотрел себя строго и расспросил себя еще раз, поставляя себя мысленно как бы пред суд Самого Того, Кто будет судить меня, и вижу, что этой личной любви нет; виной всему моя твердая вера в свое будущее, которое произошло

от сознанья сил своих. Я чувствовал всегда, что я буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдется примиренье многого, между собою враждующего. Об этом следовало бы молчать, — тем более, что я всегда чувствовал, что это последует только тогда, если я воспитаю себя так, как следует; но что ж, если у молодых сил нет столько благоразумия, чтоб уметь до времени не похвастаться? Но как бы то ни было, когда будешь писать критику, имей в виду дело *общего добра*, а не меня; гляди на то, чтобы не сказать чего-либо противного *добру*, а не мне, и умей обратить внимание на *важное* и главнейшее, на то, что более нужно и полезно обществу. Пусть критика будет не длинна и не охватывает много, но пусть скажет о некотором, но *многозначительном*. Скажи об этом и Хомякову, если он захочет что написать. Напечатать, по-моему, следует непременно в двух газетах: в «Московских Ведомостях» особенно, а потом и в «Листке», а подписать: «Из такой-то газеты». Нужно всячески стараться о том, чтобы *значительные и полезные* статьи разошлись не только в равном числе с теми, которые легко расходятся, но даже в большем.

Я получил известие, что Вяземский, который принимает участие большое в моей книге, готовит также письмо. Я это отчасти предчувствовал. Обыкновенно заваривают сраженье прежде мальчишки, а потом выходят тузы, обсмотревшие хорошенько и спокойно, с кем и против чего следует воевать...

## 1329. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Мая 6/18 1847. Москва.

Последнее письмо к тебе писал я мрачный и печальный — это пишу более спокойный и довольный. Нашел стих писать, писал много и развеселился. Что я делал — не могу тебе сказать: как-то язык не поворачивается после твоих отзывов.

Не помню, на чем остановился в последний раз. Все равно, буду говорить теперь о твоем авторстве. Ты сам, по Пушкину, определил его верно, но не вполне: ты часто хватаешь и за сердце, и умиляешь. В «Шинели» ты сказал: «Сколько грубой свирепости бывает в самом добром и благородном человеке» — или что-то в этом смысле: этим выражением как будто снялась у меня одна пелена катаракта с глаза. Часто я думал об нем, искал в себе, и сознавался, и горько раскаивался. Часто думаю и теперь; и вспоминаю разные происшествия из своей жизни: был в Вятке

один молодой почтальон, который написал ко мне прекрасное письмо и просил, чтоб я доставил ему средства учиться. Я начал хлопотать чрез знакомых в Почтовом департаменте. Его уволили. Он приехал в Москву и жил у меня. Строганов не хотел принимать в университет без гимназического экзамена. Надо было почтальону учиться по-латыни. Посадил я его за грамматику. Прожил он у меня с год, но успехов не оказывал. Мне стало досадно, и я приписывал неуспешность недостатку прилежания, часто журил его и однажды сказал: «Эх, брат, видно, у тебя охота смертная, да участь горькая». Это слово вспоминаю я с горестью: не пало ль оно ему тяжело на сердце? (После он занемог горячкою и умер в университетской клинике.) Так точно припоминаю некоторые выходки с моей Лизою. Почем знать, может быть, иная проникла глубоко, и хотя она меня знала, хотя выходки эти были очень редки, наперечет, касались одного предмета — отношений к ее родным и вскоре исправились, хотя нежность моя к ней наедине (при людях мне всегда было совестно даже подойти к ней) была чрезвычайная, но внутренние следствия для нас закрыты. Теперь приходят такие мысли, спрашивается — что христианственнее может сделать автор? Какая прекрасная служба! Вот твое дело, — а учительство и проповедничество — оборони тебя Бог! Есть другие люди! На меня, следовательно и на всякого, так или иначе действовали твои сочинения, а ты вздумал их ругать, потому что ум зашел у тебя за разум, увлеченный гордостью, злым духом, который явился пред тобою в образе ангела светла и поймал тебя на уду смирения, которое глубоко названо «паче гордости».

Но я отвлекся от твоего авторства. Ты не имеешь способности поправлять, и вместо поправок ты переделываешь. Вот почему никогда не распространялся я в замечаниях для тебя. Я считал их бесполезными. Ты соглашаешься почти со всяким замечанием и полагаешь, что непременно во всяком должна быть истина (это крайность), и если бы предлагать тебе замечания, то первое твое сочинение было бы и последним и вышло бы по смерти (не такой ли сгиб ума и у Иванова?). Если тебе укажут какое место в сочинении, ты переделаешь его, но переделанное будет иметь те же достоинства и те же недостатки, и так далее. Следовательно, вместо переделки лучше писать другое, и вместо одного сочинения выйдет несколько сочинений — в барыше читатели, словесность и автор! Поэтому напрасно откладываешь ты путешествие в Иерусалим — чрез год-де я буду лучше. Напрасно сжег

2<-й> том «Мертвых душ» — после-де я напишу лучше. Ты напишешь другое, а за что же мы потеряли то? Так Сассо-Феррато оставил сто мадонн вместо одной. Я сравниваю тебя с живописцем, которому указывают недостатки или сам он видит, а он беспрестанно смазывает написанное и пишет вновь.

«Мертвых душ» — в русском языке нет. Есть души ревизские, прописные, убылые, прибылые. «В ворота гостиницы одного губернского города» — столько родительных никогда по-русски не ставится рядом: зависимость их не русская. «В ворота гостиницы въехала» — оборот не русский. «Въехала на двор» — вот как по-русски. Два мужика толкуют о колесе — это хорошо, но не могут они спорить о Москве и Казани, ибо на пространство тысячи верст не могут простираться вероятности. От Толедо может ли колесо доехать до Паузилиппо? А до Собачьей пещеры? Но никто не будет спорить о Флоренции или Милане. С Девичьего колесо может доехать до Тверской, до Лефортова — ну на 10, 15 верст, и т<ак> далее. На досуге по вечерам я хотел было исписать «Мертвые души», но оставил это намерение после твоей последней книги, чтоб мои замечания не были растолкованы отмщением. Теперь ты видишь, почему я подталкивал тебя печатать и почему не делал замечаний, т. е. чтоб не задерживать даром. Писать ты сам никогда и не будешь правильно. Тебе нужен стилист, который бы исправлял безделицы, а язык твой и без правильности имеет такие достоинства высшие, которые заменяют ее с лихвою. Греч и Булгарин правильны, да что же толку!

Давно не получал никто писем от тебя. Что делается с тобою! И мне пора бы получить ответ на первое письмо, посланное на Свят<ой> неделе.

Вот тебе происшествие, волос становится дыбом, о помещике, которого ты учишь быть Крезом. В Калужской губернии один (Хитров) блудил *в продолжение 25 лет* со всеми бабами, девками — матерями, дочерьми, сестрами (а был женат и имел семейство). Наконец какая-то вышла из терпения. Придя на работу, она говорит прочим: «Мне мочи нет, барин все пристает ко мне. Долго ль нам мучиться? Управимся с ним». Те обещались. Всех было 9, большею частию молодые, 20, 25, 30 лет. Приезжает барин, привязал лошадь к дереву, подошел к женщине и хлыстнул ее хлыстом. Та бросилась на него, прочие к ней на помощь, повалили барина, засыпали рот землею и схватились за яйца, раздавили их, другие принялись пальцами выковыривать глаза и так задушили его. Потом начали ложиться на мертвого

и производить над ним образ действия: как ты лазил по нас! Два старика стояли одаль и не вступались. Когда бабы насытили свою ярость, они подошли, повертели труп: умер, надо вас выручать! Привязали труп к лошади, ударили и пустили по полю. Семейство узнало, но не рассудило донести суду, потому что лишилось бы десяти тягол (оно было небогато), и скрыло. Лакей, рассердясь на барыню, прислал чрез месяц безыменное письмо к губернатору, и началось следствие. Девять молодых баб осуждены на плети и каторгу, должны оставить мужей и детей. Как скудна твоя книга пред русскими вопросами!

Писал ли я тебе о некоторых наблюдениях и замечаниях моих во время болезни моей и Лизиной? Киреевский опасно болен. Прощай. Обнимаю.

Твой М. Погодин.

Где ты лето?

Кстати, перепишу тебе отрывок из письма ко мне Иннокентия, которое получил уже давно, в ответ на мой вопрос о твоей книге. Мне хотелось знать его мнение как человека вне нашего светск<ого> круга.

«Гоголя читал и даже записку его с книгою получил, не знаю от кого, не от вас ли? Он просит отвечать. Но куда же? В Неаполь? А его уже там нет. И что писать? Если вы пишете к нему, то скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет».

Осталось место, и потому скажу тебе два слова о своих, которых ты забыл среди своих усовершенствований, а любовь все вмещает! Но, не шутя, знаешь ли ты, что у меня скоро дочь невеста, что сын готовится в гимназию и меньших двое, т. е. крестник твой и малютка, подрастают. О, друг мой, тяжело, тяжело! С моим грубым тоном, моим суровым характером, угрюмостью, как воспитывать девочку, нежное создание, которое требует ласки, кротости, снисходительности! <Я обра>батываюсь, но — медведю танцовать мудрено. <Впро>чем, об этом — подробности после. Маменька моя здорова, весела. Елизавета Фоминична живет спокойно.

Да — у тебя богатые знакомые. Собери-ка т<ысячи> две руб<лей> асс<игнациями> да пошли их в пакете в Прагу к Шафарику.

Великое благодеяние это будет и п<олез>нейшее дело. Сам я расстроен, а собирать нет уже сил. Толстой А. П. обещался мне, лет пять назад, но позабыл и проч. Адрес: Herrn Paul Joseph Schafarik, Gustos an der K. K. Bibliothek.

### 1330. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

<5–8 мая 1847. Санкт-Петербург>

Петербург 5 мая.

Любезный Николай Васильевич, мне много вам сказать сегодня, но начнем с самого важного для вас. Вы желали, чтобы Государь прочел ваши цензурою не пропущенные письма, но папенька, кн<язь> Вяземский и Плетнев — другого мнения. Плетнев вам, уж верно, писал, что он эти самые письма прочел Вел<икому> Кн<язю> и что Александр Николаевич согласился с цензурою. Вот отчего папенька думает, что теперь лучше подождать, а в будущий год выдать второе издание вашей книги и тогда уж постараться напечатать и запрещенные ваши статьи, конечно, с согласием Государя. Покамест папенька, кн<язь> Вяземский и, кажется, Плетнев хотят собираться каждое воскресение, чтоб прочесть вместе вашу рукопись и чтобы сделать те замечания и пропуски, которые покажутся им нужными. Теперь насчет вашего желания узнать сколько можно мнений о вашей книге я, кажется, не могу вам ничего нового сказать. Ваши московские и петербургские друзья вам, верно, подробно о том писали, и я слышала, что вам даже послали до вас касающиеся напечатанные статьи. И отчего, любезный Николай Васильевич, вы так хотите узнать мнения других? Вы ведь пишете по своему убеждению и не можете переменить его по воле других? Конечно, критика может во многом быть вам полезна, но мне кажется, что вы не должны слишком заниматься ею и что довольно, ежели вы ее спокойно примете, не искавши ее сами с такой ревностью. Вы это, верно, делаете из смирения и из истинного желания de vous eclairer, но в то же время помните, любезный Николай Васильевич, что ваше имя и ваш талант обязывают вас быть самостоятельным и что вы должны иметь некоторое уважение к самому себе и к званию писателя, важность и высоту которого вы сами так глубоко чувствуете.

8-го мая.

Плетнев был раз у нас с дочерью, которая премиленькая. Она не очень хороша собой, но у нее приятная физиономия; видно, что она должна быть очень добра и чувствительна. Отец

дает ей, кажется, самое лучшее воспитание sous tous les points de vue. Довольны ли вы моей отчетливостью? Но вы меня еще просили писать вам, как мне понравится молодой Апраксин. Я его вовсе не видала. Он был раз у маменьки, а потом заболел на всю зиму, и весной, как только он выздоровел, он отправился в Москву. У нас все идет изрядно, то есть теперь. Маменька страдала всю зиму глазами, и нынче месяц, что она не вышла из дому, но теперь ей, слава Богу, гораздо лучше. Матвей Юрьевич уехал в Берлин повидаться с братом, но воротится к нам в конце этого месяца. Il a aussi ete question pour nous поехать за границу, чтобы взять где-нибудь в Северном или Балтийском море морские купанья. Доктор говорил, что это для нас всех очень нужно, но я предвижу вперед, что мы никуда не поедем и просто останемся все лето в Павлине. Я вам писала прошедший раз в довольно грустном расположении, из которого я, слава Богу, мало-помалу поднимаюсь, и я надеюсь, что летнее время, которое приближается, подействует укрепительным образом на нас всех. Нервы Софьи Михайловны и маменьки также не в самом лучшем состоянии.

А как ваше здоровье, любезный Николай Васильевич? Неужели ваши бессонницы продолжаются до сих пор? Они ужасно действуют на нервы. Прежде всего постарайтесь спать и употребите для сего все возможные средства, а во-вторых, постарайтесь быть как можно более спокойны духом, не думайте слишком много о нас, о России, о судьбе и влиянии вашей книги, словом, сделайтесь на короткое время эгоистом, заботитесь только о вашем здоровье, и, делая это, вы именно будете заботиться о нас, которые так желаем вашего выздоровления и скорого приезда в Россию. Ежели вам трудно много писать, так оставьте лучше вашу обширную корреспонденцию и ограничитесь только необходимым. Не забывайте нас, однако же, в необходимом. Мы скоро переедем на дачу. Нынешняя весна хуже обыкновенного. Не знаю, будет ли у нас лето этот год. Маменька не может переносить петербургский климат, который имеет на нее грустное влияние, и она очень желает уехать отсюда на несколько месяцев. Может быть, мы еще увидимся это лето. Ежели мы на что-нибудь решимся, я вам сейчас напишу. Прощайте, любезный Николай Васильевич! Все мои родные кланяются вам сердечно. Папенька поручил мне сказать вам, чтоб вы о втором издании вашей книги не беспокоились, что все будет сделано.

Да хранит вас Бог во всем.

Анн<а> Мих<айловна> В.

## 1331. М. П. Погодину

<1 июня (н. ст.) 1847. Париж>

Я получил твои два письма вдруг. В них так много грусти, что у меня не поднялось даже перо оправдываться в твоих обвинениях по поводу книги,[1] исполненных, впрочем, противуречий. Друг мой, ради Христа, утешься, оставь на время и книгу и меня[2]; то и другое выбрось из памяти своей:[3] это подымает, как я вижу, целый лабиринт мыслей, предположений, заключений, которым конца нет, и притом о таких предметах, где может решить только глубокий сердцеведец и душезнатель. Один Бог может быть судьею в иных делах и никто кроме. Состояние души твоей нервически-тревожно, как почти у всех нас в нынешнее время, а потому все оскорбления, огорчения растут в глазах наших и кажутся бóльшими, чем в самом деле. Друг мой, поверь мне, что страданья твои мне чувствительны слишком, тем более когда помыслю[4], что я сам причиною многих. Страданья твои слишком мне понятны, потому что я сам исстрадался весь, а страждущему понятен страждущий. Но[5] весь мир страждет. Всё люди, с которыми я ни сходился и с кем ни знакомился коротко, все страждут, даже и те самые, о которых по виду меньше всего можно заключать, чтобы они были несчастны[6], так что даже и решить не могу, чьи страданья сильнее. Мне кажется, что тягостнее всех других страданий страдания, происходящие от *взаимных недоразумений*, а эти страдания теперь стали решительно повсеместны. Только и слышишь со всех сторон, как расходятся друзья, как люди, созданные затем, чтобы любить друг друга, невозвратно отторгнулись друг от друга. Только и слышишь теперь, как скорбно кричит человек: «Меня не понимают!» О! как страшно теперь произносить суд над каким бы то ни было человеком, не опустившись в самую глубину его души. Ради Бога, утешься и вспомни, что есть среди нас Христос, всех нас Утешитель, что есть ковчег среди колебанья всеобщего — Святая Церковь, в которую можно ежеминутно укрыться. Ты в Москве, где и утром и вечером отверсты двери церковные, где несколько раз в день обедня и всякий вечер всенощная, где, наконец, есть и духовники, кому исповедать свою

[1] *Далее начато:* несправедливых
[2] утешься и оставь хотя на время и книгу и меня самого
[3] *Далее начато:* Состояние души
[4] когда я помыслю
[5] но, друг мой
[6] страдали

душу. Ты говоришь в письме твоем, что тебя режут, пилят, колют из-за моих неосторожных слов о тебе. Рассмотри хорошенько, не кажется ли это тебе в преувеличенном виде. Как я ни несправедлив перед тобою, но я сказал только о неряшестве твоем и торопливости.[1] Я не отвергал в тебе достоинств твоих, я о них только *не упомянул*, потому что речь была не о тебе. Ради Бога, утешься: я не хотел у тебя просить извиненья[2] и оправдываться перед тобою в поступке моем, потому что готовил статью о твоем литературном поприще, где, не скрывая ни одного из твоих недостатков, только намеревался вычислить[3] и поименовать твои достоинства, перед которыми, слава Богу, могут побледнеть твои недостатки. Я и прежде думал о такой статье, но не знал, каким образом сказать так, чтобы не попрекнули меня товариществом и связями с тобой. Теперь можно это сделать так, что станет стыдно тем людям, которые, мимо высоких достоинств человека, спешат посмеяться над его недостатками. Итак, Бога ради, утешься в этом отношении. Поверь, что еще не так тяжело слышать,[4] когда охуждают труд наш и судят его, как слышать, когда судят нашу душу и над ней произнесут такой суд, от которого содрогнется вся внутренность. Будто — ты думаешь — легко выслушать от близких, прекрасных душой, даже, может быть, святых людей, обвинения и улики в том, за что бесчестье на земле, а в будущей жизни мука вечная: это еще потяжелее, чем презренье от презренных людей. Не с тем это говорю, чтобы упомянуть кое-что о себе. (О себе я теперь страшусь и слова произносить, потому что под каждое слово мое подкапываются и отыскивают[5] в нем такое значение, что меня обдает холодным потом.) Но с тем говорю тебе, чтобы ты не позабывал ни на минуту, что никогда, как в нынешнее время,[6] еще не страдало такое множество от *недоразумений*. Это всеобщее переходное состояние, которому подвержено теперь[7] всё, что ни стоит впереди, что ни есть[8] цвет современного человечества, усиливает еще более эти недоразумения. Все это,[9] может быть, затем, чтобы не осмелился человек слишком полагаться

[1] *Далее начато:* Но я
[2] в этом извиненья
[3] только выставил твои
[4] услышать несправедливые
[5] отыскивают, как
[6] что есть множество в нынешнее время
[7] подвержено [тем] теперь более или менее
[8] и что ни есть, так сказать
[9] Всё совершается это

ни на кого и почувствовал бы сильнее, что Один только Христос есть его друг в минуты несчастий. Будем же в таком случае покорны такому голосу и станем же чаще обращаться к Самому Христу при малейшем нашем огорчении. К Нему же доступ так прост: двери церковные открыты; стоит войти, покорно сложить руки крестом и выслушать первые слова, какие ни скажет служитель Христов: они все придутся кстати. Но прощай. Пиши ко мне в минуты скорбные и болезненные, и ты, может быть, узнаешь[1] меня, потому что в такие только минуты узнает человек человека. Знание же человека[2], приобретенное другими путями, будет больше предположительное, чем верное и несомненное. Адресуй в Франкфурт или на имя посольства, или в poste restante. О прочем после.

Твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.
Его высокородию Михаилу Петровичу Погодину.
В Москве. На Девичьем поле. В доме Погодина.

### 1332. Н. Я. Прокопович — Н. В. Гоголю

Петербург. 12 мая 1847.

Я получил твое письмо из Неаполя, любезнейший Николай Васильевич, и, не отлагая в долгий ящик, принимаюсь за ответ. Напрасно ты приписываешь молчание мое предполагаемой будто бы мною перемене в тебе. Совсем нет; я не писал тебе просто потому, что не получал от тебя ответов и не знал, куда адресовать к тебе. Что касается до перемен, то, какие бы они ни были, они не властны изменить моих чувств к тебе. Есть лица, которые так много значат в жизни нашей, что даже самые, по-видимому, коренные изменения в них не могут иметь на нас никакого влияния. Что нам за дело до того, что они изменились? Пусть об этом судят те, до кого это касается; мы остаемся к ним всегда одними и теми же. Ты один из тех немногих людей, к которым жизнь и обстоятельства поставили меня именно в такое отношение, и перемены в тебе, хотя бы они и были, не могут переменить моих чувств к тебе.

Ты просишь меня сообщить тебе изустные толки о твоей последней книге между чиновниками средней руки и всеми сортами

[1] *а.* и ты меня, может быть, узнаешь больше *б.* узнаешь, что мне слишком знакомы

[2] его

учителей. Признаюсь, теперь всего менее ожидал я подобной просьбы от тебя: что имело смысл и значение в отношении прежних твоих сочинений, то в настоящем случае похоже, по моему мнению, на какое-то бесполезное любопытство. Ведь подобного рода книга может быть написана или вследствие убеждения, или вследствие неубеждения. В первом случае, что тебе за дело до толков чиновников всех рук и учителей всех сортов? Дело твое сделано, слово сказано; слово сказано не для одного доставления приятного занятия уму и вкусу — слово сказано для распространения пользы душе и для поучения людям, для прочного дела жизни, чтоб снять с души хоть часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного...

На что же тебе знать невинную болтовню чиновников за преферансом или мимоходом сказанное слово бедным тружеником науки? Что в них тебе? Им не ускорить созревания плодов посеянного тобою слова, да и не замедлить его! Не эти толки важны для творения, имеющего значение, какое ты сам указал ему: для творения, вылившегося из глубоко убежденной души в минуты ее просветления. Для него важны не толки, а беспристрастный суд и правдивый приговор будущей истории литературы русской. Во втором случае, т. е. если книга твоя написана вследствие неубеждения, опять-таки не могу понять, к чему тебе знать различные толки: книга, говорят, раскуплена, а такое известие удовлетворительнее всех толков.

Но все это я сказал так, между прочим, а желание твое исполню; и что знаю, то сообщу без утайки; повторяю только, что это ни к чему не поведет и не послужит, разве только для удовлетворенья любопытства. Ни одна из книг, выходивших на русском языке, не производила таких разнообразных и противоположных друг другу толков в той части публики, мнением которой ты интересуешься, как твоя «Переписка». Но все это разнообразие можно разделить на три категории, имеющие, в свою очередь, различные подразделения. Одни считают тебя ни больше ни меньше как святым человеком, для которого так и распахнулись двери рая в будущей жизни, покупают твою книгу и, следуя твоему совету, дарят ее нуждающимся в благодати или в хлебе насущном. Другие приписывают издание твоих писем расчету. В этом классе встречается более всего подразделений, и догадки о целях, руководивших тобою, идут от простой денежной выгоды до таких соображений и планов, какие тебе, конечно, и в голову не могли прийти. Третьи относят все к расстройству твоего здоровья и оплакивают

в тебе потерю гениального писателя. Я слышал даже, что кто-то из этих переплел твою книгу с «Чаромутием» нашего чудака Лукашевича, вышедшим будто нарочно одновременно с твоею «Перепискою». Вот все, что могу сообщить тебе о различных мнениях и толках, которые доводилось мне слышать.

Ты пишешь, что Данилевский спрашивает тебя обо мне, не имея от меня никакого известия. И тут та же причина моего молчания: я не знаю, где он; он не отвечал на последнее письмо мое: куда же я буду писать? И дурно, что ты не написал мне его адреса. А между тем я все там же, на том же месте, в том же уголке, который некогда радушно принимал тебя и готов всегда принять, если только ты не побрезгуешь в нем приютиться.

Благодарю тебя за вопрос твой о моем житье-бытье и о моих домашних. Живем понемногу, по крайней мере здоровы. Число детей не превышает, слава Богу, полдюжины; нужды кое-что и превышают, ну, да что об этом!

Весь твой Пр<окопович>.

### 1333. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

16/28 мая, 1847. СПб.

Ты, пожалуйста, никому не верь, чтобы люди, не знающие меня и, по словам твоим, не умеющие ценить меня (а ценить-то, молвлю искренно, и нечего), могли подействовать на меня неприятно. Я давно понял и почувствовал, что чем долее живешь, тем менее делаешься нужен посторонним людям: следовательно, мы и не сходимся ни в чем. Я живу совершенно один, за исключением тех, кого надобно принимать мне для моей дочери. Если я досадую от глупых толков про книгу твою, это происходит от сожаления, в каком жалком состоянии очутилась без пастыря бедная литература наша.

О поездке за границу нынешний год нельзя мне и думать. Я оканчиваю к 1848 году второе четырехлетие ректорства своего. Надобно дослужить это полугодие. Когда совершится в декабре выбор нового ректора, я оставлю службу совсем — и тогда-то волен буду, подобно тебе, разъезжать по свету, да и еще не один, а с дочерью, которая между тем кончит первоначальное воспитание свое и начнет окончательное под непосредственным руководством моим.

Я писал уже к Василию Андреевичу, что получены мною от Штиглица те деньги, которые некогда посланы были к тебе Прокоповичем. Ты должен определительно сказать, надобно ли их

хранить для печатания новых изданий твоих, или кому отослать их. Во всяком случае, не покидай меня без уведомления.

Сегодня был я у В<еликого> К<нязя> Наследника. Е<го> В<ысочество> изволил меня спрашивать, где проводишь ты лето. Когда я объявил, что в Германии, то В<еликий> К<нязь> заметил, что, вероятно, увидит тебя, сбираясь провожать Цесаревну в Дармштат.

Мне очень жаль, что здоровье и предположение касательно путешествия на Восток не позволяет тебе приехать с Василием Андреевичем в Петербург. Верно, ты и не знаешь, что 1847 год есть юбилейный год пятидесятилетнего его служения музам. Как бы радостно было для такого случая собраться всем нам вместе и приветствовать одним хором бесценного учителя-поэта нашего. Ведь уже нас и не много осталось. Кроме Вяземского, дома Вьельгорских и Карамзиных да Смирновой, я даже не знаю, с кем делить нам эту радость, делить не шумно, а семейно. Конечно, чувства наши найдут чистый отголосок в сердце В<еликого> К<нязя> Наследника. Этим счастием не приходится никому насладиться, кроме Василия Андреевича. Когда я сегодня упомянул об этом В<еликому> К<нязю>, он так и оживился и даже приказал мне написать, что я думал бы сделать по этому случаю. Меня очень обрадовало это участие.

Старайся, друг, укрепить свое здоровье и напасть на такой путь жизни, чтобы ты мог идти ровным шагом. О, как отрадно чувствовать все в себе благонадежным и ежедневно находить как физические, так и умственные силы свежими для исполнения возложенных Богом на нас обязанностей! Вот два года, как на этот путь навел меня один врач, никем почти незнаемый в Петербурге.

Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

### 1334. П. А. Плетневу

<10–11 июня (н. ст.) 1847. Франкфурт>

10 июня. Франкф<урт>.

Письмецо твое от 16/28 мая получил. Жуковский, как ты уже, вероятно, знаешь, отложил отъезд в Россию по причине болезни жены, заставляющей его провести вместе с нею всё лето в Интерлакене, в Швейцарии. Жаль, конечно, что празднованье юбилея его не состоится, но, по мне, в юбилеях здешних есть что-то грустное. Не оттого ли, что приходишь в такие лета, когда

чувствуется сильней, чем прежде, что следует помышлять о юбилее небесном? Во всяком случае, хорошо бы нам хотя половиною мыслей стремиться жить в иной, обетованной истинно стране[1]. Блажен, кто живет на этой земле, как владелец[2], который купил уже себе имение в другой губернии, отправил туды все свои пожитки и сундуки и сам остался налегке, готовый пуститься вслед за ними. Его не в силах смутить тогда никакая земная скорбь и огорченья от всякого мелкого дрязга жизни. Я рад, что ты, как вижу из письма твоего, спокоен. Я сам тоже спокоен. Путь мой, слава Богу, тверд. Хотя тебе кажется, что я несколько колеблюсь и как бы недоумеваю, чем заняться и какую избрать дорогу, но дорога моя всё одна и та же. Она трудна, это правда, скользка, и не раз уже я уставал, но сила святая, о нас заботящаяся, воздвигала меня вновь и становила еще крепче на ноги. Даже и то, что казалось прежде как бы воздвигавшимся впоперек пути, служило к ускоренью шагов, а потому во всем следует довериться провиденью и молиться. Очень понимаю, что некоторых истинно доброжелательных мне друзей — в том числе, может быть, и самого тебя — несколько смущает некоторая многосторонность, выражающаяся в моей книге, и как бы желанье заниматься многим наместо одного. Для этого-то я готовлю теперь небольшую книжечку, в которой хочу, сколько возможно яснее, изобразить повесть моего писательства[3], то есть в виде ответа на утвердившееся, неизвестно почему, мнение, что я возгнушался искусством, почел его низким, бесполезным и тому подобное. В нем скажу, чем я почитаю искусство, что я хотел сделать с данным мне на долю искусством, развивал ли я, точно, самого себя[4] из данных мне материалов или хитрил и хотел переломить свое направление, — ясно, сколько возможно ясно, чтобы и не литератор мог видеть, я ли виновен в недеятельности или Тот, Кто располагает всем и против Кого идти трудно человеку. Мне чувствуется, что мы здесь сойдемся с тобой душа в душу относительно дела литературы. Молю только Бога, чтобы Он дал мне силы изложить всё просто и правдиво. Оно разрешит тогда и тебе самому некоторые недоразумения насчет меня, которые все-таки должны в тебе еще оставаться. Покамест это да будет еще между нами. Книжечка может выходом своим устремить[5]

[1] земле
[2] кто живет здесь так, как тот готовый к переселенью владелец.
[3] авторства
[4] его в себе
[5] обратить

вниманье на перечтение «Переписки с друзьями» в исправленном и пополненном издании. А потому, пожалуста, перешли мне немедля статьи, снабженные вашими замечаньями, для переделки, адресуя во Франкфурт, на имя посольства. В следующем письме я пришлю тебе свидетельство о моей жизни для взятия денег из казначейства, которые держи у себя вместе с прежними, к тебе посланными чрез Штиглица. Они, может быть, мне понадобятся к концу года. На Восток будет пересылать мне трудно, а остаться там, Бог весть, может быть, придется долее рассчитываемого времени. Стало быть, нужно будет деньгами запастись. Путешествие это, доселе откладываемое с года на год, становится чрез то самое мне более желанным и заманчивым. Точно как бы душа моя говорит мне, что я там найду искомое издавна[1] и лучшее всего того, что находил доныне. Но прощай! Обнимаю тебя. Христос с тобой!

Твой Г<оголь>.

При сем письмецо к Вяземскому. Передай от меня поклон Балабиным. Особенно Марье Петровне. Напиши мне хоть несколько строчек о том, как она живет своим домом. Я слышал, что она просто чудо в домашнем быту, и хотел бы знать, в какой мере и как она всё делает[2]. А. О. Ишимову поблагодари за книжечку[3] «Розенштраух»[4]. Я нашел, что она очень хороша. Письмо же о легкости ига Христова — сущий перл.

*<На обороте:>*

Russie. St. Pétersbourg.

Его Превосходительству ректору Император<ского> СПб. университета Петру Александровичу Плетневу.

В С.-Петербурге. На Васильев<ском> острове. В университет.

## 1335. Князю П. А. Вяземскому

Франкфурт. Июня 11 <н. ст. 1847>.

Благодарю вас, добрейший князь, много и много за ваше участие. Ваша статья в «Санктпетербургских Ведомостях» о Языкове и обо мне, кроме всех тех достоинств и свойств, которые принадлежат особенности собственно вашего ума, меня очень тронула тем чувством соучастия, которое принадлежит только

[1] тайно
[2] в какой мере это истина
[3] маленькую книжечку
[4] *В подлиннике:* «Розенштрауф»

одной нежной и любящей душе. Одно только меня остановило: мне кажется, что выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях, особенно о тех, которые прежде меня выхваляли. Мне кажется вообще, мы судим их слишком неумолимо. Бог знает, может быть, в существе многие из них добрые люди и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра; но кого не увлекает самолюбие, некоторый успех и множество разных соблазнов, окружающих со всех сторон человека? Бог знает, может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их, оскорбясь какою-нибудь их дерзостью, тогда как наш совет, может быть, им был бы нужен и спас бы их от многого того, за что их укорять теперь справедливо. Скажите мне искренно, что вы об этом думаете? Мне же становится теперь жалок решительно всяк человек, потому что, право, положенье всех в нынешнее время страшно трудно и, к кому ни приглядишься ближе, всяк порождает к себе состраданье. Вся эта история по поводу моей книги (испытанье на собственном теле многого того, что приходится испытывать людям в большем и меньшем размере на всех почти поприщах, от всякого рода *недоразумений*, которыми наполнился в избытке нынешний век) усиливает во мне эту *жалость* со дня на день, так что не имеется духу обвинить или осудить какого-нибудь человека. Мне кажется, как будто еще недостаточно любви у всех нас (хорошо, по крайней мере, то, что мы это более или менее чувствуем); мне кажется, как будто мы всё еще действуем не собственно против *нечистой силы*, подталкивающей на грехи и на заблуждения людей, но против самих людей, которых подталкивает на грехи *нечистая сила*. Самые наиболее любящие из нас еще не исполнены любовью к людям в такой степени, в какой исполнены ненавистью к их заблуждениям. Оттого и все статьи наши, подвигнутые самым искренним желанием добра, не вносят надлежащего примирения. Мне кажется, что теперь, в нынешнее время, более нужны не статьи нападательные или защитительные, которые невольным образом обратятся на чью-нибудь личность и выставят на сцену нас самих, сколько статьи уяснительные многих важных вопросов, относящихся к тем вечным истинам, которые хотя покуда еще и не раздаются в обществе, но к которым поворот, однако же, неминуемо долженствует наступить. Я разумею здесь собственно те истины, о которых могут сказать только люди государственные. Если о них не раздадутся теперь здравые определения, годные укрепить хотя некоторых или дать им знать, по крайней

мере приблизительно, чего держаться, то их пойдут скоро коверкать вовсе негосударственные люди и могут сбить всех с толку. Вы видите, что некоторое поползновение к тому уже обнаруживается. Даже и я, человек вовсе негосударственный, заговорил о том. Итак, есть какое-то поветрие, которому все подвергаются равномерно. Тем более теперь нужен голос мастеров того ремесла, в которое впутываются люди посторонние. Я, признаюсь, ожидал и даже теперь ожидаю от вас статьи, в которой бы и я, и книга остались в стороне, а выступил бы на сцену предмет, для которого вам даны такие орудия. У вас есть всё, что нужно для государственного мужа; притом любви к России, слава Богу, довольно; любви к добру также, а если к этому еще присоединится всеми нами искомая, истинная любовь в Христе ко всем братиям, вы отыщете скорее всех ту верную законную середину, к которой мы стремимся, и голос ваш будет доступен многим сердцам и умам; а покуда я жду с нетерпеньем листков моей рукописи, снабженных вашими замечаниями, потому что с моей стороны все-таки нужно что-нибудь сказать, хотя, разумеется, поприличней и в такой мере, в какой позволительно сказать негосударственному человеку. Нужно, чтобы мы все-таки питали любовь к своей государственности, а не летали мысленно по всем землям, говоря о России; чтоб чувствовали, по крайней мере, что строенье нового исходит из духа самой земли, из находящихся среди нас материалов. Но прощайте, добрейший князь мой! Благодарю вас и не знаю, как достойно возблагодарить за дружбу вашу и участие. Бог вас да наградит за то и другое.

Весь ваш Гоголь.

### 1336. А. О. Ишимова — Н. В. Гоголю

С.-Петербург, 21-е мая 1847.

Давно я получила письмо ваше и желала тогда же бы благодарить вас за него, но, зная, как дорого время ваше, удержалась от исполнения желания моего. Но вчера, видев из письма вашего к Петру Александровичу, как полезными и необходимыми для себя считаете вы все письма, касающиеся до сочинений ваших, я вспомнила, что и у меня есть таких два письма от одной московской дамы. Хотя эти письма носят на себе отпечаток самого грубого невежества, но должны обратить на себя ваше внимание, потому что написавшая их принадлежит к довольно большому кругу в Москве и, вероятно, имеет некоторое влияние на

знающих ее: о ней говорят как о самой благочестивой, умной и доброй женщине. Я была у ней не более двух раз, и то потому, что у ней гостила одна из моих петербургских знакомых. С первого же свидания тон ее показался мне несколько резким, однако потом мы поладили, и я вовсе не воображала получить когда-нибудь от нее письма в таком роде, как прилагаемое здесь. Начало этой странной переписки сделано было по случаю книги, переведенной мною с немецкого, под названием: «Иоанн-Амвросий Розенштраух, лютеранский пастор в Харькове». Я посылаю и ее к вам, но вы можете пока прочитать ее и у Вас<илия> Анд<реевича>. Московской знакомке моей показалось святотатством с моей стороны переводить жизнь *лютеранского* пастора, и вот что побудило ее обратится ко мне с искренним желанием вырвать душу мою из ада. Я посылаю вам и это первое письмо ее и еще другое, чтобы вы получили более понятия об ее образе мыслей. Сначала мне совестно было представить вам эти страницы, исполненные таких невежественных понятий, но Петр Ал<ександрович> сказал мне, чтоб я не думала об этом. Читайте же и подивитесь или, лучше сказать, *пожалейте!*.. А это еще одна из тех женщин, которые и слывут добрыми и в самом деле делают добро. Вам нужно прочитать и то, за что она меня бранит, и потому я отправила к вам вместе с Розенштраухом и пять книжек «Звездочки» моей нынешнего года. Вы найдете в них все то, о чем она говорит в письме своем, если только у вас станет терпенья прочитать все.

Но довольно о ней. Поговорим теперь о чем-нибудь более утешительном. Мы все приятно заняты теперь мыслию о скором приезде сюда Вас<илия> Андр<еевича>. Для сиротеющей литературы нашей этот приезд обещает что-то отрадное, хотя и кратко будет его присутствие здесь. Что, если бы и вы вздумали вместе с ним явиться сюда!.. Как бы я радовалась этому и за себя, и еще более за Петра Александровича! Как бы ему нужен такой человек или, лучше сказать, такой друг, как вы! Мне всегда жаль видеть и знать, что он так одинок посреди здешнего литературного мира. Последний, истинно достойный его друг, с которым я видела его здесь, был Баратынский, но вот почти три года, как и его нет на свете! Сколько удовольствия доставляют ему письма ваши, но он, вероятно, мало говорит вам и об этом, как и обо всем, что только касается до него. Недостаток этой дружеской сообщительности, несмотря на всю высокую дружбу, какую способно чувствовать его прекрасное сердце, доказывает, что он редко имел счастие быть с людьми, которые бы приходились ему

совершенно по душе. Судите же, сколько бы можно было радоваться вашему приезду сюда! Оленька вас усердно благодарит за милый поклон ваш. Писал ли вам П. А. или графиня В., как наша робкая и застенчивая девочка перепугалась, когда графиня объявила свое желание видеть ее? Она вообразила, что ей сделают экзамен во всех ее знаниях, которые у ней еще совершенно младенческие. Прощайте, любезный Николай Васильевич, пожалуйста, будьте здоровы: грустно думать, что вы так часто больны!

Ал. Ишимова.

### *<Три письма М. Извединовой к А. О. Ишимовой (от 30 января, 30 марта и 17 апреля 1847 г.), приложенные А. О. Ишимовой к ее письму Н. В. Гоголю от 21 мая 1847 г.>*

<1>

<30 января 1847. Москва>

Милостивая Государыня Александра Осиповна!

Неожиданно получила я на днях от г-жи Молчановой книжечку: Жизнь и деяния пастора Розенштрауха, переведенную вами; такая присылка удивила меня, и я решилась спросить у вас — зачем прислали вы ко мне ее?

Уважение мое к вашей учености, изящному вкусу в выборе сочинений, в которых невольно выказываются все христианские добродетели, и неподражаемый дар привязывать к себе сердца детей и родителей, не должно было быть помрачено выбором предмета вашего превосходного перевода.

Милая, добрая, снисходительная, ученая, любезная Александра Осиповна заглянула некогда в беленький домик на Донской улице в Москве — и оставила по себе в сердце неученой, незнающей светских приличий, простой старушки неизгладимое воспоминание о самых приятнейших минутах ее затворнической жизни. Так было! так и должно бы остаться. Но вот перевод ваш в руках у меня, и я не могу молчать. Припомните первую минуту нашего знакомства; я подумала вслух, и вы согласились со мною, а потом и убедились? Мы тогда поладили; теперь предмет, о котором я спрашиваю вас, очень важен для нас обеих — или я, или вы должны уступить, повторяю еще: зачем перевели вы жизнь пастора Р.? с каким намерением? для чьей пользы? Если бы вы сделали это по одному убеждению, по неотступной просьбе друзей г-на Розенштрауха, то в предуведомлении не приглашали бы с такою

убедительностью помочь вам в полном переводе — вы желаете иметь сотрудников. Это значит, что со временем вы переведете полное издание?

Зная вас за неподражаемую сочинительницу для образования юношества, осмеливаюсь спросить вас, почему вы избрали этот предмет для перевода, а не другой? Вы так дороги сердцу каждого родителя или наставника, ваши успехи на поприще воспитания детей так велики, ваши труды для них так необходимы, что я недоумеваю, почему вы решаетесь губить бесполезно, а может быть и со вредом, драгоценное время, данное вам Самим Богом для образования христианских детей? Не оставлю вас в покое, пока вы не объяснитесь на мои вопросы.

В ожидании милостивого вашего ответа, честь имею остаться всегда к вам,

Милостивой Государыне,

с глубоким уважением и совершенною признательностью покорная слуга

Мария Извединова.

1847 года
Января 30-го
Москва.

Адрес мой: На Средней Донской, в приходе ц<еркви> Ризположения, в собственном доме.

<2>

<30 марта 1847. Москва>

С любовию приветствую вас взаимно сими словами: Воистину Воскресе! Господь наш Иисус Христос; с любовию обнимаю вас, возлюбленная Александра Осиповна, поздравляю с светлым торжественным праздником Воскресения; да воскреснет в чистой, благородной душе вашей семя благодати, подавленной мирскою суетою, но готовое под святою росою истинной религии произрости и принести сторичный плод. О каких неприязненных распрях говорите вы? — письма мои есть уже доказательство любви моей к вам; с первого приступа моего я решилась во что бы то ни стало исхитить душу вашу из рова погибельного, куда вы стремились по одному незнанию, вы еще так неопытны, что и теперь выражение это, может быть, приписываете или энтузиазму, или фанатизму. Оставлю самим вам раскрыть глаза на опасное положение ваше и буду продолжать. В 1-м ответе вашем вы написали: *веры все равны*; вот то ужасное положение ваше, которое

заставило меня употребить сильные выражения, *заметьте это*; сын или дочь, считающие каждого встречного отцом своим, не огорчают ли своего нежного любвеобильного родителя? Дети, бегающие туда и сюда, не знающие совершенно правил отца, не исполняющие его приказаний, достойны ли отцовского наследства? Дети, не защищающие своей матери, поражаемой злодеями, достойны ли любви матери? Они достойно получают проклятие родителей. Отлучаются наследства. Не правда ли? Вот чего я боюсь за вас; вот почему я, преодолев мою робость состязаться с *литератором*, решилась вступить с вами в переписку. Неужели избавление от смерти вы назовете неприязненными спорами? и ради Воскресения Господня окончите едва начатое дело — *спасение души вашей*? Нет! Велик для всего рода человеческого день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Воскресший Своим воскресением даровал нам жизнь вечную, — вывел из ада праотца Адама, всех пророков и праотцев. Начните же и вы с этого дня воскресать духом и послушайте, куда вы шли до сего времени. Не ваша вина, что не знали до сих пор превосходство православной религии. — Это почти обыкновенно всех так воспитывают, прикрывая жестокую холодность снисходительностью — какую и вы доселе выказывали к прочим вероисповеданиям. Жалкое заблуждение поблажать еретикам и оставлять без внимания свою истинную матерь Православную Церковь на поругание чуждым людям! видеть, как убивают родную мать и молчать? Повторите вышеписанное, и сами увидите, куда влекло вас неведение. 2-е. Пастор Р. 20-ть лет наблюдал за умирающими? да неужели наши священники закрыв глаза напутствуют русских к смерти? Но вот в чем обман сатаны. Немец скажет речь, сложит руки, наклонит голову — и это тотчас напишут, и русские с восторгом читают, а православный священник проводит всю жизнь свою у одра больных — умирающих, или в холодной комнате безвозмездно учит закону Божию бедных сирот, делит с ними последний кусок хлеба, отнимая его от своего семейства, и по смирению молчит, и об нем никто не напишет, никто и не знает (в Москве я знаю такого священника, да и не одного), а что вы не слыхали о добродетельных наших священниках подобного, то этому причина круг вашего знакомства и занятий — чего мы ищем, то и находим. Далее — Бог спасает язычников; за что? когда? Тогда как язычник, подобно Корнилию сотнику, пожелает креститься во имя Отца и Сына и Св. Духа — то, конечно, Бог, видя его желание, пошлет ему подобного апостолу Петру человека. Но чтобы

язычник, не признающий воплощения Сына Божия, не верующий в заслуги Иисуса Христа, мог получить Царствие Небесное — этого нет ни в каких священных книгах, ни в Евангелии: разбойник вошел в рай с Воскресшим Спасителем, но он на кресте уверовал, сказав: *«Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»*. Вы пишете: *На земле у нас, конечно, нет веры лучше нашей*; итак, на небесах есть, видно, другая вера? — Бог, сошедший с небес, установил на земле религию и веру в Себе — следовательно, на небесах вера одна и та же. Но небожители понимают ее лучше нашего, там все таинства веры во Христа открыты: там чище, лучше, святее верование, но догматы веры одинаковы, потому что Иисус Христос преподал их Сам ученикам Своим св. апостолам, — некоторые до страдания крестного, другие по воскресении Своем; все 6-ть недель Он пробыл с учениками, беседы Его были о таинствах веры и о Царствии Небесном. Вот откуда произошло начало 7-ми таинств Православной нашей Церкви. Крещение, причащение, брак, елеосвящение, миропомазание, покаяние, священство. Лютеране отвергли 5-ть, оставив себе только два, скажите, сыны ли они Божии? и кто снисходит к их заблуждению, может ли назваться член Православной Церкви? Нет, тот *тать и разбойник*. Если б вы знали это прежде, то не выхваляли бы так Розенштрауха; мне больно было видеть прекрасную душу вашу, утопающею в лютеранизме — единственно по незнанию. Увы! сколь многие также по неведению из православных утонули в этом болоте заблуждения сатанинской гордости. Верю неизменно, что вы желаете узнать основные правила Православной Церкви и что только недостаток времени в изучении догматов Православия держал вас в неведении, и готова, при помощи Божией, не спеша, распутать помаленьку сеть обольщения и выпутать вас из лютеранизма, лишь бы вы не ослабевали в вашем желании.

Теперь поговорим о Гоголе. Я читала последнее его маранье и нахожу, что он большой руки дурак (простите это грубое выражение, вспомните, что это пишет старушка неученая из-под Донского монастыря), все его прежние сочинения были грязны, сальны и наполнены ругательствами, так же и Булгарина, они годны для лакейской, да и того не позволят в благочестивом доме, а последнее его маранье такая путаница, так глупо, что я бросила его как негодное ни к чему. Прочтите в «Московских Ведомостях» две статьи г-на Павлова, он прекрасно отделал его, и если бы я обладала даром письма, то поблагодарила бы Павлова, что так уничтожил дурака Гоголя. Скажите, что за радость

раскрывать свету, т. е. людям, — коварство, обман, разврат и т. п.; это ведь так обыкновенно: *всяк человек* ложь; разве можно научить кого через насмешки? сатиры? Никогда. Облагородьте ваше перо, пишите примеры добродетели, и порочные устыдятся и станут стараться жить добродетельно. Если Гоголь помещен в число литераторов, то я бы стыдилась быть литератором, вот мое мнение. У истинных писателей христианских должно выходить из пера одно превосходное, чистое, благородное. Господь каждому дал дар писать важнее, нежели говорить. Слово исчезает в воздухе, лишь только произнесут его; оно забывается, изглаживается и смягчается другими словами, а писание идет далеко, распространяется (благодаря писакам) во все концы вселенной, переживает писателя, и как надо быть осторожным в писании! Прочитав сочинение, судят о качестве и характере писателя; русская пословица справедлива: *«что написано пером, не вырубишь топором»*. Если скажете: *«Да Гоголь всех смешил»*. Жалко! Употребить всю жизнь, и какую краткую, на то, чтобы служить обезьяною публике. Бог дал дар поэзии. Хорошо! но сумасбродная Ростопчина, как фурия, беснуется в стихах. Мала разве книга природы для поэтического письма женщины? Малы превосходные творения Св<ятых> Отцов, чтобы перевести их в стихи? судите сами — справедлива ли я? Человек лучшее творение Божие, умаленный малым чем от Ангела, вместо глубокой благодарности к Создателю своему изрыгает или хулу, или ругательство, горькие насмешки или разврат, и его называют *литератором.* Я читала современные журналы, потому что мне нужно было для воспитания детей, в продолжение 25-ти лет у меня было 18 воспитанников, тогда мне надо было много читать, чтобы следить за нравами писателей и предостерегать детей от опасного чтения. Напрасно выхвалил Гоголь Пушкина — сей последний мог бы сделать много хорошего, если бы не употреблял ум свой во зло. Но как это не по моей части, то я перестаю говорить. Простите, желаю вам доброго здоровья. Скажите, когда будете посвободнее, чтобы вам начать необходимое чтение, которое для меня есть, как драгоценный брильянт. Обнимаю вас в уверении моей христианской любви и остаюсь всегда с уважением к вам

Покорная слуга Мария Извединова.

30-го марта
1847-го года.
Москва.

<3>

<17 апреля 1847. Москва>

Возлюбленная Александра Осиповна!

Вот как мне грустно, что, не дождавшись ответа вашего на последнее письмо мое к вам, я решилась опять писать вам и в горе моем жаловаться вам на вас.

Третьего дня, находясь в кругу почтенных, благомыслящих матерей, я с удивлением и стыдом слушала суждение о вашем журнале «Звездочка» для *детей старшего возраста*. Невыгодное мнение о вас поразило меня; я не выписывала всего вашего журнала, а для моего воспитанника имею только одну книжечку, сочиненную вами под названием: «Чтение для первого возраста» — книжка превосходная; судя по ней, я судила и о прочих сочинениях ваших; судите же, каково было мое негодование, когда я услышала, что вас порицают, осуждают за статью под названием «Новые книги». Я слушала, молчала, но не верила. На другой день я купила три книжки *журнала для старшего возраста* № 1, 2 и 3 и, увы! убедилась собственными глазами во всем, что слышала. Недоумеваю, удивляюсь и душою скорблю, что вы истратили столько красноречия в пользу безумного Г. и так убедительно приглашаете старшего возраста детей, *чистых, свежих*, слушать небесную гармонию «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя? Чистые, свежие дети должны броситься в объятия Евангелия, а не в объятия поэзии Г. Не стану описывать вам по страницам мое опровержение на вашу похвалу Г. — вы хорошо знаете вашу статью «Новые книги», но спрошу вас: может быть, есть правило, чтобы литератор хвалил другого литератора без ума? Я не литератор и не знаю, каким законам они подчинены; в том случае скорбь моя об осуждении вас неосновательна, прошу, выведите меня из сомнения. Мне кажется, что статью «Новые книги» не вы сочинили, потому что не выставили вашего имени, а во всех трех №№ везде выставлены под статьями имена сочинителей; когда я попаду на эту счастливую мысль, то мне становится легче, радостнее. Я думаю тогда: Александра Осиповна только издательница этого — она не рассмотрела, она, по снисходительности к собрату своему литератору, закрыла глаза и, скрепя сердце, поместила эту жалкую статью, написанную самым страстным пером без спросу рассудка и даже (простите ради Бога) стыдливости. Пожалуйста, не оставьте меня без вразумления, поясните то, что я не поняла. Осмелясь сообщить вам как сестре о Христе мнение мое о статье «Новые книги», я обязана, с свойственною

христианке откровенностию, сказать вам мысли мои о статье «Дюссельдорф» Кайзереверт: там такая бессмыслица написана, что я бьюсь об заклад, что тот, кто написал ее, — немец. Он не читал жизни наших Святых Отцов, не знает происхождения, начала обителей и монастырей и по невежеству своему написал: *«монастыри ваши сделались бы полезны для человечества, праздность бы перестала укрываться в них, леность бы превратилась в деятельность, и необразованность мало-помалу исчезла бы»*. Безумец, написавший это, не заслуживает даже того, чтобы доказать ему его безумие. Наши монастыри возымели основание свое еще во 2-м веке. Первые пустынники были: Павел Фивейский, Антоний Великий, Феодосий Великий, Марк Фраческий, Иларион Великий, Виссарион, Аммун, Исидор и проч. Они были светила Церкви и удалились в пустыни, чтобы вполне предаться богомыслию, молитве, бдению, посту и умерщвлению своей плоти; Святая Церковь и доныне в своих священнопениях воспевает их подвиги, труды и празднует их память. Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Афанасий и Кирилл и многие др. были призваны из пустыни и поставлены епископами и светили и теперь просвещают всю вселенную, но их никто даже из отъявленных нечестивцев не посмеет назвать праздными невеждами. Скажите, что за дурацкое суждение, что в монастырях должны быть богадельни или школы? Благодаря попечительному и мудрому нашему царю у нас на все есть особенные люди, весьма способные исправлять должности, возложенные на них. Есть богадельни, школы, приюты, училища, корпуса, институты и множество разных благотворительных заведений, для чего же еще в монастырях заводить богадельни и школы? Разве для того, чтобы школьники, выучась писать, написали бы подобные бредни, как статья о Дюссельдорфе? Наскоро, чтобы не утомлять вас, перейду от древних отцов Церкви к преподобному Сергию: он от юности удалился в пустыню, где теперь, по его св. молитвам, существует лавра. Кто не знает св. жизни препод<обного> Сергия, его трудов, его св. подвигов, его теплых молитв за отечество, за царя и за всех православных? и кто осмелится сказать, что препод<обный> угодник Божий и великий чудотворец Сергий был ленив, необразован? Одна адская злоба может это сказать. Не правда ли? Но, скажут нынешние литераторы, теперь нет таких монахов, а чем они докажут? Никто из живых не почтен святым; пример этому св. Митрофан Воронежский. Он был так смирен сердцем, что даже и место рождения его неизвестно, он не учился ни в каком

университете, а св. мощи его производят великие чудеса. Он не имел в своем монастыре ни богадельни, ни школы; так как же он достиг такой святыни? Смирением, удалением от мира, от его сует, вниманием *самому себе, исполнением всех догматов Св. Православной Церкви, любовию, живою верою в Господа Иисуса Христа и проч. добродетелями, соделанными втайне сердца; на кого воззрю, на кроткаго, смиреннаго, трепещущаго словес моих,* слова Господа нашего Иисуса Христа. Как можно сказать, что монастыри наши есть убежище для праздности, необразованности? Живые доблестные мужи уверяют нас, что наши монастыри суть рассадники мудрости, смирения, терпения; мало ли у нас архиереев, которые, проходя жизнь подвижническую, научают нас всем добродетелям через их пастырские наставления? Глава духовенства, митрополиты: Антоний С.-Петербургский, Филареты Московский и Киевский одарены свыше духом Христовым, Божественною благодатью, среди непрерывных трудов в Св<ященном> Синоде и своих епархиях, они беспрестанно учат, утешают, укрепляют слабый дух наш и воссылают св. молитвы за царя и отечество у Престола Божия, разве это не труд? разве может сделать все это невежда? Преосвященные Иаков, Иннокентий, Григорий, Платон, Никанор и Илиодор, которых я имею счастие знать лично, разве они ленивцы? Прочитайте их проповеди, и вы с благоговением упадете к освященным стопам их и будете просить, чтобы они умолили за вас Господа. А сколько в пустынях св. старцев и стариц? — их, как звезд на небе, не перечесть. Скажите, можно ли после всего этого утерпеть, чтобы не обличить глупца, который вздумал язвить наши монастыри, не знавши ничего. Что значит монах? Он есть мертвец, уже не существует для мира, по правилу св<ятого> В<асилия Великого> он не должен ни выходить из монастыря, ни разглагольствовать с посторонними, у него много дела в церкви, в келье и в своем сердце. Ему запрещено правилом св. отец заниматься с отроками; такому же правилу подчинены и женские монастыри. А что касается сестер милосердия, то у нас никому не запрещено быть ею, лишь бы хотели наши дамы, и у себя дома, и в больницах. Что делают так называемые grandes dames? вместо того, чтобы делать бесполезные визиты, посещать театры, танцовать, почему они не ходят в больницы? не ухаживают за больными? Вот на что бы господа литераторы обратили свое внимание, а то берут описывать предмет вовсе им незнакомый. Сохрани меня Бог, чтобы я напрасно нападала на литераторов; в образованном государстве нужны ученые люди, но ученые люди никогда не станут писать о том, чего не знают, а наши жалкие литераторы

выставят какого-нибудь пастора, который по образцу Лютера устроил нечто похожее на монастырь, где ни постов, ни обетов, ни правил св. отец, да поместил там же и богадельню и школу — и кричат, что превосходно, а по мне так это жалкое смешение всего и больше ничего. Если скажут, что некоторые монашествующие не исполняют своего назначения, то это еще ничего не значит: в семье не без урода! да благомыслящий человек не обратит на это внимания. Надо светлыми глазами смотреть на многое превосходное, зло неизбежно в этом свете, пустые люди есть везде и по большей части в так называемом *большом кругу.* Прошу вас, не огорчайтесь грубою правдою, мне больно видеть, что Россия так унижена каким-нибудь неопытным писателем — все немецкое хорошо, а русское худо. Вера превосходная попираема невеждами, истинная Церковь смешана с ложною, монастыри поруганы, святителей, столпов Православной Церкви, называют необразованными, это невыносимо! и кто же это пишет? сами русские, наглотавшиеся чужестранного воздуха. Вот причина моего горя. Вы издательница журнала «Звездочка», в котором помещены статьи. Две статьи «Дюссельдорфа» и «Новые книги», то я вам жалуюсь и прошу: прочитывайте примернее собираемые сочинения, строго цензируйте их. Помните, что ваш журнал читают *чистые, свежие* возрасты обоих полов, что слова ядовитые, намазанные медом увлекательного красноречия, отравят молодые отрасли любезного нашего отечества; неужели эта отрава должна идти из ваших рук? Это ужасно! нет, я верить не хочу, одно невнимание, поспешность и неумеренный восторг литературный увлек вас. Я не хочу думать, чтобы вы, одаренная нежными чувствами ко всему истинно хорошему, были согласны возрастить в юных сердцах отвращение от нашего отечества, от уважения к святителям Православной Церкви, от св. обителей — словом, от всего святого, и бросить их в объятия непонятной Г. поэзии? воспламенить их неопытные сердца чем-то набранным из разных романов? Не понимаю плана вашего! Я не выписываю теперь многого из вашей похвалы г-ну Г., потому что, сверх ожидания моего, письмо мое и так уже очень длинно и, верно, утомило вас. Вы заняты, вам некогда читать длинные письма, оставлю до будущего времени. Но если вы по навыку из детства получили твердые правила нынешних литераторов, или по законам литературы не можете ни переменить плана вашего, ни умерить выражений, по-моему, неуместных для *возраста старшего*, то это письмо будет последним. Вы и я обе потеряем понапрасну время, которое для обеих нас и кратко, и дорого. Я пишу не для печатания, пером

моим водит одна любовь христианская. Послушаете — благо вам и мне, не послушаете — я ничего не теряю. Простите! желаю, чтобы при чтении этих двух листков негодование не имело места в сердце вашем, остаюсь любящая вас о Господе

Готовая к услугам,

Мария Извединова.

1847 года
апреля 17-го
Москва.

### 1337. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Калуга, 22-го мая 1847.

Пока еще есть кое-какие силёнки, пишу вам, любезный друг Николай Васильевич. Со дня на день, или, лучше, с часа на час жду родов с величайшим страхом, потому что чувствую слабость, и нервы в дурном положении. Не знаю, что Бог даст; если останусь жива, напишу, как только силы позволят. У нас все идет своим порядком, т. е. вице-губернатор поссорился с губернатором; видно, для управления России это нужно, потому что в Орле та же штука, в Нижнем тоже и во многих других городах подобное. Прокурор пишет доносы, одним словом — губерния свое дело делает. Приехал ревизор из Питера — ревизовать юстиционные места. Ив<ан> Аксаков из уголовной палаты перебрался в московский сенат. Если Бог даст здоровье и силы после родов, я вам опишу всю дрязгу с вице-губернатором, которому фамилия К<луши>н, и разные похождения наших львиц губернских, всю физиогномию города, во время гвалта, словом — все, все.

Читали ли вы п...е письма Павлова в «Московских Ведомостях» против вас; в них высказалась вся лакейская натура Павлова. Вяземский вам, вероятно, послал свою статью. Жуку дружеский поклон. Что его жена? Поправляется ли летом? — жаль мне их очень. Прощайте, друг мой, молитесь обо мне, а я вас никогда не забываю.

### 1338. М. С. Щепкин — Н. В. Гоголю

<22 мая 1847. Москва>

Милостивый Государь
Николай Васильевич.

На первые ваши три письма я не отвечал, и, конечно, на это нет извинения, а потому я и не извиняюсь, ибо это будет ни

к чему, а объясню некоторые причины, которые привели меня к такому результату. Первые два письма ваши получены во время моей болезни, и я не мог действовать по смыслу ваших писем в этом случае. Третие письмо остановляло уже все действие по части «Ревизора»; а главное — причиною ли тому болезненное состояние мое, головное ли отупение, только из всех трех писем, за исключением того, что касалось до сцены и до искусства драматического, что все вообще взято мною к сведению, остального, простите, я не понял совершенно или понял превратно, и потому я решился лучше молчать и ожидать объяснения изустного, если бы только случай был ко мне так добр. По выздоровлении, прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей. Я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю их со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился, — видите ли, какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не отдам, не отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог. Вот главная причина моего молчания, и теперь, как все это высказалось, я, право, не знаю, может быть, все это вздор, вранье, но уже все это высказалось, так ему и быть!

В сторону прошедшее, за бока настоящее. Последнее письмо ваше совершенно оживило меня, и я в таком был поэтическом моменте, что я вот так <бы> сел и поехал, чтоб обнять вас, и Степан Петрович Шевырев уже начернил и письмо к директору об отпуске за границу. Да, я молод еще, хотя мне и без году шестьдесят, я еще восторгаюсь сильно, сильно увлекаюсь, даже до излишества; но, пообдумав все это, нашел все это почти не выполнимым, по крайней мере в настоящее время. Средства, придуманные вами, хороши, но не верны. Хотя на водах и много бывает русских, но все, что можно сделать при вашем пособии, — тысячу и даже,

может быть, полторы, разумеется, во все вечера, и этих денег точно может быть достаточно на вояж в Париж и Лондон, хотя и это еще не совсем точно. Но доехать до Остенде — на это тоже требуются все деньги и деньги. И потому мне двинуться нельзя без верных пяти тысяч пятисот рублей. Вас это удивит, а я вам это объясню: у меня останется дома, кроме прислуги, 17 человек; им прожить нужно 1 000 <рублей> в месяц. А как поездка моя никак не может быть меньше трех месяцев, следовательно, им надо три тысячи, а мне на вояж 2 500 <рублей>. Видите ли, эта сумма необходима — нет ее, и я должен лишить себя всегдашней моей мечты. Мне нужно видеть заграничные театры, очень нужно, незнание языка меня не пугает, главное я пойму, и оно необходимо мне для моих записок, в конце которых хочу изложить свой взгляд на драматическое искусство вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время. Это будет окончательным делом моей практической деятельности! Итак, вы сами видите, как бы это было мне полезно для будущего. В настоящем же мне оно, кроме удовольствия, не принесет никакой пользы, ибо после сорокалетних занятий я уже не могу переделать себя, у меня недостанет сил, все сценические недостатки вросли в меня, вросли глубоко, их не вырвешь уже, не повредивши целого. Итак, практику оставим донашиваться так, как она есть. Конечно, много выиграла бы мысль, что для меня и для моей цели очень было бы полезно; но 5 500 <рублей> ставят этому препону. Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за уплатою и с наемом годовой квартиры 1 500 <рублей> — вот все мое состояние! Да ежели бы его осталось и столько, сколько нужно для вояжа, то я и тогда не мог бы им пожертвовать. Это было бы поступлено мною бессовестно в отношении моего семейства. У меня было в жизни два владыки: сценическое искусство и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; искусство на меня, собственно, не может жаловаться; я действовал неутомимо и по крайнему моему разумению, перед ним я прав. В отношении же последнего, положа руку на сердце, я не могу этого сказать. Стало быть, я должен стараться поправить то, что так долго было упускаемо. Итак, при всем моем желании я должен затаить мое желание и, может быть, на долгое время еще лишить себя ваших объятий, в которые, вы рады ли или не рады, я заочно повергаюсь и, от души вас обнимая, сам остаюсь весь ваш, все, что хотите, — и друг, и слуга, и проч. и проч.

Михайло Щепкин.

Я написал было сам это письмо, но так надряпал, что насилу сам прочел, и потому вынужден был попросить брата переписать.
1847 года. Маия 22 дня стар. ст. Москва.

## 1339. Н. Я. Прокоповичу

Франкфурт. Июня 20 <н. ст. 1847>.

Благодарю тебя за письмо. Оно мне принесло особенное удовольствие именно по следующей причине: я начинал уже было думать, что ты от должностных своих занятий, несколько черствых, заклёкнул и завял. Но слог письма бодр, мысль свежа. Почему тебе не попробовать пера? Что ни говори, способности не даются нам даром, и взыщется строго за неупотребленье их. У тебя же, судя по твоим школьным, еще писанным в Нежине, повестям, есть[1] все свойства повествователя. Речь[2] твоя лилась плодовито и свободно, твоя проза была в несколько раз лучше твоих стихов и уже тогда была гораздо правильней нынешней моей. Нет разве предмета о чем писать? Но разве ты не жил? Разве не видел людей? Разве не открывалась перед тобою душа человека? Разница в том, что она перед тобою раскрывалась, начиная с нежнейшего возраста. Или мир, тобою узнанный, считаешь ничтожным, непривлекательным, нелюбопытным для других? Но в таком случае нужно прежде[3] доказать, что человек на тех мест<ах>, где ты его находил, не способен для высоких ощущений. Но мы с тобой знаем, что кадетский учитель имеет[4] такие минуты, каких не доводится иметь и чиновнику, который неизвестно зачем стал преимущественным предметом пера. Может быть, точно, виноват в этом несколько и я. Как бы то ни было, но всё это такого рода вещи, о которых следовало бы тебе подчас подумать очень сурьезно. Тебя удивляет, зачем я так жаден слышать толки о моей книге. Затем, что я очень жаден знать людей[5], а в толках о моей книге все-таки более или менее обрисовывается передо мною человек со всем своим знанием[6] и невежеством и, что всего важнее, открывает мне свое собственное душевное состояние, которое для меня еще важней его характеристики внешней и которого, согласи<сь>

[1] были
[2] Пр<авильная> речь
[3] Но прежде нужно
[4] что скромный учитель даже имеет
[5] и людей
[6] вежеством <?>

сам, я бы никак не мог узнать без моей книги. Кстати о толках. Я прочел на днях критику во 2 № «Современника» Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех, разделяющих его мысли. Это неправда; в книге моей, как видишь, есть нападенье на всех и на всё, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен[1] к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества[2] и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только обманулся: я считал Белинского возвышенней[3], менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, и я люблю благодарить, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике», в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если ж в нем угомонилось неудовольствие[4], то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам.

По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу. Еще одна просьба. Разузнай, пожалуста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родст-

[1] обращен решительно
[2] излишества свои
[3] возвышенней и даже великодушней и
[4] угомонилось против меня неудовольствие

венник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновские, без прибавления Гоголя, которое осталось только за отцом.[1] Если появивший<ся> Гоголь есть один из сыновей священника Яновского, из которых я, однако ж, до сих еще <пор> не видал своими глазами никого, то в таком случае он может[2] действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не понимаю, зачем ему похищать названье Гоголя. Не потому я это говорю, чтоб стоял так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти какие-нибудь гадости, истории с книгопродавцами[3], обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок[4] известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор[5] его и в глаза не видал. А потому чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим именем, не худо бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собствен<ным> именем. Всякое[6] имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявл<ение>. Но прощай! Обнимаю тебя от души!

Твой Г<оголь>.

Пожалуста, не забывай меня и пиши. Адресуй в Франкфурт-на-Майне, poste restante.

*<На обороте:>*

St. Pétersbourg. Russie.

Его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу.

В С. П. Бурге. На Васильевск<ом> острове. Между Большим и Средним проспектом, в 9 линии. В доме Прокоповича.

1 *Далее начато:* как происходившим по прямой линии от
2 может быть
3 истории с книгопродавцами и тому подо<бное>
4 чтобы не делать каких-нибудь печатных огласок
5 и я не имею до сих пор
6 *В подлиннике:* всякую

### 1340. В. Г. Белинскому

<20 июня (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке, меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить[1] вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и нейтральные — все огорчились[2]. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека и потому почти всё приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые покаместь еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом.

Я очень не даром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека скрытног<о>, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети,[3] настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми

[1] *Далее начато:* в

[2] пр<иняли>

[3] *Далее начато: а.* смы<сл> *б.* которой

наполнена ваша статья. Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики[1], говорившие о достоинствах моих, несправедливы?[2] Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я беспристрастно хотел определить достоинство каждого и те нежные оттенки эстетического чутья, которыми своеобразно более или менее одарен был из них каждый? И если я выжидал только времени, когда мне можно будет сказать об этом, или, справедливей, когда мне *прилично* будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувством беспристрастья и справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, — всё это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>
В. Г. Белинскому.

### 1341. А. О. Смирновой

Франкфурт. Июня 20 <н. ст. 1847>.

Я получил ваше маленькое, но очень милое письмецо от 22 мая. Благодарю вас очень, бесценный друг мой, что вы не позабыли уведомить меня о себе в это время, когда мои мысли были заняты вами и душа моя молилась, как могла, о вас. Бог милостив; я надеюсь, что Он и без моих[3] бессильных и вялых молитв

[1] все критики
[2] *Далее начато:* А почему вы зн<аете>
[3] и без моих нич<тожных>

восстановит вас и что, вероятно, вы уже разрешились, по Его милости, благополучно. От вашего братца, Арк<адия> Осиповича, я получил такое прекрасное и такое *нужное* письмо, что не знаю, как благодарить его. Он собрал в нем все толки, какие случилось ему слышать о моей книге, и прибавил в конце собственные свои. Я бы очень желал, чтобы вы упросили и другого вашего братца, Клементия Осиповича, сделать то же, то есть собрать все толки тех лиц, которых суждения случилось ему слышать, присоединивши к тому и портреты их самих, и присоединить в заключенье и свой собственный вывод как о книге моей, как о толках на мою книгу, так равно и людях, подымающих толки. Это бы у него вышло, без всякого сомнения, очень умно и, стало быть, мне нужно. Вы же никак не огорчайтесь всякими печатными статьями вроде Павлова, в которых, как вы пишете, слышна лакейская натура. Какова бы ни была натура того, который пишет (это его дело, и за это он даст ответ, а не я), но тем не менее мне нужно после всякой такой статьи осмотреться получше на самого себя и замотать, как говорится, многое себе на ус. И это уже совершенно мое дело, за это я дам ответ, а не кто другой. Я не знаю ни одной статьи, которая бы чему-нибудь меня не научила, так что чем далее, тем более вижу истину слов: «Всё может нас учить, если только захочешь сам учиться». Я знаю только одного моего приятеля, очень почтенного во всех отношениях человека, от которого одного я ничему не научился. Этот приятель мой есть бедный Погодин. Всё, что ни говорил он обо мне и мне, всё было невпопад. Ни разу во всю жизнь свою не определил мне справедливо ни одного моего действия. Вы можете сами постигнуть, каково было положенье мое с этим человеком в те поры, когда я сердился на всякую напраслину, особливо[1] когда эта напраслина возводится на нас любящим нас человеком. А человек этот, точно, любил меня, но по-своему,[2] но от этой любви мне приходило до слез. Теперь, разумеется, всё это прошло. Я сам пришел в положение человека, могущего о себе слышать всё хладнокровно. Он, кажется, сам почувствовал, что я его не отталкиваю и что я хочу стать с ним в прямые отношения, но при всем том (изумительное дело!), как только заговорит он обо мне или о моей книге, по мере того как он отыскивает в ней меня, — всё до последне<го> слова невпопад, так что Булгарин, Сенковский, Павлов и, наконец, все щелкоперы и наездники, которые

[1] особливо возводимую
[2] [вроде того медведя] так что

налетают в еженедельных газетах[1] затем, чтобы порисоваться самому и показать, что и у него есть чем боднуть, словом — самый несправедливейший и бранчивый из них сказал мне что-нибудь нужного принять к сведенью, один он ничего, — кроме разве той истины, которою мне, без сомнен<ия>, следовало бы воспользоваться, а именно: уметь вынести полное исковерканье себя, смолчать всё, — принять на свой счет и не хотеть оправдаться. Я бы очень желал, чтобы вы познакомились с ним, расспросили бы его сами, каких он мыслей обо мне, не сердясь ни на что и руководствуясь изрядным запасом терпения. Оправдывать меня перед ним не нужно. Лучше всего, если бы его можно было возвести до христианского сознания, что он может ошибиться, что весьма трудно судить о таком человеке, который еще строится, но не состроился, и потому весь внутри, что здесь можно всякое действие принять ошибочно, истолковав его в другую сторону, что такого человека может понять разве один такой, который сам тоже строится. Словом, если бы могли его убедить хотя в справедливости этой мысли, то это было бы уже доброе дело. Положение подобных людей, точно, жалко. Как бы то ни было, но они должны страдать обо мне, если только меня любят. Они теперь, точно малые дети[2], и у них Бог весть что в голове: они, например, думают, что я имею необыкновенную страсть к знатным, знакомлюсь только с ними, что для меня незнатный человек, будь благороднейший и высоких добродетелей, нипочем; словом, такие вещи, что мне сделалось даже стыдно писать о себе, не только разуверять. Не позабудьте при этом, что Погодин, сверх того, еще истинный христианин, который очень расположен видеть собственные недостатки. Но он до такой степени позабывчив, что его[3] во всяком деле и действии нужно приводить ко Христу. Ставши лицом к Самому Христу, он вдруг опомнится и увидит как следует вещь. На миг отнесешь от него образ Христа — он вдруг отдалится от справедливого воззрения на житейское дело. И думает уже обо всем вновь как Погодин, а не как христианин. Если вы будете когда-либо в Москве, не позабудьте также познакомиться с Шевыревым. Человек этот стоит на точке разумения, несравненно высшей, чем все другие в Москве, и в нем зреет много добра для России. Я вам также писал несколько о Вигеле в прежнем письме и просил вас не позабыть его также в ваш проезд. Я всегда

[1] налетают на мою книгу
[2] Они, как малые дети
[3] что ему

о нем думал, что он умный и притом честный и благородный человек, в чем согласны были все, знавшие его недостатки и грехи[1], но я никогда не думал, чтобы он так высоко чувствовал и умел понимать вещи, как увидел теперь из его письма, и мне стало очень грустно за его одиночество. Но прощайте. Будьте бодры духом! Не смущайтесь ничем и предоставьте всё Богу, Который так умно всё делает, как нам и во сне не может привидеться. Недуги ваши, верно, дело свое сделали: душа ваша стала, верно, еще лучше и колебалась затем, чтобы сделаться[2] чрез то тверже и крепче, а от нее окрепнет и тело, которое зависит всё от состоянья души. Во мне тоже было несколько смущался и колебался дух, затем, чтобы стать покрепче:[3] недаром говорят, что деревья, шатаемые ветром, пускают глубже в землю корни. Зато теперь яснее передо мною путь мой, и никогда еще не хотелось мне так в Иерусалим, как теперь. Но прощайте до следующего письма. Адресуйте попрежнему в Франкфурт.

Ваш весь Г<оголь>.

## 1342. Н. Н. Шереметевой

Июнь 20 <н. ст. 1847>. Франкфурт.

Благодарю вас, добрейший друг мой, за письма, которыми вы меня не оставляете. Ваши слова, что упреки, даваемые кому бы то ни было, должны сопровождаться любовью искренней к тому, кого попрекаешь, очень справедливы. Нужно слишком много любви, чтобы уметь сделать истинно полезным другому упрек наш. И притом какой любви! нежной, сострадательной, полной снисхожденья к бедной и слабой нашей природе, ничего не умеющей переносить, как нужно. Отныне постараюсь это иметь в виду неотлучно во всех сношеньях с кем бы то ни было, если придется в чем попрекнуть. Покуда же вижу, что больше всего приходится попрекать самого себя. И все эти упреки, которые посыпались на меня со всех сторон, — не без воли Божией. Хотя и очень заболела от много<го> душа, и тяжела была эта[4] операция для моих еще очень щекотливых струн, но да будет благословенна мудрость Божия, всё строящая! Мне очень нужно смотреть строго и во все глаза на себя. Если и нет многого из того, что мне приписуют, — всё нужно приостеречься, чтобы оно не вошло. Дух мой,

[1] все его недостатки и грехи

[2] стать

[3] *Далее начато:* подоб<но>

[4] *Далее было:* ду<шевная>

который, признаюсь, по немощи моей, было уже немного поупал и поколебался, воздвигнулся вновь и как бы еще сильней стал. И верю я твердо, что Бог не оставит того, кто молится, как бы ни слабы и ничтожны были его молитвы. С другой стороны, меня радует то, что после этих тревог хочется сильней в Иерусалим, и сердце как бы говорит мне, что там найду искомое. Но да хранит вас Бог! Не позабывайте меня; по-прежнему пишите и молитесь обо мне. Ваши молитвы теперь еще нужней, чем прежде. Не ради их ли укрепил меня Бог и хранит? Адресуйте во Франкфурт-на-Майне.

Весь ваш Гоголь.

*<На обороте:>*
Надежде Николаевне Шереметьевой.
В Москве. На Воздвиженке. В доме графа Шереметьева.

## 1343. Графу А. П. Толстому

Франкфурт. Июнь 22 <н. ст. 1847>.

Ожидал, ожидал извещенья вашего о том, куды вы, и как, и когда, и — по обыкновенью — вновь не дождался, а между тем истек уже почти месяц с тех пор, как мы с вами расстались, мой наидобрейший и наилюбезнейший Александр Петрович, которому хотел бы я от души вставить в уста наипрекраснейшие зубы, а в душу, которая, слава Богу, и без того хороша, наижеланнейшее спокойствие и веселие. Но как быть! ничего нам не дается по тех пор, пока, отказавшись от собствен<ных> желаний, не благословим, сложа руки крестом, именно то самое состоянье, какое послал нам Бог. Если б только мы отважились и решили это сделать, всё бы к нам пришло потом в награду. Но мы не верим в это, зато и дается нам в удел долгое томленье. Но авось Бог вам помог уже. Во всяком случае, все-таки хоть строчку, мне бы не хотелось не дождаться здесь от вас извещенья верного о вашем маршруте, чтобы не разминуться как-нибудь, а этого я бы никак не хотел. Посылаю вам, между прочим, счет, по которому я заплатил за вас в Hôtel d'Angleterre (будто бы незаплаченный прежде). Вы, пожалуста, его берегите, не то вас как раз заставят заплатить еще раз. Здесь, как я заметил (да и вообще везде во всех как просвещенных, так и непросвещенных землях), это в обычае. До свиданья, прощайте. Графине душевный поклон.

Весь ваш Г<оголь>.

Скурыдину передайте также поклон.

<*На обороте:*>
Paris.
Son excellence monsieur m. le comte Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, № 9. (Hôtel Westminster).

### 1344. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Июня 2/14 1847. <Москва>

Наконец спрашиваешь ты о детях. Согласись, как вообще отвлеченна наша дружба и как мало знакомы мы с жизнию. Каковы дети, что они обещают, чего не обещают, как ты их воспитываешь, чем ты живешь, что делается с тобою — вопросы великой важности, от которых зависит много самое расположение души, а они представляются под конец почти наравне с предметами простого любопытства. Этот упрек относится не к тебе одному, но и ко мне и ко многим, если не ко всем. Я расскажу тебе теперь все семейное. Это пятое мое письмо вместе с прежним и еще два-три последующих должны составить одно письмо, которое пишется отрывками, а после приведется, пожалуй, в порядок в твоей душе, как и моей. Дети, во-первых, теперь здоровы; вообще я доволен ими, их склонностями, занятиями — что Бог даст вперед? Саше уж 13 лет. При ней живет девушка, m. Symonds, дочь того американца, с которым я жил у Трубецких. Плачу ей 1 200 <рублей ассигнациями>. Добрая, образованная девушка, но <воспитанная> в пансионе, след<овательно>, с искусственными привычками и взглядом на вещи. У Саши сердце нежное, любящее, характер веселый. Митя развивается туго, мало еще понятия и смысла. При нем живет немец, учащий по-латыни и немецки, — 1 200 <рублей ассигнациями> за 11/2 года, до следующего экзамена в гимназию. Рисовать показывал большую способность, и рисовал очень хорошо, но теперь особого учителя нанимать нет сил. Ване 5 лет и Груше — 3. При них русская немка, порядочная женщина, но сухая. Таков характер, кажется, и у надзирательницы да и у Елизаветы Фоминичны, которую ты окрестил, кстати, Аграфеной Кузьминишной. Следовательно, голоса кротости, любви им недостает. Я, переламывая себя, говорю таким голосом только иногда. Всех любовнее это моя матушка, но ей за 70 лет. Митя очень вспыльчив и не переносит оскорблений. Любит спорить. Ваня будет, кажется, умнее, Груша — девочка резвая и живая. Боюсь за нее впереди. Брат Григорий Петрович совершенно у меня на руках. А мои доходы все прекратились, кроме одной пенсии, так что

я не знаю, что и делать. Очень тяжело содержать все в порядке. Имение свое положил я все в свой музей, который теперь не имеет цены и состоит из вещей драгоценнейших, но не дающих хлеба. Рукописей вчетверо больше, чем у Румянцева, а вещей и древностей 40 шкапов. Расстаться с ним при жизни я не могу, потому что, кроме изучения, он доставляет мне единственное утешение и развлечение. Прекратить покупки не могу, как игрок перестать играть в карты. Собирание мое сделалось известно по всей России, и со всех сторон несут и везут мне всякие редкости. Ну как откажешься? Всякую неделю получаю я что-нибудь, и одна корреспонденция с комиссионерами представляет прелюбопытные вещи. Теперь пускаюсь на спекуляцию, которая или поправит мои дела, или я увязну уже так, что только вытаскивайте. Ты знаешь коллекцию эскизов, что была у Глинки? С тех пор не нашлось охотника купить ее даже за 100 тысяч рублей. Каковы подлецы наши богачи, которых ты так честишь. Ее хотят увезти в чужие края. Я решился купить ее за 70 тысяч руб<лей> асс<игнациями> — 4 350 эскизов! План мой — огласить ее в Европе. Тотчас получится, надеюсь, предложение. Тогда правительство опомнится и купит у меня это неоцененное собрание. Деньги занимаю. Но если это не удастся? Не думаю, впрочем: свое возвращу я непременно. И это хорошо. Чтоб, по крайней мере, не ушло из России это с<обрание>. Негодую на себя за свою беспечность и дерзость. Впрочем, об экономии в своих делах, как они теперь ни худы, я не забочусь, уверенный, что они поправятся и что ни я, ни семейство мое не будут иметь нужды. Я не могу справиться с собою в другом отношении. Вот где моя тревога и смущение. Ты знаешь, что я не знал женщин до 33 лет, то есть до своей женитьбы. С Лизой я прожил 11 лет. Теперь третий год я один, и природа требует своего. Первые года я справлялся кое-как: размышление, занятия самым глубок<им> и мне <*нрзб.*> предметом служили мне фонтанелями, и только по временам происходило движение. Теперь оно усиливается. Женщина, к которой вообще мужчина привыкает, как к трубке, для меня сохранила всю свою прелесть, потому что я знал, даже целовал, только одну во всю свою жизнь. Голове становится дурно, например, в эту минуту. Медики советуют, а без закона я не могу прикоснуться ни за что! Где же искать другой Лизы? Нравственная потребность тоже велика. Скучно, грустно одному; хочется передать, разделить свои чувствования, даже поговорить искренно. Ты не можешь понять этого положения, и не поймет никто, не бывав в подобных обстоятельствах. Нашел ты время толковать со мною о неряшестве слога!

Обращаюсь к твоему последнему письму. Не об неряшестве, не о торопливости я говорил тебе, а об том обвинении, будто в 30 лет ни одного я юношу не подвигнул к добру, ни в одном не произвел хороших впечатлений, ни одной мысли не обдумал и не понял вполне. Мне все кажется преувеличенным. Разумеется! А какая разница между есть и кажется? Мне надо подать совет... он замирает на моих устах — мне слышится голос: «Куда тебе советовать?» Ну да что толковать об этом! У меня на другой день по прочтении книги не осталось горести в сердце, а я говорю тебе в исполнение твоего желания, что происходит наяву или в воображении. Следовательно, утешения мне не нужно. Почему я не сердился? Сначала я полагал, что доброе сердце не помнит зла. А теперь с горестию вижу, что все только гордость, первородный грех играет большую роль. «Что ни говорите вы, друзья и враги, благородные и подлецы, я знаю свою силу и покажу вам ее и пристыжу вас всех», — такое сознание, верно, лежит в глубине этого доброго, по-видимому, сердца, и потому я спокоен и не сержусь. Любить, любить и любить! Молиться, молиться и молиться! Желать быть лучше — вот все, что мы можем, слабые, падшие люди... Глупо ты делаешь, что живешь в чужих краях. Откажись от твоего ума, он увлекает тебя Бог знает куда!

Прощай. Твой М. Погодин.

Киреевскому лучше. Отец Макарий скончался в тот день, в который назначил свой выезд из Иерусалима. Третьего дня у нас на дворе умерла женщина молодая, ездившая накануне с мужем в город за покупками. Поутру гуляла, в 12 ч<асов> родила, в 5 скончалась.

Ну, собрал ли ты от любезных своих богачей хоть тысячу руб<лей> асс<игнациями> (если не более) и послал Шафарику? Это необходимо, а я не могу и собирать — здесь нельзя. Сделай эту милость и пошли. Предоброе и преполезное дело. Адрес: Paul Joseph Schafarik, Sr. Wohlgeboren, Gustos an der K. K. Bibliothek in Prag. Sarbergasse, № 146. Ты хочешь писать о моих изданиях — да разве ты их знаешь?

Между малороссиянами открылось что-то недоброе.

На Аксакова ты, верно, сердишься? Это нехорошо. Старик писал тебе искренно и любя.

Что наш век есть век недоразумений — это святая истина! Да, я все позабывал тебя спросить, что за страшное происшествие, к которому я подавал повод? Ума приложить не могу.

Пиши мне с первою почтою. Ты все волнуешься — старое и новое в тебе борется. Это ясно для меня по письмам. Какие противоречия ты находишь у меня? Следовательно, ищешь, по крайней мере.

«Мне надо сказать: ты украл это у меня?» Да что же у тебя украсть? Ты не говорил ни одного даже слова, слышите ли столько <?>. А граф Строганов, прочитав твои письма, с кошачьей злобой говорит мне: «Ваши друзья говорят об вас то же». А люди незнакомые или знакомые, но легкие, министры или NN, SS, от которых зависит мое положение? Мне совестно смотреть им в глаза!

## 1345. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Июня 14/26 1847. М<осква>.

Посылаю тебе, любезный друг, два письма, полученные на твое имя, одно из них от Малиновского, и копию с 4-го письма Павлова о твоей книге. Третье письмо Павлова не было не только напечатано, но даже и написано. Так мне сказывал автор, которому я это выговаривал, особенно после того, как в публике разошелся слух, что третьего письма не пропустила цензура. Я не понимаю, почему он нарушил порядок числительный. Недавно я послал тебе по твоей просьбе 3 тома летописей и «Русские праздники» Снегирева. Все это доставит тебе кн<язь> А. Волконский, который уже извещал меня из Варшавы, что получил эти книги от Похвиснева, который их взял с собою. Лежат у меня еще «Пословицы» Снегирева для тебя, да не знаю, с кем их отправить, а тогда не мог достать. Первой оказии не пропущу.

На письма твои буду отвечать следом. И без того пакет велик. Мне нравится твое расположение духа. Ответ Павлову очень значителен. Требование примиряющего с жизнию от лежащих на боку много меня рассмешило. Щепкин не решился собраться к тебе. Я его понукал. Он, как думаю, находится под разными влияниями издателей «Современника», тебе не сочувствующих. В нем есть какая-то перемена не совсем в его выгоду как художника и как старика. Хорошо бы было, если бы ты сам за него взялся. А им оба были бы друг другу полезны. Я собираюсь в путь. Скажу после.

Твой С. Шевырев.

Мой 2-й выпуск, верно, уже есть у Жуковского.

### 1346. Д. К. Малиновский — Н. В. Гоголю

<1–12 апреля 1847. Москва>
1847. 1 апреля.

Милостивый Государь
Николай Васильевич.

Принесши вам искреннюю благодарность за ваш ответ, спешу и сам на него отвечать. — Признаюсь вам откровенно, послав вам свои записки, я не раз раскаявался и внезапно краснел от мысли, что так безрассудно обеспокоил вас. Писать к вам мне не было ни малейшего повода, кроме моих собственных идей, моего духа, странно образовавшегося, бумажного, слабого для того, чтобы выразиться в доброй деятельности, и... как бы сказать... довольно разросшегося, чтобы совершенно улечься в теле, слепо ему повиноваться и не восстать — хоть и без пользы — против его мерзостей. Я чувствовал, что Бог одарил меня добрым сердцем, изрядным умом, душею, могущею настроиться не на одну обыденную деятельность; я это чувствовал и рвался не с расчетом, а от души, рвался к... не знаю, к чему, к чему-нибудь хорошему, к счастию, к спокойствию, к добру. Я читал ваши сочинения и — не по толкам журналистов, не по говору всей публики, а сам по себе, по указанию души — нашел в них поэта, какого не встречал: ваша поэзия — не указываю ей места высокости — ваша поэзия так изумительна, так полна, так богата обилием жизни, что, кажется, вишни у старосветских помещиков так вишнями и пахнут, сады в Миргороде так и отдыхают под солнцем, солнце так и печет их, так и светит и на пыльные немощеные <*нрзб.*>ытые улицы и на душистые, высокотравные роскошные степи и... и т. д. и т. д. ... Хоть жарко, а Иван Иваныч все-таки идет к Ивану Никифоровичу... да впрочем, об чем я вам говорю? Вы это все знаете и чувствуете и наслаждаетесь гораздо больше моего. Я также наслаждался, читая, от<к>рывал малейший намек на картину, на красоту и, пораженный вашим могуществом вызывать то, что скрыто у нас на душе, оставлял книгу, созерцал ваши картины и так любил их, так наслаждался ими, как будто я их видел когда-то в младенчестве, и мне было как-то и радостно и грустно, и я даже почти мог плакать. Ваша поэзия пахнет действительностию и жизнию. — Может быть, я не создан быть поэтом на деле, но душа у меня поэтическая, как часто водит меня по таким местам, где человек телесный не бывает, где природа, красота без средств разочаровать в себе, где только чувствуешь, как все... как велик человек, если он может быть так

счастлив. Я человек от природы ветреный, человек, воспитанный весьма странными обстоятельствами, легкомысленный, иногда сумасбродный… Думал я сам про себя: Господи, как я несчастлив! Как я бездолен[1]! Что я делаю??.. Ничего, ровно ничего хорошего, напротив, очень много худого, гадкого… Где же… О Боже мой! и слов не найду, чтобы сказать что-нибудь о себе — что я такое?.. А ведь Бог видит мою душу, Он знает ее, она… А как я мучусь[2]? страдаю?.. Ну! пусть пропадет жизнь моя втуне, пусть захлебнется грязью душа моя! Дайте мне хоть несколько светлых, отрадных минут, дайте мне хоть короткое время отвлечься от своей слабой, ничтожной деятельности, взглянуть на нее, на мир Божий, как все должно быть прекрасно, как все мое ничтожно… дайте мне хоть спокойно поплакать, и порадоваться — хоть чужой радостью… Для меня были отрадные минуты, когда я беседовал с бумагой. Я сшил тетрадку, назвал ее дневником, и она начала наполняться элегиями, идил<л>иями, мыслями и бессмыслицей, сумасбродством и горькою горечью истин рассудка. А между тем жизнь моя все шла так же и так же. К счастию, у меня был человек умный, принимающий во мне участие, — я беседовал с ним, думал с ним, рассуждал об жизни — все не было проку, мое исправление не подвинулось вперед, если не попятилось. Правда, я был ветреней, юнее, беспорядочнее, но зато я и смотрел на жизнь не так. Фактами я мало уважал, мне больше[3] казалось добром думать хорошо, нежели делать хорошо, я был в душе поэт, выше других и радовался этому, гордился этим; были часы, когда <*1 нрзб.*>, непонятная грусть ела мне сердце, но и эта грусть была как-то мне радостию, и я все-таки бывал счастлив. Потом… во-первых, образ моих мыслей переменился, я понял, что мысль без дела на земле не оправдание, что беспрестанные дурные дела могут и добрые[4] мысли истребить — в этом и опыт меня отчасти убеждал. Я увидел, что напрасно горжусь тем, что не мое, а Божие. Деятельность моя между тем все-таки не совершенствовалась, развертывающийся рассудок только мог освещать ее пропасти и пустоту. Впоследствии, вследствие всего этого, у меня пропала надежда на исправление, меня постигло отчаяние; но правда[5] когда я начал к вам мои письма, я еще не оценил[6] хорошо своего существования.

[1] *Так в автографе.*
[2] *Было:* мучился
[3] больше *вписано.*
[4] *Было:* хорошие
[5] но правда *вписано.*
[6] *Было:* не взвесил

Что же заставило меня писать к вам? Скажу, что думаю об этом. Не чувствую, но думаю, что побудило меня к этому, во-первых, сродное человеку желание отличиться, высказаться; во-вторых, я решительно, положительно[1] не думал послать к вам того, что пишу, а писал почти так, чтоб утешить себя; пишучи к вам, я *<1 нрзб.>* утешал себя; я любил ваши творения и почти не мог к вам не отнестись, — этого я растолковать вам яснее не умею. Вот что побудило меня писать к вам. Что я писал к вам — это объясняется моей натурой, моим взглядом на вещи: теперь природа у меня моя же, но образ мыслей изменился, и изменились письма. Вот вам отчет в посланных к вам мною листках, не знаю, поняли ли вы его. — Теперь приступаю и к ответу на ваше письмо.

Вы пишете: если Бог поможет мне устроиться, из меня может выйти человек полезный и нужный. Так-с, я с вами согласен, всякий человек наделен от природы добром в какой бы то ни было степени, всякое добро может быть полезно и нужно, и Бог всякому готов вспомоществовать в добрых начинаниях; но… Буду откровенен; знаете ли, что мне приходило иногда на мысль: в моем творении Бог отступал[2] от законов Своей[3] благости, Он меня совершенно лишил средств делать добро, хоть и дал мне все материалы для добра; я или вовсе[4] невинен, или ужасный грешник. Эта мысль нелепа, я знаю, но тем не менее она бывала в моей голове. Теперь мне кажется, это происходило от того, что я всегда забывал средину и задавал себе задачи выше сил. То я думал об себе Бог знает что, то уж считал себя ниже подошвы. Что же теперь я думаю о своем устроении? — Право, не знаю что… Да, конечно, Бог всемогущ и милостив безгранично. Но я много уклонился от совершенствования. Разочаровавшись в недоступной великости своей, я хотел сделаться хорошим обыкновенным человеком, мне сначала должно было забыть утрату, и я пустился искать тех удовольствий, над которыми прежде смеялся. Недаром я над ними смеялся, они в самом деле пусты. Для меня они были и вредны. Сколько на свете людей и глупых и умных в самом деле глупы! Да, в нынешний век замотался человек. Даже самые старички, ревнители нравственных догматов, и те стали холоднее к ним. Да, равнодушие, за которым прежде гонялись как за модою, теперь само всех погоняет. Посмотрите…

[1] положительно *вписано.*
[2] *Далее написано еще раз и зачеркнуто:* отступал
[3] *В автографе:* своей
[4] *Было:* во всем

Да, впрочем, вы все это знаете. Ну так и я — со мною почти так же случилось. Боюсь я этого равнодушия, боюсь! хочу употребить для своего исправления меры положительные. Я чувствую, что порок прокрался отчасти в мое сердце, и я начинаю лицемерить, обманывать самого себя. Нынче, положим, открыто не смеются над нравственными правилами, отчасти вы их ввели в моду, отчасти и модная философия не так глупа, чтобы не погоняться за правдою, но рассмотрите сердцевину убеждений — дряблая! Кажется, придется махнуть рукой да подумать: свежесть не прививается! Физический организм, в который закрался болезненный яд... положим, из Америки, — потучнеть может, но соки и кости и кровь останутся те же. Могут и врачи и больные обманываться. Я боюсь этого обмана и как враг (конечно, свой), и как больной. Впрочем, все во власти Божией и, вероятно, Он не глупее нас, коли делает все так, как делает. Врачам спать не должно, так же, как не должно и отчаиваться, не должно быть и слишком решительными; дай Бог, чтоб и больные искали утешение в Боге. Я как больной прогоняю от себя отчаяние, и буду крепиться в вере и надеюсь, пока могу. За собой я буду стражем и чем не успею от порока[1] остеречь себя, буду искать людей, которым можно с пользою покаяться. — Вот что думаю я о своем устроении, не знаю, что присудите мне вы, если захотите обо мне подумать. Надеясь на вашу снисходительность, я имею в виду написать вам еще такой же листик. Простите, если я вам наскучил.

2-е Апреля.

Милостивый Государь Николай Васильевич, простите, что все письма мои говорят пока только обо мне. Вы были снисходительны, написали мне ответ и в этом ответе обращаетесь *ко мне*, даете мне советы, принимаете во мне участие. Я хочу высказаться: кроме вашего участия побуждает меня к этому еще то, что я истинно сокрушаюсь о себе, искренно жажду исправления и, без всякого лицемерия, почти отчаялся в возможности исправиться. Вы живете далеко, далеко, обо мне и не думали никогда, я почти принудил вас узнать о своем существовании, но вы все еще меня не знаете, можете предполагать обо мне и одно и другое — вот что я скажу вам о себе: по благородству стремления я достоин того, чтобы вы меня узнали, по... значению, сущности, содержанию души моей... также отчасти достоин. Мои порывы к улучшению, сознаюсь, не всегда сильны, но часто бывают пламенны и глубоко

[1] *Было:* вреда

искренни. Душа моя… право, она благородная… высокая, смею сказать; мне жаль ее иногда бывает: зачем в такой скудельный, пошлый сосуд скрыта душа такая? Я не в состоянии ее блюсти, я не могу ее хранить, я убью ее, опошлю ее, я, мерзавец, погублю ее — и не пожалею и не почувствую! И все так же буду снобом, так же буду думать о себе, пожалуй — гордиться, важничать… О Боже мой! Будь моим вожатаем, будь моим ангелом! Спаси меня хоть недостойного!..

Понимаете ли, в чем мое горе? В том, что я слит из высокого и самого пошлого. Мне жаль, мне больно, мучительно больно, что я не всякую минуту чувствую свое горе — вот мое горе. Я по большей части, большая половина моей жизни — тля, прах, пошлость — вот мое горе. Силы, силы нет во мне, воли, воли нет — вот мое горе, крайняя слабость — мое горе. Чувствуете ли вы, что письмо 1-го апреля я писал к вам половиною души, другая спала, я писал — я почти сочинял, составлял. И это письмо на то же съедет, и жизнь моя в том пройдет, и буду я замечателен так, как жертва, жертва душевной слабости — ничем не замечателен… Т. е. я говорю об той замечательности, по которой человек дорог, замечателен сам себе, правде, истине, Богу, не людям и молве. Вот моя болезнь, от нее-то мне надо лекарство. Что за дело, что у меня есть, может быть, воображение, фантазия, искры творчества? И это пропадет, как пропадет жизнь моя, как пропадет душа. Откровенно вам скажу, я гордился бы ими, если б они у меня были, но считаю их побочными, дарами частными, положим, нужными для других, но для меня только приятными; грех их зарыть, но я готов на этот грех, готов молчать всю жизнь, хоть будь у меня в груди пророческие истины: а мне жаль души своей, жаль обратиться в ничтожество, потерять истинное о себе мнение, мне жаль себя — для себя, из эгоизма. Спасите меня, спасите, если можете! Там… что будет, то и хорошо.

Примусь за рассуждения.

Странная задача жизнь человеческая! Человек живет… Как живет? Что это значит: «живет»? Ей-Богу, не знаю. Надо ли нам развивать ум свой? Что приносит нам это развитие? Вольтер был умен, Руссо сама природа создала для того, чтобы он об ней говорил, Байрон был гений, Пушкин гений, Баратынский[1] и… что же они думали о жизни? Один, кто поумней, сознавался, что не знает ее, другой говорил какую-то болезненную дичь, третий истинно врал дичь, <*1 нрзб.*> <*нрзб.*>вовался, четвертый мрачно

[1] *Далее было:* тоже

смотрел и дико озирался, смеялся, когда говорили, что он мрачен, пятый, послабей всех, нежный, от души грустил, старался сколько мог утешить себя, но все-таки не утешил, пал от незнания или от принятия ложного знания. Вы знали Пушкина, я его не знаю, но мне кажется, что если б вы его спросили, что он думает об жизни, — он ответил бы: не знаю. Руссо я тоже не знаю, слышал, что он заблуждался, и мне чувствуется, что на него просто жаль было смотреть: бедняжка! не вынесла слабая организация всех впечатлений! он уничтожился, уничтожился собственными мыслями и чувствами! Вольтер... говорят, и Бога отверг. Байрон, мне кажется, между часами своей вдохновенной жизни имел минуты подумать и о личности, о роли на свете; имел ли он истинное понятие о жизни? он был умен, понятия его о жизни — не заблуждения, мысли бывали резки[1], смелы и истинны, но был ли у него светлый, настоящий взгляд, были ли даже постоянные убеждения? Баратынский, тихий, нежный цветок между людьми, умное, задумчивое, истинно грустное существо, назван Пушкиным Гамлетом. Мне кажется, он не совсем Гамлет, Гамлет времен небылых, разумнейший, хладнокровнейший, спокойнейший, но все-таки Гамлет — отпетый вдобавок; не знает, что он такое, зачем призван и что ему делать? Вот коллекция *развитых* умов, умов даровитых, природою отмеченных, — и результат этих умов? (Я не об творениях их говорю.) Открыли ли они человеку что *<1 нрзб.>* о его бытии? Человек узнал, что и они или откровенно мучаются в незнании, или маскируются, или, так же как и прочие смертные заблуждаются, *городят.* Они все грустили, все были недовольны, спрашивали: «дар напрасный, дар случайный — жизнь! зачем ты мне дана?..». А ответ ни один не дал. Желал бы я застать спокойную минуту при конце жизни Гения — он, говорят, больше всех успел в гуманности. Спросил бы я у него: скажите, пожалуйста, что вы думаете об жизни? Расскажите мне об ней искренно все, что вы знаете. Ответ его я записал бы и выучил. Теперь к вам обращаюсь, скажите вы мне: что значит человек в жизни? Оставьте на время Евангелие, ответьте мне как *философ,* ученый, знающий, умный, опытный, живший, наблюдавший человек? Вы непременно, мне кажется, должны сказать: значение удивительное! Человеку непостижное! Знает про это Бог, человек может знать только то, что указал ему Бог. Не знаю, точно ли вы это скажете, а если скажете, то я думаю вот что: мир еще не достиг разумения, жизнь ведется не так, как должно, и... какая обязанность людей умных? Тут

[1] *Далее ошибочно начато:* рез<ки>

я невольно останавливаюсь и читаю вам панегирик за ту мысль, до которой вы дошли, радостно благодарю вас за выдачу в свет ваших писем. Но… еще много тут не сделанного, не дознанного, не объятого. Поставить свет на ноги — О!.. Боже, благослови труд!.. Желал бы я проникнуть в чертоги ангельские, притаиться, прижаться, во прахе вслушаться в их гимны и с трепетом уведать, что они думают о хлопотах, о борьбе человека, видят ли конец им, видят ли, по крайней мере, хоть малейший успех или только хвалят Бога, не смотрят на человека, оставляют его на время самому себе — пусть борется, мятется… Нет! Бог возлюбил человека и спасет его!.. Спаси, спаси Господи! — Спаси и меня! Не забудь! Не отдай на посмеяние врагу!

О, Боже мой, я не знаю даже, чепуху ли горожу или говорю дело. Мне жаль себя, право, жаль, как жаль постороннему человеку другого, который и добр, и хорош, но слаб и сам чувствует свою слабость, и стыдится ее, краснеет и не знает, что делать. Простите меня, Николай Васильевич, я еще молод и очень могу ошибаться. Притом же я поставлен в такую среду, где отвсюду сомнения, если пробудится, возникнет истина, заговорит и, по-видимому, не встречает противоречий, так сосуд этой истины так ничтожен, что и верит, да не верит, и хочет верить, да боится и — или истину душит, или нелепо, постыдно за нее оправдывается. Простите слабость человеческую! Намерения мои добры — вот чему верьте; может быть, я пустоцвет — это другое дело, я не виноват и простить меня все-таки должно. В таком случае, пожалуй, оставьте меня, но прошу вас, оставьте как-нибудь деликатнее. Впрочем, нет, скажите мне истину. — Знаете, можно сказать правду и только уколоть, а не убить. — На время я должен оставить писанье.

(Еще огорчает меня одно: отчего я сам не могу или не смею отличить белое от черного? Прежде у меня было гораздо больше силы и смелости.)

---

Нелегко сказать свету: ты не так стоишь! Во-первых, свет на тебя восстанет, и ты, встретив несочувствие и гордое упрямое сопротивление, изнеможешь, устанешь отстаивать правду. Горе, огорчение, пожалуй, мизантропия будет не вашим уделом. Но, положим, истина, защищаемая высшим умом, зажмет рот не всякому — тщета твоих слов может тебя обезоружить. Мир говорит тебе: да! да! твоя правда! и потом забыл слова твои; прочел,

позевал, побранил, похвалил, насладился и чрез час как встрепан<н>ый: даже и не подумал заметить, что в словах твоих была ему не потеха, а счастие, вся жизнь твоя, посвященная его благу. И ты, разочарованный, обманутый, смотришь во все глаза, и не знаешь, какую и мысль себе в голову вставить, как и к чему ум приложить, и досадуешь до слез на самого себя, стыдишься своей выходки... одним словом — как оплеванный. Вот участь ментора у взбалмошного, хоть и доброго, но капризного и отчасти глупого ребенка. Он думал пожать плоды своих долгообдумыванных, кратких, искренно-материнских наставлений, а его питомец променял его на первую встречную толпу уличных мальчишек и вместе с ними же бросает в него грязью. Глупый, злой мальчик! он не знает, как терзает сердце своему наставнику! Что тому делать? Плакать в приливе горести? Так слезы еще увеличат смех ребятишек. И кто же оценит труды его? Родители? Те, для кого он сражался с порчею ребенка? Они скорей послушают свое чадо, чадо своей болезненной жизни, и вместе с ним же нападут на старика. Как же не защемит доброе сердце? Из чего он бился, из чего мучился? Разлетелись золотые мечты, надежды на плод, один плод ему достался — обида. Может быть, кто-нибудь посторонний, равнодушный зритель и оценит бескорыстный труд, но еще Бог знает, дойдет ли до бедняка эта милостыня — ничего не стоившее участие,[1] и оно бы, конечно, его облегчило. Но пускай ментор тверд и разумен, он предвидел восстание, неблагодарность, встретил их как необходимость и наградою себе кладет высшую награду в самом добре своем, утешение ждет от Бога, от дальнейших успехов, — еще вопросы: как дознать одобрение Божие? будут ли хоть в какой бы то ни было дали успехи? Писать, трудиться для мира, дело похвальное, но осторожность и умеренность — добродетели не последние, надо их в себе анатомировать. Почем знать, одобряет ли Бог труды мои? Может быть, Он еще ставит мне в грех то, что я возгордился, забыл Его[2] предусмотрительность и промысл и бросился без святого призвания на кафедру пророка? — Это недоумение, конечно, разрешается внутренним чувством, степенью вдохновения. Если я так живо чувствую истину, что она сама рвется с уст моих, если побуждения мои так светлы и чисты, что с спокойною совестию, с умиленным сердцем могу их поведать пред Бога — я вправе, должен говорить. Этот вопрос пришел мне в голову потому, что несовершенна природа человека, на дне,

[1] *Далее было начато:* ко<нечно>

[2] *В автографе:* его

в глубине самых светлых помыслов и желаний может прятаться адское семя. Тут внимательность большая потребна, малейшее неспокойствие, горячность могут служить признаком того, чего не должно быть в пророке. — Вот, наконец, вопрос более всех для меня интересный и сбивчивый: да можно ли в самом деле ждать чего от труда писателя? Не мечта ли питать эту мысль? Что следствие чего: книги ли производят всеобщее изменение идей и нравов или, наоборот, книги суть только памятники духа и понятий века? Может быть, слова избранных сих людей потому только кажутся обильными в будущем, что люди эти именно избранники, толпящееся около них поколение должно смотреть на них с уважением только потому, что им известно то, что толпа узнает через пятьдесят или сто лет, но что она непременно узнает и без них, откроет невзначай, незаметно, в брожении, толкаясь, откроет, потому что Бог еще до века разложил под ее ногами сокровища и судил ей открывать их в определенные времена, с определенными пожертвованиями? Что ж тогда великие писатели? Светлые, прекрасные пламенники, поставленные для облагороживания, украшения человечества, памятники, напоминовения высокой судьбы человека: не им быть делателями, творцами в вертограде Божием. Что ж! И мавзолеем в этом вертограде быть хорошо!

Когда вы писали Миргород, Старосветских помещиков, Тараса Бульбу, скажите мне, помышляли ли вы о пользе? Мне этого не кажется; вы, вероятно, писали, потому что писалось, а писалось, потому что живо представлялось и жаль было покинуть, не пустить жить Ивана Иваныча, Ивана Никифорыча, Афанасия Иваныча, Пульхерию Ивановну и Бульбу с его кружком. Скажите же, написавши, теперь, вы считаете эти повести полезными для человечества? Не было ли это игрушкой для вас, не есть ли это игрушка и для света? Я пока не знаю. Идеею, зародышем *Мертвых душ* была польза, но думали ли вы о пользе, когда писали, когда заставляли действовать Собакевича, Манилова, Чичикова? Мне кажется, во время творчества забывается польза и присутствует в творце какое-то удовольствие, что-то вроде радости. Началом подобных произведений может быть мысль о пользе, но чтобы эта мысль проникнула весь акт производства — этого я что-то не могу себе представить. А результат такого дела есть ли польза? Отступлю несколько и поговорю о *Мертвых душах*. Вы говорите, что понимаете *Мертвые души* как полезную вещь; я никак не могу понять заметной их пользы. Вы говорите, что Пушкину стало грустно, когда он прочел начало *Мертвых душ*;

я до того в этом отношении туп, что не только при первом прочтении их не почувствовал грусти, но даже и теперь по указании не могу ощутить неприятного чувства, читая. Вы говорите, помнится мне, что вы виноваты пред русским человеком и всклепали на него частные недостатки, сшили его из одних недостатков; с этим я не согласен, и разве это только наводит меня на мысль о пользе *Мертвых душ*. Отчего грустите? Разве *Мертвые души* со всеми своими героями, со всеми своими пороками уничтожат, уничтожают добродетели русского человека, какие в нем есть? Может быть, эта-то мысль, что, где видишь казнь, там не все живут злодеи, и не позволила мне грустить. Напротив, я посмеялся и только; конечно, призадумался, но легко, мне подумалось: в самом деле, есть же такие... впрочем, и этого, кажется, не подумалось, потому что я знал, что есть у нас *<1 нрзб.>*, отчаянные дураки. Можно сказать, что при чтении *Мертвых душ* я только наслаждался высоким произведением. Почему же вы себя обвиняете? Я не понимаю. Разве лица *Мертвых душ* мертвы? разве они не живые люди? Помилуйте, они вовсе не сшиты, а взяты у натуры; разумеется, они не сняты с каких-нибудь живых индивидуалов, но все-таки взяты живьем из русской натуры, и их пороки и недостатки вовсе не чужие, а их собственные. Что ж делать, вы не виноваты, что у них нет добродетелей. Вам приходится обвинять себя только в том, зачем вы не взяли какого-нибудь небывалого героя, зачем не постарались скрыть, спрятать то, что заметили дурного; так ведь есть пословица: не тот вор, кто крадет, а тот, кто прячет. Вы взяли свои пороки и ими наделили Чичикова, Ноздрева, Собакевича? Извините, мне, право, кажется, что вы немного ошибаетесь. Вы только напали в русском человеке на те пороки, которые и в вас есть и в ваших знакомых есть. Разве эти пороки только в вас и есть? Да помилуйте, любой порок из *Мертвых душ* в любом человеке из нас найдется! Если вы говорите, что обнаружение вашего порока вас от него избавило, почему ж и другим это не поможет? Не знаю; и я бы на вашем месте пенял на себя за то, что еще мало пороков обнаружил, что умел схватить только те, которые во мне да в знакомых есть, а других не схватил. В ваших героях только пороки? Что делать, не вы виноваты, а Бог; говорю вам, что ваших людей Бог создал. Да в них и добродетели есть. Разве у Манилова, у Ноздрева сердце не доброе? Доброе. И еще найдется, если станете искать, добродетели. Право, не понимаю, что вы говорите! Взгляните-ка, у Шекспира или у кого-нибудь другого какие есть злодеи. Да они любого вашего порочного

героя не только загоняют, одним видом испугают. Пушкин удивился безнравственности ваших лиц, а сам написал Мазепу и других. Он, по-моему, больше грех сделал: во-первых, взялся описывать пороки лица, которое в самом деле жило, во-вторых, может быть, и вправду что-нибудь всклепал на него. А вы не клепали ни на Ноздрева, ни на Чичикова, ни на кого. Может быть, вам то неприятно, что вы набрали все *недобродетельных*? Простите меня, мне, право, немножко смешно стало: эк вы как себя доконать все хотите! И тут ничего дурного нет, цель вашей книги была такова, чтобы выставить порок. Если б вы вместо: «Мертвые души» поставили: «Русские», ну тогда вы были бы виноваты в клевете. Я много распространился и, кажется, слишком удалился от дела.

А меня так сомнение печалит несколько: достигли ли вы своей цели? кроме удовольствия принесет ли что ваша книга?.. Я уверен, что она принесет пользу, но слишком незаметную, потому что может действовать не иначе как на отдельные лица. Мой порок, и вчуже осмеянный, принесет мне пользу — это я испытал. Вы еще были очень снисходительны, вы не порок описали, а целиком взяли людей с недостатками, а люди эти так похожи на людей, что и пороки на них не надписаны, как будто они и в самом деле живут с нами. Вы были совершенным творцом. Вот не читали ли вы повести нового писателя Достоевского «Двойник», там, кажется, уж слишком пересолено или, по крайней мере, взят больной человек. По сходству кой в чем героя этой повести со мною я очень его дичился и, признаюсь вам, начал стыдиться того, чего прежде не стыдился. Грубому вкусу наших читателей так и надобно побольше посолить, чтобы они расчухали и начали исправляться. Все-таки я сбиваюсь с своей материи. Книги книгам рознь, великое великому не равно, одно высоко и полезно, другое высоко и более приятно. *Мертвые души* полезны, полезны и письма ваши. Польза последних прямее и очевиднее, польза первых медленнее, незаметнее, но зато глубже. Что ж полезнее?.. Нет, я сбился, потерял толк и не могу более продолжать. Говорю только, что польза, приносимая писателем, для меня предмет сбивчивый. Отложу окончание своего длинного письма до благоприятного случая.

5-е апреля.

Кончу свое рассуждение о пользе и влиянии писателей, т. е. книг. Все сочинения, кроме ученых, в отношении к их пользе, мне кажется, можно разделить на два рода: образчик первого — ваши

письма, другой — все прочие изящные произведения. Род первый — прямо назначающийся для пользы. Но что же такое это за род? К чему, к какому роду отнести ваши письма? Мне кажется, этот род еще не сформировался, а он есть, он может быть, особенно если пользу класть целию книги. Книга ваших писем... дело еще без системы, без плана и определенной цели, но дело большого таланта и, как начаток, как прелюдия к великому начинанию, дело великое. Может быть, я брежу, а[1] мне думается, что ваша книга — дверь в новую область. Эта область: право, не умею хорошо сказать, что она такое[2], она содержит в себе... — новую философию. Цель этой философии открыть глаза миру, предмет ее — польза человечества. Эта философия, если она есть,[3] по необъятности и великости своей есть дело не человека, а[4] времен и человечества. Вся она в целости и величии[5] явится, когда человек кончит бытие свое на земле, когда он оправдается перед Богом и достигнет конца своего совершенствования. Теперь... И по предмету и по цели, и по объекту и по субъекту эта[6] наука питает множество частей и отделов, и хорошо, если какому-нибудь писателю посчастливится сформировать хоть какую-нибудь ее часть.

В наши времена (извините, надо вам напомнить, что я сужу по своим понятиям, а мои понятия... — Бог знает, какие! Часто ни из чего не почерпнуты, чуть ли не гадательные. Я иногда говорю не то что наобум, а вроде этого), в наши времена этот род сочинений нов, ваши письма чуть ли не первый опыт в нем. На этот род не знают еще, как и смотреть, и считают его падением искусства, каким-то грамматическим увлечением поэта, вовсе не нормальным, не смелою попыткою, здоровым, свежим трудом в новой области, а следствием болезни и если не увядания, так заражения сил. Напр<имер>, ваши письма — об них нельзя было не похлопотать. Писатель ничего не хочет, ни творит, ни описывает, ни забавляет себя, ни других; он зрит суетность мира и хочет беседовать с читателем как брат, как друг, вразумлять его, наставлять его. Он оставил окольную дорогу и к цели своей — к пользе — стремится прямо. Конечно, такому сочинению

[1] *Было:* но

[2] она такое *вписано.*

[3] *Далее было:* дол<жна>

[4] *Далее было:* чел<овечества>

[5] *Было:* слове

[6] *Далее было:* то

нельзя было не встретить ропота. Во-первых, читателям (почти всем)[1] жаль, что такой писатель, как вы, не *пишет* более, уж не[2] будут[3] выходить в свет его повести и описания, об которых он, кажется, забыл и думать, а если и думает, так думает вовсе как не о повестях. Во-вторых: «что ж, — думает читатель, — ну, если это в самом деле не болезненное сочинение, если это та же литература, и, пожалуй, может быть, изящная?.. Ведь тогда что ж... как пойдет этакая все литература... пожалуй, и за книгу не возьмешься!!» Да, мне кажется, ваши письма несколько испугали читателя. И чуть ли не тон ваш особенно[4] испугал его. Почем знать, может быть, здесь в читателе морщится современный человек, которому поднесли первую ложку лекарства. Не верящие журналам и те, я думаю, заглянули в них, чтобы узнать, что сказано в них о ваших письмах. А журналы?.. В-третьих, как хотите, много может в человеке и гордость. Ты поставлял весь народ, и тебя слушали, ты от предмета переходил к предмету, от идеи к идее, тянул, переливал, и притом так умно, глубоко, что, пока удивляешься, наслаждаешься, не видишь, как и время летит. Хоть ты и сам иногда замечал, что — черт возьми — все-таки до дела никак что-то не доберешься, но, что за дело! ты выучился рассуждать умно, хорошо, незаметно открыл в себе весьма легкое решение повелевать умами и, след<овательно>, быть великим, ты рассуждал, тебя слушали, противоречия смаковали, ты даже уже начал забывать, гордиться своим умом, свыкся с своею должностию, полюбил ее бескорыстно как хозяин — вдруг... об твоих идеях и помину нет, на тебя и не взглянули, и ты, услышав новые речи, новые и притом очень простые наставления... Это просто значит отбивать хлеб!.. И вот, восстали на вас те, которые вас хвалили и наоборот, и так далее, одни пошли против других, начались рассуждения, рассуждения, толки и — теперь трудно добраться толку, кто за ними пойдет насчет вашей книги. Даже сам автор может сбиться с дороги в лабиринте мнений, сомнений, мыслей, и обидно глупых и довольно умных, если он заранее не обдумал пути, не попомнил, что встретит на нем. Тем более, если он просто написал от души в минуты[5] вдохновения, и не посоветовавшись с умом; он может сбиться, многому поверить и разочароваться.

[1] (почти всем) *вписано.*
[2] *Далее было:* выйд<ет>
[3] *В автографе:* будет
[4] *Было:* *<1 нрзб.>*
[5] *Было:* в минуту

Я желал бы знать весьма обстоятельно, что вы думаете об своей книге. Тогда, может быть, я рассуждал бы иначе.

Некоторые ваши речи дают разуметь, что вы считаете свои письма вовсе не каким-нибудь антрактным делом. Если это так — вы не поверите, как я рад. Но дело не в том, дело — в пользе таких сочинений.

Положим, что книга ваша написана с целию, цель эта есть польза, но достигнута ли эта цель?

Если рассуждать как-нибудь a priori, конечно, польза очевидна. Истины книги очевидны, имеют основание незыблемое, суть следствия вдохновения и самого высокого чувства — они высказаны как нельзя лучше и книга не умрет без плодов, без добрых плодов: добро, ею содержимое, привьется, по крайней мере, сильно[1] подействует на читателя. Но после этого рассуждения[2] я вас спрошу, отчего ж книга ваша не только не исторгла слез умиления, не заставила заговорить сердца читателей так же, как оно говорило у автора, но даже еще встретила гордые противоречия и насмешки? Оттого что в нынешнем веке, или, лучше, в нынешние времена, хоть люди и стали умнее, как нельзя быть умней, хоть они и передумали, переисследовали все и давно смеются над ходулями, давно ищут науки жизни и уже, кажется, нашли ее, а вы говорите правду: время плохое! Ослепление страшное! Оно не покрывает глаза наши, а вросло в них, и мы, давно и постепенно к нему привыкнув, ни за что не поверим, что оно точно ослепление. Тем более что и гордость сильно в нас укоренилась. «Как вы хотите проповедывать истины? На какую пустоту и безначальность жаловаться? Вы сами ослеплены, вы сами... у вас просто припадки от болезненного рас<с>тройства! Что такая за новая чистота нравов? Это просто химера, фантазия!..» Чуть ли и в самом деле мысль исправлять людей не химера!.. Сбудется ли эта мысль? Вы ли измените высшую судьбу? Книги ли, книги ли ваши? Человек ли может это сделать? Удержите ли вы книгой вращение, движение или стремление, не века, а веков, не народа, а человечества? Верно, человечество имеет предопределение, а можно ли изменить его? Род человеческий идет дорогой, которая ему назначена, и может ли писатель, все-таки принадлежащий к тому же неразумному стаду, идти против воли Пастыря[3] и вести за собою весь гурт? Гурт этот шел еще до его рождения и будет

[1] сильно *вписано.*

[2] рассуждения *вписано.*

[3] *Было:* пастыря

идти еще долго после его смерти, а он хлопочет, безвинно корит, бесполезно наставляет своих неразумных собратий!.. Они невинны, идут, сами не знают, куда, и только для виду, из детской гордости, по детской глупости клеплют на себя, будто много знают, и важно рассматривают давно пройденный путь своих предшественников, которого вполовину не знают[1], и важно делают околесные пути около своего стада, и опять подходят к тому же стаду, и с ним продолжают ту же дорогу. И все стадо мычит довольно и недовольно, и все так и идет само[2] не знает куда. Я согласен, вы зрите пустоту, вы чувствуете наше ослепление, ваша книга изобличит в вас высокую душу, пламенные, возвышенные чувства, но зачем же и вам подпадать ослеплению, зачем свои чувства считать законом, свою книгу почитать слишком могущественною. Эта мысль может быть источником большого горя. Если Лермонтов сильно страдал, не сознавая вполне своего горя, то горе сознательное, имеющее основание, может быть еще сильнее. Оно может произвести болезнь[3] сильную, совершенно обескуражить душу, убить малейшую веру в себя. Меланхолия, как следствие этого, неисцелима, глубока, потому что бездонна, печальна, как осенние грязь и дождлив<ость>: ни луча не проникнет сквозь навислое, тусклое, мокрое небо, она страшна, потому что человек умер, которым она овладела[4]. И все это произошло оттого, что человек сам накликал на себя горе, сам ослепился, увлекся мыслию, что он пророк, что он призван исправить род человеческий, навести его на истинный путь. Эта колос<с>альная задача хоть кого раздавит, заест. Во-первых, результаты не оправдают[5] его трудов, во-вторых, в самом себе он не найдет достаточного решения. Учение Иисуса Христа, предел всего высокого, и то стоило Ему[6] жизни; чего же хочет человек? Пиши, коли есть что писать, но не рассуждай много: об следствиях трудов своих не думай — это гордость; на неудачи, встреченные ими у людей, не жалуйся — это гордость и оскорбление ближнего; на талант, данный тебе Богом, не ропщи — это страшная гордость, оскорбление Божества. Тогда писатель здоров и спокоен, взор его светел[7], гордость даже под видом смирения его не укусит и меланхолия тоже... откуда она

[1] которого вполовину не знают *вписано.*

[2] само *вписано.*

[3] болезнь *вписано.*

[4] *Вместо:* которым она овладела — *было:* который умер в душе

[5] не оправдают *вписано.*

[6] *В автографе:* ему

[7] взор его светел *вписано.*

придет? Меланхолия тоже ведь ненормальное состояние человека, она значит, что человек чем-нибудь недоволен, чего-то ищет. Если какой-нибудь поэт всю жизнь свою меланхолит, ну, Бог его прости, а если философ меланхолик, это значит, что философия его темна и не истинна. Кто как должно утвердился в истинах[1] христианских, в вере в Бога, в Его[2] провидение и благость, тот станет ли сомневаться в них? Подобает ли человеку жаловаться на судьбу своего рода? он из нее даже и не знает ничего. Об одном только плакать позволено человеку на земле, об грехах своих, и то не вдаваясь в отчаяние. Нет на свете меланхолии, кроме разве легкой, временной, порождения особо созданной души, которой иногда взгрустнется от мысли, как люди неблагодарны Богу, как Он милостив и долготерпелив; и тут же человек должен вспомнить, что Бог благ и премудр и что человеку не след проникать в Его советы.

Не знаю, умею я рассуждать или нет; повторю тему моих сбродных рассуждений. Для меня неясны понятия: *польза книг* и *обязанность писателя*. Признаюсь вам, я, кажется, не понимаю хорошо ваших воззрений на эти предметы, потому что и[3] они как будто что-то мне не нравятся. Мне кажется, что вы уже слишком много цените пост писателя, считаете его слишком важным — извините меня. Не есть ли писатель... Я часто слыхал таких *здравомыслящих* людей, которые называют писателей тунеядцами... Нет ли тут хоть искры правды, хоть ложно принятого, но все-таки маленького основания? Того, что некоторые *здравомыслящие* люди называют делом, писатели по большей части не делают; но у них все-таки есть дело. Вот этого-то я хорошо и не пойму, какое у них дело. Если рассуждать вообще, то можно, я думаю, сказать вот что: Бог сотворил неразумную природу и отдал ее во власть людей. Под их руками все сокровища земные, надо только трудиться, и ты будешь сыт, одет и доволен. Работай, паши. — Но некоторых людей Бог освободил от работы земныя, наделив их особенными талантами. Эти таланты различны, но, вообще, даны для того, чтобы люди, не созданные для труда, не даром ели чужой хлеб, чтобы им было чем платить кредиторам. Они платят им своими творениями, платят иногда пользою, но по большей части удовольствием, неземным удовольствием[4]. Всякое

[1] *В автографе:* в истиннах
[2] *В автографе:* в его
[3] и *вписано.*
[4] *Далее было:* которое хранится только в груди некоторых

благо, всякая драгоценность потому и драгоценны, что редки, это условие на земле, видно, необходимо для ценности... Потому и не все — поэты[1]. Человек все-таки не машина, Бог видел, что ему потребны наслаждения, высшие земных, и вот, по Своему[2] предусмотрению, Бог избрал некоторых и в груди их заключил драгоценное миро. Но нельзя драгоценность небесную вверить совершенно земле, и потому поэт носит в себе только земную благодать, только залог высоких наслаждений *там*. Он человек, во грехах[3] зачат и родился, но дар, ему вверенный, благодетельно действует на все его существо: он добр, нежен, благороден, честен и, может быть, велик. Что же потребует от него Бог, когда каждому будет воздавать по делам? Да, Он[4] будет[5] судить его творения, но мне кажется, не так, как вы думаете. Он осудит в них только зло, потому что не давал ему его, только вред, который они принесли, потому что не для зла был избран поэт. Но осудит ли его Бог за то, что не пять, а только два таланта успел он приобресть? Нет, Он только не воздаст ему за пять, а воздаст за два. Ревность к награде Господней есть самая лучшая ревность, но не есть ли она грех, когда... переходит границы смирения? Я не хочу смотреть ни на мир, ни на себя, ни на что, потому только, что вообразил, будто сделал не довольно добра, потому, что я прямо не святой, не пророк, не могу сделать чудо и весь мир вокруг[6] заставить заплакать о грехах своих. Это чуть ли не ревность к славе Искупителя... Прости меня, Господи! — Извините меня, я хочу все высказать, что думается. Ах... Человек, человек!.. никогда не мысли стать на земле[7] совершенным! Никогда не говори ни об чем решительно; особенно об себе и об своем достоинстве. После раскаешься... Все сбиваюсь я в своих рассуждениях.

Итак, цель книги не одна польза, цель книги есть... опять-таки не знаю, какая. Конечно, может быть, книгам много назначено сделать в судьбе человека, может быть, они не раз входили в страницы *определения*, но... все не человеку, мне кажется, обсудить и рассчитать их влияние, он[8] пусть только пишет их — с целию доброю, но смиренно, без рассуждений. Отчего критика,

[1] Потому и не все — поэты. *вписано.*

[2] *В автографе:* своему

[3] *Далее было:* и

[4] *В автографе:* он

[5] *Было:* потре<бует>

[6] *Было:* зараз

[7] на земле *вписано.*

[8] он *вписано.*

разбирая книгу со всех сторон, никогда даже не заикнется о влиянии ее на нравы? И потому, мне кажется, писать должно всякому все, что вложено в душу. *Сочинять* никогда не должно, это грех, обман, лихоимство.

Теперь, написавши 5 листов, я понял, что писал очень бестолково. Хотя я и знаю, что у меня было о чем писать, но знаю также, что из моих 5-ти листов сущности выжмется едва ли четверка. Теперь только, когда дело приходит к концу, идеи мои просветляются и приходят в маленький порядок, но — дело уж сделано, остается извиняться. Позвольте вам сделать еще несколько вопросов. Неужели, увлекшись пользою произведения[1], вы хотите ни за что не считать его более элегантную сторону — изящность? Неужели вы хотите приняться за 2-ой том *Мертвых душ* не иначе как за доброе дело? Нет. Вы говорите, книги пишутся для пользы, я скажу еще: и для удовольствия. Человек пишет или читает высокое произведение, он отдыхает, наслаждается высоким, не земным наслаждением — и этого слишком довольно.

6-е апреля.

Достиг я или нет, чего желал? Выразил или нет, что хотел выразить? Я прочел свои письма и мне показалось... да, писалось легко, мысли как будто текли одна за другою, а вышло Бог знает что; чуть ли не надо пожалеть бумаги да денег за лишнюю тяжесть. Скажите мне, хоть выразил ли я что-нибудь? Право, я нахожусь в сильном недоумении... Если вы будете так милостивы, что напишете ко мне еще, вот об чем я попрошу вас: сделайте милость, выведите поскорей дело на свежую воду, скажите, надо мне ждать ваших ответов или только писать, если я уж не хочу молчать. Это я говорю вот в каком смысле: вы написали мне ответ, польстили отчасти моему самолюбию, но могли ошибиться; если дело такого рода, что рассуждать вам со мною нечего, то я очень хорошо понимаю, что вы поставили себя <в> несколько неприятное[2] положение — иметь на душе мои претензии на ваши ответы. Об этом я и прошу вас написать мне откровенно и без малейшего помышления быть ко мне снисходительным. Я прочту ваш ответ очень равнодушно и приму его к сведению даже не без приятности, как дань моей любознательности. В самом деле, мне кажется, на мои рассуждения отвечать нечего: прочтя свое письмо, я сам не знал, на чем остановиться, и никак не мог

[1] *Было:* книги
[2] *Было:* затруднительное

сказать себе: об чем я писал. Не ожидая ответа на мои рассуждения, я, однако, их кончу.

Итак, положим, я высказал вам, что для света недурно бы было выпустить новую философию, не спускающую глаз с религии; положим, что я отнес ваши письма к этой части литературных произведений; положим, что я думаю, что вы крепко схватились душею за идею: пусто в мире Божием! Оставили люди Отца своего! Он для них все делает, Он об них каждую минуту думает, а они... чуть не стыдятся говорить о Нем, занятые *важными интересами жизненных отправлений в сфере человечества*; положим, все это так — иду дальше.

Но неужели вы, проникнутый высоким религиозным чувством, отвергнете то, что я назвал другим родом словесных произведений? Тараса Бульбу, поэзию Пушкина, Шекспира, романы Вальтер-Скотта и т. д.? Неужели вы отвергнете все, кроме пользы, само вырывающееся чувство, восхищающие картины, как, напр<имер>, ваша Июльская ночь, степи? Неужели вы отвергнете поэзию? Нет, не думаю, не верю; в ваших словах «пусто в мире Божием!» уж картина, в груди вашей не умерла поэзия. Стало быть, ошиблись те, которые говорят, что вы умерли для поэзии, если положились даже не признать ваши письма за поэзию. Стало быть, и я ошибся, когда думал думать, что вы хотите быть каким-то нанятым рыцарем какой-то педантской пользы. Стало быть, я не ошибся, что философия, об которой я бредил, не есть какой-то бесплодный аргумент, как далеко может идти ум человеческий; стало быть, она есть поэзия, вдохновение, высокая, божественная вещь, не этюды для упражнения ума... стало быть...

Все-таки смутны, бродят мои понятия! Скажите мне: что такое писатель в толпе человечества? Вот этот-то вопрос и вертелся у меня в голове в продолжение всего письма, и его-то теперь я вам без смыслу высказал. Вы говорили о писателе, но нет, ваших <слов>, мне кажется, мало. Вы говорили это к месту, при случае, скажите мне теперь, занявшись одним только этим вопросом. Ваши слова о писателе, извините, мне кажутся[1] как-то односторонними, мне чувствуется, что понятие «писатель» имеет обширнейший круг. Охватите все, что можете охватить, из времени, места и других обстоятельств человечества и скажите: что такое писатель? Гомер писал, не думая, что делает пользу, поучает ближних, писал для себя; вас[2] время, столетия, протекшие от Гомера,

[1] *В автографе:* мне кажется

[2] *Было:* в вас

заставили заговорить о пользе писателя, об обязанности, лежащей на нем, — судите себя и других и еще раз произнесите ваше мнение. Были писатели как Лермонтов и Баратынский, которые могли чувствовать только тоску в мире и не иметь великой мысли позаботиться об нем — и это факт. Не буду далее расплюжать моих рассуждений, потому что более ничего не понимаю, не понимаю даже того, что написал. В последующем заключении длинного моего письма буду говорить о себе, прилагая, что знаю, к хаосу моих идей. Разберу и вас попрошу (по вашей великой снисходительности) рас<с>мотреть два положения: что может из меня выйти, если б я стал писать, и что со мною будет, коли я не стану писать и буду жить, кончивши жизнь, лет хоть до сорока или до пятидесяти.

Ах, если б вы знали, как мне совестно, что я принужден послать к вам опять большой пакет и опять с пустяками.[1]

12-е апреля.

Наконец принимаюсь опять за себя. Пусть со временем я могу приняться за писанье — что я буду писать? Начнем с философии.

Что такое философия? О, вопрос премудрый! Чувствую, что много навру, отвечая на тебя; но ответить надо. В читанных вами моих листках я назвал философию *наукою жизни.* Вот что я тогда думал: образование полезно, необходимо, как путь к совершенству, как совершенствование, развитие ума. Ум наш... чему уподобить его? Жидкости, которая может пролиться из своих границ, огню, который может принести и вред вместо пользы, лезвию, которое со всех сторон остро? Не знаю, чему его уподобить, знаю только, что он иногда может быть вещью опасною. Поэтому мое образование может быть и вредно. Не стану говорить о вреде иного образования, скажу об образовании нормальном, о пользе образования. Я думаю, что всякая наука должна иметь приложение к жизни и приносить ощутительную пользу хоть в просветлении идей. Я слышал, что философию называют солнцем всех наук, и потому считал ее, можно сказать, соком всех наук, выжимками из них добра и пользы. Я называл ее наукою жизни и в этом смысле считал ее просто учебником, как человеку жить на свете.

Теперь я думаю не совсем то. Проповедь, моралистика не есть философия. Философия теперь мне представляется понятием

[1] *Далее две трети страницы в рукописи остались незаполненными.*

высшим, так что для моей, прежде понимаемой мною[1] философии я считаю необходимою иную еще — философию. Я полагал, что написать философию — значит, сообразуясь с религиею, с треволнениями человеческой жизни, с эфирностию человеческих знаний и образования, написать речь умную, толковитую, исполненную чувства и здравого смысла, написать именно учебник жизни. Теперь я вижу, этого мало. Надобно оправдать *свою философию.* Ум человеческий претензлив, ему и Евангелие иногда может показаться недостаточным, если в нем не *философствуют.* Надо непременно философствовать. Надо решить (сообразуясь с своею целию) все человеческие сомнения, недоумения. Для людей мало верить Св. Писанию — надо его защитить, оправдать!!.. Надо разобрать начало мира, цель бытия, надо… много надо! И, стало быть, я ошибался, считая философии и Гегеля, и Шлегеля, и Канта… и т. д. за ничто, за вещь бесполезную. Сами по себе они бесполезны, потому что *мертвы* и… именно представляют из себя ничто иное, как памятник мудрости человеческой; но такая философия необходима как оправдание, и, хотя не составляет прямого удовлетворения (моему) требованию от философии, но служит основою, на которой должна быть соткана (моя) философия. И потому мне кажется, философия должна быть двойственна, двойчаткою: одна часть — умозрение, другая — приложение его, наука. Вторая есть настоящая философия, есть истинно полезная вещь, первая — ее анатомия, прямая философия; вторая есть стройная, высокая, живая наука, первая — скелет ее. Вторая — для всего мира, достигнет того, чтобы оправдать перед человеком совершенствование его мысли, первая пусть будет *для немощных*, пусть достигнет того, чтобы оправдать сестру свою, чтобы быть[2] учебником для учителей. Сущность, содержимое первой — для меня, профана, пока не ясно. В ней принимаются теории, в ней… объясняется образ творения, взвешиваются достоинства религии… Непременно, непременно и поскорей должна явиться такая философия — христианская. Сущность другой философии какая? Защитивши, оправдавши христианские истины, надо их укоренить в сердце мира, надо начертить план для всей жизни человека, определить по возможности все интересы жизни, решить все задачи ее, легко, просто, как Бог велит, — вот задача той философии, об которой я думаю. Если я так хвастлив, смел и самонадеян, что не обинуюсь сказать о том, что желал

[1] мною *вписано.*

[2] *В автографе ошибочно:* чтобы дать

бы написать такую философию, что мне хочется ее написать, — я, однако, кладу до начала предприятия лет десять времени, проведенного с пользою, в наблюдении над жизнию, над человеком, в учении, в труде. Потом (так я думаю сам с собою) я сберу вкупе мои знания, помолясь Богу, призову вдохновение и выльюв свет мою мудрость... (Простите мою откровенность, я не хочу скрывать пред вами своих мыслей, потому что жду от вас лекарства, если я болен.) Я вам говорил, что моя философия возьмет в себя и героев *Мертвых душ* и других и, пожалуй, новых в случае нужды создаст... Не могу я теперь высказать вам ее сущность, только, уверяю вас, она лежит у меня на душе и впоследствии, может быть, просветлится. Цель моей философии — поставить человека сколько возможно на прямую дорогу, и потому я хочу действовать на него с его детства. Укоренить в человеке чистую нравственность, мне кажется, нужно с младенчества[1], и потому: сперва надо создать умнейший курс *детского воспитания*. Я желал бы начать этот курс священною историею, которую надо написать так, чтобы она живо, благодетельно и на всю жизнь проникла существо дитяти, чтобы принятие ее было в нем зародышем христианской философии. Потом науки, преподносимые не педантски, а так, чтобы и дитя счел их не пустою вещью, чтобы и ему они гласили мудрость. Я вам говорил, кажется, об арифметике с картинками — в таком роде хотел бы я преподать детям науки, и незаметно, потому что почти приятно[2], и так полезно, чтобы польза была не какой-то миф, каковою она бывает и для многих наставников, а вещь положительная и очевидная. А повести, а действие на воображение, на чувства?.. Ух, я, кажется, несбыточную вещь думаю. — Вот моя философия.

Кажется мне также, что я мог быть и не философствующим писателем. Впрочем, об этом нечего говорить — верней всего я ничем не буду.

Мечты, мечты золотые! чем-то вы кончитесь?!

Я человек слабый, многого из себя не сделаю, что могу сделать, многое во мне пропадет, и, верней всего, сам я пропаду в водовороте различных обстоятельств, и пузырька не вскочит над моей могилой.

Почти решительно я говорю вам это, потому что чем больше живу, тем больше убеждаюсь в совершенном своем бессилии.

[1] *Далее было:* его

[2] *Было:* занимательно

Право, не знаю, почему и зачем пустился еще я в рассуждение, зачем вас беспокоил. Утешений и пособий я для себя уж много перебрал — ничто не помогает. Бог... здесь, видно, не назначил мне жить, пусть хоть в будущей жизни простит меня за Его же добро, которое Он дал мне. Если вам угодно, напишите мне что-нибудь, слова ваши могут быть полезны, если не для моей деятельности, хоть, может быть, для[1] моих мыслей, успокоят, уравняют некоторые мои убеждения. Кончаю письмо мое. Выведите из него заключение, какое угодно. Против Бога я восставать не буду и не упаду духом до того, чтобы роптать[2] на Него, стану заглаждать мои прежние проступки и потом, если успею со всеми окружающими меня обстоятельствами разделаться, тогда... Надо на что-нибудь решиться. Прощайте, Милостивый Государь, Николай Васильевич, извините меня за длинное мое письмо. Мне, видно, суждено надоедать людям на свете, но всякий меня простит, и Бог знает как отойду я на тот свет. Остаюсь ваш покорнейший слуга

Д. Малиновский.

Извините меня, я ваши письма читал не все и мельком, и потому много, я думаю, наврал об них.

## 1347. М. И. Гоголь

Франк<фурт>. Июль 7 <н. ст. 1847>.

Приехавши во Франкфурт, я нашел ваши письма. Вы удивляетесь, почему я вас всех вознес похвалами в последнем письме. Я сам не знаю, как это случилось. Отчасти, может быть, оттого, что я заметил в вас какое-нибудь уныние от несовершенств[3], отчасти, может быть, оттого, что вы показали сами в ваших письмах какие-нибудь хорошие черты свои, отчасти, может быть, и оттого, что я почувствовал вину свою, попрекнувши вас[4] в том, в чем не имел права попрекать, и вследствие этого приписал больше цены вашим достоинствам, чем[5] приписывал прежде. Как бы то ни было, но верно то, что мы все бываем прекрасны и все бываем безобразны[6]. Прекрасны бываем тогда, когда почувствуем

[1] *Далее было:* спокойствия
[2] *Было:* вос<стать>
[3] от своего несовершенства
[4] попрекнувши вас несправедливо
[5] неже<ли>
[6] дурны

истинно, что мы безобразны[1], и безобразны тогда, когда подумаем, что мы прекрасны. Безобразные от нас самих, но красота наша от Бога, и по мере только того, как мы пребываем в Нем, мы бываем прекрасны. Упреки же, равно как и советы мои, я прекратил потому, что увидел получше свое собственное безобразие и почувствовал, что мне необходимей делать себе самому упреки и давать себе самому советы. Поверьте, что это гораздо лучше, если человек начнет сам себе самому давать упреки, а не ожидать их от других. Одна из сестер моих сказала, что советы мои нужны,[2] чтобы я подавал их как брат и друг, щадя немощь человеческую. Дело в том, что я теперь не нахожусь и не знаю, какой и в чем может быть от меня совет. Самая наименьшая из сестер моих находится уже в том возрасте, который в женщине есть возраст полной зрелости ума. Стало быть, всякая может очень хорошо знать, в чем дело. Никто не может так определить, что нам нужно, как мы сами себе, если только дадим себе труд рассмотреть наши способности и все те орудия, которые нам дал Бог затем, чтобы ими работать. Которой же захочется упреков и советов, та может перечесть мои прежние письма, где множество и того и другого, и из этого множества выберет себе тот, который ей приличнее. Но до следующего раза. Повторяю вам еще, что отныне я буду реже писать к вам. Некогда, да и меньше предметов. О себе уведомляйте по-прежнему почаще[3]. Кто любит кого во Христе, тот не скучает и разлукой, да и вряд ли есть для того человека слово *разлука*: во Христе все вместе, все живы, все неразлучны. Стало быть нам нужно стремиться к Нему, если хотим стремиться друг к другу. Но Бог да хранит вас. Прощайте.

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Poltava. Russie.
Ее высокоблагородию Марии Ивановне Гоголь-Яновской.
В Полтаву, оттуда в д<еревню> Василевку.

<*Штемпели, по подлиннику:*>

<*1-й:*>
FRANKFURT
8 JUL
1847
<*2-й:*>
BERLIN
10 JUL

[1] дурны
[2] но просила
[3] довольно <часто>

## 1348. С. П. Шевыреву

Франкфурт. 7 июля <н.ст. 1847>.

Два письма твои, со вложением писем и двух критик Павлова, получил. Не знаю, как благодарить тебя за всё, что ты для меня делаешь. Мне, просто, становится даже совестно. Ты так добр, а я еще ни в чем не показал тебе свою признательность. Обе критики Павлова значительно слабее первых, а главное, как мне показалось, в них не слышна необходимая потребность душевная писавшего или даже какая-нибудь иная цель, кроме желанья несколько порисоваться самому перед публикою. Изо всех отзывов я вижу только то, что мне следует отвечать на один вопрос, который, кажется, есть всеобщий: зачем я оставил поприще писателя или переменил направление его? На это мне следует сделать чистосердечное изъяснение моего авторского дела, чтоб читатель видел сам, оставлял ли я поприще, переменял ли направление, умничал ли сам, желая изменить себя, или есть посильнее нас общие законы, которым мы подвержены, все бедные человеки...

## 1349. Графине А. М. Виельгорской

Франк<фурт>. Июль 8 <н. ст. 1847>.

Очень вас благодарю, добрейшая Анна Миха<й>ловна, за ваше письмо и все известия. Бог да поможет вам за это самое ровное и спокойное расположение духа, какое бывает только в раю, где, по выраженью простолюдинов, ни холодно, ни жарко, а самая середина. Оно и не мудрено, потому что Бог есть[1] средина всего, а покой — та высшая минута состоянья душевного, к которой всё стремится. Благодарю за ваши дружеские советы и за ваши заботы. Я, слава Богу, покоен довольно и, мне кажется, даже здоровьем несколько получше. О толках на мою книгу я заботился потому, что мне нужно знать необходимо, в каком состоянии находятся у нас головы и души. Это нужно знать нашему брату для того, чтобы речь писателя попала в надлежащий тон — ни выше, ни ниже нотой[2] противу того, как следует быть, чтобы большее количество людей нас поняло. В моей же книге, как вы знаете, слог речи очень поднялся. Это, может быть, и лучше для четырех-пяти человек, но для других дико. То же можно бы выразить попроще, но до этой простоты нужно вырасти самому — вот беда! Это всегда бывает с теми, которые строятся

[1] есть действительно

[2] ни на одной [одну] нотой ни полното<й>

и воспитываются.[1] Я теперь во Франкфурте. Отсюда еду в Остенде, где пробуду до первых чисел сентября, после чего в Италию, а там на Восток. Перецелуйте всех ваших от мала до велика и скажите им, что мысли мои не расстаются с ними, что это бывает что-то вроде маленькой рюмочки драгоценного вина, какое выпивается только в праздники после обеда. И Софья Миха<й>ловна, и вы, и графиня, ваша маминька, в этом, вероятно, не сомневаетесь. Уведомьте меня, на что вы решились и где проводите лето. Александра Осиповна приобрела сына Михаила, о чем, вероятно, уже знаете. Известие об этом меня очень обрадовало, тем более, что и самое здоровье ее от того не расстроилось. Вы, кажется, летом с нею увидитесь? Думал было и я ее увидать, так же как и вас, особенно когда услышал, что доктора предписывают морские ванны. Но кажется, что еще не скоро определено мне увидаться с друзьями; видно, для того, чтобы я приучался довольствоваться[2] их образом, не подверженным осязанию пяти чувств наших; видно, затем, чтобы мы помнили, что если хотим увидеться, то должны стремиться к Тому, в Котором все увидимся и где нет разлуки. Но прощайте.

Весь ваш Г<оголь>.

*<На обороте:>*

St. Pétersbourg. Russie.
Ее сиятельству графине Анне Михайловне Вьельгорской.
С.-Петербург. На Михайловской площади, близ дворца.
В доме графа Вьельгорского.

### 1350. М. П. Погодину

Франкфурт. 8 июля <н. ст. 1847>.

Друг мой, упреки твои жестоки. Почему не проходит ни одного письма, в котором бы ты не попрекнул меня какими-то знатными друзьями? «Ты угождаешь одним знатным», «тебе дороги одни знатные». Стыдно тебе! Вот тебе вся правда о моих знакомствах, о которых ты судишь понаслышке, ничего не зная наверное: я, точно, знакомств наделал очень много в последние четыре года, но большею частью с людьми умными и всякого рода практическими людьми, которые могли мне какие-нибудь сообщить сведения о том, что делается внутри Руси, сведения, которые я вот уже четыре года собираю жадно. Из прочих я познакомился с весьма немногими, и то вовсе не потому, что они

[1] *Далее начато:* Им простота
[2] приучался их любить

были знатны, но потому, что встретил добрую, любящую душу.[1] И странное дело — не в веселые часы, но в минуты тяжких душевных страданий приходилось мне сходиться с людьми. Бог знает, если б мы и с тобой сошлись в такое время,[2] и притом — теперь, а не прежде, — может быть,[3] между нами никаких бы не было недоразумений, и тебе всё было бы понятно из того, что теперь мутит тебя. Во всяком случае, помни, что ты в мыслях и заключеньях[4] твоих обо мне можешь скорее ошибиться, чем я о тебе. Ты передо мною был всегда открыт, а я пред тобо<ю> закрыт. Ты занят был всегда почти науками и развлечен множеством разнообразных занятий по разным предметам, у меня же предметом был всегда человек и душа человека. А теперь еще более, чем когда-либо прежде, это сделалось моим предметом. — Притом не позабудь, что между нами случилось дело, которое поставило нас в фальшивые отношения. Я припомню тебе все обстоятельства, потому что ты несколько забывчив.[5] Перед приездом моим в Москву я писал еще из Рима Серг<ею> Тим<офеевичу> Аксакову, что я нахожусь в таком положении моего душевного состояния, во время которого я долго не буду писать, что писать мне решительно невозможно, что я не могу ничего этого объяснить, а прошу мне поверить на слово, что прошу его изъяснить это тебе, чтобы ты не требовал от меня ничего в журнал, что я буду просить об этом у тебя самого на коленях и слезно.[6] Приехавши в Москву, я остановился у тебя со страхом, точно предчувствуя, что быть между нами неприятностям. В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу. Я ничего не умел тебе сказать и ничего не в силах был изъяснить. Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего, что сочиненье мое от этого может произойти слишком значительным. Я сказал, что оно так будет значительно, что ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России, тем более что [оно][7] явится во время несравненно тяжелейшее[8] и будет лекарством от горя. Ничего больше я не умел сказать тебе. Знаю только: я просил со слезами

[1] точно, прекрасную
[2] в это время, а не прежде
[3] может быть, ты
[4] в сужденьях
[5] *Далее начато:* Я писал
[6] *Далее начато:* Словом, я знал
[7] тем более оно будет значительно
[8] тяжелейшее прежнего

тебя во имя Бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне: «Верю». Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты мне дал слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, — знак, что я ничего не смогу объяснить,[1] а только наклеплю на самого себя. Но когда ты через две недели после того объявил[2] мне, что я должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего не происходило, это меня изумило и в то же время огорчило сильно. А когда ты потом, еще недели через три, напомнил вновь, говоря, что я должен дать[3] тебе статью, потому что, как бы то ни было, я живу в твоем доме и тебя твои родственники спрашивают о том, что ж я, в самом деле, у тебя живу, а для тебя в журнале не тружусь. Это напоминанье показалось мне так низким, неблагородным и неделикатным. (Прости меня. Это было уже давно. Я сам дивлюсь моей щекотливости. У меня на тот раз ушло[4] из виду, что у тебя жесткие слова вырываются иногда вовсе без намерения.) Мне казалось так низким напомнить у себя живущему человеку, что он должен быть за это благодарным. Мне показалось так неблагородным, давши честное слово, от него отступиться. Мне показалось так недостойным для высокой души не поверить слезам умоляющего человека или — еще хуже — сказать: «верю» — и усумниться. Словом, мне это представилось так малодушным и неблагородным, что я стал презирать тебя. (Друг мой, прости меня, это чувство давно прошло.) Я не старался скрывать пред тобой презренья. Напротив, я тебе показывал его при всяком случае почти явно. Не понимая, из какого источника оно происходит, ты принимал его просто за гордость и, встречая гневное[5] выраженье лица при всяких, даже небольших случаях, ты заключил, что во мне поселился сам демон гордости во всем сатанинском своем виде, и думал, что это уже моя натура, что я непременно со всеми так обращаюсь, тогда как, признаюсь тебе поистине, ни с кем в мире я не обращался так дурно, как с тобою. Мне стыдно, как я припомню только некоторые свои поступки.

[1] ничего не выражу
[2] напомнил
[3] сказал мне, что все-таки должен дать
[4] пропало
[5] досадное

Я сердился на тебя даже за то, что ты меня заставил рассердиться[1], потому что я было уже начинал о себе думать, что трудно[2] какому-нибудь человеку рассердить меня. С этих пор всё пошло у нас[3] навыворот. Видя, как ты обо мне путался и терялся в заключеньях, я говорил себе: «Путайся же, когда так!» И уж назло тебе начал делать иное, мне вовсе не свойственное, ни моей натуре, с желаньем досадить тебе. Друг мой, за всё это я заплатил, и тяжело заплатил. Целые два года я томился потом желаньем оправдаться перед тобою. Целые два года я почти ничего не в силах был делать: так меня занимало желанье излить перед тобою чистосердечную исповедь свою. Я принимался за перо и всякий раз изнемогал над ним. Исписывались кругом листы, и я видел, что всё это недостаточно[4] дать тебе точное понятие о деле[5]. Я видел[6], что нужно подымать для этого всё, что ни соединилось с моими самыми тайными и сокровенн<ыми> помышления<ми>; я видел, что нужно для этого подымать самые «Мертвые души»... Словом, это была страшная работа. Ничем другим я не в силах был заняться, кроме этого, и всякий раз, изнурившись, выбившись[7] из сил, видя, что изъясненьям конца нет, потому что затем, чтобы объяснить одну струну, надо было поднимать другую, — всякий раз я давал себе слово оставить это и не объяснять себя. И всякий раз вновь тянуло с непреодолимой[8] силой перед тобой изъясниться[9]. Я писал и рвал тогда же исписанное. Это были просто муки Тантала и окончились страшным нервическим расстройством. Но в сторону всё это. Привел это я теперь не для оправданья себя, но для того только, чтобы ты уверился сам, что взгляд твой на меня не может быть верен. А потому и замечания твои о мне относительно моего характера будут больше невпопад, чем замечания твои о всяком другом человеке. Оставим теперь всё. Я прошу у тебя искренно прощенья во всем, в чем огорчил тебя. Я прошу тебя также простить и за мой неуместный печатный отзыв о тебе, который так огорчил тебя без всякого желанья с моей стороны огорчить тебя. Отзыв этот был писан в то время,

[1] на тебя рассердиться
[2] что я не в <силах>
[3] у нас с тобой
[4] еще недостаточно
[5] о себе
[6] *Далее начато:* что уже всё так странно
[7] и выбившись
[8] неестественной
[9] оправдат<ься>

когда я воспитывал себя упреками, отвсюду требовал себе указаний и упреков и раздавал также всем указанья и упреки. У меня вышло из головы, что позволительное в письмах между собою нельзя выносить на свет перед публику, по крайней мере не объяснивши ясно, в каком смысле следует принимать и разуметь. Еще раз прошу у тебя прощения и обращаюсь по очень важному пункту письма твоего. Ты намереваешься жениться. Мне кажется самому, что это тебе нужно во всех отношеньях. Но не позабывай, что трудно найти другую Лизу.[1] Мне кажется, с твоей стороны будет благоразумней жениться на немке, нежели на русской. Во всяком случае, избирай такую, которая была <бы> характера сколько возможно *хладнокровного* и покойного, у которой бы или были усыплены, или вовсе не действовали все щекотливые струны сердечные и нервические. Никак не позабывай того, что ты можешь сильно оскорбить, вовсе не думая оскорбить, и ударить невпопад по таким чувствительным местам, которых боль потом ничем не уймешь. Выбирай такую, которая бы уже создалась в характере, а не следовало бы ее тебе воспитывать самому, потому что, как сам знаешь, в тебе[2] нет того хладнокровья и терпенья, какие необходимы воспитателю. Здесь я тебе почитаю приличным сказать, что на тебя сердились собственно не за грубость и жесткость твоих упреков (упреки и пожестче переносятся), но за то, что они бывали невпопад, что более всего сердит. У тебя не было достаточного снисхождения к природе того человека, с которым ты имел дело. Странное дело! Нельзя сказать, чтоб ты не знал людей. Вообще ты понимаешь, что такое человек. Ты признаешь даже, что у всякого есть свои особенности, которые нужно принять к соображению. Но всякий раз, когда ты имел какое-нибудь дело с каким-нибудь человеком, у тебя вдруг всё это выходило из головы, и тебе воображалось[3], что перед тобою стоит такой же, как ты, Погодин, и ты от него можешь требовать того самого, что от себя самого. Отсюда все эти истории, доставившие тебе так много в жизни неприятностей всякого рода. Всё это особенно прими теперь к соображению и проси также не выпускать из виду этого пункта[4] тех, которые будут для тебя отыскивать невесту. Но да устроит Бог это дело к наилучшему, от меня же покуда прими желанье искреннейшее и от всего сердца:

[1] *Далее начато:* Во всяком случае
[2] у т<ебя>
[3] казалось
[4] из виду всего

да не почувствуешь ты во второй жене никакого отличия от прежней и да кажется тебе всю жизнь, как бы в ней ты обнимаешь свою первую жену. В конце своего письма ты, давши мне маленький урок, как оно и следовало, говоришь: «нужно любить, любить и любить», и вслед за этим с чувством огорченного человека негодуешь на Строганова за неприглядную и злую колкость[1]. Что сказать на это: «Надо любить и Строганова!» С тех-то именно нужно начать, которые нас огорчают, а иначе когда же мы выучимся любить? Мы будем только повторять, что *нужно любить*, и больше ничего. Я не понял, в каком смысле и к чему собственно нужно отнести твои последние слова, которыми ты совершенно неожиданно заключил твое письмо без всякого отношенья к предметам предыдущим, разумею следующий обращенный ко мне совет: «Откажись от ума своего; он тебя заводит Бог весть куда». Если это относится к моим двум письмам к тебе, то я их писал, как писалось, без всякого умничанья[2]; прости, если чем оскорбил[3]; я, писавши[4] к тебе, именно думал о том, как бы не оскорбить тебя, сознаваясь, что я без того много оскорбил тебя. Если ж ты вновь вспомнил о моей книге и к ней их отнес, то на ней скорей видно, что я отказался от ума своего. Ум мой был не глуп. Ум мой советовал мне хорошо. Он мне советовал делать свое дело, не смущаясь ничем, ни с кем не входить в изъяснения, не выдавать ничего в свет, пока не придешь в такое состояние, когда твои строки будут стоить печати и никого не введут в соблазн. Ум мой говорил мне быть скрытным, всё перенести и всё вытерпеть и ни на какие вопросы не отвечать никому, кто бы ни спросил о том, что ты теперь делаешь. Я не послушал моего ума, и плодом этого непослушанья есть моя нынешняя книга. Но, впрочем, что я говорю? Как будто мы в силах распоряжаться сами собой. Как будто не всеми нами правит высшая нас сила. Как будто не она попустила явиться и книге моей. Чем я виноват, что выдал ее в свет? Она была моей душевной потребностью. В ней излиянье меня. Разве было бы тогда лучше, если бы все эти недостатки мои, которые так всех поразили, что уже несомненно стали говорить о союзе моем с дьяволом, оставались бы скрытными во мне, — что ж бы от того я выиграл? Нет, не держаться ума также плохо. Лучше молиться Богу, но работать всеми способностями и силами. Бог не оставит на дороге заблужденья того, кто Ему молится и от всех

[1] за новую колкость
[2] просто
[3] *Далее начато:* тем более, что
[4] писавши их

сил хочет Ему работать, хоть бы и заставил его лукавый поколесить несколько в сторону. Бог выведет его вновь на дорогу. Это невозможно: молящегося Бог никогда не оставит. А тебе скажу, что нельзя давать таких советов, которых смысл так обширен, что не знаешь, какой стороной обратить его к делу. *«Откажись от ума!»* Над этим вопросом иной, стоящий не крепко на своем месте, станет думать, да потом и точно сойдет с ума[1]. Он скажет, что[2] же собственно во мне ум? и где именно он у меня? в чем? Всё это нужно мне указать[3]. Здесь, например, сказала во мне душа, а другому[4] кажется, что это сказал ум. Это сказал, может быть, во мне ум, а другому кажется, что это сказала душа. Нет, храни Бог от таких советов, которые могут неопределенностью сбить и спутать. По мне, пусть себе идет человек, по какой хочет дороге, да пусть только не позабывает молиться, а что в нем просятся на свет какие-нибудь силы и способности, значит, что в нем, точно, они есть. Но если он сам достаточно не вызрел, они явятся сначала в преувеличенном, мутном виде, потом понемногу станут изливаться ясней[5] и наконец примут законный вид и войдут в свои границы. Но зачем и к чему я это всё пишу? Может быть, тебе покажутся вновь какие-нибудь ухищрен<ия> ума. Вижу, что мне ни о чем не следует писать, даже и от писем следует отказаться, — тут могу также наговорить праздных слов. Да и к чему такое письмо, которое может смутить? Если это письмо тебя чем огорчило, то прости, потому что на всяком шагу нам нужно друг друга прощать. Что же касается до ума, то не только от него, но даже от многого отказался. Еще за месяца два перед сим кипело сильное желанье видеть родину, теперь и оно ослабело, как и всё прочее. Утомился ли дух мой от этого вихря недоразумений и войны[6], происшедшей оттого с друзьями, но сердце мое просит покоя, и ни о чем другом не думается, как о том, чтобы как-нибудь добраться до Иерусалима. Затем Бог да хранит тебя.

Твой Г<оголь>.

Пожалуста, отправь прилагаемое при сем письмо Иннокентию, которому я очень благодарен и за искренность и за доброту вместе.

[1] *Далее начато:* Прежде нужно
[2] что уже
[3] *Далее начато:* Это
[4] вам
[5] стройней
[6] борьбы

О Шафарике: богачей во Франкфурте не случилось мне видеть никаких. Однако ж я просил одного человека. Мне обещано кое-что послать. Скажу Шафарику, чтобы он дал тебе знать, получил ли он какой-нибудь вексель. Если нет, я что-нибудь пошлю ему от себя.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.
Его высокородию Миха<и>лу Петровичу Погодину.
В Москве. На Девичьем поле. В собственном доме.

## 1351. Святителю Иннокентию (Борисову)

<Около 8 июля (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Погодин мне доставил замечание ваше о моей книге. Благодарю вас много и от всего сердца моего за то, что вы не скрыли от меня мнения вашего. Очень вижу, и не без сильного стыда, свои грехи, выступившие в этой книге. Книга вышла точно затем, чтобы я имел зеркало[1] глядеться. Повремени я немного и дай устояться тому состоянию души, какое у меня было во время печатанья книги, может быть, она бы не вышла совсем в свет, но тогда бы не было и зеркала. А я до сих пор еще не знаю, хорошо ли было бы, если бы всё то, что теперь обнаружилось так ярко, было бы во мне скрыто. Самая цель книги была добрая. Внутреннюю клеть свою я вовсе выставляю не затем, чтоб себя выставлять, но думал, что это послужит в добро тем, которые, подобно мне, не получивши надлежащего воспитания в юности и в школе, спохватились потом и в те года, когда человеку кажется странным начинать воспитанье. Парадировать набожностию я тоже не хотел. Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследованьи души человека, но вышло всё это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга. Многое в ней вышло нечаянностию для меня самого[2]. Многое вырвалось почти против воли моей. Уверяю вас, что многое из того, что кажется высокомернейшею гордостию, есть просто ребячество и незрелость юности, которая всегда выражается заносчиво и высокомерно, но здесь, натурально, она получила другой смысл, потому что дело коснулось такого предмета, к которому юноше не следовало бы касаться.

[1] *Далее начато:* в которое
[2] *В подлиннике:* своего <*описка?*>

Вы можете почувствовать, что я находился в том состоянии, во время которого следовало молчать и изъясняться только с одним духовником. Но, на беду, я писатель, а писатель болтлив и говорит о том, что посильней его теребит. Притом мне было трудно достать такого духовника, которому бы я мог исповедаться.

Природа у меня во многом слишком не похожа на других людей. Я был издавна скрытен от неуменья изъясниться. Нужно было мне встретиться с глубоким душевидцем, потому что всё во мне, даже и самые сочинения, так тесно соединились с душой, что вряд ли бы это было понятно обыкновенному человеку, даже и тогда, если бы я умел получше изъясниться. А потому эта книга, имеющая вид учить других, может быть, <была> необходимым извержением того, что стремилось во мне излиться. Я не думаю, чтобы книга моя произвела вред. Бог милосерд, и, мне кажется, Он не накажет меня так страшно за мое неразумие. Путаница от нее будет только покуда больше в словах и суждениях, чем на деле; как бы то ни было, но я ведь указываю на Церковь, как на высшую инстанцию и разрешенье всего, — стало быть, сомневающийся обратится к Церкви, а не к какому-нибудь писателю светскому. Во всяком случае, это для меня урок. Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божией. Говорить о мелком и ничтожном в жизни не хочется; говорить же о высоком, — но тут на всяком шагу встретишься со Христом и можешь наговорить нелепостей. Словом, нужно мне в это время притихнуть, исполнять просто какую-нибудь должность, самую незаметную, не видную[1], но взятую во имя Божие, где бы я был обязан больше исполнять, больше молиться и меньше мыслить. Так мне кажется. Вы меня очень порадуете, если мне скажете в ответ на это хоть одно словечко. Простите мне всё и вспомните, что на вас освящение высшее и что вас может вразумить чрез это Бог сказать мне слово, очень нужное моему сердцу; вспомните и то, что положенье мое, может, было в несколько раз труднее положения всякого другого человека, и не легка моя дорога, и что я, может, больше других имею чрез это право на сострадательно-братское участие служителя Христова. Адресуйте в Франкфурт, на имя Жуковского или на имя посольства, или просто: poste restante.

Весь ваш Николай Гоголь.

Если ж вы найдете, что вам приличнее не дать мне никакого ответа, то уведомьте хотя одним словечком об этом Погодина,

[1] теперь мне не видную

чтобы я знал, что письмо мое пришло в ваши руки. Но нет, вы можете мне сказать[1], что вы молитесь обо мне, и это уже будет мне утешительно.

<*На обороте:*>

Высокопреосвященнейшему Иннокентию.

### 1352. А. О. Смирновой

Июль 8 <н. ст. 1847>. Франкфурт.

Очень меня обрадовало появленье на свет Михаила, которого уже одно имя, переводя с еврейского на русский, значит: «Кто равен Богу?» Вероятно, он и родился затем, чтобы доказать вам самим рожденьем своим, как Богу всё возможно и как Он не выдаст того, кто обратится к Нему. Помните, как всегда боялись вы родов, как самое ваше болезненное состояние говорило вам, что вы никаким образом не в силах будете родить. И вот теперь у вас сын, и вы сами, слава Богу, едва ли стали еще не крепче. Итак: кто равен Богу? Думал было с вами увидаться, но мисс Овербек пишет, что вам путь назначен в Гельсингфорс. Недурно и то: вы повидаетесь с Вьельгорскими, с Аркади<ем> Оси<повичем>, с Плетневы<м> и Вяземским. А мне следует, видно, приучаться жить заочно с вашим милым образом, — тем более, что нам обоим это возможно. И вы, и я хотим жить во Христе, а живущие во Христе видятся вечно между собою[2]. Николаю Миха<йловичу> передайте поклон, мис<с> Овербек благодарность за известие[3], а деток всех перецелуйте.

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Kalouga. Russie.
Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.
В Калуге.

### 1353. П. А. Плетневу

Франкфурт. Июль 10 <н. ст. 1847>.

Посылаю тебе свидетельство о жизни. Деньги возьми, но храни их у себя до времени отсылки их в Константинополь, что нужно будет сделать в начале весны будущего года. Если какой-нибудь

[1] сказать только
[2] имеют уже одну душу и
[3] за письмо

можно получить в это время на них нарост, что, как говорит Жуковский, будто бы делается, то, конечно, не дурно; если ж это пустяк, то, разумеется, не стоит из-за него хлопотать. Ожидаю от тебя известия о том, где проводишь лето и когда к тебе посылать небольшую вещь, которую бы мне хотелось напечатать в виде отдельной небольшой книжки, о которой я уже тебе сказывал. Можно ли тебе будет прислать ее через месяц от сего дня? Хочу послать к тебе также переделанную «Развязку Ревизора», которая вышла теперь, кажется, ловче. Спроси у того художника, который предлагал мне изданье «Мертвых душ» с рисунками: не хочет ли он издать с виньетками «Ревизора», с присоединен<ием> означенной заключительной пиесы,[1] разумея по виньетке к голове и к хвосту всякого действия, на той же странице, где и слова. Я отсюда еду в Остенде. Впрочем, адрес по-прежнему: во Франкфурт. Обнимаю тебя от всей души моей, и Бог да сохранит тебя во всем.

Твой Г<оголь>.

При сем следует письмецо к Ишимовой.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.

Его Превосходительству ректору С. П. Бургского Император<ского> университета Петру Александровичу Плетневу.

В Петербурге. На Васильевск<ом> острове. В университете.

## 1354. С. Т. Аксакову

<10 июля (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Франкфурт. Июнь 10.

Погодин мне сделал запрос: отчего я так давно не писал к вам и не сердит ли я на вас, Сергей Тимофеевич? Я к вам не писал потому, что, во-первых, вы сами не отвечали мне на последнее письмо мое, а во-вторых, потому, что вы, как я слышал, на меня за него рассердились. Ради Самого Христа, войдите в мое положенье, почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать? Если бы я и в силах был сказать слово искреннее[2] — у меня язык не поворотится. Искренним языком можно говорить только с тем, кто сколько-нибудь верит нашей искренности. Но если знаешь, что пред тобою стоит

[1] *Далее начато:* то ест<ь>

[2] *В подлиннике:* искренное

человек, уже составивший о тебе свое понятие и в нем утвердившийся, тут у наиискреннейшего человека онемеет слово, не только у меня, человека, как вы знаете, скрытного, которого и скрытность произошла от неуменья объясниться. Ради Самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и состраждущей душе, — из милосердия прошу вас взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношенья мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины[1] — этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут всё изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот всё, что могу вам сказать теперь. Что же касается до неизменности моих сердечных отношений, то скажу вам, что любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступнее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят? Но я прошу вас теперь не о любви. Не имейте ко мне любви, но имейте хотя каплю милосердия, потому что положенье мое, повторяю вам вновь, тяжело. Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил. Друг мой, я говорю вам правду. Обнимаю вас от всей души.

Весь ваш Г<оголь>.

Передайте поклон мой добрейшей Ольге Семеновне, а за нею Конст<антину> Серг<еевичу> и всем вашим. Не знаю сам, хорошо ли делаю, что пишу; может быть, и это письмо приведет вас в неудовольствие. Я теперь раскаиваюсь, что завел переписку с Погодиным. Хотя я только и думаю, принимаясь за перо, как бы не оскорбить его, но, однако же, замечаю, что письма мои не приносят ему никакого успокоенья. При тех же понятиях, какие у него обо мне, ныне всякое слово с моей стороны обо мне самом может только его еще больше спутать. Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться.

Адресуйте во Франкфурт, poste restante.

[1] от таких друзей моих

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Его высокоблагородию Сергею Тимофеевичу Аксакову.

В Москве. В Мокриевском переулке, в доме Рюмина.

<*Штемпель:*>

Frankfurt 10 Juli 1847

## 1355. М. С. Щепкину

<Около 10 июля (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Письмо ваше, добрейший Миха<и>л Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите[1], сжились, как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть, даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое. Прочитать «Ревизора» я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым, и словом — всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей «Ревизора». Понимаете ли это? В этой пиесе я[2] так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что[3] я из «Ревизора»[4] хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. «Ревизор» — «Ревизором», а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не «Ревизора», но которое приличней ему сделать <по> поводу «Ревизора». Вот что следовало было доказать по поводу слов: «разве у меня рожа крива?» Теперь осталось всё при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегорья аллегор<ией>, а «Ревизор» — «Ревизором». Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует «Ревизора», чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, — и не удалось. Видно, Бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье насчет городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: «Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему». Во втором акте,

[1] как вы говорите

[2] я в ней

[3] будто

[4] из всего «Ревизора»

в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней[1] по последнему изданию, напечатан<ному> в «Собрании сочинений». Очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших записок. Начать в ваши годы писать записки[2] — это значит жить вновь. Вы непременно помолодеете и силами и духом, а чрез то приведете себя в возможность прожить лишний десяток лет. Обнимаю вас. Прощайте.

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Михаилу Семеновичу Щепкину.

### 1356. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

*Черновые наброски*

<Конец июня—начало июля (н. ст.) 1847. Неаполь>

<1>

Иисус Христос, сознавая в душе Своей обетованного Мессию, совершенно это почувствовал, войдя в спор с докторами учености, и, укрывшись ото всех до 30-летнего возраста, следил невинной душой Своей все пророчества о Мессии, по которым Он весь и расположился, следя на каждом шагу действий Своих волю Провидения, предаваясь во всем Богу, т. е. Духу благодати и истины, совершенно очищенному и непричастному всем слабостям и гнусностям человеческим. — Возлюбя человечество, Он решился произнести ему слово истинно, целя всякий недуг и телесную болезнь. Отцветшая нравственность Его отечества вскипела злобой в вельможах, которые Его и осудили на смерть, чем Он и утвердил слово Свое благодати и истины для грядущих народов к образованию. — Слабое человечество не в состоянии было в совершенстве понять всю глубину Божественного учения. Церковь жгла живых открыто, а тайные общества преследовали всех тех, кто к ним не присоединялся, предаваясь и пьянству и распутству. Россия — новая и последняя нация в ряду образований человеческих, одаренная самоотвержением и приспособлением всего к действительной жизни и самым здравым разбором. Вот этой-то нации предоставлено решить судьбу всего человечества при полном развитии своего образования.

[1] ощутительней будет тогда, когда «Ревизор» будет играться в

[2] свои записки

Восточная ученость более всего доступна русскому. Разберем и приспособим ее к делу.

Евангелист Матвей предполагал, что царь пошлет вельмож своих устроить конец царствованию страстей человеческих.

Марк с ним тоже согласен, что этим начнется перерождение человечества, но тут же говорит, что избранные народа скажут и царю и вельможам, в чем глубина специальности каждой отрасли образования души человеческой. — Они освятят знания своею божественною нравственностию и тем приобретут к себе полную веру. Восхищение и довольство и царя и вельмож будет так велико, что последние охотно будут выдавать своих дочерей за таковых светильников человечества.

Иоанн, любимый ученик Иисуса, на суд которого принесены были все три Евангелия, уничтожил совершенно все горестные предчувствия, дав полную власть сынам человеческим пробуждать от заблуждений всех и каждого духом Благодати и Истины.

Художник — существо почти неизвестное древним евреям, в ряду истории человечества следившим только за развитием глубины ума и сердца, тесно сопряженных с Богом. — Он слегка обозначен при горе Синайской у создания скинии. — Храм Соломонов был отличительное прибежище для служения Единому Богу жертвоприношениями животных, что Моисей узаконил, предрекши воплощение Благодати и Истины, показанной нам в Иисусе Христе, низвергнувшем словом Своим все[1] внешние службы и жертвоприношения, создав из сердца Своего нам Церковь.

Мы, не постигающие вполне мысли Христовой и не в состоянии будучи до такой степени очиститься от беззаконий и пороков, чтобы тоже создать из сердец наших Храмы Богу, полагаем, что наши беспрестанные преступления могут выкупиться соблюдением обрядов, символически Его славимых. Вот отсюда-то и нужно, чтоб мудрой художник русский создал нам Библию в изящных видах и приложил к ней все свои ученые исторические разъяснения. В них-то найдут приятный отдых и царь, и вельможи, в них-то будет проясняться истинно-народное образование русское. Для всего этого, во-первых, нужно иметь художнику полную свободу действий,[2] которой одно произношение уже кажется несносным в наше время.

[1] таковые

[2] которую у нас на каждом шагу рады казнить смертью

Христос, представляющий Собою связь человека с Богом, т. е. человеческую плоть с невинностью и глубочайшими сведениями, первый высвободил Себя от всех искушений и послужил нам светильником в жизни.[1] Пожертвовав Собой, Он совсем не разрушал супружества, подтвердив это следующими словами: М<атфей, гл.> XIX, <ст.> 8.

<2>

Когда таковые обстоятельства покажутся, вы возвысьтесь святой жизнью, потому что ваше спасение уже близко.

Берегитесь от объядения, и вина, и от всех беспокойств жизненных, чтоб этот час не встретил вас врасплох.

Потому что все будет, как в сети, все, что будет жить на поверхности земли.

...Бдите, прося и молясь, во всякую минуту для того, чтоб быть достойными избежать всех зол и представиться с полным доверием к перерожденному Царю.

Иоанн.

Я есть начало всего, т. е. Истина.

Я имею и другое пастбище, <тех>, которые не подлежат публичному стаду. Надобно, чтобы Я и их привел, и тогда будет одно стадо и один пастырь, т. е. Воцарившийся Неограниченный Монарх вечного мира на земле.

Иисус сказал: «Если Я хочу, чтоб он жил до тех пор, пока Я не возвращусь в Духе Монарха, какое тебе дело? Ты следуй и достигай за Мною верою».

---

Эти четыре книги были написаны не в одно время, самою важнейшею считается последняя.



<3>

Предчувствия трех первых евангелистов принесены были на рассмотрение четвертому, возлюбленному ученику Христову, которого и Церковь, и ученость светская признают за высочайшего[2] и, так сказать, заключившего слово Божие. Вместо поправки всех трех Евангелий, он написал свое, где исчезли все горестные предсказания и заменились гласом Сына Человеческого,

[1] Сказав
[2] из четырех

пробуждающим[1] от грехов все человечество. — Всякой мудрой и образованной русской есть Сын Человеческой, пора бы нам с Вами это почувствовать и пуститься в действие по стезе Единородного Сына Божия, смертию Своею даровавшего нам Благодать и Истину.

И потому извольте-ка Вы, не дожидаясь ужасов, немедленно напечатать Ваш второй том. Мы, великороссийцы, верующие в целость седьмой части планеты (nombre rond et consacre chez les Hébreux, les Egypties, les Perses et les Orientaux de nos jours), поклонимся Вашей малороссийской подметчивости и, оценя вполне Ваше глубокомыслие, будем любить Ваш край на основаниях[2] слова Божия[3], которое Вы же нам и приспособите, и разложите для действий в Вашем сочинении, и таким образом, — пересозданные еще раз, каждой человек в последнем народе в ряду образований <будет> во всей силе своего духовного развития, — и <вы> завершите последнюю цель Провидения, показавшего нам первой пример в Христе.

## 1357. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Калуга, 25-го июня 1847 г.

Любезный и добрый Николай Васильевич, я получила два ваших письма из Франкфурта с тех пор, как родила, но отвечать еще не могу на них, как бы желала. Скажу вам, что родила 30-го мая в ночь, очень благополучно, сына, которого назвали, 22-го числа июня, Михайлом; поправляюсь медленно — нервы слабы. 10-го июля отправлюсь прямо в Ревель без остановки, но так как я ночую всякую ночь, то туда доберусь едва к 25-му июля. Надеюсь, что эти ванны, как ни слабы, помогут мне более, чем ванны с разною медицинскою дрянью. Ваши письма для меня отрадны; вижу, что милосердный Бог укрепил и дух ваш и тело. Может быть и то, что дух так бодр, что забывается немощное тело. Молю ежедневно о вас и благодарю за вашу молитву. Христос с вами.

...Клементий Осипович как-то не очень охотно берется писать к вам, но Лёва зато, верно, приготовит длинное и, вероятно, нужное вам письмо. Он очень умный малый. Много возился с Аксаковым Иваном и знает всех московских. Вот вам вопрос:

[1] умирающих во грехах

[2] Благодати и Истины, дарованной нам Спасителем рода человеческого

[3] изреченного

что лучше, *львицы* нынешние, или поколение тому назад 30 лет, когда били девок по щекам? У нас в губернии существуют еще оба явления. Не смейтесь моему вопросу; он вызван рассказами моей собеседницы бабушки, которая 33 года разъезжала по уездам и знает всех богатых и мелких господ. От этих людей более узнаешь, нежели сам по себе.... Христос с вами! Ваша от души и сердца.

Посылаю письмо от Над<ежды> Ник<олаевны> Шереметьевой, о котором было забыла.

### 1358. Н. Я. Прокопович — Н. В. Гоголю

27 июня 1847. <Санкт-Петербург>

Я несколько виноват перед тобою, что не известил тебя в прошлом письме об отъезде Белинского за границу: тогда письмо твое к нему не прогулялось бы понапрасну сюда. Но все равно, оно отправилось по первой же почте к нему в Силезию в Зальцбрунн, откуда ты, вероятно, и получишь от него ответ.

Эта поездка была необходима для Белинского: только от нее одной зависит спасение жизни его, бывшей в продолжение последней зимы не один раз на волоске и сохранившейся в противность всех правил и приговоров медицины.

Пользуясь твоим позволением, я прочитал письмо твое к нему. Мне кажется, ты очень ошибаешься, воображая, что статью свою Б<елинский> написал, приняв на свой счет некоторые выходки твои вообще против журналистов. Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление. Почему не судить проще и не принимать всего сказанного им встрече совершенно противоположных друг другу убеждений, искренних в нем и, конечно, не притворных и в твоей книге? Белинский не говорил хладнокровно о прежних твоих сочинениях, мог ли он говорить хладнокровно и о последних? Впрочем, он сам, вероятно, в ответе своем выскажет тебе все свои побуждения.

Поручение твое разузнать о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамильце я выполнил; но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слыхал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести. Впрочем, на всякий случай я просил управляющего конторою агентства Языкова предупредить всех книгопродавцев, с которыми со всеми она имеет сношение.

Весь твой Прокопович.

## 1359. В. Г. Белинский — Н. В. Гоголю

<15 июля (н. ст.) 1847. Зальцбрунн>

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали при появлении ее все враги ваши — и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, которых имена вам известны. Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если б она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб вы не были

мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека*, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что вы в этом *прекрасном далеке* живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе, права и законы, сообразные не с учением Церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и Церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами*!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас за эти позорные

строки… И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги? Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, — совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: *ах ты, неумытое рыло!* да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или вы больны и вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли…

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною… Что вы подобное учение опираете на Православную Церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более Православною, Церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в Церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти Его и кость от костей Его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты

и патриархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...

А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: *дурья порода, колуханы, жеребцы?* — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать.* Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью, — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозности, нетерпимости и фанатизме: его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего *прекрасного далека:* вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский Бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили...

«Но, может быть, — скажете вы мне, — положим, что я заблуждался и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и большею последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому Богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с вашей точки зрения, если б только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко

поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну Наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека? Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказываемых вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре»

и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю.

И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне еще кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие Его в груди своей, или потерявшие Его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо),

но и о самом себе — это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек»*. Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне как об одном из ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то почеловечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его *«вялый, влачащийся по земле стих»*. Все это нехорошо! А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта

(отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и N <Н. Я. Прокопович> переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы ваши прежние.

Зальцбрунн 15-го июля н. с. 1847-го года.

## 1360. А. А. Иванову

Остенде. Июль 24 <н. ст. 1847>.

Не знаю, будет ли впопад мой ответ. Ваше письмо несколько темновато. Не позабывайте, что вы находитесь в состоянии того нервического размягчения, когда всё чувствуется сильней и глубже: и удовольствия[1] и неприятности. Прежде всего, нужно благодарить за это состояние Бога; оно не даром; оно посылается

[1] и радость

избранникам затем, чтобы умели они выше почувствовать многие вещи, чем они есть, — затем, чтобы быть в силах потом и других возвести на высоту, высшую той, на которой пребывают люди[1]; равно как и горести даются нам почувствовать сильней затем, чтобы мы были сострадательней прочих к страждущим положеньям других. Но нужно помнить, что творец высших ощущений[2] есть Бог, возвышающий наше сердце до них, а не самый тот предмет, который, по-видимому, произвел их. Я не понимаю также хорошо, зачем именно вы привели слова евангелиста Луки. Если вы подумали о каком домашнем очаге[3], о семейном быте и женщине, то, сами знаете, вряд ли эта доля для вас! Вы — нищий, и не иметь вам так же угла[4], где приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами. Но оставим речи о том, что в разговоре может[5] объясниться, а не в письме. Наследник, узнавши о вашем болезненном состоянии, принял в вас участие. От Олсуфьева, вероятно, вы получите бумагу, может быть, даже вместе с деньг<ами>. Все вам советуют заботиться о здоровье. Принуждать же вас оканчивать картину никто не будет. Жуковский хотел писать также от себя к Лейхтенбергскому. Стало быть, на этот счет будьте покойны. Не позабывайте также и того, что посольство в Риме составлено большею частию из благородных людей. Если бы они имели возможность получше вас узнать, они бы сами постарались о вас. Но всё на этом свете опутано недоразуменьями, всё в облаке взаимных недоразумений, — может быть, затем, чтобы напомнить человеку сильней, что жить он должен в Боге, даже и тогда, когда вся жизнь его, по-видимому, отдана людям. В октябре[6], вероятно, вас увижу. Прощайте.

Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Александру Андреевичу Иванову.

[1] обыкновенные люди
[2] высших ощущений в сердцах наших
[3] угле
[4] угла на этом <свете>
[5] не совсем может
[6] В конце сентября или в октябре

## 1361. Графине С. М. Соллогуб

Остенде. 26 июля <н. ст. 1847>.

От Миха<и>л<а> Миха<й>л<ови>ча узнал я о появлении на свет Елисаветы Александровны. От всей души вас поздравляю. Теперь Вы стали[1] вполне мать семейства. Двое детей все еще как-то не составляют семьи, но три — уже семья. И мне теперь очень приятно представлять себе, что[2] буду сидеть или обедать с вами уже не за коротеньким столом, а за длинным. Напишите мне словечка два о вашем здоровьи; эти два словечка мне покуда нужней всего. Меня же, несмотря на всю бурю всякого рода потрясений, Бог еще хранит. Вот уже три дня почти, как я в Остенде. Моря еще почти не пробовал. Немножко нужно отдохнуть и дать всему во мне успокоиться. С Миха<и>л<ом> Миха<й>л<ови>чем я виделся в[3] Висбадене, где он пьет воды и купается. Он, мне показалось, как будто похорошел и помолодел; черты лица его сделались тонее. По мне, это признак, что золотушность в нем уменьшилась. Анне Михайловне я писал письмо недавно, назад тому недели две. Попросите ее, чтобы она попросила Матвея Юрьевича (сами также попросите его) об Иванове. Этого несчастного человека просто вгонят в гроб. Он находится в величайшем нервическом расстройстве и не в состояньи держать кисти в руках, а его смущают какими-то, Бог весть откуда приходящими, приказаниями оканчивать картину как можно скорее. Попросите, чтобы было устроено[4] так, чтобы пришла от Лейхтенбергского бумага, в которой было бы ему предписано[5], чтобы он прежде позаботился об излечении себя, а потом уже об окончании картины; что торопиться его никто не просит, что, напротив,[6] уверены, что он, как[7] человек благородный, употребит все усилия исполнить ее наилучшим образом и без понуканий, тем более что картина его[8] не нужна ни для какого строющегося здания. Она не заказ, а для нее[9] нужно еще придумывать место, где поместить ее, когда она будет кончена. Похлопочите об этом. Вы сделаете истинно христианское дело. Уведомьте меня, что делает теперь

[1] *Далее было:* в полном смысле
[2] *Далее было:* когда приеду к вам
[3] *Далее было:* Бадене
[4] *В автографе:* устроенно
[5] *В автографе:* предписанно
[6] *Далее было:* все
[7] что он, как *вписано вместо:* в его благородстве
[8] его *вписано.*
[9] нее *вписано.*

Владимир Александрович. А равным образом напишите[1] хоть что-нибудь из того, что у вас теперь делается в Павлине. Выберите один день и изобразите его от[2] раннего утра до самого позднего вечера. Пусть мне покажется, что я с вами, и расстояние, нас разделяющее, исчезло. Бог да хранит вас. Прощайте, моя близкая моей душе Софья Михайловна!

Весь ваш Г<оголь>.

## 1362. Графу Матв. Ю. Виельгорскому

<Конец июля (после 26-го числа н. ст.) 1847. Остенде>

Я к вам написал письмо об Иванове, но рассудивши, как трудно толковать о деле малопонятном, и зная то, что у нас по тех пор никакие хлопоты не возымеют надлежащего действия, пока общий крик и общий голос не станут за того человека, о котором хлопочут, я рассудил мое письмо напечатать просто в книге, которую вы теперь держите в руках. Потом я услышал, что Иванову вышло некоторое вспоможение. Нет нужды. Все-таки сделайте к тому прибавление, а напечатанное письмо предложите на прочет как моей прекрасной благодетельнице Марии Николаевне, так и герцогу Лейхтенбергскому. Все-таки недурно, если по поводу этого дела узнают, что бывают такие положения людей, на которые следует иногда обращать внимание, хотя они сами и не издают во всеуслышанье воплей и криков. — Напишите мне словечка два ваших собственных о моей книге, не скрывая ничего, что в ней вам понравилось и что не понравилось.

Обнимаю вас

весь ваш Г<оголь>.

## 1363. Графу А. П. Толстому

<27 июля (н. ст.) 1847. Остенде>

Июль 28.

Пишу к вам несколько строчек из Остенде, куды приехал на прошлой неделе и где прежде всего[3] расклеился в здоровьи. Сделайте милость, спросите у Груби, приняться ли мне за тот порошок, который был предписан назад тому год? Потому что припадки несколько похожи на прежде бывшие. В месте, где

[1] *Было:* уве<домьте>

[2] *Далее было:* самого

[3] межд<у прочим>

сердце, урчанье и бурлыканье, как в животе; во рту точно как бы подымаются крошки съеденного хлеба, так что нужно беспрестанно глотать, — словом, как бы пища не сварилась. Слабость заметная во всем теле, прекращенье...[1] и заметное исхуденье в немного дней. Я посылаю на всякий случай копию с прежнего рецепта,[2] и если он скажет, что он годится, или на место его даст другой, или найдет нужным кое-что прибавить к прежнему, то, во всяком случае, прошу вас послать в аптеку и, заказавши две порции, послать с железной дорогой[3] сюды, в Остенде, потому что здесь, как вы знаете, в аптеках нельзя[4] найти никаких медикаментов. Этим меня много одолжите, а впрочем, пора бы вам, как мне кажется, и самому заглянуть сюды. Дорога в Лондон через Остенде. Через неделю или полторы приедет сюды Хомяков, который собирается также в Лондон; мне бы также хотелось взглянуть. Хомяков может, по моему мнению, больше, чем кто-нибудь другой, поговорить с англичанами толково о православии. Он в продолжение последних пяти лет, как мы с ним не видались, имел множество новых диспутов с раскольниками в разных местах и везде славно побеждал, так что имя его пронеслось по Руси. Уведомьте меня[5] хотя двумя словечками о графине, уехала ли она из Парижа и благополучно <ли>, то есть без хлопот, при надлежащем состоянии здоровья и без печальных приключений с девушками. От всей души желаю ей самого благодатного пути и благодатного прибытия на родину. Напишите ей, что я помню ее доброту и радушие и буду просить всех, кого ни встречу во Святой Земле молящихся, помолиться о ней и о вас вместе. Но прощайте. Сильно желалось бы вас обнять еще раз в Остенде.

Весь ваш Г<оголь>.

Скурыдину передайте поклон.

<*На обороте:*>

Paris.

Son excellence monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.

Rue de la Paix, № 9. (Hôtel Westminster).

<*Штемпель:*>

Ostende 27 Juli 1847

[1] *Пропущены три слова, не употребляющиеся в печати.*

[2] *Далее начато:* так <что>

[3] по почте

[4] нельзя почт<и>

[5] Уведомьте меня такж<е>

## 1364. С. П. Шевыреву

*Отрывок*

<Июль (н. ст.) 1847. Франкфурт или Остенде>

Несколько слов о Малиновском. В нем, сколько могу судить из длинного письма его, должно быть очень много хорошего. А судя по толстой серой бумаге, на которой писано письмо его, он должен быть не богат. Купи на мой счет стопу самой тонкой почтовой бумаги и подари ему от себя на описанья современного народа, проходящего перед его глазами по поводу «М<ертвых> д<уш>». Если в его записках, которые не позабывай присылать ко мне аккуратно по почте (на оказию и комиссии не надейся), окажется что-нибудь такое, что можно напечатать, то прикажи наскоро списать[1] его и напечатать потом в «Москвитянине» или другом журнале. Тогда весьма кстати можно будет прицепиться к оказанью денежного вспомоществования в виде платы за статью от журналиста или от тебя, как соучастника и сотрудника в журнале. Таким же образом можно поступать и с другими талантливыми студентами, заставляя их охотнее сочинять, переводить и даже наблюдать жизнь и дух общества. Сообщаю всё это тебе только для соображения, в твердой уверенности, что ты лучше моего сумеешь сделать *умней и лучше*. При сем передай следуемое письмецо Малиновскому.

Определи из моих денег, выручаемых за «Мертвые души», сумму на пересылку мне по почте всякого рода писем. Около 500 рублей ассигнациями назначь для этого непременно и никак не позабывай присылать мне всякую статью из журнала обо мне, приказавши переписать мелким шрифтом[2] на мои деньги, и всё высылай по почте.

## 1365. Д. К. Малиновскому

<Июль (н. ст.) 1847. Франкфурт или Остенде>

Я прочел ваши письма. Мне кажется, что покаместь вы делаете то, что, вероятно, вам следует делать. Если мысли ваши так[3] жаждут изливаться — пусть они изливаются; сам человек все[4]-таки от того в выигрыше, становясь или лучше, или понятнее себе самому. План вашей философии слишком огромен, но

[1] то выпиши на<скоро>

[2] *В подлиннике:* штрифтом

[3] так *вписано.*

[4] *Далее было:* от

если мысль о нем так шевелит вас и не дает покою, то, вероятно, у вас для этого есть какие-нибудь силы; иначе неоткуда бы взяться и самой мысли. Осуществление его (не целиком, а отчасти) возможно только от частого обращенья с человеком[1] на жизненном поприще. Вам следует прежде попробовать самому на каком-нибудь служебном месте исполнить таким образом долг, как бы, вам казалось, следовало всякому. Иногда на время бывает нам нужно перебить мыслительную жизнь нашу[2] просто деятельной жизнью в прозаическом смысле. Мне кажется, что для вас[3] не бесполезно, хоть на малое время, званье учителя с некоторым самопожертвованьем, то есть, отказавшись от всяких улучшений и новых метод, которые будут беспрестанно представляться (потому что, слава Богу, голова у вас не без изобретательности), придержаться метода прежних учителей и в это время наблюдать попристальней над теми, которых вы наставляете. Чем тише вы будете действовать вначале и чем постепенней будете наблюдать за человеком, начиная с самых нежнейших возрастов, тем у вас будет полнее познанье человека. Во всяком случае, деятельность нам[4] нужна вначале почти механическая[5], в определенной колее, уже известной. Открытия же покуда передавайте бумаге, не торопясь применением. Так мне кажется. А впрочем, да наведет вас Бог на то, что вам лучше и для вас удобнее.

Искренно желающий вам успехов <Н. Гоголь>.

<*На обороте:*>

М. И. Малиновскому[6].

## 1366. М. И. Гоголь

*Отрывок*

<Июль (н. ст.) 1847. Франкфурт>

Я рвусь вас видеть, но не имею права явиться к вам, покуда не поклонюсь Гробу Господню и тем исполню свое обещание и потребность души моей.

[1] с человеком *вписано вместо:* человека

[2] *Далее было:* само<й>

[3] вас *вписано.*

[4] *Было:* вам

[5] *Было:* машинальная

[6] *Гоголь дает ошибочные инициалы имени и отчества Д. К. Малиновского.*

## 1367. В. Г. Белинскому

*Наброски неотправленного письма*

<Конец июля — начало августа (н. ст.) 1847. Остенде>

<1>

<Л. 1> <С чего начать мой>[1] ответ на ваше письмо?[2] / <Начну его с ваших же слов>: «Опомнитесь, вы стоите / <на краю> бездны». Как [далеко][3] вы сбились с прямого / пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи. В каком грубом, невежественном[4] смысле приняли вы мою книгу, как вы ее истолковали[5]? О, да внесут[6] святые силы мир в вашу / страждущую, измученную душ<у! Зачем вам> / было переменять раз выбранную, мир<ную>[7] <дорогу?>[8] / Что могло быть прекраснее, как[9] показывать читателям красоты в твореньях наших писателей, возвышать их душу и силы до пониманья всего прекрасного[10], наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом прекр<асно>[11] действовать на их души. Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью. Что до политических событий, само собою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влияние на общество[12]. Дорога[13] эта заставила бы вас благословлять все в природе. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Зачем вам с вашею пылкою душою вдаваться в этот омут политической, в эти мутные события соврем<енности>[14], среди которой

[1] *В угловые скобки здесь и далее заключен текст, вырванный в подлиннике и восстановленный редактором. Отточиями обозначаются вырванные места, которые не поддаются восстановлению. Косыми скобками обозначаются начало и конец тех строк, часть которых вырвана.*

[2] *В следующих трех строках было:* <С чего> др<угого> начать письмо мое, / <...как не> обративши к вам ваши / <же слова>

[3] *Сверху вписано:* <отша>тнулись

[4] невежественном *вписано.*

[5] как вы ее истолковали? *вписано вместо:* Простивши все эти обвинения, в которых бы у меня недостало духа обвинить и мерзавца, не только честного человека

[6] внесут *вписано вместо:* ниспослят <*так в автографе*>

[7] мир<ную> *вписано.*

[8] *В следующей строке было:* <Вы> было избрали прекрасную дорогу <*1 вырвано*> <о>ценщика

[9] как *вписано вместо:* той дороги, по которой вы начали уже было идти:

[10] возвышать <...> прекрасного *вписано.*

[11] прекр<асно> *вписано вместо:* невидимо

[12] Что до политических <...> на общество *вписано.*

[13] *Было:* Сердце ваше дорога

[14] соврем<енности> *вписано.*

и твердая осмотрительная многосторонн<ость> теряется. Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим[1] прежде, чем еще успели узнать, что истина[2], как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете[3]. О, [как][4] сердце мое[5] ноет[6]. Что, если и я виноват[7], что[8], если и мои сочинения послужили вам к заблуждению. Но нет, как ни рассмотрю все прежние сочинения <мои>, / <Л. 1 об.> вижу, что они не могл<и соблазнить вас. Как ни?> / смотреть[9] на них, в <них[10] нет лжи некоторых?> / совреме<нных>[11] произведений. <Ваш ум> / отуманился[12]. В каком странно<м>[13] <*1–3 вырвано*> / виде приняли вы см<ысл моих произведений>[14]. / В <н>их же есть мой ответ[15]. Когда[16]<пред тем, пред> / чем человек должен благо<го>веть. Насмешк<а> /[17] не над Властью, не над коренными законами нашего Государства, но над извращеньем,[18] над уклоненьями, над неправильными толкованьями, над дурным / <приложением их?..>, над струпом, который накопился, над <*1 нрзб.*> <*1 вырвано*> несвойственной ему жизни[19]. Нигде не было у меня насмешки / <над тем>, что составляет основанье[20] / Рус<с>кого характера и его великие силы. Насмешка была только над мелочью, несвойственной его характеру. Моя ошибка[21] в том, что я мало обнаружил Рус<с>кого человека, я не развергнул его, не обнажил до тех великих родников, которые хранятся в его душе. Но это нелегкое дело. Хотя я и больше вашего наблюдал за Рус<с>ким человеком,

[1] *Было:* умею<щим>
[2] *Далее было:* а что <ложь>
[3] Вы сгорите <...> сожжете *вписано.*
[4] *Над зачеркнутым:* как — *вписано:* сожаление
[5] мое *вписано.*
[6] в эту минуту за вас!
[7] *Далее осталось незачеркнутым:* Если
[8] *Далее осталось незачеркнутым:* и
[9] *Над словом:* смотреть — *вписано:* не заме<тишь>
[10] в <них> *вписано.*
[11] совреме<нных> *вписано вместо:* <тороп>ливых
[12] *Далее было:* Я бла<гоговел...>
[13] В каком странно<м> *вписано.*
[14] виде приняли <...> <моих произведений> *вписано вместо:* я писал их, я благоговел пр<ед тем, пред>
[15] В <н>их <...> ответ *вписано.*
[16] я писал их, я благоговел п
[17] и нелюбовь слышалась у меня
[18] *Далее начато:* корен<н>ых
[19] над струпом <...> жизни *вписано.*
[20] *Далее было:* и твердо<сть>
[21] *Было:* Мое дело

хотя мне мог помогать[1] некоторый дар ясновиденья[2], но я не был ослеплен[3]. Глаза у меня были ясны. Я видел, что я еще незрел для того, чтобы бороться с событьями выше тех, какие были доселе в моих сочинениях, и с характерами сильнейшими. Всё могло показаться преувеличенным и напряженным[4]. Так и случилось с этой моей книгой, на которую вы так напали. Вы взглянули на нее распаленными глазами, и все вам предстало[5] в ней в другом виде. Вы ее не узнали. Не стану защищать мою <Л. 2> книгу. Как отвечать на которое-нибудь из ваших обвинений, когда все они мимо[6]? Я сам на нее напал и нападаю. Она была издана в торопливой поспешности, несвойственной моему характеру, рассудительн<ому> и осмотрительному. Но движенье было честное. Никому я не хотел ею польстить или покадить. Я хотел ею только остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке, в каком вдруг очутились все вещи мира. Я попал в излишества, но, говорю вам, я этого даже не заметил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще неско<лько>[7] / занимали соблазны мира, а тем бо<лее теперь>, когда / пора подумать о смерти. / Никакого не было у меня своекорыстного ум<ысла>[8]. / Ничего не хотел <я> ею[9] выпр<ашивать>. / Есть прелесть в бедности[10]. Вспомнили б вы по крайней мере[11], <что> у меня нет даже угла, и я стараюсь[12]

[1] мне мог помогать *вписано вместо:* Хотя, может быть, мне уж дан

[2] *Вместо:* некоторый дар ясновиденья — *было:* ясновиденья.

[3] *Вместо:* но я не был ослеплен — *было:* Хотя я и мог бы отважиться, но я не был ослеплен собой и видел

[4] *Было:* и неестеств<енным>

[5] *Было:* представилось

[6] Как отвечать <…> мимо *вписано.*

[7] *Вместо:* еще неско<лько> — *было:* больше

[8] Я попал <…> ум<ысла> *вписано вместо:* когда внутренний / дух стал померкать [и д<аже>], как бы готовый пог<аснуть>. / Но книга моя явилась в таком виде, что только / один полный ум, и в каком <*2 вырвано*>. / Ничего я ни от кого не просил и <никакого умысла?> не имел.

[9] *В автографе:* ее

[10] Есть прелесть в бедности *вписано вместо: а.* Это и не в моей натуре. Если я не воспользовался никак прибытками в те года, когда человека все прельщает, то тем более [в эти годы] и нынче, когда неволь<но> думается о тщете всего. Слава Богу, я возлюбил свою бедность и не променяю ее на те блага, которые вам кажутся так обольстительны. Я только и д<умаю> *б.* Знаете ли вы, что есть прелесть в бедности. И вспомнив об этом, вам (*вписано; последняя фраза осталась незаконченной и незачеркнутой).*

[11] Вспомнили <…> мере *вписано.*

[12] стараюсь *вписано вместо:* думаю только

о том, как бы еще облегчить мой небольш<ой>[1] походный чемодан, чтоб легче было расставаться с [миром]. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми[2] обидными подозрениями, какими[3] я бы не имел духа запятнать последнего[4] мерзавца[5]. Это вам и следовало бы вспомнить[6]. Вы извиняете / себя[7] гневным рас<положением духа>. / Но как же[8] <в гневном расположении духа> /[9] <о таких> <*1–2 вырвано*> / важных предметах и не ви<дите[10], что вас ослепляет гневный?> / ум и отнимает с<покойствие>[11] /

<Л. 2 об.> Как мне защищаться против ваших нападений, когда нападенья невпопад? Вам показались ложью слова мои Государю, напоминающие ему о святости его званья и его высоких[12] обязанностей. Вы называете <их> лестью. Нет, каждому из нас следует напоминать, что званье его свято, и тем более Госуд<арю>. Пусть вспомнит, как страшен ответ, который <потребуется> от него[13]. Но если каждого из нас званье[14] свято, то тем более званье[15] того, кому достался трудный и страшный удел заботиться о мил<л>иона<х>. Зачем напоминать о святости званья[16]? Да мы должны даже друг другу напоминать / о свя<тости на>ших обязанностей и званья. Без / <этого человек> погрязнет в материальных чувствах. / <Вы говорите?>, кстати, будто я <спел>[17] / похвальную

[1] облегчить мой небольш<ой> *вписано вместо:* сделать полегче

[2] Вам следовало <...> теми *вписано вместо:* Стало быть, вам бы следовало, прежде [останови<ться>] чем поносить меня

[3] какими *вписано вместо:* которыми, признаюсь

[4] последнего *вписано вместо:* публично

[5] *Далее было:* изверженного из общества

[6] Это вам <...> вспомнить *вписано вместо:* Вам бы следовало все-таки

[7] извиняете <...> гневным рас<положением духа> *вписано вместо:* говорите, / <что> вы в гневном рас<положении духа и этим извиняете> / себя.

[8] *Было:* Но в како<м>

[9] вы решаетесь говорить

[10] и не ви<дите> *вписано.*

[11] *Далее было:* <Вы оскорбите??> / кого-нибудь в гневе еще. <В гневе нельзя говорить?> / о таких предметах. <Для них нужно?> / беспристрастие.

[12] *Было:* и высоких его

[13] Нет, каждому <...> от него *вписано вместо:* Но если каждому из нас не напоминать друг другу ежеминутно о святости нашего званья

[14] *Далее было:* каждого

[15] званье *вписано.*

[16] Зачем напоминать <...> званья? *вписано.*

[17] *Слово пропущено.* <Вы говорите>, кстати, будто я <спел> *вписано вместо:* <Вам, кстати,> показалось, будто бы я [правительство наше из<ображаю> образцом] воздаю

песнь нашему правительству. Я нигде не пел. Я заметил[1], что Правительство состоит из нас же; мы выслуживаемся и составляем правительство. Если же[2] Правительство[3] огромные корпорации воров, или вы думаете, этого не знает никто из Рус<с>ких, или вы думаете…[4] [Рассмотрим их] пристально, отчего это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий[5] во Францию. Тот выезжает на одних началах, другой на других. Один сует Государю тот проэкт, другой / <иной, третий?> опять иной. Что ни человек, / <то разные проекты и раз>ные мысли, что ни / <город?>, то разные мысли и / <проекты… Как же не> образоваться посреди / <такой разладицы вор>ам и всевозможным / <плутням и несправедливостям, когда всякий / <видит, что везде> завелись препятствия, / <Л. 3> думает только о себе и о том, как бы себе запасти потеплей квартирку… Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное[6] и безграничное слово.[7] Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем Европейской Цивили<зации>, которое бессмысленно повторяю<т> и <*1 нрзб.*>[8]. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже[9] трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация?[10] И стала Европейская[11] Цивили / зация призрак, который[12] точно <был> <*1 вырвано*> / покуда ее видели издали, <когда же попытались> / хватать <ее> руками, она рассы<пается>. / И прогресс, он тоже был, пока о нем не дум<али, когда же> стали ловить его, / он и рассыпал<ся>[13].

[1] Я нигде <…> заметил *вписано вместо: а.* Оттого ли, что <я> отдал *б.* Оттого ли, что я сказал

[2] же *вписано.*

[3] *Далее было:* стало *б.* сделалось, как вы говорите

[4] *Не дописано. Фраза:* или вы думаете, этого <…> или вы думаете *вписана вместо:* что отчасти и справедливо, то рассмотрим их

[5] *Далее было:* опять

[6] *Далее было:* слово

[7] *Далее было:* Что

[8] которое <…> и <*1 нрзб.*> *вписано вместо: а.* Ком<м>унист ли, фалан<стерьен> *б.* Разве <?> ком<м>унист, фаланс<терьен>

[9] уже даже *вписано.*

[10] *Далее было:* Пустой призрак явился в виде этой цивилизации.

[11] Европейская *вписано.*

[12] *Было:* которая

[13] И прогресс <…> рассыпал<ся> *вписано.*

Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему гнусному, как <вы> выражаетесь[1], духовенству?[2] Неужели слово мое[3], что проповедник[4] Восточной Церкви должен жизнью и делами проповедать. И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них[5] анекдотов, может быть больше, нежели вы[6]. Но встречал зато[7] и таких, которых святости жизни[8] и подвигам я дивился,[9] и видел, что они созданье нашей Восточной Церкви, а не западной.[10] Итак, я вовсе не думал воздавать песнь[11] духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь.

Как все это странно! Как странно мое положение, что я должен[12] защищаться против тех нападений, которые все направлены не против <Л. 3 об.> меня и не против моей книги. Вы говорите, что вы прочли будто сто раз мою книгу. Тогда как ваши же слова говорят, что вы ее не читали ни разу. Гнев отуманил глаза вам и ничего не дал вам увидеть в настоящем смысле. Блуждают кое-где блестки правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманных юношес<ких> увлечений. Но какое невежество блещет на всякой стра<нице>![13] Вы отделяете Церковь и Е<е / пастырей от> Христианства, ту самую Церковь, / <тех самых> пастырей, которые мученическою / сво<ей смертью> запечатлели[14] истину всякого / слова Христова, которые[15] тысячами[16] гибли под ножами

[1] как <вы> выражаетесь *вписано.*

[2] *Далее было:* И отчего у вас такое против него.

[3] Неужели слово мое *вписано вместо:* Я сказал

[4] *Далее было:* Церкви

[5] про них *вписано.*

[6] может быть <...> вы *вписано.*

[7] *Было:* за это

[8] *Далее было:* я дивился

[9] *Далее вписано:* Хотя они и не<*нрзб.*>, но в тишине сияла хри<стианская>

[10] *Далее вписано: а.* Только дивлюсь *б.* Дивлюсь только тому, как вы могли так несправедливо <?> принять

[11] *Далее было:* дурным попам, а по<пам>

[12] Как странно <...> должен *вписано вместо: а.* Мне кажется *б.* Еще странней мне самому, что я еще

[13] блещет на всякой странице *вписано. Далее было: а.* Нет *б.* Вы дум<аете> *в.* Неужели *г.* Не конч<ив> *д.* Вы думаете, что можно, только *е.* Как дерзнуть с таким малым запасом сведен<ий> толковать о таких велики<х предметах>. Вы не кончили даже университетского <курса>.

[14] *Далее было:* вся<кую>

[15] которые *вписано.*

[16] *Было:* тысячей

и мечами[1] убийц, молясь о них[2], и наконец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал <Христа>[3]. И этих самых пастырей, этих мученников епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же по-вашему ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели[4] нынешние ком<м>унисты и социалисты[5]? Опомнитесь![6] Волтера называ<ете> оказавшим услугу Христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимна<зии>. Да я, когда был еще[7] в гимназии, я и тогда не восхищался Волтером. У меня <и> тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого <Л. 4[8]> человека. Волтером не могли восхищаться полные[9], зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь.[10] Волтер, несмотря на все блестящие замашки, остался тот же француз[11]. — О нем можно сказать то, что Пушкин говорит вообще о французе.[12]

Француз дитя:
Он так, шутя,
Разрушит трон
И даст закон;
И быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
И удивит,
И насмешит.[13]

[1] *Было ошибочно:* и палачами

[2] молясь о них *вписано.*

[3] *Слово пропущено.*

[4] *Далее было:* эти

[5] объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и гра<бить> тех, которые нажили себе состояние

[6] *Далее было:* Куда вы зашли?

[7] *Далее было:* был молод

[8] *Л. 4 представляет собой лист почтовой бумаги меньшего формата, чем остальные.*

[9] *Далее было:* умы

[10] полные [умы], зрелые умы <...> молодежь *вписано вместо:* ни Пушкин, ни Суворов, ни все сколько-нибудь полные умы

[11] *Далее было:* который уверен, что можно говорить [шутя обо всем] о предметах высоких шутя и легко. О Волтере можно сказать то

[12] *Далее было:* О

[13] *Далее четверть страницы и оборот листа остались незаполненными.*

<2>

<Л. 5> <*1–2 вырвано*> <Спаситель> нигде никому не говорит[1], / <что нужно приобрета>ть, а еще напротив и / <настоятельно нам?> велит Он уступать: / <*1–2 вырвано*> <снима>ящему с тебя одежду, / <отдай последнюю> руб<ашку, прося>щему тебя пройти с тобой /[2] <одно> поприще[3], пройди два. / <Не>льзя, получа легкое журнальное образов / <ание, судить> о таких предметах[4]. Нужно для этого / <изучи>ть Историю Церкви. Нужно сызнова / <прочи>тать с размышленьем всю историю / <чело>вечества в источника<х, а не> в нынеш<них> легких брошюрках, н<аписанных> / <*1 вырвано*> Бог весть кем. Эти <поверхностные / энциклопеди>ческие сведения разбрасывают ум, а не сосредо / <то>чивают его.

Что мне сказать вам на резкое[5] замечание, будто русской мужик не склонен к религии[6] и что, говоря о Боге, он чешет у себя[7] другой рукой пониже спины. Замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что[8] тут <гово> / рить, когда так красноречиво г<оворят> / тысячи церквей и монастырей, покрывающих <Русь>[9]. / Они[10] строят<ся> / [не дарами][11] богатых, но бедны<ми> лептами неимущих[12]. Тем самым народом, о котором вы говорите, что[13] он с неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Бог<ом>[14], терпит горькую нужду, о кото<рой знает каждый из нас?>, чтобы иметь возможность принести усерд<ное подаяние Богу?>[15]. Нет, Вис<с>арион И<ванович?>[16], нельзя судить о русском народе тому, кто прожил

[1] нигде никому не говорит *вписано вместо:* говорит каждому из нас

[2] <одну до>рог<у>

[3] <д>орог<у>

[4] *Вместо:* <Не>льзя <...> предметах. — *было: а.* Нельзя, Вис<с>ари<он> *б.* Нужно прочесть по крайней <мере>

[5] резкое *вписано.*

[6] *Далее начато:* которо<ю>

[7] *Далее было:* пониже

[8] *Далее было:* мне

[9] покрывающих <Русь> *вписано вместо:* <Руси>, / умножающих

[10] Они *вписано вместо:* которые

[11] *Вместо зачеркнутого:* не дарами — *вписано:* не

[12] *Вместо:* но бедны<ми> лептами неимущих — *было:* но именно д<обр> / охотным подаяньем бедных

[13] *Далее было начато:* неуваже<ньем>

[14] и который <...> и Бог<ом> *вписано.*

[15] терпит <...> усерд<ное подаяние Богу?> *вписано на полях.*

[16] *Так в автографе. Следует:* Григорьевич

век в Петербурге, в занятьях[1] <Л. 5 об.> легкими журнальными <статейками и романами> / тех французских ро<манистов, которые> / так пристрастны, <что не хотят видеть>, / как из Евангелия исх<одит истина, и не замечают> / того, как уродливо и косо изображ<ена у> / них жизнь. Теперь позвольте же[2] ск<азать>, / что я более пред вами[3] [имею права заговорить] <о русском> / народе[4]. По крайней мере[5], мои сочинения, по едино<душному> / убежденью, показывают знание пр<ироды> / русской, выдают человека, который был с народом наблюда<телен> / и <*1 вырвано*> стало быть, уже имеет дар вход<ить / в его жизнь>, и что может быть то<чно> / глуб<оким знатоком> природы[6], о чем / говорено <было> много и что подтвердили / сами вы в ваших критиках. А чт<о предста> / вите <вы> в доказательство вашего знания <человеческой> / природы и Русского народа, что вы произвели такого, в котором видно <это> зна<ние>?[7] Предмет <этот> / велик, и об этом бы я мог вам <написать> книги. Вы бы устыдились сами того грубого смысла, который вы придали советам[8] моим помещику[9]. Как эти советы ни обрезаны цензурой, но / <в н>их нет протеста противу грамотности, / <а> разве[10] протест против развращенья / <русск>ого грамотою, наместо[11] того,[12] / что грамота нам дана, чтоб стремить к высшему свету человека[13]. Отзывы ваши о помещике вообще отзываются временами Фон Визина[14]. Давно уж все не то и не в том виде[15]. С тех пор много, много изменилось в России, и теперь[16] показалось многое другое. Что для

[1] в занятьях *вписано вместо:* беспрестанно занятый

[2] Теперь позвольте же *вписано вместо:* Позвольте также

[3] пред вами *вписано.*

[4] *Далее вписано:* Я имею более

[5] По крайней мере *вписано вместо:* Все

[6] выдают <...> природы *вписано вместо:* Кое-что даже, о чем у други<х не / сказано. Это пре>жде подтвердили вы в <ваших / критиках, что автор углублялся?> в такие черты, чему

[7] что вы произвели <...> зна<ние> *вписано.*

[8] придали советам *вписано вместо:* приписываете словам

[9] *Далее, в скобках, было:* (обрезанным цензурою)

[10] разве *вписано вместо:* протест

[11] наместо *вписано вместо:* которая вместо

[12] *Далее было:* <чтобы> стремить человека

[13] чтобы стремить <...> человека *вписано. Далее было:* Да

[14] *В автографе ошибочно:* Фон Физина

[15] Давно <...> не в том виде *вписано вместо:* в них вно<сите>

[16] *Далее было:* много

крестьян выгоднее правление одного[1] помещика, уже довольно образованного[2], [который] воспитался и в университете[3] и который всегда с ними[4], или <быть> под управлением <Л. 6> <многих чиновнико>в, менее образованных, / <корыстолюбив>ых и заботящихся о том / <только, чтобы нажи>ться?[5] Да и много / <есть таких предмето>в, о которых следует / <тепе>рь подумать заблаговременно, прежде / <нежели с> пылкостью невоздержного[6] рыцаря и юноши тол / <коват>ь об освобождении, чтобы это осво / <божд>енье не было хуже рабства. Вообще / <у на>с как-то более заботятся о пер<е>мене / <назва>ний и имен.[7] / <Не с>тыдно ли вам в умень<шительных / име>нах наших[8], [которые даем] м<ы> *<1–2 вырвано>* / [иногда и товарищам], в<иде>ть униженье / <чел>овечества[9] и признаки варварства? / *<1 нрзб.>* как этим *<1 нрзб.>* мы *<3 нрзб.>*[10] / [Вот] до каких ребяческих выводов доводит неверный взгляд на главный предмет.

Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите[11]: «Я знаю [общество] наше и дух его», и ручаетесь[12] <в этом>. Как можно[13] ручаться за этот ежеминутно меняющийся хамелеон[14]? Какими данными вы можете удостоверить, что знаете[15] общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опытной жиз<нью>[16]? Живя почти без прикосновенья с людьми[17] и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних занятия<х> фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом[18] громадном <Л. 6 об.>

[1] одного *вписано.*

[2] уже довольно образованного *вписано вместо:* который

[3] *Далее было: а.* и уже *б.* и стало быть, уже многое должен чувствовать

[4] и который всегда с ними *вписано.*

[5] *Далее вписано: <1 нрзб.>* какую Европейскую Цивил<изацию>

[6] невоздержного *вписано.*

[7] *Далее было:* Мы все <хотим?>

[8] наших *вписано вместо:* которые даем

[9] *Далее было: а.* и из этого *б.* ведь мы их даем иногда и товарищам

[10] *<1 нрзб.>* как этим *<1 нрзб.>* мы *<3 нрзб.> вписано вместо:* Вот

[11] *Далее вписано:* что

[12] и ручаетесь *вписано.*

[13] *Далее было:* знать этот ежеминутно

[14] *Далее было:* и

[15] что знаете *вписано.*

[16] Прошли ли вы опытной жиз<нью> *вписано на полях.*

[17] *Далее было:* в скромной доле

[18] *В автографе:* об этой

страшилище, котор<ое самыми неожи> / данными явленьями <ловит человека> / в ту ловушку, в ко<торую попадают> / все молодые пи<сатели, рассуждающие обо> / всем мире и человечестве, тогда как <довольно> / забот нам и вокруг себя. Нужно <прежде> / их исполнить, тогда общество <само> / собою пойдет хорошо. А если <упустим> / обязанности[1] относительно лиц <близких, / погнавш>ись за обществом, — <то> / не <исполним и т>е так же точно. Я зна<л> / в последнее время много прекрасных л<юдей>, / <которые> совершенно сбились[2].

[Многие, видя, что общество идет ду<рно>], / что порядок дел беспрестанно запут<ывает>ся,[3] / думают[4] преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад[5] поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредствен<ной> литературы, которую вы называете бел<л>етристикой, можно подействовать на воспитание общества.[6] Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки,[7] ни [пылкие головы. Брожение] внутри не исправить никаким конституциям[8].

<Л. 7> <*1–2 вырвано*> <общест>во образуется само собою, общес<тво>[9] слагается из единиц. / <Надобно, чтобы каждая едини>ца исполнила долж / <ность свою, чтобы> [<каж>дый из нас] всем сам / <ым> <*2–3 вырвано*>. Нужно вспомнить человеку, / <что> он вовсе не материальная скотина, / <но> высокий гражданин высокого небесного / <гра>жданства.[10] Покуда / <ско>лько-нибудь не будет <он> жить жизнью / <неб>есного гражданина — до тех пор не / <пр>идет в порядок и зе<мное> гражданство. / Вы говорите, что Россия д<олго и напрасно мо / ли>лась. Нет, Россия м<олилась не зря. / К>огда она молилась, то она спаса<лась>. / <О>на помолилась в 1612 и спаслась от поляков; она помолилась в 1812 и спаслась от французов. Или это вы называете молитвою,

[1] *Далее было:* в

[2] *Далее было:* на этом

[3] *Далее в автографе следует:* они

[4] *Далее было:* что

[5] *Далее осталось незачеркнутым:* можно

[6] *Далее было: а.* Мечта, кроме того, что прочитанная книга лежит, ког<да> *б.* Плоды, если происходят, то вовсе не те, о которых думает автор, а чаще такие, от которых с испугом отшатывается сам.

[7] *Далее начато:* не исправят

[8] *Вместо:* конституциям — *было:* проектам и реформам

[9] образуется <...> общес<тво> *вписано.*

[10] *Далее было:* и до тех пор

что одна из сотни[1] <молится>, а все прочие кутят, сломя голову, с утра / до вечера на всяких зрелищах, заклады<вая> / последнее свое имущество, чтобы / насладиться всеми комфорта<ми>, / которыми наделила нас эта б<естолковая ?> Европейская Цивилизация?[2]

<Л. 7 об.> Нет, оставим п<одобные сом> / нительные положения <и посмотрим> / себя. Будем ис<правлять свое> / дело[3]; чес<тно>[4] <будем стара> / ться, чтоб не зарыть в землю т<алант>. / Будем отправлять свое ремесл<о, тогда> / все будет хорошо, и состоянье <общества> / поправится само собою. В <этом> / много значит Государь.[5] / <Ему дана должн>ость, которая важ<на и> / пре<выше ?> всех <?>[6]. С Госуд<аря> / у нас все берет пример[7]. / Стоит только ему ис<полнять>[8] <долг> / хорошо, не коверкая ничего, так[9] и все пойдет само собою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить в остальное время[10] от дел скромно, в уединении, вдали от развращающего двора, / <от> всего этого накопленья. И всё / <обер>нется само[11] собою просто. Сумасшедш / <ую жизнь> <захотят> бросить. Владельцы[12] разъедутся по поместьям, станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть. А честолюбец, увидя, что важные места не награждают ни деньгами, <н>и богатыми жалованьями, <Л. 8> <оставит службу. Оставь>те этот мир обнагл / <евших, омертвевши>х, который обмер, / <для которого> ни вы, ни я не рождены. / <Позвольте мне> напомнить[13] прежние / <ваши раб>от<ы> и сочин<ен>ия; позвольте мне / <такж>е напомнить вам прежнюю вашу дорогу / *<1 вырвано>*.[14] Литератор сущес / <твует для доб>ра, он должен служить искусству, / <котор>ое вносит в души

[1] *Вместо:* одна из сотни — *было:* одна тысячная

[2] *Далее начато:* Это тол<ько>. *Далее четверть страницы осталась незаполненной.*

[3] *Далее было:* честно

[4] *В автографе ошибочно:* час<тно>

[5] *Далее было:* С не<го у нас?>

[6] *Далее было:* Стоит

[7] *Далее было:* и <все> / пойдет

[8] ис<полнять> *вписано.*

[9] не коверкая ничего, так *вписано.*

[10] *Далее было:* скромно

[11] само *вписано.*

[12] *Было:* Поме<щики>

[13] *Далее было:* чрез

[14] *Далее было:* Вы разбросались

мира[1] высокую примиряющую / <исти>ну,[2] а не вражду,[3] <лю>бовь к человеку, / <а> не ожесточ<ение[4] и> ненависть.[5] <Возьмитесь снова / *1 нрзб.*> за свое поприще, с <которого вы·удалили / сь?> с легкомыслием юно<ши>. Начните / <вновь> ученье.[6] Примитесь за тех поэтов / <му>дрецов, которые воспитывают душу. / Вы <сами> сознали[7], <что> журнальные занятия выветривают душу и что вы замечаете наконец пустоту в себе. <Это> и не может быть иначе[8]. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите <это> / чтеньем больших сочинений, а не сов<ременных> / брошюр, писанных разгоряченным <умом>, / совращающим с прямого взгляда.[9]

<3>

<Л. 8 об.> Я точно отступаюсь <говорить> <*1–2 вырвано*> / о таких предмет<ах, о которых дано?> / право говорить одн<ому тому, кто получил его в силу многоопыт?> / ной жизни. Не м<ое дело говорить?> / о Боге. Мне следовало говор<ить не о Боге, а?> / о том, что вокруг нас, что <видит?> писатель, но так, чтобы / <каждому?> самому захотелось бы заго<ворить> о Боге.[10]

<4>

Хотя книга моя вовсе не исполнена той обдуманности, какую вы подозрева<ете>, напротив, она печатана впопыхах, в ней были даже письма,[11] писан<ные> / во время самого печатанья; хотя <в ней> / есть действительно м<ного не> / ясного[12] и так вер<оятно> / можно иное принять, ч<то> <*1–2 вырвано*>, / но до такой степени с<путаться>, / как спутались вы, принять[13] в та<ком пред> / положении, в таком странн<ом смысле!> / Только гневом,

[1] мира *вписано.*

[2] *Вместо:* высокую примиряющую / <исти>ну — *было:* высокое примиренье

[3] *Далее было:* человек

[4] ожесточ<ение> *вписано.*

[5] *Далее было:* Вы сами

[6] *Далее было:* Вы сами

[7] Вы сознали *вписано.*

[8] и не может быть иначе *вписано вместо:* Примитесь

[9] *Далее четверть страницы осталась незаполненной.*

[10] *Далее в автографе две трети страницы остались незаполненными.*

[11] *Далее было:* такие

[12] *Вместо:* м<ного не> / ясного — *было:* м<ного не> <*1 вырвано*> / и может

[13] принять *вписано.*

помрачившим ум[1] и отуманившим / голову, можно объяснить так<ое / заблуждение>.[2]

<5>

Слова мои о грамотности вы приняли в буквальном[3], тесном смысле. Слова эти были сказаны помещику, у которого крестьяне земледельцы. Мне даже было смешно, когда из этих слов вы поняли, что я вооружался против гра<мотности>.[4] Точно как будто бы об этом теперь вопрос,[5] вопрос, решенный уже давно нашими отцами.[6] Отцы и деды наши, даже безграмотные, решили, что грамотно<сть> нужна. Не в этом дело. Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют дело и близкие столкновения[7] с народом, чем самый народ. Всех этих мелких чинов<ников>[8] и власти, которые все грамотны и которые между тем много делают злоупотреблений. Поверьте, что для этих господ нужнее издавать те книги, которые, вы думаете, полезны для народа. Народ[9] меньше испорчен, чем все это грамотное население. Но издать книги для этих господ, которые бы открыли им тайну, как быть с народом и с подчиненными, которые им поручены, не в том обширном смысле, в котором повторяется слово: не крадь, соблюдай правду. Или: помни, что твои подчиненные люди такие же, <как> и ты, и тому <подобное>, но которые могли бы ему открыть, как именно не красть, чтобы точно собл<юдалась> правда.[10]

[1] *Вместо:* Только <...> ум — *было:* Один только гнев в силах был произвести такое помрачение ума

[2] *Далее в автографе треть страницы и оборот листа остались незаполненными.*

[3] буквальном *вписано.*

[4] *Далее было:* Кто

[5] *Далее было:* Когда

[6] *Далее было вписано и зачеркнуто:* И де<ды>

[7] и близкие столкновения *вписано.*

[8] *В автографе:* Все эти мелкие чинов<ники>

[9] *Далее было:* лучше исполняет долг, чем мы

[10] *Треть страницы, а также последующие листы 10 об.—12 об., 13 об. остались незаполненными. В отличие от предшествующих листов, л. 10–13 (где на л. 10 располагается набросок:* Слова мои о грамотности <...> правда.*) не разорваны. На л. 13 написана грамматическая заметка «Синтаксис» (см. в т. 17 наст. изд.).*

## 1368. Графу А. П. Толстому

Остенде. Август 2 <н. ст. 1847>.

Не отвечал вам тотчас по той причине, что поджидал порошка, который, как вы пишете, мне послали. Порошок не пришел; я получил только письмо, а на письме не выставлено, чтобы следовала при нем посылка. Чиновники уверили меня, что не было посылки, а потому я вновь к вам <с> просьбой взять порошок в парижской аптеке, потому что здесь аптекари, как вам известно, ничего не имеют. Ответы на вопросы Груби, которого не знаю, как благодарить, при сем прилагаю. Мне кажется, что мне как будто стало несколько лучше. Но всё, однако же, я не смею купаться иначе, как в самый теплый день и когда нет совсем ветра. Ветер необыкновенно сильно действует на кожу и чувствую слабость большую. От небольшого ветра меня то бросает в пот, то знобит.[1] Спросите Груби, не будут ли для меня теперь чересчур сильны волны. Ваши известия о бедной нашей России не утешительны. Я тоже имею много неутешительных: к кровопролитьям на Кавказе прибавилась еще и холера в тех местах. Но как подумаю, ведь нам, прежде всего, нужно жить в Боге, а не в России. Ведь мы знаем, что без Божьей воли ничего не делается. А воля Божья разумна, воля Божья знает, что нам нужно.[2] Будем исполнять[3] закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться (закон этот можно исполнять всюду), а о России Бог позаботится и без нас. Как Ему оставить ее, если есть столько людей, которые о ней молятся? Помолимся и мы о ней крепко, как только можем молиться, а потом палку в руки и вновь в путь-дорогу, по примеру всякого помышляющего о душе своей человека. Мне кажется, на вас неаполитанская зима может подействовать благотворно; там было хорошо и мне, и я согрелся. Очень было бы приятно встретиться с вами в Италии. Почему знать, может быть, случилось бы так, что и в Россию пришлось бы возвратиться в одно время... Покуда в Остенде немного русских. Из знакомых вам, кажется, один только Глебов да ваша родственница Сен-При Долгорукая, которую я видел всего один раз и не дальше, как вчера. Но прощайте. Передайте мой усердный поклон графине, если она еще в Париже. Доброму Миха<и>лу Сергеевичу также поклон; книги он может подарить первому

[1] то в озноб

[2] *Далее начато:* Не должны ли мы во всяком случае говорить: да будет воля Твоя

[3] исполнять тщательно

встречному, всего лучше которому-нибудь из наших парижских попов, они же охотники собирать книги. На адресе прибавляйте: Rue de Capucins, № 16, выставьте: «При сем следует посылка». Затем всею душою моей вас обнимаю.

Весь ваш Г<оголь>.

*Приложение*

Ответы на вопросы Груби:

1. Причина благоприятного состояния здоровья, может быть, отчасти волнение после дороги. В первый день я много ходил по городу, особенно сейчас после обеда, чего прежде не делывал.

2. Сон порядочен.

3. После обеда бывают небольшие отрыжки, часа через три после еды бывает иногда тягость в желудке.

4. Аппетиту большого не бывает даже и после купанья.

5. Бурчанье около сердца бывает больше перед обедом, ввечеру и на другой день перед завтраком.

6. Крошки во рту чувствуются также гораздо спустя после еды.

7. Во рту горьковатый вкус.

После доброго приема зейдлицких порошков (двойного) прослабило и с тех пор имею...[1] но почти каждодневно.

Чувствуется (особенно по утрам и лежа в постеле) боль вверху спины, между двумя лопатками, немного пониже первого позвонка, как бы *внутри.*

<*На обороте:*>

Son excellence monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, 9. (Hôtel Westminster).

## 1369. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Июля 14/26 1847. <Москва>

Книга твоя доставила тебе много горечи, вот тебе и капля удовольствия, любезнейший Николай Васильевич. Посылаю тебе письмо, писанное ко мне одним молодым человеком...

Лишь только начал я писать тебе это, как получил твое письмо от июля 8. Грустно мне было прочесть его. Твоя ладья все носится по морю, волнами все бьет ее в ту и другую сторону, и далеко тебе до пристани, далеко до Иерусалима! У меня вылетело из головы все, что я хотел писать тебе в этом письме, кажется,

[1] *Пропущено 8 слов, не употребляющихся в печати.*

продолжение одного моего письма, и я буду теперь отвечать только на твое.

Ты просил меня прежде: «Пиши ко мне все, все, что придет в голову, на первом лоскутке» и тому под<обное>. Что же обращает прежде всего твое внимание в моих письмах? Мелочи, мимоходные замечания, вырванные слова ходом речи, одним словом, лыко в строке, а что важно в отношении к тебе, ко мне, то как будто пропадает незамеченное. Какие-то пустые противоречия ты находишь, какими-то упреками огорчаешься, тогда как я сказал тебе с самого начала, и сказал торжественно, что я не сержусь и не думаю укорять тебя, и поступок твой со мною хотел *еще впредь* разобрать исторически, к сведению, к назиданию обоюдному; до него *еще не доходил* черед в моем письме! Однажды только, помнится, я передал некоторые обстоятельства; впрочем, все-таки только к сведению. Увидя теперь, что ты понять этого никак не можешь и видишь, предполагаешь настоящие ощущения, жалобы вместо *исторических справок*, я то письмо свое (в шести отделениях) прекращаю и анализировать твоего поступка, как предполагал прежде, во избежание недоразумений, не буду. Возвращаюсь к ответу.

Ты пеняешь мне за упреки о знати. Если я что не люблю на свете, так это знать. Я убежден, что она физически выродилась, что кровь течет в ней иная, что она не способна ни к какому добру (чему, кроме физики, содействует и воспитание), что все прекрасные и сладкие ее слова не имеют жизни и того смысла, какой эти самые слова имеют для других людей, что они оптически обманывают себя больше, чем других. Убедился я в этом после многих опытов, даже с теми людьми, с которыми ты в связи. Не скрою, что плебейское происхождение, молодость, проведенная в знатном доме, при виде всех его мерзостей и пр., было причиною, что я вдался в крайность, и я бывал несправедлив в этом отношении, следовательно, мог и на тебя подосадовать излишне, мог подшутить, но не может быть, чтоб я написал тебе, как ты передаешь: «Ты угождаешь одним знатным», «Тебе дороги только знатные». Нет, не может быть, чтоб я так написал. Ты перевернул мои слова, и в этом виде я не признаю их своими. Вот тебе разительный пример, как наше воображение, или самолюбие, или что ты хочешь перевертывает вещи по своему произволу и судит перевернутые вовсе несправедливо. Прошу тебя с дипломатическою верностию выписать мне мои слова. Если они написаны так, как ты передал, то они послужат мне уроком, а наоборот — тебе.

Отвечаю построчно. Выкинь из головы мысль, что ты можешь получить сведения о России по слухам. Нет, нет и нет. Ты получишь совершенный вздор. Одна неделя дома покажет тебе все лучше и вернее, чем пять лет в чужих краях. У нас чудеса со всяким днем воочию совершаются, и ловить их может только зоркий глаз на месте. И кого ты слушаешь? Богатых, праздных, полуфранцузских-полунемецких магнатов! Опять попались они под перо!

Теперь следует важнейшая часть твоего письма. Между нами произошло великое недоразумение. Протекло много лет, много чувствований через сердце, много мыслей пронеслось через голову у меня, но то я помню, что стал я спрашивать у тебя статьи, в 1842 году, вследствие твоего предшествовавшего вызова, как мне казалось, вследствие собственных твоих прежде сказанных слов, в которых послышалось мне твое намерение дать мне статью. Я думал, что я только напоминаю тебе. Помню живо теперь еще слова твои: «Надо, чтоб это было тяжелое, чтоб об этом говорили». Ты говорил, вижу я теперь, о своем труде, а мне, приготовленному и думавшему, послышалось или подумалось, что ты говорил о статье, которую хотел приготовить для журнала. Когда прошло несколько времени после этих слов, когда должна была выйти книжка или другое какое понудительное обстоятельство, я, уполномоченный твоими словами, и начал напоминать тебе. Не могу теперь привести на память все подробности, но почти совершенно уверен, что это было так. Я очень помню, что я не хотел спрашивать у тебя статьи и спросил, когда ты сам вызвался, как мне казалось. Не хотел же я спрашивать, признаюсь, скрепя сердце, делая себе насилие, сетуя и обвиняя тебя внутренне, что ты не хочешь помочь мне, когда я делаю последнее усилие (перед приступом к большому своему труду — писать историю), чтоб устроить дела и судьбу своего семейства. Мне все казалось, что ты причудничаешь, хотя бессознательно, что мечтаешь поразить всех, в упоении гордости и тому под., между тем как Рафаэли и Корреджии (припоминаю тогдашнее сравнение) могли отрываться от своих мадонн и оказывать в антрактах мелкие услуги своим друзьям.

«Ты живешь у меня, и между тем...» Это я мог сказать, только без попреку, и стыдно тебе, что ты мог слышать попрек в словах совершенно простых и, прибавлю, совершенно верных. (Я могу сказать их и теперь.) Все говорят: «Он живет у него, связан с ним, называет своим другом, а между тем не принимает

никакого участия в его труде, значит, что не одобряет его или просто надувает его». Так точно и было. Так точно и передача тобою продажи «Мертвых душ» Шевыреву, когда только что заведена была контора «Москвитянина», служила врагам моим доказательством, что ты не имеешь доверенности ко мне! Это были горькие для меня минуты, скажет тебе на том свете и моя Лиза. Шесть лет я делил с тобою последние свои крохи, не думая, не зная о возвращении (потому что ты в 1839 г. в Мариенбаде уверял меня, что «Мертвые души» при жизни не будешь печатать), и вдруг, начав печатать, ты отшатнулся от меня, обратился за деньгами для напечатания к другим, давшим муку взаем, когда рожь услышали они в закроме, и проч. и проч., и я увидел себя поруганным, отстраненным (теперь ты объясняешь причину). За что? «За любовь мою», — стонал я внутри. Сколько я любил тебя — я помню, как я писал к тебе о смерти Пушкина (не люблю уж я ни литературы, ни отечества, ни тебя так, как я любил тогда)! Множество было и других обстоятельств. Дьявол умеет собирать их ко времени. При свидании ведь будет об чем поговорить нам. Потому-то я перекрестился, затворяя за тобою дверь, и уже чрез год, кажется, или более мог писать к тебе. А ты сам меня в это время ненавидел! О, люди! Жалкие мы создания! Эта неясность, эта невозможность знать друг друга, эта беспрерывная обманность, даже при всей чистоте намерений, благородстве и проч., служат для моего ума доказательствами, что непременно должно же быть время, место, когда все объяснится!

Опять зароилась в голове куча. Только, Христа ради, не думай, чтоб были здесь упреки. Я пишу совершенно спокойно и желаю только объяснения для себя, как и для тебя. Ты пишешь, что два года мучился желанием оправдаться передо мною, и вдруг меня же *обругал*, обвинил перед отечеством, перед друзьями, перед врагами, перед царем, даже перед потомством — сказал, что в 30 лет я ничего не сделал, не подвигнул ни одного юношу на добро, и по поводу рассуждения обо мне заключил, что со словом надо обращаться честно! то есть не так, как я. Следовательно, я обращался нечестно! Ну вот как дьявол путает твои слова или мои понятия.

Перечел окончание твоего письма. Ну — поцелуемся! Ничего не было, не поминать больше! Пусть моя (наша Лиза) будет свидетельницею с высоты своего жилища. Там ли она, друг мой! Я плачу... Есть во мне много пороков, верно, видимых и невидимых, но, Бог свидетель, было и есть еще во мне много любви,

я любил горячо и желаю добра людям. Я вспомнил еще случай: кажется, перед твоим отъездом я был у тебя однажды наверху, говорил, помнится, об университете, был тронут и плакал, а ты уже тогда презирал меня! Это казалось тебе лицемерием? Припоминаю еще слова. Нет, что-нибудь не так! Ты путаешься! Двенадцать лет ты меня знал, двенадцать лет не видал ничего, кроме добра, и вдруг одно слово или, лучше, смысл, который ты сам дал слову, выводит тебя из границ, производит презрение, ненависть! Одно слово, — а меня ты назвал в надписи Фомою Неверным. Меня не понимают, ругают. Не видал я, или почти не видал, участия. Это, видно, мой крест! Лишился и единственного друга! Обнимаю тебя.

Твой М. Погодин.

О второй части письма твоего писать теперь не могу. До следующего раза. О<тец> Макарий скончался, и прекрасной кончиной.

### 1370. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

<Конец июля—начало августа (н. ст.) 1847. Неаполь>

Вы совершенно справедливо заметили в письме Вашем от июля 24, что все в настоящем положении света происходит от недоразумений, и чем выше место человека, тем опаснее недоразумения его. — Что касается моих недоразумений, то я надеюсь, что они все вдруг разрешатся с окончанием моей картины, а до тех пор я бы очень желал и все употреблю, чтобы все, и Вы, считали меня за мертвого человека. Этим спасется мое время, сосредоточатся силы, столь нужные к совершенному окончанию дела, и все, что посеяно, то гораздо лучше вырастет, избавится душа от страданий, какие беспрестанно являются от различных несовершенств соприкасающихся ко мне людей.

Важные подробности моего житья у Софьи Петровны <Апраксиной> я вам расскажу изустно, если, однако ж, Вы прежде сознаетесь сами, что обидели меня многими выражениями в последнем письме Вашем.

### 1371. Графу А. П. Толстому

<6 августа (н. ст.) 1847. Остенде>

Уведомляю вас, что порошок приехал. Он меня несколько изумил своею белизною. Сначала я думал, что не по ошибке ли

прислан мне чужой, прежний был темно-серый, а рецепт не изменился. На вкус магнезия вместо перчиковки, а на поверхности воды, в которой принимал порошок, показался голубой цвет, и по нем струи как бы меди (разумею[1] о случайно оставшейся до другого дни рюмке). Хомяков приехал также. О тульском дворянстве говорит он, что тульские помещики сами изъявили желание составить комитет. Мухановых и Тютчева еще нет. Впрочем, всё покуда обстоит благополучно. Прощайте. Тороплюсь отправить письмо.

Скажите Груби, что порошки во рту, как я заметил, чувствуются особенно после выхода из морской ванны, и грудь бывает в состояньи стесненном.

Ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Son excellence monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, № 9. Hôtel Westminster.

<*Штемпель:*>

Ostende 6 aout 1847.

## 1372. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Ромны, 16-го июля 1847 г.

Давно надобно было бы мне писать к вам, но обстоятельства, именно непредвидимая поездка из Радзивилова в Петербург, потом оттуда в Ромны, вывела меня из моего обычного положения. Правду сказать, я и рад, что не писал. Писать хочется, чтоб передать себя, а передать себя хочется не по вашей просьбе, но для того, что хочется сильно услышать, что и как делать. Внутри есть сильный зов на деятельность; довольно внешней деятельности. Вместе еще слышнее внутренний голос, что еще рано выступать на деятельность общественную. Чтоб быть искренну, надобно быть уверену, что искренность не объясняется дурно, — вот одно мое введение. Теперь я читаю недавно вышедшую в свет вашу Переписку: она более, чем все ваши письма ко мне, дает мне какое-то право писать к вам род исповеди. Сам я не понимаю настоящего моего внутреннего состояния: меня мучит то, что у меня мало работается; я не ленив и очень не ленив и вместе с тем ничего не пишется. Не только чувствую, но как бы осязаю внутри, что многого недостает. Ваши письма дали этому неопределенному осязанию бо́льшую ясность. После них я увидел яснее, что у меня

[1] гов<орю>

нет глубины ни мысли, ни чувства, и если бы не поддерживала меня не приобретенная, но просто врожденная покорность Богу, если бы я не говорил себе беспрестанно: ты избрал себе поприщем деятельности — быть писателем, сам ли произвольно, или это дано тебе, но ты уже употребил на приготовление к тому полжизни, будь им и служи всеми твоими силами. Поверьте, если бы не это, я бросил бы перо и все долгое изучение. Научиться можно чему хотите, но откуда взять то, чтобы все привходящее извне входило глубоко в мысль и все перечувствовалось бы всею глубиною чувства. Уединение, которое я люблю страстно, не имеет никакого действия; мне приятно оно потому, что воображение заносит Бог знает куда, там живешь иногда очень и очень не безгрешно, — иногда живешь в нем христиански, но выйдешь из него, и все пошло вверх дном. Уж если пошло на вправду, пожалуй, и жизнь иногда идет порядочно, но все очень легко, — от всякого ветерка всколышется чувство, — и тотчас уляжется снова покойно, — а дела все нет и как нет. Начинания огромные, замашки велики, и, право, верьте искренности, это делается не вследствие отчетливого самолюбия, а так делается без собственного ведома. Теперь у меня дело идет о том, чтоб начать издавать журнал: думаю я уже давным-давно, все нападали на меня, чтоб я начал прошлого года, то есть с 1-го генваря 1847 года; я отложил на год — все ругали меня, зачем я поехал в Италию; отчетливо я сам не мог сказать, зачем я еду, по чувствовал необходимость полного уединения. Если же говорить всю правду, и к вам не поехал, то есть не напряг все силы, чтоб ехать к вам, именно по тому же. Что я ему скажу, думал я, когда я сам себе ничего сказать не умею! Пришло ли время издавать журнал, — могу ли я вполне удовлетворить тем требованиям, каким теперь должен удовлетворять журналист московский — эти вопросы не дают мне покоя. Начинал я говорить с московскими — у них много горячки, все впопыхах, все толкуют мне о том, сколько можно собрать статей и на сколько книжек достанет, а то, чего я ищу, и сам не знаю чего, по крайней мере, определительного тоже я ни от кого не слышу. Вы жили, пережили внутри себя много, живете и переживаете еще много, поэтому вы можете легко понять, как жду я этого решения. Теперь, писавши к вам, пишу, питаясь одной надеждой, авось либо вы что-нибудь мне скажете. Скажите, если время мне услышать, а может быть, просто надобно всего ждать от времени, просто созреть, чтобы узнать тайну, если даже она вся будет состоять в том, что не дано ничего, что надобно употребить на переводы или тому подобные

труды чисто вещественные, внешние. Пока с этим не мирится, не сказу даже самолюбие, а внутренний голос. Но постороннему виднее. Счастлив тот, кого или болезнь, или несчастие привело к истине; у меня нет ни того, ни другого. Бог дал мне здоровье не очень сильное, однако же, такое, которое при заботах о нем идет порядочно. Несчастий я не знаю, бедность моя не тяготит меня, следовательно, она не несчастие. Откуда же мне и каким путем искать истины. Молитва внешняя иногда минутами открывает что-то, но это бывает так минутно и так неуловимо, что почти не остается следа ее во мне, и то правда, что я редко прибегаю к молитве, а когда случай приводит к ней, губы не шевелятся или произносят далекое от обычных молитвенных слов.

Очень бы хотелось мне передать вам состояние души моей, но оно мне самому темно, может быть, я и навязываю на себя борения, чтоб чем-нибудь объяснить и оправдать апатическое свое состояние. Если можете, скажите мне что-нибудь в письме на внутренние мои вопросы. Верьте еще одному, что в деятельности моей все внешние отношения решительно подчиняются убеждению, — без этого нечего было бы и прибегать к совету. Я еще месяц или полтора пробуду в Малороссии, где адрес мой: Ее высокоблагородию Катерине Васильевне Галаган, в Прилуки Полтавск<ой> губ<ернии>, для передачи Чижову. После я буду в Москве; там напишите мне через Аксакова, или через Свербееву, или через Шевырева. Буду ждать с нетерпением ваших писем, а здесь думаю пожить в Густынском монастыре близь Прилук, а туда тянет надежда — не услышу ли что-нибудь появственнее.

Ваш Чижов.

## 1373. Граф А. П. Толстой — Н. В. Гоголю

5 Авг<уста> Н<ового> в<ремени> 1847. <Париж>

Отвечаю на письмо, полученное вчера.

Вот наставление Груби. При сем два порошка: № 1 и № 2. Порошок № 1 есть тот самый, который уже послан к Вам чрез Messageries Royales[1]. Его следует употребить по объясненному порядку, шесть раз в день. Когда же вы почувствуете себя в лучшем положении, то есть когда не будет ни журчанья, ни тягости

[1] Вы получите этот порошок в Конторе des Messageries Royales, которая на дебаркадере железной дороги. Таким образом и мне прошлого года присылали лекарства. Так всегда отправляет Аптека Бранта, и посылки всегда доходят. — *Примеч. А. П. Толстого.*

в желудке, ни чувства крошек во рту, и когда испражнения перестанут быть жидкими, — тогда оставить порошок № 1 и принимать порошок № 2.

Порошок № 2 принимать порядком, какой был предписан для прошлогоднего порошка, т. е. посыпать говядину и другое всякое мясо, какое вы кушаете, и сверх того принимать три раза в день в стакан воды — утром вставая, после обеда и ложась спать.

Пока испражнение жидкое,[1] не есть никаких плодов, ни сырых, ни вареных, — а придерживаться мясной пищи, — избегать, сколь возможно, всего жирного, пирожного и овощей. А когда испражнение перестанет быть жидким и вы перейдете к порошку № 2, то приучать себя к плодам, выбирая самые зрелые, и есть их во время обеда, а потом и во время завтрака, но никогда[2] прежде или после[3] завтрака и обеда.

*

Дела Кавказские и многие другие очень, конечно, грустны[4], — но этого рода события подходят к наказаниям праведнейшего Судии, подобным[5] холере[6], неурожаям и т. п. Меня не столько огорчают приговоры и наказания, сколько ослепление, ведущее неминуемо к новым неведомым несчастиям. Меня ужасает всеобщее, единодушное и постоянное угождение всем презреннейш<им> страстям и похотям человеческим. И власти предержащие, и литераторы, и художники, [7] и ученые, и промышленники, а в Риме, кажется, и сама Церковь — все дружно сами пустились и других тащат на широкий путь. — Вот весьма удивительные слова будущего кардинала Вентуры, произнесенные им в Ц<еркви> С<вятого> Петра в Риме, на днях, в надгробном слове О'Кон<н>елю: «L'Eglise saura bien, oui elle fait, se ref<u>ser des Rois et, se tournant vers la democratie, baptiser culti hiroine sanvage, la faire chretienne, imprimer sur son front le signe de la consecration divine, et lui dire: Regni, et elle rignera. — Народ наградил его криками, рукоплесканьями, которые прерывали часто его речь, и, провожая домой, провозгласил Кардиналом.

[1] *Далее начато:* возд<ерживаться>
[2] *Далее начато:* ме<жду>
[3] *Далее начато:* об<еда>
[4] *Далее начато:* и
[5] *В автографе:* подобных
[6] *Далее начато:* голоду
[7] *Далее начато: а.* и прочие *б.* и мы

*

В бессильных (и даже постыдных) наших Кавказских делах я больше всего жалею черкес. Как можно дойти до такой нелепости, чтобы положить на мере истребление[1] лучшей, первой, совершеннейшей физически, породы из всех известных на земном шаре. Это бы для нас <было> неоцененное сокровище, рассадник силы и красоты; а мы их[2] бесщадно и бездумно губим, и огнем, и мечом, и отравляем[3] воронцовским просвещением, т. е. ромом, вином и прочими плотоугодиями[4]. В Тифлисе обратил на себя величайшее внимание и награды купец какой-то — пожертвовавший сумму на сооружение огромного театра, при закладке коего было высшее начальство, причем многие напечатали такие пошлости, что стыдно читать.

*

Кстати о Чтении: я на досуге прочел кой-что: между прочим историю (новую и дов<ольно> подроб<ную>) Испании от Филиппа II-го. Может быть, я глуп, и дай Бог, чтобы я был как можно глупее, чтобы глупость облегчила мою ответственность пред Богом, но в этой истории я все нахожу для нас уроки и указания. И на них возложено было многое от Провидения, и им следовало быть устроителями целой части света, и им даны были и многие силы, и всякие орудия, и мужество, и богатство; но они богатство обратили в роскошь[5] неслыханную и небывалую, от которой весь высший класс[6] пришел в совершенное расслабление и даже одурел (начи<ная> с Царс<кого> дома), как в наказание за беспечье в Америке.[7] Впрочем, что бы я ни читал, везде мне чудится Россия и весьма мрачная для меня ее будущность. Но авось я[8] по глупости своей так думаю. Дай Бог, чтобы так было.

[1] *Было:* уни<чтожение>

[2] их *вписано.*

[3] отравляем *вписано.*

[4] Весь Восток жив, кажется, нашею Россиею; [нам] мы, я думаю, будем за него [будем] отвечать перед Богом. Как же нам не любить Востока, и особенно черкес, которые и черти, и богатыри, и лучший обращик из всего создания. — *Примеч. А. П. Толстого.*

[5] *Далее начато:* бе<зумную>

[6] *Далее начато: <1 нрзб.>*

[7] *Далее начато:* Ос

[8] *Далее было:* так

### 1374. Графу А. П. Толстому

8 августа <н. ст. 1847. Остенде>.

Письмо ваше от 5 августа получил; порошков еще нет, но, вероятно, они скоро придут вслед. Благодарю вас много за доброту и попеченье о здоровьи моем. Дай вам Бог за это и здоровья, и блаженной участи творить то, что угодно Ему. Насчет черкесов я с вами совершенно согласен; мы совершенно не умели из них сделать нашу силу и крепость и Бог весть из-за чего задумали истреблять то, что послужило бы к добру нашему. Только, мне кажется, вряд ли удастся и модному просвещению одолеть этот народ. Бог не даром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах остатки патриархального быта. Напишите мне заглавие той испанской истории, которую вы читаете; мне хотелось бы также прочесть ее. Она, как видно, написана хорошо и толково. Старая Испания, точно, всё могла бы иметь и всё потеряла. Но новая Испания в ее нынешнем виде стоит того, чтоб ее рассмотреть: это начало чего-то. Я пробежал на днях напечатанные в «Современнике» письма русского, там бывшего, Боткина, которые, во многих отношениях, очень интересны, особенно там, где обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень похожий на характер добрых, простых народов, образовавшийся, однако ж, в это время смут, которые не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши. Хомяков, между прочим, привез с собой катехизис, отысканный им на греческом языке в рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукописи. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы. Всё в таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно подействовать на немцев и англичан. По моему мнению, на французский язык его не следует вовсе переводить. Французов могут познакомить с ним немцы и англичане своими собственными сочинениями, которые, без сомнения, появятся не в малом количестве по поводу этой книги в той и другой земле. Наконец, вот вам новости остендские. Сюда собирается графиня Вьельгорская, с Анной Михайловной и Михаилом Михайловичем. Они уже в Висбадене, где графиня-мать лечится от глаз, а сын — от небольшой ранки на ноге, которая, однако ж, почти совершенно прошла. Анна Михайловна, кажется, здорова, — по крайней мере, ни от чего не лечится. В то же самое время я узнал, что племянник ваш Виктор Владимирович Апраксин находится в Нордернеу, где берет морские ванны. Я написал ему письмо,

в котором прошу его заглянуть в Остенде, где, может быть, он встретит вас, что, без сомненья, и вам, и ему будет приятно, и признаюсь, в то же время подумал: хорошо, если бы он познакомился и узнал Ан<ну> Миха<й>лов<ну>. Почему знать? Может быть, они бы понравились друг другу. У Виктора Вл<адимировича> желанье сильное сделаться помещиком и заняться не шутя благоустройством крестьян. В таком случае вряд ли ему во всей России найти где лучшую помощницу, которая дейс<твует и> рассуждает так умно об этом деле, как я не встречал никого из нашей братьи мужчин. Впрочем, да будет всё так, как угодно Богу! А нам, во всяком случае, следует искать тех знакомств и встреч, от которых хотя сколько-нибудь может похорошеть душа. Сами мы не можем дойти ни к чему без помощи других. И к Богу мы можем доходить только посредством частых обращений с людьми, тоже к Нему стремящимися. Но прощайте! Очень бы хотелось вместо этого слова обнять вас лично. Графине передайте самый душевный поклон.

Весь ваш Гоголь.

## 1375. Графине Л. К. Виельгорской

Остенде. 8 августа <н. ст. 1847>.

Не могу вам изъяснить, как меня приятно изумило ваше письмо, возвестившее о близости вашего присутствия. Так как вы не подписали вашего имени, то я прочел его раза два, желая удостовериться, точно ли оно от вас и точно ли это вы — та самая графиня Луиза Карловна, с которой мы так приятно ссорились и так приятно мирились, как дай Бог всем людям так ссориться и так мириться[1]. Дай Бог, чтобы помог вам Висбаден; в таком случае я готов благодарить Юнке от души за то, что разлучил нас на три недели. Я буду вас здесь дожидаться. Скажите, какой Апраксин в Нордерне? Вы написали: Вик<тор> Степ<анович>. Если это сын Софьи Петровны, Вик<тор> Владимирович, то я ему просто напишу, чтобы он приезжал сюда. Зачем ему сидеть там, где, вероятно, никого у него нет знакомых, а здесь будет, без сомнения, и дядя его, гр<аф> Алек<сандр> Петро<вич> Толстой, хоть на две недели, Хомяков, Муханов, и с вами, вероятно, также будет ему приятно встретиться. — Напишите мне хоть две строчки о том, как вы проводите время в Висбадене, и передайте об этом же просьбу мою Анне Михайловне, добрейшей и незлобивейшей из всех Анн

[1] так приятно ссориться и так приятно мириться

Миха<й>ловн, какие когда-либо были на свете. Я уже, признаюсь, хотел было ехать к вам в Висбаден, но, опасаясь бестолковщины, которая могла бы произойти, не столько по части моего здоровья, сколько по части некоторых распоряжений, ради которых нельзя было подняться раньше недели, призадумался. Здоровье мое на нынешний раз не получает значительной поправки от ванн. Сделались было такие недуги, вследствие которых я должен был прекратить на время ванны, но здоровье духа моего довольно крепко.[1] Начинаю вновь понемногу купаться. Мне кажется, что для глаз ваших морское купанье особенно будет целебно. Вы помните, как в виду вас граф Толстой, Алек<сандр> Пет<рович>, который перед приездом в Остенде не мог читать, к концу одного месяца начал читать без очков самую мелкую печать. Но прощайте. Спешу переслать вам эти строки поскорее, потому что почты стали неизвестно почему медленны. Ваше письмо из Берлина шло сюда ровно неделю. До свиданья!

Прощайте. Весь ваш, любящий вас всех еще более, чем когда-либо прежде.

Н. Гоголь.

*<На обороте:>*

Son excellence madame la c-tesse Wielhorsky à Wiesbaden.

### 1376. Н. Н. Шереметевой

<Конец июля—начало августа (н. ст.) 1847.> Остенде.

Ваши письма, одно через Хомякова, другое по почте, получил одно за другим. По-прежнему изъявляю вам благодарность мою за них: они почти всегда приходятся кстати, всегда более или менее говорят моему состоянию душевному, сердце слышит освежение, и я только благодарю Бога за то, что Он внушил вам мысль полюбить меня и обо мне помолиться. Только сила любви и сила молитвы помогли вам сказать такие нужные душе[2] слова и наставления. Они одни только могли направить речь вашу ответно на то, что во мне, и пролить целенье в тех именно местах, где больше болит. Теперь я нахожусь в Остенде. Здесь буду купаться в море в продолжение месяца с лишком. Ответ на это письмо адресуйте во Франкфурт, лучше на имя посольства, потому что Жуковский еще не уверен, останется ли он во Франкфурте: жене его предписывают провести осень в Швейцарии. В половине сентября

[1] кажется мне, довольно крепко

[2] *Далее было:* моей

я выезжаю в Италию. Думаю, пробуду по-прежнему в Неаполе до времени отправления в Иерусалим. Путешествие это хочу устроить так, чтобы недели за две до Пасхи быть в Иерусалиме. Друг мой Надежда Николаевна, молите Бога, чтоб Он удостоил меня так поклониться Святым Местам, как следует человеку, истинно любящему Бога, поклониться. О, если бы Бог, со дня этого поклоненья моего, не оставлял меня никогда и утвердил бы меня во всем, в чем следует быть крепку, и вразумил бы меня, как ни на один шаг не отступаться от воли Его! Мысли мои доныне были всегда устремлены на доброе, желанье добра меня всегда занимало прежде всех других желаний, и только во имя Его предпринимал я действия свои. Но как на всяком шагу способны мы увлекаться! как всюду способна замешаться личность наша! как и в самоотвержении нашем еще много тщеславного и себялюбивого! как трудно, будучи писателем и стоя на том месте, на котором стою я, уметь сказать только такие слова, которые действительно угодны Богу! как трудно быть благоразумным, и как мне в несколько раз трудней, чем всякому другому, быть благоразумным! Без Бога мне не поступить благоразумно ни в одном моем поступке, а не поступлю я благоразумно — грех мой несравненно больший противу всякого другого человека. Вот почему обо мне следует, может быть, больше молиться, чем о всяком другом человеке. Итак, благодарю вас много за все, за ваши письма и молитвы, и вновь прошу вас так, как и прежде, не оставлять меня ими.

Бог да хранит вас и да исполнит все по желанию вашему.

Весь ваш Гоголь.

## 1377. В. Г. Белинскому

Остенде. 10 августа <н. ст. 1847>.

Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено[1], могу сказать, что не осталось чувствительных струн,[2] которым не был<о> бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги: ни одно из них не похоже[3] на другое, нет двух человек, согласных во мненьях об

[1] *В подлиннике:* потрясенно

[2] *Далее начато:* на

[3] *Вписано и вычеркнуто:* даже

одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать всё то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только[1] никаких *живых образов*, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, по тех пор покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон. Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее время*, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но всё выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье, старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает всё, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом[2] старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить[3], точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покаместь[4] помните прежде всего о вашем здоровьи. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с бóльшею свежестью, стало быть и с бóльшею пользою как для себя, так и для них.

[1] не представлять пред глаза читателя
[2] иметь многосторонний взгляд
[3] принять к <сведению>
[4] Но прежд<е всего>

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще.

Н. Гоголь.

В одно время с письмом к вам отправил я письмо и к Анненкову. Спросите у него, получил ли он его. Я адресовал в Poste restante.

<*На обороте:*>
À monsieur
monsieur Bellinsky.
Paris. Poste restante.

### 1378. П. В. Анненкову

Остенде. Августа 12 <н. ст. 1847>.

Узнавши, что вы в Париже, пишу к вам. Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него всё возмущающее дух его. Убедите его, прежде всего, в той непреложной истине, что излишество теперь удел всех, кто только сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное к делам мира, какой-нибудь характер и какое-нибудь убеждение. Все переливают через край, потому что никто не спокоен. Я, более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других: писавши мои письма, я был истинно убежден в той мысли, что все звания и должности могут быть освящены человеком и что чем выше место, тем оно должно быть святее; я хотел рассмотреть все места и звания в их чистом источнике, а не в том виде, в каком они являются вследствие злоупотреблений человеческих; я начал с высших должностей; я хотел напомнить человеку о всей святости его обязанностей, а выразился так, что слова мои приняли за куренье человеку. Не увлекись я духом излишества, который раздувает теперь всех, я бы выразился, может быть, так, что со мною во многом бы согласились те, которые оспаривают теперь меня во всем, хотя чувствую, что и тогда видна была бы во мне односторонность: занявшись своим собственным внутренним воспитанием, проведя долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером — законодателями веков минувших, читая историю событий, кончившихся и отживших, наконец, наблюдая и анатомируя собственную душу в желаньи узнать

глубже душу человека вообще и встретясь на этом пути с Тем, Который более всех нас знал душу человека, я весьма естественно стал на время чужд всему современному. Зато теперь проснулось во мне любопытство ребенка знать всё то, чего я прежде не хотел знать. Точно как бы на то была уже такая воля[1], чтобы я не прежде приступил к узнанию мирских дел[2], как узнавши получше самого себя. И мне кажется, что я теперь далее всякого другого могу уйти на пути *разведыванья*: ни раздраженья, ни фанатизма во мне нет, ничьей стороны держать не могу, потому что везде вижу частицу правды и много всяких преувеличиваний и лжи. Не знаю только, достанет ли на то сил физических: здоровье мое, которое началось было уже поправляться и восстановляться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив, и как всё это вынесло мое слабое тело. Но в сторону всё это. Недавно я прочел ваши письма о Париже. Много наблюдательности и точности, но точности дагеротипной[3]. Не чувствуется кисть, их писавшая; сам автор — воск, не получивший формы, хотя воск первого свойства, прозрачный, чистый, именно такой, какой нужен для того, чтобы отлить из него фигуру. Словом, в письмах не видно, зачем написаны письма. В то же время прочел я письма Боткина. Я их читал с любопытством. В них всё интересно, может быть, именно оттого, что автор мысленно занялся вопросом разрешить себе самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный им вывод, как делают это люди с горячим темпераментом, не рассматривающие того, что выведен вывод только из двух, из трех сторон дела, а не изо всех, как случается это с Белинским, со многими людьми на Москве, со мною грешным и вообще со всеми теми,[4] в которых много гордости и убежденья, что они[5] стоят на высшей точке воззрения на вещи. В ваших же письмах мне показалось, как будто вы не задавали самому себе сурьезного[6] вопроса. Я подумал: что если бы на место того, чтобы дагеротипировать

[1] воля нами управляющего
[2] дел мира
[3] дагеротипической
[4] теми людьми
[5] они одни
[6] какого-нибудь сурьезного

Париж, который русскому известен более всего прочего, начали вы писать записки о русских городах, начиная с Симбирска, и так же любопытно стали бы осматривать всякого встречного человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках всякую вещицу? Если при этом описании зададите себе внутреннюю[1] задачу разрешить самому себе, что такое нынешний русский человек во всех сословиях, на всех местах, начиная от высших до низших, и, держа внутри себя этот вопрос, будете глядеть на всякое событие и случай, как бы они ничтожны ни были, как на явленье психологическое, ваши записки вышли бы непременно интересны. Тем более что у вас, как мне кажется, нет пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений. Я очень помню одно ваше письмо, которое вы писали мне из Симбирска в ответ на кое-какие упреки с моей стороны. Оно меня тронуло этим отсутствием гордой самоуверенности в себе; я вам[2] искренно позавидовал. Но заговорился[3] … Вы бы сделали хорошо, если бы заглянули в Остенде. Это так близко от Парижа. По железной дороге день езды. Мы бы вспомнили старину. Скажу вам, что мне теперь сильней, чем когда-либо, хочется видеть всех, с кем я давно знаком. Люди, с которыми я повстречался в юности моей, становятся мне теперь с каждым годом как бы родственней и ближе — оттого ли, что способность воспоминания, которая была всегда во мне *живая*, при повороте дней моих к старости стала еще живей, или оттого, что в самом деле любовь к человеку во мне увеличилась. Как бы то ни было, но я благодарю Бога за это чувство. Оно так умиряет, так успокоивает душу даже и среди помышлений о судьбах человечества, общества и всего мира. Но прощайте. Если увидите Боткина, поклонитесь ему. На адресе письма сверх Остенде можете вставить: Rue de Capucins, 16. — Белинскому ответ я написал, адресуя в poste restante.

Ваш Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

À monsieur
monsieur Annenkoff. Павлу Васильевичу Анненкову.
Paris. Poste restante.

[1] *В подлиннике:* внутренную
[2] ему
[3] Но я с вами заговорился

## 1379. Графине Л. К. Виельгорской

Остенде. 1847. Августа 14 <н. ст.>.

Письмо Луизы Карловны было расцеловано за неимением *налицо* ее ручки. Я, точно, чуть было не уехал в Лондон с Хомяковым и жалею, что этого не сделал, потому что к вашему приезду в Остенде успел бы возвратиться всячески. Но я так боялся, что в отсутствие мое может быть от вас получено письмо, в котором вы как-нибудь перемените план свой, и, не будучи в возможности сообразиться с ним, я могу потерять с вами несколько дней свидания, что это навело беспокойство на дух мой, и я думаю, что я не в силах был бы спокойно рассматривать Лондон, как ни велико было мое желание осмотреть многое, мне нужное. Я и теперь не могу себя приучить к той мысли, что вы так близко от меня и я вас не вижу. Уведомьте меня сей же час, если вы раздумаете ехать в Остенде: я его сей же час брошу и приеду к вам. Мне бы хотелось перед моим большим, предстоящим мне путешествием на вас наглядеться вдоволь. Квартира будет вам отыскана, как только вы напишете утвердительное письмо и означите в нем день вашего приезда. Здесь из ваших знакомых покуда Муханов и Глебов-Стрешнев, очень добрый человек, который отчасти вам и родственник. Есть еще несколько русских, но самое главное то, что в Остенде можно почти никого не видать, если захотите. Несмотря на маленькое место, занимаемое городом, люди никак не встречаются и не сталкиваются, именно потому, что по причине морского ветра всяк отворачивает свое лицо в сторону и прижмуривает глаза. На это письмецо напишите хоть две строчки — или вы, или Анна Миха<й>ловна, или Миха<и>л Миха<й>лович, а я покуда обнимаю вас всех мысленно как наиближайших моему сердцу и душе. Христос с вами! Спешу отнести скорей это писанье на почту.

Ваш Н. Г<оголь>.

*<На обороте:>*

Son excellence madame la c-sse Wielhorsky.
Wiesbaden.

## 1380. Графу А. П. Толстому

Остенд<е>. Август 14 <н. ст. 1847>.

Уведомьте меня хотя двумя строчками, получили ли мое письмо от 2 августа, в котором я извещал вас о Вьельгорских и о том, что они едут в Остенде? Уведомьте меня также о том,

в какой степени вы довольны *дантистами*, и владеете ли вы хорошо теми зубами, которые вставлены, и как много вы их себе вставили? Наконец, словечка два о вашем маршруте. На днях я получил письмо от Матвея Александровича — ответ на мое (итак, вы можете копию, находящуюся у вас, изорвать). В письме этом многое пришлось[1] очень кстати моему душевному состоянию. Я уверен, что если бы я умел изъяснить ему и прочее, что он покуда принял в другом смысле, он бы мне и там сказал много нужного. Письмо это имело отрадно-успокоительное на меня действие: душа ангельская слышна в его строках. Я верю, что он обо мне молится, как брат молится о брате, и не знаю, как благодарить за это Бога. За эти молитвы я обязан также вам, как и за многое другое. Но прощайте. Мысль, что проведу с вами ползимы в Неаполе и наговоримся обо всем, очень радостна, а покуда на это письмо хоть две строчки![2]

Весь ваш Н. Гоголь.

<*На обороте:*>

Son excellenece m. le c-te Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, № 9. Hôtel Westminster.

### 1381. Графу А. П. Толстому

<Около 14 августа (н. ст.) 1847. Остенде>

Я несколько замедлил отвечать вам, добрейший Александр Петрович. Вы спрашиваете о письме Матвея Александровича: оно скорее длинно, чем коротко. Видно, что сердце в нем разговорилось и что он, точно как купец[3], рад от всей души продать товар свой. Тексты, приводимые из Св. Писания, показывают в нем полного хозяина, который знает, где, в каком месте нужно что брать. Говорит он о том, как все мы — церкви живого Бога и должны слушаться духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей; что никому из нас не прожить столько, как мы прожили, и потому, оставивши все хлопоты и вещи мира, следует нам поворотить во внутреннюю жизнь. Почти половина письма пришлась мне кстати, другая потому не пришлась, что он не в том смысле взял некоторые слова мои, но тем не менее и эта половина справедлива. Мне чувствуется, что следующее письмо, которое получу от него, может уже прийтись целиком к душе моей. Скажу, что вследствие письма его я больше осмотрелся и хочу снова перечитать всё,

[1] пришлось мне
[2] *Далее начато:* Не откладывая
[3] добрый купец

мною читанное для души, начиная с Ефрема[1] Сирянина, Златоуста и Макария Египетского, как советует он, тем более что я замечал, что после всякого такого чтения становится яснее взгляд на Евангелие, и многие места в нем становятся доступнее. Впрочем, обо всем этом, равно как и прочем[2], поговорим при свидании. А покамест сделаете недурно и вы, если займетесь таким же чтеньем хоть по главе в день, разумеется, с обращеньем на себя и припоминаньем себе всей прежней жизни своей. Вам станет тоже потом доступнее Евангелие и яснее всякое слово Спасителя.

О делах римских и кардинале Вентур<е> не могу судить, потому что не знаю, в каком именно смысле разумеет он сам сказанные слова. Демон излишества так теперь раздувает речи всех, так всяк почти против собственного желания переливает через верх, что мне покамест звучит в ушах: «Не судите, да не осуждены будете». Если бы я всю речь прочел, тогда, может быть, что-нибудь[3] сумел сказать.

О Вьельгорских не могу сказать, когда будут. Кажется, не раньше 1-го сентября. Стало быть, графиня Анна Егоровна[4] может их встретить еще проезжая Франкфурт. О племяннике вашем я подумал[5] потому, что в нем есть большая ревность к хозяйству и забота об устроении судьбы крестьян. Вот почему мне подумалось о том, что ему нужна была бы умная помощница в таком деле. Вообще же насчет женитьбы я думаю[6], что тем, которые ездят на воды, не следует вступать в брак, а лучше бы подумать о том, как служить Богу, предоставя браки тем, которые здоровы и еще годятся на расплод.

Я уже вам писал, что мне стало лучше еще до приниманья порошков, тем не менее я стал принимать порошки. Теперь начал принимать второй номер; что будет от этого, не знаю. Немножко было вновь началось бурчанье около сердца, но теперь прошло. Зато, мне кажется, стали больше охладевать оконечности, то есть руки и ноги.

Муханов мне сказывал, что вас смущает множество русских, наехавших в вашу гостиницу, в числе которых находится даже и литератор Белинский. Кстати о Белинском: я получил от него

[1] *В подлиннике:* Еврема <*описка?*>
[2] о всяком
[3] что-нибудь еще
[4] *В подлиннике:* Егорьевна
[5] подумал при этом случае
[6] думаю то

недавно письмо, которое, по словам его, само просилось вследствие моего приглашенья всем говорить мне правду. Письмо, действительно, чистосердечное и с тем вместе изумительное уверенностью в непреложность своих убеждений. Он видит совершенно одну сторону дела и не может даже подумать *равнодушно* о том, что существует и может существовать другая сторона того же дела. Я написал ему в ответ только то, что мы все еще плохо понимаем те вещи, о которых говорим, что[1], прежде всего, следует нам излечить себя от самоуверенности в себе и торопливости выводить заключения. Если вы встретите Анненкова, того самого, который — помните? — был у меня в Париже при вас, то, пожалуста, спросите его, получил ли он мое письмо к нему, адресованное в poste restante вместе с письмом к Белинск<ому>, с которым он в дружеских отношениях.[2]

Но прощайте. Тороплюсь отправить и царапаю так, что вы едва ли прочтете. Хомякова до сих пор еще нет из Лондона.

Графине душевный поклон.

Ваш Н. Г<оголь>.

### 1382. Н. Я. Прокоповичу

*Отрывок*

<Середина августа (н. ст.) 1847. Остенде>

...В Неаполе я пробуду еще до февраля. В феврале отправляюсь на Восток, а оттуда в Россию, и если Бог устроит всё благополучно, то, может быть, будущим летом увидимся в Петербурге. Прощай.

Твой Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.

Его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу.

В Петербурге. На Васильевском острове, в 9 линии, между Большим и Средним проспек<тами>, в собственном доме.

<*Штемпель:*>

Полдень. 1847 года. Августа 25

[1] и что

[2] с которым он зн<аком>

## 1383. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

1847, июля 26. Подмосковная: Радонежье. <Абрамцево>

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Франкфурта от 10 июня: оно меня очень огорчило, и я глубоко упрекаю себя, что так давно не писал к вам. Не знаю, почему Погодин сделал вам допрос: отчего вы так давно не пишете ко мне и не сердитесь ли на меня? Я ничего подобного ему не говорил. Я даже не ожидал от вас письма, потому что сам не отвечал вам на два. Прежде всего спешу уверить вас, что я никогда на вас не сердился (принимая это слово в настоящем его значении) и что я никогда не переставал верить искренности вашей. Грех тому опрометчивому человеку, который внушил вам такие мысли. Я подозреваю, что это сделала Смирнова: она случайно услыхала несколько строк из письма моего к сыну об вас, не поняла их и не могла понять хорошо, потому что они получали полный смысл в связи с другими, а в отрывке имели даже превратный смысл. Смирнова сделала горячую схватку с моим сыном, наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же и грозилась открыть вам глаза. Я вижу, она это исполнила; но безрассудная женщина, в которой многие достоинства я ценю высоко и которую, именно за эту вспышку, я полюбил больше, вместо открытия глаз ваших несколько отуманила их, разумеется, на время. Она не подозревала, что прежде всего я с полною, жестокою искренностью излил в письмах к вам самим всю горечь огорченной дружбы к человеку и оскорбленного чувства уважения к великому таланту. Она не различила во мне любящей души от озлобления и гнева. По моему убеждению, вы книгой своей нанесли себе жестокое поражение, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горькими упреками. Вы так мне дороги, что всякий действительный вред, всякое помрачение вашей славы как писателя и человека — мне тяжкое оскорбление! Но оставим это. Если вы сами не объяснили себе моих чувств и поступков и поняли их не так, как следует, то мое объяснение не поможет. Я готов даже признать, что выражение не соответствовало чувству.

Вы, мой друг, имеете право спросить: отчего я так давно не писал к вам? Мое последнее письмо требовало продолжения, ваше — ответа. Я очень это чувствовал. Много раз принимался писать, писал и — жег написанное: ибо был им недоволен... Трудно сказать, что мешало мне писать, но что-то мешало. Попытаюсь,

однако, объяснить себе и вам эту странную помеху. Для этого необходимо поднять дело, хоть в нескольких словах, сначала. Первое, большое письмо мое (кажется, от 12 января) было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но *до получения* вашего ответа на мое большое письмо. Ответ ваш был ужасен... Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и Боже мой! в каком положении я писал его!.. Я даже не желаю, чтоб вы вполне поняли мое тогдашнее положение. Ваш ответ дышал холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого призвания. Если б я получил это письмо до отправления моего второго, то не послал бы его — в этом я должен признаться: я счел бы невозможностью достигнуть до вашего ума и сердца. Но милосердный Бог устроил иначе... Ответ ваш на мое второе письмо, начинающийся замечательными словами, что вам «чихнулось во здравие», обрадовал меня чрезвычайно; письмо же ваше к кн<язю> Львову обрадовало еще более. Хотя в обоих письмах есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы; но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого для меня было довольно: я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите дело. Вот тут-то я и не знал, что и как писать вам: продолжать в прежнем тоне было уже неуместно, не нужно и для самого меня невозможно. Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала.

Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была мучительна. Но Бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца... Вы исполните свой обет, помолитесь у Гроба Господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу.

Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро; но будущей весной приезжайте *непременно к нам.* Полное выздоровление вы получите только на родной почве, подышав родным

воздухом своей земли. Коли вам почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь жить даже по зимам, кроме нынешнего года: ибо я тогда только поверю своему выздоровлению, когда проведу благополучно осень и зиму. Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы будете иметь спокойное и удобное помещение: при нас или без нас — это все равно. Не нужно говорить, рады ли будут вам ваши искренние друзья.

К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть в глубь ее: в степную и приволжскую сторону. Константин может быть вашим товарищем, если вы захотите. Я сам имею намерение, если Бог подкрепит мое здоровье, уехать на целый год в Оренбургскую губернию; но это еще впереди. Теперь же надобно только успокоиться, забыть, сколько возможно, обо всем, случившемся с вами, и укрепить свое здоровье. Истребите всякую мысль, что моя дружба к вам изменилась: это нелепость и оскорбление для меня.

Хотелось мне написать все письмо своей рукой, но глаз утруждается. Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, который там служит в Сенате обер-секретарем. Не знаю, дошла ли до вас диссертация Константина? 7 марта был его диспут: несмотря на многие гонения, все кончилось благополучно. Прощайте, милый друг. Не могу больше писать. Обнимаю вас крепко. Вы можете адресовать одно письмо *в Сергиевский посад, Московской губернии, на мое имя*; но всего вернее через Шевырева. Все мое семейство вас обнимает.

Душою ваш С. Аксаков.

*<Приписка О. Сем. Аксаковой ?>*

Обнимаю вас по-старому, друг наш Николай Васильевич, молю Бога, чтобы привел поскорее увидеться с вами.

### 1384. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

29 июля / 10 авгус<та> 1847. СПб.

Долго я не писал тебе оттого, что каждое из трех последних писем твоих заставляло меня ждать от тебя то дополнения известий, то какой-либо присылки. Здесь даю тебе отзыв на все вдруг. Теряю надежду приготовить для тебя копию с книги «Переписка с друзьями» в исправленном виде. Ужели забыл ты, как трудно

здесь соединить на серьезное общее дело три-четыре должностные лица? И зимою это трудно до невероятности, а летом невозможно. М. Вьельгорский живет на своей даче по Петергофской дороге и откочевывает то в Петербург, то в Петергоф. Вяземский поселился на Аптекарском острову, до обеда занят по должности, а после вечно в свете. Я двадцать один год живу на одном месте у Лесного института на даче Беклешовой. Но письма и посылки адресуй ко мне, как прежде, в университет. А. Россет уехал в Калугу к сестре и еще не возвратился. Я даже не знаю, дождешься ли ты когда-нибудь исправленного нами экз<емпляра> «Переписки». Уж не заняться ли тебе самому этим делом? Ты столько прочитал замечаний о книге, столько обдумал и сам все в ней, что несравненно лучше посторонних можешь приготовить второе издание, *исправленное и дополненное.* Только бы довольно разборчиво все переписано было — я тотчас же могу приступить к печатанию. За помощь тебе от означенных твоих друзей не отвечаю. Мой голос для них — ничто. Уж если решительного чего захочешь от них, напиши к Вяземскому или к Россети сам и объяви, что к *такому-то сроку ждешь* исполнения, а после того ни в чем нуждаться не будешь. С нашими друзьями не сладить иначе. Другую книжку твою, «Повесть твоего писательства», можешь ко мне прислать, когда только вздумаешь. Я ее тотчас же и тисну. Свидетельство о жизни получено мною — и деньги положены в ломбард до времени. Там же лежат и прежние деньги твои, полученные мною по *второму* векселю от Штиглица. Ты должен заблаговременно предуведомить меня, когда и сколько понадобится тебе денег и по какому адресу прислать их. Прелестную новую поэму Жуковского цензор пропустил всю до единого стиха — и я уже отправил процензированную рукопись обратно к Жуковскому, чтобы он мог, как ему хотелось, напечатать ее в Карлсру. Зачем бы и тебе, для сокращения издержек, не делать так же? Притом и ошибок уж не будет под собственным надзором. Пришли, если желаешь, и переделанную развязку «Ревизора». Я покажу ее Бернардскому. Без рукописи он не может ничего сказать, в состоянии ли он готовить картинки к изданию всего «Ревизора». Да не дурно бы сделал ты, если бы занялся повнимательнее и всею комедиею, перечитал бы ее с пером в руках и прислал бы весь оригинал в таком виде, как желаешь напечатать его с развязкою. Господь с тобою. Обнимаю тебя.

П. Плетнев.

## 1385. Графу А. П. Толстому

Остенде. Август 21 <н. ст. 1847>.

От вас давно нет вестей, наилюбезнейший мой Александр Петрович. Муханов тоже на это жалуется. Вчера приехал сюда ваш племянник Викт<ор> Владим<ирович> Апраксин. Он поправился здоровьем. Вам надобно его узнать. Он очень умный и очень желающий действовать полезно; только и думает, чтобы заняться деревней, хозяйством и благосостояньем крестьян. От Вьельгорских я получил на днях известие. Они едут к 1 сентября. Обнимаю вас от всей души. Напишите хоть словечка два или, еще лучше, приезжайте сами. Право, люди, которые ждут вас и любят вас, и хотят вас видеть — не безделица. Оставьте в сторону дрянные ваши зубы, которые не стоят гроша. Даже и тогда, если б были хороши. Душа лучше зубов и всего на свете.

Ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Son excellence monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.
Paris. Rue de la Paix, 9 (Hôtel Wagrame).

## 1386. Графине А. М. Виельгорской

<24 августа (н. ст.) 1847. Остенде>

Ваше милое письмецо получил. Конечно, жалко, что не поехал я с Хомяковым в Лондон, но так как это уже прошло, и как без Хомякова мне не хочется там быть, а Хомякову уже время возвратиться назад, то я попеченье об этом отложил, тем более что Лондон как-то в глазах моих побледнел, — может быть, оттого, что Висбаден стал заманчив и выгнал его из головы. Мне было очень приятно увидеть из ваших строк, что Висбаден, кажется, действует на вас благотворно. От Апраксина, который теперь здесь, я покуда расспросил о вас; хоть известий было и немного и он вас видел мало, но мне приятно было услышать[1] о вас и немногое. Море здесь по-прежнему лижет остендскую плотину, издает фосфорический свет и греет спины купающихся, ожидая с нетерпением ваших. Дни были хорошие до вчерашнего дня. Со вчерашнего же дня начались ненастные, то есть те самые, которые посреди земли называются дурными, для тех же, которые живут при море и купаются, очень хороши. Жду вас нетерпеливо и всех обнимаю мысленно.

Ваш Г<оголь>.

[1] видеть

<*На обороте:*>

Son excellence mademoiselle la c-sse A. Wielhorsky.
Анне Миха<й>ловне Вьельгорской.
Wiesbaden.

<*Штемпель:*>

Ostende 24 aout 1847

## 1387. П. А. Плетневу

Остенде. Августа 24 <н. ст. 1847>.

Твое милое письмецо (от 29 июля / 10 авг<уста>) получил. Оставим на время всё. Поеду в Иерусалим, помолюсь, и тогда примемся за дело, рассмотрим рукописи и всё обделаем сами лично, а не заочно. А потому до того времени, отобравши все мои листки, отданные кому-либо на рассмотрение, положи их под спуд[1] и держи до моего возвращения. Не хочу ничего ни делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия и не помолюсь, как хочется мне помолиться, поблагодаря Бога за всё, что ни случилось со мною. Теперь только, выслушавши всех, могу последовать совету[2] Пушкина: «Живи один» и проч. А без того вряд ли бы мне пришелся этот совет, потому что все-таки для того, чтобы идти дорогой собственного ума, нужно прежде изрядно поумнеть. Сообразя все критики, замечания и нападенья, как изустные, так и письменные, вижу, что, прежде всего, нужно всех поблагодарить за них. Везде сказана часть какой-нибудь правды, несмотря на то что главная и важная часть книги моей едва ли, кроме тебя да двух-трех человек, кем-нибудь понята. Редко кто мог понять, что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся[3] человеком, и не вышли бы мои сочинения[4] блестящая побрякушка.

Ты прав совершенно, признавая важность литературы (разумея в высоком смысле ее влиянья на жизнь)[5]. Но как много нужно, чтобы дойти до того, какое полное знание жизни, сколько разума и беспристрастия старческого, чтобы создать такие живые образы и характеры, которые пошли бы навеки в урок людям, которых бы никто не назвал в то же время идеальными,

[1] под спудом
[2] словам
[3] воспитавшимся
[4] сочинения лите<ратурные>
[5] разумея в ее высоком смысле

но почувствовал, что они взяты из нашего же тела, из нашей же русской природы! Как много нужно сообразить, чтобы создать таких людей, которые были бы истинно нужны *нынешнему времени!* Скажу тебе, что без этого внутреннего воспитанья я бы не в силах был даже хорошенько рассмотреть[1] всё то, что необходимо мне рассмотреть. Нужно очень много победить в себе всякого рода щекотливых струн, чтобы ничем не раздражиться, ни на что не рассердиться и уметь хладнокровно выслушивать всех и взвесить[2] всякую вещь. Теперь я хоть и узнал, что *ничего не знаю*, но знаю в то же время, что *могу узнать* столько, сколько другой не узнает. Но обо всем этом будем толковать, когда свидимся. Постараюсь по приезде в Россию получше разглядеть Россию, всюду заглянуть, переговорить со всяким, не пренебрегая никем, как бы ни противоположен был его образ мыслей моему, и, словом, — всё *пощупать самому.* Напиши мне о своих предположениях на будущий год относительно тебя самого, равно как и о том, расстаешься ли ты с университетом. Признаюсь, мне жалко, если ты это сделаешь. Оставить профессорство — это я понимаю, но оставить ректорство — это, мне кажется, невеликодушно. Как бы то ни было, но это место почтенное. Оно может много возвыситься от долговременного на нем пребывания благородного, честного и возвышенного чувствами человека. Мне так становится жалко, когда я слышу,[3] что кто-нибудь из хороших людей сходит с служебного поприща, как бы происходила какая-нибудь утрата в моем собственном благосостоянии. По крайней мере, уже если оставлять это место, так разве с тем только, чтобы променять его на попечителя того же университета. Важнейшая государственная часть все-таки есть воспитанье юношества. А потому на значительных местах по министерству просвещения все-таки должны быть те, которые прежде сами были воспитатели и знают опытно то, что другие хотят постигнуть[4] рассужденьем и умствованьями. А впрочем, ты, вероятно, уже всё это обсудил и взвесил и знаешь, как следует поступить тебе. Во всяком случае, об этом мне напиши. Письмо адресуй в Неаполь по-прежнему. Я пробуду там до февраля. Обнимаю тебя крепко.

Твой Н. Г<оголь>.

[1] рассмотреть, что такое нынешнее время
[2] хладнокровно рассмотреть и взвесить
[3] слышу теперь
[4] знают опытно такие дела, которые хотят постигнуть

## 1388. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Покровское. Августа 5. <1847>

Сегодня, мой милой друг, мой возлюбленной Николай Васильевич, по неизреченному милосердию Божию, сподобилась приобщиться Святых Таин, да Сподобивший поможет и хранить сей дар на спасение души. Помнила о вас от чистого сердца и молила, просила всемилосерднаго Отца нашего, да Он вас сохранит повсюду Своею благодатию, и с Его помощию возможете поступать, как должно христианину, — тогда водворится спокойствие, а с ним везде хорошо, повсюду безопасно, и даже отрадно, кто умел предаться Его святой Отцовской воле, все на пользу нашу, на пользу души нашей устрояющей. Милосерд Господь, да Сам Он нам поможет сие чувствовать, тогда легко жить на сем свете, познав и почувствовав всю важность и всю сладость религии.

Письмо ваше, мой милый друг, я получила 3 августа. Из оного вижу, что вы моих два письма получили через Хомякова и Василья Андреевича. Еще я писала и по вашему назначению прямо на ваше имя в Франкфурт. Я так и отправила 27 июня, подписав на пакете *poste restante*, должны давно получить. Из письма вашего, мой друг, вижу, что вы сближаетесь с мыслию...[1] Радуюсь и от всего сердца молюсь, и нынче в обедни молила Всемилосердного Отца нашего, да благословение Его сопутствует вас, и с Его помощию возможете свершить ваше благое намерение и, достигнув Святых Мест, поклониться с чувством, угодным Милосердному Богу; Его Покрову, мой друг, часто и сию минуту вас вручаю, прошу: Боже, милостив ему буди. Он видит, как вами дорожу и как близко душе моей ваше путешествие. И когда достигнете и сподобитесь поклониться, как велика и глубока моя радость, объяснить не в силах. Сердцевидец все знает, Он видит, что не менее порадуюсь за вас, как бы и сама достигла сего блаженства. Может я не доживу, а если еще буду существовать, то знайте, возлюбленной, Господом мне данной сын, что всегда помню, молюсь о вас, а с минуты, когда вы отправитесь, не разлучусь с вами молитвою, и, когда даст Бог достигнуть, уже ничего не скажу, предоставляю вам понять ощущение души, вам *крепко преданной*, что тогда за вас почувствую, как велика моя радость будет и как сильна благодарность к Тому, Кто внушил вам такое благое намерение и помог по Своему Отцовскому Милосердию свершить, да Он поможет вам и на всю жизнь воспользоваться

[1] *Не дописано.*

сим благом. Христос с вами, мой милой друг! Спасайтесь! Прощайте, после кончу, а теперь обнимаю вас со всею нежностию матери, благословляю, вручаю Богу и на Него уповаю, Господи, Ты его не покинь!

Августа 6-е.

Здравствуйте, мой друг, с нынешним великим праздником Преображения Господня! Вам этот пост не удастся поговеть, да, может, где вы теперь находитесь, и церкви нашей нет. Дай Бог, чтобы внутренно не прерывалась молитва. При таком устройстве повсюду и со всеми хорошо. Даже встречая что-нибудь неприятного, найдешь средство снести, как должно, нисколько не досадуя за себя, а искренно пожалея о том, кто подвергает себя столь тяжкому для души испытанию, оскорбляет ближнего и тем лишает себя утешения быть на пользу другого. Оказав кому-либо услугу от всей простоты сердца, никому сим добра столько не приносим, как собственно себе, и в ту же минуту возблагодарим Отца Небесного, что Он меня избрал орудием успокоить ближнего и Сам по благости Своей ниспослал к сему средства. Без Его Отцовской помощи что мы можем доброго сделать, а с Ним повсюду и со всеми тишина и спокойствие, как верные спутники христианина, для которого ничто не чуждо, ему во Господе все близко. Милосерд Отец Небесный, Ему помолимся, да Он поможет и чувствовать Его беспрерывное о нас попечение и благодарить благость Его, ни в какое время нас не оставляющие[1]. А сильнее это чувствуем и познаем во время тяжкой скорби, как Он милосерд, ниспослав усердие молиться, блажен, кто постиг важность и необходимость молитвы, кроме ея, кто может успокоить человека, обремененного печалью, а в молитве душа скорбная найдет отдохновение и возможность понимать горе другого и делить его с ним, несмотря на собственные страдания[2]. Какое-то внутренно почувствует невыразимое ощущение, что при своей скорби мог еще ближнего в печали успокоить. Ох, как милосерд Господь, и не выскажешь, как глубоко это ощущаешь, по Его же всемилосердию. Пишете, мой друг, молиться о вас, чтобы он удостоил вас поклониться Святым Местам, как следует человеку, истинно любящему Бога. Им, мой друг, свидетельствуюсь, что молюсь о вас от всей души, как о своих детях, а иногда так сильно, глубоко за вас чувствуется, понимая ваше положение, которое иногда и не без затруднения,

[1] *В автографе:* не оставляющее

[2] *Далее в автографе: <1 зчркн.>*

но с помощию Божиею все преодолеть можно, лишь бы мы шли во всех случаях просто и прямо, не надеясь на себя, но призывая Того, Кому внятен стон нуждающего<ся> в успокоении; и Он, верно, поспешит на помощь и все по благости Своей устроит. Ох, как милосерд Господь, сказать или описать сил недостанет, а чувствовать все это можно и благоговеть должно пред Его святыми велениями. Говорите, мой друг, что в самоотвержении нашем еще много тщеславия и себялюбия. Это истинно, но и заметя это, унывать не надо, а все и со всею простотою и любовию обращаться ко Господу, Который во веки не отвергнет призывающих Его во истине. Ему, мой друг, помолимся, Он ли кого оставит. Говорите, мой друг, как трудно, будучи писателем и стоя на том месте, на котором вы стоите, уметь сказать только такие слова, которые действительно угодны Богу. На это вот мое мнение. Вы не сами по себе сделались писателем, вам дано дарование, и Кто вас сим наградил, к Нему прибегайте, Его молите и просите, чтобы Он вас наставил, что когда сказать, и в этой молитве отбросьте себя и всех и все, а ищите единой воли Милосердного нашего Отца. Поверьте, с Его святою помощию отзовется на сердце, как поступить и что сказать, — и после что не последует, вы останетесь покойны, что не искали ни славы, ни воли своей, а желали выполнить долг, возложенной на вас самим Провидением, которое вас одарило дарованием, и, не передав его как следует, было бы неблагодарность против Бога, Наградившего вас. Вы, мой друг и сын возлюбленной, помолясь, пишите, имея в виду Единого Бога; после сего, что ни последует, внутренно вы останетесь покойны, что желали передать ближнему то, чем вас Господь по милосердию Своему наградил, что в сем вы видите как долг, на вас лежащий, которой вы заплатить должны. Так мне чувствуется, и со всею простотою души, вам до гроба преданной, сказала и далее молю Бога, да Он вас не оставит и наставит, как свершить свой труд и как свершить это путешествие. А какое я во всем этом принимаю чистое, живое участие, тоже объяснить сего не могу, довольствуюсь тем, что все видит Милосердный наш Отец, Ему я вас, мой милой друг, вручаю и сим оканчиваю. Прощайте, мой друг, обнимаю вас, благословляю, и до смерти с любовию и дружеством пребуду неизменяемо вам душею предана; прощайте!

Христос с вами!

Когда будете писать, сделайте дружбу сказать, что вы знаете о Василье Андреевиче. Очень мне его жаль. Прежде он писал

ко мне, чтобы я его известила, где буду в августе, что он проездом будет в Москве; я и отвечала, что я нарочно приеду, чтобы взглянуть на него. Я его люблю и очень ему за многое благодарна, и крепко его жаль. Господи, Ты его не покинь! Прощайте, еще вас благословляю. Христос с вами!

### 1389. С. П. Шевыреву

Остенде. 28 августа <н. ст. 1847>.

Я уже давно не получал от тебя писем. Здоров ли ты? От Хомякова узнал несколько отрывочных о тебе известий. Книг покуда еще никаких от тебя не получаю. Пробежал некоторые номера русских журналов, которые попались мне в руки и которых в силу можно было держать в руках по причине толщины. Взгляд на них мне был нужен. Все-таки в них выражается часть того общества, которое больше всех других читает книги. Это нужно принять к сведению всякому, кто ни заводит речь с обществом. Своя собственная речь сделается доступнее. Не снизойдя к другим, нельзя их возвести к себе, а теперь, право, всяк из нас требует снисхождения: как ему не заблудиться в это время броженья и смешенья всего!

Что касается до объяснений на мою книгу, то я решился дело это оставить. Покуда не съезжу в Иерусалим, не предприму ничего, а до того и другие от многого очнутся.

Прилагаю тебе при сем письмо к Сергею Т<имофеевичу> Аксакову, которое ты можешь прочесть, во-первых, потому, что тут есть кое-что, относящееся до меня лично, а во-вторых, потому, что ты должен читать все мои письма, рад или не рад, потому что ты должен меня знать лучше других, имея все-таки больше противу других данных узнавать со всех сторон человека…

### 1390. С. Т. Аксакову

Остенде. Август 28 <н. ст. 1847>.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, — тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы, скорее, могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш

Конст<антин> Сергеевич. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, т. е., люблю угождения и похвалы каких-то знатных Маниловых, скажу вам, что я, скорее, старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Конст<антин> Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.

Не сердитесь на Смирнову; не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее Бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и не мудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полней и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.

Да, книга моя нанесла мне пораженье, но на это была воля Божия. Да будет же благословенно имя Того, Кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на всё различие взглядов, в каждом из них, так же, как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и не мудрено. Осудить меня за нее справедливо может Один Тот, Кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль, потому что, как бы то ни было, несмотря на всё ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда, более пол-

ного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.

К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление, и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем, не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось всё это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему *несчастная*, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор, но благодарю Бога за этот позор, благодарю за то, что попустил Он явиться ей в свет. Не увидел бы я без ней ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «М<ертвых> д<уш>», и не узнал бы <я>, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны, и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.

Друг мой! не будьте и вы также самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Конст<антин> Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава как следует голова. Глядеть на меня, как

на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это Один только Бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться Богу на тех самых местах, которые зрели Его в образе Христа, чтобы простил мне за всё, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.

За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае, у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если Бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие так же, как и я, не знают России.

Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима, проведенная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно, а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья, а я, будучи слабым и болезненным от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить Бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провесть их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.

Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату.

Ваш Н. Г<оголь>.

## 1391. П. В. Анненкову

Остенде. Августа <31 (н. ст.) 1847>.

Очень был рад вашему доброму письму. Прежде всего замечу вам, что вы ошиблись, принявши голос изнеможения и некоторой скорби, которая должна была слышаться в письме моем, за нечто, похожее на *отчаяние*. Слава Богу, отчаянью я не предавался даже и в минуты, несравненно более тяжкие. Я слишком уверен в том, что Тот, Кто распоряжается делами мира, Им созданного, несравненно умнее всех нас и знает, что делать, а потому ни в каком случае упасть духом не могу без Его воли. Но я изнемог. Это понятно: я человек. И не знаю, кто бы на моем месте, как бы он крепок и силен ни был, избегнул скорби. Чтобы вам сделалось сколько-нибудь понятно мое положение, скажу вам, что в небольшое время[1] прожитой мной жизни мне случилось сделать много тесных душевных[2] связей, основанных не на каких-нибудь расчетах житейских, но на познании души человеческой, связей, доставивших мне случай вкусить высшее наслаждение — любоваться красотой *души*, которая есть перл и жемчужина Божьих творений. Я ловил все оттенки ее и движенья, разбросанные по частям во многих из тех людей, с которыми я встречался душевно. (Плод этого наблюдения вы, может быть, встретите в «Мертвых душах», если Бог поможет как следует им написаться.) Не мудрено, что связи с людьми стали для меня очень чувствительны, и сердце

[1] последнее время
[2] прекрасных

мое, заключа более нежных оттенков в себе самом, стало чутко и способней любить людей вообще. А потому можете почувствовать сами, каково мне было получить вдруг множество писем, ударивших по многим таким струнам, которые и не существуют в другом человеке, увидеть вихорь недоразумений, обуявших всех и многих вовсе сбивши с толку, услышать упреки такие, которыми я бы не имел духу попрекнуть и наипрезреннейшего человека, и увидеть такое грубое незнанье *души* даже и у тех, которые имели сами нежную и добрую душу. Скорбь моя была велика, но вы, я думаю, не можете почувствовать этой скорби. Самолюбие, честолюбие не в тех грубых[1] видах, в каких принимают их в свете,[2] но в тех тонких оттенках, в каких они пребывали во мне, были потрясены и поражены сильно; но вы, я думаю, этих слов не поймете. Что же касается до публики и до суда общественного, то скажу вам откровенно, что, несмотря на небольшую почувствованную вначале неприятность, это не могло меня сильно поразить. Авторскому честолюбию давно уже нанесены были изрядные щелчки, и я сам даже давал их себе не мало, как вы это можете видеть из самой книги моей, где все-таки есть часть моей собственной душевной истории. Скажу вам даже, что в каком бы ни было виде осталось[3] лицо мое в глазах публики, хотя бы имя мое в оклеветанном виде достигнуло[4] потомства и осталось таковым до конца мира, меня теперь это не смущает, так я уверен, что судить меня будет Тот, Кто повелел быть и миру, и нам, и ведает мысли наши в их *полноте*, не сбиваясь темнотой выражений наших и неуменьем нашим определительно изъясняться. Скажу вам истинно и откровенно, что этот прием моей книге для меня в несколько раз лучше приема благосклонного, и, если бы у меня спросили, не хочу ли я, чтобы всё это было сон[5] и пораженье моей книги было во сне, я бы не согласился. В изданьи моей книги я никак не раскаиваюсь и благодарю Бога, ее допустившего. Без этой книги не пощупать бы мне ни самого себя, ни людей и не пополнить бы никогда всех тех сведений даже в *психологическом отношении*, которые мне необходимы для «Мерт<вых> душ». И цель моего путешествия к Святым Местам теперь уже та, чтобы поблагодарить Бога прежде всего за всё, со мной случившееся. Вот вам чистая правда моего состоянья душевного. Напишите

[1] несколько грубых
[2] светские
[3] было
[4] достигнуло бы
[5] и если бы мне сказали, что всё это было сон

мне в отплату что-нибудь о себе; я бы очень хотел знать, что вас занимает в Париже в настоящую минуту и что именно вы приобрели в познании современных вещей. Нельзя, чтоб вы какой-нибудь стороны не изучили или не изглубили[1], стало быть, нельзя, чтобы не было возможности[2] чему-нибудь поучить меня. Скажите мне также, где вы намерены провести зиму. Сколько мне помнится, вы хотели[3] тоже проездиться по другим землям и заглянуть даже на Восток. Если это будет в наступающем году, то я этому очень рад и уведомляю вас, что я зиму[4], то есть ее начало, проведу в Неаполе, а в феврале сажусь на корабль и странами восточными проберусь в Россию, то есть на Константинополь. Во всяком случае, напишите мне несколько строк на это письмо, чтобы я знал, что оно вами получено.

Н. Г<оголь>.

Я еще пробуду недели две в Остенде.

<*На обороте:*>
Paris.
Monsieur
monsieur Paul Annenkoff.
Paris, Rue Caumartin, 41.

### 1392. М. П. Погодину

Остенде. Август <31 (н. ст.) 1847>.

Что-то странное делается между нами: тебе кажется по моим письмам, что я нахожусь в неспокойном состоянии духа; мне кажется по твоим письмам, что ты находишься в неспокойном состоянии. Тебе кажется, что я толкую криво все твои слова и вижу вещи не в том виде; мне кажется, что ты даешь превратный смысл всякому моему слову и видишь их не в том виде. Какой-то нечистый дух нас путает. Открестимся от него! И положим между собой: не оправдываться ни в чем друг пред другом. Судить ведь нас будет Бог, а не люди и не мы сами себя, а потому — что́ нам в оправданиях перед собой! Уважим лучше несхожие друг на друга *особенности* наших характеров и вследствие этого не будем спешить выводить[5] друг о друге заключения. От Хомякова я узнал

[1] или (как выражаются) не изглубили
[2] *В подлиннике:* в возможности
[3] изъявляли желание
[4] всю зиму
[5] не будем выводить

очень приятную для меня новость: именно, что ты пишешь сурьезно русскую историю. Бог да благословит тебя в этом труде; это твой настоящий труд. Здесь ты соберешься весь в себя и будешь собой. Доныне ты был весь разбросан, а потому и не в силах был *быть собой.* Оттого легко было и нападать на тебя и поражать тебя. Тут же в этом деле соберутся твои силы в плотную твердыню и на тебя трудно будет напасть кому бы то ни было. Труд твой доставит тебе много сладких минут и забвенье всего того, что способно смущать нас[1] и повергать в малодушие. Охота же тебе была пустые мелочи принимать к сердцу[2] и выводить подозрительные заключения изо всякого обыкновенного дела. Что тебе, например, из того, что я поручил некие[3] дела по моей книге «М<ертвые> д<уши>» Шевыреву? В этом деле я такой же хозяин, как и ты в деле издания книг своих. У меня это было сделано вовсе не из предпочтенья к кому бы то ни было, но просто из расчета: Шевырев аккуратнее тебя в сведении счетов, меньше твоего занят, меньше твоего забывчив, меньше обременен изданием всякого рода других книг. Всё это я принял в расчет и поручил ему, и в этом не раскаиваюсь, потому что это дело он обделал так аккуратно, как[4] тебе не сделать; мне известен стал всякий рубль и копейка — куда что пошло. Если глядеть на всякие подобные мелочи и выводить из них такие важные заключен<ия>, какие выводишь ты, тогда можно вовсе затеряться и вечно не узнавать людей. Ведь тебе же становится досадно, если станут тебя мерять подозрительным и близоруким аршином и принимают сурьезно и к сердцу всякое твое слово; ты говоришь сейчас, что это слово вырвалось у тебя так, простодушно, без размышления, в гневе, в шутку, не разглядя, и тому подобное,[5] что слов твоих вовсе не следует принимать в таком сурьезном смысле. Зачем же и относительно другого не поступаешь ты таким же точно образом, каким хочешь, чтобы и с тобой поступали? Зачем не допускаешь, что и другой может также сказать[6] или сделать что совсем в другом смысле и вовсе не с тем намереньем, в каком увидела твоя торопливость, горячность, недальнозоркость или опрометчивость? Гляди поменьше на все эти пустяки и мелочи, иди себе своей дорогой. Думай беспрерывно о том главном деле,

[1] ва<с>
[2] глядеть на пустые мелочи, принимать их к сердцу
[3] *В подлиннике:* некои
[4] что
[5] *Далее начато:* Зачем
[6] поступать

для которого дал тебе Бог способности и силы, молись Ему, и всё будет хорошо. Затем обнимаю тебя. Прощай!

Твой Н. Г<оголь>.

Если будешь писать, адресуй в Неаполь.

<*На обороте:*>
Moscou. Russie.
Его высокородию Михаилу Петровичу Погодину.
В Москве. На Девичьем поле, в собственном доме.
<*Штемпель:*>
Ostende 31 août 1847

### 1393. П. В. Анненкову

Остенде. Сентябрь 7 <н. ст. 1847>.

Понятие мое о Божестве не так узко, как вы думаете, но, по крайней мере, оно гораздо пространнее того смысла, который вы придали словам моим. Но это предмет долгих речей и толков, а потому отложим его. Покаместь дело в том, что мы все идем к тому же, но у всех нас разные дороги, а потому, покуда[1] еще не пришли, мы не можем быть совершенно понятными друг другу. Все мы ищем того же: всякий[2] из мыслящих ныне людей, если только он благороден душой и возвышен чувствами, уже ищет законной желанной *середины*, уничтоженья лжи и преувеличенностей во всем и снятья[3] грубой коры, грубых толкований, в которые способен человек облекать самые великие и с тем вместе простые истины. Но все мы стремимся к тому различными дорогами, смотря по разнообразию данных нам способностей и свойств, в нас работающих. Один стремится к тому путем религии и самопознанья внутреннего, другой — путем изысканий исторических и опыта (над другими), третий — путем наук естествознательных, четвертый — путем поэтического постигновенья и орлиного соображенья вещей, не обхватываемых взглядом простого человека, словом, — разными путями, смотря по большему или меньшему в себе развитию преобладательно в нем заключенной[4] способности. Анатомируя человека, видишь, что в мозгу и голове особенно устроены для этого орган<ы> возвышенья и шишки на голове. Органы даны — стало быть, они нужны

[1] покаместь
[2] всякий, кто сколько-нибудь
[3] желал бы снятья
[4] данной

затем, чтобы каждый стремился своей дорогой и производил в своей области открытия, никак не возможные для того, кто имеет другие органы. Он может наговорить много излишеств, может увлечься своим предметом, но не может лгать, увлечься фантомом, потому что говорит он не от своего произволения: говорит в нем способность, в нем заключенная, и потому[1] у всякого лежит какая-нибудь правда.[2] Правду эту усмотреть может только всесторонний и *полный* гений, который получил на свою долю полную организацию во всех отношениях. Прочие люди будут путаться, сбиваться, мешаться, привязываться к словам и попадать в бесконечные недоразумения. Вот почему всякому необыкновенному человеку следует до времени не обнаруживать своего внутреннего процесса, которые совершаются теперь повсеместно, и прежде всего в людях, стоящих впереди: всякое слово его будет принято в другом смысле, и что в нем состоянье *переходное*, то будет принято другими за *нормальное.* Вот почему всякому человеку, одаренному талантом необыкновенным, следует прежде состроиться сколько-нибудь самому.

Ваше желание следить всё, не останавливаясь особенно ни над чем, очень понятно. В нем слышится разумное стремленье всего нынешнего века. Но непонятен для меня дух некоторого *удовлетворенья*[3] вашим нынешним состояньем, точно как бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и как бы стали уже на верховную точку вашего разумения и вашего воззренья на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубок и говорите: «Да здравствует простота положений и отношений, основанных на практической действительности, здравом смысле, положительном законе, принципе равенства и справедливости!» Смысл всего этого необъятно обширен. Целая бездна между этими словами и примененьями их к делу. Если вы станете действовать и проповедывать, то прежде всего заметят[4] в ваших руках эти заздравные кубки, до которых такой охотник русский человек, и перепьются все, прежде чем узнают, из-за чего было пьянство. Нет, мне кажется, никому из нас не следует в нынешнее время торжествовать и праздновать настоящий миг[5] своего *взгляда и разуменья.* Он завтра же может

[1] и потому несмотря на

[2] *Далее начато:* Что в нем именно и действительно есть правда

[3] довольства

[4] Если выступите действовать в эту минуту, то <те>, которым вы захотите передать или истолковать что-нибудь, прежде всего ув<идят>

[5] момент

быть уже другим; завтра же можем мы стать умней нас *сегодняшних*. Несмотря на то что взгляд мой на *современность* только что проснулся, и я еще новичок в этом деле, но, сколько могу судить по тем результатам, которые отбираю теперь от всех людей, прилежно наблюдающих[1] над действующими ныне силами в Европе, я, однако ж, заметил некоторую неполноту в ваших наблюденьях и упущенья, которые вы сделали на вашем пути. Это я приписываю тому, что вы сделали представителем всего для себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. По моему разумению, вам[2] почти необходимо туда[3] съездить, и не то чтобы взглянуть только на Лондон, но именно прожить в Англии, затем избрать в предмет наблюдений не один какой-нибудь класс *пролетариев*, изученье которого стало теперь модным, но взглянуть на все классы, не выключая никого из них. Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей, до такой степени противуположных, что, если бы кто из нас заговорил о них обеих[4] вдруг, — могли бы подумать, что оратор хочет служить и Богу, и чорту вместе; несмотря на это, местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая *гражданственность*, с тем, что составляет первообразную *патриархальность*, что вы усумнитесь во многом, равно как и в том, действительно ли в вас отражается *полно* вся нынешняя *современность*. Мне кажется еще, что вы напрасно чуждаетесь специального труда. Какой-нибудь специальный труд должен быть непременно у каждого из нас. Сверх пребыванья на боевой вершине[5] современного движенья, нужно иметь свой собственный уголок, в который можно было <бы> на время уходить от всего. Нельзя, чтобы каждый из нас не получил на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ее и у вас. Иначе мы бы все походили друг на друга, как две капли воды, и весь мир был бы одна мануфактурная машина. Без этого специального труда не образуется характер индивидуала, из которых слагается общество, *идущее вперед*. Без этих своеобразно работающих единиц *не быть* общему прогрессу. Но... довольно и об этом.

В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди *всех*

[1] от всех, как действующих в Европе, так и наблюдающих
[2] мне
[3] в Англию
[4] о том и другом
[5] верхушке

*партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время.[1] Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений.[2] Уведомьте меня, женат ли Белинский или нет; мне кто-то сказывал, что он женился. Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает[3] большую деятельность в будущем. На это письмо вы еще можете мне написать ответ. В Остенде я пробуду еще недели две. Здоровье мое несколько укрепилось от ванн, но наступившие холода действуют на меня крайне вредоносно. Кровь у меня стала стариковская, движется медленно и уж не только не кипит, но еле-еле может сама согреться, а потому требует беспрерывной помощи юга. Прощайте, мой добрый Павел Васильевич, а по-старому Жюль.

Н. Г<оголь>.

## 1394. С. П. Шевыреву

Остенде. Сентября 8 <н. ст. 1847>.

На прошедшей неделе отправил к тебе письмо (со вложеньем письма к С. Т. Аксакову). Теперь пишу вновь, именно по следующему случаю. Погодин[4] в удостоверенье некоторого доброго влияния моей книги прислал мне письмо к нему Григорьева. Из этого письма, между прочим, видно, что Григорьев находится в большой нужде и занимает или, может быть, уже занял у Погодина деньги. Из этого непременно выйдет после какая-нибудь у них история, как случалось почти всегда со всеми, которые сталкивались с Погодиным денежно. Особенно теперь, когда Погодин сам не при деньгах. Устрой, пожалуста, так, чтобы Григорьев заплатил Погодину теперь же деньги все сполна. Закажи ему статью для журнала, который хочет издавать с наступающим годом Чижов, и заплати за нее деньги ему вперед. К Чижову я пишу при сем письмо (которое ты вручи ему лично), где рекомендую ему взять в сотрудники Григорьева и Малиновского, как людей очень способных и талантливых. Пожалуста, ты замолвь

[1] время смут и недоразумений
[2] внимания
[3] обещает писателя
[4] От Погодина

за них доброе слово[1] с своей стороны. Еще прошу особенно тебя наблюдать за теми из юношей, которые уже выступили на литературное поприще. В их положение хозяйственное стоит, право, взойти[2]. Они принуждены бывают весьма часто из-за дневного пропитанья брать работы не по силам и не по здоровью. Цена 5 рубл<ей> серебром за печатный лист просто бесчеловечная. Сколько ночей он должен просидеть, чтобы выработать себе нужные деньги, особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и думает о своем добром имени! Не позабудь также принять в соображение и то, что нынешнее молодое поколенье и без того болезненно, расстроено нервами и всякими недугами. Придумай[3], как бы прибавлять им от имени журналистов плату, которые будто бы не хотя<т> сделать этого гласно, словом, — как ловче и лучше придумается, это твое дело. Твоя добрая душа найдет, как это сделать, отклоня всякую догадку и подозрение о нашем с тобою теплом личном участии в этих делах. Сейчас только что проводил Хомякова. Как мне приятно было с ним встретиться! Приезд его был точно Божий подарок. Но он пробыл[4] так мало. Я не успел с ним наговориться и только по отъезде его почувствовал, что о многом не расспросил его. Напиши мне о себе; я соскучил, не имея так долго о тебе вести. Адресуй в Неаполь. Прощай! Бог да хранит тебя!

Твой Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Профессору Импер<аторского> Московского университета Степану Петровичу Шевыреву.

В Москве. Близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собст<венном> доме.

## 1395. Графу А. П. Толстому

Остенде. 10 сентября <н. ст. 1847>.

Уведомляю вас, бесценнейший Александр Петрович, что я остаюсь в Остенде до 20 сентября. 20-го или 21-го отсюда выезжаю. Гр<афини> Вьельгорские тоже и, вероятно, того же числа оставят Остенде. А потому хорошо бы вы сделали, если бы по уезде из Лондона племянника вашего Вик<тора>

[1] ты прибавь кое-что в их пользу и
[2] стоит войти
[3] Пожалуста, придумай
[4] пробыл со мной

Влад<имировича>, которому при сем прошу передать мой поклон, немедля приехали к нам. Теперь здесь довольно уединенно, всё почти разъехалось. Мы с вами здесь бы наговорились, а может быть, и отправились отсюда в одно время в Италию. Во всяком случае, мне бы очень хотелось с вами увидеться теперь. От всей души вас обнимаю и жду несколь<ко> строк в ответ на это письмо.

Весь ваш Н. Г<оголь>.

*<На обороте:>*

à Londres, à son excellence monsieur
monsieur le c-te Alexandre Tolstoy.
London, J. Brown's private hôtel, № 23, Dober Street Piccadilly.

## 1396. П. В. Анненкову

Остенде. 20 сентября <н. ст. 1847>.

За разными помехами отвечаю вам немного поздно. Оно, впрочем, и лучше: я имел чрез это возможность прочесть еще раз ваше письмо, а это весьма не мешает в нынешнее смутное время взаимных недоразумений. В письме вашем есть много умных заметок, но они — не ответ на то, что говорю я. Они остались сами по себе, и письмо мое осталось[1] само по себе. Та середина, которую вы прозрели, по мненью вашему — безошибочно, в словах моих, ведет человека, точно, к посредственности. Но дело в том, что я под словом «середина»[2] разумел ту высокую гармонию в жизни, к которой стремится человечество, которая слышится несколько вперед только людьми, преобладательно одаренными[3] поэтическим элементом, но никак не может обратиться в систему какого-нибудь стремленья каждого[4] человека. К средине этой идут не поскабливаньем того и другого в той и другой партии: напротив, к ней идет каждый своею дорогою; всякое усилие гениального человека в своей области усиливает приближение всего человечества к этой середине. Вы назвали мое стремление выслушивать с равным вниманием все работающие ныне силы стремлением уравновешивать эти силы. Это довольно грубая ошибка. Это стремленье есть просто *желанье знать дело обстоятельней другого*. Вот и всё!

[1] осталось тоже
[2] *В подлиннике:* середины
[3] только теми, в которых преобладательно заключился
[4] всякого

За обвинение в самонадеянности прошу простить. Упрек этот я сделал вам больше по недоразумению моему; к такому заключению привела меня некоторая резкость ваших слов. Например, и теперь, говоря об Англии, вы говорите, что там нет никакой замечательной борьбы и движения, могущих занять человека, наблюдающего успехи строящейся ныне *общественности*. Выразиться таким образом может только тот, кто знает вдоль и впоперек нынешнюю Англию. А точно ли вы ее знаете? Когда вы могли узнать ее, когда сами говорите тут же, что вам даже не хочется узнавать ее? Были у нас на Руси еще не так давно два государственные мужа,[1] которые произнесли два разные изречения.[2] Аракчеев сказал: «Что я знаю, то знаю, а чего не знаю, того и знать не хочу». Канкрин же, Егор Францович, выразился один раз так: «Милостиво Государ, я все знаю, я даже не знаю, чего я не знаю». У нас с вами, слава Богу,[3] нет качеств и свойств этих государственных мужей, равно как и образа мыслей, им принадлежавших. Но не позабывайте, что понемножку может находиться во всяком человеке всякой всячины,[4] а потому иногда не дурно взвесить[5] *тон* собственных слов, которыми мы выражаем наши мнения, чтобы пощупать ощутительно, сколько у[6] нас есть свойства канкринского или аракчеевского. Иногда, даже вовсе не имея самоуверенности в познаньях наших, мы выражаемся так, как бы были совершенно уверены в том, что знаем окончательно вещь. В Соединенных Штатах действительно вырабатывается теперь видней общественное дело, а потому не мудрено, что глаза наблюдающего большинства обращены теперь туды. Но и земля, в которой заключилось в громадных глыбах то, что уже уничтожено в других землях, и то, что еще и не начиналось в Европе, земля, которая, несмотря на дикие[7] крайности, вырабатывает, однако ж, безостановочно Байронов и Диккенсов, не может дремать в такое время, когда раздаются вопросы, так важные для человечества. По крайней мере, нужно заглянуть в те мины, где готовятся близкие взрывы.

Всё, что вы говорите по поводу пролетариев, умно, справедливо, местами глубоко. Но я нападал в письме моем не на *всеобщее*

[1] мужи
[2] которые обрисовали<сь> весьма верно двумя изреченьями насчет
[3] [вероятно] обоих, разумеется
[4] всего
[5] пощупать
[6] в
[7] чудовищные

устремление всех к этому вопросу, но на умных людей, которые предались исключительно пристально-близкому созерцанию[1] этого предмета, которого нельзя как следует рассмотреть *вблизи*. Это явленье не на воздухе. Хвост и узлы этого дела скрыты во многих, по-видимому, побочных предметах. Нужно попристальней взглянуть всё вокруг. Для умного человека мало войти в один тот круг, в который введены *публика* и *пренье журнальное*. Ему нужно что-нибудь знать из того, о чем *публика* еще не говорит *сегодня*, чтоб знать хотя за два дни вперед о тех вопросах, о которых пойдет речь потом.[2] Иначе останешься в хвосте, а вовсе не наравне с веком. Идти выше своего века, положим, только возможно какому-нибудь необъятно-громадному гению, но стремиться быть выше журнальной верхушки своего века есть непременный долг[3] всякого умного человека, если только он одарен какими-нибудь действующими способностями. Но довольно обо всем этом. Вы всё, однако же, прочитывайте внимательнее мои письма. Никак не позабывайте, что теперь, когда всякий из нас более или менее строится и вырабатывается, никто не может быть совершенно понятен другому и употребляет такие слова и термины, которые у одного значат[4] не совсем то,[5] что у другого. Всё, что вы захотите теперь написать, адресуйте отныне в Неаполь, poste restante. Известия о вас[6] мне всегда будут приятны. Прощайте! Желаю вам от души всего доброго.

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Paris.
À monsieur
monsieur Paul Annenkoff.
Paris. Rue Caumartin, 41.

### 1397. Протоиерею Матфею Константиновскому

Остенде. 24 сентября <н. ст. 1847>.

Бог да наградит вас за ваши добрые строки! Многое в них пришлось очень кстати моей душе; со многим я уже согласился еще прежде, чем пришло ваше письмо. Например, насчет того,

[1] но на исключительно пристальное, близкое созерцание его умными
[2] *Далее начато:* Положим, выше своего века
[3] долж<ен>
[4] значат одно, а др<угое>
[5] то, в чем его при<знаки>
[6] о вас собственно самих

чтобы не оправдываться пред миром. В самом деле, ведь судить нас будет Бог, а не мир. Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия, но, во всяком случае, рассудок мой говорит мне не выдавать ничего в свет в продолжение долгого времени, покуда не созрею лучше сам *внутренне и душевно.* А покуда съезжу в Иерусалим, помолюсь у Гроба Господня, как только в силах помолиться. Помолитесь обо мне, добрая душа, чтобы я в силах был тепло и сильно помолиться[1]. Просите Бога, чтобы на самом том месте, где проходили Божественные стопы Единородного Сына Его, сказало бы мне сердце мое всё, что мне нужно. Хотелось бы мне, чтобы со дня этого поклоненья моего понес бы я повсюду Образ Христа в сердце моем, имея ежеминутно Его пред мысленными глазами своими. Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять его требования во всяком званьи и сословии. Его можно исполнять также и в званьи писателя. Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то, верно, Бог, а не кто другой, виновник этой склонности. Вольно было живописцу, наместо того чтобы изображать кистью предметы высокие, образа угодников Божиих и высших людей, писать соблазнительные сцены развратных увеселений и униженья человеческого! Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изображают другие писатели, — представить их так живо, как живописец? Примеры сильнее рассужденья; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделать<ся> добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу. Я бы не подумал о писательстве, если бы не было теперь такой повсеместной охоты к чтению всякого рода[2] романов и повестей, большею частию соблазнительных и безнравственных, но которые читаются потому только, <что> написаны увлекательно и не без таланта. А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу (по уверению тех, которые читали мои первоначальные повести), разве я не обязан изобразить с равною увлекательностию людей добрых, верующих и живущих в законе Божием? Вот вам (скажу откровенно) причина[3] моего писательства, а не деньги

[1] *Далее начато:* Хотелось бы мне со дни этого поклоненья моего унести с собой повсюду

[2] самых дурных, соблазнительных

[3] была причина

и не слава. Но... теперь я отлагаю всё до времени и говорю вам, что долго ничего не издам в свет и всеми силами буду стараться узнать волю Божию, как мне быть в этом деле. Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушенья вокруг нас, так же воевать и бороться нужно со врагом нашим. Словом, нет поприща и места в мире, на котором мы бы могли уйти от мира, а потому я положил себе покуда вот что: теперь, именно со дня полученья вашего письма, я положил себе удвоить ежедневные молитвы, отдать больше времени на чтение книг духовного содержания; перечту снова Златоуста, Ефрема Сирянина и всё, что мне советуете, а там — что Бог даст. Нельзя, чтобы сердце мое, после такого чтения и такого распределения времени, не настроилось лучше и не сказало мне яснее путь мой. А вас прошу, так как вы стали уже богомолец мой и ведаете уже отчасти мою душу (о, как бы мне хотелось открыть вам всю мою душу, быть у вас во Ржеве, исповедаться и сподобиться причащенья Тела и Крови Христовой, преподанных рукою вашею!), прошу вас молиться тем временем обо мне, особенно во всё время путешествия моего в Иерусалим. Я отправлюсь туда ко времени Пасхи. До того же времени пробуду в Неаполе. Если получу от вас несколько напутственных строк, буду очень, очень рад. Гр<афа> Александра Петровича я видел на один день во время проезда его в Англию для совещанья с зубными докторами. Он лишился зубов и должен был на место их вставлять другие. Это вместе с другими недугами было причиной того, что он должен был отложить возврат свой в Россию до весны. Он будет также в Неаполе для свиданья с своей сестрой Апраксиной, проводящей там зиму. Стало быть, я с ним опять увижусь. Я рад, по крайней мере, тому, что он останется эту зиму не в Париже, но будет у родных[1]. Он очень тоскует. В Неаполе же основалась[2] русская церковь и очень хороший священник. Всё это в соединении с климатом, я думаю, подействует на него хорошо. Тоска его в том, что в недугах своих и в самом лишеньи зубов он видит гнев Божий и наказанье себе, и неутешен он оттого, что не в силах, как бы хотел, молиться. Он негодует на черствость свою и недостаток слез.

[1] *Далее начато:* Это его успокоит

[2] теперь основалась

На вас его единственная надежда. Он думает, что ваши молитвы о нем действительней его молитв. Он обрадовался необыкновенно, узнавши, что я получил от вас письмо, будучи уверен, что вы, писавши ко мне, вспомнили и о нем и лишний раз за него помолились. Напишите ему хотя две строчки, какие скажет вам сердце ваше, и вложите их в виде особенного письмеца в письмо ко мне. Я уверен, что эти строчки придадут ему большую бодрость. Но прощайте! Бог да хранит вас! Не забывайте меня грешного.

Очень, очень вам признательный

Николай Гоголь.

В непродолжительном времени, может быть, вы получите из С.-Петербурга деньги, которые попрошу вас раздать тем из страждущих, которые больше других нуждаются. Мне бы хотелось, чтобы они пришли в руки тех, которые усерднее других молятся Богу. Впрочем, вы лучше моего знаете, кому следует давать. Как я жалею, что я не богат[1] и не могу теперь послать более!

### 1398. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

1847 октября 4/16. Москва.

Давно я не писал к тебе, любезный друг. Извини. Расскажу причины или, лучше, все то, что я сделал нынешним летом. В июне месяце начал я пристройку в своем доме. Семья умножилась, спонадобилась детская. В конце июня, когда стройка еще продолжалась, я для отдыха предпринял с сыном поездку, которая продлилась до конца июля. Эта поездка была для меня очень освежительна. Я был у Троицы, в Александрове, Переяславле Залесском, Ростове, Ярославле, Вологде, Кириллове, Белозерске. Главная цель моего странствования был Кириллов монастырь, где я пожил с неделю и порылся в библиотеке. Отсюда разъезжал я по окрестным местам. Много, много собрал любопытного. Мне хочется все это рассказать в книге. Теперь я тем и занят. Оттуда быстро проехал я через Весьегонск, Рыбинск, Углич и Тверь в Москву. Торопился как декан к экзаменам. Приехал домой. Думал, что стройка пришла к концу; не тут-то было, как бывает всегда со всеми стройками в мире. Весь конец июля и весь август я продолжал строиться так, что не имел угла спокойного. Между тем хворал мой грудной младенец, которого кормила сама жена. Тут шли экзамены. Потом переносил

[1] не так богат

и приводил в порядок свою библиотеку, помещенную в новом кабинете. Тут начались с 1-го сентября курсы. Первый месяц всегда труднее, пока не заведется вся годовая работа, на 1-м курсе в особенности, пока не узнаешь студентов, пока не устроишь всех лекций, и как декан — всех студентов. Теперь только вышел на простор и взялся за перо, чтобы написать тебе и оправдать себя. Письма твои все я получил. Письмо к С. Т. Аксакову я доставил, прочитавши сам, и сожалею о том, что не остановил его, хотя ты мне и не давал на то права. Но так как ты поручал мне предварительное прочтение, то я мог бы им воспользоваться, и ты бы, может быть, не рассердился на меня, если бы я его не доставил. Что делать? Я бываю иногда до того занят, что становлюсь рассеян в таких делах, в которых не должно быть рассеянным. Письмо твое огорчило Ольгу Семеновну, которая не хотела было даже его и показывать С<ергею> Т<имофееви>чу. Но у них не может быть тайн семейных. Мне тут показались две вещи жесткими. Они считали тебя всегда другом семейства. Ты же начинаешь с того, что как будто бы отрекаешься от этой дружбы и потому даешь себе право быть с ними неискренним. Далее, говоря о Константине, ты несколько раз повторяешь «с любезнейшим вашим сыном»; мне показалось это выражение и повторение проистекающим не из того чувства, которое, как мне кажется, ты питал всегда к их семейству, и выразил это даже в своей простой и прекрасной надписи к книге твоей, надписи, которая после первой размолвки все сердца их обратила снова к тебе. Виноват я, что задним числом говорю тебе обо всем этом. Но если я был невольною причиною последней неприятности, какая могла от этого письма между вами вновь произойти, то, по крайней мере, желал бы послужить также посредником к совершенному и полному примирению. Могу сказать одно: не знаю в Москве другого семейства и других людей (включая в то число и самого себя), которые бы имели большее право на полную твою дружбу и любовь, как Аксаковы. Уважение к тебе как писателю, и любовь и преданность к тебе как человеку они, конечно, сохраняли всегда чисто, свято, неизменно. За тебя готовы они были против всех и каждого. Против тебя боролись только с тобою самим, но не иначе. Повинись-ка перед ними, друг, и покрой все это самым теплым излиянием твоего любящего сердца, уже отгадавшего их любовь, и полным забвением всего прошедшего. В тебе все еще, как вижу, страдают нервы; и раздражен в письме твоем не ты, но нервы. Знаешь ли что? Я думаю, Италия тебе их испортила и все еще более портит.

Я помню влияние ее на себе. Едва теперь могу отделываться от этого влияния. Италия — нервопорча; доказательством тому княгиня З<инаида>. Признаюсь тебе: мне досадно, что ты все бросаешься на эту Италию, которая до конца тебе нервы испортит. Лучше бы ты избрал климат умереннее и не так раздражительный, например Ниссу. Твоя зябкость происходит также от нерв. В Италии на время будет тебе лучше, а потом опять пойдет хуже. Такая страна изнеживает человека, особливо северного, получившего от природы другое назначение. Письмо Григорьева к Погодину я получил в твоем письме, но ничего сделать не мог. Погодин сам был не в деньгах и потому не мог дать Григорьеву более 10-ти руб<ей> серебром. Чижов журнала не предпримет, потому что позволение на Русский Вестник взято министерством назад. Если что случится вперед, я буду иметь в виду твое желание помочь Григорьеву. Но теперь не знаю, как за это дело взяться. Григорьев прежде бывал у меня, но потом прекратил сношения. Его натура была слишком испорчена формулами немецкой философии Гегеля. Я знаю несколько молодых людей нового поколения, которых до того она расшатала, что они ни на чем остановиться не могут. Не думаю даже, чтобы и естественные науки могли сделать из его головы что-нибудь путное. Вышед из унив<ерситета> первым и отличнейшим кандидатом юридич<еского> ф<акульте>та, он начал с того, что перепутал все дела нашего совета, где правил д<олжность> секретаря. Отсюда бежал он в Петерб<ург>. Там странствовал по разным журналам и воротился разочарованный в Москву, где сначала пристроил себя к Листку. Что будет далее, не знаю. Та беда, что нем<ецкая> формальная философия приучает ум к какому-то неугомонному шатанию между *да* и *нет* во всяком вопросе науки, жизни, общества, — и разум становится каким-то бедным маятником в голове, который не находит точки успокоения. При этом невольно припоминаю слова ап<остола> Павла (2 Посл<ание> к Коринфянам, ст<ихи> 17–19): «Или по плоти предпринимаю я, что предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет! Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в Нем было *да*». Вот этого-то положительного *да* не находит разум, свихнутый немецкою философией, какая преподавалась у нас. Григ<орьев> в числе жертв ее. Малиновский был у меня сегодня. Я сделал ему помощь из твоей суммы, но он не хотел принять ее иначе, как заимообразно. Письмо

твое к Чижову я отправлю на днях. Не знал адреса. Он давно не писал ко мне. Ты, м<ожет> б<ыть>, слышал о неприятностях, какие были с ним. Он вышел из них совершенно чист и оправдан, как и должно было ожидать, но, не менее того, журнала в этом году издавать он не может. Я весьма благодарен тебе за то, что ты в последнем письме разрешил мне делать помощь из твоей суммы, кроме студентов, и молодым литераторам, начинающим поприще. Вот, например, теперь передо мною сидит грязовецкий слепец-математик, явление весьма необыкновенное. Почти от рожденья слепой, он дошел до истин математических ощупью и решал важные задачи. Теперь занимается психологией. Бедность загнала его, но он нашел средство добраться до Москвы. Дух его не гаснет, но горит сильнее. Хочется ему и в университет, и в беседу с учеными и литераторами. Замечательно в нем знание и понимание Священного Писания и Отцов Церкви. Чтецами его были крестьяне и мещане. От них он принял духовную премудрость. <Мно>го любопытного сообщил он мне о низших наших сословиях. Вот бы тебе с такими людьми беседовать! В Грязовце я узнал его лично. Прежде читал об нем в М<осквитяни>не. Полюбился ему мой голос и речь, и он добрался до Москвы ко мне, чтобы только спасти мысль свою здесь в городе. М<ертвые> Души расходятся не так скоро, как я было предполагал сначала. Ждут все второй части. Если бы она явилась, в один бы день расхватали два издания. Можно за это поручиться. Выйдет ли твоя Переписка новым и полным изданием? Свое дело она сделала. Много вопросов подняла она, за которые тебе спасибо. А собрать все голоса в свою пользу — да кто же в наше время этого достигнет? Получил ли ты наконец Летописи и Праздники Снегирева? Я знаю, что Похвиснев, с которым я их послал, доставил их к Волконскому в Варшаву, а В<олконский>, сам собравшийся за границу, хотел все это доставить Жуковскому. Пословицы остались у меня, потому что экземпляра у Базунова не было. Я получил после, когда уже Похвиснев уехал. Теперь мне хотелось бы дать отчет в своей поездке, потом продолжать свою книгу и дать ответ всем своим критикам, что в голове у меня уже готово. Дела пропасть, а времени мало. У нас, говорят, холера в городе. Если и есть, то совсем не заметна. Говорят о 30-ти умерших в больницах от нее. Народ спокоен и весел. Нечего сказать, что разумен наш народ. Жалуются многие на расстройство в желудке. Я сам это чувствую довольно часто. Это ощущение общее. Но, слава Богу, все мы делаем свое дело и заняты по-прежнему. Прощай. Будь здоров. Обнимаю тебя.

Твой С. Шевырев.

С нетерпением буду ждать твоего ответа, особливо в отношении к Аксакову, ибо меня сердечно занимает ваша размолвка. От тебя зависит прекращение всего и возвращение не только прежних ваших отношений, но и утверждение крепчайшей между вами дружбы. Начните-ка друг другу говорить «ты». Ведь это важная примета между людьми добрыми — и слово это путь внешний к большей искренности.

*<Адрес:>*

Monsieur Monsieur Nicolas de Gogol à *Naples*. Poste restante. Его высокоблагородию Николаю Васильевичу Гоголю в *Неаполе*.

### 1399. А. С. Данилевский — Н. В. Гоголю

4-го октября 1847 года. Киев.

Последнее письмо твое получил я перед отъездом моим в Малороссию. Винюсь, что не отвечал тебе немедленно в надежде, что по возвращении буду иметь возможность сообщить тебе бездну новостей касательно нашего мирного уголка. Не тут-то было!

Я располагал, уезжая из Киева, быть везде и повидаться со всеми, а кончилось тем, что просидел в нашей деревушке Гадячского уезда во время моего отпуска, исключая двух дней, пожертвованных Семеренькам и Сорочинцам. До Толстого не доехал; стало, и у твоих не был. Дурная осенняя погода заставила меня, из опасения простуд, которым подвержено мое семейство, и разных других обстоятельств, направить поскорее лыжи в Киев.

Из всего этого осталось только то, что я не знаю теперь, как адресовать к тебе письмо мое. Пошлю его на удачу во Франкфурт: вероятно, Жуковский знает твой адрес.

Письмо твое меня истинно повеселило: я вижу, что хандра, твоя неотвязчивая спутница в последнее время, употребляет все усилия расстаться с тобой, несмотря на то, что ты придерживаешь ее за полу.

Как тебе не стыдно так кратко и так неопределенно говорить о себе, когда ты знаешь, сколько твоя персона близка моему сердцу, сколько интересна. «Поеду в Италию, оттуда на Восток, а там обниму тебя и денька два-три побеседуем с тобой». Как! мы только на два дня увидимся с тобой, и вследствие каких новых планов? Хоть бы ты сказал слово, мой таинственный друг! А я с таким нетерпением, с такою радостью ожидал твоего окончательного возврата в Россию, что, признаюсь, эти два-три дня меня совершенно ошеломили.

Что до меня, я все там же, все так же инспекторствую. Не знаю, долго ли это еще продлится, но знаю то, что желал бы очень переменить род службы, а потому прошу тебя, когда будешь в Одессе, повидайся с Александром Орлаем и поговори с ним на мой счет: может быть, он найдет возможность и средства доставить мне какое-нибудь место в Одессе. Теперь это единственное мое желание. Бога ради, не поперечь ему. При свидании ты сам убедишься, что это не каприз; может быть, пожалеешь, что не исполнил моей просьбы. Ты можешь даже, если твоя добрая воля, начать дело о перемещении моем теперь, не откладывая его в долгий ящик и написав к твоим друзьям в Петербург, чтобы сколько-нибудь приготовить их заранее и уладить наперед мой путь в Одессу.

Ты непременно хочешь знать имя моей жены: именуется она Ульяной Григорьевной, и намерена присоединить к моему письму несколько слов, относящихся до нашего житья-бытья.

До свидания, мой милый и добрый друг. Обнимаю тебя от всей души. Пиши и, ради Бога, не забывай нас.

А. Данилевский.

## 1400. У. Г. Данилевская — Н. В. Гоголю

<4 октября 1847. Киев>

Александр всегда возлагает на меня сообщить вам, добрый Николай Васильевич подробности нашего житья-бытья, как он говорит; но жизнь наша так однообразна, что, право, нечего и говорить о ней. Все, что сказала я вам в моем первом письме, повторяется всякий день с кое-какими переменами, о которых не стоит говорить.

Бывши в Сорочинцах (Александр отправил меня туда двумя месяцами прежде себя), я виделась с родными вашими. Je suis toujours heureuse, quand je puis passer, ne passé que quelques heures, avec votre exellente mère; elle est toujours si bonne pour moi, elle aime tant mon Alexandre! Они, вероятно, пишут к вам и извещают подробно о себе. Всех их я видела совершенно веселых и здоровых.

Марья Ивановна ждет-не-дождется вашего приезда в Россию. Не обманите же ее и наши ожидания, доставьте мне случай скорее познакомиться с вами лично.

В Сорочинцах я видела также вашего давнишнего и постоянного обожателя Ивана Григорьевича Пащенка; он приезжал в Сорочинцы купаться в Псле для поправления здоровья. Псел

опять входит в моду, и Сорочинцы сделались notre Baden-Baden, notre Ostende et cetera. Туда съезжаются на сезон помещики окрестных уездов пользоваться целительными водами Псла. В числе прочих страждущих была там ваша же знакомая m-lle Minotri, которая воспитывалась вместе с вашими сестрами, — очень милая девушка!

Вот все, что нашла сказать вам хотя несколько интересного. Теперь мы опять в нашем скучном Киеве, боимся холеры, не употребляем никаких фруктов, пьем мяту, и так далее.

Александр имеет намерение переменить службу. Как бы я была рада, если бы это удалось ему!

Пишите к нам; мы все вас так искренно любим. Да хранит вас Господь во все время странствования вашего. Помолитесь и за нас у Гроба Господня.

У. Данилевская.

### 1401. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Покровское. Октября 14. <1847>

Очень грус<т>но, мой друг; так давно от вас ничего не знаю, ровно ничего не знаю. На последнее письмо ваше и по вашему назначению адресовать в Франкфурт в наше[1] посольство я так и подписала и 7 августа отправила, не знаю, получили <ли>. А больно не знать о том, с кем душею сроднился, а потому все относительно его близко душе, ему преданной до гроба, а по ту сторону все ясно. Так мне сгрус<т>нулось пребывать в такой глубокой неизвестности на ваш счет. На прошедшей неделе писала к разным, просила известить, что о вас знают, и чтобы спросили у Степана Петровича Шевырева о вас. Мне отвечают, Шевырева не видали, а слышали, что вы в Неаполе, куды и пишу, да найдет сие вас в состоянии, угодном Богу, куды по Его же Милосердию душа ваша стремится. О Всемилосердный, не остави его! Спаси и помилуй! Пожалу<й>ста, мой друг, напишите хоть несколько строк успокоить меня на ваш счет. Сношение мое с вами не прерывается, молитва соединяет. На всяком шагу можем видеть и чувствовать милосердие Божие. Но как велико Его Отцовское к нам Милосердие, ниспосланное нам в молитве, выразить того нельзя. А глубоко чувствуешь утешение, доставляемое молитвою, что иногда, кажется, уже сердце замерло для радостного, и вдруг прояснится что-то радостное в этом

[1] *Вместо:* в наше — *было:* на имя

сердце, так сильно наболевшем от горя и за себя, а еще более за тех, кто так близки и дороги нашему бедному сердцу. Милосерд Отец Небесный, да Он нам поможет остатки дней так провести, чтобы сподобиться блаженной вечности. Живя для нее, как бы здесь было отрадно. При этом внутренном устройстве как бы все было близко душе, что относительно ближнего спокойствием его дорожили бы как собственным. Иначе и не может быть, кто всей душею хочет отдаться Богу и Отцу, Его Покрову часто, мой друг, вас вручаю, Его и молю, да Он по благости Своей поможет пребывать вам повсюду во внутренной тишине и спокойствии. А в сем невыразимо сладостном для души состоянии ни в ком и ни в чем чуждого не видишь, все близко сердцу, возлюбившему Господа и в Нем каждого. Ну, право, иногда другого более жаль, чем себя, и полно. По последнему письму вашему, вы уже решительно собираетесь к Святым Местам. Помоги вам Господи свершить сей путь по Его святой воле. Скажите, с кем вы отправляетесь. Дай Бог вам Товарищество единодушное. Прощайте, мой друг и сын возлюбленной, Богом мне данной! И помню о вас, как о сыне, и молюсь, как за сына. Прощайте, обнимаю вас с любовию. С нею благословляю вас, с нею и пребуду до смерти вам душею предана. Прощайте, мой друг.

Христос с вами!

Письмо свое подпишите *в Москву*, на В<о>здвиженке, в доме графа Шереметева. Прощайте, еще вас благословляю. Боже мой, не остави его, спаси и помилуй!

### 1402. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

16-го октября (1847 г.). Стародуб.

Я как будто бы ждал вашего письма и как будто бы без него не мог писать к вам, а правду сказать, вряд ли собрался бы написать, если бы ваши строки не вызвали меня из моего апатического состояния. Со времени отправления к вам моего письма, то есть от июня месяца, по сию минуту я почти не отходя был при постели больной и остаюсь при ней, — вот причина, почему мне трудно было бы собраться писать, а если бы и собрался — ничего не написал бы. Хомяков писал, что встретился с вами в Остенде, поэтому, вероятно, вы слышали о тех неприятностях, какие случились со мною весною. Благодаря им, издание журнала не может состояться до 1849 года, а при теперешнем моем положении и без них оно не состоялось бы. Что касается лично до меня,

я нисколько на это не ропщу, потому что я никак не видел необходимости спешить говорить во всеуслышание; по истине говоря, сам не знаешь, что говоришь почти обо всем. Это одно. Второе важнее этого: с нашей стороны, по моему понятию, требуется одно, не зарывать таланта, Богом данного, как бы он мал ни был, а в остальном покоряться воле Божией. Внешние обстоятельства для каждого из нас стекаются не случайно, ими правит Провидение; трудно понять связь их, но когда прибегнешь к вере, тогда в покорности найдешь объяснение того, что лучше случившегося не придумаешь. Наконец, обращаясь к самому делу, я втайне желал, чтобы отложилось время издания задуманного мною журнала, между прочими причинами и для большего усиления в языке. Журнал не дает времени обдумывать и перечитывать; там часто должны являться скороспелки, я же откровенно скажу вам, что и не в скороспелом никогда не вижу у себя в языке и сотой доли того, чего хотелось бы видеть.

Совершенно понимаю справедливость ваших слов в отношении сотрудников, но согласитесь, однако ж, что журнал на своих плечах не поднимешь. Весьма и весьма благодарю вас за указание двух — Григорьева и Малиновского; я их не знаю, но по вашему наставлению прибегну к Шевыреву. Между молодыми мне нравится Самарин Юрий; впрочем, надеюсь, что, как найдется дело, тогда и сотрудники соберутся. Переводов я буду избегать сколько возможно; сказал бы, что не буду вовсе помещать, но не скажу только потому, что пока еще на полном деле не испытал своих сил, и не буду оснуешь немного по пословице[1]: «Улита едет, когда-то будет». Молодые москвичи сильно мне нравятся; одно меня от них немного отклоняет — это их вражда к европейскому, и отклоняет тем сильнее, что я, грешный, и сам чувствую ее в себе довольно. А согласитесь с тем, что на вражде не выедешь и самая вражда — ясное указание, что видишь одну внешность, одно незаконное, между тем как во всем прожитом людьми основа всегда законна. Так же законна болезнь, как законно здоровье. Душевно желал бы, как вы говорите, давать читателям настолько, сколько сам понимаю, петь, как поет бурят, — да слова ваши рецепт, для которого нет аптеки. Поверьте, — и нечего мне выпрашивать у вас, чтоб вы верили, вы это знаете, — говоришь часто выше своих понятий, никак не потому, чтоб это говорилось умышленно, а именно потому, что не умеешь с собой сладить, — ум за разум заходит. А для этого хорошо помолчать еще годик; молчание

[1] *Так в публикации.*

и уединение дела не испортят. Одно сильно меня утешает, что дал Бог жить в то время, когда видимо и осязательно мир идет к лучшему, и когда это лучшее ясно видишь в русской природе. Трудно мне было бы и перечесть, сколько раз случалось мне видеть, как то, что в минуты гордого самодовольствия приписывал я своему улучшению и считал исключительно своим собственным нравственным приобретением, я находил далеко в лучшем виде у людей, по-видимому, неспособных ни к чему порядочному. Стремление к деятельному христианству делается час от часу более общим, правда, что частехонько оно остается одним стремлением, но и то уже слава Богу. Если не даст Бог ничего сделать лучшего из предполагаемого мною журнал, и то принесет пользу, что молодым пишущим будет возможность работать по убеждению. Хоть бы труд взял свое и то было бы уже большим приобретением. Созревшее поколение (я все говорю о Москве) благородно, благонамеренно, с чистыми побуждениями, но беда одна, что все это никак не хочет подчинить себя труду правильному. Кажется бы и не беда, но на поверку выходит много бед. Все остается в своем кругу и не передается другим. Потом, так как все делается по вдохновению или, по крайней мере, по призванию, то отсюда выходит в деятельной жизни старое зло, — все люди делятся на вдохновенных, или призванных, и непризванных. Первые считают себя вправе жить на счет других; другие не могут признавать их первенства, не видя от них ничего на деле. По мне призвание призванием, а труд трудом. Труд дело великое, когда сам трудишься, как-то вместе с этим даешь цену и труду другого; в работе поденщика не видишь ничего унизительного, а только благодаришь Бога, что Он эту работу просветлил и возвеличил убеждением.

Не знаю, известны ли вам и сколько известны настоящие наши журналы и газеты. Первые решительно сборники для чтения, почти с первого до последнего листа наполнены переводами французских романов и исторических статей, которые в моде во Франции. Не в суд им я говорю, но передаю вам как вижу: из 500 страниц часто не выберешь десяти, чтоб прочесть в семейном кругу, образованном, желающем послушать. Большинство довольно; но и тому начинает наскучивать чтение, в котором нет ни одной живой мысли. Не знаю я только, каков «Современник», перешедший от Плетнева к Панаеву, Никитенке и Белинскому. Судя по именам этих трех главных распорядителей, мне кажется, что Петр Александрович сильно погрешил, передав журнал

Пушкина людям, далеким от убеждений покойного нашего поэта. Говорят, будто бы в «Современнике» есть стремление к народности; но, зная редакторов, я думаю, что это не задушевная любовь к русскому, а дань настоящему требованию. Русское пошло, слава Богу, в ход, потому его и стараются сбывать с рук — это выгоднее. Из газет, кроме «Северной Пчелы», теперь в ходу «Петерб<ургские> Ведомости». По внешности они лучше «Пчелы», а повникнув, найдешь в них петербургского франта. Обо всем говорят гладко, кажется, и умно, и дельно, в тоне нет ничего непристойного, напротив, все очищено, вежливо и даже доведено до изысканной опрятности, а послушаешь — ничего не остается. Есть тут иногда и проповеди Филарета, и заметки Кобдена, и провозглашения о скотолюбии, о хорошем обращении с животными, возгласы и похвалы благотворительности. Главное старание — быть приличным и, если можно, никого не обидеть, то есть не заехать в рыло. Только не знаю, почему-то в итоге видишь, что русские препорядочные скоты и что им единственное спасение — объевропеиться.

«Московский Городской Листок», говорят, пуст до крайности, я сам его не видал.

В литературе нашей неповременной нет ничего нового; может быть, этому надо радоваться, но, признаюсь, невольно негодуешь, видя, что в журналах читается все уже чересчур не русское, начиная с языка до понятий.

Вот вам все, что мне известно в глуши, — думаю, что скоро буду в Москве, оттуда могу написать поотчетливее. Дай Бог, чтоб южный климат поправил вас и прислал бы к нам, а нам сильно <нужно> крепко верующего и твердо убежденного собрата. Буду продолжать писать к вам в Неаполь; в случае перемены жилища известите меня чрез Шевырева.

Чижов.

### 1403. А. С. Данилевскому

Ноября 20 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Письмо твое от 4 октября я получил. Адрес мой я тебе выставил в Неаполь (в прежнем письме), но ты это позабыл, что с нами, грешными, случается. Подтверждаю тебе вновь, что я в Неаполе и остаюсь здесь, по крайней мере, до февраля. Потом в дорогу Средиземным морем, и если только Бог благословит возврат мой на Русь, не подцепит меня на дороге чума, не поглотит море,

не ограбят разбойники и не доконает морская болезнь[1], наконец, не задержат карантины, то в июне или в июле увидимся. Писал я: «Побеседуем денька два вместе», потому что, сам знаешь, всяк из нас на этом свете — дорожный[2] человек, куда-нибудь да держащий путь, а потому[3] оставаться на ночлеге слишком долго из-за того только, что приютно и тепло и попались хорошие тюфяки[4], есть уже баловство. У всякого есть дело, прикрепляющее его к какому-нибудь месту. Я же не зову тебя в Москву, или в Петербур<г>, или в Неаполь, хотя <бы> мне и приятно было иметь тебя об руку. Я хотя и не имею никакой службы, собственно говоря о формальной службе, но тем не менее должен служить в несколько раз ревностнее[5] всякого другого. Жизнь так коротка, а я еще почти ничего не сделал из того, что мне следует сделать. В продолженьи лета мне нужно будет непременно заглянуть в некоторые, хотя главные, углы России. Вижу необходимость существенную взглянуть на многое своими собственными глазами. А потому, как бы ни рад был прожить подоле в Киеве, но не думаю, чтобы удалось больше двух дней; столько полагаю пробыть и у матушки. Осень — в Петербурге, зиму — в Москве, если позволит, разумеется, здоровье. Если же сделается хуже — отправлюсь зимовать на юг. Теперь я должен себя холить и ухаживать за собой, как за нянькой, выбирая место, где *лучше и удобнее работается*, а не где веселей[6] проводить время. Твое намерение перебраться в Одессу, вероятно, не без основания, иначе ты не стал бы так хлопотать о том. Но это дело такое, о котором, как мне кажется, следует потолковать лично. Писать же теперь в Петербург (к кому? и о чем?) это будет трата времени и ничего больше. Мне кажется, прежде следовало бы тебе списаться с кем-нибудь в Одессе, выглядеть себе место, узнать, хорошо ли оно[7] и не занято ли уже кем-нибудь, и потом уже хлопотать. Покаместь советую тебе написать самому в Петербург к Плетневу, если только место по ученой части. Он лучше других может помочь здесь, тем более что он и тебя самого знает, да и по дружбе ко мне о тебе особенно похлопочет, а я, пожалуй, прибавлю и от себя слово. Милую

[1] морская болезнь, от которой доселе я страдал страшно
[2] *В подлиннике:* дорожний
[3] а потому баловство
[4] *Далее начато:* попались на столе
[5] ревностнее на своем <месте>
[6] лу<чше>
[7] хорошо ли оно действительно

Ульяну Григорьевну благодарю много[1] за приписочку и вести. Затем обнимаю мысленно вас обоих, и Бог да хранит вас!

Ваш Н. Г<оголь>.

Адресуй в Неаполь, poste restante.

<*На обороте:*>

Russie. Kiew.

Его высокоблагородию Александру Семеновичу Данилевскому, инспектору 2-го Благородного пансиона при Первой киевской гимназии.

В Киеве.

## 1404. А. О. Россету

Неаполь. Ноябрь 20 <н. ст. 1847>.

Вы меня совсем позабыли, добрейший мой Аркадий Осипович. Или за то, что я до сих пор еще не благодарил вас как следует за вашу дружбу и хлопоты обо мне? Но зачем вам моя благодарность? Вы должны сами знать, что слова — дрянь, а то, что чувствуется в душе, то не выражается. Я вам угожу потом. Вы знаете, что я весь состою из *будущего*, в настоящем же есмь *нуль*. Вот отчего я так бываю нагл в своих требованиях от друзей, забираю у них всё, занимаю в долг и не плачу́! Если только Бог поможет, снабдя меня небольшим здоровьем еще на несколько лет, то всё будет выплачено. Всё смёкнуто, соображено, замотано на ус и зарублено на стенке. Ни одно из суждений не пропущено и критики от здравых до не совсем здравых и самых нелепых были прочитаны недаром. Словом, вижу самыми хладнокровными глазами, что дело может пойти хорошо. А вы все-таки не оставляйте меня. Всякая строчка, которая показывает мне какую-нибудь сторону нашего общества, сторону русского или полурусского человека, — для меня сущая драгоценность. Не могу вам даже и объяснить, как всё это меня возбуждает, как светит и подымает на деятельность дух. Жизнь ведь перед вами все-таки движется, и люди проходят какие бы то ни было. Покуда не вглядишься в них пристально, они, кажется, не сто́ят наблюдения, а как вглядишься — станет открываться с каждым днем больше и больше вещей, поражающих наблюдателя души человеческой. Не позабывайте же меня. Уведомляйте меня хотя в нескольких строчках, в каких новых видах обнаруживается ныне *гадость и достоинство* человека на Руси. А остальные номера и книжки журналов все-таки пришлите мне в Неаполь. Я виделся с графиней Нессельрод, которая была очень добра

[1] благодарю от всего сердца

ко мне в Остенде и, вероятно, не откажется пособить, если бы курьеры стали отказывать<ся> брать пакеты. Впрочем,[1] только в этом году на вас навьючена эта комиссия. Журналы на 1848 год (если Бог даст) надеюсь читать[2] в России. В том же году надеюсь обнять и вас самих, а до того времени остаюсь

очень вас любящий

Н. Г<оголь>.

До февраля я ни в каком случае не выезжаю из Неаполя.

<*На обороте:*>

Аркадию Осиповичу Россети.

В С. П. Бурге. У Пантелеймона. В доме Быкова.

## 1405. А. О. Смирновой

Ноября 20 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Наконец от вас письмецо, добрая моя! Благодарю вас, милый друг, за ваши молитвы и всегдашнюю память. Я очень понимаю, что если я живу на свете и всё обращается мне в добро, то, верно, это делается силою молитв людей, любящих меня. Я теперь в Неаполе, затем, что здесь мне как-то покойнее и отсюда я ближе к выгрузке на корабль.[3] Думаю пуститься в феврале. Но если слишком будет бурно, что (по словам моряков) случается особенно в феврале, то отложу до весны. Прежде у меня было в мысли говеть [и] быть во время Пасхи в Иерусалиме, потом побывать[4] во всех местах, ознаменованных святыми событиями. Теперь ничего другого не хочется, как только поклониться в тишине Святому Гробу, принеся на нем благодарность за всё, со мной случившееся,[5] испросить сил и мужества на свое дело и потом возвратиться прямо в Россию. Прошу вас, добрый друг, попросить всех умеющих молиться — помолиться о моем благополучном возврате. О вас я постараюсь молиться, как сумею. Но, признаюсь вам, молитвы мои так черствы! Я прежде думал, что я лучше молюсь, что я почти умею молиться временами. Но теперь вижу, что если не захочет Сам Тот, Которому молишься, никак нельзя помолиться. Но как бы то ни было, я произнесу мои слова, как бы ни были они бессильны, как бы ни было черство на душе и как

[1] Впрочем, в следующем году
[2] пр<очитать>
[3] *Далее начато:* Раньше
[4] и побывать
[5] *Далее было:* и помолиться о благополучном возврате в Россию

бы ни был неповоротлив ленивый, грубый язык. Я попрошу, кого встречу из умеющих. А вы успокойтесь, моя страдалица. Сложите тихо руки крестом, как младенец, и предайтесь доверчиво воле Того, Кто посылает вам страданье. Страданья эти только затем, чтобы выработалась получше душа ваша, и, когда это совершится, они потом удалятся. Так как вас всё еще занимает (судя по письму вашему) судьба моей книги, то я вам скажу еще раз[1]: не имейте ничего противу тех, которые против нее. Говорю вам искренно, что они мои благодетели. Без них я бы никогда не осмотрелся пристально вокруг себя, не взвесил самого себя и не созрел бы для моего труда. Ничего не бывает без смысла у Бога. И я очень благодарю Бога за то, что допустил явиться моей книге в свет, а с тем вместе допустил вооружиться[2] против нее. Но довольно.

Напишите мне сколько-нибудь об образе жизни своей и об образе жизни тех, которые вас окружают теперь. Хоть маленький листочек из вашего дневника! В Остенде я виделся с графиней Вьельгорской и ее дочерью, умницей Анной Михайловной. Море им помогло обоим. Там же я видел графиню Нессельрод и Мухановых. Разумеется, была речь и о вас, они вас все любят. Затем Бог да хранит вас. Прощайте и пишите, адресуя в poste restante.

Весь ваш Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Kalouga. Russie.
Ее Превосходительству Александре Осиповне Смирновой.
В Калуге.

### 1406. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

5/17 ноября 1847. Москва.

От Шафарика я получил известие, что от тебя не было к нему ничего. А я надеялся по твоему обещанию. Вот почему не люблю я твоих замечательных магнатов! От слова до дела далеко. Они хороши — поговорить вечером в теплой комнате, а предоставь им сделать что-нибудь, тогда и увидишь. И об чем дело? О какой-нибудь тысяче рублей для сугубо доброго дела, человеку достойному, известному! Каждый из них мог бы дать впятеро, а пятерым так пришлось бы по 200 р<ублей> асс<игнациями>. Стыдно и писать.

---

[1] скажу еще раз, что
[2] и вооружил

Мы все здоровы. Холера проходит. Действовала слабо и только на неосторожных. Для характеристики Москвы: Иверскую брали в 17 000 мест, и надо было записываться за две недели. С утра до вечера разъезжала она по городу, а петерб<ургские> журналы говорят, что Россия изжила свою религ<иозную> жизнь. Слава Богу — нет.

---

Посылаю тебе несколько моих последних отрывков. Желаю знать мнение о «Святославе».

---

Хомяков проехал чрез Москву, не видавшись ни с кем.

---

Аксаковых ты сильно огорчил. Если они виноваты, то идолопоклонством пред тобою. И не тебе за то наказывать. Мои отношения к ним также изменились внутренно, потому что у них стало два семейства в одном: старое и молодое, которого крайностей я не разделяю, а старики наоборот.

---

Чем дальше живешь, тем более убеждаешься, что, что... но об этом или много, или ничего.

---

Мои обстоятельства плохи. Прощай!

Твой М. Погодин.

Последнее письмо твое ко мне не понравилось: все как-то обращаешь ты внимание на пустяки, мелочи, а не на главное. Поймем мы себя и других, верно, не здесь. А понять непременно должно, след<овательно>, *Там* — есть.

### 1407. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

Петербург, 7-го ноября <1847>.

Мы оба, любезный Николай Васильевич, не спешили выполнить своего обещания писать друг другу, как скоро мы будем на месте, следовательно, я не спрашиваю у вас прощения, потому что вы столько же виноваты, как и я.

Мы приехали в Петербург 30-го сентября, нашего стиля, на «Владимире», после самого прекрасного и тихого, не совсем трехдневного мореплавания. Мы нашли здесь всех наших совершенно здоровыми. Софья Михайловна так потолстела, что больше на себя не похожа. Вы, которые столько любите, чтобы женщины были полны, сильны и свежего цвета лица, вы бы очень были бы довольны теперешней наружностью Софьи Михайловны. Муж ее до сих пор не воротился. Он все в деревне, занимается делами, которые не в завидном положении. В его отсутствие сестра всегда спокойнее и веселее; не знаю, как будет нынче, но я очень боюсь, что расстроенные дела ее мужа наведут на нее новые неприятности и беспокойствия. Она и Владимир желают уехать весной в деревню, чтоб остаться там, по крайней мере, год сряду и, может быть, и больше. Маменька, с другой стороны, не может об этом думать хладнокровно и говорит, что она не пустит сестру одну в деревню (с таким мужем). Я предвижу много неприятностей, но не надобно бояться напрасно: Бог все устроит, может быть, гораздо лучше, чем мы ожидаем, или ежели пошлет нам испытания, так Он даст нам силу вынести их. Собою я не слишком недовольна: с тех пор, как мы здесь, я все была спокойна и расположена всем наслаждаться и всем заниматься. Вы справедливо говорили, что рисование будет для меня очень полезно против уныния. Я все продолжаю рисовать с большой охотою и хочу непременно взять хорошего учителя pour faire des progrès en peu de temps. Я нетерпелива рисовать хорошо и быть в состоянии не копировать, а выражать свои собственные мысли.

Не могу кончить письмо мое, не давши вам известия о холере. Говорят, что она совсем не сильна в Москве и гораздо менее смертельна, чем месяц тому назад. В Петербурге она еще не показалась. Мы до сих пор имели самую нездоровую погоду, но с третьего дня пошел, к счастию, снег и мороз.

Ожидаю письмо от вас с нетерпением.

## 1408. С. П. Шевыреву

Неаполь. Декабря 2 <н. ст. 1847>.

Наконец от тебя письмо. Благодарю очень за вести. В них всё мне было любопытно. Весьма жалею, если моим письмом огорчил моего доброго Сергея Тимофеевича Аксакова. Но что делать? Ты видишь, что я именно уже как бы рожден на то, чтобы огорчать тех, которые меня наибольше любят. Уговор ведь у нас

был — писать всё, что ни есть на душе. Я писал, что в ней было. В письмах С<ергея> Т<имофеевича> было тоже не мало того, от которого бы другой огорчился. Но зачем же один я только не вправе огорчаться ничем, а прочие вправе огорчаться? Слово *размолвка* напрасно ты употребил. Храни Бог от размолвки даже с людьми, менее мне близкими, чем Аксаков! Что я меньше любил Аксаковых, чем они меня, это совершенная правда, и зачем мне это скрывать? Но дело в том, что я теперь больше люблю всё то, что достойно любви, чем когда-либо прежде; стало быть, неминуемо должно быть, что и любовь моя к друзьям моим стала большею, чем когда-либо прежде. Это также правда, и ее ты передай Сергею Тимофеевичу, если только он действительно на меня в неудовольствии. Но довольно об этом.

Замечание твое, что мои нервы страдают именно от климата неаполитанского, я не думаю, чтоб было справедливо; по крайней мере, я здесь чувствую себя не только лучше, чем в Германии, но даже, чем в Риме. Впрочем, попробую прожить в России. Очень был бы рад и почел бы за особенную милость Божию, если б климат наш пришелся мне теперь впору. Я очень соскучился по России и жажду с нетерпением услышать вокруг себя русскую речь. А тебя прошу заблаговременно отмечать для меня на особенной записочке всё то, что, по твоему мнению, мне нужно видеть и слышать, равно как и имена всех тех людей, с которыми мне следует познакомиться. Твой слепец, о котором ты упоминаешь, должен быть для меня очень потребный человек. Мне теперь особенно будут нужны беседы с теми людьми, которые могут подать мне сведения верные и *близкие* обо всех сословиях вообще, и особенно низших. Пожалуйста, не забывай также отмечать и всякие книжки, выходящие по этой части. Снегирева я получил; дивлюсь, как этого человека разбрасывает во все стороны! По дороге он никак не может идти, но, точно с похмелья, и вправо, и влево, повторяя несколько раз одно и то же. Нужно иметь четыре головы, чтобы его читать. Даже эту малую толику, которую он собрал в своей книге, трудно увидеть из его же книги. Летописи также получил и благодарю очень за всё это.

На замечанье твое, что «Мертвые души» разойдутся вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то, что это совершенная правда; но дело в том, что написать второй <том> совсем не безделица. Если ж иным кажется это дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся да и напишут его сами, совокупясь вместе, а я посмотрю, что из этого выйдет. Мне нужно

будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будет дать промах. Ты видишь (или, по крайней мере, должен видеть более прочих), что предмет не безделица и что беда, не будучи вполне готовым и состроившимся, приняться за это дело. Сделавши это дело хорошо, можно принести им большую пользу; сделавши же дурно, можно принести *вред*. Если и нынешняя моя книга, «Переписка» (по мнению даже неглупых людей и приятелей моих), способна распространить *ложь и безнравственность* и имеет свойство увлечь, то, сам посуди, во сколько раз больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступлю на сцену с моими живыми образами. Тут ведь я буду посильнее, чем в «Переписке». Там можно было разбить меня впух и Павлову, и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться. Словом, на все эти ребяческие ожидания и требования 2 тома глядеть нечего. Ведь мне же никто не хотел помочь в этом самом деле, которого ждет! Я не могу ни от кого добиться записок его жизни. Записки современника, или, лучше, воспоминанья прежней жизни, с окруженьем всех лиц, с которыми была в соприкосновении его жизнь, для меня вещь бесценная. Если б мне удалось прочесть биографию хотя двух человек, начиная с 1812 года и до сих пор, т. е. до текущего года, мне бы объяснились многие пункты, меня затрудняющие. Но довольно обо всем этом. Бог милостив, и у Него всё возможно. Может быть, мне будет дано здоровье, силы и возможность не полагаться ни на кого, высмотреть всё самому.

Я еще остаюсь в Неаполе до половины февраля, а в феврале думаю сесть на корабль, хотя, признаюсь, по малодушию моему сильно боюсь моря. Я страдаю ужасно от морской болезни, а пути почти одиннадцать дней, включая туда остановки по одному дню в Мальте, Александрии и Афинах. Со мной ни души: всё, что и собиралось прежде в Иерусалим, отложило поездку. Погодин даже не отвечал мне на мой запрос: едет ли он или нет в этом году? А потому я думаю, что он не едет. Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что я хоть немного лучше того, что я есмь. Я думал, что я подвинулся ближе к тому делу, за которым ехал в Иерусалим, я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога, если только помолятся мои земляки, люди той же земли, чтобы значили

что-нибудь мои молитвы. Теперь думаю: не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклоненье мое? Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильнее, и всё бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на трудности пути. Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях.

Вот какая мысль приходит мне часто на ум, а прежде она не приходила. Не показывай, пожалуйста, никому этой странички моего письма; покажи разве одной только старушке Над<ежде> Ник<олаевне> Шереметевой, если она будет обо мне спрашивать: она обо мне помолится в простоте сердца. Прочие будут выводить из этого всякие заключения и умничать...

### 1409. А. А. Иванову

Декабрь 5 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Давно уже я о вас не имею никаких вестей, Александр Андреевич. Пожалуста, уведомляйте меня от времени до времени о себе, о том, что делается, как *в вас*, так и около вас. Не опасайтесь от меня жестких писем, я их теперь даже и не сумею написать, ибо вижу[1], что если и нужно кого попрекать, так это больше *себя*, а не другого. Я живу в Неаполе довольно уединенно и мирно, несмотря на то, что живу в трактире. Как-то лень искать квартир, и я день за днем остаюсь[2] в Hôtel de Rome. С Софьей Петровной вижусь довольно часто. Полагаю прожить здесь до половины февраля, а в половине февраля сажусь на корабль с тем, чтобы пуститься в Иерусалим, а оттуда в Россию. Если встретите кого-нибудь из моих знакомых, приехавших в Рим, которые бы пожелали со мной видеться, то скажите им, что от их воли — заглянуть в Неаполь[3]. Узнайте, не отправляется ли кто также в Иерусалим около этого времени; в таком случае дайте ему мой адрес. Мне очень будет приятно иметь попутчика-земляка. Передайте при сем прилага<емое> письмецо Моллеру и будьте бодры духом и здоровы.

Н. Г<оголь>.

Адресуйте в Hôtel de Rome.

Не отправляется ли на Восток кто-нибудь из художников-архитекторов? Ему бы со мною было выгодно, притом и издержек меньше.

[1] тем более, что видишь

[2] живу

[3] *Далее начато:* Если кто

<*На обороте:*>

Rome.
Al signore signore Alessandro Iwanoff (Russo).
Александру Андреевичу Иванову.
Roma. Via Condotti. Caffe Greco. Vicina alla piazza di Spagna.

## 1410. М. П. Погодину

Декабря 7 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Что же ты, добрый мой, замолчал опять? Остановило ли тебя просто *нехотенье*[1] писать, *неименье*[2] потребности высказывать настоящее состояние твоего духа или оскорбило тебя какое-нибудь выраженье письма моего? Но мало ли чего бывает в словах наших? Мы ими беспрестанно оскорбляем друг друга, даже и не примечая того. Что нам глядеть на слова? Будем писать по-прежнему, как обещали, и станем прощать вперед всякое оскорбление. Мне очень многих случилось оскорбить на веку. Если мне не станут прощать *близкие* и великодушные, как же тогда простят *далекие* и малодушные? Чем далее[3], тем более вижу, как я много оскорбил тебя; могу сказать, что только теперь чувствую *величину*[4] этого оскорбления, а прежде и в минуту, когда я нанес это публичное оскорбление тебе, я вовсе его не чувствовал, я даже думал, что я поступаю так, как следовало мне. Странное, однако ж, дело, я не чувствую, однако ж, ни стыда, ни раскаяния. Я только люблю тебя больше, именно от<того>, что чувствую себя неправым перед тобою, точно как бы мне теперь хочется любить только тех, кто великодушнее меня. Твердое ли убеждение в том, что нет вещи *неисправимой*, и гордая надежда на силы, которые подаст мне Бог исправить промахи мои, — что бы то ни было, только я гляжу с каким-то бесстыдством в глаза всем тем, которых я оскорбил, а в том числе и тебе. Но довольно об этом. Пожалуста, напиши мне хоть несколько строчек о себе[5]. Возьмись за перо, даже хоть и нет расположения, мне теперь очень нужны письма близких мне. Вспомни, что я их долго[6] буду не получать, если выеду[7] в дорогу. Пиши, не дожидаясь моих ответов, до самого февраля

[1] нежел<анье>
[2] и неименье
[3] Чем более
[4] всю величину
[5] *Далее начато:* Пиши всё
[6] тем я их скоро
[7] не выеду

месяца. Пиши всякий раз, когда захочется тебе отвесть душу или станет тяжело. Не стыдись и малодушия твоего, поведай и его, если оно найдет на тебя. Ты скажешь дело знающему человеку. Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека, несмотря на то что есть действительно[1] способность быть великодушным. Но довольно. Жду с нетерпением о тебе известий. О себе скажу только то, что покаместь здоровьем слава Богу. Много, много произошло всякого рода вещей, явлений в моем внутреннем мире, и всё Божьей милостью обратилось в душевное добро и в предмет созданий точно художественных, если только даст Бог силы физические совершить то, что уже вызрело в душе и в уме. Я не сомневаюсь, что также и в тебе совершилось почти то же[2] или, по крайней мере, похоже<е>. Мне очень теперь хочется ехать в Россию, но замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и всё почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно. Не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно. Если нет внутреннего желанья, так сильного, как прежде, то все-таки следует хотя поблагодарить за всё случившееся, потому что случилось многое из того, что, я думал, без Иерусалима не случится: дух освежило, и силы[3] обновились... Но прощай до следующего письма.

Твой <Гоголь>.

Адресуй в Неаполь, poste restante.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.
Его высокородию Миха<и>лу Петровичу Погодину.
В Москве. На Девичьем поле. В собственном доме.

## 1411. Н. Н. Шереметевой

Неаполь. <Конец ноября—начало декабря (н. ст.) 1847>

Я виноват перед вами, добрый друг Надежда Николаевна. В оправданье вам ничего не могу другого сказать, кроме того, что «просто не писалось». Бывают такие времена, когда не пишется. О том, что далеко от души, говорить *не хочется*, о том же, что близко душе, говорить *не можется*, и пребываешь в молчаньи, сам не зная отчего. Я теперь в Неаполе; приехал сюда затем, чтобы быть отсюда ближе к отъезду в Иерусалим. Определил даже себе

[1] бывает иногда
[2] то же, должно <быть>
[3] силы на дело

отъезд в феврале, и при всем том нахожусь в странном состоянии, как бы не знаю сам, еду ли я или нет. Я думал, что желанье мое ехать будет сильней и сильней с каждым днем, и я буду так полон этою мыслью, что не погляжу ни на какие трудности в пути. Вышло не так. Я малодушнее, чем я думал, меня все страшит. Может быть, это происходит просто от нерв. Отправляться мне приходится совершенно одному; товарища и человека, который бы поддержал меня в минуты скорби, со мною нет, и те, которые было располагали в этом году ехать, замолкли. Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды, <а> я бываю сильно болен морскою болезнью даже и во время малейшего колебанья. Все это часто смущает бедный дух мой и смущает, разумеется, оттого, что бессильно мое рвенье и слаба моя вера. Если бы вера моя была сильна и желанье мое жарко, я бы благодарил Бога за то, что мне приходится ехать одному и что самые трудности и минуты опасные заставят меня сильней прибегнуть к Его помощи и вспомнить о Нем лучше, чем как привык вспоминать о Нем человек в обыкновенные и спокойные дни жизни. В последний год или, лучше, в последнюю половину года произошло несколько перемен в душе моей. Я обсмотрелся больше на самого себя и увидел, что я еще ученик во всем, даже и в том, в чем, казалось, имел право считать себя уже выучившимся и знающим. Это меня много смирило, вооружило большей осторожностью и недоверчивостью к себе и с тем вместе как бы охладило меня и в том, в чем бы я никогда не хотел охлаждаться. О, молитесь, мой добрый друг, чтобы росой божественной благодати оросилась моя холодная душа, чтобы твердая надежда в Бога воздвигнула бы во мне все, и я бы окреп, как мне нужно, затем чтобы ничего не бояться, кроме Бога. Молитесь, прошу вас, так крепко обо мне, как никогда не молились прежде. Я буду писать к вам еще, я хочу писать к вам теперь чаще, чем прежде. Бог да наградит вас за ваши молитвы обо мне и в сей и в будущей жизни.

Весь обязанный вам Н. Г<оголь>.

### 1412. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Покровское. Ноября 20. <1847>

По неизреченному милосердию Божию сподобилась приобщиться Святых Таин, да Сподобивший поможет и хранить сей дар на спасение души. Боже, милостив нам буди! О вас, мой друг,

как помнилось это время, Бог видит. Как вы близки моей душе, привыкшей дорожить вами и вашим спокойствием! А потому, мой друг, мне больно, так давно не имею от вас ни слова: В Москву пишу, осведомляюсь о вас, и никакого известия не имею. На последнее письмо ваше, которое получила в исходе июля, к вам 7 августа отвечала и по назначению вашему адресовала в Франкфурт в наше посольство. И с тех пор от вас, мой милой друг, ни единого слова не имею. По привязанности моей к вам такая неизвестность печальна. Все ждала, ждала, наконец 14 октября написала к вам в Неаполь — на это бы пора получить ответ. Думается о вас, здоровы ли и как поживаете. Господи, Тебе его вручаю, не остави его. Спаси и помилуй!

В столь важное и отрадное для души время хотелось хоть немного с вами, мой друг, побеседовать, и, как случится быть в Москве, там о вас узнаю и отправлю эти строки. Вы сближаетесь с отъездом к Святым Местам и чрез это мне еще как-то ближе становитесь, и как о вас думается и как от всего сердца просишь Милосерднаго Господа, да благословение Его сопутствует вам, и с Его Отцовскою помощию возможете свершить благополучно сие спасительное для души вашей путешествие. А что мне теперь пришло на сердце, скажу вам, мой друг и сын, мне Богом данной. Что до отъезду вашего, ради Христа, обдумайте и внутренно себя исследуйте, нет ли какой против кого бы то ни было неприятности. Ради Бога, все сбросьте с сердца, в котором должна водвориться[1] тишина и спокойствие, чтобы ничто не теснило душу, которая стремится поклониться Гробу Господню. Ох, не только в это время, но, мне кажется, вообще трудно существовать, имея что-нибудь на сердце против кого бы то ни было. Если мы не умеем для Бога и для ближнего очищать это сердце от всего неприятного, то собственно для себя необходимо все сбросить — чтобы свободно вздохнуть к Премилосердному Отцу нашему. По благости Его *должно* и *можно* убедиться в том, что на сем свете нет ничего, за что бы можно было продолжительно досадовать. В минуту оскорбления по слабости нашей что-то почувствуешь, но вслед за этим увидишь, что для собственного спокойствия необходимо, чтобы на сердце не было иного ощущения[2] относительно каждого, как только то, что долг христианской требует. Тогда идешь просто и прямо, повсюду ничто внутренно не теснит; мое дело не о том заботиться, кто ко мне каков, а дай Бог, чтобы я была ко

[1] *Было: <1 нрзб.>*
[2] *Далее было:* как

всем хороша, а если и случится по слабости нашей что сказать и тем ближнего оскорбить, то сознать свою ошибку есть истинное утешение. Сознание есть признак души высокой. Ох, Милосерд Господь! Как я заговорилась. Это все происходит от любви; кого любишь, свободно сердце все выскажет. Пора кончать. Оканчиваю здесь, не разлучаясь с вами, мой друг возлюбленной, и молитвою всегда соединяюсь и ею вас умоляю: если кто скажет или сделает какую неприятность, что за важность, отчего не стерпеть ради Христа, не вступайтесь за себя, а с смирением примите и возблагодарите Милосердного Господа, и по Его милосердию тотчас почувствуете душе отраду, которую[1] и передать словами нельзя, но глубоко познаете беспрерывное Его о нас Отцовское попечение. Я с вами простилась, и все продолжаю говорить. Прощайте, мой друг, обнимаю, благословляю, вручаю Отцу нашему. Пред Ним с любовию, мой друг, всегда о вас я вспоминаю. Господи, не остави его, настави и помоги творить Твою святую волю, тогда повсюду и со всеми хорошо. Если Бог благословит дожить до вашего возвращения, более нежели рада буду обнять возлюбленного мне и близкого по душе Николая Васильевича, которого еще благословляю. Христос с вами, мой друг, прощайте.

### 1413. М. И. Гоголь

Неаполь. Декабрь[2] 12 <н. ст. 1847>.

Очень давно я уже не получал от вас писем и не знаю, что с вами делается. Если вам некогда, почему же сестры не пишут? Уведомляю вас, что я остаюсь в Неаполе до февраля месяца. А в феврале думаю двинуться в путь, если Бог благословит его. Дорога мне предстоит не малая, езда почти всё морем, на котором я обыкновенно страдаю сильно от морской болезни. Притом на Востоке не мало затруднений всяких,[3] словом, — много всего того, что заставляет человека покрепче помолиться. А потому прошу и вас молиться обо мне усерднее, чем когда-либо прежде, во всё то время, покуда я буду в дороге. И если я возвращусь к вам, то считайте не иначе, как великой милостью Божией. Я так мало заслужил того, чтобы жизнь моя хранима была ангелами от всякого зла (по крайней мере, мне так временами кажется, в те минуты, когда гордость, всегда[4] сопровождающая человека,

[1] *В автографе:* которою
[2] фев<раль>
[3] затруднений всяких в дороге
[4] всегда почти

отступает от него)… Как бы то ни было, но я прошу вас теперь всех молиться обо мне крепко, как только можете. На это письмо вы еще можете написать ответ. Если не будете откладывать и отправите его тот же час, то оно меня застанет еще в Неаполе. Затем Бог да хранит вас всех! Обнимаю вас мысленно.

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>
Russie. Poltava.
Ее высокоблагородию Марии Ивановне Гоголь.
В Полтаве. Оттуда в д<еревню> Василевку.

### 1414. А. В. Гоголь

<12 декабря (н. ст.) 1847. Неаполь>

От Шевырева ты получишь несколько книг, которые ты должна будешь прочесть вместе с племянником, потому что они собственно для него. Но я бы хотел, чтобы ты их прочитала тоже. Они могут и тебя несколько навести на то, что именно нужно знать тому, кто бы захотел бы истинно честно служить земле своей. Тебе это нужно,[1] чтобы уметь внушить своему племяннику *желание* любить Россию и *желанье* знать ее. Прочитай особенно книгу самого Шевырева «Чтения русской словесности». Они тебя введут глубже в этот предмет, чем племянника, потому что он еще дитя, и ты будешь[2] потом в силах истолковать ему многое, чего он сам не поймет. Старайся также внушить ему, что на всяком месте можно исполнять свято долг свой, и нет в мире места, которое бы можно назвать было презренным. Всякое место может быть облагорожено, если будет на него благородный человек. Между[3] книгами одна будет Гуфланда «О жизни человеческой», ты ее передай Ольге. Это ее книга, так же как и прочие духовного содержания. Пожалуста, почаще экзаменуй племянника в тех науках, которые он учит в гимназии. Заставляй еще почаще изъяснять тебе, в чем именно состоит такая-то и такая наука и что в ней содержится. Проси его слушать повнимательнее преподавателей, чтобы пересказать потом тебе, уверь его, что ты многому и сама хочешь поучиться у него. Тебе это удастся, я знаю. Тогда тебе лучше откроется, что он такое и к чему именно есть у него способности. Старайся также доказать ему, что тот, кто *желает* учиться

[1] не мешает это знать
[2] можешь
[3] Вместе с

и быть полезным земле своей, тот сумеет научиться и у профессора не очень умного, а кто не имеет этого *желанья*, тот не научится ничему и у наиумнейшего учителя. Чтобы он не научился не радеть и о самой *науке* из-за того только, что *учитель* не совсем хорош. Но чтобы чувствовал, что тогда еще больше нужно *работать* самому, когда учитель не так хорош. Но довольно. Напиши обо всем, что тебе придет в ум по поводу этого письма.

*<На обороте:>*

Сестре Анне Васильевне Гоголь.

### 1415. Протоиерею Матфею Константиновскому

Неаполь. Декабря 12 <н. ст. 1847>.

При этом письмеце вы получите, почтеннейший и добрейший Матвей Александрович, 100 рублей серебром. Половину этих денег прошу вас убедительно раздать бедным, то есть беднейшим, какие вам встретятся, прося их, чтобы помолились они о здоровьи душевном и телесном того, который от искреннего желания помочь дал им эти деньги. Другую же половину, то есть остальные 50 рублей, разделить надвое: 25 рублей назначено на три молебна о моем путешествии и благополучном возвращении в Россию, которые умоляю вас отслужить в продолжение Великого поста и после Пасхи, как вам удобнее. 25 рублей остальные оставьте покуда у себя, издерживая из них только на те письма, которые вы писали или будете писать ко мне, равно как и те, которые получаете от меня и будете получать. Я вас ввел в издержки, потому что уже такое постановление: с тех не берут за письма, которые находятся за границей, за всё платят вдвойне те, которые остаются в России. Оттого и упала на вас одного тягость.[1] Еще раз прошу вас помолиться о благополучном путешествии моем и возвращении на родину, в Россию, в благодатном и угодном Богу состояньи душевном.

От всей души признательный вам за молитвы и добрые советы

Николай Гоголь.

Если вам придет добрая мысль написать ко мне, то адресуйте в Неаполь, poste restante, Николаю Васильевичу Гоголю. Я еще до февраля остаюсь.

[1] тягость издержания

## 1416. П. А. Плетневу

Неаполь. Декабря 12 <н. ст. 1847>.

Я думал, что по приезде в Неаполь найду от тебя письмо. Но вот уже скоро два месяца минет, как я здесь, а от тебя ни строчки, ни словечка. Что с тобой? Пожалуста, не томи меня молчаньем и откликнись. Мне теперь так нужны письма близких, самых близких друзей! Если я не получу до времени моего отъезда от тебя письма и дружеского напутствия в дорогу, мне будет очень грустно: предстоящая дорога не легка. Я стражду сильно, когда бываю на море, а моря мне придется[1] много. Я один; со мной нет никого, кто бы поддержал меня в пути в мои малодушные минуты, равно как и в минуты бессилья моего телесного. Если даже и письменного ободренья не пошлет мне близкая душа[2] — это будет жестоко. Ради Бога, не медли и напиши не один раз, но[3] два и три. Если, даст Бог, мы увидимся[4] в наступающем 1848 году[5], — поблагодарю за всё лично. До февраля я буду еще здесь. Адресуй в Неаполь[6], poste restante. А с тех же пор, то есть от половины февраля нового штиля, адресуй в Константинополь, на имя нашего посланника Титова. Денег посылать не нужно. Если не обойдусь с своими, то могу в Константинополе прибегнуть к займу[7]. Свидетельством о жизни, при сем прилагаемым, вытребуй следуемые мне деньги и сто (100) рублей серебром отправь в скорейшем, как можно, времени в город Ржев (Тверской губернии) тамошнему протоиерею Матвею Александровичу для передачи кому следует, присоединив при сем прилагаемое письмо, а остальные присовокупи к прежним. Будь здоров и, ради Бога, напиши ответ.

Весь твой Г<оголь>.

<*На обороте:*>

St. Pétersbourg. Russie.

Ректору императорск<ого> СПБ. университета, Его Превосходительству Петру Александровичу Плетневу.

В СПБурге. В университете, на В<асильевском> о<строве>.

[1] придется дела<ть>
[2] не даст мне близкий друг мой
[3] а даже
[4] *Далее начато:* тогда уже не нужны б<удут>
[5] в нынешнем наступающем году
[6] просто в Неаполь
[7] *Далее начато:* Посылаю

## 1417. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

<Между 5 и 10 декабря (н. ст.) 1847. Рим>

Очень приятно мне было чувствовать ваше письменное преобразование в отношении ко мне от 5 декабря. Вы просите обо мне вестей, и еще и письменно. Это последнее совершенно несообразно с моим настоящим положением. И потому, если неожиданный и необыкновенный случай не заставит Софью Петровну и вас двинуться в Рим прежде февраля, то я бы желал молчать, ибо в этом только нахожу мое спасение.

Здесь Герцен. Сильно восстает против вашей последней книги. Жаль, что я сам ее не читал, но то, что его ужасает, мне кажется очень справедливо. Племянница моя почувствовала ко мне глубокое уважение вследствие вашего обо мне там письма. Отец хотел посылать денег. Академия устыдилась и изумилась, и я полагаю, что вследствие сего <выслала> ко мне на полгода содержание. Григорович очень вами недоволен.

Написав это письмо, я никак не хотел посылать его к вам, сумневаясь, не сказал ли я вам чего-нибудь тут, могущего возмутить вас против меня, чего, однако ж, у меня совсем в намерении не было. Если вы найдете что гордым <или> хвастливым, то заметьте, но так, чтоб не оставалось ничего в вашей душе затаенного. Самый глубокий сердцеведец и знающий хорошо людей часто может ошибаться в письмах к самому близкому своему приятелю.

## 1418. А. А. Иванову

Неаполь. Декабр<я> 14 <н. ст. 1847>.

Благодарю вас за письмецо, несмотря на то, что в нем и немного говорите о себе самом. Бодритесь, крепитесь! Вот всё, что должен говорить на этой страждущей земле человек человеку! А потому, вероятно, и я сказал бы вам эти же самые слова, если бы вы что-нибудь написали о вашем состояньи душевном. Итак, вы правы, что умолчали. Софья Петровна с братом своим графом Александром Петровичем хотят в конце февраля быть к вам в Рим и, без сомнения, вас утешат и успокоят, сколько смогут. Но помните, что ни на кого в мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не похожий на путь других людей. *Совершенно* понять ваше положение никто не может, а потому и *совершенно* помочь вам никто не может в мире. Как вы до сих пор не можете понять хорошенько, что вам без Бога —

ни до порога, что и вставая, и ложась вы должны молиться, чтобы день ваш и наступил и прошел благополучно, без[1] помехи, чтобы Бог дал вам сил, даже если и случится помешательство, не возмутиться оттого. Но довольно об этом. Поговорим о прочем в вашем письме. Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках и о прочем. Я не знал, что вы не читали моего письма о вас. Я думал, что вы прочли всю мою книгу у Софьи Петровны в Неаполе. Если вы любопытны знать его, то посылаю его при сем, выдравши из книги. А книгу привезет вам Софья Петровна. Я не знаю, сделало ли мое письмо что-нибудь в вашу пользу, но, по крайней мере, в то время, когда я его писал, я был уверен[2], что оно у вас нужно. Но прощайте! Уведомьте меня, сделали ли вы что-нибудь относительно того почталиона, о котором я вас просил в Риме перед выездом моим.

Н. Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Roma. Italia.
Al signore signore Alessandro Iwanoff (Russo).
Александр<у> Андреев<ичу> Ивано<ву>.
Roma. Via Condotti. Caffe Greco. Vicina <al> la piazza di Spagna.

## 1419. А. В. Гоголь

<Между 12 и 18 декабря (н. ст.) 1847. Неаполь>

На письмо твое, сестра Анна Васильевна, я не отвечал, хотя был им доволен. Насчет племянника нашего скажу тебе, что мне показалось, будто в нем ни к чему нет особенной охоты. Я его совсем не спрашивал о том, в какую он хочет службу. Он — дитя и не может еще и знать даже, что такое служба, я думал[3] только, не вырвется ли как-нибудь в словах его любовь и охота к какому-нибудь[4] близкому делу, которое под рукой и о котором мальчик в его лета может иметь понятие. Но мысль[5] о дипломатии ни

[1] и без
[2] точно уверен
[3] хотел
[4] к чем<у-нибудь>
[5] Но заговорить

к чему не показывает наклонности.[1] Там большею частью праздные места и должности без занятий, куда назначаются только богатые и знатные люди, да и при том мало одного французского<ского> языка[2]. Нужно их знать много. Стало быть об этом нечего и думать. А ты внуши ему, по крайней мере, желанье читать побольше исторических книг и желанье узнавать собственную землю[3], географию России, историю России, путешествия по России. Пусть он расспрашивает и узнает про всякое сословие в России, начиная с собственной губернии и уезда: что такое крестьяне[4], на каких они условьях, сколько работают в этом месте, сколько в другом, какими работами занимаются. Что такое купцы и чем торгуют, что производит такой-то уезд[5] или губерния и чем промышляют в другом месте. Словом, нужно, чтобы в нем пробудилось желанье узнавать *быт людей*, населяющих Россию. С этими познаньями он может сделаться потом хорошим чиновником и нужным человеком государству. Ты можешь слегка приучать его к этому даже в деревне Васильевке. Например, в первую ярманку, какая случится у вас, вели ему высмотреть[6] хорошенько, каких товаров больше и каких меньше, и записать это на бумажке, скажи, что это для меня[7]. Потом пусть запишет, откуда и с каких мест больше привезли товаров и чьи люди больше торгуют и больше привозят. Это заставит его и переспросить, и поразговориться со многими торговцами. А потом может таким образом и в Полтаве замечать многое. Нужно, чтобы он не пропускал ничего без *наблюдательности*. Если в нем пробудится *наблюдательность* всего, что ни окружает, тогда из него выйдет человек, без этого же свойства он будет кругом *ничто*[8]. Вот всё, что почитаю нужным передать тебе по предмету племянника. Теперь о тебе самой лично. Мне кажется, что тебе как старшей сестре следовало бы кое-что заметить и смекнуть относительно, например, расходов, которые присылает мне Лиза[9]. Я не буду давать тут своих советов. Но замечу, однако ж, что есть люди, которые никак не в силах удержать

[1] *Далее начато:* Это просто

[2] хотя при всем том с языком

[3] в то же время Россию

[4] крестьяне помещ<ичьи>

[5] что производит такой-то уезд и что другой

[6] всю высмотреть

[7] хоть, положим, для меня

[8] *Далее начато:* Замечу тебе еще

[9] из счетов, например, о приходах и расходах, которым счеты присылает мне Лиза.

у себя денег, хотя и не тратят их по-пустому; если у них в кассе завелась копейка, уже они неспокойны и думают, как бы пристроить[1] поскорее эту копейку. Триста рублей у них будет, например, в этот месяц в приходе — все триста издержат до последней копейки. Тысяча рублей будет в приходе — вся тысяча также издержится. Как иногда не подумать:[2] ну да если бы не тысяча, а триста рублей только я получила в этом месяце, ведь я бы была без целых семисот рублей, стало быть, эти семьсот могут быть и не издержаны[3], хотя, конечно, я лишусь многих нужных вещей. Мне, например (я говорю о себе), если приходится уплочивать большую сумму в конце года, я употребляю уже все силы, чтобы во всяком месяце от расхода было в остатке хотя четверть прихода, и этих денег[4] ни за что не трачу, хоть будь наинужнейшая вещь. Но у вас тоже как только явятся деньги, сейчас давай думать, куда бы их тот же час пристроить. Никто никак не вытерпит, чтобы они просто полежали. Я, например, послал маминьке и сказал, чтобы тысячу из этих денег отложить на уплату податей. Маминька давай думать тот же час, куды бы деть эти деньги, и придумала их наместо уплаты податей на церковь. Новая экстренная и непредвиденная издержка! Давай сделать каменный пол в церкви. Эти вещи хорошо делать уже тогда, <когда> необходимейшее сделано. О церкви, конечно, прежде всего следует подумать, но о каменном ли помосте[5] речь? Прихожане могут помолиться и на деревянном. Вопрос, как они молятся и умеют ли молиться, об этом прежде следует хлопотать. Помощь бедному — другое дело. Иоанн Златоуст велит для этого продавать даже и утвари церковные. Упоминаю об этом для того, чтобы показать тебе делом, как часто[6] случается вам издерживать на то, на что уже можно только потом издерживаться, когда уже самое необходимейшее сделано. Например, вас три хозяйки в доме и с маминькой четыре. И вы, уже не говоря о том, что не в силах управиться одни в имении, в котором не больше двухсот душ, вы не в силах управиться в собственном дворе и доме. Нужно[7] было нанимать домоводку и платить ей триста пятьдесят рублей в год. Это не бездельная сумма[8]. Подобная сумма в мое время

[1] уже неспокойны, куды бы пристроить
[2] не взять, например, в соображен<ие>
[3] ост<анутся>
[4] и уж этих денег
[5] поле
[6] много
[7] Нужно еще
[8] *Далее начато:* [Я помню, что] Эта сумма

платилась только управителю, который целый <день> был в поле и таскался при работах с мужиками, да и от этой суммы охала васильевская экономия. Как же в самом деле этак жить? Поступая в таком смысле и духе, вечно будешь в нужде, хотя бы я вдвое получал больше денег. Пожалуста, не принимай это за упрек, но обдумай сама хорошенько и сообрази. Не забывай, что маминька тебя любит, что ты можешь иметь на нее влияние и можешь остановить от иного. Скажи Ольге, что я к ней буду писать и пришлю ей несколько денег на раздачу бедным и на отслуженье нескольких молебней о моем благополучном путешествии и возвращении в Россию. Затем прощай, обнимаю тебя.

Твой брат.

<*На обороте:*>

Сестре Анне Васильевне.

### 1420. С. П. Шевыреву

Декабря 18 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Письмо мое от 2 декабря ты уже, без сомнен<ия>, получил. Хочется еще поговорить с тобой. Я прочел вторую книжку твоих лекций. Она еще значительней первой, это ты чувствуешь, вероятно, и сам. В ней *ощутительней и ближе* показывается читателю дело. Но и в ней проглядывает *поспешность* поделиться с читателем всем, даже и тем, что еще для самого себя видится несколько в отдаленной перспективе, — общий порок всех, идущих вперед людей! Что для себя еще перспектива, пусть и останется в себе. Говорить нужно только о том, к чему уже пришел совершенно. Увы! я узнал это на опыте. Еще, мне кажется, не нужно читателю говорить[1] вперед о всей огромности того горизонта, который намерен захватить своею книгою. Лучше высказать ему *словесно* скромнейшее и более частное намерение, а книга пусть ему сама собой обнаружит этот горизонт.[2] Мне кажется, можно было не говорить вперед: «Я хочу показать *всего* русского человека в литературе», разве прибавивши: «насколько он в ней выразился». А, вместо того, просто раскрыть своей книгой действительно всего русского человека, как ты, вероятно, и сделаешь, но что не всякий может покуда смекнуть даже из тех, кому нравится твоя книга. Ты не можешь себе представить, как сердит всякого человека, не дошедшего до нашей точки зрения, похвальба открыть то, что

[1] показывать

[2] горизонт, больший того, который он ожидал

ему еще не открыто и чье существование, разумеется, он должен отвергать как несбыточное. Его бесит это, как бесит ложь[1], проповедываемая с видом истины, и бесит еще более, когда он видит, как увлекаются другие. Увы! весь неуспех доброго дела от нас, и всему виноваты мы сами. Как трудно умерить себя! Как трудно сделать так, чтобы в твореньи нашем дело выступало *само* и говорило собою, а не *слова наши* говорили о деле! Как трудно также уберечься от этих двух-трех выходок, которые проскользнут где-нибудь в книге, на которые упершись, читатель уже подымает войну противу всей книги! А человек так всегда готов, выражаясь не совсем опрятной пословицей: «рассердясь на вши, да всю шубу в печь!» Мне особенно понравилось, что ты развил в своей книге мысль о *безличности* наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе. По прочтении твоей книги передо мною обнаружилось еще более мое собственное безрассудство в моей «Переписке с друз<ьями>».[2] Я уже давно питал мысль — выставить на вид свою *личность.* Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них,[3] то этим придам духу другому не пощадить также самого себя. Я совершенно упустил из виду то, что это имело бы успех только в таком случае, если бы я сам был похож на других людей, то есть на большинство других людей. Но выставить себя в образец человеку, не похожему на других, оригинальному уже вследствие оригинальных даров и способностей, ему данных, это невозможно даже и тогда, если бы такой человек и действительно почувствовал возможность[4] достигать[5] того, как быть на всяком поприще тем, чем повелел быть человеку Сам Богочеловек. Я спутал и сбил всех. Поэтические движения, впрочем сродные всем поэтам, все-таки прорвались и показались в виде чудовищной гордости, несовместимой никак с тем смиреньем, которое отыскивал читатель на другой странице, и ни один человек не стал на ту надлежащую точку, с которой следовало глядеть на эту загадочную книгу. Гляжу на всё, дивлюсь до сих пор и думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состояние без этой публичной

[1] потому, как ложь

[2] Это было, между прочим, причиною, того, что передо мною обнаружилось еще более мое собственное безрассудство, которое я так ярко обнаружил в моей книге.

[3] Я думал, что я <...>

[4] возможность на всяком <поприще>

[5] исполнять

оплеухи, которою я попотчевал самого себя в виду всего русского царства. Только теперь чувствую силу того, что говоришь в книге твоей[1] о личности писателя. Прежде я бы не понял и долго бы из-за моих героев[2] показывал бы непережеванного себя, не замечая и сам того. Напиши мне, пожалуста, как идет в продаже твоя книга и сколько экземпляров[3] было напечатано. Затем к тебе просьба вот какая. Пошли из моих денег, выручаемых за «Мер<твые> души», сто рублей ассигнациями, при следуемом здесь письмеце, сестре Ольге, если можно, не откладывая времени. А на другие *сто* рублей ассигнациями накупи книг такого рода, которые могли бы отрока[4], вступающего в юношеский возраст, познакомить сколько-нибудь с Россиею (отрока лет тринадцати), как-то: путешествия по России, история России и все такие книги, которые без скуки могут познакомить собственно со *статистикой* России и *бытом* в ней живущего народа, всех сословий. Я не знаю и не могу теперь припомнить, что у нас выходило хорошего по этой части. Но нельзя, чтобы не вышло чего-нибудь в последние года, где бы посущественней и поближе показывалось внутреннее состояние государства[5] и что могло бы легко и с интересом читаться детьми[6]. Начни тем, что купи у самого себя лекции русской литературы, вышедшие доселе выпуски, и записки твоего путешествия, если только они выйдут (я жду их[7] с большим аппетитом: мне кажется, что эта книга будет больше для меня, чем для всякого другого[8]). Купивши все такие книги, уложи их в ящик и отправь в Полтаву на имя сестры моей Анны[9]. Прости, что обременяю тебя такими скучными хлопотами и пользуюсь безгранично твоей добротой. У меня есть племянник, почти брошенный мальчик, которому получить воспитанья блестящего не удастся, но если в нем чтеньем этих книг возбудится *желанье* любить и знать Россию, то это всё, что я желаю; это, по-моему, лучше, чем если бы

[1] Только теперь, вследствие всего этого события, я могу [по]чувствовать во всей силе всю необходимость того, что проповедует твоя книга, скрыть

[2] Прежде я бы не понял этого, как следует, и долго бы в моих героях

[3] экземпляров ее

[4] юношу

[5] *Далее начато:* [и которое бы при этом] Другое условие, чтобы книги

[6] юношеством и детьми

[7] я жду их читать

[8] другого русского

[9] *Дальше было:* которой также прилагаю при сем письмецо

он знал языки и всякие науки. Об участи его я тогда не буду заботиться: он, верно, и сам пойдет своей дорогой и будет добрым служакой где-нибудь в незаметном уголку государства. А этого и предовольно для русского гражданина. Всё прочее может поселить только заносчивость в бедном человеке. Присоедини[1] к этому русский перевод Гуфланда о сохранении жизни. Он существует. Поручи книгопродавцам его отыскать. У меня есть одна сестра, которая воспиталась сама собою в глуши. Языка иностранного не знает. Но Бог наградил ее чудным даром лечить и тело, и душу человека. С семнадцатилетнего возраста она отдала себя всю Богу и бедным и умерла для всего другого в жизни. Она лечит с необыкновенным успехом всякими травами, которых целебное свойства открыла сама[2], и часто молит Бога, чтобы заболеть[3], затем чтобы испытать на себе самой новые придуманные ею средства[4]. Читать ей медицинских книг не следует; пусть ее ведет натура. Но ей нужна такая книга, которая бы дала ей ближайшее понятие вообще о природе человека, как в нем движется кровь, как переваривается пища, и прочее. Пожалуста, спроси какого-нибудь умного врача, нет ли у нас на русском такой книги, которая бы могла быть по этой части доступна простолюдину, а не какому-нибудь ученому и воспитанному человеку, в которой была бы полная и коротенькая, понятная самому дитяти *анатомия* человека. Если что найдется по этой части, то, пожалуста, приложи к посылке, надписавши на книге: «Ольге Васильевне», чтобы она не замешалась с другими. Еще пошли ей же лучшее, какое у нас вышло, изъяснение Литургии. Ты, верно, это знаешь. Не сердись на меня, мой добрый, за мои просьбы. Не забывай меня, пиши, пиши, как можно чаще. Ради Бога, пиши.

Твой Г<оголь>.

При сем следует также письмецо к Серг<ею> Т<имофеевичу> Аксакову. Хотя я уверен, что неудовольствие его на меня прошло, но тем не менее пусть он из этих строк увидит, что совсем не нужно давать серьезного, строгого толкования многим нашим словам, которые вырываются весьма часто без расчета и намерения.

Адрес мой просто: в Неаполь, poste restante.

[1] Присоедини еще
[2] она сама
[3] заболеть самой
[4] свойства

Если хватит денег, то, пожалуста, присовокупи к книгам новую, недавно вышедшую книгу[1] Иннокентия, в которой, говорят, очень хорошие поучительные слова, и книгу «Новая скрижаль»[2] преосв<ященного> Вениамина. На всех таковых книгах надпиши: «Ольге Васил<ьевне> Гоголь». А весь ящик адресуй Анне Васильев<не>. Письмо же с деньгами на имя Ольги Вас<ильевны> прошу тебя отправить вперед и, если можно, немедля.

<*На обороте:*>

Moscou. Russie.

Профессору императорск<ого> Московского университета Степану Петровичу Шевыреву.

В Москве. Близ Тверской. В Дегтярном переулке.

В собственн<ом> доме.

## 1421. С. Т. Аксакову

<18 декабря (н. ст.) 1847. Неаполь>

Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел его вам показывать, опасаясь им расстроить вас. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хотя бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это[3] ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который[4] без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, — выйдет[5] пресное молоко. В письме моем к вам я сказал[6] сущую правду: я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти[7]. Но любить коголибо особенно, предпочтительно я мог только из *интереса*. Если кто-нибудь доставил мне *существенную пользу* и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения

[1] новую какую-то книгу
[2] *В подлиннике:* скрыжаль
[3] это в сво<ем>
[4] который бы
[5] это выйдет
[6] между прочим, я сказал
[7] к ненависти я не был способен

или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать? вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать? может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим, хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас! Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было[1]? Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше[2], нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это *любовь во Христе*. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда[3] невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают[4], что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются *чужим*, как своим *собственным* добром. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке!

Весь ваш Г<оголь>.

<*На обороте:*>

Сергею Тимофеевичу Аксакову.

### 1422. О. В. Гоголь

<18 декабря (н. ст.) 1847. Неаполь>

Я от тебя тоже давно не имею писем, любезная сестра моя Ольга. Отчего ты не пишешь? Ты не должна глядеть на других и брать с них пример, ты должна всегда писать ко мне. Посылаю тебе 100 рублей ассигнациями; половина из них, то есть 50 рублей,

[1] к чему-нибудь насильно
[2] побольше
[3] часто
[4] обманываются и думают

на раздачу бедным, а другая половина на отправленье в разных местах (где получше молятся) молебней о моем благополучном возвращении в Россию в здравьи и в состояньи духа, угодном Богу. Молись и ты обо мне покрепче. В Москве я поручил выслать несколько книг сестре Анне, между ними будет одна о сохранении жизни человека Гуфланда.[1] Эта книга полезна[2] тебе тем, что познакомит тебя получше с натурой человека, что тебе очень нужно знать в таких случаях, когда придется лечить человека.[3] Затем обнимаю тебя и жду обстоятельного уведомления о получен<ии> всего этого.

Твой брат.

Я просил также Шевырева прислать тебе две-три книги духовного содержания. А покуда рекомендую также и тебе прочесть книгу самого Шевырева «Чтения русской словесности». Это очень важная и полезная книга, написанная человеком истинно верующим и любящим Бога.

<*На обороте:*>

Ее высокоблагородию Ольге Васильевне Гоголь.
В Полтаву. А оттуда в село Васильевку.

## 1423. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

<Между 14 и 28 декабря (н. ст.) 1847. Рим>

Как не закаивался я ни к кому не писать писем, но ваша статья обо мне насильно водит перо и руку.

Целую и обнимаю вас в знак совершенного с вами замирения и возвращаюсь опять в то положение, когда, смотря на вас с глубочайшим уважением, верил и покорствовал вам во всем. Я вполне был всегда уверен, что посредником между художниками и высшим начальством, кроме вас, никто не может быть. Чем скорее вы тут будете, тем менее мы понесем страданий, которые, за неимением такого человека, как вы, обрушиваются на лучших, а в особенности на меня. Могу еще желать, чтобы вы это прочитали Софье Петровне <Апраксиной>.

Одно мне позвольте возразить против следующих слов вашей статьи: «*Иванов ведет жизнь истинно монашескую*». И очень бы не отказался иметь женой монахиню — женщину, занятую преследованием собственных своих пороков!

[1] *Далее начато:* и еще две или три духовного со<держания>
[2] будет полезна
[3] *Далее начато:* Я послал

Я опять испугался людей, чувствую себя несколько расстроенным и потому боюсь в этом положении являться обществу. Вот почему и к Г<ерцену> нейду. Новое политическое состояние Рима требует большого времени, чтобы заметить важные и истинные плоды.

Книга ваша ходит здесь по рукам, и я бы мог ее достать у Раевских, но я не был у них с начала их приезда, и это-то меня уже сильно от них отстраняет. Удивляюсь доброте Софьи Петровны: решилась изувечить свою книгу для меня. Пожалуйста, принесите ей за это мою искреннейшую благодарность.

Почтальона навещал в лазарете,[1] по выходе его оттуда; выдал ему сначала три, а после еще два наполеондора. — Через несколько дней он приходил жаловаться, что потерял на дороге последние два.

### 1424. А. А. Иванову

Неаполь. Декабр<я> 28 <н. ст. 1847>.

Очень рад, что мое письмо о вас показалось вам удовлетворительным. Великодушью Софьи Петровны не удивляйтесь: я вырвал его из собственного экземпляра. Вы получите[2] целиком и всю книгу, которою можете даже и подтереться. Нападенья на книгу мою отчасти справедливы. Я ее выпустил весьма скоро после моего болезненного состояния, когда ни нервы, ни голова не пришли еще в надлежащий порядок. Я поторопился точно таким же образом, как любите торопиться вы, и впутался в дела[3] прежде, чем показал на это право свое. Нужно было не соваться прежде, чем не сделаешь свое *собственное дело*, и копаться около него, закрывши глаза на всё, по пословице: «Знай, сверчок, свой шесток»! Этой поспешностью я даже повредил многому тому, что хотелось защитить. Книгу вашу я отдал Колонне. Странная судьба бедного почтальона. Жаль, что вы не пишете, пострадал ли он или нет, то есть выгнан на улицу или есть у него какой-нибудь угол. Я на всякий случай написал письменное изъяснение, при сем прилагаемое, которое прошу вас вручить начальству, если только с него требуют и взыскивают убытки, а он невинен. Если он, точно, беден и ему действительно нечем жить, то возьмите у Моллера из моих денег 100 франков. Из них дайте себе

[1] потом
[2] его получите
[3] в постор<онние> дела

два наполеона, а остальные 60 дайте ему, но в виде скудь римскою монетою. Напрасно вы дали ему[1] наполеонами. Серебром, может быть, он бы не потерял. Скажите Моллеру, чтобы остальные 600 он хранил у себя до моего свиданья с ним. Если ж так случится, что меня где-нибудь на моем странствии настигнет смерть, что всё от Божьей воли, то эти деньги пусть остаются в запас на помочь такому из русских художников, которому придется слишком круто и решительно будет неоткуда взять денег. Скажите также Моллеру, что я пред ним виноват: порученности его не исполнил. Впрочем, я буду к нему на днях писать. Каковы нынешние ваши обстоятельства — смущенья и заботы, я этого не знаю, но, вероятно, и смущенья и заботы[2] в изобилии, как у всякого очень чувствительного человека. Во всяком случае, скажу вам то, что говорю самому себе, что осталось в результате от всей моей опытности и мудрости, какие только пребывают[3] в моей бедной голове!

Работая свое дело, нужно твердо помнить, для кого его работаешь, имея беспрестанно в виду того, кто заказал нам работу. Работаете вы, например, для земли своей, для вознесенья искусства, необходимого для просвещения человека, но работаете потому только, что так приказал вам Тот, Кто дал вам все орудия для работы. Стало быть, заказыватель Бог, а не кто другой. А потому Его Одного следует знать. Помешает ли кто-нибудь — это не моя вина, я этим не должен смущаться, если только действительно другой *помешал*, а не я сам себе *помешал*. Мне нет дела до того, кончу ли я свою картину или смерть меня застигнет на самом труде; я должен до последней минуты своей работать, не сделавши никакого упущенья с своей собственной стороны. Если бы моя картина погибла или сгорела пред моими глазами, я должен быть так же покоен, как если бы она существовала, потому что я не зевал, я трудился[4]. Хозяин, заказавший это, видел. Он допустил, что она сгорела. Это Его воля. Он лучше меня знает, что[5] и для чего нужно. Только мысля таким образом, мне кажется, можно остаться покойным среди всего. Кто же не может таким образом мыслить, в том, значит, еще много есть тщеславия, самолюбия, желанья временной славы и земных суетных помышлений. И никакими средствами, покровительствами, защищениями не спасет он себя от беспокойства.

[1] Охота же вам была давать
[2] они у вас
[3] находятся
[4] *Далее начато:* Мое же
[5] что кому

Вот весь итог посильных наблюдений[1], опытности и мудрости, какие только я мог вывести[2] из своей жизни. Передаю его вам в виде подарка на новый наступающий <год> и душевно желаю вам всякого добра.

Ваш Н. Г<оголь>.

Поклонитесь от меня Бейне и расспросите его, как он ехал из Байрута в Яффу, а из Яффы в Иерусалим. Во сколько дней? С[3] какими удобствами и неудобствами? Попросите его, чтобы он написал небольшую об этом записочку. Это будет лучше.

Всего лучше, если увидите почтальона, отправьте его прежде всего к Иордану, который умеет расспрашивать. Пусть он узнает все его обстоятельства. И если окажется, что почталион просто дурак и сам виноват, то лучше дать деньги или матери, или тому, кто его кормит.

*<На обороте:>*
Roma. Italia.
Al signore signore Alessandro Iwanoff (Russo).
Александру Андреевичу Иванову.
Roma. Caffe Greco nella via Condotti. Vicina <al>la piazza di Spagna.

### 1425. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Москва. Декабря 10. <1847>

Я сюда приехала, мой друг, проведать внука Якушкина, которой в здешнем университете. Нынешний год кончил курс кандидатом и отправился за границу. Дай Бог ему с пользою свершить свое путешествие, а признаюсь, что грус<т>но с ним было разлучаться. Так обжились они в моем слабом сердце, которое прошло сквозь много скорбей, иные и теперь продолжаются, то разлука с ним чувствительна. От его рождения и доселе все были вместе с ним и с братом его, которой поехал в Петербург на службу. Кажется, и не доживешь до их возвращения. В прошлом году мать их схоронили, из милого семейства никого не осталось. Дай Бог, чтоб им было хорошо повсюду, — буди воля Божия во всем и в нас, а нам пошли, Господи, и уменье и желанье повиноваться этой святой благой воле, все на пользу нашу устрояющей, на пользу души нашей. Боже, милостив нам буди и помоги чувствовать все Твое о нас Отцовское Попечение. Милосерд Господь,

[1] моих наблюдений
[2] какие только во мне пребывают
[3] и с

я более, нежели кто-либо, должна сие чувствовать. Он наградил меня таким сыном, которой во всю жизнь свою кроме радости ничего мне не доставлял. Теперь имеет свое семейство, жена, шесть человек детей, а меня в моей старости все так же бережет, с тою же любовию и дружеством, воздай ему, Господи, в его детях, а мне помоги, мой Боже, вполне чувствовать все благо, от Тебя ниспосланное, и благодарить. Вот как я с вами, мой друг, о своей семье заговорилась. Дай Бог, чтобы сие нашло вас покойных. Как будете сбираться в дальней путь, заблаговременно напишите, чтобы мне вас проводить молитвою и в ней с вами не разлучаться. Донеси вас Господи до места, и там, мой друг, вспомните о человеке, которой с вами не разлучается с минуты, как в первой раз с вами встретилась. Вот, этому уже с лишком пять лет. Христос с вами, подвизайтесь! Посылала к Степану Петровичу Шевыреву, спрашивала о вашем адресе, и по полученному от него пишу. А вы, мой друг, ко мне подпишите: *в Москве*, на В<о>здвиженке, в доме графа Шереметева. Прощайте, мой друг, мой возлюбленной сын, Богом мне данной. Прощайте, обнимаю, благословляю вас, и до смерти принадлежу вам с любовию и дружеством душею преданная. Прощайте. Спаси вас Господи!

Христос с вами!

Когда граф Александр Петрович с вами и когда припомнит обо мне, скажите мое почтение. Мы мало знакомы, а с сыном моим он очень был знаком. Еще прощайте, еще вас благословляю, вручаю Богу, и в Нем, дай Бог, во веки не разлучаться. Христос с вами! Ради Бога о себе пишите, мне нужно знать о вас. Христос с вами!

### 1426. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Москва. Декабря 18. <1847>

Письмо ваше, мой возлюбленный друг, я получила 14 дека<бря>, и тотчас вам отвечала, а теперь доброй и почтенной Степан Петрович к вам собирается писать; пользуюсь сим случаем, еще хоть немного с вами, мой друг, побеседовать хочется. Ради Христа, берегите себя, не смущайтесь и от сего вредного спасению нашему чувства[1] ограждайтесь молитвою. И в том письме и здесь все одно говорю, оттого что все одно относительно вас чувствую и всегда единого вам желаю, чтобы вы с помощию

[1] *В автографе:* чувству

Божиею хранили душу в спокойствии, тогда легко жить и удобно помышлять о том, куды по Его же Милосердию душа ваша стремится. И помоги вам Господи заботиться о спасении вашем. Предавшись сему, остальное все будет хорошо. Ох, мой милой друг, не умею и передать, как думается о вас и что за вас чувствуется, и как больно сердцу знать вас в смущении, и когда подумаешь, что нет на сем свете, нет ничего[1] для чего бы нарушать спокойствие, которое всегда придает душе силу и возможность все встречающее<ся> принимать и переносить с должною любовию и благодарностию к Тому, Которой все нам на пользу посылает. Ради Христа, не смущайтесь неприятностями, которые вам кто скажет или против вас что напишут. Если вы заслужили это, примите с покорностию, а если напрасно, пожалейте о нем, что он ближнего огорчает, и помолитесь за оскорбляющего вас, и вам будет легко. Как милосерд Господь, ниспослав столько утешения в религии, которая со всеми нас сближает и помогает все ближнему отпускать и за него молиться. Мне кажется, христианину непременно надобно заботиться об очищении сердца. Тогда радостно всякого извинишь и за него помолишься[2]. Если мы не умеем этого сделать для Бога и ближнего, то собственно для себя необходимо все сбросить с сердца, чтобы внутренно ничто не теснило. Тогда свободно вздохнешь к Богу и О<тцу>[3], где душа скорбная всегда найдет отдохновение и даже утешение. Молитесь, Христа ради, молитесь и будете покойны. Из Франкфурта в июне ко мне писали и сердечно меня порадовали, что после этих тревог сильнее хочется в Иерусалим. Помоги вам Господи свершить это путешествие, и я уповаю на Отца Небесного, что приобре<те>те душе блаженство. А в сем состоянии легко, отрадно. И кончаю. Не думала так долго вас задержать. Прощайте, мой милый друг, обнимаю, благословляю вас, вручаю Богу, и в Нем вам до смерти принадлежу с любовию и дружбою душею предана. Христос с вами! И, ради Христа, берегите себя. Прощайте, пишите, ради Бога, извещайте о себе. Еще вас благословляю. Прощайте, мой друг.

*<На обороте:>*

Николаю Васильевичу Гоголю.

[1] *Далее было:* что бы

[2] *В автографе:* помолисся

[3] *Окончание слова утрачено.*

## 1427. Н. Н. Шереметевой

<Конец декабря (н. ст.) 1847. Неаполь>

Благодарю вас, мой добрый друг, за письмецо ваше. Слова ваши и утешения такого рода, что я должен повторять их в себе ежечасно и ежеминутно. Молитесь же Богу о том, да совершается во мне святая воля Его, да с терпеньем, кротостью и послушаньем выношу все, что угодно Ему ниспослать, в несокрушимой и твердой вере, что только одним таким путем могу достигнуть к той цели, к которой Им же повелено мне стремиться. Молитесь Богу, да воспламенится дух мой весь к Нему любовью безграничной, всепоглощающей, всеумиряющей и побеждающей все, что бывает трудно победить, и да пребудет Бог милостив и внимателен вечно и к вам и к вашим молитвам.

Поздравляю вас с наступающим годом. Молюсь о вас, да награждены вы будете в нем высокими внутренними наслажденьями. Помолитесь и обо мне, да награжден я буду в нем также высокими внутренними наслажде<ниями> во славу Божию и в спасение душ, как других, так и моей собственной.

Весь ваш Г<оголь>.

*<На обороте:>*

Надежде Николаевне Шереметьевой.

## 1428. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

*Отрывок*

<1846–1847>

Я в восхищении от Тоски души!

# Комментарии

# Переписка 1847

**1199. П. А. Плетневу**

Ответ Плетнева от 17/29 января 1847 г. — № 1237.

*Письмо твое (от 21 ноя<бря> / 3 декаб<ря>)...* — Письмо № 1193 к стр. 7
в т. 13 наст. изд.

*Гедеонов* — Александр Михайлович. к стр. 8

**1200. А. А. Иванову**

*За мои два письма, несколько жесткие, не сердитесь.* — Письма к стр. 15
от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.).

**1202. П. А. Плетневу**

Ответ П. А. Плетнева от 4/16 апреля 1847 г. — № 1305.

Письмо было отправлено через графа В. В. Апраксина вместе с письмами № 1203–1206.

*Назад тому неделю я написал к тебе письмо...* — Письмо к стр. 16
П. А. Плетневу от 5 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1199).

*...я решился написать письмо к Государю...* — Письмо к Госу- к стр. 17
дарю Императору Николаю Павловичу от 15–16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1205).

**1203. Графине А. М. Виельгорской**

Письмо было отправлено через графа В. В. Апраксина вместе с письмами № 1202, 1204–1206.

*Попросите Плетнева, чтоб он познакомил вас с своей до-* к стр. 19
*черью...* — Дочь Плетнева, Ольга Петровна (1830–1852), рано лишилась матери. Воспитательницей ее была писательница А. О. Ишимова. А. М. Виельгорская исполнила просьбу Гоголя. См. письма № 1305 и 1330.

**1204. Графине Л. К. Виельгорской**

Впервые напечатано (без вариантов) по автографу в статье: Письма Гоголя к Д. Е. Бенардаки, к княгине В. Н. Репниной, графине Л. К. Вьельгорской, к графу В. А. Соллогубу и к его супруге. (Сообщено М. А. Веневитиновым) // Русский Архив. 1902. № 4. С. 728–730. Печатается по автографу: *Архив СПб ФИРИ РАН.* Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 36. 2 л. (213 × 141).

Письмо было отправлено через графа В. В. Апраксина вместе с письмами № 1202–1203, 1205–1206.

к стр. 20 *...письмо к нему...* — Письмо № 1205.

*Письмо это подайте ему вы, если другие не решатся.* — Просьба Гоголя осталась не исполненной. Позднее, 27 марта (н. ст.) 1847 г., Гоголь писал графу Мих. Ю. Виельгорскому: «...добрую графиню прошу не беспокоиться и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не исполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать» (№ 1281).

*...мою просьбу Государю...* — Письмо № 1205.

### 1205. Государю Императору Николаю Павловичу

Письмо до Государя не дошло. См. коммент. к предшествующему письму (№ 1204), к которому оно было приложено.

В послании к П. А. Плетневу от 15–16 января (н. ст.) (№ 1202) Гоголь пишет о письме к Государю как об уже написанном.

### 1206. Князю П. А. Вяземскому

Письмо было отправлено через графа В. В. Апраксина вместе с письмами № 1202–1205. В письме к А. О. Россету от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал: «Вяземского поблагодарите также... Спросите его, получил ли он письмо мое, посланное с Апраксиным...» (письмо № 1235).

к стр. 23 *Поленов* — Дмитрий Васильевич.

### 1207. С. Т. Аксакову

Письмо было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 20 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1208).

к стр. 25 *Один только секрет и был...* — См. коммент. к письму № 923 в т. 13 наст. изд.

*...дали написать эти слова не вашей руке.* — Терявший зрение С. Т. Аксаков обычно диктовал свои письма кому-либо из членов семьи. Письмо, на которое отвечает Гоголь (от 9 декабря 1846 г. — № 1197 в т. 13 наст. изд.), было написано рукой К. С. Аксакова.

*...чтобы и другая рука наша не видела того...* — «...когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 3–4).

*...слова ваши вздумали подкреплять словами Самого Христа!* — С. Т. Аксаков, имея в виду гоголевское «Предуведомленье»

к предполагаемому благотворительному изданию «Ревизора с Развязкой» (см. т. 4 наст. изд.), писал Гоголю: «Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтобы шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, во услышанье всей России, устраиваете свое благотворительное общество...»

**1208. С. П. Шевыреву**

*Два письмеца при сем прилагаются, Языкову и Аксакову.* — Письма № 1207 и 1209. к стр. 28

**1209. Н. М. Языкову**

Письмо было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 20 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1208).

Писалось, когда Языкова уже не было в живых (скончался 26 декабря 1846 г.). См. коммент. к письму № 1210.

*...летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею, которых я просил и прежде, но не получил...* — «Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией» (В 4 т. СПб., 1841. Т. 3; 1843. Т. 2, 4; 1846. Т. 1). Об этом издании Гоголь просил Н. М. Языкова в письме от 5 октября (н. ст.) 1843 г. (№ 728 в т. 12 наст. изд.).

*Pendant* — дополнение (*фр.*).

*«Царские выходы»* — «Выходы Государей Царей и Великих Князей, Михаила Феодоровича, Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича, всея Руси Самодержцев. (С 1632 по 1682 год)» (М., 1844; см. коммент. к записной книжке Гоголя 1841–1845 гг. в т. 9 наст. изд., к письму № 869 в т. 12 и к письму № 890 в т. 13).

*...«Народные праздники» Снегирева и... «Русские в своих пословицах» его же.* — Книги И. М. Снегирева: «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839) и «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (М., 1831–1834).

**1210. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю // Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1893 год. СПб., 1895. Прил. С. 35. Печатается по первой публикации.

*По желанию твоем возвращаю тебе Развязку Ревизора.* — 8 декабря (н. ст.) 1846 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву: «Пришли мне назад «Развязку Ревизора», именно те самые листки, которые я послал к тебе» (письмо № 1188 в т. 13 наст. изд.). к стр. 29

*На днях ты получишь от меня большое письмо.* — Письмо № 1211. В настоящем, кратком письме С. П. Шевырев, опасаясь

расстроить Гоголя, умалчивал о кончине Н. М. Языкова, последовавшей 26 декабря 1846 г. В следующем, «большом» письме, написанном в тот же день и отправленном через графиню С. П. Апраксину, он замечал: «Знаю, как тебе будет горька эта весть. Я боялся, что она к тебе дойдет через кого другого. Боялся также прямо написать тебе. Потому прошу Софью Петровну, чтобы она с свойственною ей мягкостью и любовью приготовила тебя к этой вести и утешила в горе» (письмо № 1211).

**1211. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю // Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1863 год. СПб., 1896. Прил. С. 35–41. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 336–339.

к стр. 30 *...письмо к нему...* — Письмо от 16 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1195 в т. 13 наст. изд.).

*...письмо к Щепкину.* — Письмо № 1194 в т. 13 наст. изд.

*Боялся также прямо написать тебе.* — См. коммент. к письму № 1210.

*Софья Петровна* — графиня Апраксина.

*«Блаженни чистии сердцем: тии Бога узрят».* — Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 8.

к стр. 31 *У тебя же тут всякое слово — огонь. Вспомни слова ап<осто>ла Иакова.* — «И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иак. 3, 6).

*...последние твои два письма.* — От 1 и 8 декабря (н. ст.) 1846 г. (письма № 1183, 1188 в т. 13 наст. изд.).

*О предисловии я попрошу издателя «Московских Ведомостей».* — См. коммент. к письму № 1183 в т. 13 наст. изд.

*«Отечественные Записки», незаконно пользуясь экземплярами, присланными в петербургскую цензуру, уже успели напечатать отрывки из этого предисловия.* — См.: *<Майков В. Н.>* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Изд. 2-е. М., 1846 // Отечественные Записки. 1846. № 12 (цензурное разрешение 30 нояб.; выход в свет 3 дек.). С. 57.

*Никитенко твои рукописи оглашал всем своим друзьям, приятелям и знакомым.* — См. об этом в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.

*Священника, духовника твоего...* — Священник из прихода церкви Преподобного Саввы Освященного отец Иоанн Никольский.

*Из письма твоего к Языкову...* — Письмо № 1195.

*Княгиня З<инаида>* — Зинаида Александровна Волконская. к стр. 32
В конце 1820-х — начале 1830-х гг. Шевырев был наставником ее сына Александра.

*Motu proprio* — по собственному побуждению (*лат.*). Этими словами по традиции начинались послания римских пап, не согласованные с кардиналами и касавшиеся обычно внутриполитических и административных дел Папской области.

**1212. А. О. Ишимова — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Письма Ишимовой и Извединовой по поводу сочинений Гоголя // Русская Старина. 1893. № 6. С. 552–555. Печатается по первой публикации.

Автор публикации писем А. О. Ишимовой и М. Извединовой сообщал: «К числу искреннейших почитателей Гоголя, не только как писателя, но и как человека, принадлежала, между прочим, Александра Осиповна Ишимова, прославившаяся педагогическими трудами и изданиями, из которых, кроме ее "Русской истории для детей", наибольшей известностью пользовался очень распространенный в свое время детский журнал "Звездочка". Мы не можем определить точно, когда именно началось знакомство Ишимовой с Гоголем, но, вероятно, не позже 1840–1841 гг., так как в 1842 г. Гоголь всего на несколько дней заезжал в Петербург, а между тем во время издания "Переписки с друзьями" Ишимова относилась к нему как к старому знакомому. Посредником в их письмах и иных сношениях был всегда П. А. Плетнев, почему надо думать, что у него-то они познакомились и встречались. Знакомство было, впрочем, довольно поверхностное и, во всяком случае, не короткое. Когда печаталась "Переписка с друзьями", Плетнев, несмотря на строжайшее запрещение автора, показывал многим знакомым корректурные листы книги, и в том числе не только Ишимовой, что и не скрывалось от Гоголя, но и совершенно незнакомому ему П. А. Кулишу. Последний в своих "Записках о жизни Гоголя" говорит по этому поводу: "Книга произвела на всех, кому показал ее поверенный поэта, такое впечатление, какое испытывает человек, когда его ведут в огромную фабрику, где отливаются из чугуна или бронзы колоссальные создания скульптуры... Кажется, что искусство ваятеля выступило из своих пределов, потеряло свои правила и гибнет вместе со всею его спутавшеюся фабрикой. Так именно, по крайней мере, на пишущего эти строки подействовала "Переписка с друзьями". Иное впечатление произвела книга на самого Плетнева и на А. О. Ишимову... Ишимова написала Гоголю восторженное письмо, на которое получила вскоре ответ, остающийся до сих пор неизвестным. О том, что ответ был, мы узнаем из переписки Ишимовой с Гоголем и из следующих слов письма последнего к Плетневу: "Прости меня, если у меня вырвалось какое-нибудь слово, тебя оскорбившее, в том письме

моем, в котором вложено было письмо к доброй А. О. Ишимовой” (письмо № 1264)... Намек здесь сделан на предыдущее письмо от 11 февраля 1847 г., когда Гоголь между прочим сказал в конце письма: “Не благодарю тебя, покамест еще не за что, ни за дружбу, ни за аккуратность, ни за хлопоты по делам моим” (письмо № 1236). Еще раз Гоголь приписывает в конце письма к Плетневу: “А. О. Ишимову поблагодари за книжечку “Розенштраух”. Я нашел, что она очень хороша. Письмо же о легкости ига Христова — сущий перл” (письмо № 1334)... С отношениями Гоголя к Ишимовой можно ближе познакомиться из следующих писем к нему последней; письма же к Ишимовой знакомой ее Извединовой любопытны в связи с ее собственными письмами и потому еще, что самый факт сбережения их доказывает, что Гоголь непритворно дорожил упреками и невыгодными отзывами о себе даже людей весьма дюжинных» (Письма Ишимовой и Извединовой по поводу сочинений Гоголя // Русская Старина. 1893. № 6. С. 551–552).

**1213. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1890. № 11. С. 42–47. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 271–275.

к стр. 35 *...книга твоих писем...* — «Выбранные места из переписки с друзьями».

к стр. 36 *...по милости красных чернил Никитенка...* — Т. е. по цензорскому произволу А. В. Никитенко. См. сопроводит. статью к т. 6 наст. изд., а также коммент. к письму № 1153 в т. 13.

к стр. 37 *...полного собрания сочинений Крылова в 3 томах и написал к нему биографию автора на 6 печатных листах...* — Имеется в виду «Полное собрание сочинений И. А. Крылова с биографией его, написанной П. А. Плетневым» (В 2 т. СПб., 1847. Т. 1–2).

*...Крылова же биографию... для детей, в пользу которых... изданы будут... его басни в одном томе...* — «Басни И. А. Крылова. С биографиею, написанною П. А. Плетневым» (СПб., 1847).

*Я оканчивал 10, 11 и 12 № «Современника» перед сдачею его Никитенко...* — См. коммент. к письму № 1175 в т. 13 наст. изд.

к стр. 38 *О «Современнике» ты рассуждаешь...* — Речь идет о статье Гоголя «О “Современнике”».

*...начал носом тыкать негодяев в их пакости.* — В 1846 г. П. А. Плетнев поместил в «Современнике» ряд полемических выпадов против Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, А. А. Краевского, О. И. Сенковского, Н. В. Кукольника и Ф. К. Дершау.

## 1214. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 366. Печатается по первой публикации.

*Café greco* — трактир в Риме. к стр. 39

## 1215. Ф. А. фон Моллер — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 768–769. Печатается по первой публикации.

*...письмецо ваше вручил ему в тот же день.* — Письмо от 12 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1200) было получено А. А. Ивановым 15 января (н. ст.) 1847 г. (см. письмо Ф. В. Чижова к Гоголю от того же числа — № 1214). к стр. 40

*Письмо ваше, адресованное в Café greco...* — Письмо от 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1196).

*...ваши последние три письма...* — Письма от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.) и от 12 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1200).

## 1216. Графине Л. К. Виельгорской

*Из рук Вик<тора> Влад<имировича> Апраксина вы уже, вероятно, получили мое письмо...* — Письмо Л. К. Виельгорской от 16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1204). к стр. 41

*...что цензор Никитенко будет отличен за благородный поступок свой...* — На самом деле А. В. Никитенко был главным инициатором запрещения целого ряда статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» религиозно-патриотического содержания, что объяснялось западническими взглядами цензора и его дружбой с В. Г. Белинским (подробнее см. в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.).

## 1217. М. И. Гоголь

*Никак я не мог думать, чтобы вас могло так огорчить мое письмо и присланный вместе с ним отрывок из моего завещания...* — Письмо из Рима от 14 ноября (н. ст.) 1846 г. (№ 1173 в т. 13 наст. изд.). Получив это письмо, а также следующее за ним, от 19 ноября (н. ст.) 1846 г. (№ 1176), М. И. Гоголь 1 января 1847 г. писала А. А. Трощинскому: «На сих днях я получила убийственные письма от моего сына; первое, от 14-го декабря <ноября> пущенное, с приложением завещания своего, при отъезде в Палестину, куда он намеревался отправиться в половине настоящего января; а другое, 19-го того же месяца <ноября>, где он отлагает еще свою поездку и обещается написать, когда выедет. Он что-то издает до отъезда своего, чтоб мог поклониться

Гробу Господню, так, как он желает; полагая выехать прежде, он издал какое-то сочинение, где есть и его исповедь, и воображает, что я уже имею в руках его книги — один экземпляр вам, другой мне и тем, кто молился о его выздоровлении; но я о сю пору не имею этих книг. Он пишет, что они пришлются из Петербурга и распоряжается так, как будто никогда не увидится с нами. Завещание его раздирает мое сердце, тем более что он не пишет "на случай моей смерти", а просто, по его смерти что должно нам делать. Видно, тяжкие труды, которые он всегда нес для пользы неимущих, изнурили бедное его здоровье. Он приготовил много, назначая печатать после смерти. Я слышала, что, в бытность свою в Риме, Государь спросил моего сына, почему он не печатает своих сочинений, и он отвечал, что цензура не пропускает, а <он> не желает ничего переменить; и он ему сказал: "я буду твоим цензором"; но он сам никогда никому ничего такого не пишет в таком роде. Я полагаю, что он и попросил Государя напечатать по смерти своей; и еще на этих днях я слышала от того человека, который читал княжны Варвары Репниной письмо, писанное ей петербургским профессором <П. А. Плетневым>, который получил от сына моего письмо, чтоб не считали сочинений прежних за его, а что только по возвращении из Иерусалима они будут издаваться...» (<*Ореус И. И.*> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754–1829 // Русская Старина. 1882. № 6. С. 679–680).

**1218. М. И. Гоголь**

к стр. 43 *В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит.* — Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 7, ст. 39.

к стр. 44 *Я лишился... Н. М. Языкова...* — Н. М. Языков умер 26 декабря 1846 г.

**1219. О. В. Гоголь**

Письмо было вложено в послание к М. И. Гоголь от 25 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1218). См. коммент. к письму № 1242.

к стр. 47 *...письмо мое, так смутившее прочих...* — Письмо № 1173 в т. 13 наст. изд.

*Христос сказал: «Оставь и отца и мать, и все на свете и следуй за Мною».* — «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 37–38).

*Следовать за Христом значит во всем подражать Ему... отыскивать страждущих и помогать им...* — Настоящий отрывок восходит к одной из выписок Гоголя из Беседы св. Иоанна Златоуста «о том, какое попечение должен иметь каждый Христианин о своем ближнем, впадшем в грех» в сборнике «Выбранные места из творений

Св. Отцов и учителей Церкви» (выписка *27. Разные изречения из Иоанна Златоуста*; см. в т. 9 наст. изд.) Ср. также коммент. к главе *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями» в т. 6 наст. изд.

*«Паси овцы Моя!» — сказал Спаситель.* — Евангелие от Иоанна, гл. 21, ст. 15–17.

*...на небесах больше радуются обратившемуся грешнику, чем самому праведнику...* — См. коммент. к строкам статьи *X. О лиризме наших поэтов* «Выбранных мест из переписки с друзьями» — *Там... радуются обращению грешника... более, чем самому праведнику...* — в т. 6 наст. изд. к стр. 48

### 1220. В. А. Жуковскому

*...выписку из письма С. П. Шевырева.* — Имеется в виду письмо от 30 декабря 1846 г. (№ 1211). к стр. 51

### 1221. А. О. Смирновой

*Я писал на днях Вьельгорскому...* — Это письмо до нас не дошло. к стр. 52

### 1222. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

Первый фрагмент письма впервые напечатан П. А. Кулишом: Современник. 1858. № 11. С. 160–162. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 466–468.

Второй фрагмент (продолжение письма по черновому автографу) впервые напечатан: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 469. Печатается по первой публикации.

Третий отрывок (фрагмент черновой редакции письма, написанного от имени князя П. М. Волконского) впервые напечатан: Опыт полной биографии А. А. Иванова / Сост. А. Новицкий. М., 1895. С. 108–109. Заново по автографу напечатано: *Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 445. Печатается по последнему изданию.

*...трех ваших писем...* — Письма от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.), а также от 12 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1200).

*Виктор Владимирович* — граф Апраксин.

*Князь* — министр двора князь П. М. Волконский.

*...знает математику...* — Ф. В. Чижов был профессором математики; с 1832 по 1840 г. читал курс математических наук в Петербургском университете, числясь в должности адъюнкта. В 1836 г. получил звание магистра. к стр. 53

*...нашествие вот в каких словах...* — 3 января 1847 г. начальник над русскими художниками в Риме генерал-майор Л. И. Киль отправил также А. А. Иванову следующее письмо: «Министерство Императорского Двора. От начальника над русскими художниками. Предлагаем вам находиться в студии 5-го января в 10 часов для того, чтобы чиновники могли прийти и проверить ход работы художника» (*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 442).

*...заказанную вам Его Императорским Величеством картину...* — «В конце... <1845> года сам Государь Император Николай Павлович был у Иванова в студии; был чрезвычайно доволен трудом, благодарил еще раз его в своих покоях, и утвердил его окончательно. Но потом <27 сентября 1846 г.> Иванову выдали 1 500 руб<лей> сер<ебром>, с непременным обязательством окончить в год картину» (Доклад А. А. Иванова 1857 г. президенту Академии художеств великой княгине Марии Николаевне, подготовленный для князя Г. П. Волконского // *Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. С. 430–431). «Ходатайство вице-президента Академии, графа Ф. П. Толстого, <в марте 1846 г.> о доставлении ему <Иванову> приличных средств к довершению картины, не было уважено, и генерал-майору Килю поручено было наблюдение за производством Императорского заказа (Дела Мин<истра> Импер<аторского> Двора, 30 апреля и 21 декабря 1846, за № 176, и 3 января 1847 г.)» (Доклад князя Г. П. Волконского 1857 г. великой княгине Марии Николаевне // Там же. С. 441).

*Фрагмент черновой редакции письма, написанной от имени князя П. М. Волконского.* — Аналогичное письмо от имени князя П. М. Волконского А. А. Иванов написал тогда же Ф. В. Чижову: «Милост<ивый> Госуд<арь> Федор Васильевич. По просьбе посланника мне поверено устроить порядок Директорства над Рус<с>кими художниками. Заметив необходимость сменить агента, я предлагаю эту должность Вам, со вручением Библиотеки и с суммами на дальнейшее ее приращение, что будет вами исполняемо с совета пенсионеров, в моем присутствии. Рус<с>кие художники, как и все сословия молодого нашего отечества, более или менее не так ведены в молодых летах, за непрояснившимся еще коренным путем истинно рус<с>кого образования: пропущено и пренебрежено многое, то наставниками, то ими самими; у многих недостает изучения Европейских языков. Все это вместе заставляет меня обратиться к Вам, как известному ученостью, могущей совершенно быть приспособленной к замещению убылых мест в их образовании. Поверьте, что ответы Ваши на вопросы художников, что стоить будет Вам долгих и трудных изысканий, очутившись в их произведениях, вполне оценятся мною и, следовательно, представятся на особое рассмотрение Его Величества» (*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. С. 444–445).

**1223. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 365. Печатается по первой публикации.

**1224. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 364–365. Печатается по первой публикации.

Датировка письма уточнена. Кончина Н. М. Языкова последовала 26 декабря 1846 г. (7 января 1847 г. н. ст.) Письмо Е. А. Свербеевой могло быть получено в Риме во второй половине января (н. ст.) 1847 г. Однако 20 января (н. ст.) 1847 г. Гоголь еще не знал о смерти Н. М. Языкова (см. письмо Гоголя к Н. М. Языкову от этого числа — № 1209), а узнал об этом не из письма Ф. В. Чижова, а из послания С. П. Шевырева от 30 декабря 1846 г. (№ 1211), полученного Гоголем в Неаполе 25 января (н. ст.) 1847 г. (см. письмо к В. А. Жуковскому, отправленное в тот же день, — № 1220). Очевидно, письмо Ф. В. Чижова было получено им позднее. По всей вероятности, указание в письме на декабрь является опиской Чижова: письмо было написано не 29–30 декабря (н. ст.) 1846 г., а 29–30 января (н. ст.) 1847 г.

*Александр Андреевич* — Иванов. к стр. 56

**1225. А. А. Иванову**

Ответ на письмо Иванова от 22 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1222).

*Князь Волконский* — Григорий Петрович. к стр. 57

*...я невольно спросил: «Да чья же здесь воля изъявляется?»* — «Чтобы обезопасить себя от “начальника над русскими художниками в Риме”, генерал-майора Л. И. Киля <см. коммент. к письму № 1222>, Иванов создает план, по которому “руководителем Киля” должен стать министр двора, кн<язь> П. М. Волконский, от имени которого он и составляет наперед... предписания с предложением Гоголю и Чижову вступить в должности секретаря и агента русских художников. Эту quasi-официальную бумагу Иванов затем наскоро пересказывает, уже от своего лица, в ответе Гоголю, — чем и объясняется так оскорбивший Гоголя полномочный тон письма: “да чья же здесь воля изъявляется?”» (*Зуммер В. М., проф.* Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5: Общественные науки. Баку, 1925. С. 39).

*...я сделал для вас то, что повелел мне собственный мой рассудок, а не ваш.* — Подразумевается статья *XXIII. Исторический живописец Иванов* «Выбранных мест из переписки с друзьями». к стр. 59

**1226. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю // Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1893 год. СПб., 1895. Прил. С. 41–42. Печатается по первой публикации.

**1227. Начальник Его Императорского Величества Военно-Походной Канцелярии граф В. Ф. Адлерберг — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 176. Заново по оригиналу (писцовой копии, подписанной графом В. Ф. Адлербергом) напечатано: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 5. Петрозаводск, 2008. С. 315. Печатается по этому изданию.

Ответ на обращение Гоголя к Императору Николаю I от начала декабря (н. ст.) 1846 г. (письмо № 1184 в т. 13 наст. изд.).

В хранящемся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) «Деле Е<го> И<мператорского> В<еличества> Воен<но>-Походн<ой> Канцелярии за № 37 по всеподданейшему письму Гоголя о выдаче ему загран<ичного> паспорта для путешествия к Св<ятым> Местам» имеется также копия письма графа В. Ф. Адлерберга к Гоголю от 9 января 1847 г. (напечатано: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 314).

Письмо было отправлено графом В. Ф. Адлербергом через русского посланника в Неаполе графа Л. С. Потоцкого. 9 января 1847 г. Адлерберг обращался к Потоцкому: «Генерал-Адъютант Адлерберг, свидетельствуя свое совершенное почтение Его Сиятельству Графу Льву Севериновичу, имеет честь покорнейше его просить приказать доставить по принадлежности прилагаемый при сем пакет за № 12 на имя чиновника 8-го класса Николая Ивановича <так в источнике> Гоголя, который ныне находится в Неаполе» (в делах канцелярии порядковый № 9) (*Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 316). См. также коммент. к письмам № 1259 и 1260.

Содержание письма Гоголя к П. А. Плетневу от 6 февраля (н. ст.) 1847 г. свидетельствует, что к тому времени письмо графа В. Ф. Адлерберга было получено Гоголем (см. коммент. к письму № 1228).

к стр. 60 …*Министру Иностранных Дел…* — Государственному канцлеру, министру иностранных дел К. В. Нессельроде.

**1228. П. А. Плетневу**

На подлиннике имеется помета П. А. Плетнева: «П<олучено> 17/29 февр<аля> 1847».

Ответ П. А. Плетнева от 4/16 апреля 1847 г. — № 1305.

*Я получил твое письмо с известием о выходе моей книги.* — к стр. 61
Имеется в виду письмо Плетнева от 1/13 января 1847 г. (№ 1213).

*...не пропущено больше половины... да к тому... вымарано даже и в пропущенных множество мест.* — Запрещению цензора А. В. Никитенко подверглись в «Выбранных местах из переписки с друзьями» письма: *XIX. Нужно любить Россию, XX. Нужно проездиться по России, XXI. Что такое губернаторша, XXVI. Страхи и ужасы России, XXVIII. Занимающему важное место.* От цензурных сокращений пострадали статьи: *X. О лиризме наших поэтов, XXIII. Исторический живописец Иванов* и др. А. В. Никитенко явился также одним из первых, для кого христианские взгляды Гоголя, открыто выраженные в новой книге, оказались настолько неприемлемыми, что цензор постарался — еще до публикации книги — бросить на них тень, объявив гоголевское сочинение следствием душевного помешательства автора. Подробнее см. в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.

*Он, назад тому еще месяц, изъяснил Государю такую мою* к стр. 62
*просьбу, которой, верно, никто бы другой не отважился представить.* — Имеется в виду просьба о выдаче заграничного паспорта для паломничества к Святым Местам. См. письма № 1184 и 1186 в т. 13 наст. изд.

*...дал повеленье канцлеру написать во все места...* — Об этом повелении Гоголь узнал из письма графа В. Ф. Адлерберга от 9 января 1847 г. (№ 1227).

### 1229. Графине А. М. Виельгорской

Ответ графини А. М. Виельгорской от 5–8 мая 1847 г. — № 1330.

*...письмецо чрез В<иктора> В<ладимировича> Апраксина вмес-* к стр. 63
*те с большими письмами, порученными вашей маминьке.* — Письма № 1203–1205.

*...сам цензор был разглашатаем всего, так что даже в Москве* к стр. 64
*знали обо всем и повторяли изуродованные с умыслом мысли и фразы.* — См. сопроводит. статью к т. 6 наст. изд., а также коммент. к письму № 1153 в т. 13 наст. изд.

*А я еще не так давно писал к графине, вашей маминьке, чтобы не позабыть цензора печатавшего...* — Письмо к графине Л. К. Виельгорской от 25 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1216).

*Я прилагаю здесь письмецо к Михаилу Юрьевичу...* — Это письмо к графу Мих. Ю. Виельгорскому до нас не дошло.

### 1230. Графу А. П. Толстому

*Какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе* к стр. 65
*совокупились, чтобы смутить и сбить с толку цензуру.* — О цензурной истории «Выбранных мест из переписки с друзьями» см. сопроводит. статью к т. 6 наст. изд.

*Хотя сюда и не попали статьи, направленные собственно к вам...* — Подразумеваются статьи: *XIX «Нужно любить Россию»*, *XX. «Нужно проездиться по России»* и *XXVIII. «Занимающему важное место»*.

**1231. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Грот Я. К.* Письма Плетнева к Гоголю. 1844–1851 // Русский Вестник. 1890. № 11. С. 47–48. Печатается по первой публикации.

Публикуя письма П. А. Плетенева к Гоголю, Я. К. Грот сообщал: «Когда я печатал переписку Плетнева с друзьями в III томе его “Сочинений”, предлагаемые здесь 19 писем к Гоголю не были мне известны. Они доставлены мне недавно из Москвы Вл. Ив. Шенроком, который получил их от проживающих в Малороссии родных покойного Николая Васильевича» (*Грот Я. К.* Письма Плетнева к Гоголю. 1844–1851 // Русский Вестник. 1890. № 11. С. 33).

к стр. 67 *Это барон Ф. Ф. Корф, Н. И. Надеждин и один молодой еще только начинающий писатель Николаевский...* — Об этом же П. А. Плетнев сообщал в письме к Я. К. Гроту, отправленном в тот же день, что и послание к Гоголю, 11 января 1847 г.: «Николаевский, прочитав Гоголя, пришел в неописанный восторг... Приезжал ко мне барон Ф. Ф. Корф. Он тоже в восхищении от Гоголя. Эти оба, получив книгу, целую ночь не спали, пока не кончили чтения... Я читаю Гоголя у Балабиных. Петру Ивановичу, разумеется, все это не нравится. Варвара Осиповна, как много об этом предмете уже читавшая и притом строгая католичка, иное хвалит, иное находит слишком старым, а иное чисто заимствованным» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 4–5). *Николаевский* — «Сергей Николаевич, впоследствии издавший сборник своих стихотворений и автор “Писем о Греции”, напечатанных в “Русском Вестнике”» (примеч. Я. К. Грота).

*По смерти его друзья собрали его письма и напечатали...* — «Этот автор был профессор Упсальского университета Тернрос. Собрание писем его вышло под заглавием: “Törnrosens Bon”» (примеч. Я. К. Грота).

**1232. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Николай Васильевич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой, рожд. Россет // Русская Старина. 1890. № 8. С. 282–284. Печатается по первой публикации.

Ответ Гоголя от 20 апреля (н. ст.) 1847 г. — № 1300.

к стр. 68 *Аксаков* — Иван Сергеевич.

*Ив<ан> Серг<еевич>* — Аксаков.

**1233. В. А. Жуковскому**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

**1234. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1887 г. Прил. С. 46–48. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 195–196.

*...последнее письмо ваше...* — Письмо от 24 ноября (н. ст.) 1846 г. (№ 1179 в т. 13 наст. изд.). к стр. 71

*О книге вашей...* — О «Выбранных местах из переписки с друзьями». к стр. 72

**1235. А. О. Россету**

Ответ А. О. Россета от 12 марта 1847 г. — № 1287.

*Я получил ваше письмо от 29 декабря русского штиля...* — Это письмо А. О. Россета до нас не дошло.

*Спросите его, получил ли он письмо мое, посланное с Апраксиным...* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1206). к стр. 74

*«Иллюстрация» Кукольника* — еженедельный журнал, издававшийся в Петербурге в 1845–1849 гг. под редакцией Н. В. Кукольника.

*В книге этой есть повести Даля, которые мне очень нужны.* — В «Иллюстрации» за 1845–1846 гг. печатались этнографические материалы В. И. Даля под заглавием «Поверья, суеверия и предрассудки русского народа».

*Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал меня потчевать Финляндией...* — П. А. Плетнев, благодаря многолетней дружбе с профессором Гельсингфорсского университета Я. К. Гротом, опубликовал большое число переводов шведских и финских авторов, написал статьи «Финляндия в русской поэзии» (1842), «Епископ Франсен, шведский поэт» (1845). В качестве альтернативы славянофильству и западничеству П. А. Плетнев разрабатывал своеобразную концепцию «Севера», который мыслился им как цивилизация, сочетающая европейскую просвещенность и чистоту патриархальных нравов.

*Мистерии* — Подразумеваются тайные, неисследованные стороны современного быта, по аналогии с «Mysteres de Paris» Э. Сю и «Mysteres de Londres» П. Феваля.

*...«Петербургские вершины»... обе части.* — Сборник рассказов и очерков повестей Я. П. Буткова (СПб., 1845. Т. 1; 1846. Т. 2). Возможно, Гоголь заинтересовался повестями Буткова, прочтя сочувственную рецензию на первый том их в «Иллюстрации» за 1845 г. (№ 31 от 10 ноября), в которой проводилась параллель между Бутковым и Гоголем.

к стр. 75 *При сем письмецо к Плетневу.* — Письмо к П. А. Плетневу от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1236).

### 1236. П. А. Плетневу

Письмо было приложено к посланию А. О. Россету от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1235).

На подлиннике имеется помета П. А. Плетнева: «П<олучено> 21 февр<аля> 1847».

Ответ П. А. Плетнева от 4/16 апреля 1847 г. — № 1305.

*...письмо твое со вложеньем векселя мною получено.* — Имеется в виду письмо Плетнева от 17/29 января 1847 г. (№ 1237).

*Ты, вероятно, теперь уже получил три пись<ма> мои...* — Письма П. А. Плетневу от 5, от 15–16 января, от 6 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1199, 1202, 1228).

к стр. 76 *...насчет которых ты согласился, что их лучше не печатать.* — Имеются в виду следующие строки из письма П. А. Плетнева к Гоголю от 21 ноября 1846 г., где тот писал о не пропущенных А. В. Никитенко статьях «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «В прежних тетрадях он много писем не пропустил совсем, именно тех, где говорится о предметах касательно правления и официальных лиц (наприм.: губернаторов и т. п.). Я имел смелость посылать непропущенные письма на прочтение Наследника Цесаревича. Его высочество призывал меня к себе и лично объявил, что и по его мнению *лучше* не печатать этого» (письмо № 1193 в т. 13 наст. изд.).

### 1237. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1890. № 11. С. 48–51. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 276–278.

Ответ на письмо Гоголя от 5 января (н. ст.) 1847 г. — № 1199.

к стр. 77 *...перевод Берга... «Краледворской рукописи»...* — «Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песен» (М., 1846).

*...примусь за Карамзина, а наконец и за Жуковского.* — О Н. М. Карамзине П. А. Плетнев не написал, не встретив поддержки в семье писателя. О В. А. Жуковском в 1852 г. были написаны статьи «Василий Андреевич Жуковский» и «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского».

### 1238. С. П. Шевыреву

к стр. 80 *Относительно надписи Погодину...* — Имеется в виду дарственная надпись на экземпляре «Выбранных мест из переписки с друзьями» (см. в т. 9 наст. изд.). См. также коммент. к статьям

*IV. О том, что такое слово* и *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

*...в твоем курсе.* — В «Истории русской словесности, преимущественно древней» С. П. Шевырева.

*Плетнев сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись ее выпуском...* — Подразумеваются «Выбранные места из переписки с друзьями». 6 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал также графине А. М. Виельгорской: «Плетнев... сделал неосмотрительную вещь, выпустив в свет один кусок моей книги» (письмо № 1229). 10 марта (н. ст.) 1847 г. С. П. Шевыреву: «Я очень сердился на бедного Плетнева за то, что он, не дождавшись, что я скажу в ответ на непропущение целой половины книги, поторопился выпустить остаток ее» (письмо № 1267). к стр. 82

*...русские летописи, изданные Археографической комиссией...* — «Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией» (СПб., 1841. Т. 3; 1843. Т. 2, 4; 1846. Т. 1). См. также коммент. к письму № 728 в т. 12 наст. изд. и к письму № 1209 в наст. томе.

*...Снегирева «Описанье русских праздников и увеселений»... «Русские в своих пословицах».* — Речь идет о книгах И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837–1839) и «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об оте-чественных пословицах и поговорках» (М., 1831–1834).

### 1239. М. П. Погодину

Письмо, очевидно, было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1238). Получив письмо, М. П. Погодин 23 февраля 1847 г. записал в своем дневнике: «Письмо Гоголя, который обещает [об]ругать меня еще в знак дружбы!» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846–1852; *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 15 об.; напечатано: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Кн. 8. С. 546).

### 1240. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 366–368. Печатается по первой публикации.

### 1241. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (с пропусками): Москвитянин. 1853. № 2. С. 92–93. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 198–200.

*...свежими узами привязала мою душу к здешнему свету...* — Жуковский имеет в виду свою женитьбу, состоявшуюся в мае 1841 г. к стр. 85

**1242. М. И. Гоголь**

Автограф хранится: *ГИМ.* Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 30–31.

к стр. 87 *...довольно длинное письмо со вложеньем другого, еще более длинного, к сестре Ольге...* — Письма № 1218 и 1219.

**1243. Е. А. Свербеева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 524–525. Печатается по первой публикации.

**1244. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Русский Архив. 1890. № 8. С. 164–165. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 80–81.

к стр. 92 *Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам.* — Об этом письме С. Т. Аксаков писал сыну Ивану Сергеевичу: «Свербеев написал письмо ко мне, в котором очень умно и очень зло разбирает книгу Гоголя; уже четыре дня я держу его в своих руках, не имея духу послать: боюсь, не оскорбится ли он?» (И. С. Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 1. С. 409).

*...о ваших злобных выходках против Погодина.* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями». См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

***<Письмо Д. П. Свербеева к С. Т. Аксакову, отправленное С. Т. Аксаковым Н. В. Гоголю 27 января 1847 г.>***

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 519–523. Печатается по первой публикации. Автограф хранится: *РГАЛИ.* Ф. 472. Оп. 1. Ед. хр. 1. 4 л.

к стр. 93 *...charite bien ordonee...* — благотворительность начинается с себя. Эта известная французская поговорка означает, что прежде чем помочь другому, нужно помочь прежде самому себе (*фр.*).

*...qu'elle commense et finit...* — чтобы она на себе и не заканчивалась (*фр.*).

*...docendo docetus...* — обучая, обучиться. Искаженное латинское изречение. Более привычно *docendo discimus* — уча других, мы учимся сами (*лат.*).

к стр. 96 *...«Видно, уж у нас такая надувательная сторона», — сказал Гоголь.* — Имеется в виду реплика из заключительного монолога Ихарева в комедии «Игроки»: «Такая уж надувательная земля!»

**1245. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1893 г. СПб., 1895. Прил. С. 42–44. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 344–346.

*...твоей книги...* — «Выбранные места из переписки с друзьями».

*...в доказательство приводишь Карамзина...* — В главе *XIII. Карамзин* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*«Записка о древней Руси»* — Сочинение «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», врученное Александру I в 1811 г., Н. М. Карамзин для печати не предназначал. Историю публикации этого произведения см.: *Сергень А. Ю.* История создания и публикации трактата «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» // Лит. учеба. 1988. № 4. С. 132–135.

*...нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной* к стр. 97
*смысл...* — См. коммент. к строкам статьи *X. О лиризме наших поэтов* «Выбранных мест из переписки с друзьями» — *...об оде Императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***»* — в т. 6 наст. изд.

*...о портрете.* — См. коммент. к письму № 853 в т. 12 наст. изд., а также к строкам письма № 1246 — *...видел в Москвитянине ваш портрет...* — в наст. томе.

*...позволяешь говорить все, уверяя ее, что все будет прекрасно...* — Имеется в виду письмо *II. Женщина в свете* «Выбранных мест из переписки с друзьями», адресатом которого Шевырев считает, видимо, А. О. Смирнову.

**1246. Д. К. Малиновский — Н. В. Гоголю**

Хранится в гоголевском фонде РГБ (разделено на две единицы хранения): Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 35. Л. 1–10 (размер бумаги: 26,2 × 21,6); Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 36. Л. 1–6 (размер бумаги: л. 1–2 — 26,5 × 21,6; л. 3–6 — 25,0 × 21,0; почтовая бумага с фабричным тиснением: овал с надписями в центре в три строки: «П. В. / Турчанинова / 1837», с растительным орнаментом по окружности). Печатается впервые по автографу. Письмо, по-видимому, отправлено Гоголю С. П. Шевыревым при письме от 30 января 1847 г. (№ 1244).

Как позволяют судить впервые публикуемые в настоящем собрании сочинений письма младшего современника Гоголя, студента математического факультета Московского университета Дмитрия Константиновича Малиновского (1826–1871), одним из источников размышлений Гоголя о «науке жизни» «необыкновенного наставника» Александра Петровича во втором томе «Мертвых душ» послужили писателю не только воспоминания о годах пребывания в нежинской Гимназии высших наук, но и переписка с Малиновским. Некоторыми чертами Малиновский послужил также Гоголю в качестве прототипа при создании образа Тентетникова (см. об этом:

*Виноградов И. А.* Поэма «Мертвые души»: проблемы истолкования // Гоголевский вестник. Вып. 1. М., 2007).

В сохранившейся переписке Гоголя письма Д. К. Малиновского являются *единственным* значительным по объему материалом, остававшимся в большей части до сих пор неопубликованным. Письма самого Гоголя к Д. К. Малиновскому были напечатаны М. П. Погодиным в 1865 г. в «Русском Архиве» (<*Погодин М. П.*> Два письма Н. В. Гоголя // Русский Архив. 1865. № 9. Стб. 1278–1282). Письма были переданы Погодину самим Малиновским, который представил их как своего рода «рекомендацию». Предполагая опубликовать какую-то свою работу, Малиновский 29 сентября 1863 г. обращался к Погодину: «Я просил Вас взглянуть на мою рукопись, дабы Вы сказали мне о ней Ваше мнение, которое весьма важно и интересно для меня, тем более что я хочу теперь вступить в круг печатного слова. Позвольте мне при этом рекомендовать Вам себя двумя письмами покойного Николая Васильевича Гоголя, писанными им ко мне около 15-ти лет назад… До сих пор они никуда не путешествовали из моего комода…» (*РГБ.* Ф. 231. Разд. II. К. 20. Ед. хр. 4а. Л. 1–2. Письма были посланы Погодину в копиях). Погодин предпослал публикации писем Гоголя заметку: «За сообщение этих писем приносим благодарность Дмитрию Константиновичу Малиновскому, преподавателю математических наук во 2-й Московской военной гимназии» (<*Погодин М. П.*> Два письма Н. В. Гоголя // Русский Архив. 1865. № 9. Стб. 1278). Спустя три года Малиновский напечатал в газете Погодина «Русский» свои воспоминания «Нечто о Гоголе» (*Малиновской Д.* Нечто о Гоголе // Русский. Газета политическая и литературная. М., 1868. 30 июля. № 22. С. 1–2). Шесть писем Д. К. Малиновского к Гоголю были напечатаны в 1902 г. его сыном И. Д. Малиновским (*Малиновский И. Д.* Знакомство Гоголя с моим отцом // Записки Общества истории, философии и права при Императорском Варшавском университете. Вып. 1. 1902. С. 75–91). (Последние публикации сопровождались также воспоминаниями Д. К. Малиновского о Гоголе, напечатанными ранее в газете Погодина.) Еще шесть писем гораздо большего объема хранятся в гоголевском фонде Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки (*РГБ*). Остававшееся до сих пор неизданным письмо Д. К. Малиновского к Гоголю хранится также в Российском государственном архиве литературы и искусства (*РГАЛИ.* Ф. 2980 (фонд С. Н. Дурылина). Оп. 1. Ед. хр. 1317). (Обширная статья Д. К. Малиновского о творчестве Гоголя, датированная 27 апреля 1850 г. и переданная лично Гоголю в мае того же года, напечатана: *Малиновский Д. К.* О том, как надо разуметь смешное в произведениях Гоголя / Подгот. текста и коммент. И. А. Виноградова // Н. В. Гоголь и Православие. М.: К единству!, 2004. С. 430–478. Мысль, положенную в основу статьи, можно найти в письме Д. К. Малиновского к Гоголю от 25 апреля 1849 г.: «Думаю я о том величии, в котором является о роде людском Промысл

Божий... Как волна размывается об утес и катится, смиренная, к его подножию, так в чистую минуту смиряется и образумливается гордый, лукавый, неблагородный человек, передавшийся на сторону вражию, встретив светлое, страшное лице Правды... Что мы? Черви; кроме того, существа крайне неблагородные и не чистые пред безукоризненным лицем Творца нашего. Как увидишь это, клянешь день и час своего хвастовства, в который так глупо сам поднял на себя руку и явился таким... отвратительным самому себе. Эта правда — насмешливая правда над нами, которая в силе ниспровергнуть самые удивительные для глупых взоров чертоги гордости... Но я уж слишком увлекся вашею книгою»; см. в т. 15 наст. изд.)

В. И. Шенрок в свое время замечал: «В 1849–1850 годах Гоголь сильно заинтересовался... участью и стремлениями... молодого человека, обратившегося от бесцельной и пустой жизни к деятельной и даже предполагавшего доставлять Гоголю сведения для изучения России и т. п. Имя этого молодого человека Д. К. Малиновский. Письма к нему Гоголя напечатаны в "Русск<ом> Арх<иве>"... В архиве наследников Гоголя сохранились отрывки, по-видимому, относящейся сюда переписки, знакомящей с прошлым Малиновского, которому его приятель советовал доказать матери, что он "теперь совсем уже не тот, что в некотором смысле отныне стал возродившимся фениксом" и не будет уже больше огорчать мать» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 823).

Письма Малиновского из фондов Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки уже привлекали к себе внимание исследователей. В 1940 г. эти письма были описаны Г. П. Георгиевским и А. А. Ромодановской в каталоге ГБЛ (*Георгиевский Г., Ромодановская А.* Рукописи Н. В. Гоголя. Каталог. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.) М., 1940. С. 107). Отрывки из некоторых писем были использованы в статье Г. П. Георгиевского «Корреспондент Гоголя — Д. К. Малиновский», подготовленной к печати в 1941 г. Статья эта, однако, осталась неопубликованной (см.: *РГБ.* Ф. 217. К. 7. Ед. хр. 1. Л. 52–58). В комментариях А. Н. Михайловой к письмам Гоголя в академическом издании собрания сочинений писателя (1952) встречается лишь упоминание о существовании писем Малиновского к Гоголю (см.: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 14. С. 370). Позднее неопубликованной статьей Г. П. Георгиевского воспользовалась В. С. Нечаева, которая привлекла материал писем Малиновского в связи с откликом последнего на повесть Ф. М. Достоевского «Двойник» (*Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979. С. 157–162).

Подобно герою второго тома «Мертвых душ», помещику Тентетникову, Д. К. Малиновский — «недоучившийся студент». Университета Малиновский не закончил, с трудом перешел на второй курс, где остался на второй год. Произошло это вовсе не от недостатка способностей. Хотя уже гимназию Малиновский закончил «коекак» (обучался он в знаменитой 1-й Московской мужской гимназии,

располагавшейся на Пречистенке), однако мог учиться и превосходно (а в начальных классах так и учился) и курс гимназических наук (семь классов) знал в итоге хорошо. Кроме того, он обладал определенными педагогическими способностями, руководил образованием двух своих младших братьев, а поступив в 1845 г. в Московский университет, давал уроки, причем его личный заработок превышал доходы всего семейства. Семья Малиновского имела небольшой дом в Москве и существовала на скудные средства; отец Малиновского был чиновником в отставке и в 1840-е гг. подрабатывал уроками на фортепьяно. 13 июня 1849 г. Д. К. Малиновский вместе с братом Сергеем, тоже студентом, вступил в военную службу, «фейерверкером» в артиллерийскую бригаду. Позднее, в 1854 г., Дмитрий Константинович окончил курс Михайловской артиллерийской академии в Петербурге, дослужился до звания капитана (по выходе в отставку в 1866 г. получил чин подполковника). В 1860–1865 гг. он был преподавателем математики во 2-м Московском кадетском корпусе (переименованном тогда в военную гимназию) — но вынужден был оставить службу вследствие серьезного заболевания (см.: *РГВИА.* Ф. 400. Оп. 8. Ед. хр. 1519. Министерства Военного Главного Штаба. Отделение V. Стол III. По отношению Главного Управления Военно-Учебных Заведений, об увольнении от службы Капитана Малиновского. Началось 14-го декабря 1866 года. Кончилось 31-го декабря 1866 года. На 13 листах. — Из этого же документа устанавливается год рождения Д. К. Малиновского — 1826. Содержание писем Малиновского к Гоголю давало возможность определить этот год лишь приблизительно: 1825 или 1826). Жил Малиновский в Москве и в Коломне (с 1867), был женат, имел троих детей и по-прежнему нуждался. Кроме жены и детей (последний ребенок появился в семье после 1866 г.), в доме Малиновского жила престарелая тетка. Мать жила во Вдовьем доме (по-видимому, переехала туда со времени выхода Малиновского в отставку в конце 1866 г.). 6 октября 1866 г. директор 2-й Московской военной гимназии генерал-майор П. И. Мезенцов в рапорте на имя Императора Александра II по случаю выхода Малиновского в отставку писал: «...он имеет жену, двух малолетних сыновей, содержит мать, тетку и не имеет ни состояния, ни возможности трудом доставлять себе нужное к поддержанию его жизни» (*РГВИА.* Ф. 395. Оп. 21. Д. 576. Л. 3). В ноябре 1868 г. Малиновский, в частности, просил у Ю. Ф. Самарина денег, чтобы выплатить проценты в ломбард. Самарин обещал тогда дать тридцать рублей, но прислал сто, как и просил Малиновский. Всего же нужно было двести. Остальные сто рублей Малиновский просил у М. П. Погодина (незадолго перед тем Малиновский купил дом в Коломне).

С юности главной причиной неудач Д. К. Малиновского была «болезнь воли». Это наглядно видно из публикуемых его писем к Гоголю (см., в частности, письмо от 1–12 апреля 1847 г.). Проблемы, поднятые Малиновским в его письмах, а также сама «болезнь» Малиновского и стали проблемами и «болезнью» героя второго

тома Андрея Ивановича Тентетникова. Но негативные черты Тентетникова — только одна из составляющих этого образа. Обращение к неопубликованным письмам Д. К. Малиновского позволяет вполне определенно обозначить и вторую, оставшуюся нереализованной сторону личности героя. Если по своим недостаткам Тентетников — так же, как и его прототип Малиновский — примыкают к «огорченным людям», носителям «лермонтовского» разочарования, то по своим положительным задаткам они же, несомненно, противостоят «недоучившемуся студенту» В. Г. Белинскому (этот «недокончивший учебного курса эстетик» выступает в поэме соблазнителем Тентетникова).

Д. К. Малиновский по своим убеждениям был, в отличие от Белинского, близок к славянофилам. Так, в письме к Гоголю от 22–25 апреля 1849 г. он писал: «Петр Великий много заимствовал у иностранцев, но он не завидовал им. Так и мы, заметив и украв у чужеземцев хорошее, должны этим и ограничиться. Сок их нечего сосать, он оказывается тлетворен, а у нас есть вместо него свой, который если не сформировался еще, так тем лучше, потому что это значит, что он будет еще лучше, чем теперь» (см. т. 15 наст. изд.). «Славянофильским» был и круг общения Малиновского. Позднее он переписывался с М. П. Погодиным, был знаком (хотя не близко) с Н. В. Бергом, С. П. Шевыревым, П. Д. Юркевичем, Ю. Ф. Самариным. В газете Погодина «Русский», кроме воспоминаний о Гоголе, он опубликовал несколько статей антинигилистического содержания: «Письмо к редактору "Русского"» (Русский. 1868. 2 нояб., № 94. С. 3–4); «К редактору "Русского" о Коломне» (Русский. 1868. 5 нояб., № 96. С. 3–4); «К статье "Похвала материализму"» (Русский. 1868. 7 нояб., № 98. С. 2–3). Последняя статья заслужила одобрение П. Д. Юркевича, к которому Малиновский обратился за поддержкой (см. письмо Малиновского к Погодину от 4 ноября 1868 г.: *РГБ*. Ф. 231. Разд. II. К. 20. Ед. хр. 4а. Л. 21 об.). Примечателен отзыв Юркевича о статье, которым Малиновский предварил публикацию: «Статья очень кстати. Она говорит о материализме так, как понимают его практические люди. Материализм не просто доктрина (учение); оно знамя, которое поднимается недовольством и озлоблением. Покойный митрополит <Филарет> не нашел лучшего опровержения этому учению, как установление особенного моления о всякой душе *скорбящей и озлобленней*. Какое глубокое познание сердца человеческого сказалось в этом взгляде! Жизнь надорвана страстию, и свобода духа исчезла от службы эгоизму. Остаются чувствительными одни материальные нужды. Чуткость к истине и правде исчезла. Но материальные нужды — это злые духи, которые раздражают, огорчают, озлобляют. Да, душа озлобленная нуждается в молении. Убедить ее нельзя, как нельзя хромого исцелить одним словом. Поэтому действительно бестактен, лишен чувства истины тот католический митрополит, который занимался вопросом о материализме в Сенате. Дайте душе мир и тишину, она

будет размышлять и постигать. Она не знает истины, потому что не может приступить к ее исканию; а знать надо, а чувство голода реально; и так существует только одно бесспорное — материя» (*Малиновский Д.* К статье «Похвала материализму» // Русский. 1868. 7 нояб., № 98. С. 2).

«Многословие, неумение четко выразить мысль, закончить вовремя речь, своеобразное "топтание на месте" — главный недостаток писем Малиновского, который он сам хорошо сознавал» (*Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979. С. 157). По словам Г. П. Георгиевского, «Малиновский послал первое письмо Гоголю, вероятнее всего, из весьма поверхностного желания вступить в переписку с знаменитым писателем, выявить в письме свою "гениальность" и заинтересовать собою Гоголя. Письмо написано с чисто мальчишеской развязностью и самомнением» (*Георгиевский Г. П.* Корреспондент Гоголя — Д. К. Малиновский. Л. 54). Гоголь, однако, снисходительнее отнесся к своему корреспонденту, не замедлив вступить с ним в переписку.

В 1863 г. Д. К. Малиновский, передав М. П. Погодину для публикации письма Гоголя, позднее (после кончины С. П. Шевырева в 1864 г.) предпослал им заметку, в которой вкратце изложил историю своей переписки с Гоголем и знакомства с ним. Эту заметку в 1902 г. повторил сын Д. К. Малиновского, напечатав ее еще раз в своей статье «Знакомство Гоголя с моим отцом», опубликованной первоначально в газете «Варшавский Дневник» (1902. 21 февр. (6 марта). № 51. С. 3), а затем напечатанной, с дополнениями, в «Записках Общества истории, философии и права при Императорском Варшавском университете». Там же И. Д. Малиновский перепечатал оба опубликованных ранее Погодиным письма Гоголя, а также часть напечатанных ранее в газете «Русский» мемуаров Д. К. Малиновского о Гоголе (в несколько иной, более тщательной стилистической отделке). Новым материалом явилась лишь публикация еще одного фрагмента из воспоминаний Д. К. Малиновского о Гоголе, а также отрывков шести его писем к Гоголю (эти письма были впервые напечатаны в «Записках Общества истории, философии и права при Императорском Варшавском университете»).

Помимо этого, И. Д. Малиновский сообщил в 1902 г. ряд биографических сведений об отце и попытался охарактеризовать его личность: «Считаю своим долгом поделиться с публикой, особенно с миром литературным, теми немногими следами переписки Н. В. Гоголя, которые я нашел в бумагах моего отца. Следы эти весьма незначительны и отрывочны сами по себе; но, относясь к родоначальнику великого литературного движения, которое не кончилось еще и теперь, полвека спустя, и эти малые следы представляют, как я смею думать, некоторую ценность. Это и дает мне решимость опубликовать то немногое о Гоголе, что я нашел в семейном архиве.

Прежде всего я должен хотя отчасти очертить личность моего покойного отца (Подполковник артиллерии, преподаватель матема-

тики во 2 Моск<овском> Кад<етском> корпусе, Дмитрий Константинович Малиновский. Умер в 1871 году. — *Примеч. И. Д. Малиновского*). Потомок старого дворянского рода польского происхождения, но давно уже обрусевшего и православного, отец мой, уроженец Москвы, получил хорошее образование: он прошел классическую гимназию, два курса университета по математическому факультету и впоследствии на военной службе окончил курс Артиллерийской Академии. Прервать прохождение университетского курса ему пришлось по домашним обстоятельствам, не дававшим ему средств для продолжения высшего образования. Оставив университет, он поступил в военную службу нижним чином и впоследствии дослужился до чина подполковника. Сделать цельную и плодотворную карьеру отцу не пришлось, с одной стороны, вследствие ограниченности средств его родителей в пору его молодости, с другой — по слабости здоровья, мешавшей ему проявить в жизни или даже в писательстве всю ту энергию мысли, которая видна по оставшимся многочисленным черновым его запискам, дневникам и письмам. По направлению своему он был истинный романтик, пламенный идеалист: он изливался в жалобах, сетованиях, размышлениях, но не мог показать себя на чем-нибудь строго определенном, практическом. Математик по специальному образованию, отлично знавший высшие отделы своей науки, составлявший собственные курсы для своих учеников, он не мог удовлетвориться своею специальностью и тяготел к вопросам нравственным и эстетическим. В области нравственной философии, он, глубоко верующий и верный сын Православия, утверждал основы добродетели на вере во Христа. Не обладая твердым характером, будучи довольно увлекающимся по природе, он свое утешение находил в духе материнской любви и всепрощения, с которым относится Церковь к своим кающимся чадам. Как эстетик он любил и понимал прекрасное совершенно самостоятельно; насколько видно по его преклонению пред Гоголем, Шекспиром, Сервантесом, произведениями античного эпоса, литературный вкус его был безупречен. Сам, однако, он не чувствовал в себе сильного творческого таланта и, кроме нескольких лирических стихотворений, напечатанных в “Молве” и в отдельных оттисках, он не создал ничего крупного.

И вот та почва, на которой завязались сношения между ним и Гоголем, — вопросы этические и эстетические, и преимущественно первые. Стороны, фигурировавшие в переписке и личном знакомстве, были далеко не равны во всех отношениях: великий художник, утомленный жизнью и актами творчества, доживал тогда последние свои годы (1847–52); а мой отец был незрелым юношей — студентом, полным неясных, беспокойных стремлений. Но тем ближе мог найти у Гоголя ответы на религиозные и нравственные запросы мой отец, что великий писатель в эту пору вступил в философскую стадию своего поприща: “Переписка с друзьями” уже появилась в печати.

Из документов, касающихся этого знакомства, у меня в руках находится следующее:

I. *Два письма Гоголя к отцу*, с предварительной заметкой отца, объясняющей читателю повод к знакомству и переписке. Письма эти были напечатаны моим отцом в № 9 "Русского Архива" за 1865 г.

II. *Избранные места из писем моего отца к Гоголю.* Письма эти, непосредственно характеризующие отца, раскрывают косвенным образом и некоторые стороны характера Гоголя, именно его снисходительность и доброту по отношению к беспокойным юношам, искавшим у него ответов на неясные вопросы своего бродящего ума. Кроме того, письма эти содержат в себе объяснение ответов Гоголя.

III. *Два отделанные отрывка из воспоминаний отца о Гоголе*, очевидно готовившиеся к печати. К сожалению, они найдены неполными».

Кроме того, к письмам своего отца И. Д. Малиновский сделал примечание, что печатает их по хранящимся у него «черновым копиям» (*Малиновский И. Д.* Знакомство Гоголя с моим отцом. С. 75–91).

В настоящем собрании печатаются все опубликованные и неопубликованные ранее письма Д. К. Малиновского к Гоголю (13 писем) и два ответных письма Гоголя.

Ниже впервые печатается послужной список Малиновского, составленный по выходе его в отставку в 1866 г. Список хранится в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве: Министерства Военного Главного Штаба. Отделение V. Стол III. По отношению Главного Управления Военно-Учебных Заведений, об увольнении от службы Капитана Малиновского. Началось 14-го декабря 1866 года. Кончилось 31-го декабря 1866 года. На 13 листах (*РГВИА.* Ф. 400. Оп. 9. Ед. хр. 1519. Л. 5–10). Список озаглавлен: «Полный послужной список состоявшего во 2-й Московской Военной Гимназии прикомандированным и ныне отчисленного от оной, за штатом числящегося Полевой Пешей Артиллерии Капитана Малиновского. Составлен 5 октября 1866 года» (л. 5). Список сделан в связи с увольнением Д. К. Малиновского от службы. Малиновский был уволен Высочайшим приказом от 25 декабря 1866 г. по его прошению на имя Императора Александра II (с приложением медицинского свидетельства от 9 сентября 1866 г.; в деле не сохранилось). При увольнении награжден следующим чином (подполковника), мундиром и денежным пенсионом в 428 рублей 88 копеек серебром. Выйдя в отставку, Малиновский поселился в Коломне (см.: *РГВИА.* Ф. 400. Оп. 9. Ед. хр. 1519. Л. 1–4, 11–14). Согласно рапорту на имя Императора Александра II директора 2-й Московской военной гимназии генерал-майора П. И. Мезенцова от 6 октября 1866 г., Малиновский был отчислен из гимназии по состоянию здоровья: «По свойству болезни его… ежедневно нужна ему перемена чистого белья, значительное количество чистых тряпок и корпии… и даже медицинская помощь… Г. Малиновский

со времени перехода своего из бывшего Александринского Сиротского Кадетского Корпуса во 2 Московский, как мне известно по отзывам бывшего инспектора классов Полковника Щуцкого, также и по моему личному наблюдению в течение годичной его службы при 2 Московской Военной Гимназии, действительно подвергался частым болезненным страданиям, так что при заметном своем усердии не мог быть непрерывен в занятиях, отчего по распоряжению Инспектора классов и последовало уменьшение числа его классных занятий за последние два года; затем и отчисление его за штат (20 августа 1865 года) вынуждено собственно его болезнию, по которой самое усердие его вело его лишь к окончательному расстройству здоровья» (*РГВИА*. Ф. 395. Оп. 21. Д. 576. Л. 2 об. — 3). (О 2-й Московской военной гимназии см.: *Поливанов А. Н.* Пятидесятилетие 2-го Московского Императора Николая I кадетского корпуса. М., 1899.)

В первой графе послужного списка Малиновского, озаглавленной: «Чин, имя, отчество и фамилия», записано: «Капитан Дмитрий Константинов сын, Малиновский». В графе второй «Должность по службе» значится: «Учитель 3-го рода по предмету математики». В третьей графе «Ордена и знаки отличия» записано: «Имеет бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов». В графе четвертой «Когда родился» — «22 августа 1826 года»; в пятой графе «Из какого звания происходит и какой губернии уроженец» — «Из Дворян Московской Губернии»; в шестой — «Какого вероисповедания» — «Православного»; в седьмой — «Где воспитывался» — «Кончил курс наук в 1 Московской Гимназии и в Михайловской Военной Академии»; в графе восьмой «Получаемое по службе содержание» — «По состоянию с 20-го августа 1865 года за штатом, в течение года получал жалованья по чину 441 рубль серебром» (л. 5).

Сведения, внесенные в графу девятую «Прохождение службы» (л. 5 об., 6 об., 7 об., 8 об.), приводятся ниже в виде таблицы.

В графе десятой «Бытность вне службы» записано: «*Находился в отпусках:* На 28 дней с <1>851 декабр<я> 29<-го> по <1>852 января 25<-го>. На 28 дней с <1>861 феврал<я> 8<-го> по март<а> 7<-го>. В бессрочном отпуску, отставке и в плену не находился» (л. 6). (Возможно, во время первого отпуска 29 декабря 1851 — 25 января 1852 г. Малиновский встречался с Гоголем.)

На последней странице послужного списка (л. 10 об.) находятся еще четыре заполненные графы: «XI. Холост или женат, на ком, имеет ли детей; год, месяц и число рождения детей; какого они и жена вероисповедания» — «Женат на дочери Подполковника Данилова, девице Анне Алексеевой, у них сыновья, родившиеся: Иван — 17 июня 1863 года, и Алексей — 13 мая 1865 года. Жена и дети Исповедания Православного»; «XII. Есть ли за ним, за родителями его, или, когда женат, за женою, недвижимое имущество, родовое или благоприобретенное» — «Не имеется»; «XIII. В штрафах по суду, или без суда, также под следствием, был ли, когда, за что именно и чем дело кончено» — «Не был»; «XIV. Бытность

в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время; оказанные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; особые поручения, сверх прямых обязанностей, по Высочайшим повелениям, или от начальства; подсудность, не подлежащая внесению в штрафную (XIII) графу» — «В походах не был. Особых поручений не имел. Под судом не был». Послужной список подписан: «Директор <2-й Московской Военной гимназии> Генерального Штаба Генерал-Майор Мезенцов. Секретарь К. Полянский» (л. 10 об.) и скреплен сургучной гербовой печатью с надписью по окружности: «ПЕЧАТЬ ВТОРОЙ МОСКОВСКОЙ ВОЕННОЙ ГИМНАЗИИ».

**Полный послужной список состоявшего во 2-й Московской Военной Гимназии прикомандированным и ныне отчисленного от оной, за штатом числящегося Полевой Пешей Артиллерии Капитана Малиновского**

IX

Прохождение Службы

Когда в службу вступил и произведен в первый офицерский чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места службы или должности в другую, с объявлением, по какому случаю: по воле начальства или по собственному желанию; когда отправился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения.

| | Годы | Месяцы | Числа |
|---|---|---|---|
| В службу вступил фейерверкером 4 класса 17 Артиллерийской бригады в Легкую № 3 батарею… | <1>849 | Июня | 13 |
| Юнкером… | <1>850 | Июля | 19 |
| Командирован в учебную Артиллерийскую бригаду, для держания экзаменов в Артиллерийском отделении Военно-Учебного Комитета, куда и отправился… | <1>851 | Сентяб<ря> | 7 |
| Прибыл… | — | Октяб<ря> | 2 |
| Прапорщиком тысяча восемьсот пятьдесят первого года декабря третьего дня, с переводом 2 Гренадерской Артиллерийской бригады в батарейную № 3 батарею… | <1>851 | Декабр<я> | 3 |
| Отправлен к батарее не был, по случаю увольнения в отпуск, прибыл в оную… | <1>852 | Январ<я> | 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Командирован в Михайловское Артиллерийское Училище, для слушания курса высших наук, и отправился… | <1>852 | Июня | 10 |
| Прибыл… | <1>852 | Июня | 11 |
| За отличные успехи в науках Подпоручиком… | <1>853 | Июля | 30 |
| По окончании курса наук в старшем Офицерском классе переведен во 2 Гренадерскую Артиллерийскую бригаду… | <1>854 | Июня | 5 |
| Зачислен в Легкую № 4 батарею… | <1>854 | Июля | 8 |
| Отчислен от училища и отправлен в Штаб Инспектора всей Артиллерии для получения отправления по переводу… | <1>854 | Июля | 21 |
| Поручиком… | <1>854 | Сентяб<ря> | 6 |
| Прикомандирован, по воле Начальства, к Александринскому Сиротскому Кадетскому Корпусу (ныне 3-е Военное Александровское Училище) в должность репетитора по предмету математики… | <1>855 | Январ<я> | 8 |
| Прибыл по прикомандированию… | — | — | 18 |
| Зачислен, по воле Начальства, по Полевой Пешей Артиллерии… | <1>855 | Апрел<я> | 13 |
| Всемилостивейше награжден одною третью оклада жалованья 94 рубля 25 коп. сер<ебром>… | <1>856 | Январ<я> | 19 |
| Утвержден Учителем 3-го рода по предмету математики… | <1>858 | Январ<я> | 9 |
| Штабс-Капитаном… | <1>859 | Август<а> | 15 |
| Перечислен, по воле Начальства, во 2 Московский Кадетский Корпус (ныне 2 Московская Военная Гимназия), репетитором по предмету Артиллерии… | <1>860 | Август<а> | 15 |
| Отправлен и прибыл по перечислению… | — | Сентябр<я> | 14 |
| Утвержден Учителем 3-го рода, по предмету математики… | <1>862 | Июня | 21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Капитаном... | <1>863 | Июля | 1 |
| На основании Положения Военного Совета, о преобразовании Военно-Учебных Заведений, Высочайше утвержденного в 11-й день сентября 1864 года, отчислен от 2-й Московской Военной Гимназии, за штатом, с зачислением по роду оружия и с производством в течение одного года жалованья... | <1>865 | Августа | 20 |

к стр. 98 *...учитель гимназии, у которого я учился...* — Вероятно, имеется в виду учитель словесности С. И. Протопопов (см. ниже, коммент. к слову *Учитель*).

к стр. 100 *...не правда ли очень хорош Кукольник?* — Имеется в виду литография портрета Н. В. *Кукольника* (1809–1868) работы К. П. Брюллова (1836), помещенная в изд. А. Ф. Смирдина: Сто русских литераторов. СПб., 1839. Т. 1. (Второй том этого издания вышел в 1841 г.; третий — в 1845 г.)

к стр. 102 *...видел в Москвитянине ваш портрет...* — Имеется в виду литография П. Ф. Зенькова с портрета Гоголя работы А. А. Иванова (1841), опубликованная без ведома Гоголя М. П. Погодиным в одиннадцатом номере журнала «Москвитянин» за 1843 г. Гоголь выразил недовольство публикацией портрета. 26 октября (н. ст.) 1844 г. он писал Н. М. Языкову: «Каков между прочим Погодин!.. изволил еще в прошлом году приложить мой портрет к «Москвитянину», самоуправно, без всяких оговорок, точно как будто свой собственный... большего оскорбления мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику... это было бы совершенно ничто в сравнении с сим. На это я имею свои собственные причины, слишком законные... чего однако не хотел... изъяснять, имея тоже законные на то причины». «У меня только одна вещь и была — портрет, именно на ее-то он <М. П. Погодин> весь обломился всей своей медвежьей натурой», — добавлял Гоголь в письме к Языкову от 12 ноября (н. ст.) 1844 г. См. коммент. к письму № 853 в т. 12 наст. изд., а также к строкам статьи *I. Завещание* «Выбранных мест из переписки с друзьями» — *...без моей воли и позволения опубликован мой портрет...* — и — *...вместо портрета... эстамп «Преображенья Господня»...* — в т. 6 наст. изд.; и коммент. к <Надписи Н. В. Гоголя к его портрету, сделанной для Д. К. Малиновского в альманахе «Молодик на 1844 год»> в т. 9 наст. изд.

*Лучший мой приятель...* — Возможно, М. И. Орлов.

к стр. 103 *Вы однако же где-то сказали, что, если в каком-нибудь сочинении есть новая или удачно выраженная, хоть даже одна или две, мысли, автор не должен скрывать его от света.* — Имеются в виду строки из предисловия к сборнику «Арабески» (1835): «...если сочине-

ние заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого».

*...мой бывший товарищ... известный стихотворец...* — Лицо неустановленное.

*Учитель* — вероятно, Семен Иванович Протопопов, бывший к стр. 104 учителем словесности в 1-й Московской гимназии до 1846 г. Учившийся в гимназии чуть позже Малиновского М. А. Лакомте вспоминал: «Мы совсем почти не познакомились в гимназии с произведениями нашей новой словесности. С Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским, — не говоря уже о Гоголе, который тогда был еще совсем новым писателем, — мы не были знакомы хорошо не только по полному собранию их сочинений, но хотя бы по классному чтению и изучению какого-нибудь отдельного их произведения. Из библиотеки для преподавателей нам книг не выдавали; ученических библиотек тогда не было» (<*Лакомте М. А.*> Воспоминания педагога. 1844–1887 // Гимназия. 1888. № 2. <Отд. 2>. С. 29).

*Инспектор* — «Вся гимназия держалась инспектором Павлом Михайловичем Поповым, бывшим учителем словесности (впоследствии он был директором Моск<овского> коммерч<еского> училища). Я не знаю его отношений к директору, — может быть, многие распоряжения инспектора зависели от директора, — но для нас инспектор Попов в гимназии был все; мы чувствовали, что все от него исходило, что он был душою воспитательного и учебного дела... Многие, и по окончании курса, составили себе понятие о П. М. Попове как о человеке жестоком. Вряд ли это справедливо. Я полагаю, что при подобном суждении о личности П. М. Попова смешиваются понятия о личном его характере с господствовавшею в то время у нас суровою системою воспитания (телесные наказания). Мне думается, однако, что П. М. Попов был больше опытным руководителем учебного дела, нежели отличным воспитателем. Я ставлю в заслугу П. М. Попову хороший подбор, в большинстве случаев, умных, даровитых, знающих свое дело преподавателей» (<*Лакомте М. А.*> Воспоминания педагога. 1844–1887 // Гимназия. 1888. № 1. <Отд. 2>. С. 89–90).

*...назвал меня казаком — луганским...* — Казак Луганский — литературный псевдоним Владимира Ивановича *Даля* (1801–1872).

*Берг* — Николай Васильевич (1823–1884), поэт, переводчик, журналист. Обучался в 1-й Московской гимназии. В 1844 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Являлся членом «молодой редакции» «Москвитянина». Оставил воспоминания о Гоголе.

*...один известный юморист...* — Лицо неустановленное.

*Директор* — «Директором гимназии — он же директор учи- к стр. 105 лищ — в мое время был Матвей Алексеевич Окулов, штатский генерал, что в то время на директорском месте было большою редкостью, камергер, лично известный Великому Князю Михаилу Павловичу, известный всей аристократической Москве; следовательно, человек

влиятельный, особа. Говорили у нас, что директор Окулов находился в контрах с попечителем учебного округа гр<афом> С. Г. Строгановым, и мы никогда их вместе в гимназии не видали» (<*Лакомте М. А.*> Воспоминания педагога. 1844–1887 // Гимназия. 1888. № 1. <Отд. 2>. С. 90).

к стр. 106 *...Кота Мур<р>а...* — Роман Э.-Т.-А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра».

*«И жизнь как пасмурное»... и т. д. Одни эти две строчки ручаются за гений Лермонтова.* — Вероятно, имеются в виду строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Монолог» (1829; напечатано в 1859): «Как солнце зимнее на сером небосклоне, / Так пасмурна жизнь наша».

к стр. 111 *География... у нас, слава Богу, извощики есть...* — Подразумевается реплика Простаковой в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (действие 4, явление 8).

*...в Хемницерову яму.* — Имеется в виду содержание басни И. И. Хемницера «Метафизик» («Метафизический ученик») об ученом глупце, попавшем в яму и предающемся «метафизическим размышлениям» вместо того, чтобы оттуда выбраться.

к стр. 114 *...в заботы суетного света.* — Пересказ стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...»).

к стр. 115 *...прочел предисловие...* — Второе издание первого тома «Мертвых душ», вышедшее в 1846 г., сопровождалось предисловием «К читателю от сочинителя», тесным образом связанным с содержанием «Выбранных мест из переписки с друзьями» (в частности, с одним из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”»). В письме к Шевыреву от 20 января (н. ст.) 1847 г. Гоголь замечал: «Если ты поудержал выпуском в продажу второе издание “Мертвых душ”, то сделал хорошо, потому что предисловие может быть понято читателям только по прочтении моей “Переписки”». По признанию Гоголя в «Авторской исповеди», публикацией предисловия к первому тому поэмы он намеревался обратить читателей «на самих себя». Готовившееся тогда же издание «Ревизора» также предполагалось сопроводить особым произведением — «Развязкой Ревизора», призванной уяснить религиозный замысел пьесы и обратить каждого читателя или зрителя к самому себе. 24 октября (н. ст.) 1846 г. Гоголь писал Шевыреву: «Играться и выйти в свет “Ревизор” должен не прежде появленья книги “Выбранные места”: иначе всё не будет понятно вполне». В предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» «К читателю от сочинителя» Гоголь, в частности, сообщал, что читатели могут отправлять ему свои замечания «или на имя ректора С.-Петербургского университета, Его Превосходительства Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо в С.-Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета, его высокородия Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет», — что и было воспринято Д. К. Малиновским как возможность отправить свое письмо Гоголю через Шевырева.

к стр. 117 *Crescendo* — возрастая (*ит.*).

**1247. А. О. Смирновой**

Содержание письма перекликается с написанной позднее «Авторской исповедью» (1847).

*Цензор* — А. В. Никитенко. к стр. 121

**1248. Графиня С. М. Соллогуб — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Вестник Европы. 1889. № 11. С. 116–117. Печатается по первой публикации.

**1249. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано (с пропусками): Москвитянин. 1853. № 2. С. 105. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 200–201.

*...твоя книга...* — «Выбранные места из переписки с друзьями». к стр. 126

*...два письма ко мне...* — «О лиризме наших поэтов» и «Просвещение».

*...о том, что такое слово...* — Глава «О том, что такое слово». к стр. 127

*...также составить книгу...* — В. А. Жуковский написал в форме писем к Гоголю статьи «О смерти» (в основе письмо, отправленное Гоголю 24 марта (н. ст.) 1847 г. — № 1283), «О молитве» (кон. 1847), «О поэте и современном его значении» (29 янв. 1848).

*...Миа, Жатто...* — Сестра и брат жены Жуковского.

**1250. Князю П. А. Вяземскому**

Письмо было приложено к посланию А. О. Россету от 28 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1251).

*Вы уже, вероятно, получили... мое письмо...* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1206). к стр. 128

**1251. А. О. Россету**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Вы уже, верно, получили мое письмо со включеньем письма к Плетневу...* — Письма к А. О. Россету и к П. А. Плетневу от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1235–1236). к стр. 130

*...передайте при сем прилагаемое письмецо князю Вяземскому.* — Письмо П. А. Вяземскому от 28 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1250). к стр. 131

**1252. Протоиерею Матфею Константиновскому**

Датируется, приблизительно, январем–февралем (н. ст.) 1847 г. как написанное по выходе книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

к стр. 132 *Monsieur Nicolas Gogol à Naples en Italie, poste restante.* — Господину Николаю Гоголю, в Неаполь (Италия), до востребования (*фр.*).

**1253. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Вестник Европы. 1889. № 11. С. 119–121. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 231–233.

*...за экземпляры ваших писем...* — Т. е. за «Выбранные места из переписки с друзьями».

к стр. 134 *sont des chefs-d'oeuvres* — шедевры (*фр.*).

*...«Нет здравого места в теле моем».* — Псалом 37, ст. 4.

*...«претерпевый до конца спасен будет».* — Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 22, гл. 24, ст. 13; Евангелие от Марка, гл. 13, ст. 13.

*...«Прискорбна есть душа Моя до смерти».* — Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 38.

**1254. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1887 г. Прил. С. 55–57. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 202–203.

*...советы экономии дамам...* — Намек на статьи *XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России, II. Женщина в свете, VI. О помощи бедным.*

**1255. В. А. Жуковскому**

Дата устанавливается из письма к В. А. Жуковскому от 6 марта (н. ст.) 1847 г., где Гоголь сообщал о настоящем послании: «Назад тому дня два я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут» (письмо № 1263). (На самом деле письмо датировано не было.) Дополнительным основанием для датировки служит франкфуртский почтовый штемпель на подлиннике: «16 Marz 1847».

к стр. 135 *Оба письма... мною получены...* — Письма от 4 и 10 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1234, 1241).

*...я отправил также два письма...* — Письма В. А. Жуковскому от 25 января и от 10 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1220, 1233).

*Елизавета Алексеевна* — жена В. А. Жуковского.

*Я получил на днях письмо от Смирновой.* — Имеется в виду письмо от 11 января 1847 г. (№ 1232). к стр. 136

*От Плетнева я получил извещение…* — В письме от 17/29 января 1847 г. (№ 1237).

*…в записной книжке, данной мне во Франкфурте на дорогу…* — См. коммент. к записной книжке Гоголя 1846–1850 гг. в т. 9 наст. изд., а также к письму В. А. Жуковскому от 20 октября (н. ст.) 1846 г. (№ 1154 в т. 13 наст. изд.). к стр. 137

### 1256. М. П. Погодину

Получив письмо, М. П. Погодин записал в своем дневнике: «*Март… 14–22.* Любезное и нежное письмо от Гоголя. Утешился, но сердца на него у меня нет, разве когда раздумаешься. — Думал о степени своей полезности. Говел в <*1 нрзб.*>, ходил в Церковь… Читал Еван<гелие>. Думал. Писал письмо к Гоголю. Разбирался» (*Погодин М. П.* Дневник. 1846–1852; *РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 16; частично напечатано: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Кн. 8. С. 549).

23 марта 1847 г. С. П. Шевырев, получив письмо Гоголя от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1257), писал М. П. Погодину: «Гоголь пишет ко мне о письме к тебе. С нетерпением желаю прочесть его. Мне приятно его обращение к тебе. Оно открывет мне все-таки, что книга его, несмотря на множество в ней грехов и ошибок, проистекла из чистого источника» (*Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Кн. 8. С. 549). С. Т. Аксаков, получив, в свою очередь, письмо Гоголя от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1261), также писал М. П. Погодину: «Я знаю, что вы получили письмо от Гоголя и письмо доброе; я получил такое же, и потому не приедете ли вы ко мне, чтоб я мог прочесть ваше, а вы мое, и чтоб мы вместе порадовались и потолковали» (Там же).

Ответное письмо М. П. Погодина от 17–24 марта 1847 г. — № 1291.

*От Сергея Тим<офеевича> Аксакова я получил письмо…* — Письмо от 27 января 1847 г. (№ 1244).

*…ты был глубоко оскорблен моими словами о тебе, напечатанными в моей книге…* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями». См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

### 1257. С. П. Шевыреву

Ответ на письмо Шевырева от 30 января 1847 г. (№ 1245).

*…из письма Серг<ея> Тим<офеевича> Аксакова…* — Имеется в виду письмо от 27 января 1847 г. (№ 1244). к стр. 140

*Я и позабыл было, что в книге моей есть слова о Погодине...* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями». См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

*...едва было не случилось такое дело, за которое замучила бы его совесть.* — Этот намек Гоголя, сделанный им также в письме к М. П. Погодину от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1256), остается неясным.

к стр. 142 *В одно время с этим письмом моим к тебе я написал и к нему письмо.* — Письмо к М. П. Погодину от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1256).

*При сем письмо к сестре моей Ольге...* — Письмо к О. В. Гоголь от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1258).

**1258. О. В. Гоголь**

Автограф хранится: *ГИМ.* Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 56–57.

Письмо было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1257).

*...за вашего племянника...* — Н. П. Трушковского.

**1259. Государственный канцлер, министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде — управляющему Императорской миссией в Неаполе графу Л. С. Потоцкому. Сопроводительное письмо к пакету бумаг для Гоголя, данное графом Л. С. Потоцким для прочтения Гоголю 5 марта (н. ст.) 1847 г.**

Впервые по оригиналу (черновой редакции письма) напечатано: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 5. Петрозаводск, 2008. С. 327–328. Печатается по первой публикации.

Дата вручения Гоголю беспошлинного заграничного паспорта и трех рекомендательных писем для паломничества во Святую Землю (№ 1260) — 5 марта (н. ст.) 1847 г. — устанавливается из письма к П. А. Плетневу от 6 марта (н. ст.) того же года, где Гоголь сообщал: «Уведомляю тебя, что отъезд мой на Восток, по случаю расклеившегося моего здоровья, позднего получения паспорта (его получил только вчера, стало, я бы не поспел в Иерусалим к Светлому празднику, если бы и мог ехать) и, наконец, по случаю всякого рода препятствий, случившихся с теми моими приятелями, которые должны были также ехать в Иерусалим (я же один, по немощи душевной и телесной, не мог пуститься в такую дорогу), итак, по случаю всего этого и вместе с тем по случаю надобности ехать на железные воды и на морское купанье, отъезд мой отодвинут» (№ 1264).

Эта дата подтверждается сообщением графа Л. С. Потоцкого в письме к графу К. В. Нессельроде от 7/19 марта 1847 г.: «Немедлен-

но по получении мною 20 февраля / 4 марта сего года доставленных мне предписаний Вашего Сиятельства от 20 января за № 232, паспорта и писем для находящегося здесь литератора Николая Гоголя, я передал их ему, предоставив ему вместе с тем прочесть вышеозначенное предписание. Согласно с желанием г. Гоголя, я считаю долгом повернуть к Высочайшим Стопам и представить Вам, Милостивый Государь, живейшую благодарность его за облегчение ему как посещения Св<ятых> Мест, так и исполнения предпринимаемого им ученого труда. Сильно расстроенное здоровье сего сочинителя не позволяет ему, однако, отправиться немедленно, и он находится в необходимости отложить отъезд свой на Восток до конца будущего лета, чтоб начать, с наступлением весны, пользоваться минеральными водами на берегах Рейна» (*Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 329). (Очевидно, что паспорт и рекомендательные письма были переданы Потоцким Гоголю на следующий день после их получения.)

Обращает на себя внимание встречающееся в этом письме графа Л. С. Потоцкого упоминание о некоем «ученом труде», задуманном Гоголем. Речь, по-видимому, идет о книге по географии России для юношества — и строки о новом труде Гоголя в этом письме (по-видимому, со слов самого писателя) представляют собой первое упоминание об этом неосуществленном замысле. Главный пафос этой книги — размышления о будущем России. На создание этого произведения Гоголь получил позднее, в июле 1851 г., благословение у преподобного Макария Оптинского (см. письмо старца Макария от 21 июля 1851 г. в т. 15 наст. изд.). О замысле книги см. также в неотправленном официальном письме к графу Л. А. Перовскому (или князю П. А. Ширинскому-Шихматову, или графу А. Ф. Орлову) от июля 1850 г. (т. 15 наст. изд.) и в коммент. к названию статьи «География России» в «Оглавлении <V тома собрания сочинений>» в т. 6 наст. изд.

**1260. Пакет с заграничным паспортом и рекомендательными письмами для проезда к Святым Местам, полученный Гоголем от управляющего Императорской миссией в Неаполе графа Л. С. Потоцкого 5 марта (н. ст.) 1847 г.**

Получению Гоголем настоящего пакета предшествовало извещение графа В. Ф. Адлерберга от 9 января 1847 г. о решении Императора снабдить Гоголя беспошлинным паспортом и рекомендательными письмами для поездки в Иерусалим (письмо № 1227).

***I. Заграничный паспорт для проезда к Святым Местам***

Впервые, по копии С. П. Шевырева, напечатано: Itinerarium, составленный С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 180. Печатается по указанной копии С. П. Шевырева: *РНБ*. Ф. 850. Ед. хр. 64. Л. 2.

### *II. Государственный канцлер, министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к управляющему Императорской миссией в Константинополе М. М. Устинову*

Впервые напечатано: *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 177. Заново по оригиналу (писарской копии — той же рукой, что и письмо к Гоголю Л. Г. Сенявина от того же числа — № IV, подписанной К. В. Нессельроде) напечатано: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 5. Петрозаводск, 2008. С. 322–323. Печатается по этому изданию.

В Архиве внешней политики Российской Империи МИД РФ сохранилась также черновая редакция настоящего письма (опубл.: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 321–322), а также рекомендательное письмо о Гоголе от того же числа, отправленное графом К. В. Нессельроде в Константинополь М. М. Устинову (в делах канцелярии порядковый № 228) (Там же. С. 320–321).

### *III. Товарищ министра иностранных дел Л. Г. Сенявин — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к русскому генеральному консулу в Бейруте К. М. Базили*

Впервые напечатано (по оригиналу): *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 2008. Вып. 5. С. 326. Печатается по первой публикации.

На подлиннике письма имеется помета: «Пол<учено> 16 февраля 1848 <г.> в Иерусалиме». На основании этой канцелярской пометы устанавливается точная дата прибытия Гоголя в Иерусалим: 16 февраля 1848 г. (рекомендательное письмо Л. Г. Сенявина было вручено Гоголем К. М. Базили лично).

В Архиве внешней политики Российской Империи МИД РФ сохранился также следующей черновой набросок настоящего письма: «Ген<еральному> Консулу в Бейруте Базили. № 230. 20 Генв<аря> 1847. М<илостивый> Г<осударь> Константин Михайлович! (То же, что к Фоку, с помещением вместо слова: *в Египте — в Сирии,* и с добавлением следующего:) при отправлении же его в Иерусалим снабдить его [рекомендательным письмом к Патриарху <Иерусалимскому> Кириллу, и вместе с тем послать соответственное предписание Вице-Консулу Марабути] надлежащими рекомендательными письмами. Прим<ите> увер<ение>...» (*Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 325). Слова: «То же, что к Фоку...», — отсылают к черновику рекомендательного

письма А. М. Фоку от того же числа (см. ниже). В свою очередь, на черновике рекомендательного письма к А. М. Фоку имеется помета: «На обороте», отсылающая к написанному на соседнем листе черновику письма к К. М. Базили. Марабути Николай Степанович — российский вице-консул в Яффе, коллежский регистратор.

***IV. Товарищ министра иностранных дел Л. Г. Сенявин — Н. В. Гоголю. Рекомендательное письмо к русскому генеральному консулу в Александрии А. М. Фоку***

Впервые напечатано: *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 177–178. Заново по оригиналу (писарской копии — той же рукой, что и письмо к Гоголю графа К. В. Нессельроде, от того же числа, — подписанной Л. Г. Сенявиным — № 1) напечатано: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Вып. 5. Петрозаводск, 2008. С. 324–325. Печатается по первой публикации.

В Архиве внешней политики Российской Империи МИД РФ сохранилась также черновая редакция настоящего письма (в делах канцелярии с тем же порядковым № 231) (опубл.: *Виноградов И. А.* Документы о паломничестве Н. В. Гоголя к Святым Местам. С. 323–324).

**1261. С. Т. Аксакову**

Ответ на письмо С. Т. Аксакова от 27 января 1847 г. (№ 1244).
Ответ С. Т. Аксакова — письмо № 1292.

*Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо.* — **к стр. 148**
Письмо Е. А. Свербеевой от 20 января 1847 г. (№ 1243).

*Ольга Семеновна* — жена С. Т. Аксакова. **к стр. 149**

*При сем письмецо Надежде Николаев<не> Шереметевой...* — Письмо к Н. Н. Шереметевой от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1262).

**1262. Н. Н. Шереметевой**

Письмо было приложено к посланию С. Т. Аксакову от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1261).

**1263. В. А. Жуковскому**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою...* — **к стр. 150**
Письмо № 1249.

*В одну неделю исчезнули все экземпляры ее...* — 11 января 1847 г. **к стр. 151**
П. А. Плетнев сообщал Гоголю: «О книге твоей не успели еще ни

слова сказать ни в журналах, ни в газетах — а ее уже нет. Это прекрасно» (№ 1231). Менее достоверным представляется свидетельство П. А. Кулиша, который, комментируя настоящие строки из письма Гоголя к Жуковскому, замечал: «Неизвестно, кто сообщил Гоголю такое известие. Книга пошла очень тупо» (Соч. и письма *Н. В. Гоголя.* СПб.: Кулиш П. А. 1857. Т. 6. С. 350).

### 1264. П. А. Плетневу

Датируется на основании почтового штемпеля.

к стр. 152 *Назад тому дня два, я отправил уже одно письмо к тебе...* — Письмо В. А. Жуковскому от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1255).

*Прости меня, если у меня вырвалось какое-нибудь слово, тебя оскорбившее, в том письме моем...* — Письмо от 6 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1228).

*...письмо к доброй А. О. Ишимовой.* — Письмо до нас не дошло. Оно являлось ответом на письма к Гоголю А. О. Ишимовой от 4–31 декабря 1846 г. (№ 1212).

*Я писал к князю Вяземскому...* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1206).

*...графу М. Ю. Вьельгор<скому>...* — Письмо до нас не дошло.

*К князю Вяземскому писал потом еще письмо...* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 28 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1250).

к стр. 155 *...в письме, вероятно, доставленном уже тебе от Ар<кадия> Россети...* — Письмо к П. А. Плетневу от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1236).

к стр. 156 *...для известн<ого> дела.* — Речь идет о выдаче пособий «бедным, но достойным» студентам Петербургского университета. См. коммент. к письму № 874 в т. 12 наст. изд.

### 1265. Князь В. В. Львов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 526–528. Печатается по первой публикации.

Ответ Гоголя — письмо № 1278.

### 1266. П. Я. Убри

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

### 1267. С. П. Шевыреву

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 158 *Письмо твое от 30 января...* — Письмо № 1245.

**1268. Д. К. Малиновскому**

Впервые напечатано: <*Погодин М. П.*> Два письма Н. В. Гоголя // Русский Архив. 1865. № 9. Стб. 1126–1127. Печатается по автографу: *РГАЛИ.* Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 2.

Письмо было приложено Гоголем к посланию С. П. Шевыреву от 10 марта (н. ст.) 1847 г. из Неаполя. В письме от 22–23 марта 1847 г. С. П. Шевырев извещал Гоголя из Москвы: «В день праздника <на Пасху, 23 марта> получил письмо твое, которое было для меня истинным подарком. Тут вложено и письмо к Малиновскому» (письмо № 1290). Д. К. Малиновский получил письмо Гоголя до 1 апреля (см. ответное письмо Малиновского от 1–12 апреля 1847 г. — № 1346).

**1269. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю**

Первый черновой набросок письма впервые напечатан: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб.: Боткин М., 1880. С. 235. Печатается по первой публикации.

Второй черновой набросок письма впервые напечатан: *Зуммер В. М., проф.* Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5: Общественные науки. Баку, 1925. С. 43. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 471–472.

Фрагмент окончательной редакции впервые напечатан: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб.: Боткин М., 1880. С. 228. Печатается по первой публикации.

Ответ на письмо Гоголя от 4 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1225).

*...вашим письмом из Неаполя...* — Вероятно, имеется в виду первое из двух писем Гоголя к Иванову из Неаполя от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.). **к стр. 162**

*...послал вам мое последнее...* — Письмо от 22 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1222).

*...вашими письмами из Неаполя...* — Письма от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.).

*Моллер, подавая мне письмо ваше...* — Об обстоятельствах передачи письма Гоголя от 4 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1225) А. А. Иванову см. в письме Ф. В. Чижова к Гоголю от 7 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1240). **к стр. 163**

*...вы в Иерусалим не едете, — значит, что и мое положение разрешено...* — В сентябре (н. ст.) 1846 г. А. А. Иванов писал Гоголю: «Если вы заблагорассудите взять меня с собой на поклонение Гробу Господню, то я готов совершенно» (письмо № 1149 в т. 13 наст. изд.).

### 1270. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Николай Васильевич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой, рожд. Россет // Русская Старина. 1890. № 8. С. 284–288. Печатается по первой публикации.

*...вы писали к Сергею Тимофеевичу...* — Письмо от 20 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1207).

к стр. 164 *des lieux communs* — общие места (*фр.*).

*Я с Аксаковыми поссорилась по этому поводу...* — См. коммент. к письму № 1383.

*Аксаков* — Иван Сергеевич.

### 1271. В. А. Жуковскому

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 167 *...принесли мне вновь твои строчки...* — Письмо от 8/20 февраля 1847 г. (№ 1254).

*Убриль* — П. Я. Убри.

*Я известил его... (письмом от 10-го марта).* — Имеется в виду письмо к П. Я. Убри от 8 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1266).

*...встретившись с одним знакомым Прокоповича...* — Имеется в виду П. В. Анненков.

к стр. 168 *Ротшильд* — банкир.

*Гейне* — банкир.

*Барон Штиглиц* — петербургский банкир.

*Елисавета Алексеевна* — жена В. А. Жуковского.

к стр. 169 *При сем следует расписочка в получении денег.* — К подлиннику приложена расписка от 10 марта (н. ст.) 1847 г. (только подпись — автограф Гоголя) в получении Гоголем от банкира Ротшильда по ордеру Жуковского 285 руб. 70 коп. серебром.

### 1272. Графине А. М. Виельгорской

*...письмецо от 7/19 февр<аля>...* — Письмо № 1253.

к стр. 170 *Не скройте от меня также отзывов того человека, который нам близок обоим.* — Вероятно, имеется в виду то же лицо, о котором Гоголь писал графине А. М. Виельгорской 29 октября (н. ст.) 1845 г.: «Не позабывайте, повторяю вам, вновь того, которого я вам поручил. Вы будете ему нужны, особенно теперь, по возвращении его. Начало, сделанное вами, прекрасно, и слова, которые вы ему сказали, именно те, которые нужны. Да встречает он в вас нежную душу сестры и твердый взор верующей в Бога, да дышит от ваших слов надежда несокрушимая и укрепленье — Бог вам помогает, в том не сомневайтесь» (письмо № 1023). Возможно, речь идет о Государе.

к стр. 171 *Апраксин* — граф Виктор Владимирович.

*Передайте при сем следуемое письмо к<нязю> Одоевскому...* — Письмо к князю В. Ф. Одоевскому от 16 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1273).

*Княгиня О<доевская>* — Ольга Степановна (рожд. Ланская), жена князя В. Ф. Одоевского.

**1273. Князю В. Ф. Одоевскому**

Письмо было приложено к посланию к графине А. М. Виельгорской от 16 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1272).

*Скажи ей, что мне слишком совестно, что я дерзнул было наложить на нее одно хлопотливое дело.* — Княгиня О. С. Одоевская была включена Гоголем в «Предуведомлении» к предполагаемому благотворительному изданию «Ревизора с Развязкой» в список лиц, которым поручалась раздача пособий бедным людям. к стр. 172

*Спроси у Вяземского, получил ли он письмо через Россети...* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 28 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1250). к стр. 173

**1274. Графине С. М. Соллогуб**

Впервые напечатано (без вариантов): Письма Гоголя к Д. Е. Бенардаки, к княгине В. Н. Репниной, графине Л. К. Вьельгорской, к графу В. А. Соллогубу и к его супруге. (Сообщено М. А. Веневитиновым) // Русский Архив. 1902. № 4. С. 736. Печатается по автографу: Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 35. 2 л. (224 × 141).

*Передайте при сем следуемое письмецо Владимиру Александровичу...* — Письмо к графу В. А. Соллогубу от 16 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1275).

*В одно время с письмом к вам я отправляю также письмо к Анне Михайловне.* — Письмо к графине А. М. Виельгорской от 16 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1272).

**1275. Графу В. А. Соллогубу**

Письмо было приложено к посланию к графине С. М. Соллогуб от 16 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1274).

**1276. А. С. и У. Г. Данилевским**

*femme incomprise* — непонятая женщина (*фр.*). к стр. 176

**1277. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 152–157. Печатается по первой публикации.

к стр. 177 *К вам отвечала на письмо ваше 25 ноября, после еще писала через Александру Осиповну 28 декабря.* — Письма Н. Н. Шереметевой к Гоголю от 25 ноября и 28 декабря 1847 г. до нас не дошли. *Александра Осиповна* — Смирнова.

*Николай Михайлович* — Языков.

*Благодарю вас за книгу...* — Речь идет о «Выбранных местах из переписки с друзьями».

к стр. 179 *...говорите, что иногда и умышленно поступали.* — Имеется в виду следующее признание Гоголя в «Предисловии» к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «Мне случалось многим наносить неприятности, иным, может быть, и умышленно».

*Вы в Завещании говорите о портрете...* — См. коммент. к строкам письма № 1246 — *...видел в Москвитянине ваш портрет...*

к стр. 181 *Вы тогда же записали его имя.* — Вероятно, имеется в виду *Фонвизин* Иван Александрович (1796–1853) — полковник, брат декабриста М. А. Фонвизина. И. А. Фонвизин потерял сына Александра в 1839 г. 27 декабря 1839 г. Н. Н. Шереметева писала жене М. А. Фонвизина Н. Д. Фонвизиной из Москвы в Тобольск: «Это время не писала, да и что сказать, одно что может возлюбленную Наталью Дмитриевну и мужа ее порадовать, то состояние достойнейшего Ивана Александровича; над ним вера показала всю силу, которую она имеет над душою, благоговеющей перед велениями Божиими. Не видавала такой покорности и в какое время — когда он лишился 15-летнего единственного сына, умного, милого мальчика. В самой этот день я очень рано к ним собралась, выхожу, его человек с запиской, не смею ни распечатать, ни спросить у человека, зачем он пришел, тяжко было. Что же он пишет: "в пять часов утра угодно было милосердому Господу взять к Себе моего сына; я уже вам сказал, что от всего сердца отдал его Господу. Помолитесь об усопшем вашем крес<т>нике и о мне". — Поймешь, мой друг, каково было ехать и как тяжко было видеть милого юношу на столе и кругом него стон и плач, все домашние учителя, все это плачет. "Где Иван Алек<сандрович>?" — "Он у обедни". Он всю ночь провел подле кровати умирающего сына; когда увидел, что кончается, положил ему распятие на сердце и стал молить Господа о принятии души его с миром, прочел отходную и, когда уже все свершилось, то, говорят, подошел к образу Спасителя, плакал, молился и кончил тем: "благодарю Тебя, Господи, что Ты меня посетил" (после сам его одел, положил на стол и пошел к обедни). Он не словом, а на деле доказал, что такое Христианин, принес Богу в жертву все, что имел, и возблагодарил Посетившего его. И доселе Господь его хранит в той же тишине и спокойствии духа. В полусорочины была у них в приходе, вместе поминали, потом к нему пришла и очутилась както в той комнате, где Саша скончался. Говорю: "Сиротливо вам", а он отвечает: "Ему там хорошо". Подкрепи его, Господи! Мой Алексей говорит, что Катерина Ва<сильевна> и Иван Александрович оттого так хороши, что беспрерывно над собою наблюдают. Боже, милостив нам буди и помоги помнить час смертный» (*РГБ.* Ф. 319. К. 4.

Ед. хр. 48. Л. 19–20). Об отношении И. А. Фонвизина к книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» позволяет косвенно судить письмо его брата Михаила из Тобольска от 4 февраля 1847 г., где М. А. Фонвизин писал: «Друг мой сердечный, брат Иван Александрович. Письмо твое от 18-го января, № 6, я получил. Мы оба очень благодарны тебе за намерение прислать нам последнее сочинение Гоголя. Сообщаемое тобою о внутренней перемене, в нем происшедшей, есть событие тем более утешительное, что Гоголей у нас не много. Все произведения его обличают огромный талант, и в этом отношении едва ли кто-нибудь из современных русских литераторов может с ним сравниться; ибо все они более или менее подражатели, а Гоголь в высокой степени самобытен. — В его “Мертвых душах”, несмотря на всю карикатурность, столько истинной пользы — столько верной наблюдательности — столько неподдельного глубокого чувства! Невозможно удержаться от смеха, видя уморительные проделки всех этих гротесков; но это смех горький, оставляющий в душе читателя безотчетное скорбное чувство. Если правда, что Гоголь уничтожил вторую часть своей поэмы, то можно об этом пожалеть: он, вероятно, выставил бы в ней изящные идеалы русского человека, в противоположность карикатурам, так живо обрисованным в первой части. Да и Чичикова, верно, он вывел бы на более обширное поприще деятельности и сделал бы из него важное лицо. — “Мертвые души” оправдывают один французский стих: et le vrai n'est pas toujonrs vraisemblable <и правда не всегда правдоподобна; *фр.*>. И точно, что, кажется, невероятнее завязки и главной пружины действия всей сказки: покупка и продажа мертвых душ! А я помню, что, действительно, когда-то случилось нечто подобное: один спекулятор (его уже нет на свете) перевел в собственное маленькое имение, и где-то в глуши, с лишком двести умерших душ из вотчин своей жены и свояченицы, вместе с немногими живыми душами — и после все эти мертвые души заложил в Опекунский совет. При этом соблюдены были все законные формы, т. е. совершены акты покупки; мертвые души перечислены в другую губернию; в гражданской палате взято свидетельство на залог и пр. Это случилось вскоре после нашествия французов. — Не знаю, какие последствия имела эта спекуляция, — вероятно, за смертию замысловатого изобретателя никто не потерпел. Все эти подробности слышал я от его близкого родственника, покойного М<ихаила> В<асильевича> Бибикова, который, если ты помнишь, жил у нас. — Если Гоголь точно предал огню свой пятилетний труд, всеми с таким нетерпением ожидаемый, то это такая жертва, на которую очень немногие способны, — жертва, показывающая всю искренность и силу новых его убеждений. Я слышал, что он много времени провел с Жуковским, — не он ли подействовал на него так благодетельно? Вот как я заговорился о Гоголе — опять повторю: точно, у него необыкновенный талант! Возьми хоть, например, газетное его объявление о переводе Одиссеи — много ли найдешь у нас таких прекрасных страниц? — А его Тарас Бульба? — Что если бы он при теперешнем

своем религиозном направлении написал *Старосветских помещиков* (одна из его повестей). Что бы это вышла за прелесть!» (*РГБ*. Ф. 319. К. 1. Ед. хр. 5. Л. 7–8; напечатано: *Фонвизин М. А.* Соч. и письма. Иркутск, 1979. Т. 1. С. 308–309). О подлинном характере религиозных взглядов И. А. Фонвизина, называемого Шереметевой человеком «высокой духовности», см. в сопроводит. статье к т. 9 наст. изд., а также в статье: *Виноградов И. А.* Материалы по изучению масонского и декабристского движения, полученные Гоголем от декабриста И. А. Фонвизина и Н. Н. Шереметевой // Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 229–245.

к стр. 182 *...Шевырев от вас получил...* — Имеется в виду письмо Гоголя к С. П. Шевыреву от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. из Неаполя (№ 1238).

*...в первый раз к Степану Петровичу сегодня писала, и он, так добр, тотчас отвечает, что вы здоровы и адрес тот же.* — 26 февраля 1847 г. С. П. Шевырев отвечал Н. Н. Шереметевой: «Милостивая Государыня Надежда Николаевна. Гоголь все в Неаполе — и адрес его не переменился. Путешествие его в Иерусалим отложено. Судя по письму его, он здоров. Кончину Н. М. Языкова он перенес, как догадываюсь, хорошо. В письме он не выразит того, что, вероятно, перечувствовал. Вот несколько слов из письма. “Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! да удостоит нас Бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства, и ликовать вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с Ангелом на небесах”. Принося Вам мою душевную благодарность за Ваши добрые желания, с совершенным почтением и глубокою преданностию имею честь быть Вашим, Милостивая Государыня, покорнейшим слугою С. Шевырев. 1847. Февр. 26». Надпись на конверте: «Ея высокоблагородию Милостивой Государыне Надежде Николаевне Шереметевой от Шевырева» (*ГАРФ*. Ф. 279. Оп. 1. № 144).

### 1278. Князю В. В. Львову

Ответ на письмо князя В. В. Львова от 13/25 февраля 1847 г. (№ 1265).

к стр. 183 *Одного князя Львова я знал...* — Возможно, это и был адресат Гоголя, который как родственник П. И. Раевской мог встретиться с Гоголем в одном из московских домов.

### 1279. А. А. Иванову

Ответ А. А. Иванова — письмо № 1301.

*От Чижова я получил письмо...* — Имеется в виду письмо от к стр. 185
20 марта 1847 г., не дошедшее до нас. См. коммент. к письму № 1280.

*Передайте ему при сем следуемое письмо.* — Письмо Ф. В. Чижову от 25 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1280).

*Нечто, как о вашей картине, так и о положении вашем как художника, сказано мною в одном из моих писем, напечатанных отдельною книгою.* — Имеется в виду статья *XXIII. Исторический живописец Иванов* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*Советую вам также не гневаться на... жесткие письма...* — Письма от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.) и от 4 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1225).

### 1280. Ф. В. Чижову

Письмо было приложено к посланию А. А. Иванову от 25 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1279).

*Мне было очень прискорбно узнать из письма вашего (от 20 марта)...* — Это письмо до нас не дошло.

*...это была единственная причина тому, что я не отвечал на* к стр. 186
*ваше прежнее, очень доброе и милое письмецо.* — Письмо Ф. В. Чижова от 4 марта — 12 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1295).

### 1281. Графу Мих. Ю. Виельгорскому

Впервые напечатано (без вариантов) по «старинной копии» в изд.: *Брюсов В.* Неизданное письмо Н. В. Гоголя к гр. М. Ю. Вьельгорскому // Русская Мысль. 1911. № 4. С. 102–103. Печатается по автографу: Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 33. 2 л. (224 × 141).

*...но, вероятно, вы уже знаете из письма моего к Плетневу...* — Письмо к П. А. Плетневу от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1264).

*...какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать* к стр. 188
*и обременить графиню смутившим ее письмом.* — См. письмо к графине Л. К. Виельгорской от 16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1204).

### 1282. П. А. Плетневу

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*...дело, которое должно остаться между нами, совсем не так* к стр. 189
*глупо, как кажется с виду...* — По-видимому, речь идет о помощи нуждающимся студентам Петербургского университета.

*Любимов* — Николай Иванович.

### 1283. В. А. Жуковский — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (не полностью): Москвитянин. 1853. № 2. С. 93–94. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ.

ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 205–208.

Позднее первая половина письма (от 20 февраля / 4 марта) была переработана в статью под названием «О смерти. Из письма к Н. В. Гоголю» (напечатано впервые: *Жуковский В. А.* Соч. СПб., 1857. Т. 2. С. 123–127).

к стр. 190 *...печатный листок...* — Траурное объявление о смерти Мии Рейтерн.

*...отец и сестра...* — Е. Р. Рейтерн и Е. А. Жуковская.

к стр. 193 *«Рустем и Зораб»* — свободное переложение перевода Ф. Рюккерта «Roostem und Suhrab, eine Heldengeschichte in zwölf Buchern» (Erlangen, 1838) («Ростем и Зураб, героическое повествование в двенадцати книгах»), который, в свою очередь, является переложением одного эпизода поэмы Фирдоуси (ок. 940–1020 или 1030) «Шахнаме».

**1284. С. Н. Молчановой**

Сверено с текстом первой публикации: Материалы для биографии Гоголя // Московские Ведомости. 1859. 28 авг. № 204. С. 516. Согласно примечанию редактора газеты В. Ф. Корша, письмо было доставлено в редакцию князем Е. В. Львовым.

*...молиться о Прасковье Ивановне...* — Прасковья Ивановна Раевская умерла 21 декабря 1846 г. (Московский Некрополь. СПб., 1908. Т. 3. С. 3). 28 января 1847 г. Н. Н. Шереметева писала М. И. Гоголь: «Вчера был сороковой день незабвенной и добродетельной Прасковье Ивановне Раевской» (Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. М., 2001. С. 152). Согласно этому свидетельству, П. И. Раевская умерла 19 декабря 1846 г.

**1285. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 161. Печатается по первой публикации.

**1286. Н. Н. Шереметевой**

к стр. 194 *...сегодня, в страстн<ой> четверг...* — 20 марта / 1 апреля 1847 г.

к стр. 195 *...дело о портрете.* — См. коммент. к письму № 853 в т. 12 наст. изд., а также к строкам письма № 1246 — *...видел в Москвитянине ваш портрет...* — в наст. томе.

к стр. 196 *Почти со всеми, имевшими... намерени<е> отправиться в этом году в Иерусалим, случились непредвиденные препятствия.* — См. коммент. к письму № 918 в т. 13 наст. изд.

### 1287. А. О. Россет — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 539–550. Печатается по первой публикации.

22 марта 1847 г. А. О. Россет писал сестре: «Я написал Гоголю довольно подробно и откровенно, какое впечатление произвела вообще его книга на публику. В письме этом я не столько боялся, что передал впечатление неверно, сколько того, чтобы оно не показалось ему черствым. Я читал его Вяземскому и Плетневу: они уговорили меня послать его. Летом буду в Калуге и прочту, ибо оставил у себя копию» (Русский Архив. 1896. № 3. С. 366).

*tiers état* — третье сословие (*фр.*). к стр. 198

*entre deux chaises, le cul par terre* — между двумя стульями, задом на земле (*фр.*).

*...на письмо ваше от 11 февраля.* — Письмо № 1235. к стр. 202

*...или перейду на место председателя, губернатора...* — «А. О. Россет был в самом деле впоследствии губернатором в Вильне» (примеч. В. И. Шенрока). к стр. 204

*Вяземский... непременно вам напишет и напишет печатно.* — См. коммент. к письму № 1335.

### 1288. М. И. Гоголь

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Благодарю вас за письма ваши от 18 февр<аля>...* — Эти письма не сохранились. к стр. 205

*Лизе при сем следует письмецо.* — Письмо к Е. В. Гоголь от 6 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1289).

### 1289. Е. В. Гоголь

Письмо было приложено к посланию М. И. Гоголь от 6 апреля 1847 г. (№ 1288).

*...о смерти Прасковьи Ивановны Раевской...* — См. коммент. к письму № 1284. к стр. 206

*...о бедственной судьбе твоей крестницы...* — Речь идет о сироте Эмилии, взятой потом, по совету Гоголя, на воспитание М. И. Гоголь. Впоследствии была замужем за доктором Ковриго.

### 1290. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1893 г. СПб., 1895. Прил. С. 45–50. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 349–352.

Ответ Гоголя от 25 мая (н. ст.) 1847 г. — № 1328.

к стр. 209 *Ты обидел Погодина.* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями». См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* — в т. 6 наст. изд.

к стр. 210 *...статьи Белинского в «Современнике».* — «Современник» (1847. № 2).

*...за исключ<ением> Булгарина...* — *<Булгарин Ф. В.> Ф. Б.* Журнальная всякая всячина // Северная Пчела. 1847. 11 янв. № 8.

*...в «Листке», Григорьева...* — В «Московском Городском Листке» (1847. 10 марта. № 56; 17 марта. № 62; 18 марта. № 63; 19 марта. № 64) была опубликована статья Ап. Григорьева «Гоголь и его последняя книга» (подпись: «*А. Г.*»).

*...статья Павлова.* — Имеется в виду первая из трех статей, или «писем», Н. Ф. Павлова, напечатанных в № 28, 38, 46 «Московских ведомостей» за 1847 г. (от 6, 29 марта и от 17 апреля) и в том же году перепечатанных в «Современнике» (№ 5, 8).

*...и я скажу свое слово, когда переслушаю всех.* — *Шевырев С.* Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя // Москвитянин. 1848. № 1 (цензурное разрешение 27 дек. 1847). <Отд. 2>. С. 1–29.

к стр. 211 *У меня записана в книге вся его беседа.* — Запись беседы, состоявшейся 2 октября 1843 г., см. в дневнике С. П. Шевырева от 3 октября того же года: «Весьма иронически и всегда с насмешкой говорил он о дьяволе, называя его дураком: в яме сидит дурак сам — и хочет, чтобы и другие туда же засели. Прямой дурак!» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 20. *Шевырев С. П.* Журнал. Записки и заметки. 1843–1852 гг. 95 л. Л. 7).

к стр. 212 *В день праздника...* — Светлое Христово Воскресение в 1847 г. праздновалось 23 марта.

*...вложено и письмо к Малиновскому.* — От 10 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1268).

### 1291. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Черновая редакция первой половины письма (от 17 марта) впервые напечатана: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Кн. 8. С. 551–554. По беловому автографу напечатано (с пропусками): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 816–817. Полностью напечатано: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 407–410. Печатается по этому изданию, с дополнением фрагмента черновой редакции (в подстрочном примечании) по публикации 1894 г.

*...отвечаю тебе...* — Ответ на письмо Гоголя к М. П. Погодину от 4 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1256).

*Книгу твою я увидел в первый раз 10 января.* — «Выбранные места из переписки с друзьями» вышли в свет 31 декабря 1846 г. и были получены в Москве около 9 января 1847 г.

*Огорчен был я до глубины сердца...* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями». См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

*Я готов был плакать.* — Отзывом Гоголя М. П. Погодин «огорчился до слез, до глубины сердца» (дневниковая запись от 10 января 1847 г.; *РГБ*. Ф. 231. Разд. I. К. 34. Ед. хр. 1. Л. 13 об.). С. Т. Аксаков 16 января 1847 г. писал сыну Ивану: «Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал, но скоро успокоился и теперь искренне смеется)».

*Лизавета Григорьевна* — Черткова.

*О портрете.* — См. коммент. к письму № 853 в т. 12 наст. изд., а также к строкам письма № 1246 — *...видел в Москвитянине ваш портрет...* — в наст. томе. к стр. 214

**1292. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю**

Публикуется впервые по автографу С. Т. Аксакова — его письму к П. А. Кулишу от июля–октября 1854 г., озаглавленному «Продолжение кратких сведений и выписок из писем для биографии Гоголя <1845–1852 гг.>», где после цитаты из письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 марта 1847 г. (№ 1261) следует замечание мемуариста: «Я отвечал Гоголю между прочим: “Да кто же вас заставлял водить читателя в кухню?”» (*ИРЛИ*. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 84).

**1293. А. О. Россету**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

Ответ на письмо А. О. Россета от 12 марта 1847 г. (№ 1287).

**1294. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Николай Васильевич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой, рожд. Россет // Русская Старина. 1890. № 8. С. 288–291. Печатается по первой публикации.

*Сегодня утром получила ваше письмо, от 28-го февраля, из Неаполя; вы не даете мне адреса, и я все пишу в Рим, в посольство.* — В письме от 10 мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь отвечал: «Не могу понять, почему вы так сильно беспокоились насчет моего местопребыванья и адреса, тогда как я вам не писал ни слова о том, что оставляю Неаполь» (письмо № 1322). См. также письма № 1270 и 1300. к стр. 219

*...вам бы непременно нужно приехать хотя на шесть месяцев — пожить в губернском городе...* — В ответном письме от 10 мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь, в свою очередь, приглашал Смирнову в Остенде (письмо № 1322).

*Описать вам отдельные лица...* — Об этом Гоголь просил А. О. Смирнову в письме от 22 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1247).

к стр. 220 *Панин* — Виктор Никитич.

к стр. 221 *Константин Сергеевич* — Аксаков.

### 1295. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 368–372. Печатается по первой публикации.

*Письмо это...* — Т. е. предыдущее письмо от 4 марта (н. ст.), которому письмо из Флоренции от 12 апреля (н. ст.) служит продолжением.

к стр. 225 *Письмо ваше, сегодня мною полученное...* — Письмо от 25 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1280).

### 1296. В. А. Жуковскому

к стр. 226 *Приятное и грустное письмо твое...* — Имеется в виду письмо В. А. Жуковского от 4 марта (н. ст.) 1847 г., впоследствии переработанное им в статью под названием «О смерти». В письме сообщалось о смерти дочери Е. Р. Рейтерна, свояченицы В. А. Жуковского, Мии.

*...отрывок из Златоуста...* — Имеется в виду выписка *<41> Об утратах (Из Златоуста)* гоголевского сборника «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви» (см. в т. 9 наст. изд.).

*...из Тертуллиана о воскресении тел.* — Речь идет о выписке *7. О Божественной плоти Иисуса Христа и о нашей (Из Тертуллиана)* сборника Гоголя «Выбранные места из творений Св. Отцов и Учителей Церкви» (см. в т. 9 наст. изд.).

### 1297. Г. Рейтерну

Датируется по связи с письмом В. А. Жуковскому от 17 апреля (н. ст.) 1847 г., к которому, судя по содержанию и неполному адресу, было приложено.

*От Василья Андреевича Жуковского я узнал только недавно...* — Из письма В. А. Жуковского от 4 марта (н. ст.) 1847 г.

*...одна из милых дочерей ваших...* — Мия Рейтерн.

### 1298. П. А. Плетневу

На подлиннике имеется помета П. А. Плетнева: «П<олучено>, 26 апр<еля> / 8 мая 1847».

к стр. 227 *От Арк<адия> Осип<овича> Россети я узнал кое-что из тех неприятностей, которые случилось тебе потерпеть...* — Имеется в виду письмо А. О. Россета от 12 марта 1847 г. (№ 1287).

### 1299. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 372–373.

### 1300. А. О. Смирновой

*Я получил ваши бесценные строчки...* — Письмо от 18 февраля 1847 г. (№ 1270). **к стр. 230**

*Таким образом, вам тоже кто-то наврал, что я в Риме...* — В письме от 18 февраля 1847 г. А. О. Смирнова писала Гоголю: «Стороною я узнала, что вы в любезном нашем Риме...» (№ 1270). См. также письма № 1294 и 1322.

*Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?* — Вспоминается ответ Спасителя фарисеям, пытавшимся запретить ученикам славословить Господа при Входе Его в Иерусалим: «Если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19, 40). **к стр. 232**

### 1301. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (без окончания): Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб.: Боткин М., 1880. С. 234. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 474.

*Получил я письмо ваше от графини Толстой...* — Письмо от 25 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1279).

*...письма ваши из Неаполя...* — Письма от 12 и 19 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1191, 1196 в т. 13 наст. изд.). См. также коммент. к письму № 1269.

*Виктор Владимирович* — граф Апраксин. **к стр. 233**

*...к журналу...* — См. коммент. к письму № 1101 в т. 13 наст. изд.

### 1302. А. А. Иванову

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

Ответ на письмо А. А. Иванова от первой половины апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1301).

*Благодарю вас... за ваше скорое доставленье моего письма Чижову.* — Письмо Ф. В. Чижову от 25 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1280).

*Федор Иванович* — Иордан.

*Гравчик* — инструмент (граверный резец).

**1303. А. А. Иванову**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 234 *Едва только я написал к вам письмо...* — Письмо к А. А. Иванову от 22 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1302).

*Циммерман* — врач в Неаполе.

*Аллерс* — врач в Риме.

**1304. А. О. Россету**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*...я читаю биографи<ю> Крылова...* — «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» П. А. Плетнева, помещенная в т. 1 Полн. собр. соч. И. А. Крылова (СПб., 1847). См. также коммент. к письмам № 1213 и 1320.

к стр. 235 *...ныне вышедшие повести Даля...* — «Повести, сказки и рассказы. Сочинения Казака Луганского» (В 4 т. СПб., 1846).

**1305. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1890. № 11. С. 51–53. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 281–283.

*...мое последнее к тебе письмо (от 17/29 января 1847 г.)...* — Письмо № 1237.

*...прошел и праздник Пасхи, после которого, как ты сам справедливо сказал, незачем и приступать к печатанию книги.* — См. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1236).

*...какие места в непропущенных письмах не следует даже и представлять Государю.* — См. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 15–16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1202).

*...письмах: 3/15 января, 25 янв<аря> / 6 февр<аля>, 30 янв<аря> / 11 февр<аля>, 23 февр<аля> / 6 мар<та>...* — Письма № 1202, 1228, 1236. См.: *Акад.*, XIII, № 96, 115, 130.

к стр. 236 *Ты говоришь...* — Плетнев цитирует письмо Гоголя от 15–16 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1202).

*...Павлов во втором к тебе письме...* — См. коммент. к письму № 1290.

*Он не отказывается для тебя работать...* — В письме от 11 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь просил П. А. Плетнева обратиться к помощи А. О. Россета при осуществлении второго издания «Выбранных мест...»: «...он сумеет хорошо держать корректуру» (письмо № 1236).

*...письма к его сестре...* — К А. О. Смирновой. Ей адресованы письма, озаглавленные: «О помощи бедным», «Что такое губернаторша».

*...советовал богачам покупать книгу твою для бедных...* — Это пожелание было высказано Гоголем в «Предисловии» к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

*Ольга* — дочь П. А. Плетнева. к стр. 237

*Ты — царь: живи один!* — Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...», 1830).

*...от Брянчанинова...* — Имеется в виду письмо святителя Игнатия (Брянчанинова), в ту пору архимандрита, настоятеля Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, впоследствии епископа Кавказского и Черноморского. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя были переданы святителю Игнатию его духовной дочерью, бывшей ученицей Гоголя М. П. Вагнер (рожд. Балабиной). Письмо святителя Игнатия (Брянчанинова) (авторизованный список, посланный Гоголю П. А. Плетневым и сохранившийся в бумагах писателя) см. в т. 9 наст. изд.

*...от Вигеля из Москвы.* — Письмо от 18 февраля 1847 г. (№ 1306).

**1306. Ф. Ф. Вигель — Н. В. Гоголю**

Отрывок письма (с искажениями) впервые напечатан: <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 114–118. Полнее (с небольшими цензурными исправлениями и сокращениями) напечатано в книге Н. В. Сушкова: Московский Университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета. М., 1858. С. 8–25. См. также: <*Бартенев П. И.*> *П. Б.* Письмо Ф. Ф. Вигеля к Н. В. Гоголю по поводу книги: «Переписка с друзьями» // Русский Архив. 1893. Кн. 2. № 8. С. 561–565. Печатается по писарской копии: *РГБ*. Ф. 297. К. 7. Ед. хр. 22. Л. 19–24 (писарский список с примеч. Н. В. Сушкова); с уточнениями и дополнениями по списку, хранящемуся в *РГАЛИ* (Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1292).

Письмо было приложено к посланию П. А. Плетнева Гоголю от 4/16 апреля 1847 г. (№ 1305).

О. М. Бодянский в 1853 г. записал в своем дневнике: «26-го января <1853>. После обеда у Н. В. Сушкова, принимавшего меня накануне по случаю приезда брата его жены, Ф. И. Тютчева, который, однако же, отозван был графом С. С. Уваровым и принял уже вечером часу в 7-м, разговаривал о том и сем, речь зашла о покойном Гоголе. Тут он показал мне письмо его к Вигелю, писанное в ответ, и вместе с тем и письмо Вигеля. Оба взял я себе списать как чрезвычайно замечательные характеристики того и другого» (*Кочубинский А. А.* О. М. Бодянский в его дневнике // Исторический Вестник. 1887. № 12. С. 518).

*...к ним обратиться в великие дни, в которые Церковь наша призывает нас к покаянию, посту и молитве.* — Имеются в виду дни Великого поста, начинавшегося в 1847 г. 3 февраля (ст. ст.). к стр. 242

### 1307. С. П. Шевыреву

к стр. 243 *Благодарю очень за милое письмецо твое от 22 марта.* — Письмо от 22–23 марта 1847 г. (№ 1290).

*...вслед за ней я помещу письмо к тебе, под заглавием: «О достоинстве сочинений <и> литературных трудов Погодина»...* — Эта статья не была написана Гоголем.

к стр. 246 *...памятники раскрашен<ные> Москвы Снегирева.* — Речь идет о книге «Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. Сочинение Ивана Снегирева, с 3 планами и 23 картинами, по рисункам академика Солнцева, отпечатанными красками и 18 гравированными и литографированными рисунками» (М., 1842–1845).

*При сем отдай письмо Щепкину...* — Это письмо до нас не дошло.

### 1308. Н. Я. Прокоповичу

На подлиннике имеется помета Н. Я. Прокоповича: «Получил 11 мая 1847 с<т>. ст.».

Ответ Н. Я. Прокоповича от 12 мая 1847 г. — № 1332.

### 1309. Ф. А. фон Моллеру <?>

Датируется 1847 г. по связи с письмом А. А. Иванову от 22 апреля н. ст. 1847 г. (№ 1302).

к стр. 248 *Князь Волконский* — Григорий Петрович.

*...я... устроил так, что в Петербур<ге> всем обнаружилось производительное дело — картина Иванова...* — Подразумевается действие статьи *XXIII. Исторический живописец Иванов* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

### 1310. М. П. Погодину

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Благодарю тебя за твои усладительные строки...* — Имеется в виду письмо М. П. Погодина от 17–24 марта 1847 г. (№ 1291).

к стр. 249 *Передай при сем приложенные два письмеца твоим матушкам.* — Письмо к матери М. П. Погодина, Аграфене Михайловне Погодиной (№ 1311), и письмо к его теще, Елизавете Фоминичне Вагнер (письмо не сохранилось).

*...отсюду я отправляюсь первых чисел мая.* — Согласно записям, сделанным С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя, отметка об отправлении Гоголя из Неаполя была сделана в день написания настоящего послания: «1847 18/30 апр<еля> из Неап<оля> в Рим» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 64. Л. 2; см. также: Itinerarium, составленный С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 180).

**1311. А. М. Погодиной**

Письмо было приложено к посланию М. П. Погодину от 30 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1310).

*Погодина* — Аграфена Михайловна, мать М. П. Погодина.

**1312. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано (с пропуском): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 818, 820. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 410–412.

*...спорит с Мельгуновым о благотворительности...* — Об этой полемике см.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1895. Кн. 9. С. 65–72. См. также письмо А. О. Смирновой к Гоголю от 22–25 марта 1847 г. (№ 1294) и коммент. к строкам заключительной главы ранней редакции второго тома «Мертвых душ» — *...давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам...* — в т. 5 наст. изд. к стр. 250

*Ты говоришь: я отдал свои пороки героям «Мертвых душ» и стал лучше.* — Имеются в виду строки третьего письма главы *XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»* «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что предал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться». Подробнее о смысле этого гоголевского высказывания см. в сопроводит. статье к т. 3 наст. изд. к стр. 251

*Иван Васильевич* — Подразумевается царь Иван IV Грозный.

*...в первом письме твоем к Аксакову...* — Письмо к С. Т. Аксакову от 20 января (н. ст.) 1847 г. (№ 1207).

*...они получили в одно время со мною также письмо в этом роде...* — Письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1261). к стр. 252

**1313. А. А. Иванову**

Датируется по связи с письмами № 1302 и 1309.

**1314. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано (с пропуском): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 821–822. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 413–415.

*...находится подтвердительный эпиграф из искренних мнений самого близкого человека.* — Имеется в виду статья *IV. О том, что такое слово* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

См. коммент. к статье *XXIII. Исторический живописец Иванов* в т. 6 наст. изд.

*...второе письмо.* — См. письмо от 8 апреля 1847 г. (№ 1312).

к стр. 253 *...приписываешь ты переводу Жуковского.* — Имеется в виду статья *VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*Сказать помещику в наше время...* — Подразумевается статья *XXII. Русской помещик* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*Что ты пишешь о Красавице...* — В статье *II. Женщина в свете* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

**1315. М. И. Гоголь**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 254 *Я получил письмо ваше от 12 марта...* — Это письмо, являвшееся ответом на письмо Гоголя от 16 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1242), не сохранилось.

к стр. 255 *Я надеюсь, вы уже получили письмо мое от 6-го апреля, в котором было вложено письмо к Лизе.* — Письма к М. И. Гоголь и к Е. В. Гоголь от 6 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1288–1289).

**1316. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 373–375. Печатается по первой публикации.

к стр. 256 *...о журнале...* — См. коммент. к письму № 1101 в т. 13 наст. изд.

**1317. А. А. Иванову**

Датируется на основании почтового штемпеля.

**1318. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1896. Т. 4. С. 474. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 357.

Написано на копии второго «письма» Н. Ф. Павлова к Гоголю, напечатанного 29 марта 1847 г. в № 38 «Московских Ведомостей».

к стр. 258 *Великий князь Наследник...* — Александр Николаевич, будущий Император Александр II.

### 1319. Протоиерею Матфею Константиновскому

Первоначальная редакция письма дошла до нас в подлиннике, окончательная — в копии Н. П. Трушковского. В 1902 г. В. А. Гиляровский, отмечая отличие двух редакций — но ошибочно принимая окончательную редакцию за первоначальную (и наоборот), писал: «...в особом ларце хранились у графини <А. Г. Толстой> два ее любимых письма Гоголя, одно к о<тцу> Матвею, а другое к графу А. П. Толстому, которые она часто перечитывала. Письма эти после смерти графини достались Ю. А. Троицкой, как самому приближенному к ней лицу, которая и передала их мне. Оба письма представляют несомненный интерес. Первое из них было уже напечатано на стр. 458 издания писем В. И. Шенрока, но только в другом, измененном виде. Письмо это сначала было напечатано в *Русской Старине*, откуда и взято в отдельное издание. В первом томе писем Гоголя В. И. Шенрок заключает предисловие следующими словами: “Не можем не выразить крайнего сожаления по поводу того, что покойная княгиня А. В. Голицына, в силу странного завещания графини А. Г. Толстой, отказала нам в проверке по подлинникам писем Гоголя к Толстым”. Вследствие этого и письмо к о<тцу> Матвею, оригинал которого был у графини, не могло быть проверено и потому явилось в измененном виде, согласно неточно списанной копии с него. Письмо Гоголя к отцу Матвею, напечатанное в измененном виде в письмах, собранных В. И. Шенроком, благодаря тому что г. Кулиш печатал его не с оригинала, а с копии, относится к 1847 году и писано было из Неаполя. Письмо это, в котором Гоголь скорбит душой перед укоряющим его отцом Матвеем, чрезвычайно интересно, но в нем пропущено более десяти строк сравнительно с оригиналом. Гоголь, оправдываясь, говорит, что книги его не от дурного умысла, и добавляет (пропущено в печати): “Виной было неразумие мое и самонадеянность, меня уверившая, что я готов уже заговорить о том, о чем еще не умел умно заговорить”. Далее пропущено и изменено много отдельных слов и строк. Затем, в оригинале нет заключительных строк Гоголя, которые откуда-то появились в напечатанном письме» (*Гиляровский Вл.* Неизданное письмо Гоголя и его кресло // Русское Слово. 1902. 21 февр. № 51. С. 2).

Сличение редакций показывает, что у графини А. Г. Толстой хранилась черновая редакция письма к отцу Матфею Константиновскому. Очевидно, именно об этом автографе, оставленном Гоголем в 1847 г. у графа А. П. Толстого, идет речь в письме к графу от 14 августа (н. ст.) 1847 г.: «На днях я получил письмо от Матвея Александровича — ответ на мое (итак, вы можете копию, находящуюся у вас, изорвать)» (письмо № 1380).

*...слова ваши... о евангельском значении милостыни...* — Вероятно, имеется в виду отклик отца Матфея на статью Гоголя «О помощи бедным». Возможно, отец Матфей неодобрительно отозвался о следующих строках статьи: «Большею частию случается так, что к стр. 259

помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья».

к стр. 264 *...статью о театре...* — Имеется в виду статья «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности».

к стр. 267 *...некоторые необходимые объясненья на мою книгу... я должен буду сделать непременно...* — Намек на замысел «Авторской исповеди».

*Александр Петрович* — граф Толстой.

к стр. 268 *...писал к нему... письма, которые... не пропущены...* — Имеются в виду статьи *XIX. Нужно любить Россию, XX. Нужно проездиться по России* и *XXVIII. Занимающему важное место* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*«Маяк»* — ежемесячный «учено-литературный журнал», издававшийся в Петербурге с 1840 по 1845 г. П. А. Корсаковым и С. А. Бурачком (с 1841 г. — С. А. Бурачком).

### 1320. П. А. Плетневу

к стр. 269 *...письма Брянчанинова...* — См. коммент. к письму № 1305.

*Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома...* — Смысл последней фразы Гоголя («...тьма та сторона, которая им незнакома...»), болью которого было «страданье той половины современного человечества, с которой не имеет и случаев сойтись монах», объясняется вполне из отправленного им в тот же день, 9 мая (н. ст.), письма к отцу Матфею Константиновскому, где писатель, говоря о «Выбранных местах...», что в них есть «душевное дело, исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитанье наше начинается с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось», замечал, что «там изложен отчасти и процесс такого дела, понятный даже и не для христианина, несмотря на неточность моих слов и выражений, непонятных для не страдавшего теми недугами, какими страждут неверующие люди нынешнего времени» (письмо № 1319). Словом, речь у Гоголя идет о всех тех, которые, пребывая во «тьме», «не ходят в церковь»: «Книга моя подействовала... на тех, которые *не ходят в церковь* и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе», — с ними-то и «не имеет случая сойтись монах». Подробнее об этом см. коммент. к письму святителя Игнатия (Брянчанинова) по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя в т. 9 наст. изд.

к стр. 270 *Россети прав насчет письма к его сестре.* — Имеется в виду письмо *XXI. Что такое губернаторша* «Выбранных мест из переписки с друзьями», не пропущенное цензурой (см. также коммент. к письму № 987 в т. 13 наст. изд.).

*Книга твоя о Крылове...* — Имеется в виду большая статья «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» П. А. Плетнева, по-

мещенная в т. 1 Полн. собр. соч. И. А. Крылова (СПб., 1847). 17 января 1847 г. П. А. Плетнев отправил Гоголю отдельный оттиск этой статьи.

**1321. Ф. Ф. Вигелю**

Письмо было приложено к посланию П. А. Плетневу от 9 мая (н. ст.) 1847 г. (№ 1320).

*Благодарю вас много за ваше письмо.* — Письмо № 1306. к стр. 271

*...искреннюю исповедь вашу, которая, как я слышал, находится в ваших записках.* — Записки Ф. Ф. Вигеля впервые были опубликованы в 1863–1865 гг.

**1322. А. О. Смирновой**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

Согласно записям, сделанным С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя, 13 мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь был уже в Риме: «1/13 мая в Риме. Через Флоренцию — Геную — Ниццу — 22 мая Pont de Vai <мост Vai>» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 64. Л. 2; см. также: Itinerarium, составленный С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 180).

*...письмо ваше... от 22 марта.* — Письмо № 1294. к стр. 272

*Не могу понять, почему вы так сильно беспокоились насчет моего местопребыванья и адреса, тогда как я вам не писал ни слова о том, что оставляю Неаполь.* — В письме от 22–25 марта 1847 г. А. О. Смирнова писала Гоголю: «Сегодня утром получила ваше письмо, от 28-го февраля, из Неаполя; вы не даете мне адреса, и я все пишу в Рим, в посольство» (№ 1294). См. также письмо № 1300.

*От октября прошлого года до 10 мая нынешнего сижу в Неаполе...* — В Неаполь на зиму Гоголь приехал около 19 ноября (н. ст.) 1846 г.

**1323. Графу А. П. Толстому**

Датируется на основании почтового штемпеля: «<Napoli> 1847... Mag.». Число в штемпеле стерто. Так как Гоголь выехал из Неаполя 11 мая (н. ст.), а письмо написано за несколько дней до отъезда, то оно относится приблизительно к 8 мая (н. ст.).

*Софья Петровна* — графиня Апраксина, сестра А. П. Толстого. к стр. 273

*Наталья Владимировна* — графиня Апраксина, дочь С. П. Апраксиной.

*Анна Егоровна* — графиня Толстая, жена А. П. Толстого.

### 1324. С. А. Соболевскому

На подлиннике имеются пометы (С. А. Соболевского?): «1847» и «Неаполь». По сообщению А. К. Виноградова, Соболевский в 1847 г. «май… проводит в Неаполе» (*Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 83). Гоголь покинул Неаполь 11 мая (н. ст.) 1847 г. Следовательно, записка написана до этого числа.

### 1325. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 164–166. Печатается по первой публикации.

к стр. 274 *Пишу на имя Василья Андреевича, говорят, еще он там пробудет.* — В. А. Жуковский 19 мая (н. ст.) 1847 г. извещал Шереметеву: «…Гоголя нет еще во Франкфурте, почему письмо ваше пролежит у меня несколько времени, прежде нежели дойдет ему в руки; посылать же в Неаполь я не хочу, ибо он уже давно писал мне, что будет во Франкфурте через месяц» (<*Якушкин Е. И.*> Письма В. А. Жуковского к Надежде Николаевне Шереметевой // Библиографические Записки. 1858. № 22. Стб. 683; Соч. *В. А. Жуковского.* 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 508). Гоголь прибыл во Франкфурт 10 июня (н. ст.) 1847 г.

*…на сем свете нет свыше блаженства, как обращаться чаще ко Господу.* — Ср. в гоголевских «Размышлениях о Божественной Литургии»: «…Бог предоставил, как лучшее из наслаждений, наслажденье молиться… Молится на небесах святой о братьях своих на земле и утопает в блаженстве уже оттого, что молится».

к стр. 276 *После того письма, на которое вы отвечаете…* — На письмо Н. Н. Шереметевой от 8–26 февраля 1847 г. (№ 1277) Гоголь отвечал 1 апреля (н. ст.) (№ 1286).

*Молитва*
*<приложенная Н. Н. Шереметевой к письму Н. В. Гоголю от 24–25 апреля 1847 г.>*

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 167. Печатается по первой публикации.

### 1326. А. С. и У. Г. Данилевским

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

### 1327. А. О. Смирновой

*...последнее мое письмо из Неаполя (от 10 маия)...* — Письмо № 1322. к стр. 278

*...письмо из Калуги от 22 марта, в день Светлого Воскресен<ия>...* — Письмо № 1294. Светлое Христово Воскресение праздновалось в 1847 г. 23 марта (ст. ст.).

*...никто... не смел упомянуть при ней имени умершего сына.* — к стр. 279 Михаила Сергеевича Аксакова.

### 1328. С. П. Шевыреву

*...получил твои два пакета, со вложением двух критик из газет...* — к стр. 280 Имеется в виду первое из трех писем Н. Ф. Павлова и статья А. А. Григорьева, о посылке которых С. П. Шевырев извещал Гоголя в письме от 22–23 марта 1847 г.: «Все статьи московские к тебе посылаю по почте» (см. коммент. к письму № 1290).

*...маленькой твоей записочки.* — Записка С. П. Шевырева не сохранилась.

*...те, которые напечатаны в первых двух номерах «Современника» и «Отечественных Записок».* — В № 1 «Современника» за 1847 г. была напечатана статья В. Г. Белинского о втором издании «Мертвых душ», в № 2 «Современника» — статья В. Г. Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями».

В № 2 «Отечественных Записок» за 1847 г. была напечатана статья А. Д. Галахова по поводу предисловия ко второму изданию «Мертвых душ», датированная 15 января 1847 г.: *<Галахов А. Д.> Сто-один.* Письмо к Н. В. Гоголю по поводу предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» // Отечественные Записки. 1847. Т. 50. № 2. Отд. 5. С. 77–82. В ней, на с. 79, обращаясь к Гоголю, Галахов писал: «Книга ваша достигла второго издания. Тысячи экземпляров ее разошлись по России. Она известна каждому образованному человеку. Ее прочли с большим удовольствием как произведение высоко-поэтическое, а таким может назваться только действительное изображение жизни. И что же? сам автор говорит, что он был оплошен, незрел и поспешен, что в книге его описания неверны, что в его книге множество промахов и ошибок, так что на каждой странице есть что поправить. Чем же, позвольте спросить, восхищалась публика, читая “Мертвые Души”? — оплошностью и незрелостью автора, неверными описаниями, изображениями не действительности, множеством промахов и ошибок?..»

Далее в № 2 «Отечественных Записок» за 1847 г. следует две статьи В. Н. Майкова (без подписи), несшитые журнальные листы которых сохранились в бумагах Гоголя (*РГБ.* Ф. 74. К. 9. Ед. хр. 7): *<Майков В. Н.>* Выбранные Места из Переписки с Друзьями Николая Гоголя. Санктпетербург. 1847. В тип. Департамента Внешней Торговли. В 8-ю д. л. 287 стр. // Отечественные Записки. 1847. Т. 50. № 2. Отд. 6. С. 69–71; *<Майков В. Н.>* Сто рисунков из сочинения Н. В. Гоголя: «Мертвые души» / Рисовал А. Агин, гравировал

на дереве Е. Бернадский. СПб., 1846 // Отечественные Записки. 1847. Т. 50. № 2. Отд. 6. С. 71–88.

*Я бы очень желал, однако ж, знать, что сказано обо мне в «Библиотеке для Чтения»...* — *<Сенковский О. И.>* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. С.П.-бург, 1847 года в тип. Д. Внешней Торговли, в 8, стр. 287 // Библиотека для Чтения. 1847. Т. 80. № 2 (цензурное разрешение ок. 3 февр.). Отд. 6.

к стр. 281 *...в своих трех последних повестях.* — Подразумевается сборник, содержавший повести Н. Ф. Павлова «Маскарад», «Демон», «Миллион» и озаглавленный «Три повести» (СПб., 1839).

к стр. 282 *«Листок»* — «Московский Городской Листок».

### 1329. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (с пропусками): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 823–825. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 416–419.

*Последнее письмо к тебе...* — Письмо от 10 апреля 1847 г. (№ 1314).

*...писал много...* — В это время Погодин работал над «Русской историей». 4 мая 1847 г. он устроил в своем доме чтение ее глав. Прочитанные отрывки были затем опубликованы в «Москвитянине».

*Ты сам, по Пушкину, определил его верно...* — Имеются в виду строки третьего письма главы *XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»* «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем».

к стр. 283 *Лиза* — Елизавета Васильевна, жена М. П. Погодина.

*...сжег 2<-й> том «Мертвых душ»...* — Первоначальная редакция второго тома была сожжена писателем в конце июня — начале июля (н. ст.) 1845 г.

к стр. 284 *От Толедо... до Паузилиппо? А до Собачьей пещеры?* — *Толедо* — улица в Неаполе. Грот *Паузилиппо* (Павзилиппе) и *Собачья пещера* — достопримечательности окрестностей Неаполя.

к стр. 285 *Киреевский* — Иван Васильевич.

*...отрывок из письма ко мне Иннокентия...* — Ответ Гоголя святителю Иннокентию (Борисову) написан около 8 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1351).

### 1330. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Вестник Европы. 1889. № 11. С. 123–125. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Кар-

пова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 238–239.

*de vous eclairer* — просветиться (*фр.*). к стр. 286

*sous tous les points de vue* — со всех точек зрения (*фр.*). к стр. 287

*Il a aussi ete question pour nous...* — Речь шла о том, чтобы нам тоже... (*фр.*).

*...в Павлине.* — В Павлине находилась дача Виельгорских.

### 1331. М. П. Погодину

Датируется на основании почтового штемпеля.

*Я получил твои два письма вдруг.* — Письма Погодина от 8 и 10 апреля 1847 г. (№ 1312, 1314). к стр. 288

### 1332. Н. Я. Прокопович — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Известия Историко-филологического Ин-та кн. Безбородко в Нежине. Нежин, 1895. Т. 15. С. 52–55. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 123–124.

*...таких соображений и планов, какие тебе, конечно, и в голову не могли прийти.* — См. коммент. к строкам письма № 1359 — *...распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну Наследника.* к стр. 291

*...с «Чаромутием» нашего чудака Лукашевича...* — «Чаромутие, или Священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем, с прибавлением обращенных им же в прямую истоть чаромути и чарной истоти языков русского и других славянских и части латинского» (Петргород, 1846). к стр. 292

### 1333. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Грот Я. К.* Письма Плетнева к Гоголю. 1844–1851 // Русский Вестник. 1890. № 11. С. 55–56. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 286–287.

*Василий Андреевич* — Жуковский.

*...чувства наши найдут чистый отголосок в сердце В<еликого> К<нязя> Наследника.* — В. А. Жуковский был воспитателем Великого Князя Александра Николаевича. к стр. 293

*Врач* — «Христиан Андреевич Нордстрем» (примеч. Я. К. Грота).

### 1334. П. А. Плетневу

Датировка письма уточнена. См. коммент. к строкам — *При сем письмецо к Вяземскому.*

*...юбилея его...* — В 1847 г. должно было отмечаться пятидесятилетие литературной деятельности В. А. Жуковского.

к стр. 294 *...повесть моего писательства.* — Подразумевается «Авторская исповедь».

к стр. 295 *При сем письмецо к Вяземскому.* — Письмо к князю П. А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 г. (№ 1335).

*...что она просто чудо в домашнем быту, и хотел бы знать, в какой мере и как она всё делает.* — См. коммент. к записной книжке Гоголя 1846–1850 гг. в т. 9 наст. изд.

*А. О. Ишимову поблагодари за книжечку «Розенштраух».* — Речь идет о книге: Иоганн-Амвросий Розенштраух, лютеранский пастор в Харькове / Пер. с нем. А. Ишимовой. СПб., 1847.

### 1335. Князю П. А. Вяземскому

Письмо было приложено к посланию П. А. Плетневу от 10–11 июня (н. ст.) 1847 г. (№ 1334).

*Ваша статья в «Санктпетербургских Ведомостях» о Языкове и обо мне...* — Статья П. А. Вяземского «Языков. — Гоголь» была напечатана в № 90 и 91 (от 24 и 25 апреля) «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1847 г. Князь П. А. Вяземский в письме к В. А. Жуковскому от 21 апреля — 4 мая 1847 г. сообщал: «Я на днях отправил к тебе чрез Родионова <Р. Р. Родионов — душеприказчик Жуковского> посылку с книгами для Гоголя от Аркадия Россетти, то есть посылку с печатной бранью журналов о последней книге его. Гоголь должен быть теперь с тобою. Скажи ему, что он скоро получит от меня печатный ответ на письма его ко мне. Я написал о нем и о Языкове довольно большую статью... *4 мая.* Письмо мое залежалось до нынешнего дня, потому что хотелось мне прислать тебе и Гоголю мою статью. Вот она... Если Гоголя нет с тобою, перешли к нему скорей мою статью» (*Гиллельсон М. И.* Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842–1852) // Памятники культуры. Л., 1980. С. 56; см. также: С. 57). Летом 1847 г. художник А. А. Иванов писал брату С. А. Иванову из Неаполя: «Ты меня поставил в обманщики. А что еще хуже, книжечку о Языкове и Гоголе <отдельный оттиск статьи князя П. А. Вяземского> увез с собой, тогда как Софья Петровна <Апраксина> немедленно должна была ее послать к Гоголю. Сделай милость, сейчас же ее вышли на мое имя сюда» (*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 459). По-видимому, оттиск статьи князя П. А. Вяземского был отправлен В. А. Жуковским в Неаполь графине С. П. Апраксиной, для передачи Гоголю. Если С. А. Иванов даже и немедленно выслал обратно брату в Неаполь увезенную с собой

статью Вяземского, то к 11 июня 1847 г. (даже если предположить, что письмо Гоголя к Вяземскому датировано русским, а не европейским стилем), статья вряд ли могла быть получена Гоголем во Франкфурте. Вероятнее всего, Гоголь прочел статью в газете, имевшейся во Франкфурте. (Сохранившиеся материалы позволяют определенно судить о пребывании А. А. Иванова в Неаполе лишь с конца июня по конец августа (н. ст.) 1847 г. 12 мая (н. ст.) 1847 г. Иванов был еще в Риме, где встречался с Гоголем. См.: *Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 457–466.)

*...выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях...* — Намек на В. Г. Белинского и его сторонников. к стр. 296

*...может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их...* — См. коммент. к строкам статьи *XXXII. Светлое Воскресенье* «Выбранных мест из переписки с друзьями» — *...гордость чистотой своей...* и *...как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего* — в т. 6 наст. изд. Настоящая фраза проясняет историю происхождения трех писем Гоголя к В. Г. Белинскому 1847 г. (двух отправленных и одного неотправленного — № 1340, 1377 и 1367). Ср. также слова Гоголя в письме к С. П. Шевыреву от 11 февраля (н. ст.) 1847 г., которого он порицал за излишнюю осторожность по отношению к себе: «Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья...» (письмо № 1238).

*...строенье нового исходит из духа самой земли, из находящихся среди нас материалов.* — Ср. в заметке Гоголя «Рассмотрение хода просвещения России» в записной книжке 1846–1850 гг.: «Россия должна была развиться из своих начал. На Европу нужно было глядеть не породнившись, не обессилев. Если дом уже состроен по одному плану, нельзя ломать его». к стр. 297

### 1336. А. О. Ишимова — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Письма Ишимовой и Изведиповой по поводу сочинений Гоголя // Русская Старина. 1893. № 6. С. 555–556. Печатается по первой публикации.

*Вас<илий> Анд<реевич>* — Жуковский. к стр. 298

*<Три письма М. Изведиповой к А. О. Ишимовой (от 30 января, 30 марта и 17 апреля 1847 г.), приложенные А. О. Ишимовой к ее письму Н. В. Гоголю от 21 мая 1847 г.>*

Впервые напечатано: Письма Ишимовой и Изведиповой по поводу сочинений Гоголя // Русская Старина. 1893. № 6. С. 559–567. Печатается по первой публикации.

### 1337. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Николай Васильевич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой // Русская Старина. 1890. № 11. С. 353–354. Печатается по первой публикации.

Ответ Гоголя от 20 июня (н. ст.) 1847 г. — № 1341.

### 1338. М. С. Щепкин — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Записки и письма М. С. Щепкина / Изд. Н. М. Щепкина. М., 1864. С. 189–193; Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 468–470.

Ответ на несохранившееся письмо Гоголя, приложенное к письму С. П. Шевыреву от 27 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1307). Написано рукой брата актера — А. С. Щепкина, подпись и приписка рукой М. С. Щепкина.

к стр. 308 *...ваши три письма...* — Письма от 24 октября (н. ст.), от 2 ноября (н. ст.) и от 16 декабря (н. ст.) 1846 г. (№ 1159, 1162 и 1194 в т. 13 наст. изд.).

к стр. 310 *...доехать до Остенде...* — В письме к С. П. Шевыреву от 27 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1307), к которому было приложено несохранившееся гоголевское письмо к М. С. Щепкину, Гоголь сообщал, что лето и начало осени он проведет на морском купании в Остенде.

### 1339. Н. Я. Прокоповичу

к стр. 312 *...критику во 2 № «Современника» Белинского.* — Речь идет о статье В. Г. Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя», напечатанной в № 2 «Современника» за 1847 г.

*Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще.* — Имеется в виду соответствующее высказывание о «журнальных вождях» в главе *VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*...дай ему при сем прилагаемое письмецо...* — Письмо № 1340.

к стр. 313 *У отца моего были два двоюродных брата священника...* — Меркурий Кириллович и Савва Кириллович Яновские.

*...появившийся Гоголь...* — Возможно, Гоголь имеет в виду Степана Меркурьевича Яновского.

### 1340. В. Г. Белинскому

Письмо было отправлено в Санкт-Петербург вместе с письмом к Н. Я. Прокоповичу от 20 июня (н. ст.) 1847 г. (№ 1339). В. Г. Белинский в это время лечился в Зальцбрунне (в Силезии), куда Н. Я. Прокопович переслал письмо Гоголя через посредство Н. А. Некрасова.

к стр. 314 *...статью вашу обо мне во втором № «Современника»...* — См. коммент. к письму № 1339.

**1341. А. О. Смирновой**

*Я получил ваше... письмецо от 22 мая.* — Письмо № 1337. к стр. 315

*От вашего братца, Арк<адия> Осиповича, я получил такое прекрасное и такое нужное письмо...* — Письмо А. О. Россета от 12 марта 1847 г. (№ 1287). к стр. 316

*Клементий Осипович* — Россет.

*Я вам также писал несколько о Вигеле в прежнем письме...* — Это письмо Гоголя до нас не дошло. к стр. 317

**1342. Н. Н. Шереметевой**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

**1343. Графу А. П. Толстому**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Скурыдин* (Скуридин) — Михаил Сергеевич. к стр. 319

**1344. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано (с пропусками): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 826–828. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 423–426.

*...спрашиваешь ты...* — Письмо Гоголя не сохранилось. к стр. 320

*Саша* — Александра Михайловна, дочь М. П. Погодина, в замужестве Зедергольм.

*...жил у Трубецких.* — С 1819 по 1827 г. состоял домашним учителем в семействе князя И. Д. Трубецкого.

*Митя* — Дмитрий Михайлович, сын М. П. Погодина.

*Елизавета Фоминична* — Вагнер, теща М. П. Погодина.

*...больше, чем у Румянцева...* — Погодин говорит о коллекции книг и рукописей, собранной Н. П. Румянцевым. к стр. 321

*...пускаюсь на спекуляцию...* — В 1852 г. Погодин был вынужден продать свое «Древлехранилище» Публичной библиотеке в Петербурге.

*...коллекцию эскизов, что была у Глинки?* — Видимо, имеется в виду богатейшее собрание рисунков, составленное князем Д. М. Голицыным и перешедшее позднее к семье князей Долгоруких. (Вероятно, временно эта коллекция находилась у кого-то из Глинок, возможно, поэта Ф. Н. Глинки.) В 1840-х гг. это собрание было выставлено для продажи и спустя несколько лет приобретено доктором Жоли, увезшим его в Париж. В. А. Панов в письме из Вены от 27 июня (н. ст.) — 2 июля (н. ст.) 1840 г. сообщал К. С. Аксакову о своем кратковременном пребывании вместе с Гоголем проездом в Кракове 14 июня (н. ст.) 1840 г.: «В Кракове вдруг пробудилась деятельность

Николая Васильевича. Он вечером написал там статью по-итальянски для журнала римского о собрании эскизов кн<язя> Долгорукого в Москве» (Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 592). Судьба этой статьи неизвестна.

к стр. 322 *Между малороссиянами открылось что-то недоброе.* — Имеется в виду сепаратистская деятельность Украино-Славянского Общества, основанного в конце 1845 — начале 1846 г. и разоблаченного в 1847 г. (организаторы называли свой кружок Обществом Св. Кирилла и Мефодия). Одним из членов этого общества был первый биограф Гоголя П. А. Кулиш, который был выслан на три года на службу в Тулу с учреждением над ним полицейского надзора.

*Старик писал тебе искренно и любя.* — Речь идет о письме С. Т. Аксакова к Гоголю от 27 января 1847 г. (№ 1244).

*...что за страшное происшествие, к которому я подавал повод?* — См. письма № 1256 и 1257.

к стр. 323 *А граф Строганов, прочитав твои письма... говорит мне: «Ваши друзья говорят об вас то же».* — Между Погодиным и графом С. Г. Строгановым существовали неприязненные отношения.

**1345. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1893 г. СПб., 1895. Прил. С. 50–51. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 360–361.

*...одно из них от Малиновского...* — Письмо от 1–12 апреля 1847 г. (№ 1346).

*...копию с 4-го письма Павлова о твоей книге.* — Четвертое письмо Н. Ф. Павлова о «Выбранных местах из переписки с друзьями» было напечатано в 1847 г. в № 46 «Московских Ведомостей» (от 17 апреля). См. также коммент. к письму № 1290.

*Третье письмо Павлова не было не только напечатано, но даже и написано.* — О существовании третьего письма Н. Ф. Павлова могут свидетельствовать слова В. П. Боткина в письме к А. А. Краевскому от 3 апреля 1847 г. из Москвы: «Вы, конечно, заметили в <Московских> Ведомостях “Письма к Гоголю” Н. Ф. Павлова. Вот образцовая критика, критика, напоминающая манерой своей Вольтера: Павлов бьет Гоголя его же оружием, и я не знаю, каково-то будет чувствовать себя он, читая эти письма. Их будет несколько; 3-е письмо превосходно» (Письма В. Г. Белинского и В. П. Боткина к А. А. Краевскому // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893. Прил. С. 78). Высказывалось предположение, что третье «письмо» Н. Ф. Павлова (которое могло быть написано в период с 30 марта по 2 апреля 1847 г.) «не попало в печать по соображениям цензурного порядка» (*Вильчинский В.* О письмах Н. Ф. Павлова к Н. В. Гоголю. (К оценке современниками «Выбранных мест из переписки с друзьями») // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1963. Т. 22.

Вып. 5. С. 428). По мнению В. П. Вильчинского, Гоголь даже читал третье письмо Павлова, о чем якобы могут свидетельствовать слова Гоголя в письме к С. П. Шевыреву от 7 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1348). «Доказательством вероятности этого предположения служит следующее. В письме к Шевыреву от 7 июля 1847 г. Гоголь благодарит за пересылку "двух критик Павлова" и сообщает, что, по его мнению, "обе критики... слабее первых" (разрядка моя. — *В. В<ильчинский>*). Таким образом, можно думать, что до получения двух последних критических писем Павлова Гоголь читал письма к нему на ту же тему (о существовании их Шевырев мог и не знать). А что этих писем было, как минимум, два, свидетельствует то место из письма, где говорится о "первых" (а не о "первой") критиках, употребляется форма множественного числа, которую мы не имеем никаких оснований считать опиской» (Там же).

История получения Гоголем статей Н. Ф. Павлова показывает, что гипотеза В. П. Вильчинского нуждается в дополнительной аргументации и без этого не может быть принята. Первое письмо Н. Ф. Павлова было послано Гоголю С. П. Шевыревым при письме от 22–23 марта 1847 г. (№ 1290), второе — при письме от 16 апреля 1847 г. (№ 1318).

25 мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь сообщал С. П. Шевыреву из Марселя: «Перед самым выездом из Неаполя получил твои два пакета, со вложением двух критик из газет...» (Гоголь выехал из Неаполя 29 апреля / 11 мая 1847 г.). Судя по содержанию письма, в пакетах были первая статья Н. Ф. Павлова и статья А. А. Григорьева. Позднее, отвечая С. П. Шевыреву на настоящее письмо (т. е. на письмо от 14/26 июня, с «копией с 4-го письма Павлова»), Гоголь 7 июля (н. ст.) 1847 г. писал: «Два письма твои, со вложением писем и двух критик Павлова, получил... Обе критики Павлова значительно слабее первых» (письмо № 1348). Очевидно, вместе с письмом от 14/26 июня 1847 г. было получено и письмо от 16 апреля 1847 г. (со второй статьей Павлова). Получив, таким образом, вторую и четвертую статьи Павлова, Гоголь не мог противоставлять их «первым» статьям того же Павлова (так как «первыми» в таком случае оказывались бы не первая и вторая, а первая и третья статьи). Следует предположить во фразе Гоголя: «Обе критики Павлова значительно слабее первых» — либо описку (и читать: «...слабее первой»), либо полагать, что под «первыми» Гоголем подразумеваются те «две критики из газет» (первая статья Н. Ф. Павлова и статья А. А. Григорьева), которые были получены им с письмом С. П. Шевырева от 22–23 марта 1847 г. при выезде из Неаполя 11 мая (н. ст.). Во всяком случае, когда позднее, в августе 1848 г. (до 24-го числа), Гоголь перечитал статьи Павлова и написал их автору письмо по этому поводу, то речь в нем шла только о трех опубликованных письмах, и никакое другое, неопубликованное письмо не подразумевалось: «Я читал со вниманием и несколько раз ваши письма, напечатанные в "Москов<ских> Ведом<остях>". Возвратившись в Россию, я перечел их еще раз, над многим задумался» (см. в т. 15 наст. изд.).

*Щепкин не решился собраться к тебе. Я его понукал.* — См. письмо М. С. Щепкина к Гоголю от 22 мая 1847 г. (№ 1338).

*Мой 2-й выпуск...* — Речь идет о второй части «Истории русской словесности...».

**1346. Д. К. Малиновский — Н. В. Гоголю**

Хранится в гоголевском фонде *РГБ*: Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 37. Л. 1–16 (л. 1–10 — формата: 27,6 × 21,0; л. 11–16 — обычного почтового формата: 21,0 × 13,7). Публикуется впервые по автографу.

Письмо было отправлено Гоголю из Москвы С. П. Шевыревым при письме от 14 июня 1847 г.: «Посылаю тебе, любезный друг, два письма, полученные на твое имя, одно из них от Малиновского...» (письмо № 1345).

к стр. 329 *...«дар напрасный, дар случайный — жизнь! зачем ты мне дана?..»* — Цитируются начальные строки стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828). Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, ответил Пушкину стихотворным посланием «Не напрасно, не случайно...», которое распространялось в списках.

к стр. 330 *...за выдачу в свет ваших писем.* — Имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

к стр. 332 *Вы говорите, что Пушкину стало грустно, когда он прочел начало Мертвых душ...* — В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу "Мертвых душ"» «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*Может быть, эта-то мысль, что, где видишь казнь, там не все живут злодеи, и не позволила мне грустить.* — Сходную мысль Гоголь высказывает в «Развязке Ревизора»: «Если выставишь всю дрянь, какая ни есть в человеке, и выставишь ее таким образом, что всякой из зрителей получит к ней полное отвращение, спрашиваю: разве это уже не похвала всему хорошему? спрашиваю: разве это не похвала добру?»

к стр. 337 *A priori* — изначально, до и вне всякого опыта (*лат.*).

к стр. 342 *...пусто в мире Божием!* — Подразумеваются строки заключительной статьи «Выбранных мест из переписки с друзьями» *Светлое Воскресенье*: «Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!»

*...ваша Июльская ночь...* — Имеется в виду повесть «Майская ночь, или Утопленница».

**1347. М. И. Гоголь**

Автограф хранится: *ГИМ*. Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 28–29.

к стр. 346 *...в последнем письме.* — Письмо М. И. Гоголь от 3 мая (н. ст.) 1847 г. (№ 1315).

### 1348. С. П. Шевыреву

Возможное окончание настоящего послания — письмо № 1364.

*Два письма твои, со вложением писем и двух критик Павлова, получил.* — Письмо С. П. Шевырева от 16 апреля 1847 г. (со второй статьей Павлова) (№ 1318) и от 14/26 июня 1847 г. (с четвертой статьей Павлова). к стр. 348

*Обе критики Павлова значительно слабее первых...* — См. коммент. к письму № 1345.

*...мне следует сделать чистосердечное изъяснение моего авторского дела...* — Намек на «Авторскую исповедь».

### 1349. Графине А. М. Виельгорской

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Очень вас благодарю... за ваше письмо...* — Имеется в виду письмо от 5–8 мая 1847 г. (№ 1330).

*Александра Осиповна приобрела сына Михаила...* — Михаил Николаевич Смирнов (30 мая 1847 — 1889). к стр. 349

### 1350. М. П. Погодину

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Перед приездом моим в Москву...* — В октябре 1841 г. к стр. 350

*...я писал еще из Рима Серг<ею> Тим<офеевичу> Аксакову...* — Письмо от 13 марта 1841 г. (№ 501 в т. 11 наст. изд.).

*В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу.* — В копии, принадлежавшей М. П. Погодину, после этой фразы следует сноска к примечанию, сделанному Погодиным на полях рукописи: «Не могу оставить этого места без объяснения: [покойный] Гоголь или забыл, писав чрез долгое время, года чрез три или более после происшествия, или было какое-нибудь недоразумение. Мне кажется, напротив, что он вызвался тотчас <*в источнике пропуск половины строки, обрезанной при переплете рукописи*> Рим, и я только что напомнил ему после, что ему представилось требованием. Могу найти доказательства, но теперь занят совсем другими предметами. (А в каком виде представлялся мне тогда Гоголь, можно видеть из следующего письма моего к нему, им сохраненного: оставить места на 10 строк). Между нами пробежала черная кошка. Я хотел отвечать ему при жизни... по окончании своей истории. Опишу когда-нибудь после этот интересный эпизод в нашей жизни. Теперь оставляю говорить его, поскольку пишется его биография. М. П<огодин>». Слова: «оставить места на 10 строк», — предназначались для переписчика, который должен был вписать письмо Погодина к Гоголю.

к стр. 351 *...я живу в твоем доме и тебя твои родственники спрашивают о том, что ж я, в самом деле, у тебя живу, а для тебя в журнале не тружусь.* — В подлиннике это место зачеркнуто Погодиным и осталось ненапечатанным. В копии, принадлежавшей М. П. Погодину, оно имеется.

*Мне казалось так низким напомнить у себя живущему человеку, что он должен быть за это благодарным.* — Тоже зачеркнуто Погодиным и осталось ненапечатанным. В копии, принадлежавшей М. П. Погодину, имеется.

к стр. 354 *Строганов* — граф Сергей Григорьевич.

к стр. 355 *...отправь прилагаемое при сем письмо Иннокентию...* — Письмо № 1351.

### 1351. Святителю Иннокентию (Борисову)

к стр. 356 *Погодин мне доставил замечание ваше о моей книге.* — Имеется в виду письмо М. П. Погодина от 6/18 мая 1847 г. (№ 1329).

к стр. 357 *...что посильней его теребит.* — См. коммент. к строкам заключительной главы позднейшей редакции второго тома «Мертвых душ» — *«Что кому требит, тот то и теребит»...* — в т. 5 наст. изд.

### 1352. А. О. Смирновой

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 358 *...мисс Овербек пишет...* — Письмо гувернантки Смирновых к Гоголю (с сообщением о рождении у А. О. Смирновой сына) до нас не дошло.

### 1353. П. А. Плетневу

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

Ответ Плетнева от 29 июля / 10 августа 1847 г. — письмо № 1384.

к стр. 359 *...небольшую вещь...* — «Авторскую исповедь».

*...переделанную «Развязку Ревизора»...* — Судя по сохранившемуся черновому автографу фрагмента новой редакции «Развязки Ревизора», в пьесе было существенно переделано окончание (см. вторую редакцию окончания «Развязки Ревизора» в т. 4 наст. изд.).

*Спроси у того художника, который предлагал мне издание «Мертвых душ» с рисунками...* — У Е. Е. Бернардского.

*При сем следует письмецо к Ишимовой.* — Ответ Гоголя на письмо А. О. Ишимовой от 21 мая 1847 г. (№ 1336) не сохранился.

### 1354. С. Т. Аксакову

Датировка уточнена на основании почтового штемпеля.

Ответ Аксакова от 26 июля 1847 г. — письмо № 1383.

*...на последнее письмо мое...* — Письмо к С. Т. Аксакову от 6 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1261).

**1355. М. С. Щепкину**

*«Ревизор» — «Ревизором», а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель...* — См. коммент. к «Развязке Ревизора» в т. 4 наст. изд. к стр. 361

**1356. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Зуммер В. М.,* проф. Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5: Общественные науки. Баку, 1925. С. 43–45. Печатается по первой публикации.

Ответ Гоголя от 24 июля (н. ст.) 1847 г. — письмо № 1360.

Во втором наброске письма А. А. Ивановым использован фрагмент его сочинения «Мысли, приходящие при чтении Библии» (1846–1847), повторяющий дословно строки письма:

«Когда таковые обстоятельства покажутся, Вы возвысьтесь святой жизнью, потому что Ваше спасение уже близко.

Берегитесь от объядения, вина и от всех беспокойств жизненных, чтоб этот час не встретил Вас врасплох.

Потому что все будет, как в сети, все, что будет жить на поверхности земли.

Бдите, прося и молясь, во всякую минуту для того, чтоб быть достойными избежать всех этих зол и представиться с полным доверием к перерожденному Царю.

Иоанн.

Я есть начало всего, т. е. Истина.

Я имею и другое пастбище, <тех>, которые не подлежат публичному стаду. Надобно, чтоб Я и их привел, и тогда будет одно стадо и один пастырь, т. е. Воцарившийся Неограниченный Монарх вечного мира на земле.

Иисус сказал: “Если Я хочу, чтоб он жил до тех пор, пока Я не возвращусь в Духе Монарха, какое тебе дело? Ты следуй и достигай за Мной верою”» (*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001. С. 665–666). См. также коммент. к ответному письму Гоголя от 24 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1360).

*...nombre rond et consacre chez les Hébreux, les Egypties, les Perses et les Orientaux de nos jours...* — ...неделимое и святое число у евреев, египтян, персов и современных восточных народов... (*фр.).* к стр. 365

**1357. А. О. Смирнова — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Николай Васильевич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой // Русская Старина. 1890. № 11. С. 354. Печатается по первой публикации.

*...два ваших письма из Франкфурта...* — Одно из писем Гоголя к А. О. Смирновой из Франкфурта, в котором он «писал несколько о Вигеле» (см. коммент. к письму № 1341), до нас не дошло; второе письмо — от 20 июня (н. ст.) 1847 г. (№ 1341).

**1358. Н. Я. Прокопович — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Русская Старина. 1889. № 1. С. 145–146. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 128.

**1359. В. Г. Белинский — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано А. И. Герценом: Полярная Звезда на 1855 год. Лондон, 1858. Кн. 1. С. 65–75. Печатается по изд.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 281–289. Автограф письма не сохранился. Послание дошло до нас в копиях, распространявшихся В. Г. Белинским и его сторонниками.

Ответ на письмо Гоголя от 20 июня (н. ст.) 1847 г. — письмо № 1340.

Ответ Гоголя: неотправленный, от конца июля — начала августа (н. ст.) 1847 г. — письмо № 1367; отправленный, от 10 августа (н. ст.) 1847 г., — письмо № 1377.

Ф. М. Достоевский, начинавший свою литературную карьеру в окружении западников, за чтение «в заседании» петрашевцев 15 апреля 1849 г. «письма Белинского в ответ Гоголю», 23 апреля того же года был арестован и через восемь месяцев «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского» приговорен к «смертной казни расстрелянием», замененной на эшафоте четырехлетней каторгой в Омске, с лишением всех прав состояния и последующей сдачей в солдаты. Потомственное дворянство было возвращено Достоевскому лишь в 1857 г.; полицейский надзор за ним сохранялся до 1875 г.

В 1914 г. В. И. Ульянов (Ленин) назвал настоящее письмо В. Г. Белинского «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (*Ленин В. И.* Из прошлого рабочей печати в России // Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1961. Т. 25. С. 94). Ф. М. Достоевский, со своей стороны, в письме к Н. Н. Страхову от 5 мая (н. ст.) 1871 г. замечал: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 208). Долгое время под влиянием оценки, данной настоящему письму Белинского В. И. Ульяновым, творчество Гоголя делилось на две части. С одной стороны, гоголевские произведения, и прежде всего «Ревизор» и «Мертвые души», истолковывались как прямая политическая сатира, направленная на свержение самодержавия,

с другой — утверждалось мнение, будто вследствие изменившегося у писателя в конце жизни мировоззрения он вступил в противоречие со своим гением. В силу внелитературных причин этот взгляд уже со второй половины XIX в. возобладал в публицистике и ученых статьях о Гоголе.

*...я любил вас со всею страстью...* — Это утверждение, откуда берет начало разделение Гоголя на «раннего» и «позднего», объективно не может служить основанием для периодизации творческого пути писателя, ибо изначально настоящий смысл гоголевских произведений почти исключался из «любви» В. Г. Белинского (подробнее об этом см. в сопроводит. статье к т. 6 наст. изд.). **к стр. 367**

*...вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек...* — Взятая В. Г. Белинским на вооружение теория о бессознательности художественного творчества и определение Гоголя как художника, творящего в состоянии «поэтического сомнамбулизма», означала для критика на практике возможность произвольного истолкования его произведений, а возникающие при этом противоречия выдавались в соответствии с этой теорией за противоречия между «гениальной» художнической интуицией писателя и его якобы неглубоким мировоззрением. Стремление отрицать или дискредитировать авторскую мысль в художественном произведении, придав ему иное толкование, наряду с восторженными похвалами, пронизывает большинство критических выступлений Белинского, посвященных гоголевскому творчеству.

*...из вашего прекрасного далека...* — Имеются в виду строки лирического отступления в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ»: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу». **к стр. 368**

*...не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы...* — В 1842 г. В. Г. Белинский замечал по поводу «Мертвых душ»: «Неужели в иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и мудрости? Ничего не бывало! Те же Чичиковы, только в другом платье: во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на *свободных* парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга» (*Белинский В. Г.* Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 133).

*...заменением однохвостого кнута треххвостою плетью.* — В 1845 г. в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» наказание кнутом заменялось увеличенным количеством ударов плетью.

*Колухан* — правильно: калухан — «еретик, отщепенец, отступник от Православия... молокан, духоборец или скопец» (словарь **к стр. 370**

В. И. Даля). Очевидно, что слышанное где-то слово В. Г. Белинский употребляет не к месту, полагая в нем какой-то иной смысл.

*...это по натуре своей глубоко атеистический народ.* — Выдавая себя за последователя «истинного христианства», В. Г. Белинский тут же от Христа отрекался. Если указать на свидетельство о В. Г. Белинском Ф. М. Достоевского — как отзывался критик о христианстве в частных беседах, — то его зальцбруннское письмо к Гоголю можно назвать еще весьма сдержанным (см.: *Достоевский Ф. М.* — Страхову Н. Н. 18 (30) мая 1871. Дрезден // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 29. Кн. 1. С. 215; а также письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину от 7 сентября 1841 г.: *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 483). «Дивное явленье! — восклицал позднее о подобных метаморфозах святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, в связи с подобным же выступлением другого деятеля революционной демократии, А. И. Герцена, — ругатель Христа и враг Его принимается объяснять учение Христово» (<*Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский*>. Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию // Богословский Вестник. 1913. № 2. С. 201).

к стр. 371 *religiosa mania* — религиозная мания (*лат.*).

*...Бурачком с братиею.* — Бурачок Степан Анисимович (1800–1876), издатель журнала «Маяк» (1840–1845), религиозно-патриотического направления.

к стр. 372 *...распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну Наследника.* — Позднее Гоголь действительно предполагал получить место воспитателя при Дворе — при сыне Наследника, великом князе Николае Александровиче (1843–1865). Художник М. И. Железнов вспоминал, как незадолго до смерти писателя, в конце декабря 1851 г., он слышал переданное Гоголю кем-то из друзей извещение, что «место, которое он желает получить при детях Наследника, уже занято и что ему нельзя получить этого места» (Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний *М. И. Железнова*) // Живописное Обозрение. 1898. № 32. С. 643). См. также коммент. к сочинению Гоголя «Ночи на вилле» в т. 7 наст. изд.

*...ваше письмо к Уварову...* — Имеется в виду письмо Гоголя к министру народного просвещения С. С. Уварову от конца апреля (н. ст.) 1845 г. с благодарностью за ходатайство перед Государем об оказании материальной помощи (см. коммент. к письму № 945 в т. 13 наст. изд.). В. Г. Белинскому, несомненно, было известно не только это письмо Гоголя к С. С. Уварову, но и гораздо более раннее обращение Гоголя за помощью к Императору в 1837 г. (слухи об этом распространялись не только в Петербурге, но доходили даже до Малороссии; см. коммент. к письму № 337 в т. 11 наст. изд.), а также намерение Гоголя открыто высказать тогда в печати свои верноподданнические чувства (см. коммент. к <Письму из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> в т. 7 наст. изд.). Обо всем этом

В. Г. Белинский мог быть осведомлен непосредственно от Н. Я. Прокоповича и А. В. Никитенко, которым об этих фактах было хорошо известно. Очевидным для современников, в том числе и для В. Г. Белинского, было и активное сотрудничество Гоголя с С. С. Уваровым в 1834 г. — в самом начале деятельности министра по укреплению начал Православия, Самодержавия, Народности (подробнее об этом см. в сопроводит. статье к т. 8 наст. изд.). Обо всем этом Белинский, однако, умалчивал, ибо это противоречило бы представлению о «раннем» Гоголе как «обличителе» самодержавия, которое навязывал критик читателям своими истолкованиями гоголевских художественных произведений.

*...верноподданнических стихотворения...* — Имеются в виду стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826) и «Друзьям» (1828).

*...надеть камер-юнкерскую ливрею...* — Звание камер-юнкера А. С. Пушкин получил в 1834 г.

*«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек».* — Цитата из статьи *XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России* «Выбранных мест из переписки с друзьями». к стр. 374

*...их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам... не следовало бы... обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям.* — Вопреки этим заявлениям критика, одним из главных мотивов, побудивших Гоголя к изданию «Выбранных мест из переписки с друзьями», явилось именно стремление писателя остановить развернутое журнальной критикой во главе с Белинским радикальное «погребение» настоящего смысла его художественных произведений. «Когда мы хвалили сочинения Гоголя, — заявлял сам Белинский в статье, посвященной новой книге Гоголя, — то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях...» (*Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // *Он же.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 237). Очевидно, что упрек Белинского Гоголю в том, будто писатель «обвинил» его (якобы несправедливо) «в намерении дать какой-то предосудительный толк» его сочинениям, является не более чем одним из приемов литературной полемики.

*...Вяземский... напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос.* — Имеется в виду статья князя П. А. Вяземского «Языков. — Гоголь», напечатанная в 1847 г. в № 90 и 91 «Санкт-Петербургских Ведомостей» (от 24 и 25 апреля). Имея в виду Белинского и его последователей, князь Вяземский писал: «Чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навесть уныния на человека с умом светлым и высоким... люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе... Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных... Они не понимали Гоголя, но, по крайней мере, так могли в свою пользу перетолковывать создания его вымыслов»

(*Вяземский П. А.* Языков. — Гоголь // *Он же.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 171–172). В письме к В. А. Жуковскому от 17 мая 1846 г. Вяземский также замечал: «Как он <Гоголь> счастлив, что не читает в русских журналах того, что говорится о нем. Там, где бранят его, было бы для него еще сносно. Но он сам бы себе огадился, читая похвалы себе, например в Отечественных записках» (*Гиллельсон М. И.* Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842–1852) // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 54).

*...за его «вялый, влачащийся по земле стих».* — В статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь писал: «...этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью».

к стр. 375 *Шпекин* — почтмейстер из «Ревизора».

*Я... не умею хитрить: это не в моей натуре.* — Будучи искусным литературным политиком и полемистом, В. Г. Белинский был не всегда искренен со своими читателями. В 1842 г., сразу по выходу первого тома «Мертвых душ», он, например, признав, что «нельзя ошибочнее смотреть на "Мертвые души" и грубее понимать их, как видя в них сатиру» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 53–54), позднее, в 1847 г., поучал К. Д. Кавелина: «Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Но вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, *для кого* и *для чего* она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы... Поэтому, я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный мой друг, хороший ученый, но плохой политик...» (Там же. Т. 9. С. 682).

**1360. А. А. Иванову**

Ответ А. А. Иванова от конца июля (н. ст.) 1847 г. — письмо № 1370.

*Ваше письмо несколько темновато.* — Имеется в виду письмо, от которого до нас дошли только черновые наброски, сохранившиеся в бумагах художника (№ 1356).

к стр. 376 *...зачем именно вы привели слова Евангелиста Луки.* — Ссылка на евангелиста Луку, отсутствующая в черновиках письма Иванова к Гоголю (по свидетельству В. М. Зуммера, одна страница в них вы-

рвана, — «остались лишь невосстановимые начала слов»), встречается в «Мыслях, приходящих при чтении Библии» (1846–1847): «Евангелист Лука в восторге описал последнюю ступень супружеского совершенства: они не женятся и замуж не будут выходить, как обыкновенные люди, [но яко Ангелы Божии]...» (Лк. 20, 35–36) (*Виноградов И. А.* Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. С. 669). Летом 1847 г., увлеченный планами женитьбы на графине Марии Владимировне Апраксиной (вышедшей вскоре замуж за князя Мещерского), Иванов записал в своей тетради: «...в настоящую, переходную минуту — минуту трудную для избранных, — можно ли допустить их до земного блаженства, т. е. до женитьбы? Вот вопрос, который решит Гоголь напечатанием своего сочинения, который решу и я окончанием моей картины» (Там же. С. 466). В черновике письма к самим Апраксиным Иванов замечал: «Евангелист Лука в восторге описал последнюю ступень супружеского совершенства: они не женятся и замуж не будут выходить, как обыкновенные люди, [но яко Ангелы Божии]...» (Там же. С. 669). Это своеобразное толкование слов Спасителя о *невступлении* в брак «сынов воскресения» (Иванов же стремился истолковать это состояние как «последнюю ступень *супружеского* совершенства») художник, по-видимому, и привел в письме к Гоголю, на что тот отвечал: «Я не понимаю... зачем именно вы привели слова Евангелиста Луки. Если вы подумали о каком домашнем очаге, о семейном быте и женщине, то, сами знаете, вряд ли эта доля для вас! Вы — нищий, и не иметь вам так же угла, где приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому Евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами».

*Олсуфьев* — Василий Дмитриевич.

### 1361. Графине С. М. Соллогуб

Впервые напечатано (без вариантов) по автографу в статье: Письма Гоголя к Д. Е. Бенардаки, к княгине В. Н. Репниной, графине Л. К. Вьельгорской, к графу В. А. Соллогубу и к его супруге. (Сообщено М. А. Веневитиновым) // Русский Архив. 1902. № 4. С. 736–737. Печатается по автографу: Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 35. 2 л. (21,4 × 13,7).

К письму была подклеена (по-видимому, позднее) заметка «Припомнить все случаи...» (см. в т. 6 наст. изд. коммент. к трактату «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии»). Листы бумаги автографов отличаются (бумага письма более тонкая, чем бумага заметки). С содержанием письма заметка также не связана.

*Михаил Михайлович* — граф Виельгорский. к стр. 377

*...о появлении на свет Елисаветы Александровны.* — Елисаветой Александровной Гоголь ошибочно назвал родившуюся 18 марта

1847 г. графиню Елисавету Владимировну Соллогуб (в замуж. Сабурова, муж — министр народного просвещения А. А. Сабуров).

*Анне Михайловне я писал письмо недавно...* — Письмо к графине А. М. Виельгорской от 8 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1349).

*Матвей Юрьевич* — граф Виельгорский.

к стр. 378 *Владимир Александрович* — граф Соллогуб.

**1362. Графу Матв. Ю. Виельгорскому**

Печатается по изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 9.

*...письмо об Иванове...* — Имеется в виду письмо *XXIII. Исторический живописец Иванов* «Выбранных мест из переписки с друзьями».

*...Иванову вышло некоторое вспоможение.* — В июле 1846 г. по Высочайшему повелению А. А. Иванову были выданы 1 500 рублей и еще 300 червонцев от Наследника Цесаревича.

*Мария Николаевна* — великая княгиня, жена герцога Лейхтенбергского Максимилиана.

**1363. Графу А. П. Толстому**

Датировка уточнена на основании почтового штемпеля.

к стр. 379 *...без печальных приключений с девушками.* — Речь идет о горничных графини А. Г. Толстой, которых она возила с собой за границу.

**1364. С. П. Шевыреву**

Ответ на письмо С. П. Шевырева от 14/26 июня 1847 г. — письмо № 1345.

Является отрывком (окончанием) письма. Возможно, это окончание письма к С. П. Шевыреву от 7 июля (н. ст.) 1847 г., подлинника которого не сохранилось (письмо № 1348).

к стр. 380 *При сем передай следуемое письмецо Малиновскому.* — Письмо № 1365.

**1365. Д. К. Малиновскому**

Впервые напечатано: <*Погодин М. П.*> Два письма Н. В. Гоголя // Русский Архив. 1865. № 9. Стб. 1127–1128. Печатается по автографу: *РГАЛИ.* Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1. Датируется по связи с письмом Гоголя к С. П. Шевыреву от июля (н. ст.) 1847 г. (из Франкфурта или Остенде), к которому было приложено. Поручив С. П. Шевыреву позаботиться о Д. К. Малиновском, Гоголь прибавлял: «При сем передай следуемое письмецо Малиновскому».

### 1366. М. И. Гоголь

Впервые, по автографу М. И. Гоголь, напечатано: *Шенрок В.* Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886 (цензурное разрешение 11 июня). С. 79. Печатается по указанному автографу: *РНБ*. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 70.

Отрывок из письма сына Мария Ивановна сообщила в письме к двоюродному брату Петру П. Косяровскому от 10 октября 1847 г. из Васильевки: «Сын мой напугал меня своей болезнью, так что я доходила до отчаяния, но опять милосердый Творец сжалился надо мной и успокоил меня насчет его выздоровления. Многие уверяют меня, что он здоров, и он не пишет более о болезни, увидя, как он напугал меня. Ему предстоит путешествие в Палестину. Да донесет его Господь благополучно и возвратит здорового и счастливого в Россию к нам. Помолитесь и вы, мой добрый братец, об исполнении этого… Сын мой все время был в Неаполе, а теперь во Франкфурте на Майне. В половине января полагает уехать в Иерусалим. Когда я писала ему, почему он так долго не был у нас, то он отвечал мне: “Я рвусь вас видеть, но не имею права явиться к вам, покуда не поклонюсь Гробу Господню и тем исполню свое обещание и потребность души моей”».

### 1367. В. Г. Белинскому

Печатается заново по автографу: *РГБ*. Ф. 74. К. 7. Ед. хр. 1. 13 л. Рукопись представляет собой несколько черновых набросков письма; частично изорвана. Несколько частей с текстом утеряны. На л. 13 — заметка «Синтаксис» (см. в т. 17 наст. изд.). Написано на листах почтовой бумаги разного формата: л. 1–3, 5–8 — 13,7 × 21,2; л. 4 — 13,6 × 16,3; л. 9 — 13,6 × 16,0 (листы бумаги с одинаковым тиснением, по-видимому иностранного производства); л. 10–13 — 14,4 × 20,8 (бумага другого, в отличие от предшествующих листов, производства).

Конец (начало) строки в оборванных местах автографа обозначается косой чертой (slash). Это позволяет дать представление об объеме и местоположении фрагментов, утраченных в поврежденных строках.

Письмо представляет собой ответ на письмо В. Г. Белинского из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1359). Однако, не желая окончательно «оттолкнуть» от себя В. Г. Белинского (см. коммент. к строкам письма № 1335 — *…может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их…*), Гоголь решил не отправлять настоящего письма и написал другое, более мягкое и сдержанное (от 10 августа (н. ст.) 1847 г. — № 1377), после отправления которого некоторое время спустя (не ранее 28 августа (н. ст.) 1847 г.; возможно, в конце этого года или позднее) порвал

ставший ненужным ему ответ (см. коммент. к заметке «Синтаксис» в т. 17 наст. изд.). Подлинник письма был склеен П. А. Кулишом.

Осенью 1854 г. П. А. Кулиш, вместе с Л. М. Жемчужниковым, впервые посетил Васильевку, где нашел радушный прием. Вернувшись в свой хутор Мотроновку, он извещал О. М. Бодянского: «...мы знайшлы и Яновщыну, про котору понабрихували той Данылевськый нис<е>нитныци <вздора; *укр.*>. Стара Гоголыха и іи дочкы прелюбезни люде. Так нас прыголубылы, як родычив, и яки тилько булы шпаркгалы <исписанные бумаги> (з чимодана с нимеччины и письмо до сестры до Ганны), усе нам — нате, батечкы, що хотя робить соби. Ще й бильше обищали, як побачусь из их небожам у Москви. Воно бо там служыты-ме. И небожа (Трутовськый <имеется в виду Трушковский>) гарный хлопчык» (письмо от 4 октября 1854 г.) (*Титов А.* Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому. Киев, 1898. С. 118). «Материалы, собранные мною в Яновщине, — писал позднее Кулиш Жемчужникову, — и полученные мною из Петербурга и Москвы здесь, так объемисты, что если я не посижу на месте за работой целого месяца, то у меня не будет в эту зиму сделано дело» (*Шенрок В. И.* П. А. Кулиш. Биографический очерк. Киев, 1901. С. 102). В письме к Бодянскому от 12 ноября 1854 г. Кулиш сообщил ряд подробностей о собранных им материалах: «...когда <был> отпечатан шкаф Гоголя в Москве, в нем собраны были лоскутки изорванной рукописи. Эти лоскутки вложены были в пакетец и надписаны рукою Шевырева: "Клочки чего-то изорванного". Во время пребывания своего в Васильевке он как-то прозевал этот пакетец, и теперь он вручен мне сестрами поэта. Я соединяю клочки, и что же оказывается? Это ответ Белинскому на его оскорбительное письмо. Целые фразы этого ответа вошли в авторскую исповедь, но много в нем есть такого, что и не вошло туда, а это многое — прекрасно!» (*Титов А.* Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому. С. 81–82). Фрагменты этого письма были впервые напечатаны Кулишом (с неточностями) в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» (СПб., 1856. Т. 2. С. 108–113).

Своеобразное «продолжение» письма — полемика с последователями Белинского — содержится также в записной книжке Гоголя 1846–1850 гг.: «А вы думаете легко воров выгнать? Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может, — Царь, у которого и войско, и всякая сила есть. Как же вы хотите, без всякой силы и власти, это сделать? Что спьяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть? Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые что ль? Еще больше станут допекать друг друга» (см. также коммент. к письму А. С. Данилевскому от 24 сентября 1848 г. в т. 15 наст. изд.).

**к стр. 388** *И этих самых пастырей, этих мучеников епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа...* — Ср. в выписке *<53> О почитании святых (Из частного письма протоиерея Сабинина)* гоголевского сборника «Выбранные места из творе-

ний Св. Отцов и Учителей Церкви»: «Кто же имеет теперь большее право на пребывание в Боге, если не святые, которых большая часть положили свои души из-за любви к Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому, которые утучнили своею кровью почву, на которой прозябло, развилось и возросло Христианство?» (см. в т. 9 наст. изд.).

*...нынешние ком<м>унисты и социалисты...* — 9–10 января (н. ст.) 1845 г. А. И. Тургенев сообщал из Парижа: «Гоголь писал сюда к Г<рафине> В<иельгорской>, что в Париж не приедет. Может быть и раздумает еще и не отложит приезда сюда на время, когда получит приглашение новое, от Г<рафа> Т<олстого> недавно ему посланное. <Гоголь приехал в Париж 11 января (н. ст.) 1845 г.> Из записки NN. вижу, что он желал бы знать, что творят здесь так называемые Социалисты и Ком<м>унисты, и какое действие производят в разных слоях здешнего общества возбуждаемые ими силы или элементы. — Действие сие выражается более в книгах и в журналах, кои сосредоточивают их отголоски, нежели в самом обществе: да и как в него проникнуть? — вообще я весьма мало важности или существенного влияния на настоящее общество приписываю сим социяльным или ком<м>унистическим проявлениям, не отказывая, впрочем, социялизму в будущем влиянии на европейский общественный быт» (*<Тургенев А. И.>* Хроника русского в Париже // Москвитянин. 1845. № 3 (цензурное разрешение 7 апр.). Смесь. С. 4–5).

*...что Пушкин говорит вообще о французе: Француз — дитя...* — Гоголь ошибочно приписывает А. С. Пушкину стихотворение А. И. Полежаева «Четыре нации» (1827).

к стр. 389

*...<снимаю>щему с тебя одежду, <отдай последнюю> руб<ашку, с прося>щим тебя пройти с тобой <одно> поприще, пройди два.* — Из Нагорной проповеди Спасителя: «Хотящему судитися с тобою, и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу. И аще кто тя поймет по силе поприще едино, иди с ним два» (Мф. 5, 40–41).

к стр. 390

*...тех французских романистов...* — См. коммент. к строкам письма Гоголя А. С. Пушкину от 21 августа 1831 г. — *...романтизм решительно восторжествовал над классицизмом...* — в т. 10 наст. изд.

*...советам моим помещику...* — Имеется в виду статья *XXII. Русской помещик* «Переписки с друзьями».

*Отзывы ваши о помещике... отзываются временами Фонвизина... следует... подумать... чтобы это освобожденье не было хуже рабства.* — Реминисценция главы «Русская изба» статьи А. С. Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» (см. коммент. к письму № 879 в т. 12 наст. изд.): «Фонвизин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба Русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы Французского земледельца... Прочтите жалобы Английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса» (Соч. *Александра Пушкина.* СПб., 1841. Т. XI. С. 48–49).

### 1368. Графу А. П. Толстому

к стр. 396 *...к кровопролитьям на Кавказе прибавилась еще и холера в тех местах.* — См. ответ графа А. П. Толстого в письме от 5 августа (н. ст.) 1847 г.

*Графиня* — А. Г. Толстая.

*Михаил Сергеевич* — Скуридин.

### 1369. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (с пропуском последней фразы): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 829–832. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 433–437.

к стр. 397 *Посылаю тебе письмо, писанное ко мне одним молодым человеком...* — Вероятно, имеется в виду письмо к М. П. Погодину А. А. Григорьева. О получении этого несохранившегося письма Григорьева Гоголь извещал С. П. Шевырева в письме от 8 сентября (н. ст.) 1847 г. (№ 1394).

*...получил твое письмо от июля 8.* — Письмо № 1350.

к стр. 398 *Ты просил меня прежде: «Пиши ко мне все, все, что придет в голову, на первом лоскутке»...* — Имеется в виду письмо от 30 апреля (н. ст.) 1847 г. (№ 1310).

*...плебейское происхождение, молодость, проведенная в знатном доме...* — Погодин был сыном крепостного, управляющего московскими домами графа И. П. Салтыкова. С 1819 по 1827 г. состоял домашним учителем в семействе князя И. Д. Трубецкого.

к стр. 399 *Я очень помню, что я не хотел спрашивать у тебя статьи...* — В письме от 8 июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь напомнил М. П. Погодину, как тот в 1841–1842 гг. добивался получения у него статьи для «Москвитянина»: «...ты объявил мне, что я должен дать тебе статью в журнал... еще недели через три напомнил вновь, говоря, что я должен дать тебе статью, потому что, как бы то ни было, я живу в твоем доме и тебя твои родственники спрашивают о том, что ж я, в самом деле, у тебя живу, а для тебя в журнале не тружусь» (№ 1350).

к стр. 400 *...ты в 1839 г. в Мариенбаде уверял меня, что «Мертвые души» при жизни не будешь печатать...* — Ср. также в заметке М. П. Погодина о Гоголе от 31 августа 1848 г.: «1839 г. ... В Мариенбаде... Он чит<ал> отрывки из Мертв<ых> душ и уверял, что при жизни они не будут напечатаны» (*ИРЛИ.* Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 19; напечатано: *Фридлендер Г.* Заметка М. П. Погодина о Гоголе // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 793–794).

*...я писал к тебе о смерти Пушкина...* — Письмо до нас не дошло.

*Перечел окончание твоего письма.* — В конце письма от 8 июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь замечал: «Если это письмо тебя чем огорчило, то прости, потому что на всяком шагу нам нужно друг друга прощать» (№ 1350).

*…меня ты назвал в надписи Фомою Неверным.* — См. <Надпись М. П. Погодину, предназначенную для наклейки на экземпляр «Выбранных мест из переписки с друзьями» (СПб., 1847) в т. 9 наст. изд. к стр. 401

*О второй части письма твоего…* — Во второй части своего письма от 8 июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь давал наставления по поводу высказанного М. П. Погодиным желания вторично жениться.

### 1370. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Зуммер В. М., проф.* Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5: Общественные науки. Баку, 1925. С. 45–46. Печатается по первой публикации.

*…в письме Вашем от июля 24…* — Письмо № 1360.

### 1371. Графу А. П. Толстому

*…тульские помещики сами изъявили желание составить комитет.* — Дворянский комитет по крестьянскому вопросу. к стр. 402

*Тютчев* — Федор Иванович.

### 1372. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 375–377. Печатается по первой публикации.

### 1373. Граф А. П. Толстой — Н. В. Гоголю

Отрывок письма впервые напечатан: *Воропаев В. А.* «Духом схимник сокрушенный…» // Прометей. Т. 16. М., 1990. Печатается полностью, по автографу: *РГАЛИ.* Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 51. 2 л.

*Messageries Royales* — Королевские перевозки (*фр.*). к стр. 404

*L'Eglise saura bien…* — Церковь непременно должна суметь, да она и делает это, отказаться от королей, и, устремляясь к демократии, окрестить героиню дикого культа, сделать ее христианской, запечатлеть на ее лбу знак божественного признания и сказать ей: «Царствуй!»; и она будет царствовать (*фр.*). к стр. 405

*В Тифлисе обратил на себя величайшее внимание и награды Купец какой-то — пожертвовавший сумму на сооружение огромного театра, при закладке коего было высшее начальство, причем многие напечатали такие пошлости, что стыдно читать.* — Вероятно, настоящие строки связаны с одной из бесед Гоголя с графом А. П. Толстым о значении театра. Ср. в «Выбранных местах из переписки с друзьями» адресованное Толстому письмо *XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.* к стр. 406

*...историю (новую и дов<ольно> подроб<ную>) Испании от Филиппа II-го.* — Вероятно, труд Ф. Минье «Антонио Перес и Филипп II», изданный в 1845 г. в Париже (на фр. яз.). В 1847 г. В. П. Боткин перевел книгу на русский язык для «Отечественных Записок» (№ 9, 11).

### 1374. Графу А. П. Толстому

к стр. 407 *Напишите мне заглавие той испанской истории, которую вы читаете...* — См. коммент. к письму графа А. П. Толстого от 5 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1373).

*...напечатанные в «Современнике» письма... Боткина...* — Имеются в виду «Письма об Испании» В. П. Боткина. Гоголь прочел первое письмо, напечатанное в № 3 «Современника» за 1847 г. (письма печатались под общей рубрикой «Письма об Испании»; в № 10 и 12 журнала за 1847 г. были опубликованы второе и третье письмо; позднее — остальные; отд. изд. 1857 г.).

*...не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши.* — См. коммент. к строкам третьей главы ранней редакции второго тома «Мертвых душ» — *...слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие...* — в т. 5 наст. изд.

*Хомяков... Привез с собой катихизис, отысканный им на греческом языке в рукописи, и перевод его на русский...* — Речь идет о трактате А. С. Хомякова «Церковь одна» (конец 1844 — начало 1845 г.). А. С. Хомяков скрывал свое авторство и выдавал это сочинение за найденную где-то древнюю рукопись. Он намеревался напечатать трактат с предисловием и послесловием от своего имени (ныне неизвестны). «Церковь одна» впервые была опубликована только в 1864 г. в т. 13 журнала «Православное Обозрение»; вошла в Собр. соч. А. С. Хомякова (Т. 2. Прага, 1867). Гоголь собственноручно переписал для себя этот трактат (см. сопроводит. статью к т. 9 наст. изд.). См. также коммент. к строкам письма Гоголя к графине А. М. Виельгорской от 30 марта 1849 г. — *...видим соединенье Марфы и Марии... или, лучше... Марфу... ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии...* — в т. 15 наст. изд.

### 1375. Графине Л. К. Виельгорской

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 408 *Юнке* — врач.

*Вик<тор> Степ<анович>.* — Графиня Л. К. Виельгорская ошибочно называет графа Виктора Владимировича Апраксина Виктором Степановичем.

### 1376. Н. Н. Шереметевой

к стр. 409 *Хомяков* — Алексей Степанович.

*...получил одно за другим.* — Письма Н. Н. Шереметевой до нас не дошли.

**1377. В. Г. Белинскому**

к стр. 410
*Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды.* — Ср. в неотправленном письме (№ 1359): «Блуждают кое-где блестки правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманных юношеских увлечений». И в письме к П. В. Анненкову: «Везде вижу частицу правды и много всяких преувеличиваний и лжи» (№ 1378).

к стр. 412
*...письмо... к Анненкову.* — Письмо № 1378.

**1378. П. В. Анненкову**

к стр. 413
*...ваши письма о Париже.* — «Парижские письма» П. В. Анненкова печатались в «Современнике» в 1847 г.

*...письма Боткина.* — См. коммент. к строкам письма № 1374 — *...напечатанные в «Современнике» письма... Боткина...*

*...если бы на место того, чтобы дагеротипировать Париж... начали вы писать записки о русских городах... и... осматривать всякого встречного человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках всякую вещицу...* — Гоголь повторяет мысль, высказанную им ранее в запрещенной цензурой статье *XX. Нужно проездиться по России* «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику или развалину».

к стр. 414
*...начиная с Симбирска...* — П. В. Анненков был симбирским уроженцем.

**1379. Графине Л. К. Виельгорской**

к стр. 415
*Письмо Луизы Карловны...* — Письмо не сохранилось.

*Муханов* — Владимир Алексеевич. В письме к сестрам от 4/16 августа 1847 г. из Остенде В. А. Муханов писал: «Здесь, тотчас по приезде, явился к нам Гоголь...» (*Миловский Н., свящ.* К биографии Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 14).

*Глебов-Стрешнев* — вероятно, Николай Петрович, отставной конно-пионер, разбитый параличом.

**1380. Графу А. П. Толстому**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*...получили ли мое письмо от 2 августа, в котором я извещал вас о Вьельгорских...* — Гоголь извещал об этом в письме не от 2-го, а от 8-го августа (н. ст.) (№ 1374).

к стр. 416 *На днях я получил письмо от Матвея Александровича — ответ на мое...* — Письмо протоиерея Матфея Константиновского, написанное в ответ на письмо Гоголя от 9 мая (н. ст.) 1847 г., до нас не дошло.

*...вы можете копию, находящуюся у вас, изорвать.* — Вероятно, речь идет о первоначальный редакции письма Гоголя к отцу Матфею Константиновскому от 9 мая (н. ст.) 1847 г. (см. коммент. к письму № 1319).

### 1381. Графу А. П. Толстому

*Матвей Александрович* — священник Матфей Константиновский.

к стр. 417 *«Не судите, да не осуждены будете».* — «И не судите, и не судят вам; и не осуждайте, да не осуждени будете» (Лк. 6, 37).

*Графиня Анна Егоровна* — Толстая.

*О племяннике вашем...* — Графе В. В. Апраксине. См. также коммент. к записной книжке Гоголя 1846–1850 гг. в т. 9 наст. изд. (*Виктор* Владимирович Апраксин).

### 1382. Н. Я. Прокоповичу

Датируется приблизительно, на основании почтового штемпеля.

### 1383. С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (без приписки): Русский Архив. 1890. № 8. С. 170–173. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 86–88.

к стр. 419 *...несколько строк из письма моего к сыну об вас...* — Имеется в виду письмо С. Т. Аксакова от 8 февраля 1847 г., где он замечал о Гоголе: «Гоголь не перестает занимать меня с утра до вечера: он точно помешался, в этом нет сомнения; но в самом помешательстве много плутовства — должно в этом признаться. Сумасшедшие бывают посвоему плуты и надуватели: это я видел не один раз, и помешательство их делается не жалко, а гадко. Мне пришла странная и вместе утешительная мысль в голову, что если Гоголь, получив множество печатных и письменных отзывов, скажет: *“я вижу, что мои читатели еще не в состоянии понять второго тома Мерт. Душ, да и я еще не созрел для написания его в настоящем виде, а потому оставляю этот труд до времени и начинаю писать прежние побасенки”...* и напишет нам чудные побасенки. Эта мысль имеет основанием две причины. Первая: он пишет в последнем своем письме ко мне: “Ваши нападения мне теперь слишком нужны, они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время *Вас,* т. е. моих *читателей.* Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели,

я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело". Вторая состоит в том, что Гоголь в письме своем к Щепкину, горячо заботясь о постановке на сцену своей нелепейшей новой развязки Ревизора, между прочим, пишет такие забавные штуки, что надобно хохотать и вместе удивляться ясности взгляда и меткости выражений» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 179–180). См. также коммент. к письму № 1197 в т. 13 наст. изд.

*...и грозилась открыть вам глаза.* — Об этом эпизоде И. С. Аксаков рассказал отцу в письме от 15 февраля 1847 г. из Калуги: «Смирнова задержала меня расспросами о том, что делается в Москве, о Гоголе. У меня в кармане было ваше письмо, и я ей хотел сообщить известие о письме Гоголя к Щепкину и, добираясь до этого места, прочитывал про себя, однако же вслух, ваши, правда, жесткие рассуждения о сумасшествии Гоголя и о плутовстве в его сумасшествии. Подняв случайно глаза, я ужаснулся. Смирнова вся вспыхнула, потом побледнела, потом затряслась, потом подняла руки кверху, и пошла потеха. Я вовсе этого не хотел, стал извиняться, успокаивать ее, сказал, что не буду ей возражать... Не тут-то было. Она оскорбилась вашими выражениями о Гоголе. Это бы еще ничего, но, по свойственной женщинам манере, заехала Бог знает куда, так что я под конец рассердился. Начала с того, что Гоголь ошибался в *"вашей"* семье, он думал найти друзей и нашел вместо того людей, которые дорожат только его талантом, что *"вы"* его надули и надуваете, но ее не надуете и что она откроет глаза Гоголю и т. п. Потом стала ругать всю Москву, вас вообще и меня в особенности» (*Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 354–355). См. также письмо № 1270.

*...кажется, от 12 января...* — В действительности от 9 декабря 1847 г. (№ 1197 в т. 13 наст. изд.). **к стр. 420**

*...письмо же ваше к кн<язю> Львову обрадовало еще более.* — Письмо Гоголя к князю В. В. Львову от 20 марта (н. ст.) 1847 г. (№ 1278).

### 1384. П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Русский Вестник. 1890. № 11. С. 53–55. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 288–289.

*...трех последних писем твоих...* — Письма от 9 мая (н. ст.), 10–11 июня (н. ст.) и 10 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1320, 1334 и 1353). **к стр. 421**

*...к сестре...* — К А. О. Смирновой. **к стр. 422**

*...«Повесть твоего писательства»...* — Позднейшее название этого произведения Гоголя, данное С. П. Шевыревым, — «Авторская исповедь».

*...новую поэму Жуковского...* — «Рустем и Зораб». См. коммент. к письму № 1283.

*Пришли, если желаешь, и переделанную развязку «Ревизора».* — См. коммент. к письму № 1353.

**1385. Графу А. П. Толстому**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

**1386. Графине А. М. Виельгорской**

к стр. 423 *Ваше милое письмецо получил.* — Письмо не сохранилось.

**1387. П. А. Плетневу**

На подлиннике имеется помета П. А. Плетнева: «П<олучено> 27 авг<уста> 1847».

к стр. 424 *Твое милое письмецо (от 29 июля / 10 авг<уста>)...* — Письмо № 1384.

*...могу последовать совету Пушкина: «Живи один»...* — Цитата на стихотворение Пушкина «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...» 1830 г.).

**1388. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 170–173. Печатается по первой публикации.

к стр. 426 *...моих два письма...* — Письма до нас не дошли.

*Василий Андреевич* — Жуковский.

*...отправила 27 июня...* — Письмо до нас не дошло.

к стр. 428 *...выполнить долг, возложенной на вас самим Провидением, которое вас одарило дарованием, и, не передав его как следует, было бы неблагодарность против Бога, Наградившего вас.* — Ср. в статье Гоголя «Нужно проездиться по России» (1845): «Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь».

**1389. С. П. Шевыреву**

к стр. 429 *Книг покуда еще никаких от тебя не получаю.* — Ответ на сообщение С. П. Шевырева в письме от 14 июня 1847 г.: «Недавно я послал тебе по твоей просьбе 3 тома летописей и “Русские праздники” Снегирева. Все это доставит тебе кн. А. Волконский, который уже извещал меня из Варшавы, что получил эти книги от Похвиснева, который их взял с собою» (письмо № 1345).

*Что касается до объяснений на мою книгу, то я решился дело это оставить.* — Речь идет об «Авторской исповеди».

**1390. С. Т. Аксакову**

Ответ на письмо С. Т. Аксакова от 26 июля 1847 г. — письмо № 1383.

Письмо было вложено в послание к С. П. Шевыреву от 28 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1389). Не желая отвечать Гоголю, С. Т. Аксаков 3 октября 1847 г. направил С. П. Шевыреву следующее письмо: «Почтеннейший Степан Петрович! Я переехал в Москву и сегодня ожидаю свою старуху с детьми. Живу от вас очень далеко и не надеюсь скоро вас увидеть, а потому покорнейше прошу написать к Н. В. Гоголю (когда будете писать к нему), что я отвечать на его письмо не буду. Пора нам оставить <друг> друга в покое. Преданный вам С. Аксаков. 3 октября» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 158; датировка письма С. Т. Аксакова уточнена: *Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем / Изд. подгот. сотрудники музея «Абрамцево» АН СССР Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 185, 272–273).

*...если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей...* — Этот совет Гоголя Аксаков выполнил, написав «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука». О влиянии Гоголя на становление С. Т. Аксакова как писателя см. также коммент. к повести «Старосветские помещики» в т. 2 наст. изд., к записной книжке Гоголя 1841–1844 гг. в т. 9. к стр. 433

**1391. П. В. Анненкову**

Датируется на основании почтовых штемпелей.

*Очень был рад вашему доброму письму.* — Письмо П. В. Анненкова к Гоголю до нас не дошло.

**1392. М. П. Погодину**

Датируется на основании почтового штемпеля.

**1393. П. В. Анненкову**

Как заметил В. И. Шенрок, все содержание письма имеет отношение к полемике, вызванной «Перепиской с друзьями» и частной перепиской В. Г. Белинского с Гоголем, — «вследствие чего нельзя особенно не пожалеть, что нам остаются неизвестными письма Анненкова к Гоголю» (Письма *Н. В. Гоголя* / Ред. В. И. Шенрока. Т. 4. С. 80–81). (В. Г. Белинский в сентябре 1847 г. вернулся в Петербург,

где 26 мая следующего года скончался от туберкулеза в возрасте 37 лет.) Ср. позднейшую характеристику, данную Гоголем П. В. Анненкову в письме к М. П. Погодину от сентября 1851 г.: «Господа, до излишества живущие в Европе» (т. 15 наст. изд.).

к стр. 438 *Фантом* — призрак, видение (*фр.*).

*Смысл всего этого необъятно обширен.* — Ср. в неотправленном письме к В. Г. Белинскому (№ 1367): «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово... Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все готовы друг друга съесть <...> И стала европейская цивилизация призрак...»

к стр. 439 *...в Англии... Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей... местами является... разумное слитие того, что доставила человеку высшая гражданственность, с тем, что составляет первообразную патриархальность...* — Очевидно, об Англии Гоголю рассказал в те дни только что вернувшийся оттуда А. С. Хомяков. 8 сентября (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву: «Сейчас только что проводил Хомякова (отправлявшегося уже в Россию. — *И. В., В. В.*)... Я не успел с ним наговориться и только по отъезде почувствовал, что о многом не расспросил его». Именно А. С. Хомякову после поездки в Лондон была близка мысль о «разумном слитии» в Англии прошлого и современности. «Громадная фабрика, грустное явление в целом мире, представляет в Англии какой-то характер смелой поэзии», — замечал он в написанной по свежим впечатлениям статье «Англия» (1848). Гоголь в следующем письме к П. В. Анненкову (№ 1396) еще раз возвращается к вопросу о «диких крайностях» Англии — о сосуществовании в ней богатых исторических традиций («в громадных глыбах то, что уже уничтожено в других землях») и самого современного настоящего («то, что еще не начиналось в Европе»). Это «чудовищное совмещение многих крайностей» чревато, на его взгляд, глубокими потрясениями. «По крайней мере, — пишет он П. В. Анненкову об Англии, — нужно заглянуть в те мины, где готовятся близкие взрывы». Этим Гоголь как бы подчеркивает, что, несмотря на «местами», действительно, «разумное слитие» в ней древней патриархальности с «высшей гражданственностью», в целом, однако, промышленная цивилизация нового времени, независимо от того, в какой стране она развивается, неизбежно входит во все большее противоречие с «первообразной» культурой. Говоря о готовящихся в Англии «взрывах», Гоголь повторяет сказанное им ранее о Европе в целом. В 1842 г. он замечал в «Театральном разъезде» об «общественных ранах» России: «Внутри... свирепствует болезнь... она может взорваться...» А в 1846-м, в преддверии прокатившейся в конце 1840-х гг. по Европе волны революций, добавлял: «В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России» (глава XXVI «Переписки с друзьями» — *Страхи и ужасы России*).

*...вы напрасно чуждаетесь специального труда.* — Об отношении Гоголя к проблеме разделения труда см. в коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 5. С. 591–592 (*...нынешнее просвещенье, которое превратило человека в машину...).*

*...в Париже... Герцен.* — А. И. Герцен выехал из России в 1847 г. Знакомство с ним Гоголя не состоялось. А. А. Иванов сообщал позднее, между 5 и 10 декабря (н. ст.) 1847 г., Гоголю из Рима: «Здесь Герцен. Сильно восстает против вашей последней книги» (письмо № 1417), Ср. ответ Гоголя в письме № 1418. В 1851 г. Гоголь, имея в виду книгу А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» (1851), говорил И. С. Тургеневу: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах? (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 529). Характерно при этом, что Гоголь продолжал считать А. И. Герцена в числе своих «друзей» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 147). См. коммент. к строкам письма № 1335 — *...может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их...*

*...женат ли Белинский...* — В. Г. Белинский был женат с 1843 г. **к стр. 440**
на М. В. Орловой.

*Жюль* — прозвище Н. В. Анненкова. См. коммент. к письму № 319 в т. 11 наст. изд.

## 1394. С. П. Шевыреву

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*На прошедшей неделе отправил к тебе письмо (со вложеньем письма к С. Т. Аксакову).* — Письма к С. П. Шевыреву и к С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1389, 1390).

*Погодин в удостоверенье некоторого доброго влияния моей книги прислал мне письмо к нему Григорьева.* — Письмо А. А. Григорьева не сохранилось.

*...для журнала, который хочет издавать с наступающим годом Чижов...* — См. коммент. к письму № 1101 в т. 13 наст. изд.

*К Чижову я пишу при сем письмо... где рекомендую ему взять в сотрудники Григорьева и Малиновского...* — Письмо Гоголя к Ф. В. Чижову до нас не дошло. Ответ Чижова от 16 октября 1847 г. — письмо № 1402.

## 1395. Графу А. П. Толстому

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

## 1396. П. В. Анненкову

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

### 1397. Протоиерею Матфею Константиновскому

к стр. 441 *Граф Александр Петрович* — Толстой.

к стр. 446 *...очень хороший священник...* — Протоиерей Тарасий Серединский.

### 1398. С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю // Отчет Имп. Публичной Библиотеки за 1893 год. СПб., 1895. Прил. С. 51–58. Печатается по первой публикации.

к стр. 449 *Княгиня З<инаида>* — княгиня Зинаида Александровна Волконская.

к стр. 450 *Волконский* — князь Александр Никитич.

### 1399. А. С. Данилевский — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский // Вестник Европы. 1890. № 2. С. 593–594. Печатается по первой публикации.

к стр. 451 *«Поеду в Италию, оттуда на Восток, а там обниму тебя и денька два-три побеседуем с тобой».* — Как позволяют судить эти строки из несохранившегося письма Гоголя, цитируемые А. С. Данилевским, гоголевское письмо было написано во Франкфурте или в Остенде летом 1847 г. Уехав из Италии в конце мая (н. ст.) 1847 г., Гоголь вернулся туда в октябре (н. ст.), пробыв до конца сентября (н. ст.) в Остенде.

к стр. 452 *...когда будешь в Одессе...* — Из Иерусалима в Россию Гоголь возвращался через Одессу.

*Александр Орлай* — сын Ивана Семеновича Орлая.

*Ты непременно хочешь знать имя моей жены: именуется она Ульяной Григорьевной...* — В письме из Неаполя от 18 марта (н. ст.) 1847 г. Гоголь называл жену Данилевского по имени, но без отчества: «А вас прошу, моя добрая Юлия, или по-русски *Улинька,* что звучит еще приятней (вашего отечества вы не захотели мне объявить, желая остаться и в моих мыслях под тем же именем, каким называет вас супруг ваш), вас прошу... набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь...» (№ 1276).

### 1400. У. Г. Данилевская — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский // Вестник Европы. 1890. № 2. С. 594–595. Печатается по первой публикации. Письмо является припиской к письму № 1399.

*Je suis toujours heureuse...* — Я всегда счастлива, когда могу провести хотя несколько часов с вашей превосходной матушкой; она всегда так добра ко мне, она всегда так любит моего Александра...

### 1401. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 173–174. Печатается по первой публикации.

*...последнее письмо ваше...* — Письмо от конца июля — начала **к стр. 453**
августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1376).

### 1402. Ф. В. Чижов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: *Шенрок В. И.* Друзья и знакомые Николая Васильевича Гоголя в их к нему письмах // Русская Старина. 1889. № 8. С. 377–380. Печатается по первой публикации.

Ответ на несохранившееся письмо Гоголя к Ф. В. Чижову от 8 сентября (н. ст.) 1847 г. (см. коммент. к письму № 1394).

*...о тех неприятностях, какие случились со мною весною.* — **к стр. 454**
См. коммент. к письму № 1101 в т. 13 наст. изд.

*Совершенно понимаю справедливость ваших слов в отношении* **к стр. 455**
*сотрудников...* — «Гоголь советовал Чижову больше работать самому и не полагаться на сотрудников» (примеч. В. И. Шенрока).

### 1403. А. С. Данилевскому

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

Согласно записям, сделанным С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя, маршрут следования Гоголя из Остенде в Неполь был следующим: «Марсель, Ницца — октябрь 1847. Генуя — Флор<енция> — Рим — Неаполь» (*РНБ.* Ф. 850. Ед. хр. 64. Л. 2; см. также: Itinerarium, составленный С. П. Шевыревым на основании отметок в паспортах Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 180).

*Письмо твое от 4 октября...* — Письмо № 1399. **к стр. 457**

*Писал я: «Побеседуем денька два вместе»...* — Это письмо Гого- **к стр. 458**
ля до нас не дошло.

*Ульяна Григорьевна* — жена А. С. Данилевского. **к стр. 459**

### 1405. А. О. Смирновой

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Наконец от вас письмецо...* — Письмо до нас не дошло. **к стр. 460**

### 1406. М. П. Погодин — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (с пропусками): Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 832–833. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя:

В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 1. С. 438–439.

к стр. 462 *Холера проходит.* — Эпидемия, стихшая в Москве к концу 1847 г. и возобновившаяся в следующем году.

*...Иверскую...* — Икону Божией Матери «Иверская».

*...несколько моих последних отрывков.* — Речь идет о статьях М. П. Погодина «Святослав (отрывок)» (Москвитянин. 1847. Ч. 2. С. 9–30) и «Великая княгиня Ольга» (Москвитянин. 1847. Ч. 3. С. 17–24).

*Аксаковых ты сильно огорчил.* — Имеется в виду письмо к С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1390).

*Последнее письмо твое ко мне...* — Письмо от 31 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1392).

### 1407. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Вестник Европы. 1889. № 11. С. 129–130. Печатается по первой публикации.

к стр. 463 *...pour faire des progrès...* — чтобы достичь успехов в короткие сроки (*фр.*).

### 1408. С. П. Шевыреву

*Наконец от тебя письмо.* — Письмо С. П. Шевырева от 4/16 октября 1847 г. (№ 1398).

*...если моим письмом огорчил моего доброго Сергея Тимофеевича Аксакова.* — Подразумевается письмо к С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1390).

к стр. 464 *Снегирева я получил...* — Речь идет о книге И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».

к стр. 465 *...ложь и безнравственность...* — Слова из письма В. Г. Белинского от 15 июля (н. ст.) 1847 г. (№ 1359).

*Павлов* — Николай Филиппович.

*Барон Розен* — Егор Федорович.

### 1409. А. А. Иванову

к стр. 466 *Софья Петровна* — графиня Апраксина, сестра графа А. П. Толстого.

### 1410. М. П. Погодину

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

### 1411. Н. Н. Шереметевой

к стр. 469 *...я бываю сильно болен морскою болезнью...* — В письме из Неаполя от 7 декабря (н. ст.) 1847 г. Гоголь признавался М. П. Погодину:

«Замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, ка́кой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно». Ранее, в «Предисловии» к «Выбранным местам из переписки с друзьями», Гоголь объяснял помещение здесь своего «Завещания» тем, что, по его словам, смерть могла «застигнуть» его на пути в Иерусалим. Прошение о благополучном плавании он включил и в молитву, которую в январе 1848 г. выслал Шереметевой и своей матери, прося их молиться о нем: «Боже, соделай безопасным путь его… восстанови тишину морей и укроти бурное дыхание ветров!» Прибыв на Мальту, Гоголь сообщал графу А. П. Толстому 22 января (н. ст.) 1848 г.: «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость…»; и на следующий день графине А. М. Виельгорской: «Если бы еще такого адского состоянья были одни сутки, меня бы не было на свете».

**1412. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступит. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 174–176. Печатается по первой публикации.

*На последнее письмо ваше, которое получила в исходе июля…* — к стр. 470
Письмо Гоголя от конца июля — начала августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1376) было получено Шереметевой 3 августа.

*В столь важное и отрадное для души время…* — Дни Рождественского поста, с 15 ноября по 24 декабря (ст. ст.).

**1413. М. И. Гоголь**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

**1414. А. В. Гоголь**

Датируется по связи с письмом С. П. Шевыреву от 18 декабря (н. ст.) 1847 г., а также с письмом М. И. Гоголь от 12 декабря (н. ст.) 1847 г., к которому, судя по неполному адресу, было приложено.

*…Гуфланда «О жизни человеческой»…* — См. коммент. к письму к стр. 472
№ 1420.

*…ты ее передай Ольге.* — О. В. Гоголь занималась лечением крестьян.

**1416. П. А. Плетневу**

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Титов* — Владимир Павлович. к стр. 474

### 1417. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано (с сокращениями): Вестник Европы. 1883. № 12. С. 636–637. Печатается по изд.: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А. А. Карпова; сост. и коммент. А. А. Карпова и М. Н. Виролайнен. М., 1988. Т. 2. С. 475–476.

к стр. 475 *...от 5 декабря.* — Письмо № 1409.

*Сильно восстает против вашей последней книги.* — См. письмо М. С. Скуридина к Гоголю от 13 сентября 1851 г. в т. 15 наст. изд.

*Григорович* — Василий Иванович.

### 1418. А. А. Иванову

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

*Благодарю вас за письмецо...* — Письмо от конца июля — начала августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1370).

*Софья Петровна* — графиня Апраксина.

*Граф Александр Петрович* — Толстой.

к стр. 476 *Чивики* (civico) — граждане (*ит.*).

*...моего письма о вас...* — Имеется в виду письмо *XXIII. Исторический живописец Иванов* «Выбранных мест из переписки с друзьями» (об отношении А. А. Иванова к книге Гоголя см. в коммент. к этой статье в т. 6 наст. изд.).

*...относительно того почталиона...* — Речь идет о почтальоне, потерявшем деньги, которые были посланы Гоголю А. А. Ивановым, и уволенном за это со службы. А. А. Иванов впоследствии заботился об устройстве его денежных дел.

### 1419. А. В. Гоголь

*Племянник* — Н. П. Трушковский.

к стр. 478 *Я, например, послал маминьке...* — См. письмо от 16 февраля (н. ст.) 1847 г. (№ 1242).

*Иоанн Златоуст велит для этого продавать даже и утвари церковные.* — Возможно, имеется в виду «Толкование на Святого Матфея Евангелиста» святителя Иоанна Златоуста, где говорится: «...ты видишь человека, покрытого рубищем и окостеневшего от холода, а вместо того, чтобы дать ему одежду, ставишь золотые столбы, говоря, что делаешь это в честь его: не скажет ли он, что ты над ним насмехаешься?.. украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лампадам серебряные цепи, а на Христа, связанного в темнице, и взглянуть не хочешь. Говоря это, не запрещаю и в то быть щедрым, но советую также не оставлять и другого или даже и предпочитать последнее» (беседа L). Ср. также в беседе LXXX: «...если увидишь, что кто-нибудь сделал и приносит священные сосуды, или заботится о другом каком-нибудь украшении церковном, касающемся стен

и пола, — не позволяй продавать или истреблять то, что сделано, чтобы не ослабить его усердия. Если же кто прежде чем сделать, скажет тебе о своем намерении, то вели раздать нищим...»

### 1420. С. П. Шевыреву

*...вторую книжку твоих лекций.* — Второй том «Истории рус- к стр. 479
ской словесности, преимущественно древней».

*...записки твоего путешествия...* — 4/16 октября 1847 г. С. П. Ше- к стр. 481
вырев сообщал Гоголю о намерении отправиться летом в Кирилло-Белозерский монастырь и рассказать об этой поездке в книге (письмо № 1398). Его книга «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» вышла в свет в 1850 г.

*Племянник* — Н. П. Трушковский.

*...русский перевод Гуфланда о сохранении жизни.* — Имеется к стр. 482
в виду книга медика-популяризатора Х.-В. Гуфланда «Искусство продления человеческой жизни», вышедшая первым изданием в 1796 г. См. также коммент. к <Надписи сестре О. В. Гоголь 1850 г. на экземпляре книги князя П. Н. Енгалычева «О продолжении человеческой жизни, или Домашний лечебник, заключающий в себе средства, как достигать здоровой, веселой и глубокой старости...» (Ч. I. М., 1833)> в т. 9 наст. изд.

*...одна сестра...* — О. В. Гоголь.

*«Новая скрижаль» преосвященного Вениамина.* — «Новая скри- к стр. 483
жаль, или Дополнение к преждеизданной скрижали с таинственными объяснениями о церкви, о разделении ее, о утварях и о всех службах, в ней совершаемых, на четыре части разделенное, Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского (М., 1803; 2-е изд. 1806; 3-е — 1811).

### 1421. С. Т. Аксакову

Письмо было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 18 декабря (н. ст.) 1847 г. (№ 1419).

*...хоть бы написаньем записок жизни вашей...* — См. коммент. к стр. 484
к письму С. Т. Аксакову от 28 августа (н. ст.) 1847 г. (№ 1390).

### 1422. О. В. Гоголь

Письмо было приложено к посланию С. П. Шевыреву от 18 декабря (н. ст.) 1847 г. (№ 1420).

### 1423. А. А. Иванов — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб.: Боткин М., 1880. С. 247. Печатается по первой публикации, с дополнением по: *Зуммер В. М., проф.*

Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5: Общественные науки. Баку, 1925. С. 46.

### 1424. А. А. Иванову

Ответ на письмо А. А. Иванова, написанное между 14 и 28 декабря (н. ст.) 1847 г. (№ 1422).

Датируется 1847 г. на основании почтового штемпеля.

к стр. 486 *Колонна* — вероятно, один из представителей старинной итальянской фамилии, общий знакомый Иванова и Гоголя.

к стр. 488 *...расспросите его, как он ехал...* — В конце декабря (н. ст.) 1847 г. А. А. Иванов писал К. А. Бейне: «Николай Васильевич, при засвидетельствовании вам своего поклона, просит вас написать к нему в Неаполь... как вы ехали из Байрута в Яфу и из Яфы в Иерусалим. В полной уверенности, что вы исполните это [лестное] поручение важнейшего из наших литераторов, остаюсь ваш покорный слуга...» (*Зуммер В. М., проф.* Неизданные письма Ал. Иванова к Гоголю // Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Т. 4–5. Общественные науки. Баку, 1925. С. 47). Письмо К. А. Бейне к Гоголю от 1/13 января 1848 г. см. в т. 15 наст. изд.

### 1425. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подгот. текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 177–178. Печатается по первой публикации.

*Нынешний год кончил курс кандидатом и отправился за границу.* — *Якушкин* Евгений Иванович (1826–1905), окончивший в 1847 г. курс Московского университета, слушал за границей лекции по юридическим наукам. 5 февраля 1848 г. Н. Н. Шереметева писала Н. Д. Фонвизиной: «...Евгения Михаил Николаевич <Муравьев> уговаривал остаться, и жалованья ему предлагали полторы тысячи <рублей> серебром, но он желает продолжать учиться и поехал за границу. Недавно из Парижа от него было к отцу письмо, где он описывает какого-<то> профессора, о чем слушал Иван Александрович <Фонвизин> <и> сказал, что удивительно, с какою верностию он делает замечания насчет лекции» (*РГБ*. Ф. 319. К. 4. Ед. хр. 48. Л. 21 об.). С 1 ноября 1850 г. Е. И. Якушкин стал преподавателем Константиновского межевого института. Впоследствии (с 1859) — управляющий Ярославской палатой государственных имуществ (назначен на эту должность М. Н. Муравьевым, ставшим в 1857 г. министром государственных имуществ), позднее — управляющий Ярославской казенной палатой. Специалист в области права, автор труда «Обычное

право. Материалы для библиографии обычного права»; историк декабристского движения (см.: *Семевский В.* Евгений Иванович Якушкин // Русское Богатство. 1905. № 5. С. 257–261; *Равич Л. М.* Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). Л., 1989).

*...с братом его...* — *Якушкин* Вячеслав Иванович (1823–1861), в начале 1847 г. по ходатайству зятя Шереметевой М. Н. Муравьева поступил на службу в Министерство внутренних дел, затем служил по Межевому ведомству, которым управлял М. Н. Муравьев; с 1853 г. — чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири графе Н. Н. Муравьеве (Амурском).

*Сын* — А. В. Шереметев. к стр. 489

*...свое семейство, жена, шесть человек детей...* — См. коммент. к письму Н. Н. Шереметевой к Гоголю от 29–30 января 1846 г. (№ 1069 в т. 13 наст. изд.).

*...граф Александр Петрович...* — Толстой.

*...с сыном моим он очень был знаком.* — В 1820-х гг. штабс-капитан А. В. Шереметев был адъютантом командира 5-го пехотного корпуса графа П. А. Толстого, отца А. П. Толстого, также служившего в этой части.

**1426. Н. Н. Шереметева — Н. В. Гоголю**

Впервые напечатано: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подгот. И. А. Виноградов, В. А. Воропаев; вступ. и сопроводит. статьи И. А. Виноградова; подготовка текста, коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 177–178. Печатается по первой публикации.

*Письмо ваше...* — Письмо от конца ноября — начала декабря (н. ст.) 1847 г. (№ 1411).

*...тотчас вам отвечала...* — Письмо до нас не дошло.

*...Степан Петрович к вам собирается писать...* — 17 декабря 1847 г. С. П. Шевырев, получив от Гоголя письмо от 2 декабря (н. ст.) 1847 г., писал Шереметевой: «Милостивая Государыня Надежда Николаевна. Посылаю Вам письмо ко мне от Н. В. Гоголя, зная, какое сердечное участие Вы в нем принимаете. Он же сам желает, чтоб Вы особенно прочли последнюю страничку его письма, которая произвела на меня грустное впечатление. Видно, что он сильно огорчен отзывами о книге своей, да и в самом деле есть за что. Сомневаться в искренности убеждений человека и сомневаться публично — кто же имеет право? В первом номере "Москвитянина" будущего года я выражу свое мнение. Прошу Вас покорнейше, прочитав письмо, мне возвратить его. Гоголь ждет Ваших молитв за него — и, конечно, ждет Ваших утешений, которые, как видно, особенно для него сладки. С искренним почтением и глубочайшею преданностию имею честь быть Вашим, Милостивая Государыня, покорнейшим слугою С. Шевырев» (*РГБ*. Ф. 340. К. 35. Ед. хр. 3. Л. 11–12). О статье С. П. Шевырева,

посвященной «Выбранным местам из переписки с друзьями», см. коммент. к письму Гоголя Шевыреву от 21 апреля 1848 г. в т. 15 наст. изд.

к стр. 490 *Из Франкфурта в июне ко мне писали...* — В письме от 20 июня (н. ст.) 1847 г. (№ 1342).

### 1429. Графиня А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю

Отрывок из письма сохранился среди материалов П. А. Кулиша, использованных в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...»: «На лоскутке бумаги, помеченном рукою Анны Вьельгорской, написано: "Я в восхищении от Тоски души!"» (*Кулиш П. А.* Из писем Анны Вьельгорской к Гоголю // *РГБ*. Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 48. Л. 1). Печатается впервые по автографу.

# Содержание

## Переписка
## 1847

## Комментарии

УДК 820 (73)
ББК 76.006.5
Г58

Письма к Гоголю в т. 14 подготовлены
к изданию при финансовой
поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ).
Проект № 08–04–0000261а

Координаторы проекта:
*иеромонах Симеон (Томачинский) — Россия*
*Анисимов Василий Семенович — Украина*

Издательство Московской Патриархии
выражает благодарность за содействие
в издании Полного собрания сочинений
и писем Н. В. Гоголя
*Раздорожному Валерию Викторовичу*
*Чип Олегу Александровичу*
*Биденко Николаю Андреевичу*
*Шевченко Тарасу Вячеславовичу*
*Швецу Николаю Николаевичу*

**Гоголь Н. В.**
Г58 Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 14: Переписка 1847 / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. — 608 с.

В том вошла переписка Гоголя 1847 г. Ответные письма адресатов включаются в собрание сочинений Гоголя впервые. Каждое письмо начинается указанием адресата, времени и места отправления. Отсутствие, ошибочность или неполнота этих сведений возмещаются данными биографического и текстологического анализа, помещаемыми в угловых скобках. Такими же скобками обозначаются отсутствующие в источнике, но необходимые по смыслу слова. Зачеркнутые автором фрагменты даются в подстрочных текстологических примечаниях. В отдельных случаях, когда зачеркнутый вариант не имеет полноценной окончательной редакции, первоначальные варианты приводятся в квадратных скобках в основном тексте. Список условных сокращений помещается в пятнадцатом томе.

ISBN 978-5-88017-087-6
ISBN 978-5-88017-131-6

Дар «Полтавского землячества»